МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Томск—1967

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Т Труды, том 193 Серия историческая

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

ВЫПУСК 5

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Томск — 1967

Редакционная коллегия сборника

А. И. Данилов (ответ. редактор), В. В. Иванов, Н. С. Черкасов

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Проф. А. П. Бычков (председатель, ректор университета), проф. В. А. Пегель (зам. председателя), доц. Ю. В. Чистяков (зам. председателя), проф. Г. Д. Суворов, директор издательства М. С. Змазнев, проф. Б. Г. Иоганзен, проф. В. Н. Кесенних, проф. П. П. Куфарев, проф. И. М. Разгон, проф. К. В. Савицкий, проф. М. В. Тронов, проф. В. А. Хахлов, проф. К. П. Ярошевский, проф. А. Р. Ананьев, проф. З. Я. Бояршинова, доц. М. А. Кривов, проф. А. И. Ким, проф. Г. И. Назаров, проф. Н. В. Прикладов, проф. В. В. Серебренников, директор научной библиотеки М. Р. Филимонов, проф. В. С. Флеров, проф. Р. Н. Щербаков, секретарь парткома доц. М. П. Кортусов.

Индекс 1-6-1

СТАТЬИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. И. ЛЕНИНА 1905—1907 гг.

В. В. ИВАНОВ

К числу важных проблем методологии общественного познания принадлежит проблема взаимоотношения истории и современности. Это объясняется не только гносеологическим значением решения данной проблемы, но и тем, что она находится в тесной связи с такими вопросами, как социальная функция науки, объективность и партийность познания, актуальность исторических исследований и др. Не случайно, проблема соотношения истории и современности так остро дискутируется в буржуазной литературе, подвергаясь различным формам идеалистической, в особенности позитивистской, интерпретации[1]).

Ценный материал для научного осмысления проблемы взаимоотношения истории и современности содержат произведения В. И. Ленина, написанные в годы первой буржуазно-демократической революции в России. В. И. Ленин отмечал, что эта революция «чрезвычайно много сделала для политического обучения масс рабочих и крестьян», что без такой «генеральной репетиции», как в 1905 году, революция в 1917 как буржуазная, февральская, так и пролетарская, Октябрьская были бы невозможны»[2]).

Следует отметить, что проблема взаимоотношения истории и современности[3]), будучи одним из частных вопросов методологии общественной науки, вместе с тем в гносеологическом плане является весьма сложной и многогранной проблемой, так же, как сложна и многогранна эта связь в самой объективной действительности. В данной статье сделана

---

[1]) См., например. I. Graeybeck. La notion d' «importance» à la lumere de l'histoire moderne. «Revue de l'institut de Sociologie», 1963, N 4, p. 801—819; A. Simon. L'objectivite en histoire. Ibid., p. 857—876. L'histoire et ses interpretations. Paris, 1961; A. M. Schlesinger. In retrospect: the History of a historian. New York. 1963 (preface) L. Febvre. Combats pour l'histoire. Paris. 1953, p. 6—15. M. Bloch. Apologie pour l'histoire ou metier d'historien. Paris, 1949, p. 2—16 и др.

[2]) В. И. Ленин. Третий Интернационал и его место в истории. ПСС, т. 38, стр. 306.

[3]) Некоторые аспекты проблемы уже ставились в специальной марксистской литературе. См.: Е. М. Жуков. История и современность. «Коммунист», 1959, № 1; Ю. А. Поляков. Коммунистическое воспитание и история. «Вопросы истории», 1963, №7; Л. Б. Черепнин. История и современность в работах В. И. Ленина послеоктябрьского периода. «История СССР», 1963, № 2; А. И. Данилов. Марксистско-ленинская теория отражения и историческая наука. «Средние века», вып. 24, 1963. См. также: Н. К. Стефанов. Вопроси на методологията на историческата наука. София, 1962; С. Bobinska. Historik, fakt, metods. Warszawa, 1964. Сб. «L'historien face a son temps». Paris, 1962.

попытка рассмотреть лишь один важнейший аспект проблемы — принципы использования исторического опыта в ленинской методологии познания современных явлений социальной жизни (по произведениям 1905—1907 гг.).

**
*

Теоретические обобщения В. И. Ленина всегда основывались на детальном изучении самой истории, истории прошлого и настоящего. Эта черта характеризует, как неоднократно отмечалось в нашей литературе[4]), отношение В. И. Ленина к историческому опыту вообще и разработку им тактических и стратегических задач пролетариата в первой русской революции, в частности.

Подобная констатация, совершенно правильная по своему существу, не исчерпывает, однако, всех аспектов проблемы. Для В. И. Ленина характерно не абстрактное признание роли исторического опыта («уроков истории», «уроков восстания», «уроков и опыта нашего движения» и т. д.), а исследование существенной основы и закономерностей его использования в революционной практике, а это предполагает глубокое осмысление взаимоотношений истории и современности. Для познания современной действительности недостаточно лишь одного непосредственного обращения к ней самой, так как последняя есть результат исторического развития, воплощающий в себе разносторонние, сложные связи прошлого с настоящим, настоящего с будущим. Социальная практика всегда находится в процессе постоянного изменения, развития, сложного и противоречивого в своей сущности. Этим объясняется, в конечном счете, и сложность проблемы взаимозависимости истории и современности.

В диалектико-материалистическом понимании современность выступает как составная часть истории. Поясняя отношение К. Маркса к вопросам общественного познания, В. И. Ленин указывал, что современные социальные отношения могут быть правильно и с необходимой полнотой поняты лишь с исторической точки зрения. «...то, что происходит все с большей и большей быстротой перед нашими глазами, есть тоже история»[5]).

С другой стороны, с точки зрения марксистской теории исторического прогресса, признающей поступательное развитие общества и усложнения социальной жизни[6]), будет правильным утверждать, что история не тождественна с современностью, точно так же, как последняя не сводится к первой. Прежде всего объективное содержание социальных явлений в каждую историческую эпоху будет отличаться в количественном и качественном отношении, оно не остается неизменным. Следует учесть и то, что в историческом знании, следовательно, и в самой истории, есть такие аспекты, которые не имеют в настоящем непосредственного практического значения, но которые могут приобрести актуальность в будущем. Современность также не всегда реализует те возможности, которые открывает ей история. Из этого вытекает, с одной стороны, единство истории и современности, означающее единство исторического процесса; с другой стороны, их противоположность, но «эта противоположность

---

[4]) См. об этом. М. С. Персов. Историческое обоснование идеи гегемонии пролетариата в работах В. И. Ленина накануне и в период революции 1905—1907 гг. «Ученые записки» (Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского), т. IV. Саратов, 1956, стр. 3—84; его же: В. И. Ленин об использовании исторического опыта буржуазных революций. «История и историки». М. 1965, стр. 28—46. Коллективные исследования: История Коммунистической партии Советского Союза. т. 2, М., 1966; Очерки истории исторической науки в СССР, т. III, М., 1963 и др.

[5]) В. И. Ленин. Некритическая критика. ПСС, т. 3, стр. 631.

[6]) См. К. Маркс, Ф. Энгельс. Святое семейство. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 90.

не абсолютна, эта грань не мертвая, а живая, подвижная грань, которую надо уметь определить в каждом отдельном конкретном случае»[7]).

Непонимание диалектики истории и современности или механическое ее истолкование В. И. Ленин считал серьезным пороком в методологии познания конкретных исторических явлений, несовместимых с объективно-научной оценкой исторического опыта.

Подчеркивая положение о диалектическом единстве истории и современности, В. И. Ленин указал на две стороны проблемы[8]). Во-первых, современность сама должна быть рассмотрена как развивающаяся историческая действительность. Это значит, что изучение исторического прошлого с высоты современности делает знание о прошлом более концентрированным, полным в том смысле, что оно включает в себя информацию и об отдаленных последствиях событий. Во-вторых, знание истории прошлого, в свою очередь, способствует более глубокому пониманию тенденций современного общественного развития.

В статье «Опыт классификации русских политических партий» В. И. Ленин писал: «Наше дело — научиться понимать настоящее»[9]). Непременным, важнейшим условием решения этой задачи В. И. Ленин считал всесторонний, тщательный анализ ведущих тенденций развития социальных отношений в стране в революционную и предшествующую ей эпоху, учитывая при этом, что особенно важно подчеркнуть, и временные особенности «переживаемого момента, когда чрезвычайно обострилась революционная борьба, когда практически крайне трудно отделить защиту самодержавия от защиты во что бы то ни стало монархии, когда группировка по экономическому признаку (за прогрессивный и за реакционный капитализм), естественно, перекрещивается политической группировкой (за теперешнее правительство и против него)»[10]). В работе «О боевом соглашении для восстания», отвергая лозунг эсеров об «единении всех» во имя «социалистической солидарности», В. И. Ленин указывал, что это всего лишь фраза, не вытекающая из уроков истории[11]). Эту мысль он проводит и в другом месте: «...мы должны все внимание направить на точное, выведенное из *данных истории* нашей революции различение либерально-монархической и революционно-демократической буржуазии, на различие между кадетами, энесами и эсерами, если говорить конкретнее»[12]).

Опыт прошлого должен способствовать более глубокому познанию «опыта настоящего[13])», указывал В. И. Ленин. В работе «Революционные дни» (январь, 1905 г.), говоря о первых днях революции, он подчеркивал необходимость изучения конкретного хода исторических событий, анализа их. Мы, писал В. И. Ленин, должны «подводить итоги, делать выводы, почерпать из опыта сегодняшней истории уроки...». Он призывал социал-демократов «делать постоянное дело публицистов — писать историю современности»[14]).

В работах «Начало революции в России», «Трепов хозяйничает», «Петербург после 9-го января», «Две тактики», «Первые уроки» и в ряде

---

[7]) См. В. И. Ленин. По поводу юбилея, т. 20, стр. 167. (Это положение В. И. Ленин применяет для характеристики соотношения революции и реформы.— В. И.).

[8]) См. В. И. Ленин. Партизанская война. ПСС, т. 14, стр. 1—12.

[9]) В. И. Ленин. ПСС, т. 14, стр. 26.

[10]) Там же, стр. 27.

[11]) См. В. И. Ленин. ПСС, т. 9, стр. 275.

[12]) В. И. Ленин. Социал-демократия и избирательные соглашения. ПСС, т. 14, стр. 78.

[13]) В. И. Ленин. ПСС, т. 9, стр. 208.

[14]) Там же, стр. 208—209, 218

других В. И. Ленин неоднократно выдвигал следующее методологическое требование: «конкретный анализ конкретной ситуации» должен содержать в себе знание о прошлом, т. е. анализ текущего момента и использование исторического опыта неразрывно связаны между собой. Большое познавательное значение такого подхода не подлежит сомнению. Как известно, ход событий в первой русской революции отличался большим динамизмом, сложным переплетением общественных противоречий на разных этапах борьбы с самодержавием. Например, сложившаяся после декабрьского (1905 г.) вооруженного восстания обстановка характеризовалась начавшимся спадом революции и развертыванием наступления контрреволюции. В связи с этим большевики поставили задачу изучения изменившихся условий и выбора наиболее правильных и соответствующих новым условиям тактических приемов борьбы. Тогда в социал-демократической печати со всей актуальностью встал вопрос о массовой партизанской борьбе[15]).

Меньшевики партизанскую борьбу считали ошибкой, анархизмом и т. д. Большевики дали принципиальную оценку этому средству массовой борьбы, хотя и не переоценивали его значения. Анализируя опыт революции в России и изучая положение, создавшееся в стране к осени 1906 г., В. И. Ленин писал: «Партизанская борьба есть неизбежная форма борьбы в такое время, когда массовое движение уже дошло на деле до восстания и когда наступают более или менее крупные промежутки между «большими сражениями» в гражданской войне»[16]).

Показательно и то, что после поражения декабрьского вооруженного восстания В. И. Ленин призывал пролетариат извлечь из него соответствующие уроки. Марксистскую оценку сложившейся социально-политической обстановки в стране он считал необходимым условием для выработки научно-обоснованных тактических лозунгов: «...выучили, но не поняли. Зазубрили, но не продумали. Букву, но не смысл усвоили»[17]), — писал В. И. Ленин о меньшевиках, не сумевших правильно оценивать конкретно-историческую обстановку.

Деятельность пролетарских революционеров должна основываться на конкретном анализе исторического опыта, учил В. И. Ленин. Говоря, что реакция усиленно старается «заставить население забыть те формы борьбы, формы организации, те идеи, те лозунги, которые в таком богатстве и разнообразии рождала революционная эпоха»[18]), В. И. Ленин неоднократно указывал на значение революционного опыта российского пролетариата в борьбе с самодержавием. Он писал: «На русскую социал-демократию, несомненно, ложится обязанность самого тщательного и всестороннего изучения нашей революции, распространения в массах знакомства с ее формами борьбы, формами организаций и пр., укрепление революционных традиций в народе, внедрение в массы убеждения, что единственно и исключительно революционной борьбой можно добиться сколько-нибудь серьезных и сколько-нибудь прочных улучшений, неуклонное разоблачение всей низости тех самодовольных либералов, которые заражают общественную атмосферу миазмами «конституционного» низкопоклонства, предательства и молчалинства»[19]).

---

[15]) См. В. И. Ленин. Партизанская война. ПСС, т. 14, стр. 1. Ср. В. И. Ленин. ПСС, т. 13, стр. 365.

[16]) В. И. Ленин. Партизанская война. ПСС, т. 14, стр. 7. Ср. В. И. Ленин. Заметки по поводу № 1 «Социал-демократа». ПСС, т. 14, стр. 28.

[17]) В. И. Ленин. Материалы к статье «Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». ПСС, т. 10, стр. 368.

[18]) В. И. Ленин. Против бойкота. ПСС, т. 16, стр. 25.

[19]) Там же, стр. 26. Далее В. И. Ленин сделал весьма интересное замечание, показывающее его отношение к историческому опыту. «Один день октябрьской стач-

Таким образом, исторический опыт у В. И. Ленина органически входит в процесс изучения злободневных политических вопросов современности. Исторический опыт, по его мысли, это синтез объективно-научных знаний о явлении (процессе, событии и т. д.), взятом в диалектическом движении и в связи с конкретными условиями его становления.

В полемике со Струве, Милюковым и др. (которые «соперничают друг с другом в подлом оплевывании революционных традиций русской революции»)[20]). В. И. Ленин указывал, что только объективно, научно осмысленный опыт прошлого и настоящего может послужить фундаментом для современной политической практики. Характеризуя отношение либералов к опыту первой русской революции, он в работе «Против бойкота» отводит значительное место изучению действительного хода революции, ее связи с предшествующей социально-политической борьбой в стране, а также изменения расстановки классовых сил в процессе революционной борьбы.

В произведениях 1905—1907 гг., исследуя характер, движущие силы первой в стране буржуазно-демократической революции, В. И. Ленин многократно обращался к опыту западноевропейского освободительного движения, что помогало глубже понять общие и особенные черты буржуазно-демократической революции в России, определить ее место в мировом историческом процессе. «Исторический опыт Запада» для В. И. Ленина—это не простая сумма примеров, аналогий, экскурсов. В ходе сравнительно-исторического изучения он выяснял однотипность исследуемых процессов, событий, их специфичность и существенные особенности, присущие им. В работе «Революция типа 1789 или типа 1848 года?» В. И. Ленин указывал, что исторические параллели с революциями XVIII и XIX вв. не означают их отождествления с первой русской революцией: «...суждена ли нам революция типа 1789 или типа 1848 года? (говорим *типа,* чтобы устранить нелепую мысль о возможности повторения безвозвратно минувшей социально-политической и международной ситуации 1789 и 1848 годов)»[21]).

Аналогичен ход мыслей В. И. Ленина и в другой статье «Проект программы нашей партии» (1899). «Крестьянский вопрос в России существенно отличается от крестьянского вопроса на Западе, но отличается *только тем,* что на Западе речь идет почти исключительно о крестьянстве в капиталистическом, буржуазном обществе, а в России — главным образом о крестьянине, который не менее (если не более) страдает от *докапиталистических* учреждений и отношений, страдает от *пережитков крепостничества*»[22]).

Использование опыта западноевропейской истории в обосновании данного положения имеет существенное значение. Россия конца XIX века не имела еще примеров совместного выступления рабочих и крестьян. Поэтому научный анализ тогдашней российской действительности сочетался и дополнялся изучением опыта революционной борьбы трудящихся западноевропейских стран, нашедшего свое научно-теоретическое обобщение во многих работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Так, анализируя летопись классовой борьбы во Франции 1848—1950 гг., К. Маркс вполне определенно писал о подтвержденной практикой необходимости союза рабочих с непролетарскими трудящимися массами:

ки или декабрьского восстания во сто раз больше значил и значит в истории борьбы за свободу, чем месяцы лакейских речей кадетов в Думе о безответственном монархе и монархически-конституционном строе» (Там же).

[20]) В. И. Ленин. Против бойкота. ПСС, т. 16, стр. 25—26.

[21]) В. И. Ленин. ПСС, т. 9, стр. 380.

[22]) В. И. Ленин ПСС, т 4, стр. 226—227.

«Французские рабочие не могли двинуться ни на шаг вперед, не могли ни на волос затронуть буржуазный строй, пока ход революции не поднял против него, против господства капитала, стоящую между пролетариатом и буржуазией массу нации, крестьян и мелких буржуа, и не заставил их примкнуть к пролетариям как к своим передовым борцам»[23]). Эту мысль К. Маркс подчеркивал и в письме Ф. Энгельсу от 16 апреля 1851 года: «Все дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием Крестьянской войны. Тогда дела пойдут превосходно»[24]).

Определяя принципы познания современных явлений и общественных вопросов, В. И. Ленин в качестве важнейшего выдвинул требование рассматривать явления «лишь в связи с конкретным опытом истории»[25]). Поэтому для ленинской трактовки совершенно чуждо какое-то бы ни было противопоставление истории и современности, рассмотрение последней в отрыве от первой. Такой прием в значительной степени был присущ меньшевикам, несостоятельность взглядов которых на русскую революцию глубоко раскрыл В. И. Ленин.

Антиисторичность позиций меньшевиков в вопросе первой русской революции прежде всего заключалась в том, что они русскую революцию механически отождествляли с буржуазными революциями на Западе. Меньшевики к опыту революций XVII—XVIII вв., указывал В. И. Ленин, подходили софистически, прибегая к плоским, вульгарным историческим аналогиям. Именно поэтому им осталась неясной действительная роль пролетариата в буржуазно-демократической революции. «Плеханов в своих вопросах оперирует со *старым шаблоном* буржуазной демократии, не более того, — писал В. И. Ленин, — Он употребляет затасканное слово, совершенно забывая определить на основании *русских* данных, какой *степенью* демократизма, какой *прочностью* его и т. д. обладают те *различные слои,* которые теперь в России выступают в качестве буржуазной демократии»[26]).

Непонимание характера исторической эпохи и своеобразия обстановки, в которой протекала русская революция, обусловило половинчатость, непоследовательность тактической линии меньшевиков, их отрицательное отношение к восстанию и другим выработанным в годы революции новым формам борьбы.

Оценка характера и задач первой русской революции у меньшевиков не основывалась на конкретно-историческом анализе политической ситуации, текущего момента. В этом В. И. Ленин видел основной порок меньшевистского подхода. Марксизм, писал он, «требует безусловно *исторического* рассмотрения вопроса о формах борьбы. Ставить этот вопрос вне конкретно-исторической обстановки значит не понимать азбуки

---

[23]) К. Маркс. Классовая борьба во Франции. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 17.

[24]) См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 29, стр. 37. В «Предисловии к русскому переводу книги «Письма И. Ф. Беккера, И. Дицгена, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. Зорге и др.». В. И. Ленин также вполне определенно указывал на значение эпистолярного наследия основоположников научного коммунизма и деятелей западноевропейского рабочего движения для осмысления вопросов русской революции: «Сравнение того, как высказывались Маркс и Энгельс по вопросам англо-американского и немецкого рабочего движения,— писал он,— чрезвычайно поучительно. Если принять во внимание, что Германия, с одной стороны, Англия и Америка, с другой, представляют из себя различные стадии капиталистического развития, различные формы господства буржуазии как класса, во всей политической жизни этих стран,— то указанное сравнение приобретает особенно большое значение» (В. И. Ленин. ПСС, т. 15, стр. 232).

[25]) См. В. И. Ленин. ПСС, т. 49, стр. 329.

[26]) В. И. Ленин. Пролетариат и его союзник в русской революции. ПСС, т. 14, стр. 182.

диалектического материализма»[27]). Для того, чтобы правильно определить тактику, недостаточно абстрактных ссылок на «европейский опыт» освободительного движения, как это делали меньшевики, а необходимо тщательное изучение собственного опыта, анализа его связей с предшествующим историческим развитием.

Нельзя, однако, абсолютизировать исторический опыт прошлого. Дело не только в том, что последний всегда ограничен рамками своей исторической эпохи, но и в том, что сам исторический опыт требует к себе исторического отношения. Попытки применить опыт прошлого без анализа конкретной исторической обстановки к решению современных вопросов, предпринятые меньшевиками, не дали и не могли дать положительных результатов, поскольку такой прием, по существу, означал механизм в методологии, познавательные возможности которого, конечно, весьма ограничены по сравнению с диалектическим подходом к вопросу.

Этот вывод следует из ленинской оценки принципиально различного отношения большевиков и меньшевиков к парламентской тактике. Последние, ссылаясь на то, что западноевропейская социал-демократия придерживается парламентской тактики (что было понятным в условиях, создавшихся после поражения Парижской Коммуны), переоценивали значение этой формы борьбы и в российских условиях. Большевики, отнюдь не отвергая парламентаризма вообще, рассматривали его как подчиненную общим интересам революционного движения форму борьбы. В. И. Ленин указывал, что «обязанность хранить революционные традиции требует в то же время анализа условий их применения, а не простого повторения революционных лозунгов, имевших значение при особых условиях»[28]). Он отстаивал ту мысль, что марксистская, действительно революционная партия должна овладеть всеми формами борьбы и уметь выбирать те тактические приемы, в которых наиболее полно отражен исторический опыт и которые соответствуют условиям текущего момента. Это требование вытекает из сущности марксизма, как научной доктрины, которой органически присущ исторический реализм и в то же время чуждо игнорирование опыта современной социальной практики. «Безусловно враждебный всяким отвлеченным формулам, — писал В. И. Ленин,— всяким доктринерским рецептам, марксизм требует внимательного отношения к идущей *массовой* борьбе, которая с развитием движения, с ростом сознательности масс, с обострением экономических и политических кризисов порождает все новые и все более разнообразные способы обороны и нападения...»[29]). Для точного определения значения этих способов борьбы необходимо учесть все объективные и субъективные условия момента, учесть степень подготовленности и организованности масс, их настроение[30]).

С точки зрения рассматриваемой проблемы, чрезвычайно интересно следующее ленинское положение, в котором подчеркнута одна особенность оппортунистического отношения к историческому опыту: «Оппортунизм, — писал В. И. Ленин, — есть принесение длительных и существенных интересов партии в жертву ее минутным, преходящим, второстепенным интересам»[31]). «Оппортунист» — не полемическое выражение, а

---

[27]) В. И. Ленин. Партизанская война. ПСС, т. 14, стр. 2.

[28]) В. И. Ленин. ПСС, т. 16, стр. 474 В одной из работ, написанных после Октябрьской революции, В. И. Ленин писал: «Теперь не до истории, могут сказать, пожалуй. Да, если неразрывной, непосредственной практической связи прошлого с настоящим по известному вопросу нет, тогда допустимо утверждение подобного рода» (См. К истории вопроса о несчастном мире. ПСС, т. 35, стр. 243).

[29]) В. И. Ленин. Партизанская война. ПСС, т. 14, стр. 1.

[30]) См. там же, стр. 5—9.

[31]) В. И. Ленин. Русский радикал задним умом крепок. ПСС, т. 14, стр. 35.

понятие, имеющее вполне определенное политическое значение. Типичные черты оппортуниста — «податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, политическая близорукость и бесхарактерность»[32]). В. И. Ленин замечает, что эти черты в поведении оппортуниста не являются случайными: они обусловлены непониманием конкретных форм революционной борьбы, определяемых «предыдущим историческим развитием»[33]), нежеланием или неумением шаг за шагом готовить условия для победы пролетариата и трудящихся масс. Разоблачая политическую беспринципность и скептицизм деятелей меньшевизма по отношению к опыту буржуазно-демократической революции в России, В. И. Ленин отмечает: «Доктрина Маркса связала в одно неразрывное целое теорию и практику классовой борьбы. И тот не марксист, кто теорию, трезво констатирующую объективное положение, извращает в оправдание существующего, доходя до стремления подделаться поскорее к каждому временному упадку революции, бросить поскорее «революционные иллюзии» и взяться за «реальное» крохоборство»[34]).

Таким образом, узость, механистичность и однобокость меньшевистского понимания исторического опыта находили свое выражение в отсутствии последовательного историзма, методологическая функция[35]) которого весьма значительна в утверждении диалектического единства истории и современности. В противоположность меньшевистской интерпретации, В. И. Ленин вопрос о русской революции рассматривал как конкретно-исторический вопрос изменившейся социальной действительности, т. е. как конкретный вопрос данного конкретного периода русской и мировой истории (в ее связи с прошлым и учетом тенденций будущего развития). Меньшевики же не пошли дальше констатации буржуазного, «общенационального» характера революции. «Вместо слишком общих и слишком легко поддающихся буржуазному извращению фраз об «общенациональной буржуазной революции» мы должны анализировать конкретное положение точно определенных классов и партий в различные моменты революции»[36]), — указывал В. И. Ленин.

Конкретно-исторический подход к вопросам первой русской революции, всесторонний критический анализ ее опыта в совокупности с опытом освободительного движения на Западе — эти моменты характеризуют с важнейшей стороны ленинскую методологию научного исследования. В. И. Ленин обогатил и развил марксистскую теорию социальной революции. В его трудах, написанных в 1905—1907 гг., содержались важнейшие положения о революционном переустройстве общества, о гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции, о союзе рабочего класса с крестьянством, о роли марксистской партии в руководстве революционным движением, о революционной диктатуре пролетариата и крестьянства, о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую. Все эти положения основывались на самом опыте истории.

---

[32]) Там же.

[33]) Там же.

[34]) В. И. Ленин. Предисловие к русскому переводу писем Маркса к Кугельману. ПСС, т. 14, стр. 375.

[35]) Она определяется общим значением данного принципа в познании. Поскольку историзм требует отражения общих и специфических черт в социальных явлениях в процессе их развития, постольку он является необходимой предпосылкой для понимания взаимозависимости, существующей между историей и современностью на каждом конкретном этапе общественного развития. См. об этом подробнее: В. В. Иванов. Принцип историзма в произведениях В. И. Ленина 90-х годов. Томск, 1966, стр. 3—20.

[36]) В. И. Ленин. Обывательщина в революционной среде. ПСС, т. 14. стр. 51.

В полемике с меньшевиками о тактических вопросах и объективном содержании первой русской революции В. И Ленин обосновал положение о диалектическом единстве истории и современности, а отсюда о недопустимости для марксистов нигилистического отношения к историческому опыту. Он подчеркнул также, что марксистское понимание соотношения истории и современности исключает абсолютизацию опыта прошлого, при которой «исторический опыт» («история») служит средством оправдания уже несоответствующих новым условиям норм социальной практики.

***

Положение о том, что современность — составная часть истории, не означает тождественности процесса познания современности и истории. Напротив, познание каждой из этих сторон действительности, подчиняясь общим диалектическим закономерностям, будет иметь существенные особенности. Познание современности одновременно совпадает и не совпадает с познанием истории. Совпадает постольку, поскольку познание современности есть вполне определенное звено в объективном знании о социальной действительности в целом. Однако познание современности включает в себя и новый объем знаний, отражающий новые, отсутствующие ранее специфические стороны современных социальных явлений (само собой разумеется, и знание о ранее известных сторонах также изменится в соответствии с современным уровнем научного познания). В этом смысле познание современности с познанием истории, конечно, не совпадает.

Вторая особенность познания современности заключается в том, что объектом его является находящаяся в процессе развития действительность: отсюда неполнота и ограниченность отражения современных явлений и процессов[37]). При этом знание о современности по своему содержанию является объективным, позволяющим понять внутреннюю связь, закономерность исследуемых процессов, раскрыть их сущность, предвидеть наиболее существенные тенденции развития.

Как известно, в книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин убедительно доказал классовые антагонизмы в стране и дал глубокое обоснование положения о союзе рабочего класса и крестьянства. Это было возможным лишь на основе исторического анализа конкретных социально-экономических отношений России конца прошлого столетия, т. е., по существу, России предреволюционной. В предисловии ко второму изданию книги (июль, 1907 г.) В. И. Ленин писал: «Тот анализ общественно-хозяйственного строя и, следовательно, классового строения России, который дан в настоящем сочинении на основании экономического исследования и критического разбора статистических сведений подтверждается теперь открытым политическим выступлением всех классов в ходе революции»[38]).

Знание о современности не стоит на месте, оно углубляется, обогащается. Развитие этого знания происходит как в силу прогресса в науке, так и в силу развития самой действительности. В этом плане следует отметить, что практический опыт первой русской революции не только подтвердил ленинскую концепцию об экономике и классовой структуре России в эпоху капитализма, но и способствовал дальнейшему ее развитию. Об этом вполне определенно писал В. И. Ленин в работе «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—

[37]) См. подробнее: Г. М. Иванов. Своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке. «Вопросы истории», 1962, № 12.

[38]) В. И. Ленин, ПСС, т. 3, стр. 13.

1907 гг.». Он отмечал, что при подготовке первой программы партии была преувеличена степень развития капиталистических отношений в земледелии. Оценивая ретроспективно выводы о социально-экономическом строе русской деревни, содержащиеся в произведениях конца прошлого (в том числе и в книге «Развитие капитализма в России») и начала XX века, В. И. Ленин указывал: «Мы предположили, что элементы капиталистического земледелия уже вполне сложились в России... Остатки крепостного права казались нам тогда мелкой частностью, — капиталистическое хозяйство на надельной и на помещичьей земле — вполне созревшим и окрепшим явлением.

Революция разоблачила эту ошибку. Направление развития, определенное нами, она подтвердила»[39]).

Следовательно, знание о современности, не претендуя на абсолютную полноту и отражение всех аспектов данного исторического процесса (тем более, всех его конечных последствий), по своей природе может и должно дать объективное, выведенное из данных истории представление о характере и закономерностях общественного развития.

[39]) В. И. Ленин. ПСС, т. 16, стр. 268—269.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И РАЗВИТИИ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА

В. В. ИВАНОВ

Проблема сравнительно-исторического метода привлекает все большее внимание ученых, специализирующихся в самых различных областях науки. Специфический интерес к этой проблеме со стороны историков объясняется не только тем, что сам метод генетически связан с историческим познанием, но, главным образом, тем, что она имеет важнейшее значение с точки зрения современных задач теории и практики исторической науки. На это неоднократно указывалось за последние годы в научной литературе, а также на конференциях и сессиях, посвященных актуальным конкретно-историческим проблемам[1]). Вместе с тем, в нашей философской и исторической литературе данная проблема не нашла достаточного освещения. Некоторые ее аспекты прежде всего в плане характеристики конкретной методики исследования ставились в отдельных монографиях[2]). Что же касается специальных работ, то они немногочисленны[3]). Особо следует выделить недавно появившуюся статью Э. С. Маркаряна[4]). Она — одна из первых попыток обобщенной постановки проблемы сравнительно-исторического метода. Специфический характер статьи обусловил то, что в ней преимущественное внимание уделено наиболее общим вопросам применения указанного метода, причем фактическую основу работы составил культурно-исторический материал (языковой, этнографический, отчасти исторический). В статье не ставилось задачи показать сравнительно-исторический метод в действии, в связи с самим опытом историографической практики.

[1]) См., напр., Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научной сессии «В. И. Ленин и историческая наука». Киев, 1965. Итоги и задачи изучения генезиса феодализма в Западной Европе (тезисы докладов на научной сессии). М., 1966. См. также статью Ю. В. Бромлея о научной сессии, посвященной изучению проблемы перехода от феодализма к капитализму в России («Вестник Академии наук СССР», 1965, № 9, стр. 114—116) и др.

[2]) См. напр., А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII веков. М., 1956; его же. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964; Б. Г. Сафронов. Ковалевский как социолог. М., 1960. См. также: Н. А. Рожков. Русская история в сравнительно-историческом освещении, т. 1—12. М.—Л., 1919—1926.

[3]) Е. С. Маркарян. О значении сравнительного метода в культурно-историческом познании. «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 4; О. С. Компан. Порівняльно-історичний метод і всесвітньо-історичний аспект дослідження пізнього феодалізму. «Украинський історичний журнал». 1966, № 1. По своему содержанию к этой теме близка статья А. Н. Чистозвонова «Исследовать явления в их исторической самобытности и связях» (сб. «Средние века», вып. VI, 1955).

[4]) Э. С. Маркарян. Об основных принципах сравнительного изучения истории». «Вопросы истории». 1966, № 7, стр. 18—31.

**
*

Место сравнительно-исторического метода в современной науке нельзя правильно понять и охарактеризовать без исторического подхода к самой проблеме. Ставя вопрос в историографическом плане (а это не только расширит фактическую основу рассмотрения темы, но и даст возможность уяснить некоторые общие моменты, связанные с применением сравнительно-исторического метода в историческом познании), необходимо отметить, что этот метод по-разному интерпретировался и применялся представителями самых различных школ и направлений в исторической науке в зависимости от теоретико-методологических взглядов и конкретных научно-исследовательских принципов, которых придерживались исследователи.

В историографии нового времени сравнительный метод впервые широкое распространение получил у просветителей. Последние, будучи представителями восходящей буржуазной общественной мысли, в своем большинстве рассматривали историю как объективный процесс, стремились найти определяющие его законы, выделить типичные черты исторического процесса. Этим в первую очередь и объясняется их настойчивое обращение к сравнительному методу. В просветительской историографии он должен был служить задаче построения всеобщей картины истории, выявлению общих закономерностей общественного развития. Таков, например, смысл многочисленных сравнений, к которым прибегал Вольтер в «Очерке о нравах и духе народов и главных событиях истории». Он отмечал не только различия (например, в религии), но и общие социальные факторы для стран Запада и Востока. С точки зрения философа-просветителя, недопустимо пренебрежительное отношение к материальному и духовному развитию восточных народов: они должны быть изучены (начиная с древнейших времен) в рамках всемирной истории[5]). Академик Е. А. Косминский справедливо указывал, что этот труд — «действительно первая, по-настоящему всемирная история. Вольтер здесь порывает с тем, что можно назвать европоцентризмом, он дает не только историю Европы, но и историю азиатских народов, историю Китая, Индии, Персии, арабов»[6]). Мысль о сравнительном изучении истории народов высказывалась и другими представителями идеологии просвещения (Монтескье, Дидро и т. д.), даже теми, которые вопросами исторического познания специально и не занимались. В этом отношении характерен труд К. А. Гельвеция « О человеке». Конечно, это не исторический трактат, но тем не менее автор в нем широко затрагивал проблемы общественного развития, рассматривая некоторые вопросы (законодательство и государственные формы в Афинах, Спарте в Китае, странах Западной Европы и др.) в сравнительном аспекте[7]).

---

[5]) F. Voltaire. Essai sur les moeurs et l'ésprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire.—Oeuvres compètes, vol 11. Paris, 1878, раздел «Discours préliminaire» и др.

[6]) Е. А. Косминский. Историография средних веков. М., 1963, стр. 199292. Небезынтересно отметить то, что положение о сравнительном изучении истории нашло отражение и в работах русских историков XVIII в., например, в исследованиях И. Н. Болтина См. об этом. Очерки истории исторической науки в СССР, т. I, М.—М., 1955, стр. 210—214. Историография истории СССР. М., 1961, стр. 104—106.

[7]) К. А. Гельвеций. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. М., 1938, раздел VII—IX, в частности стр. 348—353, 356—361. Показательно, что Гельвеций подобно Вольтеру, склонен в переоценке «восточных норм» общественной жизни, политических институтов, идеологических учреждений. Это видно, в частности, из его следующих рассуждений о католической церкви на Западе (Франция, Австрия), она не есть, по его мнению, опора государственной организации общества. «Известно,— пишет он,— в Китае, Индии и на всем Востоке троны твердыни

В целом же в просветительской историографии сравнительный метод сыграл значительную роль, способствуя выработке той концепции всемирной истории, которая объективно противоположна европоцентристской точке зрения на историю человечества. В то же время сравнительный метод просветителями не был и не мог быть специально осмыслен с точки зрения познавательных функций исторической науки: этот метод ими преимущественно рассматривался как сопоставительный прием. Возможно, это объясняется не только общим состоянием историографии и уровнем исторического мышления того времени, которые обусловили конкретные формы сравнительного изучения истории, но и тем, что сравнительно исторический метод, хотя и требует синтетического осмысления истории, но по своему содержанию и познавательным функциям неотделим от последовательного, конкретного анализа явлений. А такое комплексное решение проблемы выходило за рамки возможностей просветительской историографии и философии истории.

В дальнейшем у деятелей буржуазной общественной науки понимание сравнительно-исторического метода как в теоретическом, так и в практическом отношении претерпело значительные изменения; оно стало более сложным и противоречивым. В буржуазной историографии XIX века, особенно в последние его десятилетия, апелляции (в положительном и критическом планах) к сравнительно-историческому методу стали характерным явлением. Развитие тогда социально-экономической истории в известной степени не только подорвало традиционную ограниченность буржуазной науки в рамках политической, дипломатической, военной истории, но и с необходимостью потребовало соответствующего этой эволюции подхода к проблеме метода науки. В частности, такой подход практическое воплощение, по мнению буржуазных ученых, должен был получить в сравнительно-историческом методе. Многими историками, например, Ковалевским, Виноградовым, Лучицким, а еще раньше Маурером и другими основоположниками марковой теории, этот метод рассматривался как важнейший способ исследования экономических процессов и отношений. Конечно, при этом нельзя упускать из виду то обстоятельство, что само толкование проблемы сравнительно-исторического метода у буржуазных мыслителей всегда основывалось на философском идеализме в разных его вариантах, и поэтому ему присущи большие методологические изъяны.

Например, один из крупных медиевистов конца XIX начала XX вв., известный исследователь социально-хозяйственной истории Германии Георг фон Белов высказал некоторые интересные положения о познавательных функциях сравнительно-исторического метода, в частности, акцентировал внимание на необходимости выяснения своеобразия сравниваемых явлений и критического изучения соответствующих источников[8]).

Однако значение этих положений во многом снижается тем, что Г. фон Белов положительную роль метода ограничивает лишь аналитической стороной дела; в остальном он сводил его к сравнениям, аналогиям. С этих позиций Г. фон Белов критикует сам метод[9]). В таком понимании последний в лучшем случае выступает как вспомогательное средство в историческом исследовании. Таким образом, налицо противоречие: анализ логически не соотносится с синтезом.

своей собственной массой. Известно, с другой стороны, что на Западе именно попы низвергали троны, что религия порождала цареубийц чаще, чем честолюбие вельмож...» (см. там же, стр. 384).

[8]) G. Belov. Die deutsche Geschichteschreibung. München—Berlin, 1924, S. 152; его же: Die neue historische Methode. «Historische Zeitschrift», 1898. Bd. 81, S. 332—333.

[9]) Ibid.

Если подойти к вопросу с точки зрения выяснения теоретико-методологических основ исторического познания на каждом этапе его развития, то всегда можно обнаружить зависимость результативности применения сравнительно-исторического метода от идейно-теоретических позиций исследователей и, что очень важно, от того или иного уровня историографической практики и исторического мышления в целом. Историографическая деятельность таких ученых, как С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, М. М. Ковалевского в прошлом, М. Блока и «анналистов» в новейшее время, с очевидностью подтверждает это положение. Они придавали сравнительному методу большое познавательное значение[10]); им принадлежит заслуга плодотворного применения его в практике исторических исследований (например, в изучении социально-экономической истории, проблемы общины и др.).

Но и эти прогрессивные деятели буржуазной науки в силу классовой и мировоззренческой ограниченности не сумели дать надежных принципов сравнительно-исторического изучения социальных явлений. М. Блок, например, хотя и выступал против вульгарного использования сравнительного метода, тем не менее, самое проблему понимал слишком узко, зачастую сводил познавательные функции этого метода лишь к последовательному описанию сравниваемых явлений, к отысканию в них черт сходства и различия, т. е. по существу к эмпиризму и фактографии[11]).

Весьма ценным средством познания считал сравнительно-исторический метод и другой представитель буржуазной науки — Анри Пиренн. Этот метод, по мнению бельгийского историка, наиболее полно отвечает задаче «беспристрастного» изучения истории, причем последняя рассматривается им не в узких, национальных рамках, а в рамках единого и всеобщего развития общества. Правильно подчеркивая всеобщность истории, Пиренн вместе с тем допускал механические, неоснованные на историзме, сравнения[12]).

Однако при оценке сравнительного изучения истории буржуазными авторами нельзя упрощать проблему, надо исходить из реальной сложности использования ими этого метода, раскрывая одновременно не только ограниченность, но и присущие их научной практике рациональные моменты. Это относится, например, к некоторым представителям позитивистской методологии, выдвигавшим, как известно, отдельные плодотворные мысли о сравнительном методе изучения социальных явлений, мысли, идущие прежде всего в русле конкретной методики исследования.

Следует отметить и то, что в современной буржуазной науке проблема сравнительно-исторического метода стоит весьма остро. Даже в западногерманской историографии, для представителей которой более всего характерен индивидуализирующий подход к истории, этому методу придается весьма серьезное значение. Об этом свидетельствует статья

---

[10]) См., напр., С. М. Соловьев. История СССР с древнейших времен. Кн. I, М., 1959, стр. 55—58. См. также вводную статью Л. В. Черепнина. «С. М. Соловьев как историк»; там же В. О. Ключевский. Курс русской истории. М. 1956. Лекция 1. М. М. Ковалевский. Историко-сравнительный метод в юриспруденции. М., 1880; его же: Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. СПБ., 1905; его же: Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. Т. I, М., 1898; M. Bloch. Apologie pour l'histoire. Paris, 1949.

[11]) См. И. С. Кон, А. Д. Люблинская. Труды французского историка Марка Блока. «Вопросы истории», 1955, № 8, стр. 148—153; В. В. Иванов. К характеристике идейно-методических взглядов Марка Блока. «Методологические и историографические вопросы исторической науки». Вып. 3, Томск, 1965, стр. 95—107.

[12]) См. Об этом подробнее: Г. К. Садретдинов. Теоретико-методологические основы исторической концепции Анри Пиренна, Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки». Вып. 4, Томск, 1966.

Т. Шидера о сравнительно-историческом методе, опубликованная в ведущем органе западногерманских историков[13]). Автор далек от скептического отношения к роли сравнительно-исторического метода в познании. Напротив, роль этого метода, как средства универсально-исторического познания, представляется ему весьма значительной[14]).

В нашей литературе иногда встречается утверждение, будто бы среди буржуазных авторов интерес к сравнительно-историческому методу невелик[15]). Такой взгляд не может не вызвать возражений. В англо-американской, французской литературе этот метод постулируется как одно из эффективных орудий преодоления трудностей, переживаемых сегодня буржуазной наукой[16]). Актуальность сравнительно-исторического метода для буржуазных авторов объясняется также проникновением социологии в исторические исследования, что объективно расширяет масштабы применения этого метода в науке.

Наряду с интерпретацией сравнительно-исторического метода как необходимого средства конкретного, фактического изучения явлений, что свойственно в основном представителям социально-экономического направления, в буржуазной историографии существует еще умозрительно-конструктивное понимание данной проблемы. Здесь прежде всего имеются в виду сочинения представителей философско-спекулятивной историографии, таких как А. Тойнби и его последователей. Для них характерно вульгарное, механистическое толкование проблемы сравнительно-исторического метода[17]). Как не парадоксально, изложенную в многотомной книге «Исследование истории» научно несостоятельную концепцию[18]) А. Тойнби пытался представить как результат последовательного сравнительного анализа «цивилизаций».

Между тем, такая претенциозность лишена оснований. Эмпирическое сопоставление фактов из различных исторических образований, выхватывание компонентов, составляющих ту или иную общественную структуру, внешние, не вытекающие из исторического материала аналогии — вот к чему по существу сводится так называемый «сравнительно-исторический метод» А. Тойнби. Многократные апелляции к этому методу понадобились историку для придания внешней доказательности умозрительной, спекулятивной концепции об «эквивалентности» и «параллельности» цивилизаций. «Тойнби,— писал академик Е. А. Косминский, — за-

[13]) См. Th. Schieder. Möglichkeiten und Greuzen vergeichender Methoden in der Geschichtwissenschaft.—«Historiche Zeitschrift». Bd. 200, 1965, S. 529—551.

[14]) Ibid. S. 530—531, 541—542.

[15]) См., напр., О. С. Компан. Указ. соч. «Только некоторые буржуазные ученые сохранили интерес к сравнительно-историческому методу,— пишет О.. С. Компан,— В зависимости от особенностей мировоззрения они имеют больше или меньше успеха» (Там же, стр. 40).

[16]) См., напр., Ph. Bagby. History and Culture. Prolegomena to the Comparative study of civilization. Longmans, 1958; J. G. Pocock. The origins of study of the past: a comparative approch. «Comparative Studies in Society und History», vol, IV, 1962, N 2. L'Histoire et ses interprétations. Paris—La Haye, 1961. C. Quigley. The evolution of civilizations. New York, 1961; См. также: M. Bloch. Pour une histoire comparée des sociétés medivales. «VI-e Congrès international des sciences historiques». Oslo, 1928, p. 119—121. H. Pirenne. De la methode comparative en histoire. «Compte—rendu du V-e Congrés international des sciences historiques». Bruxelles. 1923. P. 19—32. A. Renaudet; L'oeuvre historique de Lucien Febvre. «Revue d'histoire moderne et contemporaine». Paris, 1956, t. III.

[17]) См. «Toynbee and History». Сб. статей. Boston, 1956; D. S. Somervell. A Study of History by A. I. Toynbee. Abribjement of vols VII—X. London, 1957.

[18]) См. об этом Е. А. Косминский. Реакционная историософия Арнольда Тойнби. В сб. «Проблемы английского феодализма и историографии средних веков». М., 1963; Э. А. Араб-оглы. К критике культурно-исторической концепции Арнольда Тойнби. «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 4; Э. С. Маркарян. О концепции локальных цивилизаций. Ереван, 1962.

ранее лишает себя возможности плодотворного применения сравнительно-исторического метода, отвергая основной, определяющий фактор для каждого общества, а именно его социально-экономическую структуру, и сваливая в одну кучу рабовладельческие, феодальные и капиталистические общества. Так, он берет за стандарт историю рабовладельческой «греко-римской» цивилизации и пользуется им при изучении феодального и буржуазного обществ «западной» цивилизации. При такой принципиальной неразборчивости сравнение может дать в результате лишь трюизм либо, как это принято у Тойнби, свестись к поверхностному сопоставлению явлений, лишь внешне отдаленно схожих, но в действительности имеющих совершенно разное значение в обществах разной социальной структуры. Особенно это относится к явлениям надстроечного характера, в частности к религиям, которые положены автором в основу определения «цивилизации»[19]).

Из спекулятивного или механистического применения сравнительно-исторического метода в буржуазной науке (равно как и из отдельных случаев неправильного использования его в советской историографии) вовсе не следует вывод об отсутствии научно-познавательного содержания самого метода. Это было бы упрощенчеством, равносильным отрицанию того, что с сравнительно-историческим изучением общественных проблем связаны и определенные положительные традиции в науке, в ее прошлом и настоящем.

Марксисты не могут встать на подобную позицию. Сам факт вульгарного, ненаучного использования этого метода авторами-немарксистами в современных условиях было бы правильнее рассматривать как одно из проявлений кризиса буржуазного исторического мышления, как подтверждений той истины, что методологические вопросы науки неразрешимы с позиций философского идеализма. Это же обстоятельство диктует необходимость марксистской разработки данной проблемы в разных ее аспектах, прежде всего, в плане методологии и методики исторического исследования.

Как известно, материалистическая диалектика в марксистском познании выступает как всеобщий метод. Вместе с тем каждая наука в соответствии со спецификой объекта имеет свой метод. Метод исторической науки (иногда употребляется и термин «исторический метод», но последний может иметь и другое, специфическое содержание, как исторический способ исследования, в отличие от логического) выступает как конкретизация и приложение общего философского метода к области исторического познания.

Однако такая констатация дает лишь общее понимание проблемы метода науки. Его необходимо конкретизировать, углублять, изучая и анализируя те конкретные средства и приемы исследования, с помощью которых специальный метод науки получает свое практическое воплощение. Среди них особое место занимает сравнительно-исторический подход к объекту исследования, который весьма характерен для многих областей современного научного познания (филологии, психологии, географии, геологии и др.), в особенности, общественного, исторического.

Основные последовательно научные принципы применения сравнительно-исторического метода в общественном познании впервые нашли свое освещение в трудах классиков марксизма-ленинизма. Буржуазная историография, основывающаяся на идеалистических социально-философских теориях, хотя нередко и апеллировала к сравнительному изучению истории, не смогла, однако, выработать научного фундамента ис-

[19]) Е. А. Косминский. Указ. соч., стр. 340—341.

пользования этого метода. Таким фундаментом явилось лишь открытие основоположниками научного коммунизма материалистического понимания социальной жизни, рассматривающего общественное развитие как естественно-исторический процесс. Благодаря этому открытию, стало возможным применять к общественным явлениям общенаучный критерий повторяемости, раскрыть объективную связь и взаимодействие различных сторон этих явлений. Данное положение с точки зрения рассматриваемой проблемы заслуживает особого внимания. Для научно-эффективного применения сравнительно-исторического метода важно не только признание единства исторического процесса (формально это могут сделать и некоторые идеалисты, например, А. Тойнби), но и последовательное выяснение объективной сущности социальных явлений на основе признания объективного характера общественного развития. Эта мысль подтверждается многочисленными примерами из практики научной деятельности самих классиков марксизма-ленинизма.

Как известно, в 50-е годы XIX в., особенно во второй половине десятилетия, К. Маркс весьма интенсивно занялся социально-экономическими исследованиями, обращая особое внимание на обобщение своих мыслей о методе в общественной науке. В рукописях 1857—1858 гг. содержится много ценных положений, которые имеют непосредственное отношение и к вопросу о сравнительно-историческом методе в общественном познании[20]). В статье «Формы, предшествующие капиталистическому производству» (август 1857 — март 1858 гг.) К. Маркс, рассматривая первобытное общество, сравнивал славянские общины, общины в Мексике, в Перу, древних кельтов, Индии и др. Характеризуя общины как коллективные формы производства, К. Маркс пишет, что в них «основой развития является *воспроизводство заранее* данных (в той или иной степени естественно сложившихся или исторически возникших, но ставших традиционными) отношений отдельного человека к его общине и *определенное,* для него *предопределенное, объективное* бытие, как в смысле его отношения к своим товарищам по труду, соплеменникам и т. д...»[21]). Как видно, К. Маркс рассматривает общины в историческом разрезе и выясняет их объективное содержание как коллективных форм производства. Вместе с тем, он указывает, что общие черты не исключали обилия форм общин у разных племен и существующих различий в самих общинах[22]). Несомненно, при таком подходе сравнительно-историческое изучение приобретает весомую доказательную силу, оно нацелено на тщательный и углубленный анализ исторических вопросов, на выяснение объективной сущности каждого социального явления во всем его конкретном выражении.

Вспомним данный Ф. Энгельсом анализ трех главных форм возникновения государства. Прослеживая и сравнивая процесс разложения греческого, римского и германского родов, Ф. Энгельс не только выясняет общие экономические условия, подорвавшие родовую организацию общества, а устанавливает особенности этого процесса в каждом отдельном случае. «Афины, — писал он, — представляют собой чистую, наиболее классическую форму: здесь государство возникает непосредственно и преимущественно из классовых противоположностей, развивающихся внутри самого родового общества. В Риме родовое общество превраща-

[20]) См. К. Маркс. Из экономических рукописей 1857—1858 годов (параграф «Метод политической экономии»); К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 727—731.

[21]) К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству. М., 1940, стр. 19.

[22]) См. там же, стр. 6—18.

ется в замкнутую аристократию, окруженную многочисленным, стоящим вне этого общества, бесправным, но несущим обязанности плебсом; победа плебса взрывает старый родовой строй и на его развалинах воздвигает государство, в котором скоро совершенно растворяются и родовая аристократия и плебс. Наконец, у германских победителей Римской империи государство возникает как непосредственный результат завоевания обширных чужих территорий, для господства над которыми родовой строй не дает никаких средств»[23]). Показательно, что здесь явления, о которых говорит Ф. Энгельс, характеризуют сущностные отношения сравниваемых процессов, воспроизводя существенные черты самого хода истории (при этом можно заметить, что в этом случае эмпирическое неизбежно выступает и в теоретически обобщенном виде).

Вспомним сравнительно-историческое изучение В. И. Лениным социальных взглядов представителя западноевропейского романтизма первой трети XIX в. Сисмонди и русских романтиков конца XIX в. в лице либеральных народников. Определяя экономическое учение последних, как русскую разновидность общеевропейского романтизма, В. И. Ленин подчеркивал в нем наличие как повторяющихся, так и неповторяющихся черт. В результате конкретно-исторического анализа он глубоко вскрыл объективное социальное содержание романтических учений на Западе в начале и в России в конце прошлого столетия[24]).

Эти и многие другие факты свидетельствуют, что для классиков марксизма-ленинизма познавательное значение сравнительно-исторического метода не подлежало сомнению. В их трудах содержится наиболее существенные требования сравнительно-исторического изучения социальных явлений, которые имеют важнейшее значение для правильного мышления поставленной проблемы.

В литературе иногда встречается положение о том, будто бы о сравнительно-историческом методе можно говорить лишь условно[25]). Для обоснования этой мысли обычно ссылаются на наличие самых различных толкований этого метода, на расплывчатость терминологического обозначения и т. д.

Конечно, эти моменты игнорировать нельзя, хотя едва ли их можно считать специфически присущими только сравнительно-историческому методу. Однако едва ли правомерным будет лишить сравнительно-историческое изучение права выступать в качестве конкретного метода исторического познания. Ни один научный метод не есть шаблон или трафарет. Споры по тем или иным аспектам конкретных методов — явление не новое для науки и вполне объяснимое, поскольку осмысление проблемы метода, если подходить к нему исторически, всегда связано с прогрессом самой науки. Это положение, несомненно, относится и к сравнительно-историческому методу.

С другой стороны, важно подчеркнуть, что ни один метод не может претендовать на универсальность или же на возможность обеспечить своим результатом полное тождество с самой социальной действительностью, на законченное ее отражение. Приближение к последнему дает использование комплекса методов в диалектическом единстве. Следовательно, сравнительно-исторический метод, во-первых, нельзя рассматривать как сумму трафаретных требований, как некий стандарт в иссле-

---

[23]) Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 169.

[24]) См. об этом подробнее: В. В. Иванов. Принцип историзма в произведениях В. И. Ленина 90-х годов. Томск, 1966, гл. II.

[25]) См. об этом Э. С. Маркарян. Об основных принципах сравнительного изучения истории. «Вопросы истории», 1966, № 7, стр. 19—20.

дования, во-вторых, важно определить те границы, в пределах которых данный метод более эффективнее, учитывая его связь (взаимопроникновение) с другими методами. В историографической практике еще неизвестно, чтобы абсолютизацией какого-либо одного метода достигались непреходящие научные открытия, скорее, дело обстоит наоборот (что и видно на примере А. Тойнби и его школы).

Для правильного понимания сравнительно-исторического метода, как и всякого другого, важнейшее значение приобретает выяснение его объективной природы. Проблема метода не может быть научно решена в отрыве от его онтологического аспекта. Только на основе признания объективной обусловленности метода, что предполагает выяснение объективной природы исследуемых явлений, их взаимосвязи и специфику, можно уяснить задачи, решаемые этим методом.

Сравнительно-исторический метод в исторической науке в силу специфики ее предмета[26]) занимает особое место. Следует особо подчеркнуть то, что материал исторического познания обладает такой чертой, как ретроспективность. Историк преимущественно имеет дело с прошлым, хотя объект его исследования нацело и не сводится к последнему. Однако без изучения прошлого нельзя понять многогранные, противоречивые связи прошлого с настоящим, настоящего с будущим. Этот момент нельзя недооценивать. В самом деле, например, в познании современных массовых явлений (специальные области социологии, политэкономии, конкретной экономики) в известной степени доминируют такие методы как статистика, конкретно-социологические исследования. Сравнительно-исторический метод здесь не играет такой активной роли, как в исторической.

Существенной чертой, обусловливающей широкую сферу применимости данного метода в историческом познании, несомненно, является и то, что он нацелен на исследование конкретных форм проявления закономерностей общественного развития. В историческом познании, как и в самой исторической реальности, общие закономерности выступают не в шаблонной, раз на всегда данной форме, а вполне определенном, конкретно-своеобразном проявлении, сочетающем в себе многообразие общего и единичного, необходимого и случайного, возможного и действительного. Исследуя это многообразие явлений, историк устанавливает их специфику в определенных рамках места и времени, выясняет конкретные этапы становления, развития процессов и явлений.

В плане логики научного исследования необходимо отметить два момента, характеризующие сравнительно-историческое изучение явлений. Во-первых, особо познавательная роль такого изучения обусловлена тем, что оно предполагает рассмотрение явлений в развитии и раскрытии их многообразных сторон, свойств в процессе этого развития. В результате исследования ряда этапов, ступеней в явлениях становится возможным выяснить такое историческое развитие явлений, когда они в наибольшей степени развертывают свое содержание (например, буржуазные отношения на различных этапах и в различных странах). Во-вторых, сильная сторона сравнительно-исторического метода состоит в широте охвата исследуемых явлений. Ввиду того, что в данном случае предполагается параллельное изучение, по меньшей мере, двух «рядов» явлений, процессов, исследователь имеет возможность проследить характер связи

[26]) См. И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959, стр. 39—42; В. И. Приписнов. О соотношении исторического материализма и исторической науки. «Вопросы философии», 1961, № 1, стр. 104—105; Г. М. Иванов. К вопросу о своеобразии исторического познания. «Методологические и историографические вопросы исторической науки». Томск, 1963, стр. 3—21.

отдельных явлений на фоне других, аналогичных им. Следовательно, исключается истолкование явлений как изолированных, абсолютно единичных, «неповторимых сторон» действительности.

Сравнение изучаемых явлений в процессе развития обогащает познание вглубь (например, выявление закономерностей в явлениях, раскрытие их новых качественных сторон) и вширь (например, расширение фактической основы познания). Это значит, что сравнительно-исторический метод, наряду с другими, служит задаче количественного и качественного углубления знаний, решая ее со специфической особенностью, специфической нагрузкой. Эта специфичность находит свое отражение в познавательных функциях рассматриваемого метода.

Есть основания полагать, что функции сравнительно-исторического метода нельзя свести лишь к установлению моментов сходства и различий в явлениях[27]), как бы сами по себе эти моменты не были важны. Последние по своему существу связаны прежде всего с эмпирическим познанием. Сравнительно-историческое изучение явлений этим не ограничивается; в диалектико-материалистическом понимании оно выступает как одна из форм движения мысли от конкретного к абстрактному и результат исследования обладает ценностью научной абстракции, содержащей объективное знание о предмете. Этим объясняется многогранность познавательных функций сравнительно-исторического метода. К ним относятся:

а) выделение в явлениях различного порядка признаков, их сравнение, сопоставление;

б) выяснение исторической последовательности, генетической связи явлений, установления их родо-видовых связей и отношений в процессе развития, установление различий в явлениях;

в) обобщение, построение типологии социальных процессов и явлений.

Для более полного уяснения сущности и функций рассматриваемого метода представляется целесообразным различить в его применении логический и структурно-типологический аспекты. Под логическим аспектом подразумевается выделение и последовательное сравнительное изучение сходных, но не тождественных сторон в явлениях. В данном случае не исключается, конечно, одновременное или последующее использование не только сравнения, но и других логических приемов (анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза и др.).

Логический аспект лишь приблизительно охватывает один и не самый главный принцип сравнительно-исторического метода. Пользуясь сравнением, как логическим приемом, можно выяснить определенные связи общественных явлений, в основном внешние. Однако этого явно недостаточно для познания их сущности. Для раскрытия общего и специфического содержания исследуемых явлений необходимо установить их структурно-типологические и генетические связи, затем на этой основе определить однотипность и разнородность сравниваемых явлений. В целом структурно-типологический аспект можно охарактеризовать как систематизацию, обобщение исследования, что связано не только с установлением научно достоверных фактов, но и выявлением существенных тенденций и особенностей в сравниваемых объектах.

Конечно, указанные аспекты в сравнительно-историческом методе представляют единое целое, разграничение их есть лишь условный при-

---

[27]) Ср. Э. С. Маркарян. Об основных принципах сравнительного изучения истории, стр. 20.

ем, позволяющий акцентрировать практическую значимость собственно исторического аспекта в применении данного метода.

Сравнительно-исторический метод не есть система формально-логических требований или же конкретно-исследовательских принципов. Как любой метод, он неотделим также от соответствующих общемировоззренческих, специально теоретических принципов.

Нельзя считать случайным, что сравнительно-исторический метод, имея довольно значительную предысторию, эффективным средством познания стал гораздо позже, и этим он в большой степени обязан материалистической диалектике. В системе исторического мышления философские принципы не только дают ключ для подхода к той или иной проблеме, но и во многом определяют научную ценность выводов ученого, эффективность исследовательской работы в целом[28]).

Недооценка объективной обусловленности метода и его теоретического аспекта приводит к упрощенной трактовке проблемы в целом, согласно которой сравнительно-исторический метод рассматривается лишь как совокупность исследовательских приемов или же он отождествляется с логическими средствами мышления такими, как сравнения и аналогии. В марксистской исторической литературе уже не раз указывалось на то, как буржуазные авторы прибегают к плоским историческим аналогиям, рассматривая их чуть ли не как образец сравнительно-исторического изучения общественных явлений[29]). Такой прием несостоятелен уже потому, что выводы в данном случае делаются по внешнему сходству явлений[30]). Это и есть механицизм в методологии, выражающийся в непонимании диалектического соотношения сущности и явления, в непонимании того, что явление и сущность не тождественны.

Исследователи-марксисты в сравнительно-историческом методе справедливо усматривают «не функцию сравнения в познавательной деятельности вообще, а относительно самостоятельный систематически организованный способ исследования, при котором сравнения служат для достижения специфических целей познания...»[31]). Эту сторону проблемы следует подчеркнуть особо, так как иногда в нашей литературе сравнения смешивают со сравнительно-историческим методом. Такой взгляд объективно следует из содержания некоторых историографических работ. В качестве примера можно сослаться на весьма обстоятельную статью Л. М. Горюшкина по историографии одной из интересных проблем истории капитализма в Сибири[32]). По-видимому, при анализе точки

[28]) См. об этом подробнее. И. Д. Андреев. О методах научного познания. М., 1964; Е. М. Штаерман. О повторяемости в истории. «Вопросы истории», 1965, № 7; П. В. Копнин. Диалектическая логика и научное исследование. «Вопросы философии». 1962, № 10; Г. А. Подкорытов. Соотношение диалектического метода с частно-научными методами. «Вопросы философии», 1962, № 6; А. И. Данилов. Марксистско-ленинская теория отражения и историческая наука. «Средние века». Вып. 24, 1963 и др.

[29]) См. Е. А. Косминский. Указ. соч., стр. 340—344. О. С. Компан, Указ. соч., стр. 39—40.

[30]) Например, в одной из книг «по сравнительной истории» автор прямо говорит, что он свое внимание «обращал только на сходные факты в истории» (см. Н. Г. Воронов. Опыт сравнительной истории Европы. М., 1900, стр. IV). Неудивительно, что выводы автора доказательной силой по существу не обладают, они носят в себе печать умозрительно-конструктивного подхода к историческим явлениям. В частности, феодальную раздробленность в ряде стран (в Италии, Франции, Германии и др.) автор характеризует как особый период «безначалия», а образование национальных государств как идентичный для всех народов Европы процесс (см. там же, стр. 39 и др.).

[31]) Э. С. Маркарян. Об основных принципах сравнительного изучения истории, стр. 20—21.

[32]) См. Л. М. Горюшкин. Об освещении в современной исторической литературе вопроса о путях развития капитализма в сельском хозяйстве Сибири. «Ме-

зрения П. И. Малахинова о преобладании в Сибири эволюции прусского, а не американского типа Л. М. Горюшкин неправомерно употребляет термин «сравнительно-исторический метод»[33]). Как видно из содержания монографии П. И. Малахинова[34]), в ней автор и не стремился к сравнительно-историческому изучению эволюции капитализма в сельском хозяйстве Сибири и Северной Америки. В книге данный процесс исследуется лишь в рамках отдельных наиболее характерных районов Сибири, а экскурсы автора в историю развития американского капитализма не подчинены какой-либо системе, не говоря уже о других требованиях научного применения сравнительно-исторического метода. Л. М. Горюшкин же не делает различия между указанным методом и сравнениями, которые, несомненно, имеют место в работе П. И. Малахинова[35]).

Понятие сравнительно-исторического метода шире, глубже и специфичнее, чем простые сравнения и аналогии. Действительно, последние, будучи формами индуктивного мышления, в познании играют важную роль, поскольку они позволяют понять взаимосвязь явлений, их сходные черты и т. д. Эти логические приемы нередко способствуют к возникновению новых идей, расширяют кругозор и поле деятельности исследователя. Но эти идеи, догадки каждый раз будут нуждаться в специальном научном подтверждении, т. е. момент достоверности в сравнениях (аналогиях) и сравнительно-историческом методе будет неодинаковым. В. И. Ленин писал: «Пример — не доказательство. Всякое сравнение хромает. Это — истины бесспорные и общеизвестные...»[36]). В то же время В. И. Ленин не раз указывал на важнейшие принципы сравнительно-исторического изучения явлений. «Критика должна состоять в том, чтобы сравнить и сопоставить данный факт не с идеей, а с другим фактом; для нее важно только, чтобы оба факта были по возможности точно исследованы и чтобы они представляли из себя один по отношению к другому, различные моменты развития, причем особенно необходимо, чтобы с такой же точностью был исследован весь ряд известных состояний, последовательность их и связь между различными ступенями развития»[37]).

Из этого следует что сравниваемые явления брались не в случайных, а в существенных, наиболее характерных признаках. В ленинском положении акцентировано внимание также на необходимость строго последовательного конкретного анализа явлений в процессе их развития.

Сравнивая, сопоставляя различные варианты изучаемых типов, структур, нельзя упускать из виду и следующий момент: кажущиеся на первый взгляд малозаметные явления в сочетании с другими признаками и в процессе дальнейшей исследовательской работы могут принять более существенное, чем при первой оценке, значение. В плане методики сравнительного изучения истории это обстоятельство приобретает особую важность. Оно способствует более полному раскрытию сущности сравниваемых явлений, их многогранной взаимосвязи, при этом последняя и сама будет представлена не в статичной форме, а в процессе развития. Благодаря такому подходу становится возможной не только обобщен-

тодологические и историографические вопросы исторической науки». Вып. 3, Томск, 1965, стр. 149—177.

[33]) См. там же, стр. 165.

[34]) См. П. И. Малахинов. О двух типах аграрной эволюции в России. Улан-Удэ, 1962, раздел III.

[35]) Там же.

[36]) См. В. И. Ленин. Заметки публициста. ПСС, т. 44, стр. 417.

[37]) В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? ПСС, т. 1, стр. 167.

ная концентрированная характеристика каждого из сравниваемых явлений, но и рассмотрение последних в исторической связи с учетом общих и особенных черт, присущих им.

Все эти доводы и говорят в пользу высказанного ранее положения о том, что сравнительно-исторический метод шире и содержательнее, чем сравнения и аналогии. Последние выступают не как особый метод данной науки или группы наук. Они могут применяться в исторической науке[38]), как и в других областях познания и независимо от сравнительно-исторического метода (хотя, само собой разумеется, первые не могут быть механически противопоставлены последнему).

Более правильным представляется рассмотрение сравнительно-исторического метода как многосторонний познавательный процесс в комплексе с другими методами и с присущим науке современным логическим аппаратом. Именно такой подход обеспечивает наибольшую эффективность в познании социальных процессов. В этом плане сошлемся на монографию А. И. Неусыхина, посвященную исследованию разложения общины и самого раннего этапа формирования зависимого крестьянства у племен и народов Западной Европы в VI—VIII вв.[39]). Автор выдвигает в ней две задачи: во-первых, исследование процесса зарождения социального неравенства внутри общины и, во-вторых, исследование процесса превращения свободных общинников в формально зависимых крестьян. Вот как характеризует метод своего исследования А. И. Неусыхин: «Мы стремимся изучить интересующие нас процессы в том конкретном историческом развитии, в котором они протекали у различных народов Западной Европы перед установлением феодального способа производства и в период его возникновения; при этом мы придаем очень большое значение выяснению всех исторических особенностей места и времени, налагавших особый отпечаток на ход аналогичных процессов у различных народов и приводивших к относительно своеобразному их течению у каждого из них...

Тем самым принятый нами метод изучения и изложения хода намеченных процессов у каждого народа отдельно позволяет не только проследить указанные особенности их развития, но и установить — на конкретном примере эволюции различных племен и народов — разные стадии общего процесса перехода от первобытно-общинного строя к феодальному. Отсюда следует необходимость не только отдельного изучения особенностей возникновения зависимого крестьянства у каждого народа, но и сравнения результатов этого исследования с целью выяснения конкретных различий между разными стадиями развития»[40]).

Процитированные положения весьма интересны с точки зрения методологических требований к сравнительно-историческому изучению социальных явлений и самой методики исследования. А. И. Неусыхин считает недостаточным лишь выяснить моменты сходства и различия в сравниваемых явлениях; он указывает на необходимость последовательного анализа общих и особенных тенденций исследуемого социально-исторического процесса во всех его закономерных стадиях и вариантах. При этом автор далек от абсолютизации сравнительного метода, последний рассматривается им в комплексе с другими приемами исторического анализа. По словам самого автора, он стремился «к сочетанию

---

[38]) Это и видно, например, из статьи В. М. Холодковского, посвященной рассмотрению историографической литературы о пожаре в Москве 1812 г. (см.: Наполеон ли поджег Москву? «Вопросы истории», 1966, № 4, стр. 32).

[39]) См. А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII веков. М., 1956.

[40]) Там же, стр. 4.

изолированного изучения указанных процессов на материале истории отдельных народов с параллельным сравнительно-историческим их изучением»[41]).

Приведем еще один пример. Авторы сборника статей «Генезис капитализма в промышленности» А. Н. Чистозвонов, М. М. Смирин, И. Г. Поздняков и другие возникновение капиталистических отношений изучают в рамках отдельных государств или районов (Голландия, горная промышленность Саксонии, Япония). Для них не подлежит сомнению однотипность этих отношений в различных странах. Но авторы не ограничиваются ее констатацией и иллюстрацией этого положения; они идут гораздо дальше в выяснении того, как создавались в тех или иных странах предпосылки перехода от феодализма к капитализму. С этой точки зрения их интересуют не только общие черты процесса, но и особенные, а именно: определение интенсивности того или иного процесса, установление различной исторической значимости аналогичных факторов и др. Как справедливо писал академик С. Д. Сказкин, публикуемые в сборнике статьи позволяют «сделать ряд немаловажных сравнительно-исторических выводов о том, как общие закономерности генезиса капитализма в промышленности проявились в конкретно-исторических условиях[42]).

**
*

На основе рассмотрения логико-теоретических и методологических аспектов проблемы сравнительно-исторического метода представляется возможным сформулировать следующие положения:

1. Сравнительно-исторический метод, равно как и любой другой метод исторического исследования, должен базироваться на правильном теоретическом, мировоззренческом осмыслении объекта исследования, т. е. на диалектико-материалистическом понимании общественной жизни, которое позволяет наиболее адэкватно отображать реальный исторический процесс. Это значит, что научную разработку проблемы данного метода необходимо рассматривать в общей связи с решением методологических проблем исторического познания в целом.

2. Можно утверждать, что применение сравнительно-исторического метода приносит наибольший научный эффект при исследовании однотипных, однородных явлений и процессов, хотя сфера распространения метода ими не ограничивается.

3. Как в исследовании однородных, так и разнородных типов одинаково важно, чтобы сравниваемые объекты были соизмеримы по наиболее существенным признакам, выступающим в каждом отдельном случае основанием сравнительно-исторического изучения явлений. Важно также, чтобы сравниваемые явления, взятые в отдельности, исследовались с наибольшей полнотой и охватывали необходимую совокупность фактов. Такой подход несовместим с абсолютизацией сравнительно-исторического метода и абстрактным толкованием познавательных задач, решаемых этим методом. Напротив, познавательная роль метода более полно выявится лишь при овладении современным логическим аппаратом исторического исследования, в комплексе с другими методами.

4. Сравнительно-историческое изучение явлений с необходимостью должно основываться на последовательном историзме. Для такого изучения важно выяснение не только черт сходства, но и различий, познание исторической реальности во всем ее многообразии, закономерных

[41]) Там же.

[42]) См. С. Д. Сказкин. Комплексно исследовать проблемы генезиса капитализма. В сб. Генезис капитализма в промышленности. М., 1963, стр. 11.

связях. Специфическая нагрузка принципа историзма в данном случае определяется и тем, что сравнительно-исторический метод нацелен не только на конкретное исследование своеобразия исторической определенности, но и создание синтетических исторических обобщений.

Эти требования показывают, что произвольные, спекулятивные параллели и аналогии, а также эмпирическая компаративистика, к которым прибегают буржуазные авторы, несовместимы с подлинным сравнительно-историческим изучением общественных явлений.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

I

Современное состояние исторической науки характеризуется все усиливающимся интересом к ее теоретическим проблемам. Исследование круга вопросов, связанных со спецификой исторического познания, становится одной из центральных задач науки и вместе с тем — ареной острой идеологической борьбы между марксистской и буржуазной историографией. Давно ушли в прошлое наивные представления позитивистской гносеологии, отрицавшей всякое отличие познания общественных явлений от естественнонаучного познания; стал очевидным сложный, многоплановый, внутренне противоречивый характер того мыслительного процесса, который мы называем историческим познанием.

Как известно, широкий интерес к гносеологическим проблемам исторической науки впервые обнаружился в последней четверти XIX в.[1]). Именно тогда в историко-философской науке ряда стран, прежде всего Германии и Франции, был поставлен вопрос о необходимости выработки для истории собственной теории познания, которая бы в своих построениях исходила из учета своеобразия отражения явлений и процессов общественной жизни. В это время в буржуазной науке делаются первые попытки создания такой теории. Однако, предпринятые на идеалистической основе в условиях развернувшегося кризиса буржуазной общественной мысли, эти попытки оказались несостоятельными. Более того, историко-теоретические взгляды, развивавшиеся неокантианцами, махистами и представителями других реакционных течений буржуазной науки эпохи ее кризиса, являлись по существу значительным шагом назад по сравнению с достижениями передовой буржуазной мысли предшествующего периода. Верно отметив отдельные слабые стороны методологических взглядов своих предшественников, они направили огонь своей критики как раз против всего прогрессивного, что имелось в господствовавших в буржуазной историографии XIX в. теоретических представлениях. Подчеркивание сложности исторического познания вело у них к отрицанию принципиальной возможности объективного отражения мира общественных явлений. Протест против характерного для классического позитивизма стремления уложить все многообразие живого исторического процесса в жесткие рубрики и схемы, часто надуманные, не имевшие под собою достаточного основания в реальной действительности, обора-

[1]) См. об этом И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959. Существенно дополненное немецкое издание этой книги. I. S. Kon. Die Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts. Kritischer Abriss. Bd. I—II. B. 1964.

чивался отрицанием исторических закономерностей вообще, распространением взгляда на исторический процесс как на хаос случайностей и даже провозглашением самой исторической действительности субъективной, изменчивой по своему содержанию категорией[2]).

Так, выдвижение гносеологических проблем исторической науки в условиях кризиса буржуазной общественной мысли и перехода ее ведущих представителей на реакционные позиции в области идейно-методологических взглядов в конечном итоге способствовало дальнейшему углублению этого кризиса, ставило под вопрос само существование истории как науки в подлинном смысле этого слова. Тем самым в значительной мере оказалась дискредитированной сама мысль о необходимости разработки теоретико-познавательных вопросов исторической науки. Не случайно, что в течение многих лет эти вопросы стояли вне центра внимания советских историков. Лишь в последние годы обнаружился в этом отношении существенный поворот, знаменуя начало их интенсивной разработки с позиций марксизма-ленинизма[3]).

Настоятельная необходимость такой разработки определяется объективными потребностями развития самой науки, возросшими требованиями, которые предъявляются к ней обществом на современном этапе его развития. В самом деле, действенность исторической науки, научная и общественная значимость достигаемых ею результатов находится в прямой зависимости от того, насколько отчетливо мы понимаем ее возможности в познании мира общественных явлений, насколько ясно отдаем себе отчет о тех специфических средствах, которыми она располагает в своем арсенале, какими обладает критериями в оценке изучаемого материала, наконец, и это самое главное, насколько адэкватно реальная историческая действительность отражается в ее понятиях и представлениях. Не будет преувеличением сказать, что самые сложные проблемы исторического познания сводятся в последнем итоге именно к этому вопросу вопросов — может ли наше знание о мире общественных явлений носить объективно-истинный характер и, если да, то какие условия обеспечивают его достижение.

Существует принципиальное различие в подходе к решению этого вопроса в марксистской и буржуазной историографии, различие, уходящее своими корнями в коренной антагонизм двух мировоззрений. Современная буржуазная наука далеко ушла от представлений об историке как бесстрастном летописце человеческих судеб, высоко стоящем над треволнениями и бурями окружающей его жизни. Пресловутая «башня из слоновой кости», о подножие которой разбиваются и бесследно исчезают волны житейского моря, давно оказалось мифом, а место ее занял иной символический образ кабинета ученого — образ рабочей мастерской, сквозь которую проносится ураганный ветер современности[4]).

---

[2]) См. Р. Ю. Виппер. Две интеллигенции и другие очерки. М., 1912, стр. 61.

[3]) См., в частности, Б. А. Грушин. Очерки логики исторического исследования (процесс развития и проблемы его научного воспроизведения). М., 1961; Г. М. Иванов. Своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке.—«Вопросы истории», 1962, № 2; А. И. Данилов. Марксистско-ленинская теория отражения и историческая наука.— Сб. «Средние века», вып. 24, М., 1963; П. Н. Федосеев, Ю. П. Францов. О разработке методологических вопросов исторической науки.— «Вопросы истории», 1964, № 3; М. А. Барг. Структурный анализ в историческом исследовании.— «Вопросы философии», 1964, № 10; А. В. Гулыга. О предмете исторической науки.—«Вопросы истории», 1964, № 3; его же. Понятие и образ в исторической науке.— Там же, 1965, № 9; А. Я. Гуревич. Общий закон и конкретные закономерности в истории.— Там же, 1965, № 8; А. И. Уваров. Структура теории в исторической науке.— Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 3—4. Томск, 1965—1966.

[4]) См. F. Wagner. Geschichte und Zeitgeschichte. Marburg, 1957, S. 3.

Положение об огромном влиянии современности на историю стало общим местом буржуазной науки наших дней. Один за другим в разных странах, по разному поводу провозглашают многие буржуазные ученые идею о зависимости историка от современной ему действительности. «Современность — первый исторический источник историка»,— утверждает известный западногерманский историк Герман Геймпель, выражая этой формулой господствующий в сегодняшней буржуазной историографии взгляд[5]). Признание партийности исторической науки, ее тесной связи с потребностями жизни, известными классовыми и национальными интересами является в настоящее время характерной чертой буржуазной историографии, во многом определяющей ее понимание самого предмета истории как науки.

Казалось бы, в этом можно видеть некоторый шаг вперед в теоретических представлениях буржуазной исторической мысли, покончившей с бытовавшими в XIX в. взглядами на историю как науку беспартийную. Однако в действительности дело обстоит не так. Провозглашая тесную связь истории с современностью, буржуазные ученые одновременно с этим отрицают принципиальную возможность получения объективной истины в исторической науке. В буржуазной историографии понятия «партийность» и «объективность науки» выступают как взаимоисключающие. На разные лады ее представители проводят мысль о том, что историческая наука вследствие самого своего положения в обществе неспособна давать объективно-истинное представление о прошлом, что всякое знание о человеческом обществе и его истории является не столько более или менее адэкватным отражением явлений и процессов, действительно имевших место в прошлом, сколько нашим субъективным представлением об этих явлениях и процессах, во многом обусловленным злобой сегодняшнего дня. Отсюда проистекает широко распространенный взгляд на историю как на автобиографию общества, которая заново переписывается каждым новым поколением[6]). Но тем самым, по сущест-

---

[5]) H. Heimpel. Der Mensch in seiner Gegenwart. Göttingen, 1957, S. 204. Ср. аналогичную мысль о громадном влиянии настоящего на изучение прошлого у английского историка Г. Барраклоу — G. Barraclough. Geschichte in einer sich wandelnden Welt. Göttingen, 1957, S. 30. Представление о современности как решающей предпосылке исторического познания доведено до логического абсурда в презентизме, растворяющем всю историческую действительность в человеческом сознании.

[6]) См. отражение этого взгляда в известном Fischer-Lexikon. Mit einer Einleitung von Professor Dr. Hans Rothfels. Hrsg. von Professor Dr. Waldemar Besson. Frankfurt am Main. 1965, Bd. 24, S 80. Этот словарь, созданный почти исключительно учениками Г. Ротфельса и Т. Шидера, является показательным для взглядов, преобладающих в настоящее время в буржуазной историографии ФРГ и вместе с тем — характерных для буржуазной исторической мысли вообще. Излюбленным сюжетом современной буржуазной историографии является показ того, как под влиянием современности изменяется оценка прошлого и сам подход к нему. При этом в отдельных случаях можно встретить немало ценных наблюдений о влиянии современной историку социальной и политической действительности на его отношение к прошлому. Укажем, в частности, на интересную попытку И. Фогта показать на примере Дройзена, Моммзена и Пельмана влияние современности на изучение античности в Германии XIX — начала XX вв. Фогт справедливо усматривает в немецкой действительности того времени важнейший импульс, определявший как проблематику немецкой историографии античности, так и ее главные выводы. (См. J. Vogt. Geschichte und Gegenwartsverständnis, in: «Geschichte und Gegenwartsbewußtsein, Festschrift für Hans Rothfels zum 70. Geburtstag» Göttingen, 1963). Однако на примере этой же статьи легко видеть несостоятельность решения буржуазной историографией проблемы связи истории и современности в целом. Ставя перед собой задачу показать «перспективы и опасности презентизма» (S. 54), Фогт приходит к выводу о том, что «осовременивание прошлого» таит в себе становящуюся с каждым разом все большей угрозу для познания истины (S. 64). Но тем самым, во-первых, он неправомерно отождествляет признание влияния современности на историка

ву, снимается вопрос о возможности объективно-истинного познания истории человечества. Непрестанно изменяющиеся оценки событий и явлений прошлого, возникающие новые направления в исследовании истории, зачастую перечеркивающие результаты проделанной ранее работы, исключают, с указанной точки зрения, всякую возможность получения истины, существующей независимо от сознания познающего субъекта.

Из сказанного, конечно, не следует, будто современные буржуазные ученые в массе своей сознательно отказываются от поисков исторической истины. Если бы это было действительно так, буржуазная историография как наука вообще перестала бы существовать. Между тем даже в условиях глубокого кризиса буржуазной общественной мысли наших дней ее представители способны давать ценные результаты в отдельных областях истории. С другой стороны, нельзя пройти мимо попыток буржуазных историков дать научное обоснование политике своего класса, найти в прошлом указания для лучшего понимания настоящего и предвидения будущего[7]). И хотя эти попытки в целом являются несостоятельными, сам факт их существования предполагает убеждение в возможности отыскания с помощью специфических средств исторической науки известных истин, которыми можно руководствоваться в современной политической жизни.

Однако трагедия современной буржуазной мысли состоит как раз в том, что претендуя на строго научный анализ мира общественных явлений, третируя марксистскую науку за якобы ненаучный подход к изучению истории человечества, она в то же самое время сознательно лишает себя той единственной опоры, на которой только и возможно построить действительно научное познание общественного развития. Историческая истина провозглашается субъективной категорией; в процессе исторического познания на первое место выдвигается познающий субъект как своеобразный творец истины. Но тем самым по существу утверждается непознаваемость истории, ибо всякое знание о ней по природе своей является знанием субъективным, немогущим претендовать на всеобщую значимость и тем более — на адэкватное отражение объективной действительности.

С достаточной определенностью этот характерный для современной буржуазной историографии взгляд выразил известный голландский историк Питер Гейл. Утверждая решающую роль личности ученого в выработке тех представлений о прошлом, которыми оперирует историческая наука, Гейл прямо связывает это свое положение с признанием непознаваемости истории, с провозглашением идеи о том, что исторические знания являются не более чем нашим представлением о прошедшей действительности, зависящим в значительной степени от мировоззрения ученого[8]). Однако такое понимание истины в истории неизбежно ведет к произволу в науке, порождает хаос в оценке прошлого, делая тем самым невозможным действительный прогресс в его изучении. Превраще-

с презентизмом (что вытекает уже из самой его постановки вопроса), а, во-вторых, глубоко ошибочным является убеждение Фогта, что всякое влияние современности препятствует объективному отражению прошлого

[7]) О серьезном внимании буржуазной историографии к этим вопросам свидетельствует уже цитировавшийся сборник «История и современное сознание». Особенно показательна в этом отношении первая статья, являющаяся своего рода программным введением к сборнику, в которой ставится вопрос о необходимости научного обоснования политических решений, а сама историческая наука рассматривается как важнейшее средство преодоления современного духовного кризиса «западного мира» (См. A. Bergstraesser. Geschichtliches Bewußtsein und Politische Entscheidung Eine Problemskizze).

[8]) P. Geyl. Die Diskussion ohne Ende. Auseinandersetzungen mit Historikern. Darmstadt, 1958, S. 1.

ние исторической истины в субъективную категорию, естественно, сужает сферу ее действия, заставляет буржуазных ученых крайне осторожно оперировать этим понятием, настойчиво поддерживать несовершенство наших знаний о прошлом. Недаром Гейл свои исторические очерки объединил под общим заглавием «Дискуссия без конца», выразив таким образом свое отношение к возможности прийти в ходе историографических дискуссий к достижению объективно-истинного представления о прошлом.

Мнение Гейла разделяют и другие буржуазные историки. Так, Е. Пиц усматривает в исторической истине лишь всегда несовершенные поиски понимания истории, лишь функцию нашего мышления. Не случайно он поэтому призывает отказаться от всяких попыток не только дать научный ответ на вопрос о происхождении и цели истории, но и создать универсальную концепцию исторического процесса[9]). Так, совершенно закономерно отрицание объективной истины в истории служит теоретическим основанием для отказа значительной части буржуазных ученых от широких исторических обобщений, оправдывает всегда бывшее сильным в их среде стремление к простому описательству, свойственный буржуазной историографии на всем протяжении ее существования бескрылый эмпиризм. Но если некогда буржуазные ученые молчаливо исходили из убеждения в том, что своими эмпирическими исследованиями они отражают объективную реальность, дошедшую до них в исторических памятниках разного рода, то ныне не осталось у них и этой уверенности.

Отрицание объективной истины в истории теоретически связано с широко распространенными в современной буржуазной науке волюнтаристскими представлениями о характере исторического развития. Отрицание объективного и закономерного характера исторического процесса неизбежно ведет к преувеличению роли личности в истории. История человеческого общества рассматривается как арена проявления бесчисленных «свободных воль» и прежде всего «свободной воли» выдающейся исторической личности, способной по своему произволу радикальным образом изменять ход исторического развития целой нации или даже всего человечества. Несмотря на всю одиозность в наши дни такого взгляда на историю, подвергавшегося справедливой критике еще философией Просвещения, он получил в современной буржуазной историографии довольно широкое распространение, что бесспорно связано с теми возможностями, которые он представляет для оправдания деятельности самых реакционных общественных сил в прошлом и обоснования откровенно тенденциозных политических выводов в настоящем[10]). О его популярно-

[9]) E. Pitz. Geschichtliche Strukturen. Betrachtungen zur angeblichen Grundlagenkrise der Geschichtswissenschaft — «Historische Zeitschrift», 1964, Bd. 199, S. 298.

[10]) В качестве примера сошлемся на книгу крупнейшего реакционного историка ФРГ Герхарда Риттера «Германская проблема», сначала и до конца являющуюся воинствующей попыткой реабилитации немецкого милитаризма и пруссачества. Стремление снять с реакционных сил всякую историческую ответственность особенно ярко проявляется в заключительном разделе книги «Гитлер и современная Германия». Риттер отрицает какую-либо закономерность победы фашизма в Германии в конкретных условиях классовой борьбы начала 30-х гг., уверяя своих читателей, что «без появления (такого же неожиданного, как и непредвиденного) загадочной личности Гитлера несомненно не было бы никакого национал-социалистического переворота в Германии и таким образом без него мир сегодня выглядел бы совсем иначе». (G. Ritter. Das deutsche Problem. Grundfragen deutschen Staatsleben gestern und heute. München, 1962, S. 194. Гитлер объявляется единственным человеком в Германии, хотевшим воевать, и, следовательно, единственным виновником II мировой войны (ibidem, S. 198). Характерно, что теоретической основой этих рассуждений является отрицание закономерного характера исторического развития, подчеркивание бесконечной сложности исторического процесса, неподдающейся предвидению роли случая, свободной воли политических деятелей (ibidem, S. 194).

сти в буржуазной науке свидетельствует следующий факт. В последнее время в буржуазной историографии ряда стран, в особенности Франции и Западной Германии, широко распространяется категория исторической структуры как надиндивидуальной общности, включающей в себя определенные социальные отношения людей. Представляется несомненной откровенно антимарксистская направленность этого понятия, долженствующего (в который раз!) покончить с учением об общественно-экономических формациях[11]). Вместе с тем с его помощью буржуазные ученые стремятся несколько подновить, «осовременить» субъективно-идеалистические представления о движущих силах исторического развития. На смену личности как главному объекту исторического исследования приходит общественная структура, в рамках которой и рассматривается деятельность отдельных индивидуумов; провозглашается правомерность так называемой «истории масс». Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что исходные позиции этих ученых остаются неизменными: сквозь мишуру новых модных терминов и понятий явственно выступает прежний взгляд на выдающуюся личность как на творца истории. Показателен в этом отношении пример Теодора Шидера — одного из первых западногерманских ученых, выступивших с требованием рассматривать общественные структуры как центральное понятие исторической науки. Начав с признания необходимости ревизии традиционных в немецкой идеалистической историографии представлений о характере движущих сил истории, он в конечном счете остается на принципиально тех же позициях, что и ученые, сводившие исторический процесс к деятельности выдающихся лиц. Именно такие личности, по мнению Шидера, являются творцами структур, равно как и их разрушителями[12]). Еще дальше идет Е. Пиц, с точки зрения которого изучение исторических структур оставляет место не только для формирующей историю личности, но и «для мистерии, для божества»[13]). Так, отрицание существования объективной истины в истории органически сочетается в современной буржуазной науке с прямым фидеизмом, т. е. переступает ту грань, которая отделяет историю как науку от рядящейся в псевдоученые одежды прислужницы поповщины.

Нельзя, таким образом, не видеть глубокого теоретического тупика, в который завело современную буржуазную науку отрицание объективной истины в истории. Несомненная эрудиция многих буржуазных ученых, их бесспорное профессиональное мастерство оказываются в неразрешимом противоречии с господствующими в настоящее время методологическими принципами и потому, в сущности, остаются не реализованными в историческом исследовании. Существует разительный контраст между профессиональным мастерством современной буржуазной историографии и скудными объективными результатами его. Безысходность отмеченного тупика особенно ярко проявляется на фоне попыток, предпринимаемых отдельными буржуазными учеными в поисках выхода из него. Построенные на коллизии партийности и объективности исторического познания, эти попытки преследуют утопическую цель создания таких условий, которые бы позволили историку «преодолеть» партийный

---

[11]) См. G. Lozek, H. Syrbe. Geschichtsschreibung contra Geschichte. Über die antinationale Geschichtskonzeption führender westdeutscher Historiker. B., 1964, S. 95—96.

[12]) T. Schieder. Strukturen und Persönlichkeiten in der Geschichte.— «Historische Zeitschrift», 1962, Bd. 194, S. 292—295.

[13]) E. Pitz. Op. cit., S. 293, Ср. S. 265.

подход к изучению своего материала и тем самым обеспечили бы объективно-истинное познание прошлого[14]). Трудно назвать другой путь, который был бы заведомо менее перспективным, чем этот. Метафизическое противопоставление партийности и объективности, основанное на абсолютизации специфики общественного познания, составляет неодолимую преграду для подлинно научного решения вопроса о путях достижения объективно-истинного знания о мире общественных явлений. Преодоление этого тупика возможно только при радикальном пересмотре самого взгляда на гносеологическую природу отношений между принципом партийности и принципом объективности в исторической науке. Именно по этому пути идет марксистская историография.

Марксистская историческая наука исходит из убеждения в том, что мир общественных явлений доступен нашему познанию, как и мир природы. Это убеждение является незыблемой основой всей историографической практики историков-марксистов. Блестящим подтверждением его истинности являются труды Маркса-Энгельса-Ленина, вся их теория материалистического понимания истории: сила марксистско-ленинского анализа сложной путаницы общественных явлений, умение выделить главное звено в цепи событий, проникнуть в сокровенное существо изучаемых явлений и тем самым не только глубоко отразить настоящее, но и создать образцы научного предвидения — все это покоится на представлении о способности общественных наук давать объективно-истинное знание о своем предмете и служит лучшим доказательством этой способности.

Тем большее значение приобретает исследование условий, которые обеспечивают возможность объективно-истинного познания исторической действительности. Сейчас стало совершенно очевидным, что для этого отнюдь не достаточно только писать так, «как собственно это было». Стало очевидным, что знаменитый девиз Ранке не только не может служить критерием объективного отражения действительности — он попросту утопичен. Приступая к изучению любого, даже самого локального, сюжета, ученый неизбежно проводит отбор исторического материала, его группировку. Такой отбор является неотъемлемой предпосылкой всякого исторического исследования, но вместе с ним в науку неизбежно входит оценочный момент, определяющий наше отношение к тому или иному факту, а также его место в воссоздаваемой нами исторической картине. Так, уже первичный акт исторического исследования — выявление и отбор материала — оказывается тесно связанным с мировоззрением уче-

[14]) Вот ход рассуждений популярного на Западе основателя «социологии знания» Карла Маннгейма: всякая идеология носит классовый характер, поэтому она не в состоянии отражать объективную действительность; выход из положения состоит в синтезе противоположных идеологий и устранении таким образом партийности. Марксистскую критику этого взгляда см. I. S. Kon. Die Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts. Bd. II, S. 124—125.

[15]) Мы здесь оставляем в стороне большой круг вопросов, связанных с отношением ученого к историческому источнику. Отметим только, что громадная роль мировоззрения проявляется уже в выборе ученым источников для своего исследования. Вспомним утверждение Ранке, что только источники официального происхождения должны составлять основу работы историка. Осуществление этого требования определяло не только отбор источников для освещения того или иного явления, но и угол зрения этого освещения. В итоге происходило неизбежное смещение исторической перспективы. Факты второстепенные нередко выходили на первый план, в то время как явления, существенно важные для понимания соответствующего исторического периода, либо совершенно игнорировались, не будучи отраженными в официальных источниках, либо отодвигались в тень. Приведем один пример. Ранке принадлежит шеститомная «История Германии в эпоху реформации», в которой чрезвычайно обстоятельно рассматриваются всевозможные перипетии религиозно-политической борьбы в Германии того времени, мельчайшие подробности заседаний рейхстагов

ного, его исходными представлениями, которыми он руководствуется в своем подходе к историческому материалу[15]). В еще большей степени роль мировоззрения ученого сказывается на последующих этапах его работы, в особенности на выработке им общего представления об изучаемом явлении, на определении его места в историческом процессе. На всей работе историка над своим материалом неизменно сказывается его личность, его принадлежность к определенной социальной и национальной общности. Можно, конечно, как это делал еще Н. И. Кареев, ратовать за изгнание из историографической практики всякой национальной и классовой точки зрения[16]). Но даже простое бытописательство не свободно от определенной точки зрения, которая по существу своему остается классовой.

Тысячами разнообразных импульсов влияет современность на ученого. Ее влияние опосредствуется через определенные политические, философские, экономические идеи, публицистику; она присутствует в сознании ученого своими важнейшими процессами и явлениями, отражается своими противоречиями. При этом важно подчеркнуть, что воздействие современности в самых ее существенных моментах на историка происходит в рамках определенных общностей, из которых в настоящее время важнейшими являются классовая и, в меньшей степени, национальная. В исторической науке отражается не современность вообще, а ее восприятие известным общественным классом, мировоззрение которого она разделяет. Следовательно, проблема заключается не в том, что историк должен избегать в своей работе влияний современности: с равным успехом можно требовать от него перестать дышать воздухом. Все дело в том, в каком направлении классово интерпретируемая современность оказывает влияние на ученого — способствует или препятствует она научному познанию прошлого.

В этой связи необходимо остановиться на некоторых моментах, отличающих познание общественных явлений от естественно-научного познания. В отличие от последнего, первое имеет своим объектом мир явлений, качественно однородный по своей природе с познающим субъектом. Ученый, имеющий дело с изучением истории того самого общества, в котором он живет, с традициями которого он связан, находится по отношению к предмету своего исследования в существенно ином положении, чем ученый-естествоиспытатель. Конечно, это не означает, что на естествоиспытателя не оказывают влияние господствующие в обществе настроения, что в своей деятельности он не затрагивает в той или иной (подчас весьма сильной) степени коренные интересы различных общественных классов своего времени. Каждая сколько-нибудь значительная естественно-научная теория явственно несет на себе отпечаток времени своего происхождения, органически связана с определенным социальным мировоззрением. Историю естествознания невозможно понять вне общей истории человечества, составной частью которой она является.

и т. п. И лишь одна небольшая глава посвящена крестьянской войне. Оставляя в стороне оценку Ранке крестьянской войны, ее причин и значения, отметим, что уже сама структура его книги не позволяет определить действительное место этого эпохального события в истории Германии. Так признанный выразитель идей буржуазного объективизма на практике показал цену своих принципов «беспристрастного» освещения истории. Предвзятый подбор источников для исследования особенно характерен для современной реакционной историографии. Достаточно указать на ее разработку истории II мировой войны. Но с особой силой решающая роль мировоззрения ученого сказывается в его интерпретации источников. Известны нередко случаи, когда свидетельства одного и того же источника получали в исторической науке диаметрально противоположное истолкование в зависимости главным образом от общих идейно-методологических взглядов того или иного ученого.

[16]) См. Основные вопросы философии истории, т. 1, М., 1883, стр. 353—354.

Тем не менее, сам процесс научно-естественного познания уже в силу природы своего объекта находится в гораздо меньшей зависимости от различного рода обстоятельств, выходящих за рамки данной науки, чем процесс познания мира общественных явлений. К этому следует добавить различие средств, с помощью которых осуществляется познание в том и другом случае. В частности, историческая наука не располагает таким могущественным орудием познания, каким во многих отраслях естествознания является эксперимент. Отсюда и проблема объективно-истинного познания в области общественных наук стоит несравненно острее, чем в естествознании.

Сопоставление темпов развития общественных и естественных наук уже давно наводило на мысль о необходимости для первых взять на вооружение познавательные средства последних. Как известно, особенно большое значение усвоению общественными науками приемов и методов естествознания придавал классический позитивизм. Многие его представители, начиная с Бокля, на практике пытались применять к изучению истории общества специфические средства естественно-научного познания. Нет недостатка в попытках подобного рода и в современной буржуазной науке[17]). Длительная историографическая практика доказала научную плодотворность использования целого ряда методов, обязанных своим происхождением успехам естествознания. Новые возможности перед общественными науками открывают грандиозные успехи естественных наук в наши дни.

Однако было бы ошибочным полагать, что все или главные трудности, возникающие в процессе общественного познания могут быть решены путем широкого внедрения в область гуманитарных наук познавательных средств, взятых напрокат у естествознания. Какое бы большое место ни заняли естественно-научные методы в познавательном арсенале общественных наук, их значение всегда будет оставаться чисто вспомогательным. Мы не должны забывать специфики общественного познания, коренящейся в специфике самого его объекта[18]). Очевидно, что и решать важнейшие вопросы познания истории общества следует в первую очередь ее собственными средствами.

В полной мере это относится и к проблеме объективности в историческом познании. Критерии условия, обеспечивающие возможность объективно-истинного познания исторической действительности, нельзя искать вне сферы общественных категорий. Именно здесь и коренится один

---

[17]) В несколько ином плане эти попытки имеют место и в современной советской историографии. Укажем, в частности, на интересную, хотя и не во всем бесспорную статью М. А. Барга «Структурный анализ в историческом исследовании» (Вопросы философии, 1964, № 10).

[18]) К сожалению, это обстоятельство не всегда должным образом учитывается в нашей науке. Справедливо отрицая принципиальное различие между познанием общества и природы, некоторые советские ученые в то же время недостаточно подчеркивают момент своеобразия в отражении мира общественных явлений. Более того, встречаются попытки, практически ведущие к отрицанию специфики предмета общественных наук, в частности, истории. Так поступает Б. А. Грушин, утверждающий, что в настоящее время «объект современной исторической науки — уже не только «история людей», но и «история природы» (Б. А. Грушин. Очерки логики исторического исследования (процесс развития и проблемы его научного воспроизведения), стр. 12). Вряд ли можно рассчитывать на раскрытие особенностей исторического познания, растворяя историю среди массы других наук, имеющих свой собственный, достаточно строго очерченный объект исследования. Объединение под одной рубрикой «исторические науки», как это делает Б. А. Грушин, истории общества, с одной стороны, звездной космогонии, геоморфологии и т. п.— с другой (см. стр. 4), не только не способствует нашему пониманию специфики исторического познания, но и, естественно, препятствует ему.

из существенных моментов, определяющих различие между марксистско-ленинским пониманием объективности исторической науки и классическим буржуазным объективизмом. Для последнего проблема объективности исторического познания как одна из важнейших гносеологических проблем науки просто не существует; вся суть вопроса для него сводится к профессиональному мастерству ученого и его нравственным качествам, обеспечивающим беспристрастное изложение исторических фактов[19]).

В противоположность этому марксистская историческая наука исходит из того, что самое беспристрастное изложение фактов, совершаемое с помощью самых совершенных технических приемов, само по себе не в состоянии обеспечить объективно-истинное познание прошлого, хотя и является его необходимой предпосылкой. Подлинная объективность исторического познания возможна лишь на основе глубокого проникновения в существо описываемых явлений, установления тенденции их развития, определения их места в общем историческом процессе, что в свою очередь, предполагает наличие передового мировоззрения, которым должен руководствоваться ученый и которое выражает позиции класса, по самому своему положению в обществе заинтересованного в беспощадном вскрытии всех общественных противоречий. Широко известное ленинское определение различия между марксистом и объективистом указывает на главное требование, обеспечивающее с позиций материалистического понимания истории возможность объективно-истинного познания мира общественных явлений. Это требование заключается в необходимости для исследователя при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы, последовательно вскрывать классовые противоречия, определяющие характер общественного развития, констатировать с точностью данную общественно-экономическую формацию и порождаемые ею социальные антагонизмы[20]).

Тем самым проблема объективности исторического познания для В. И. Ленина оказывается неразрывно связанной с глубоким и всесторонним исследованием, осуществляющимся с определенных классовых позиций, сложного переплетения социальных противоречий, через разрешение которых идет общественное развитие. При этом обращает на себя внимание настойчивое подчеркивание Лениным необходимости связать изучение данного явления с выяснением его места в общей исторической цепи, определить его отношение к соответствующей общественно-экономической формации. Только таким путем возможно действительно научное познание прошлого, в то время как простое описание изучаемых явлений, даже сопровождаемое констатированием «непреодолимых исторических тенденций» ведет, как это неоднократно указывал В. И. Ленин, к апологии этих явлений.

Это ленинское положение и в настоящее время сохраняет значение важнейшего методологического принципа в критике буржуазной историографии. И сегодня излюбленным приемом буржуазных историков-апологетов является «объективное» изложение фактов, долженствующее

---

[19]) Характерно, что и в наши дни, в обстановке всеобщего отрицания существования объективной истины в истории, буржуазные ученые не желают расставаться с фикцией объективизма, приспосабливая ее к современным условиям. Любопытной модификации в этой связи подверглась известная формула Ранке о задачах историка. Утверждая, что «историк никогда не в состоянии сказать, как собственно это было», один современный буржуазный ученый продолжает: «Он может только сказать, как он по совести полагает, что это было» (J. Vogt. Op. cit., S. 51). Но такой «объективизм» вообще лежит за пределами научной критики.

[20]) В. И. Ленин. ПСС, т. 1, стр. 418—419. Аналогичный ход мыслей В. И. Ленина см. там же, стр. 465—466, 526, 528—529, 532—533.

оправдать как прошлое, так и настоящее буржуазного общества, представить его историю в виде некоей фатально развертывающейся мистерии, не связанной с определенными классовыми интересами и классовой политикой. Именно этот прием широко использует Риттер в своей апологии немецкого милитаризма и его «героев». Так, в частности, он подходит к оценке роли Бисмарка в истории Германии. Освещая в апологетическом плане образование Германской империи, Риттер вместе с тем считает Бисмарка ответственным за то, что благодаря этому «немецкий и прусский патриотизм смогли слиться воедино». Однако далее, имея в виду быстрый индустриально-технический прогресс, «политизацию» масс и т. п., он утверждает, что дело Бисмарка скоро переросло его самого и что его нельзя делать ответственным за дальнейшее раззитие, которое он не мог предвидеть[21]). Конечно, Бисмарк, очевидно, не мог предвидеть ни первой, ни, тем более, второй мировой войны, но это отнюдь не означает, что он и стоявшие за ним социальные силы не были повинны в подготовке условий, позволивших германскому империализму развязать эти войны. Наше представление о совершавшихся в Германии второй половины XIX в. процессах будет являться объективно-истинным лишь в том случае, если историк установит, на торжество какого класса была направлена деятельность Бисмарка, на какие социальные силы она опиралась. Тем самым гораздо глубже, а поэтому и объективнее, будет возможно оценить роль «железного канцлера» и его место в истории Германии.

Характерной чертой исторического познания является его конкретность. Многообразие исторического процесса, своеобразное течение его в различных условиях, обилие факторов, участвующих в общественном развитии, разнообразные, взаимоперекрещивающиеся исторические связи — все это исключает возможность плодотворного оперирования в истории абстрактными, пригодными на все случаи жизни формулами. Самые глубокие социологические обобщения, наиболее полно отражающие закономерности исторического развития, останутся мертвыми схемами, если их применять без учета конкретной исторической обстановки. Не случайно поэтому основоположники марксизма с такой настойчивостью предостерегали своих последователей от слепого использования созданной ими системы в новых исторических условиях, так решительно подчеркивали значение своего метода для исследования общественных явлений. «... Все миропонимание Маркса — это не доктрина, а метод,— подчеркивал Ф. Энгельс, предостерегая против всякой догматизации марксизма.— Оно дает не готовые догмы, а отправные пункты для дальнейшего исследования и метод для этого исследования»[22]). Критикуя современных ему вульгаризаторов марксизма, Энгельс писал: «К сожалению, сплошь и рядом полагают, что новую теорию вполне поняли и могут ее применять сейчас же, как только усвоены основные положения, да и то не всегда правильно»[23]).

Особенно важное значение приобретает изучение конкретных форм проявления исторических закономерностей. Марксистско-ленинское понимание закона исходит из того, что любой закон, выражая наиболее существенные связи действительности, вместе с тем не в состоянии отразить в себе все ее многообразие. Он выступает как социологическая абстракция, познание которой происходит путем известного огрубления действительности, отвлечения от конкретного, индивидуального. Между тем, история по самой своей природе имеет дело с конкретным и индивидуальным в историческом процессе. В системе общественных наук исто-

[21]) G. Ritter. Op. cit., S. 86—87.
[22]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, стр. 352.
[23]) Там же, т. 37, стр. 396.

рии принадлежит особое место — она изучает конкретные формы проявления общесоциологических закономерностей, в центре ее внимания стоит особенное и единичное, изучаемое в тесной связи со всеобщим. Вследствие этого получение объективно-истинных результатов в историческом познании возможно только при условии органического сочетания различных методов исследования.

Приступая к изучению переливающегося всеми красками, бесконечно многообразного и сложного в этом своем многообразии мира общественных явлений, историк должен руководствоваться определенными общими положениями, сформулированными в виде социологических законов, иначе он будет обречен на беспомощное барахтанье в хаосе бесчисленных исторических событий и процессов, а сама история превратится для него в «осмысливание бессмысленного» (Т. Лессинг). Но, с другой стороны, он обязан, исходя из этих общих положений, тщательно и всесторонне изучать реальную историческую действительность во всей ее сложности и противоречивости, исследовать конкретные формы, в которых происходит проявление действия социологических законов в известных исторических условиях; в противном случае история превратится в мертвую социологическую схему, далекую от реальной действительности.

Нельзя найти в истории ни одного примера одинакового проявления в различных конкретных условиях действия одного и того же закона. На всех исторических явлениях лежит отпечаток их индивидуальности, неповторимости. Этот момент специфичности каждого исторического явления широко использует в своих целях современная реакционная буржуазная историография, доказывая таким образом невозможность широких обобщений в исторической науке, отрицая существование исторических закономерностей. Такие спекуляции на действительно имеющей место специфике общественного развития игнорируют то обстоятельство, что индивидуальность каждого исторического явления отнюдь не исключает повторяемости некоторых общих черт и качеств, сообщающей историческому процессу закономерный характер.

Конечно, реформация и крестьянская война в Германии — явление, неповторимое в своей индивидуальности, точно так же, как и борьба Нидерландов против испанского абсолютизма или английская революция середины XVII в. Но при всем индивидуальном различии каждого из этих явлений, при всей их непохожести в деталях, в конкретном ходе событий, в лозунгах и непосредственных целях, между ними есть нечто общее, что позволяет нам рассматривать их все как ранние буржуазные революции. И в Германии начала XVI в., и в Нидерландах второй половины этого столетия, и в Англии середины XVII в. под покровом острой религиозной и политической борьбы (осложнявшейся в Нидерландах еще и борьбой национально-освободительной) решался вопрос о судьбах капиталистического развития в этих странах. В каждой из них в специфически национальных формах развертывался первый акт битвы европейской буржуазии против феодализма и его религиозной санкции — католической церкви. И реформация, и крестьянская война в Германии, и революции в Нидерландах и Англии являлись специфическими формами проявления действия одной и той же исторической закономерности эпохи перехода от феодализма к капитализму. Не учитывая этого обстоятельства, мы не сможем понять существенное содержание европейской истории XVI—XVII вв.

Существует диалектическое единство всеобщего, единичного и особенного в историческом процессе. Всеобщее проявляется в единичном и особенном. Но, с другой стороны, путь к познанию всеобщего лежит

через изучение единичного и особенного. Это последнее положение имеет особое значение для исторической науки, подчеркивает ее роль в развитии марксистско-ленинской теории. Углубление нашего знания об отдельных исторических явлениях как формах проявления закономерности ведет в конечном счете к обогащению понимания природы самой этой закономерности, уточнению наших представлений о ее существенных чертах. В частности, в настоящее время представляется особенно настоятельным исследование специфики действия общих закономерностей в конкретных исторических условиях. Не говоря уже об особой научной и политической актуальности изучения этого вопроса в наши дни, когда всякий догматический подход к явлениям современной жизни, всякая попытка оперировать отвлеченными схемами без учета непрестанно изменяющейся действительности является особенно опасной, изучение конкретных форм проявления общих закономерностей в масштабах всемирной истории составляет необходимое условие дальнейшего прогресса истории как науки. В самом деле, только через всесторонний анализ всей совокупности общественных отношений у разных народов земного шара на всем протяжении их истории возможно обогащение наших представлений об общественно-экономических формациях. Научная необходимость этого в отношении едва ли не всех формаций на современном этапе развития науки вытекает уже из тех споров, которые в настоящее время идут в марксистской литературе вокруг различных относящихся сюда вопросов. При этом очевидно, что дальнейшее обогащение марксистско-ленинского учения об общественно-экономических формациях не может идти по пути поиска нормативов в истории одного или нескольких народов, с точки зрения которых рассматривалась бы история всего остального человечества, или констатирования с этой же целью неких умозрительных генетических признаков формации. Преодоление европоцентризма в исторической науке отнюдь не должно свестись к замене его какой-либо другой, не менее исключительной и односторонней, точкой зрения в изучении истории. С другой стороны, в ходе борьбы с европоцентризмом было бы, на наш взгляд, неверным сбрасывать со счетов то обстоятельство, что на протяжении определенного (и весьма длительного) периода времени Европа стояла во главе общественного прогресса человечества. В этой связи следует остановиться на одной точке зрения, выдвинутой недавно в марксистской литературе на европейский феодализм. Известный немецкий историк Э. Мюллер-Мертенс, справедливо выступая против фактически господствующего в современной науке представления о европейском феодализме как о нормативе феодальной организации общества вообще, впадает, как нам кажется, в другую крайность. Он считает возможным рассматривать западноевропейское феодальное общество как отсталое и менее развитое по сравнению с византийским и восточным феодализмом и ставит на этом основании вопрос, не должно ли определение феодализма исходить из отношений, существовавших в Византии и на Востоке[24]). Не говоря уже о неправомерности вынесения за одни скобки византийского и восточного феодализма, вызывает недоумение сама трактовка Э. Мюллер-Мертенсом западноевропейского феодализма как «примитивного». То обстоятельство, что феодализм в Западной Европе не приобрел такого застойного характера, как на Востоке, что в его недрах относительно ра-

[24]) См. Müller—Mertens. Vom Regnum Teutonicum zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, in: «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft». 1963, H. 2, S. 324—325. См. также E. Müller-Mertens. Die Genesis der Feudalgesellschaft im Lichte schriftlicher Quellen. Fragen des Historikers an der Archäologen.— Ebenda. 1964. H. 8.

но возник и стал развиваться новый общественный строй, вряд ли является, как полагает немецкий историк, следствием его примитивности. Скорее, это — свидетельство наиболее полного и быстрого развития всех заложенных в феодальной формации возможностей[25]).

II

Влияние современности на историческое познание получает свое наиболее полное выражение в его партийности. Поступательное развитие исторической науки органически связано с современной ей идейно-политической борьбой, в высшей степени ею стимулируется. Каждый новый общественный класс, олицетворяющий собою прогрессивное движение общества, создает эпоху в развитии исторической науки; в его идеологии заключаются предпосылки, создающие новые возможности в углублении познания мира общественных явлений и тем самым способствующие достижению объективно-истинных знаний о прошлом. Весь путь, пройденный исторической наукой, служит убедительным подтверждением этого положения. Нельзя понять крупнейшие явления в ее истории, смену одних школ и направлений другими, появление новых аспектов в познании прошлого, эволюцию самого понимания предмета исторической науки и ее задач без обращения к совершавшимся в обществе экономическим и социальным сдвигам, обусловливавшим возникновение новых общественных потребностей и выдвижение на историческую арену новых социальных сил, способных их разрешить.

Из сказанного, однако, не следует, что всякое серьезное достижение в историографии непременно должно быть связано с прогрессивным мировоззрением ученого, с его принадлежностью к передовому общественному классу своего времени. В. И. Ленин прямо подчеркивал способность буржуазных ученых, стоящих на реакционных мировоззренческих позициях, давать самые ценные работы в специальных областях истории и других конкретных наук, указывая на задачу марксистов усвоить и переработать эти завоевания, ведя вместе с тем непримиримую борьбу с присущей им реакционной тенденцией[26]). Высказанное почти 60 лет назад, это положение сохраняет свою силу и в наши дни. В целом ряде специальных вопросов исторической науки буржуазные ученые и сегодня, в условиях глубокого кризиса буржуазной историографии, почти безраздельного господства в ее среде реакционных идейно-методологических взглядов, способны давать результаты, имеющие характер объек-

[25]) Вместе с тем вряд ли можно согласиться с теми критиками Е. Мюллер—Мертенса, кто, подобно Е. Вернеру (см. E. Werner. Einige Charakteristika des vorder—und mittelasiatischen Feudalismus, in: «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1963, H. 6) и Б. Тепферу (см. B. Töpfer. Zu einigen Grundfragen des Feudalismus. Ein Diskussionsbeitrag, in: «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1965, H. 5), подчеркивает «классичность» западноевропейского феодализма. Признание какого-либо варианта общественного развития «классическим» вольно или невольно ведет к тому, что все остальные формы рассматриваются под углом зрения их соответствия или несоответствия данному образцу. Следствием этого неизбежного является огрубление наших представлений об историческом процессе в целом, смазывание существенных различий между конкретно-историческими проявлениями одного и того же социального феномена. Более научно-перспективным, хотя и более сложным, является другой путь, предполагающий построение общей теории известного феномена, основанной на всестороннем исследовании всех его проявлений. К аналогичным взглядам склоняется в своей последней дискуссионной статье и сам Е. Мюллер-Мертенс, выражая сомнение в научной плодотворности рассмотрения феодализма как всемирно-исторического процесса путем выделения развития феодальных отношений в какой-либо части света в качестве руководящего образца. (См. E. Müller-Mertens. Zur Feudalentwicklung im Okzident und zur Definition des Feudalverhältnisses, in: «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1966, M. 1, S. 64, 72.

[26]) См. В. И. Ленин. ПСС, т. 18, стр. 363—364.

тивной истины. Было бы неправильным, ведя последовательную борьбу за чистоту марксистско-ленинской теории, не учитывать этого обстоятельства[27]). Обращаясь к прошлому нашей науки, легко привести примеры значительных научных достижений, в той или иной мере определивших ее поступательное развитие, принадлежавших исследователям, отнюдь не стоявшим на прогрессивных для своего времени идейно-методологических позициях. Пожалуй, наиболее показательный пример — общинная теория Маурера. Созданная ученым, придерживавшимся весьма консервативных политических убеждений и призванная, по его замыслу, служить теоретическим обоснованием этих убеждений, общинная теория, тем не менее, явилась в высшей степени научно-плодотворной, внесла серьезный вклад в разработку объективно-истинных представлений по целому ряду существенных проблем истории (первобытное общество, генезис феодализма, формы землевладения и их эволюция и т. п.)[28]).

Факты подобного рода должны предостеречь от слишком упрощенного представления о связи, существующей в историческом исследовании между партийностью и объективностью. Нельзя не учитывать специфику научного познания, которая предполагает отмеченное Лениным противоречие между теоретическими взглядами ученого и его научной практикой. Представляется возможным говорить об относительной самостоятельности, известной автономности последней, с чем и связано встречающееся нередко расхождение между идейно-методологическими воззрениями ученого и их воплощением в исследовании конкретного материала. Применительно к буржуазной историографии отметим, что нередко господствующие в ней теоретические принципы оказывались гораздо у́же ее исторической практики. Реальная историческая действительность в ее многообразии сплошь и рядом оказывалась несовместимой с теми или иными теоретическими схемами; объективная логика исторического исследования порой приводила буржуазных историков к выводам, значение которых вступало в противоречие с исповедуемыми ими методологическими взглядами или во всяком случае не вытекало из них. Кто, например, возьмется утверждать, что из консервативных убеждений Маурера, его страха перед революцией необходимо вытекало признание существования общинной собственности как исходного пункта аграрного развития Германии? Более того, как известно, общинная теория объективно, безусловно, вопреки воли своего создателя, способствовала в определенном смысле дальнейшему научному обоснованию материалистического понимания истории; широко используя содержавшийся в трудах Маурера фактический материал, Энгельс в своей известной работе «Марка» сделал из него прямо революционный вывод о неизбежности ликвидации капиталистической собственности на землю и возрождении на новых основаниях собственности коллективной.

[27]) Пример поверхностного отношения к буржуазной историографии дает уже цитированная книга Б. А. Грушина, изобилующая в этом отношении самыми элементарными ошибками. Так, работы Ранке, Рошера, Гильдебранда рассматриваются как «результат осуществления в конкретном научном исследовании принципов, сформулированных философией Г. Риккерта и В. Виндельбанда» (стр. 24), в то время как основные взгляды этих ученых сложились значительно ранее; В. Дильтей назван в числе «новейших западных историков и философов» (стр. 25) и т. д. Вряд ли можно в критике неокантианства удовлетвориться заявлением, как это делает Б. А. Грушин, что оно является «верхом пошлости и архаизма» (стр. 24). Положение не спасает его отказ в праве называться различным течениям буржуазной общественной мысли эпохи империализма современными и отнесение их в «лучшем случае» к уровню «истории древних» (стр. 23). Если бы дело обстояло так, то, очевидно, критика современной буржуазной методологии истории была бы очень легким делом.

[28]) О Маурере и его теории см. А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX в. М., 1958, стр. 141—213.

Относительная самостоятельность историографической практики, конечно, не является величиной постоянной. В известной степени и при определенных условиях она возрастает по мере удаления объекта исследования от сегодняшнего дня, запросы и нужды которого, находящие свое выражение и в «классовом заказе» своего времени, всегда сказываются на общей направленности деятельности историка. Всегда существуют проблемы, как правило, хронологически удаленные от современности, подход ученого к которым непосредственно не связан с реализацией исторической наукой ее функции в идеологической борьбе своего времени, равно как и то или другое решение таких проблем не оказывает прямого влияния на эту борьбу.

Дело здесь заключается, однако, не просто в самом факте удаления объекта изучения от современности. Широко известны случаи, когда на материале седого прошлого решались самые жгучие вопросы настоящего, причем решались под прямым его воздействием. Достаточно вспомнить то актуальное значение, которое приобрели в последней четверти XIX — начале XX вв. исследования Фюстель де-Куланжа и Допша о характере социально-экономических отношений у древних германцев и в раннем западноевропейском средневековье. Сформулированные этими учеными положения об извечности частной собственности и социального неравенства, их отрицание скачкообразного характера перехода от античности к средним векам стали определяющими идеями буржуазной медиевистики эпохи империализма, явившись одним из наиболее ярких проявлений идеологической борьбы своего времени. Речь, таким образом, идет скорее о специфике некоторых объектов исторического исследования, интерпретация которых, представляя определенную научную ценность, вместе с тем находится в относительной независимости от современной идеологической борьбы, независимости тем большей, чем далее в прошлом они лежат.

Специфика научного познания обусловливает важное значение профессиональных качеств ученого: его специальной подготовки, умения работать с источником, овладения всей всеобщей передовой методикой своего времени, которое автоматически не определяется его мировоззрением. В этой связи будет уместным подчеркнуть далеко немаловажное значение профессионального мастерства как необходимой предпосылки, обеспечивающей достижение объективной истины в историческом познании. Самые благие намерения ученого, его принадлежность к самому передовому для своего времени мировоззрению могут обеспечить успех только в том случае, если они органически сочетаются с глубоким овладением техникой исторического исследования, широкой эрудицией и другими аналогичными качествами, без которых не может быть настоящего историка. Мы повторяем эту очевидную истину только потому, чтобы еще раз подчеркнуть научную бесперспективность оперирования теми или иными готовыми формулами, не опирающегося на всестороннее самостоятельное изучение конкретной исторической действительности во всей ее сложности и противоречивости. Таким образом, проблема объективности исторического познания не может быть нацело сведена к проблеме партийности. Всякая недооценка этого обстоятельства неизбежно ведет к вульгаризации марксистско-ленинской теории исторического познания, имеет своей оборотной стороной нарушение принципа как объективности, так и партийности в историческом исследовании.

Признание относительной самостоятельности историографической практики не может, однако, служить основой для недооценки роли принципа партийности в обеспечении объективно-истинного познания. Оно лишь подчеркивает сложный и подчас противоречивый характер проявле-

ния этого принципа. Маурер был, бесспорно, партиен в своем подходе к изучению аграрных отношений древних германцев, но объективные результаты его исследований оказались гораздо шире его консервативной буржуазно-дворянской партийности и даже вступили в противоречие с ней. Мы отчетливо видим проявление его партийности в настойчивом подчеркивании мирной эволюционной природы исторического процесса и связанной с этим недооценке роли насилия, а также в непонимании антагонистического характера действительного прогресса, что обусловило, в частности, известную идеализацию феодальных отношений в средневековой Германии[29]).

Это, конечно, не означает, что буржуазная партийность всегда препятствовала историческому познанию. Напротив, в определенных исторических условиях, характеризовавшихся развитием капитализма по восходящей линии, идеологи буржуазии, в силу самого положения своего класса в системе общественных отношений, были заинтересованы в объективном отражении действительности, ибо в этой действительности буржуазия выступала как прогрессивный класс которому принадлежало будущее. Так возникли теория общественного прогресса, учение о классовой борьбе (в ее буржуазной интерпретации) и некоторые другие передовые для своего времени исторические концепции, которые были вызваны к жизни острой идеологической борьбой молодой буржуазии против феодального дворянства, служили важнейшим оружием в этой борьбе и именно поэтому сумели несравненно более адэкватно отразить существенное содержание исторического процесса, чем воззрения их классовых противников. Вместе с тем уже эти концепции ясно обнаруживали границы возможностей буржуазной партийности: как правило, крупнейшие достижения буржуазной общественной мысли XVIII — первой половины XIX вв. имели место в тех случаях, когда ее лучшие представители выступали от имени всего народа, там же, где на первом плане оказывались своекорыстные интересы буржуазии, страдала и объективность исторического исследования[30]).

Эту ограниченность буржуазной партийности стало возможным преодолеть лишь с позиций материалистического понимания истории. С ним вместе в историческую науку вошел принцип коммунистической партийности, открывший перед ней невиданные прежде возможности в решении ее главной задачи — создания объективно-истинного представления об истории человеческого общества. Выдвигая перед ученым требование беспощадно вскрывать социальные противоречия как движущую силу общественного развития, оценивать исторические явления с позиций коренных интересов передового класса современности, последовательно проводить эту классовую точку зрения в историографической практике, принцип коммунистической партийности давал в его руки могущественное оружие исторического познания. Его научная плодотворность определяется тем обстоятельством, что коренные, правильно понятые интересы пролетариата по самой своей природе носят общечеловеческий характер. Связанный по своему положению в системе общественного производства с передовыми производительными силами, лишенный необходимости цепляться за свое классовое господство, являющееся для него лишь необходимым переходным этапом к обществу бесклассовому, пролетариат выступил на общественную арену как класс, которому по самой его природе свойственен непреходящий исторический оптимизм. Высшая

[29]) Развернутую критику общинной теории Маурера см. в письме Ф. Энгельса К. Марксу 15.XII 1882 г. (См. соч., т. 35, стр. 105).

[30]) См. известную рецензию К. Маркса на книгу Ф. Гизо. «Почему удалась английская революция?» (Соч., т. 7).

правда истории не противоречит его классовой правде, ибо весь дальнейший прогресс человеческого общества органически связан с его собственным прогрессом.

Таким образом, классовые интересы пролетариата не только не препятствуют объективному изучению истории, но и, напротив, предполагают его, создавая необходимые предпосылки для глубокого проникновения научной мысли в сокровенные пружины, определяющие развитие человеческого общества. Вместе с тем не может быть ничего ошибочнее представления, будто последовательное проведение принципа коммунистической партийности упрощает изучение истории, сводит его к решению простейшего уравнения с одним неизвестным. Такое представление, широко распространенное в буржуазной историографии, вульгаризирует действительное содержание принципа коммунистической партийности в историческом исследовании, неправомерно отождествляя с ним препарирование истории под углом зрения нескольких застывших формул.

Между тем дело заключается вовсе не в навешивании определенных ярлыков тем или иным явлениям и даже не в преимущественном внимании к изучению социально-экономических отношений на разных этапах развития общества. Последовательное проведение в историографической практике принципа коммунистической партийности требует всестороннего учета и анализа многообразных и сложных в своей противоречивости реальных исторических связей; в этом анализе указанный принцип образует лишь путеводную нить, но отнюдь не готовый шаблон, который следует лишь приложить к реальной действительности, чтобы получить искомый результат.

О том, насколько при этом предполагается глубокое проникновение в существо изучаемого вопроса, которое одно только и может обеспечить действительно научное претворение принципа коммунистической партийности в практике исторического исследования, свидетельствуют труды Маркса-Энгельса-Ленина, посвященные исследованию конкретно-исторических явлений. Напомним в этой связи известные труды Маркса о революции и контрреволюции во Франции в 1848—1851 гг.[31]). Проникнутые горячим сочувствием к восставшим парижским пролетариям и откровенной ненавистью к их угнетателям, эти труды вместе с тем представляют собою образец научной объективности. Каждый вывод Маркса строится на солидной фактической основе, с большим научным тактом он показывает взаимоотношение различных сторон исторического процесса в их конкретном выражении в событиях 1848—1851 гг. В частности, Маркс достигает поразительного по своей цельности органического единства в изображении субъективного и объективного момента в историческом процессе. Покажем это на примере его трактовки переворота 2 декабря 1851 г. И Луи Бонапарт, и Одилон Барро, и другие политические деятели этого периода отнюдь не выступают в его изображении послушными марионетками, слепыми орудиями неких абстрактных социальных сил, простыми выразителями совершающихся в обществе перемен. Маркс не только показывает активную политическую деятельность своих «героев», ее влияние на ход политических событий, но и уделяет известное внимание выяснению сугубо личных мотивов этой деятельности. И в то же время, всем ходом своего изложения он убедительно показывает решающую роль и в победе контрреволюции во Франции, и в торжестве бонапартизма материальных условий жизни француз-

[31]) См. его произведения «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» (Соч., т. 7) и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (Соч., т. 8).

ского общества в середине XIX в., определивших роковое для дела революции соотношение классовых сил в стране.

Особенно большой интерес представляет критика Марксом слабых сторон масс и их вождей. Маркс не только не скрывает ошибки и недостатки, приведшие парижский пролетариат к тяжелому поражению, но и акцентрирует на них внимание своих читателей, выдвигая изучение причин поражения революции 1848 г. в круг важнейших проблем своего исследования. Показателен метод Маркса, его постановка вопроса. Корни этих причин он ищет не в просчетах отдельных личностей, а в объективных условиях французской действительности середины XIX в. Его блестящий анализ социальной структуры французского общества, материальных условий жизни составляющих его классов в их отношении к революции обнаруживает действительные причины неудачного исхода борьбы парижских рабочих, обусловившие одновременно и целый ряд очевидных слабостей в действиях их вождей.

Несомненно, что в своих исследованиях Маркс выступал не только как ученый, но и, главным образом, как политический деятель, посвятивший всю свою жизнь делу пролетарской революции. Задачи дальнейшей борьбы европейского пролетариата требовали всестороннего анализа причин поражения его первых самостоятельных выступлений. Существовала прямая связь между выработкой стратегии и тактики пролетарской революции и глубиной этого анализа. Именно поэтому рассмотренные труды Маркса представляют собой органический сплав коммунистической партийности и научной объективности[32]). Аналогичный характер носят многочисленные труды Ленина, посвященные изучению причин поражения и уроков первой русской революции.

Отсюда следует принципиальный по своему методологическому значению вывод. Для основоположников марксизма коммунистическая партийность неразрывно связана с предельной объективностью исторического исследования. Оба эти принципа взаимно обусловливают друг друга. В современных условиях всякая сколько-нибудь серьезная попытка осмысления исторического процесса, исследования его общих закономерностей и их видоизменений в конкретных исторических условиях, воссоздание таким путем объективно-истинного представления об исторической действительности, возможны только с позиций коммунистической партийности. Но не менее верным является и другое положение: не может быть подлинной партийности там, где имеет место вольное или невольное нарушение принципа объективности в историческом исследовании.

В этой связи представляется необходимым проведение четкого различия между коммунистической партийностью как выражением наиболее общих интересов рабочего класса и ложной актуальностью, злободневностью, под каким бы флагом она ни выступала. Забвение этого различия, подмена принципа партийности науки ложно понятой актуальностью никогда не проходит для нее бесследно. История советской истори-

[32]) Этого никак не могут (и не хотят) понять многочисленные буржуазные критики Маркса, метафизически разрывая и противопоставляя друг другу эти принципы. Так, П. Шгадлер утверждает, что «материалистическое понимание истории представляет для Маркса только вспомогательную конструкцию, которую после постройки остова здания можно вновь легко убрать». В соответствии с этим и работы Маркса по истории Франции 1848—1851 гг являются для Штадлера лишь «самокритикой и самооправданием» (См. P. Stadler Wirtschaftskrise und Revolution bei Marx und Engels Zur Entwicklung ihres Denkens in den 1850—er Jahren, in: «Historische Zeitschrift», 1964, Bd. 199, S. 115. Такой взгляд игнорирует диалектическое единство, существующее в марксизме (и блестяще проявившееся в трудах Маркса по истории революции и контрреволюции во Франции) между изучением прошлого, оценкой настоящего и научным предвидением будущего.

ческой науки дает, к сожалению, немало примеров того, как стремление ученого откликнуться на злобу сегодняшнего дня, во что бы то ни стало дать на материале истории обоснование тому или иному явлению современности имело своим неумолимым следствием искажение исторической правды и тем самым, в конечном счете, извращение принципа коммунистической партийности.

Вместе с тем было бы несправедливо видеть в этих примерах плоды одних только конъюнктурных соображений тех или иных ученых. Необходимо учитывать специфику истории, как и других общественных наук. Было бы неверным закрывать глаза на тесную связь, которая существует между общественными науками и областью политики, не принимать во внимание то обстоятельство, что выводы общественных наук в очень большой степени затрагивают ее интересы. Если пресловутое определение истории как «политики, опрокинутой в прошлое» справедливо отвергнуто советской научной общественностью как вульгаризаторское, фактически ведущее к ликвидации истории как науки, то, с другой стороны, было бы теоретически неверным недооценивать связи, объективно существующие между политикой и историей и вытекающие из самой природы последней, из ее социальной функции. История не может не решать задач, которые ставит перед ней общество, не может не отзываться на стоящие в каждый данный момент перед ним проблемы. Иначе она просто не смогла бы выполнять свою социальную функцию, превратилась бы в худосочное геллертерство.

Связь исторической науки с современностью в широком смысле этого слова является источником ее силы, ее крупнейших научных достижений. Но эта же связь чревата для нее и определенными опасностями — в том случае, если преходящая злоба дня станет фактором, определяющим подход к тем или иным научным проблемам и даже решение их[33]).

Подлинная партийность исторической науки не имеет ничего общего с ложно понятой актуальностью, выражающейся в подчинении изучения прошлого мимолетным импульсам настоящего. Стремление к реализации в историческом исследовании запросов современности является научно плодотворным лишь при условиях, обеспечивающих возможность разностороннего исследования данного явления или процесса в его различных связях и опосредствованиях. В противном случае получится спекуляция на важной теме, имеющая весьма отдаленное отношение к действительной науке.

Диалектика влияния современности на историю предполагает необходимость учета и строгого разграничения двух качественно разнопорядковых моментов. Могущественное влияние современности на историческую науку является важнейшим условием ее развития. Не отражая в своих теориях и представлениях этого влияния, история не могла бы осуществлять свою социальную функцию в обществе. Современность является непременным атрибутом всякого значительного исторического направления, ею проникнуты лучшие труды, оставившие след в развитии науки.

Однако современность исторического исследования не тождественна с его злободневностью. В то время как под современностью в широком смысле понимается вся совокупность современных общественных отно-

[33]) В особенности это относится к изучению современной истории, где на пути исследователя существуют объективные трудности, которые подчеркивал еще Энгельс, указывая, что «при суждении о событиях и цепи событий текущей истории никогда не удается дойти до **конечных** экономических причин» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр. 529).

шений, соответствующих им учреждений, идей, принципов и т. п., оказывающих решающее влияние на развитие исторической науки, злободневность, как известно, имеет несравненно более ограниченное и узкое значение. Злободневность исторического исследования отражает стремление ученого откликнуться с помощью специфических средств своей науки на те или иные явления современной жизни, реализовать в изучении прошлого ее определенные тенденции. Само по себе такое стремление является естественным следствием природы истории как общественной науки, решающей в присущей ей форме известные задачи, стоящие в данный момент перед обществом или отдельными его классами. Однако научная значимость подобных попыток зависит от того, насколько органически удается ученому сочетать в своей работе импульсы современности с объективным исследованием прошлого. При этом речь идет не о подчинении одного другому. Решающее значение имеет вопрос о том, насколько такие импульсы содействуют или препятствуют объективно-истинному познанию прошлого. Другими словами, все зависит от того, в какой степени явления современной ученому общественной жизни помогают ему в отражении объективных связей реальной исторической действительности. В общем виде можно утверждать, что научно плодотворными являются только такие влияния, которые глубоко коренятся в жизни общества, выступая выражением тенденций его прогрессивного развития.

Характер влияния современности на историю с особой силой ставит вопрос об ответственности ученого, которая, однако, не может, как это распространено в буржуазной историографии[34]), трактоваться только или даже преимущественно в морально-этическом плане. Конечно, профессиональная добросовестность ученого, его стойкость в отношении всякого рода конъюнктурных соображений, стремление к истине прежде всего составляют необходимую предпосылку всякого подлинно научного подхода к изучению прошлого. Без этих качеств нельзя говорить о науке вообще. Но нельзя и сводить к ним проблему социальной ответственности ученого. Неизмеримо более широкая, она включает и целый ряд моментов иного порядка.

Место исторической науки в обществе в конечном счете определяется ее способностью эффективно содействовать решению стоящих перед обществом задач, что, в свою очередь, предполагает наличие известных объективных и субъективных предпосылок, необходимых для выполнения наукой ее социальной функции. Естественно, что важнейшей из этих предпосылок является способность к объективно-истинному отражению действительности. При этом вопрос заключается не просто в принципиальном признании возможности достижения объективной истины, а в условиях, обеспечивающих реализацию этой возможности в историографической практике. Одно лишь признание способности исторической науки к получению объективно-истинного знания о прошлом даже в сочетании с самыми лучшими субъективными намерениями ученого отнюдь не приводит автоматически к искомому результату.

Советские историки обладают могущественным методом познания общественных явлений, основы которого были разработаны К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным. Этот метод, предполагая классовый подход к оценке явлений прошлого в сочетании с требованием их всестороннего анализа и определения места в общем историческом процессе, позволяет таким образом ученому раскрыть и найти адэкватное отражение действительных связей реального мира. Успешное применение

[34]) См. L. v. Muralt. Der Historiker und die Geschichte. Zürich, 1960. S. 4.

марксистского метода познания общественных явлений немыслимо без высокого профессионального мастерства историка. Только в сочетании с ним становится возможным отделение существенных связей от несущественных, необходимости от случайного в историческом процессе. Только таким путем возможность познания закономерностей общественного развития, а тем самым и объективно-истинного отражения исторической реальности превращается в действительность. В противном случае историческое исследование вырождается в схоластическое оперирование цитатами.

Проблема социальной ответственности историка приобретает особое звучание в свете решений XXII и XXIII партийных съездов, указавших на место общественных наук в период развернутого строительства коммунистического общества. Программа КПСС сформулировала положение о том, что общественные науки «составляют научную основу руководства развитием общества»[35]). Это программное положение получило конкретизацию и дальнейшее развитие в работе XXIII съезда партии, где во весь голос прозвучала мысль о высокой ответственности общественных наук перед народом на современном этапе коммунистического строительства. Подчеркивая, что ни одно общество не нуждалось так в научной теории, как социалистическое общество, съезд указал на значение дальнейшего развития марксистско-ленинской теории как необходимого условия успешного строительства коммунизма, на важную роль внедрения рекомендаций общественных наук в практику.

Среди других общественных наук почетное место в решении поставленных партией задач принадлежит советской исторической науке, ибо одним из важнейших элементов научного руководства жизнью общества является глубокое осмысление исторического опыта. Исследование общественного развития во всем его многообразии, изучение конкретных форм проявления различных социальных феноменов, воссоздание многокрасочной картины прошлого человечества с помощью раскрытия специфических особенностей развития всех его отрядов — все это составляет необходимую предпосылку углубленного понимания закономерностей общественного развития и научного предвидения будущего. Но тем самым неизмеримо возрастает значение разработки теоретических проблем исторической науки. Творческое применение и развитие марксистского метода изучения общественных явлений необходимо предполагает исследование целого комплекса вопросов, связанных со спецификой исторического познания, его возможностями и условиями. Все более усиливающееся внимание советских ученых к этим вопросам, будучи выражением оживления теоретической мысли в области историографии, является одной из предпосылок успешного решения исторической наукой стоящих перед ней задач.

---

[35]) Материалы XXII съезда КПСС. М., 1962, стр. 417.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

ПЕРЕХОД К ФЕОДАЛИЗМУ КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ*)

С. Э. КРАПИВЕНСКИЙ

Непрекращающиеся в последние годы дискуссии по вопросам генезиса феодализма имеют в своей основе две важные причины. Во-первых, это — общетеоретическое значение данной проблемы, ее актуальность в современной идеологической борьбе. Ведь известно, что кардинальные вопросы античной эпохи уже давно «используются» буржуазными историками для атаки против основных положений марксизма-ленинизма. Так, на XI Международном Конгрессе исторических наук в Стокгольме западно-германский исследователь Ф. Виттингоф пытался опровергнуть положение советской науки о революционном характере перехода от рабовладельческого строя к феодализму[1]). Дальний прицел подобных попыток очевиден: если ни одна существенная черта буржуазной и социалистической революций не была свойственна процессу перехода к феодализму, если, тем самым, этот переход не представляет социальную революцию, то революционные переходы к капитализму и к социализму оказываются одиночными фактами всемирной истории и ставится под сомнение закономерный характер социальной революции вообще.

Но есть и другая причина, делающая рассматриваемую проблему настолько дискутабельной. Это — ее слабая разработанность историками-марксистами. Основные методологические принципы для ее разработки мы находим в трудах Маркса, Энгельса, Ленина. Достаточно вспомнить «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Введение (из экономических рукописей 1857—1859 годов)» Маркса, а также богатейшие россыпи их замечаний по античной истории, обнаруживаемые даже в «Диалектике природы». Нельзя согласиться с точкой зрения С. И. Ковалева, будто «теория социальной революции марксизма-ленинизма сложилась на материале двух революций — буржуазной и пролетарской»[2]). В действительности же, создавая учение о социальной революции, Маркс, Энгельс, Ленин руководствуясь историко-материалистическими принципами типизации общественных явлений, синтезировали и революционный опыт эпохи перехода к феодализму, обращая внимание на проявившиеся здесь

*) Не разделяя ряда положений С. Э. Крапивенского, редакция сборника считает статью представляющей интерес по поставленным в ней вопросам.

[1]) См. Fr. Wittingoff, Die Bedeutung der Sklaven für der Übergang von der Antike in das abendländliche Mittelalter, «Resumes», XI-e Congres International des Sciences Historiques, Gotteborg—Stockholm—Upsala, S. 71—73.

[2]) С. И. Ковалев. К вопросу о характере социального переворота III—V вв. Западной Римской империи («Вестник древней истории», 1954, № 3, стр. 43).

общие черты социальных революций. Они боролись против отрицания перехода к феодализму как особого типа социальной революции и, в частности, против К. Каутского, заявлявшего: «Если сущность социальной революции видеть не в одном только государственном перевороте, а и в следующих за этим переворотом новообразованиях, то тогда социальная революция есть нечто такое, что появляется на сцену лишь вместе с промышленным капитализмом»[3]). С другой стороны, основоположники марксизма-ленинизма анализировали и то особенное, специфическое, что характерно для стихийной социальной революции, для ступени незрелой классовой борьбы. Маркс, Энгельс, Ленин не представляли себе возможным разработку материалистического понимания истории без обобщения опыта хотя бы одной из формации[4]). Очень характерна в этом отношении ленинская рецензия на вышедшую в 1897 году книгу А. Богданова «Краткий курс экономической науки». В. И. Ленин отмечал в этой рецензии тот недостаток большинства руководств по политэкономии, что «они ограничиваются обыкновенно одной системой общественного хозяйства (именно капитализмом)» и указывал, что излагать политическую экономию нужно «...в форме характеристики последовательных периодов экономического развития, именно: периода первобытного родового коммунизма, периода рабства, периода феодализма и цехов и, наконец, капитализма»[5]).

И тем не менее методологическая канва для освещения проблем античности, предложенная Марксом, Энгельсом, Лениным, в последующие десятилетия использовалась и обогащалась весьма слабо. Сказалось здесь традиционное отставание исторической науки в области анализа «узловых точек» общественного развития — периодов социальных революций. Как заметил в свое время А. В. Мишулин[6]), старая буржуазная наука даже в лучших своих произведениях отражала влечение к изучению тех периодов в истории, которые дают нам картину уже стабилизовавшихся обществ с их установившимся бытом и культурой, т. е. периода их расцвета. В частности, антиковедение фиксировало свое внимание преимущественно на изучение классического периода в Греции или конца римской республики и так называемого «золотого века» Августа. Переходные же эпохи от античной цивилизации к феодализму освещались явно недостаточно, что было связано не только с метафизическими пороками предшествующей исторической науки, но и с классовыми позициями ее представителей. Да и надо было улечься сперва самому понятию «общественно-экономическая формация», столь новому в социологии, надо было узакониться периодизации истории на формации, прежде чем перейти к углубленному изучению механизма социальной революции. К сожалению, применительно к античности этот процесс чересчур затянулся, так что даже к 1933 году в подавляющем большинстве работ советских историков оставалось в стороне понимание рабовладельческого общества как особого социального организма[7]), а сам переход от ан-

[3]) К. Каутский. Материалистическое понимание истории, т. II. М.—Л., 1931, стр. 419.

[4]) В частности, и С. И. Ковалев признает, что в том месте «Манифеста Коммунистической партии», где говорится о гибели обоих классов как исходе классовой борьбы, «несомненно учтен опыт падения античного общества» (С. И. Ковалев, цит. произв., стр. 41).

[5]) В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 33—34, 4-е изд.

[6]) См. А. В. Мишулин. «Древние славяне и судьбы Восточно-Римской империи», «Вестник древней истории», 1939, № 1, стр. 292.

[7]) Можно назвать три исключения из отмеченного здесь положения вещей — работы Н. Тонина «Происхождение христианства», М., 1931, Л. В. Баженова. «Классовая борьба в античном мире», М., 1931, А. А. Ракова. «К проблеме раз-

тичности к феодализму нередко рисовался как процесс реакционный, как сплошное возвращение к «варварству»[8]). Тем самым игнорировалась одна из важнейших черт социальной революции — утверждение более прогрессивной общественно-экономической формации. А ведь об этой черте пишет Маркс в предисловии к «Критике политической экономии» и располагает в последовательно прогрессирующем ряду формаций феодализм после рабовладельческого строя[9]), прогрессивность перехода к феодализму специально рассматривалась Энгельсом в «Анти-Дюринге» и в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Так, медленно внедрялась марксистская методология в античный раздел исторической науки. К этому следует добавить несколько метафизический (и даже механистический) характер, который приобрел анализ перехода к феодализму в тридцатые-сороковые годы. Вот почему в период дискуссии 1954 года ее участники справедливо упрекались в том, что они «не ставят вопроса о том, в каких понятиях и терминах марксистско-ленинской методологии мы должны определить социальный переворот IV—V веков? Как совершался переход рабовладельческого общества в феодальное? Можно ли говорить здесь о взрыве, о социальной революции? Если это была революция, то как ее назвать, каковы у нее черты сходства с другими революциями?»[10]). За последние годы исследование указанных проблем значительно продвинулось вперед, но по-прежнему остается много требующих дополнительного объяснения вопросов.

И прежде всего следует остановиться на анализе экономической основы и экономической задачи данной социальной революции, т. е. причин движения рабовладельческого способа производства в сторону его гибели. В буржуазной историографии стало традиционным идеалистическое (вплоть до мистического) толкование данной проблемы. Традиция эта идет от Монтескье, считавшего основной причиной падения Рима развращение нравов ее граждан и, в частности, воинов в результате захвата чужих стран, а также распространения эпикурейской философии. Последним Монтескье объясняет и причину более ранней гибели греческого общества по сравнению с римским[11]). Продолжая методологическую линию Монтескье, Гиббон одной из основных причин падения рабовладельческого общества объявил замену языческой религии христианской. Христианство — по Гиббону — своей проповедью аскетизма сломило древнеримскую жизнерадостность и мужество, ослабило патриотическое чувство и вызвало охлаждение народа к выполнению своих гражданских обязанностей. Концепция

ложения рабовладельческой формации» («Известия Государственной академии истории материальной культуры», вып. 66, Л., 1933, стр. 4). Даже учебное пособие для Комвузов, вузов и Совпартшкол, выпущенное Коммунистическим университетом им. Свердлова и выдержавшее, по крайней мере, 7 изданий, игнорировало рабовладельческую формацию, и римскую империю именовало «Государством торгового капитала» (см. П. Кушнер, Очерк развития общественных форм, М., 1929, стр. 10, 257 и т. д.). Деление общества на первобытное, родовое, феодальное и капиталистическое мы обнаруживаем и в книге О. В. Трахтенберга и А. И. Гуковского «Фазы общественного развития», выпуск I, М.—Л., 1928).

[8]) См., например, В. И. Недельский. К вопросу о характере возникновения христианства. («Воинствующий атеизм», 1931, № 2—3, стр. 170); С. Урсинович. Очерки по истории превращения христианства в господствующую религию, М., 1932, стр. 23.

[9]) См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 7.

[10]) «Вестник древней истории», 1954, № 3, стр. 33.

[11]) См. Ш. Монтескье. Размышления о причинах величия и падения римлян («Избранные произведения», М., 1955, стр. 86, 87, 89).

примата религиозного сознания над общественным бытием, подхваченная Л. Фейербахом, а в двадцатом веке целым отрядом буржуазных ученых (Харанис, Мосс и др.), была подвергнута уничтожающей критике со стороны Маркса и Энгельса. По этой теории выходит, писал Маркс в сороковых годах в «Кельнской газете», что «... весь древний мир... погиб потому, что развитие науки раскрыло заблуждение древних религий»[12]). Впоследствии Энгельс возвращается к этому вопросу в связи с критикой социологических воззрений Фейербаха, а также в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Неоднократной критике в марксистской литературе подвергалась мистическая теория циклизмов Эд. Мейера, объяснявшего гибель античного общества не внутренними и даже не внешними объективными причинами, а какими-то имманентными, стоящими вне причинности «закономерностями циклического развития самого античного общества». «Мы имеем здесь дело,— писал Эд. Мейер,— исключительно с распадением культуры, достигшей наивысшего развития и разлагающейся изнутри, при полной исправности внутреннего строя без вмешательства сколько-нибудь опасного внешнего врага»[13]).

Если идеалистическое объяснение пружин развития рабовладельческого способа производства опровергалось на всем протяжении развития марксистской исторической науки, то несколько иначе обстояло дело с попытками механистического подхода к объяснению этого явления. Речь идет об утвердившейся в нашей литературе многие годы назад точке зрения, согласно которой главной причиной развития рабовладельческой формации к упадку надо считать результаты внешней политики господствующего класса: по мере «освоения» варварской периферии уменьшался рынок потенциальных рабов, сокращался приток пленных, и рабство клонилось к упадку. Такое толкование выдвигалось, в частности, К. Каутским и в «Происхождении христианства», и в «Материалистическом понимании истории». «В конечном счете,— писал он,— мы снова и снова, таким образом, приходим к войне как орудию получения необходимых дешевых рабочих рук. История греческих государств и Рима ясно показывает, насколько высота цивилизации последних зависела от размеров их военной силы»[14]). Против подобного объяснения тридцать лет назад выступил академик А. И. Тюменев, указавший, что «обычное объяснение упадка рабского хозяйства прекращением войн и вместе с тем притока пленных так же недостаточно, как и объяснение широкого распространения рабства в предшествовавшую эпоху победоносными войнами Рима»[15]). А. И. Тюменев убедительно показал, что объяснение, подчеркивающее примат внешних, военно-политических причин над собственно экономическими внутренними причинами, основано на поверхностном анализе, характеризующем работы буржуазных историков и искажении ими истинного удельного веса пленных в общей массе рабов[16]). Работа А. И. Тюменева обращала внимание на тот факт, что кризис рабовладельческого хозяйства затронул не столько массы праздных домашних

[12]) К. Маркс и Ф. Энгельс. О религии, М., 1955, стр. 16.

[13]) Эд. Мейер. Экономическое развитие древнего мира, С—Петербург, 1898, стр. 66.

[14]) К. Каутский. Материалистическое понимание истории, М., 1931, стр. 239.

[15]) А. И. Тюменев. «История античных рабовладельческих обществ», М.—Л., 1935, стр. 221.

[16]) «Если раннее рабство, помимо войн, имело и другие источники, и в общем числе рабов, насчитывавшихся миллионами, сотни тысяч военнопленных составляли ничтожное меньшинство, то, с другой стороны, и в императорскую эпоху поступление военнопленных сократилось отнюдь не так значительно, как принято думать. В результате походов Цезаря сотни тысяч галлов поступили на рабские рынки. В течение всего первого века империи войны с германцами доставляли десятки и

рабов, как можно было ожидать, если бы непосредственной причиной кризиса было абсолютное сокращение числа рабов, но прежде всего рабов, занятых в производстве. Растущая именно с начала Империи практика отпущения рабов на волю точно также показывает, что отнюдь не прекращение притока рабов извне послужило причиной упадка рабовладельческой системы. Однако призыв А. И. Тюменева обратиться к уяснению внутренних, экономических, причин этого кризиса не возымел тогда должного действия. Такой призыв мы встречаем вновь через четверть века. «Как в западно-европейской, так и в нашей исторической науке,— пишут С. Л. Утченко и Е. М. Штаерман,— многие придерживаются следующей схемы развития рабовладельческого способа производства, в частности, в древнем Риме: рабство могло быть рентабельным лишь при минимальных затратах на покупку и содержание раба и извлечении из него максимального прибавочного продукта в минимальный срок... Продолжительность жизни раба была для его хозяина гораздо менее важным фактором, чем производительность труда раба. Рабовладельцу было невыгодно в течение 10-15 лет кормить детей, рожденных рабынями, естественный прирост в пополнении числа рабов роли не играл. Когда же наступательная политика Рима стала сменяться оборонительной, приток пленных сократился, рабы подорожали, наступил кризис рабовладельческого способа производства»[17]). С. Д. Утченко и Е. М. Штаерман показывают, что эта популярная среди историков и особенно среди экономистов схема отнюдь не подтверждается фактами. Плутарх, Варрон, Аппиан свидетельствуют о систематическом естественном приросте рабов, поощряемом их хозяевами. Кроме того, и самое представление о массовом, беспрерывном притоке обращаемых в рабство пленных едва ли правомерно. Здесь исходят из пока еще ничем не доказанного предположения, что все покоренные на войне обращались в рабов; но ведь пленными и обменивались, их выкупали, их могли и отпустить после триумфа. Варрон называет шесть способов приобретения рабов-пастухов и лишь один из них — покупка рабов из числа добычи. Таким образом, даже для периода республики, не говоря уже об империи, нельзя безоговорочно признать войну чуть ли не единственным или во всяком случае далеко оставляющим позади себя все другие источники рабства. «А это подрывает всю приведенную выше схему и лишний раз показывает, что ни развитие, ни упадок рабовладельческого общества, ни самый характер его развития не стоят в прямой связи с абсолютной численностью рабов, с непрерывным ее возрастанием или падением за счет внешних факторов[18]).

Некоторые отклики на указанную статью свидетельствуют, что отход от механистической, внешнефакторной схемы развития рабовладельческого способа производства происходит все же с известными трудностями, причем для защиты этой схемы делаются попытки использовать марксистско-ленинскую методологию. Так, Б. Коваль[19]), возражая С. Л. Утченко и Е. М. Штаерман, ссылается на второй том

сотни тысяч пленных, до ста тысяч пленных было продано в рабство после разгрома Иерусалима (73 г.), огромные массы пленных поступили затем на рабские рынки во время войн Траяна с даками (107 г.) после подавления иудейских восстаний и особенно при Адриане; в конце II в. Септимий Север из парфянского похода привел с собой 100 тыс. пленных» (А. И. Тюменев. Цит. произведение, стр. 221—222).

[17]) С. Л. Утченко, Е. М. Штаерман. О некоторых вопросах истории рабства («Вестник древней истории», 1960, № 4, стр. 14—15).

[18]) С. Л. Утченко, Е. М. Штаерман. О некоторых вопросах истории рабства («Вестник древней истории», 1960, № 4, стр. 16).

[19]) Б. Коваль. «О некоторых спорных вопросах статьи С. Л. Утченко и Е. М. Штаерман» («Вестник древней истории», 1961, № 3, стр. 89).

«Капитала», где Маркс говорит о «натуральном присвоении чужой рабочей силы посредством прямого физического принуждения» и о значении внешнего рынка пополнения рабов даже для США в условиях девятнадцатого века[20]). Но брать в союзники «Капитал» Маркса в данном вопросе, значит забывать, что «Капитал» пронизан совершенно иной логикой, чем схема военно-политического порабощения. В «Капитале», как указывал Энгельс, «весь процесс объяснен чисто экономическими причинами, причем ни разу не было необходимости прибегать к ссылке на грабеж, насилие, государство или какое-либо политическое вмешательство... «Насильственная собственность» оказывается и в этом случае просто громкой фразой, которая должна прикрыть непонимание действительного хода вещей»[21]). При этом Маркс и Энгельс, естественно, не отрицают ни роли внешнего фактора в истории вообще, ни роли притока рабской силы извне, в частности[22]). Они только требуют объяснять это внешнее через внутреннее, через потребности и возможности экономического развития. «Насколько цель — фундаментальнее» средства, применяемого для ее достижения,— пишет Энгельс,— настолько же экономическая сторона отношений является в истории более фундаментальной, чем сторона политическая» и тут же поясняет это примерами из истории, начисто опровергающими «теорию» порабощения Пятницы Робинзоном, предложенную Дюрингом. «Если во времена войн с персами число рабов в Коринфе достигало 460 000, а в Эгине — 470 000 и на каждую душу свободного населения приходилось 10 рабов, то для этого требовалось еще нечто большее, чем «насилие», а именно высокоразвитая художественная и ремесленная промышленность и обширная торговля. Рабство в американских Соединенных Штатах поддерживалось гораздо меньше насилием, чем английской хлопчатобумажной промышленностью; в местностях, которые не занимались, подобно пограничным штатам, разведением рабов для продажи в хлопководческие штаты, рабство вымерло само собой, без применения насилия, просто потому, что оно не окупалось»[23]).

В последние годы некоторая модификация в схему внешнефакторного развития кризиса рабовладельческой формации внесена Б. Ф. Поршневым. Как бы чувствуя уязвимое звено этой схемы — ее механицизм, Б. Ф. Поршнев предлагает рассматривать рабовладельческий мир и «варварскую» периферию в качестве двух органически прикованных друг к другу половин или полюсов сложного огромного единства[24]). Вряд ли данная точка зрения может быть признана удовлетворительной, вряд ли она заменяет механицизм подлинной диалектикой. Ведь если рабовладельческие государства действительно нельзя себе мыслить вне окружающей варварской среды, то вторая сторона рассматриваемого взаимодействия — так называемые «варвары» «не нуждались» для своего развития в агрессии рабовладельческих соседей. Даже наличие самого существенного воздействия рабовладельческого

---

[20]) К. Маркс. «Капитал», М., 1955. т. II, стр. 480.
[21]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 167.
[22]) Не отрицает роли внешнего фактора в развитии противоречий рабовладельческого способа производства и А. И. Тюменев. В частности, он указывал: «Потеря монопольного положения и внешних владений обострила внутренние противоречия. За отсутствием внешних источников государственные расходы были переложены на имущие классы самих Афин» (А. И. Тюменев. Цит. произведение, стр. 92).
[23]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 164—165.
[24]) См. Б. Ф. Поршнев. Феодализм и народные массы, М., 1964. стр. 511.

мира на «варварскую» периферию (вроде приводимого Б. Ф. Поршневым примера с возникновением «военной демократии» у варваров) не позволяет все же рассматривать эти явления как противоположности внутри единого целого. Генезис феодализма должен быть объяснен из самого рабовладельческого способа производства, развития его основного противоречия. Конечно, общая форма этого основного противоречия никогда не вызывала в нашей литературе каких-либо сомнений. Как и в любой другой формации, оно состоит в противоречии между производительными силами и производственными отношениями. Трудность состоит в отыскании конкретных, только данному способу производства свойственных, содержания и формы этого противоречия.

С. И. Ковалев в 1934 г. писал, что «основное противоречие античного общества, противоречие между его производительными силами и производственными отношениями, в конкретной форме социально-**классовых** отношений выражается в эксплуатации рабовладельцами всех трудовых элементов античного общества, но, конечно, в разных степенях эксплуатации; прежде всего и больше всего рабов, а затем и остальных»[25]). Но отражение основного противоречия, пусть и в важнейшей сфере социальной жизни, еще не есть само противоречие. Не давало ответа на вопрос и положение, выдвинутое П. Кушнером в 1929 г., согласно которому основным противоречием поздней античности было «полное несоответствие между быстро натурализовавшимся хозяйством и прежней формой социального устройства (империя), приспособленной к развитым товарным отношениям»[26]). Ведь остается неразъясненным, почему хозяйство с развитыми товарными отношениями развивалось в сторону натурализации. Современная литература исходит из того, что рабовладельческий способ производства погиб в результате острого конфликта между устаревшими производственными отношениями и изменившими свой **характер** производительными силами. «До известного времени,— говорится в одном из учебных пособий,— рабовладельческие производственные отношения находились в соответствии с характером производительных сил. Тем не менее по мере развития производства производственные отношения рабовладельческого строя постепенно отстают от производительных сил, превращаются в их оковы. Назревает конфликт между производственными отношениями и характером производительных сил»[27]). С тех же позиций дается анализ в другом курсе лекций: «Исчерпав свои возможности, рабовладельческий способ производства гибнет. На смену ему, в результате действия закона соответствия производственных отношений характеру производительных сил, приходит более прогрессивный феодальный способ производства»[28]).

Подобное объяснение является абсолютизацией **одного** из моментов, связанных с действием закона соответствия производственных отношений производительным силам: абсолютизируются факты соответствия (и, следовательно, несоответствия) производственных отношений **характеру** производительных сил и упускается из виду другая сфера соответствия: **уровню** производительных сил. Нельзя сказать, что в каждом конкретном случае отставания производственные отношения не соответствуют и уровню, и характеру производительных сил. Между

[25]) С. И. Ковалев. «Проблема социальной революции в античном обществе» («К пятидесятилетию со дня смерти Карла Маркса», М.—Л., 1934, стр. 307).

[26]) П. Кушнер. Очерк развития общественных форм, М., 1929, стр. 259.

[27]) Курс лекций по политической экономии. Досоциалистические формации, Издательство МГУ, 1963, стр. 73.

[28]) Курс политической экономии в двух томах, под ред. Н. А. Цаголова, М., 1963, т. I, стр. 35.

прочим, К. Маркс даже в Предисловии «К критике политической экономии», где вскрывается механизм социальной революции, не выдвигает противоречие производственных отношений **характеру** производительных сил в качестве обязательного признака назревающей социальной революции. Он пишет о производственных отношениях «которые соответствуют определенной **ступени развития** их материальных производительных сил», а затем следующим образом определяет сущность конфликта между двумя сторонами способа производства: «На известной **ступени своего развития** материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями»[29]). Чтобы было ясно, что термин «ступень развития» употребляется Марксом не случайно, сошлемся еще на его работу «Формы, предшествующие капиталистическому производству», где говорится: «Определенная **ступень развития** производительных сил трудящихся субъектов (которой соответствуют определенные отношения их между собой и к природе),— вот в чем, в конечном счете, причина разложения как коллектива, в который они организованы, так и основанной на нем собственности. До известной точки — воспроизводство, затем переходит в разложение»[30]).

Нам представляется, что предложенный Марксом термин «ступень развития» производительных сил является наиболее полным и точным, ибо включает в себя и те исторические ситуации, когда налицо несоответствие производственных отношений характеру (а значит — и уровню) производительных сил, и те случаи, когда производственные отношения не соответствуют только уровню производительных сил[31]). Анализ известных в истории социальных революций показывает, что лишь на двух этапах развития человеческого общества производственные отношения приходили в несоответствие с **характером** производительных сил. Речь идет о точках перехода от первобытного общества к антагонистическим формациям и от них к социализму. Новые производительные силы эпохи позднего первобытного общества сделали возможной и необходимой замену коллективной формы собственности частной; производительные силы, вызванные к жизни капитализмом, вновь приобретают непосредственно общественный характер и требуют ликвидации частнособственнических производственных отношений. Именно потому, что в эти эпохи изменился не только уровень, но и характер производительных сил, в ходе соответствующих социальных революций производственные отношения, и прежде всего лежащая в их основе форма собственности на средства производства, меняется особенно резко и радикально.

Несколько иную картину мы наблюдаем при анализе социальных революций, связанных с переходом от рабовладения к феодализму и от феодального способа производства к капиталистическому. Каждая из этих социальных революций была порождена таким изменением уровня производительных сил, который не приводил в свою очередь к изменению их характера и по-прежнему допускал и требовал сохранения частной собственности. И рабовладельческое и феодальное хозяйство носят в целом натуральный характер. В эпоху разложения

---

[29]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 6—7 (подчеркнуто нами.— С. К.).

[30]) К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству, М., 1940, стр. 20.

[31]) Точку зрения, согласно которой социальные революции всегда связаны с несоответствием производственных отношений характеру производительных сил, мы встречаем в учебнике «Основы марксистско-ленинской философии» под ред. Ф. В. Константинова (М., 1962, стр. 457), в «Философском словаре» под ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина (М., 1963, стр. 386—387) и т. д.

и гибели рабовладельческой формации производительные силы остаются по своему характеру орудиями ручного, частного труда, но по своему уровню они становятся значительно совершеннее, чем прежние, и для их использования требуется уже иной способ соединения с рабочей силой. Из сущности социальной революции при переходе к феодализму как своего рода промежуточной (ибо она не отменяет частной собственности на средства производства) вытекают значительные элементы сходства рабовладельческих и феодальных производственных отношений.

Именно из различения особенностей первой — четвертой и второй — третьей социальных революций вытекает также правомерность известного энгельсовского примера с отрицанием отрицания в развитии общества. «Все индогерманские народы,— пишет он,— начинают с **общей** собственности. Почти у всех народов она в ходе общественного развития отменяется, **отрицается,** вытесняется другими формами — частной собственностью, феодальной собственностью и т. д. Подвергнуть отрицанию это отрицание, восстановить общую собственность на более высокой ступени развития — такова задача социальной революции»[32]).

Изложенные выше соображения методологического порядка позволяют конкретней и ясней представить противоречие, движущее рабовладельческий способ производства к гибели и замене феодальным. Дело, как мы видели, не в изменении характера производительных сил. На разных ступенях развития производительных сил рабовладельческого общества ведущей становится одна из сторон противоречивого соединения работника производства — раба со средствами производства. На первом, раннем этапе ведущей стороной является насильственное соединение раба со средствами производства, оно до известных пределов возмещает отсутствие внутренних побудительных стимулов (в виде заинтересованности работника в результатах труда) и является единственно возможным, хотя и варварским, почти зверским методом отрицания варварского состояния. На более высоком этапе развития техники рабовладельческого общества в ведущую сторону основного противоречия превращается полное отделение раба от средств производства, ибо никакое прямое физическое насилие здесь, в условиях нового уровня производительных сил уже не может компенсировать отсутствия хотя бы элементарной материальной заинтересованности в труде.

Большое методологическое значение имеет и следующее указание Ф. Энгельса. «Рабство,— отмечает он,— перестало окупать себя и потому отмерло. Но умирающее рабство оставило свое ядовитое жало в виде презрения свободных к производительному труду. То был безвыходный тупик, в который попал римский мир: рабство сделалось экономически невозможным, труд свободных морально презирался. Первое уже не могло, второй еще не мог сделаться основной формой общественного производства. Вывести из этого состояния могла только коренная революция»[33]). Таким образом, переход к новым производственным отношениям («выбор» их) определяется не только экономическим фактором (уровнем производительных сил), но и фактором морально-психологическим: насколько тот или иной уклад морально правомерен или осужден в глазах общества. Нетрудно заметить, что это указание Энгельса применимо к пониманию не только проблемы генезиса феодализма, но и последующих социальных революций, и в ча-

[32]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 640.
[33]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 149.

стности — проблем, связанных с некапиталистическим путем развития освобождающихся народов. В силу морального износа капитализм уже не может сделаться основной формой общественного производства в развивающихся странах, в то же время низкий уровень экономического и социального развития еще не делает возможным немедленный, прямой переход к социализму, отсюда — необходимость целой переходной полосы так называемого некапиталистического развития.

Значительную сложность представляет исследование движущих сил революционного перехода к феодальной формации. Именно эта сложность явилась в свое время гносеологической причиной отрицания прогрессивного значения классовой борьбы рабов (по крайней мере на первых ступенях развития рабовладельческой формации). «Победа рабов,— писал Л. Л. Раков — означала бы не только возвращение к самостоятельному мелкому хозяйству, но означала бы возвращение к этой форме в тот период, когда рабство в целом еще являлось фактором развития общественных производительных сил. Таким образом, движения рабов не являлись прогрессивными в общеисторическом масштабе»[34]). По мнению Л. Л. Ракова, классовая борьба рабов приобретала объективно прогрессивный характер только в соединении с германским завоеванием. Подобные выводы носили абстрактный, умозрительный характер, они исходили из реально не существовавшей возможности победы рабов и возвращения к свободному мелкому хозяйству и в то же время списывали полностью со счетов объективный результат борьбы угнетенных: расшатывание рабовладельческого строя, убыстрение его эволюции в сторону феодальных производственных отношений. Но данная точка зрения имела и более широкое, методологическое звучание, ибо она ставила под сомнение истинность марксистско-ленинского положения о классовой борьбе как движущей силе развития антагонистических формаций. Получалось, что борьба крепостного крестьянства и пролетариата на первых порах, пока не созрели условия перехода к более прогрессивной формации, также являлась не двигателем, а тормозом общественного развития. В силу своей явной методологической ошибочности рассмотренная точка зрения не получила значительного распространения.

Потерпели крах и попытки рассматривать движущие силы перехода к феодализму по аналогии с более зрелыми социальными революциями (особенно — социалистической). Так случилось с известной концепцией «революции рабов», рожденной по аналогии с «революцией пролетариата». Эта концепция подразумевала, будто когда-либо имела место одноактная революция, ликвидировавшая рабовладельческий способ производства, и будто его ликвидация была осуществлена силами одних рабов или, по крайней мере, при их гегемонии. Отрицая положение о «революции рабов», марксисты выступают и против представлений о нереволюционном характере перехода от одной антагонистической формации к другой. В действительности же речь идет о бурном революционном перерастании, занявшем несколько столетий всемирной истории и распадавшемся на огромное количество отдельных движений различных социальных сил: рабов, варваров, колонов, свободных низов, причем не всегда главная роль принадлежала рабам[35]).

Руководящей нитью для понимания движущих сил разложения рабовладельческого строя служит открытый марксизмом закон опре-

[34]) Л. Л. Раков. К проблеме разложения рабовладельческой формации (Известия Государственной академии истории материальной культуры, вып. 66, Л., 1933, стр. 22—23).

[35]) Аргументированную критику концепции «революции рабов» мы находим в книге Б. Ф. Поршнева «Феодализм и народные массы» (стр. 215—216). Об ак-

деляющей роли способа производства в жизни и развитии общества. Для рабовладельческой формации характерен низкий уровень развития производительных сил и вытекающий из него чрезвычайно примитивный и жестокий характер эксплуатации. Следствием таких социальных условий были весьма незначительные возможности развития для основного эксплуатируемого класса — рабов, которые к тому же ослаблялись их разноплеменностью и разноязычностью. Все это крайне затрудняло процесс классовой консолидации, формирования классового самосознания рабов и, несомненно, придало много своеобразия второй в истории социальной революции. Историческая практика показывает, что авангардная революционная роль основного эксплуатируемого класса не есть понятие равнозначно применимое к любой формации: здесь прослеживается резкая «амплитуда колебаний» — от гегемонии пролетариата в антикапиталистической борьбе до «пьедестальной» роли рабских выступлений. Именно учитывая указанную «амплитуду» Маркс возражал против отождествления бонапартизма как социального явления девятнадцатого века с цезаризмом времен Рима. «При этой поверхностной исторической аналогии,— указывал Маркс в предисловии ко второму изданию «18 Брюмера Луи Бонапарта»,— забывают самое главное, а именно — что в древнем Риме классовая борьба происходила лишь внутри привилегированного меньшинства, между свободными богачами и свободными бедняками, тогда как огромная производительная масса населения, рабы, служила лишь пьедесталом для этих борцов... При таком коренном различии между материальными, экономическими условиями античной и современной борьбы классов, и политические фигуры, порожденные этой борьбой, могут иметь между собой не более общего, чем архиепископ Кентерберийский и первосвященник Самуил»[36]).

Конечно, Маркс прекрасно знал об отдельных, спорадических выступлениях рабов и самых настоящих войнах, потрясавших античное общество. Но дело в том, что не эти выступления определяли лицо классовой борьбы. Приведенное марксово положение конкретизирует и обогащает историко-материалистическое понимание классовой борьбы применительно к античной эпохе. Оно находится на нашем вооружении и сегодня в полемике с буржуазными историками, заявляющими: «борьбу рабов против рабовладельцев нельзя считать чертой, органически присущей рабовладельческим отношениям. Мы должны определить основное социальное отношение между свободными и рабами в античном мире как скрытую противоположность, которая только при особых обстоятельствах вела к открытой борьбе. Поэтому современное понятие классовой борьбы в его точном смысле не применимо»[37]). При этом буржуазные историки совершенно игнорируют два обстоятельства. Во-первых, исторический материализм в понятие «классовая борьба» включает только те черты ее, которые присущи всем качественно отличным друг от друга антагонистическим формациям. Это и позволило, как мы видели, Марксу подойти к пониманию классовой борьбы в античную эпоху без какой бы то ни было модернизации. Во-вторых, исторический материализм рассматривает классовую борьбу

туальности постановки данной проблемы свидетельствует хотя бы тот факт, что до сих пор мы встречаем в отдельных трудах методологически ошибочный термин «революция рабов» (см., например, Д. И. Чесноков. «Исторический материализм», М., 1964, стр. 458).

[36]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, стр. 375—376.

[37]) S. Laufer. Die Sklaverei in der griechisch — römischen Welt. XI Congres International des seiences Historiques, Rapports II. Antiquite, Götteborg—Stockholm—Upsala, s. 77.

как общественный процесс происходящий в различных формах и видах. Даже в условиях неразвитости классовой борьбы рабов она происходила, по крайней мере, в двух формах: политической (что проявлялось в ходе крупных вооруженных выступлений угнетенных) и экономической. Последняя давала о себе знать повседневно в скрытом виде в нерадивом отношении рабов к труду, халатном, а то и преднамеренно враждебном обращении их с орудиями труда и т. д. Именно эта форма и этот вид классовой борьбы были ведущими, и, прежде всего, они определяли движение античного общества в направлении к гибели. Кстати, недооценка экономической формы классовой борьбы рабов как основной, определяющей, приводит и некоторых наших историков к неверным выводам, вроде вывода о том, что классовая борьба в эпоху империи в целом была слабее, чем в эпоху республики»[38]). Отмеченная в этом выводе слабость относится, очевидно, не к общему уровню классовой борьбы, а только к ее открытому политическому проявлению. Ослабление же классовой борьбы в ее экономических формах означало бы и ослабление, затихание процесса разложения рабовладельческих производственных отношений и их замену феодальными, чего, как известно, не наблюдалось.

Что же хотел подчеркнуть Маркс цитированным выше положением о «пьедестальной» роли борьбы рабов? Очевидно, незрелость субъективного фактора в революционном движении рабов, отсутствие у рабов самостоятельной политической и социально-экономической перспективы, рабский способ производства исключал всякую возможность развития рабов как «класса для себя», и поэтому в среде рабов не могло возникнуть никаких прогрессивных идеалов переустройства общества. Поэтому о прогрессивном характере освободительного движения рабов можно говорить только в плане его объективных результатов (подмывание и расшатывание рабовладельческой системы отношений), но отнюдь не в плане субъективном.

Если исходить из выделения в структуре субъективного фактора двух сторон — организационно-политической и идеологической[39]), то надо отметить отсутствие по сути дела первой стороны в революционном движении рабов. В подавляющем большинстве случаев восставшие рабы не ставили целью воплотить свою диктатуру в государственные формы. Даже Спартак, по свидетельству Плутарха и Аппиана, стремился лишь вывести рабов с территории Римской империи[40]). Именно отсутствие этой стороны субъективного фактора обусловливало в конечном счете пьедестальную роль даже внешне автономных (от движения свободных низов) выступлений рабов. Развивая мысли Маркса о специфическом характере классовой борьбы в рабовладельческом обществе, В. И. Ленин писал: «Рабы... восставали, устраивали бунты, открывали гражданские войны, но никогда не могли создать сознательного большинства, руководящих борьбой партий, не могли ясно понять к какой цели идут, и даже в наиболее революционные моменты истории всегда оказывались пешками в руках господствующих классов»[41]).

Анализ субъективного фактора этой революционной эпохи имеет большое методологическое значение, ибо здесь перед нами предстает генезис субъективного фактора революционного движения вообще (если не считать зародышевых элементов данного фактора в первой социаль-

---

[38]) Е. М. Штаерман. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи, М., 1961, стр. 146.
[39]) См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. II, стр. 16.
[40]) Плутарх. Избранные произведения, М.—Л., 1941, стр. 249.
[41]) В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 449.

ной революции, связанной с переходом к классовому обществу). И если одна сторона субъективного фактора — организационно-политическая — отсутствовала, то наличие другой его стороны — идеологической, в эпоху крушения рабовладельческого строя не подлежит никакому сомнению.

Маркс и Энгельс подвергли критике идеалистическую точку зрения на движущие силы истории, доказав, что источник исторического прогресса лежит в материальном производстве и в тесно связанной с ним политической борьбе классов, а не в той или иной форме идеологии. В рецензии на книгу Даумера «Религия нового века» К. Маркс писал, что «не «новые мировые порядки» сообразовывались с христианством, а, наоборот, христианство изменялось с каждой новой фазой этих мировых порядков»[42]). Не христианство, отмечает он, вызвало крах античных мировых порядков, а, наоборот, оно само было порождено их крахом, «христианство было простым выражением этого краха»[43]). Социальная революция, связанная с гибелью рабовладельческого строя, **сопровождалась** переменами в религии и именно эта новая религия явилась если не идеологической подготовкой в полном смысле слова, то, по крайней мере, идеологическим отражением кризиса рабовладельческих порядков. Классики марксизма убедительно показали также, что при том уровне классовой борьбы и уровне развития науки идеологическое знамя социальной революции обязательно должно было принять религиозную окраску. Многочисленные мелкие и крупные восстания рабов и колонов жестоко подавлялись, реальный выход из невыносимого положения все более окутывался туманом отчаяния. Ф. Энгельс пишет: «Где же был выход, где спасение для порабощенных, угнетенных и обнищавших — выход, общий для всех этих различных групп, с чуждыми или даже противоположными друг другу интересами? И все же такой выход, который охватил бы всех их в одном великом революционном движении, должен был быть найден. При тогдашнем положении вещей он мог быть только религиозным»[44]). Известно, что хотя религиозная окрашенность сопровождала также некоторые ранние буржуазные революции, но уже в менее резко выраженной форме, в менее абсолютном виде. Что же касается социалистической революции, то «современный переворот отличается от всех предшествующих именно тем, что люди, наконец, разгадали тайну этого процесса исторических переворотов и поэтому они, вместо того, чтобы снова обожествлять этот практический, «внешний» процесс в высокопарно-трансцедентной форме новой религии, отбросили всякую религию»[45]). Таким образом, последовательная смена общественно-экономических формаций обнаруживает определенную и весьма важную закономерность: религиозная форма идеологического знамени в более зрелых социальных революциях постепенно сходит на нет, уступая место научному сознанию стоящих перед обществом задач. По соотношению удельного веса первого и второго, по степени выраженности религиозного оформления революционных задач можно судить об уровне зрелости субъективного фактора[46]). И если переход к феодализму характеризуется монопольной ролью религиозной революционной идеологии, то это

---

[42]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 211.

[43]) Там же.

[44]) Ф. Энгельс. О первоначальном христианстве. М. 1933, стр. 35.

[45]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 308.

[46]) На первый взгляд может показаться, что революционная идеология может быть либо чисто религиозной, либо чисто научной, без какого-либо сочетания этих двух противоположных форм сознания. Между тем исторический опыт (в том числе современного национально-освободительного движения) показывает, что в определенных случаях такое сочетание имеет место, хотя и не обходится без ущерба для соответствующей концепции и практики революционного действия.

свидетельствует, следовательно, о крайней незрелости субъективного фактора тогдашнего освободительного движения.

Необходимо различать идеологическую и психологическую подготовку социальной революции. И если об идеологической подготовке перехода к феодализму можно говорить весьма условно, то иначе обстоит дело с психологической подготовкой данной революции. При этом мы имеем в виду вызревание определенного психологического настроения и в головах рабовладельцев. Уже с начала империи возникает и крепнет сознание невыгодности рабского труда. Отражая эти психологические перемены, Колумелла (I в н. э.) возмущается: «Мы поручаем землю худшим рабам, точно палачам», его поддерживает Плиний: «Хуже нет обработки полей толпами рабов, так как что можно сделать с людьми отчаявшимися». Между тем проблема психологической подготовки антирабовладельческой революции, и прежде всего психологии низов, почти не разработана. В свое время на эту проблему обратили внимание модернизаторы. Так, Р. Пельман в «Истории античного коммунизма и социализма» говорит об общественной психологии римского люмпен-пролетариата и в то же время совершенно умалчивает о сознании рабов[47]). Такова логика модернизма: если исходить из существования античного капитализма, то основным классом является пролетариат (не важно, что люмпен-пролетариат!). Книга Е. М. Штаерман «Мораль и религия угнетенных классов Римской империи» являются первым серьезным вкладом историков-марксистов в изучение данной проблемы.

Именно чисто религиозной формой революционной идеологии объясняется в известной степени и отсутствие организационно-политической стороны субъективного фактора в антирабовладельческом движении. Ведь, как указывал В. И. Ленин, организованность класса есть высшее проявление его сознательности, а таковой продукт не мог быть «синтезирован» на основе христианской «программы освобождения».

При такой незрелости субъективного фактора — отсутствии одной его стороны в религиозной форме другой — невозможно решать ни в пользу рабов, ни в пользу колонов или свободных низов вопрос о «классе гегемоне». Нельзя согласиться с мнением Д. И. Даниленко будто «всегда историческую необходимость революционного перехода от одной общественно-экономической формации к другой осуществляет определенный класс, возглавляющий борьбу масс против отживших общественных форм»[48]). Производившиеся историками в течение многих десятилетий анализ показывает, это этот вывод неприменим к периоду революционного крушения рабовладельческого способа производства. Движение рабов так же, как и свободных низов не выработало прогрессивной программы переустройства общества, а часто выливалось в борьбу за «перемену мест» с рабовладельцами. Вот, например, как выглядело движение агонистиков, развернувшееся в африканской провинции Рима в третьем веке нашей эры. «Это были странствующие толпы неимущих бедняков, бродивших вокруг жилищ... В качестве мстителей за угнетенных они выступали против господствующего класса в защиту колонов. Освобождая рабов и колонов, они заставляли господ работать на мельницах, бежать за повозкой вместо рабов-скороходов»[49]). Незрелость класса рабов, их неспособность стать силой не только разрушающей старое, но и созидающей новое, и привели к тому варианту революционной развяз-

[47]) Р. Пельман. История античного коммунизма и социализма, СПб, 1910, стр. 540—556

[48]) Д. И. Даниленко. Социальная революция, М., 1964, стр. 13.

[49]) Вегнер Вильгельм, «Рим», т. 2, С.-Петербург, 1873, стр. 272—272.

ки, которая охарактеризована Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии» как «общая гибель борющихся классов»[50]).

Нельзя считать правильной и точку зрения, пытающуюся передать роль гегемона антирабовладельческой революции в руки «класса феодализирующейся земельной знати» (Е. М. Штаерман)[51]). Нетрудно заметить, что и концепция гегемонии рабов, и концепция роли нового класса феодалов как знаменосца использования экономических законов развития в интересах общества, построены по поверхностной аналогии с последующими более зрелыми социальными революциями. При этом упускается из виду, что экономическая задача тогдашней социальной революции «выводилась» в ходе классовой борьбы чисто эмпирическим путем: в лице мелких полусвободных хозяйств имелся образец, к которому (в силу его экономической эффективности) начали склоняться рабовладельцы.

К вопросу о классе-гегемоне непосредственно примыкает и проблема определения основных движущих сил исследуемой нами социальной революции. Встречающееся в литературе утверждение «основная движущая сила революции — рабы»[52]), очевидно, не отражает приводившегося выше вывода Маркса о пьедестальной роли рабов. В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс, перечисляя основные силы, выступавшие против эксплуатации, наряду с рабами называют и плебеев, то есть свободные низы. Ни одна из участвовавших в классовой борьбе социальных групп (рабы, колоны, свободная беднота, варвары) в отдельности не может быть охарактеризована как основная движущая сила — ни по степени ее руководящей роли, ни по масштабам ее собственного участия в этой борьбе. В частности, надо иметь в виду, что наиболее крупные восстания рабов совпадают не с периодом кризиса рабовладельческой формации, а с предшествующей эпохой[53]). Революционные элементы в период кризиса III века были в основном те же, что прежде, но удельный вес, цели и характер их выступлений, как показал еще А. И. Тюменев, существенно изменились[54]). Основной массой и основной движущей силой революционного движения теперь являются уже не рабы, а массы закрепощаемого и зависимого населения, стремящегося сбросить с себя двойной гнет со стороны землевладельцев и со стороны рабовладельческого государства (в виде податей и повинностей). Такая логика развития классовой борьбы становится вполне понятной, если учесть те «встречные пути», которыми шло вызревание новых, феодальных производственных отношений и, в частности, такого переходного уклада как колонат. С одной стороны, развивался колонат из свободных, попадавших во все возрастающую зависимость от землевладельцев. Противодействием этому процессу превращения в предшественников будущих крепостных и было усиление классовой борьбы со стороны свободных низов. Но колонат из свободных — только одна форма разрушения производственных отношений, свойственных рабовладельческому обществу. Другой и не менее характерной формой был отпуск рабов на

---

[50]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 424. Отсутствие класса-гегемона в революционных событиях, сокрушивших рабовладельческий строй, вскрывается в статьях С. И. Ковалева («Вестник древней истории», 1954, № 3, стр. 42) и М. Я. Сюзюмова («Вестник древней истории», 1955, № 1, стр. 65).

[51]) См. «Вестник древней истории», 1954, № 3, стр. 63.

[52]) См., например, «Марксистско-ленинская философия» под ред. В. П. Рожина, В. П. Тугаринова, Б. А. Чагина, М., 1964, стр. 421.

[53]) См. Е. М. Штаерман. Проблема падения рабовладельческого строя («Вестник древней истории», 1953, № 2, стр. 55—56).

[54]) См. А. И. Тюменев. История античных рабовладельческих обществ, М.—Л., 1935, стр. 266—267.

землю и оброк, колонат из рабов. Здесь налицо смягчение эксплуатации, что **при неразвитости борющегося класса** неизбежно ведет и к известному затуханию волны выступлений с их стороны. Вот почему лучше говорить об основной движущей силе антирабовладельческой революции недифференцированно, имея в виду народные массы в целом.

Отсутствие класса-гегемона тем не менее не дает нам права заключать будто социальная революция при переходе к феодализму носила лишь деструктивный характер[55]). Таких социальных революций вообще не бывает, ибо в любом случае деструкция представляет собой лишь один из моментов перехода к новой формации (социальный кризис), неразрывно связанный с моментом конструктивным — процессом создания новых производственных отношений. Другой вопрос, совершается этот процесс «конструирования» сознательно или стихийно. Кстати, между наличием класса-гегемона и осознанным созданием нового экономического базиса нет жесткой связи. Класс-гегемон может существовать и действовать (например, буржуазия в ранних буржуазных революциях), а рождение и развитие нового способа производства тем не менее идет стихийно. Социальная революция при переходе к феодализму означала одновременно стихийное **разрушение** рабовладельческих производственных отношений и стихийное же **созидание** более прогрессивных, феодальных.

Наше антиковедение давно и основательно разоблачило всевозможные идеалистические объяснения причин перехода от рабовладельческой к феодальной формации. Иначе обстоит дело с попытками метафизического решения вопроса, что дает себя знать прежде всего при рассмотрении соотношения внутренних и внешних факторов. Такое положение вещей объясняется определенными гносеологическими корнями. Дело в том, что роль внешнего фактора в анализируемой социальной революции действительно была велика. Но была ли она первостепенна, исключительна?

Именно с позиций первозначимости внешнего решал проблему перехода к феодальному способу производства К. Каутский. В «Материалистическом понимании истории» он указывал: «Хотя в государствах Востока и в Аттике создается очень высокая цивилизация, однако в каждом из этих государств цивилизация заходит в тупик и погибает вместе с гибелью государства, не находя выхода на путях социальной революции. Из этого тупика выводит не революция изнутри, а толчок извне, именно завоевание цивилизованной области со стороны племен, стоящих на той или иной ступени варварства, каковые племена вливают новые жизненные силы в старое гнилое государство»[56]). В. И. Недельский, оценивая точку зрения Каутского, совершенно справедливо писал: «Не трудно видеть, что здесь полная подмена внутренних противоречий, вызвавших изменение в структуре и идеологии общества, противоречиями между средой и системой, т. е. чисто механическое, не имеющее ничего общего с марксизмом построение»[57]).

В нашей исторической литературе эта концепция соотношения внутреннего и внешнего получила, к сожалению, широкое распространение.

---

[55]) Такую точку зрения мы встречаем в статье С. И. Ковалева «О характеристике социального переворота III—V вв. в Западной Римской империи («Вестник древней истории», 1954, № 3, стр. 44).

[56]) К. Каутский. Материалистическое понимание истории, т. II, М.—Л., 1931, стр. 618.

[57]) В. И. Недельский. К вопросу о характере возникновения христианства, «Воинствующий атеизм», 1931, № 2—3, стр. 162.

На пленуме Государственной Академии истории материальной культуры в 1933 году отмечалось, что «должен получить освещение как один из основных моментов в этой (т. е. антирабовладельческой — С. К.) революции — вопрос завоевания, являющегося **особой формой социальной революции**»[58]). Так абсолютизировался один из факторов революционного перехода к феодализму. Эта концепция получила отражение в трудах А. И. Тюменева, который писал: «Трагедия античного, в частности, римского рабовладельческого общества заключалась, однако, в том, что в условиях разлагавшегося рабства оно не содержало в себе данных для полного развития и завершения идущей на смену рабству феодальной системы»[59]). А. И. Тюменев в связи с этим по сути дела придерживался отмеченной выше точки зрения «деструктивной революции» считая, что «если первая, отрицательная задача разрушения императорской власти была выполнена совместными революционными выступлениями колонов и рабов, то вторая задача, задача внесения общинных порядков в условиях жизни разлагающегося рабовладельческого общества, равно как и военно-племенной организации, необходимой для полного развития феодальной системы, могла быть выполнена лишь в результате германской иммиграции»[60]). Абсолютизация роли внешнего встречалась в работах А. В. Мишулина, причем у него это приводило вообще к отрицанию социальной революции при переходе к феодализму. «Естественно,— заявлял он,— что разрешение противоречий в дальнейшем развитии такого общества не могло произойти путем социальной революции»[61]). Подобная точка зрения встречается и в литературе пятидесятых годов. С. И. Ковалев, много сделавший для разработки дифференцирующих черт антирабовладельческой революции, превращая в абсолют огромную роль внешнего, писал: «Низкий уровень развития революционных классов — рабов и колонов — соответствовал низкому уровню производительных сил рабовладельческого общества. Рабы и колоны не могли победить в классовой борьбе III—V веков и создать революционную диктатуру. Отсюда — историческая необходимость внешнего завоевания, довершившего ликвидацию рабовладельческого общества и государства»[62]).

Нельзя пройти мимо того факта, что все указанные выше авторы в качестве исходного методологического пункта своих взглядов указывают на положение Ф. Энгельса из «Диалектики природы». В связи с этим нам приходится привести его полностью. «Рабство — там, где оно является господствующей формой производства,— отмечает Энгельс,— превращает труд в рабскую деятельность, т. е. в занятие, бесчестящее свободных людей. Тем самым закрывается выход из подобного способа производства, между тем как, с другой стороны, для более развитого производства рабство является помехой, устранение которой становится несостоятельной необходимостью. Всякое основанное на рабстве производство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разрешение его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другими, более сильными (Греция была покорена Македонией, а позже Римом). До тех пор,

[58]) См. Л. С. Славин. Проблема социальной революции в античном обществе, «Борьба классов», 1933, № 10, стр. 118.

[59]) А. И. Тюменев. История античных рабовладельческих обществ, М.—Л., 1935, стр. 194.

[60]) Там же, стр. 265.

[61]) А. В. Мишулин. О воспроизводстве в античной общественной формации (Известия ГАИМК, т. XIII, вып. 8, Ленинград, 1932, стр. 32).

[62]) С. И. Ковалев. К вопросу о характере социального переворота III—V вв. в Западной Римской империи («Вестник древней истории», 1954, № 3, стр. 44).

пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит лишь перемещение центра и весь процесс повторяется на высшей ступени, пока, наконец, (Рим) не происходит завоевание таким народом, который вместо рабства вводит новый способ производства»[63]).

Как подойти к этому положению? Каковы принципы его использования?

Во-первых, надо, очевидно, исходить и «качественно», и «количественно» из точного смысла энгельсовского вывода. «Качественно» — это означает, что вывод Энгельса относится не только и не прежде всего к случаям покорения разлагающегося рабовладельческого общества феодализирующимися варварами, сколько к случаям межрабовладельческих войн. Но у этого вывода есть и количественная сторона. Энгельс указывает, что так, то есть при помощи толчка извне, разрешение основного противоречия рабовладельческого общества происходит в **большинстве случаев.** Значит, оно может происходить и иначе, а раз так, следовательно, Энгельс и не думает говорить о каком-то законе обязательного и притом решающего внешнего воздействия при переходе от античности к феодализму.

Во-вторых, при рассмотрении вопроса о внутреннем и внешнем необходим конкретный учет соотношения анализируемых явлений. И прежде всего нельзя игнорировать особенности внешнего воздействия на более простые и более сложные социальные структуры. Образцом учета этих особенностей являются для нас труды Маркса, Энгельса, Ленина по истории человеческого общества. Придавая первостепенное значение внутренним источникам развития того или иного социального коллектива, основоположники исторического материализма никогда не абстрагировались в своем анализе от воздействия внешнеисторических факторов. Наоборот, они признавали за этим влиянием большое, иногда чуть ли не решающее значение. Это касается в особенности древних обществ, неразвитых экономически и поэтому более легко поддающихся постороннему воздействию, в частности, при войнах, завоеваниях, переселениях народов. Во «Введении к критике политической экономии. Из экономических рукописей 1857—1858 годов» Маркс говорит, что при всех завоеваниях возможен троякий исход: либо «народ-завоеватель навязывает побежденным собственный способ производства (например, англичане в этом столетии в Ирландии, отчасти в Индии); или он оставляет старый способ производства и довольствуется данью (например, турки и римляне); или происходит взаимодействие, из которого возникает новое, синтез (отчасти при германских завоеваниях)[64]). При этом внешнее в общественном развитии, несмотря на всю свою значительную роль, никогда не выступает у Маркса, Энгельса, Ленина в качестве главного, определяющего. Результаты внешнего воздействия оказываются предопределенными внутренними особенностями, уровнем внутреннего развития завоевываемой страны. Сохраняется «старый» способ производства или навязывается свой — это зависит от относительной прогрессивности социально-экономического уклада жизни победителей и побежденных. Что же касается результата атак варваров против Рима, так называемого синтеза нового, феодального общественного строя, то здесь однонаправленность внутренней основы развития и внешнего источника не подлежит сомнению. Как указывали Маркс и Энгельс, варвары «набросились извне на труп Римской империи[65]). В «Немецкой идеологии» мы читаем: «Нет ничего обычнее представления о том, будто в истории до сих пор все дело было толь-

[63]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 643.
[64]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 723—724.
[65]) К. Маркс и Ф. Энгельс. О религии, М., 1955, стр. 72.

ко в захвате. «Варвары» захватили Римскую империю,— и фактом этого захвата объясняют переход от античного мира к феодализму»[66]). Очевидно, нельзя рассматривать приведенный выше набросок из «Диалектики природы» в отрыве от других работ классиков марксизма, ибо тогда еще ощутимей становится ошибочность абсолютизации положения Энгельса.

История также свидетельствует не в пользу подобной абсолютизации. В частности, Византия в отличие от западной Римской империи не была завоевана «варварами»[67]), государственная рабовладельческая машина не была ими здесь сломлена, она в течение III—IV веков медленно перестраивалась и в таком виде без дальнейших коренных изменений просуществовала вплоть до самого конца византийского государства. И тем не менее, в восточной империи в большей степени, чем на Западе, уже до четвертого столетия, еще в недрах античного рабовладельческого общества, обнаруживаются элементы возникающих феодальных производственных отношений[68]). Значит, переход к феодализму осуществлялся в ряде районов земного шара и без варварских завоеваний. Последние же только помогали довершать, оказывали воздействие на темпы и формы эволюции рабовладельческого общества к феодализму. Прежде всего это воздействие происходило за счет устранения варварами рабовладельческой политической надстройки, а также привнесения организационных форм феодальных производственных отношений в лице крестьянской общины. Сельская община — марка была той формой, при помощи которой разорявшийся крестьянин и раб-вольноотпущенник получили возможность сохраниться и упрочить свое положение. Кстати, даже на территории Римской империи, как отметил в свое время А. Г. Погожин, этот процесс воздействия варваров не был одинаковым и представлен тремя основными вариантами. Англо-саксонский путь развития представлял собой германизацию общественных отношений туземного кельтского населения; остготский путь заключался в длительном мирном проникновении варваров на Аппенинский полуостров и изменении германского общественного строя под влиянием общественных отношений гибнущей Римской империи. Наиболее полным выражением взаимодействия варваров и античности и сложившихся в их итоге феодальных отношений был третий — франкский путь развития[69]).

В связи с истолкованием энгельского положения и абсолютизацией роли варваров в генезисе феодализма находится разработка круга вопросов, группирующихся в проблему **переходного периода** от рабовладельческой формации к феодальной. Укажем на принципиальные различия во встречающихся точках зрения. М. Я. Сюзюмов считает, что классообразование нового, феодализирующегося общества началось только после завоевания варварами Рима[70]). «Мы не можем,— пишет

---

[66]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Немецкая идеология, стр. 63.

[67]) Заявляя, что Восточно-Римская империя не была завоевана «варварами», мы отнюдь не игнорируем большого воздействия на судьбы рабовладельческого строя в этом районе античного мира со стороны славян, колонизовавших часть империи. И тем не менее нельзя согласиться с обнаруживаемой в работах А. В. Мишулина попыткой проведения полной аналогии между этим воздействием и распадом империи на Западе в связи с вторжением германцев (см. А. В. Мишулин, Древние славяне и судьбы Восточно-римской империи, «Вестник древней истории», 1939, № 1, стр. 294).

[68]) См. Е. Э. Липшиц. Проблема падения рабовладельческого строя и вопрос о начале феодализма в Византии, «Вестник древней истории», 1965, № 4, стр. 63—64.

[69]) См. Н. Воронин. Изучение докапиталистических формаций на новой ступени, «Борьба классов», 1933, № 10, стр. 119.

[70]) См. М. Я. Сюзюмов. К вопросу о процессах феодализации в Римской империи», «Вестник древней истории», 1955, № 1, стр. 65.

он,— сравнивать буржуазную революцию с революцией, сокрушившей рабовладельческую формацию. После буржуазной революции наступает полное господство капиталистических отношений, а после революции, ликвидировавшей рабовладельческий строй, понадобились века генезиса феодальных отношений до времени полного торжества феодализма. Это произошло потому, что буржуазная революция совершалась при наличии готового капиталистического уклада в недрах феодального общества, тогда как в рабовладельческом мире феодального уклада не существовало»[71]). Подобный взгляд высказал в 1964 году и А. Р. Корсунский[72]). М. Я. Сюзюмов и А. Р. Корсунский не берут процесс развития феодального уклада в динамике, а ведь с подобных позиций можно отрицать и наличие капиталистического уклада до победы буржуазной революции: уж очень непохож он на зрелый капитализм! Такая точка зрения вызвала совершенно закономерные возражения со стороны участников дискуссии по проблемам падения рабовладельческого строя, ибо, как указывалось в передовой статье «Вестника древней истории», нельзя отрывать разложение и гибель рабовладельческого строя от генезиса феодальных производственных отношений[73]). Исследования В. С. Сергеева, А. В. Мишулина, Н. А. Машкина, А. Б. Рановича, Н. В. Пигулевской, М. В. Левченко, Е. М. Штаерман и др. позволяют в настоящее время представить основные моменты процесса становления феодальной системы хозяйства в недрах рабовладельческой формации. В то же время В. С. Сергеевым была высказана мысль, согласно которой последний период римской империи является переходным периодом от рабовладельческой формации к феодальной[74]). На первый взгляд данная точка зрения в корне противоречит точке зрения М. Я. Сюзюмова, а в действительности она тоже исходит из абсолютизации роли варваров: их пришествие сразу же завершает переходный период к новой формации. И хотя в ходе указанной дискуссии высказывались и более обоснованные мнения о хронологических границах генезиса феодализма[75]), одним из наименее освещенных оказался вопрос о степени формах вызревания феодальных производственных отношений в недрах рабовладельческого строя[76]).

Конечно, такое состояние разработки вопроса объясняется прежде всего сложностью самой проблемы даже по сравнению с проблемой перехода к капитализму. Во-первых, временные границы антирабовладельческой революции менее четки, более растянуты и трудней поддаются фиксированию. Во-вторых, формирующийся феодальный уклад не противостоял рабовладельческому способу производства с такой четкостью и категоричностью, как будущий капиталистический уклад феодальным производственным отношениям. (По словам Ленина, в экономическом смысле можно поставить знак равенства между полуфеодальным и полурабским издольщиками). Но есть и другая причина. Как отмечали П. Н. Федосеев и Г. П. Францев, в исторической науке вообще наиболее слабо разработанными являются именно «вопросы становления формаций, когда новый способ производства не стал еще безраздельно господствующим, но и прежний, уходящий способ производства уже не опреде-

---

[71]) Там же, стр. 65—66.

[72]) См. А. Р. Корсунский. Проблема революционного перехода от рабовладельческого строя к феодальному в Западной Европе, «Вопросы истории», 1964, № 5, стр. 98.

[73]) См. «Вестник древней истории», 1953, № 1, стр. 6.

[74]) В. С. Сергеев. Очерки по истории Древнего Рима, М., 1938, стр. 647.

[75]) См., например, С. И. Ковалев. О характере социального переворота III—V веков в Западной Римской империи, «Вестник древней истории», 1954, № 3, стр. 43.

[76]) См. «Вестник древней истории», 1956, № 1, стр. 6.

ляет хода исторического процесса»[77]). Вот эта субъективная по своему смыслу причина, эта общая теоретическая «неразборка» проблемы переходного периода определяет в известной степени и недостаточный методологический уровень исследований, посвященных становлению феодализма.

Указанный методологический недостаток становится ясно ощутимым, как только мы обращаемся к самому понятию «переходный период». В нашей экономической и философской литературе «переходный период» зачастую рассматривается не как общеэкономическая и общесоциологическая категория, а как специфическое понятие, применимое только к становлению одной, коммунистической формации. Так, в книге «Политическая экономия социализма», выпущенной издательством «Высшая школа» в качестве учебного пособия, говорится: «Необходимость переходного периода обусловливается особым характером возникновения и развития социалистической собственности на средства производства, социалистических производственных отношений, а также природой социалистического общественного строя. При последовательной смене всех досоциалистических общественно-экономических формаций не было и не могло быть особых переходных периодов, в течение которых, собственно, и создавался бы новый способ производства»[78]). В другом учебном пособии мы встречаем попытку объяснить, почему в истории человечества переходные периоды ранее не имели место: «История развития общества показывает, что нет особого переходного периода при переходе от одной эксплуататорской формации к другой, поскольку новые производственные отношения складываются в таком случае уже в недрах старого экономического уклада»[79]).

Между тем в произведениях Маркса, Энгельса, Ленина мы находим вполне определенное, не допускающее никаких иных истолкований, обращение с понятием «переходный период» как с **категорией** политэкономии и социологии. Они применяли, в частности, понятия «переходный период» и «переходная эпоха» при изучении генезиса капитализма. Маркс указывал: «Накопление только представляет как **беспрерывный процесс** то, что в **первоначальном накоплении** выступает как особый исторический процесс, как процесс возникновения капитала и как переход от одного способа производства к другому»[80]). И далее: «Когда капитал — не какой-нибудь определенный капитал, а капитал вообще — только еще образуется, **процесс** его **образования** есть **процесс разложения** и **продукт распада** предшествующего ему способа **производства.** Следовательно, это — **исторический процесс** и процесс, принадлежащий определенному историческому периоду. Это есть период его **исторического генезиса**»[81]). Таким образом, эпоха первоначального накопления капитала рассматривается Марксом как особый исторический период, период перехода от одного (феодального) способа производства к другому (капиталистическому). В. И. Ленин, говоря о соединении в экономике послереформенной России разнородных и даже противоположных систем хозяйства (отработочной и капиталистической), о глубоких и сложных

---

[77]) «Коммунист», 1964, № 2, стр. 71.

[78]) См. «Политическая экономия социализма», М., 1960, стр. 18.

[79]) «Политическая экономия. Коммунистический способ производства», Соцэкгиз, 1963, стр. 20. Переходный период объявляется «уникумом» и в курсе лекций по политической экономии коммунистического способа производства, изданных Ленинградским университетом (1963, стр. 19) и Московским университетом (1963, стр. 27) в брошюре А. Т. Федоровой «Общественно-экономическая формация» (Издательство «Знание», 1959, стр. 28) и т. д.

[80]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, часть II, стр. 516.

[81]) Там же.

социальных конфликтах, порожденных подобным «соединением», подчеркивает: «Все это — явления, свойственные всякой переходной эпохе»[82]). Уже в этом ленинском выводе нельзя не заметить, что анализ переходного к капитализму периода использовался классиками марксизма для типизации явлений, присущих всем переходным периодам в развитии общественно-экономических формаций, для обнаружения общесоциологических закономерностей.

Важная задача советского антиковедения — приложить этот вывод к конкретному анализу генезиса феодализма, раскрыть характерные черты переходного от рабовладельческой формации периода. В свою очередь разрешение данной проблемы позволит правильно приложить марксистско-ленинское понятие социальной революции к разложению рабовладельческого строя и генезису феодализма. Путаница же в приложении этого понятия существует по сей день. В недавно вышедшей монографии С. Л. Утченко мы встречаем, например, следующую постановку вопроса: «Могут ли социальной революцией считаться те крупные социальные движения, вторжения в область собственности, которые несомненно двигали развитие того или иного общества вперед, но не приводили к смене формации и способа производства? Исключать ли их по этому признаку — как это делают некоторые историки из числа социальных революций? Но не обедним ли мы таким образом революциями мировую историю, не обедним ли и самое понятие социальной революции? ...Или, говоря другими словами: Разве невозможны социальные революции в пределах одной общественно-экономической формации»[83]). Так, в разряд социальных революций попадают в книге войны между Цезарем и Помпеем, Триумвирами и республиканцами, Октавианом и Антонием, Союзническая война и т. д. Отдельные эпизоды, отражающие необходимость коренных социальных перемен или являющиеся шагом на пути осуществления социальной революции, принимаются С. Л. Утченко за саму социальную революцию. В связи с этим термин Маркса «эпоха социальной революции» ошибочно трактуется автором не как длительный период комплексного переворота в общественном бытие и общественном сознании, а как сумма многочисленных социальных революций указанного выше типа.

Актуальной задачей антиковедения является также дальнейшая разработка проблемы минования многими племенами рабовладельческой стадии развития, прямого перехода к феодализму. Марксистское понимание естественно-исторического процесса включает в себя не только признание его **объективности**, но и признание его **неравномерности** на определенных ступенях развития общества. Возможность скачка к более прогрессивному способу производства, минуя одну или несколько формаций, неразрывно связана с законом неравномерности социального прогресса в докоммунистических формациях. Закон неравномерности развития в его международном аспекте есть закон противоположности между союзами племен, странами, нациями, строящими свое хозяйство на основе частной собственности. Подобно противоположности между городом и деревней, между физическим и умственным трудом, данная противоположность появилась задолго до капитализма. Она ясно проявляется уже в условиях рабовладельческого способа производства и дает себя знать в виде войн эксплуататорского класса передовых в социально-экономическом отношении стран против отставших народов. Можно вполне согласиться с выводом М. С. Джунусова. «Взаимоотношения

[82]) В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3, стр. 187.
[83]) С. Л. Утченко. Кризис и падение Римской республики, М., 1965, стр. 25—26.

между передовыми и отсталыми странами уже тогда в конечном счете складывались как отношения господства и подчинения. Первые тормозили общественно-экономическое развитие вторых»[84]). Накопление прибавочного продукта в рабовладельческих центрах было в громадной мере результатом ограбления отсталых народов как в форме «мирной торговли» (неэквивалентного обмена), так и при помощи прямого, открытого насилия. Так складывались крупнейшие рабовладельческие империи — персидская держава Ахеменидов, монархия Александра Македонского, Циньская и Ханьская империи в Китае, империя Маурьев в Индии, средиземноморские державы Греции и Рима.

Характерно, что уже на этих стадиях развития общества наблюдаются случаи нагона отставания отдельными странами и опережение ими стран, ранее шедших впереди. Ведь нагон отставания — наглядное проявление неравномерности развития. Правда, для рабовладельческого строя и феодализма такие скачки еще не являлись типичными. В связи с медленным развитием производительных сил страна, раз вырвавшаяся вперед, надолго сохраняла свое первенство. Много веков понадобилось германцам и восточным славянам для того, чтобы в недрах первобытно-общинного строя достигнуть соответствующего уровня производительных сил и почти одновременно с двумя римскими империями перейти к феодальному способу производства.

Нагон отставания уже на этих ступенях становится возможным только благодаря усвоению опыта более передовых стран. Так, германцы смогли перейти к феодальному строю только благодаря усвоению исторического опыта Рима, а Киевская Русь — исторического опыта Византии. А. В. Мишулин совершенно справедливо писал: «Если рабство у древних славян не получило широкого развития, то это как раз произошло в связи со столкновением славян с рабовладельческой империей на Востоке»[85]). Необходимо отметить, что усвоение исторического опыта в тогдашних условиях могло быть только критическим. Германцы, славяне, арабы не восприняли рабовладельческие производственные отношения, которые тогда уже были в стадии разложения, а, наоборот, сами перешли к более прогрессивному типу отношений — феодальным и ускорили подобный процесс в Риме, Византии, Сирии и Верхней Месопотамии[86]). Уже здесь обнаруживается очень характерное явление. Воспринимаемый отставшими народами опыт должен быть не «идеальным», лишь в голове мыслителей существующим представлением о более справедливом строе, а материальным, практически воплощаемым в жизнь в том или ином районе земного шара. Если с таким практическим опытом соприкосновения нет, ни о каком предвосхищении его отставшими народами речи быть не может.

В книге «Феодализм и народные массы» Б. Ф. Поршнев анализирует два предложенных советской исторической литературой ответа на вопрос о путях генезиса феодализма: 1) феодализм закономерно развивался лишь там, где ему предшествовал мало-мальски развитой рабовладельческий способ производства, а в прочих местах он мог появиться лишь как плод внешнего воздействия со стороны народов, уже стоящих на пути феодального развития; 2) возможно и «первичное» возникновение феодализма, непосредственно на базе разложения первобытно-общинного строя. Обе позиции представляются Б. Ф. Поршневу уязвимыми—вторая с точки зрения логической стройности и согласуемости с теорией истори-

[84]) М. С. Джунусов. Об историческом опыте строительства социализма в ранее отсталых странах, М., 1958, стр. 13.
[85]) См. «Вестник древней истории», 1939, № 1 (6), стр. 306.
[86]) См., например, Б. Д. Греков. Киевская Русь. М. 1949, стр. 24—26.

ческого материализма; первая с точки зрения соответствия многим историческим фактам[87]). Кстати, автор уклоняется от сообщения этих фактов, хотя здесь они были бы очень уместны. В качестве «третьего пути» Б. Ф. Поршнев предлагает мысли Маркса и Энгельса о возникновении феодального строя путем синтеза продуктов разложения рабовладельческого и продуктов разложения первобытно-общинного строя. Но ведь эта «третья» точка зрения отнюдь не противоречит первой и даже служит ее отправным пунктом. Нельзя согласиться и с утверждением автора, что мысли Маркса и Энгельса о «феодальном синтезе» не подвергались теоретической разработке в советской историографии[88]): достаточно вспомнить работы Б. Д. Грекова, А. В. Мишулина, С. Д. Сказкина.

Таким образом, по многим важным методологическим проблемам разложения рабовладельческого строя и генезиса феодализма в нашей исторической, экономической и философской литературе еще нет однозначной оценки и предстоит серьезное обсуждение.

---

[87]) См. Б. Ф. Поршнев. «Феодализм и народные массы», М., 1964, стр. 508.
[88]) См. Б. Ф. Поршнев. «Феодализм и народные массы», М., 1964, стр. 509.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СИБИРИ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

М. Е. ПЛОТНИКОВА

Некоторые советские историки произвели количественные подсчеты исторических работ по истории гражданской войны и интервенции в СССР, опубликованных в разные периоды развития советской исторической науки. И. Л. Шерман пишет, что только в 20-е годы и только на русском языке в СССР вышло в свет около 1200 сборников, книг, статей, воспоминаний[1]). Д. К. Шелестов учел более 5000 книг, брошюр, статей, документальных сборников и мемуаров по истории гражданской войны и интервенции, опубликованных в СССР с начала 20-х годов до 1964 года (речь идет опять-таки только о литературе на русском языке[2]).

Конечно, сами по себе приведенные цифры еще ничего не говорят об уровне советской историографии гражданской войны, но об огромном интересе к этой проблеме, о количественных масштабах проделанной советскими историками разных поколений работы по исследованию многообразных аспектов истории гражданской войны и интервенции они дают вполне определенное представление.

Своеобразной проверкой на зрелость исторической науки являются обобщающие работы монографического характера и особенно историографические исследования. Все возрастающее внимание к вопросам историографии советского общества, в том числе к историографии гражданской войны и интервенции, свидетельствует о дальнейшем развитии советской исторической науки. Если в течение длительного времени исследованием историографии гражданской войны никто не занимался[3]), то в последние годы на страницах исторических журналов все чаще и чаще публикуются историографические статьи как в целом по советской историографии гражданской войны и интервенции, так и по отдельным ее проблемам. Начали выходить в свет первые историографические сборники и, наконец, появились первые монографические исследования по советской историографии гражданской войны в СССР.

Одним из первых попытку хотя бы в самом общем плане рассмотреть становление и развитие советской историографии данной проблемы

---

[1]) И. Л. Шерман. Советская историография гражданской войны в СССР (1920—1931). Изд. Харьковского университета, 1964, стр. 15.

[2]) Д. К. Шелестов. Советская историография гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР. «Вопросы истории», 1964, № 2, стр. 23.

[3]) В 20-е годы обзорные статьи о литературе по истории гражданской войны публиковались. А затем, кроме статьи И. И. Минца «Изучение истории Великой пролетарской революции и гражданской войны», опубликованной в сборнике «Двадцать пять лет исторической науки в СССР», вышедшем в 1941 году, такого рода работ в печати не появлялось.

предпринял Д. К. Шелестов[4]). Наибольший интерес представляет его статья, опубликованная в 1964 году в журнале «Вопросы истории» (№ 2), в которой автор стремился проследить эволюцию советской историографии гражданской войны и интервенции, дать характеристику и оценку каждого из трех основных периодов в ее истории.

Автор, понимая, что сделать это в достаточной степени глубоко и полно в одной статье невозможно, ограничил свою задачу, как он сам пишет, «общим обзором литературы»[5]). Но и в таком виде, выполняя задачу ограниченную, статья Д. К. Шелестова, как одна из первых попыток обзора всей советской литературы на русском языке по данной проблеме, заняла заметное местно в освещении истории советской историографии гражданской войны и интервенции.

Сложную задачу — рассмотреть всю советскую литературу по всем проблемам гражданской войны и интервенции на всех ее этапах и во всех районах страны — попытались решить. С. Ф. Найда и В. П. Наумов[6]). Статья довольно обширна и дает общее представление о состоянии советской историографии гражданской войны и интервенции, но именно только общее. Дело в том, что основное внимание авторы сосредоточили на литературе, раскрывающей чисто военную сторону истории гражданской войны. И хотя в работе есть попытки говорить о литературе в связи с другими аспектами гражданской войны (большевистское подполье, партизанское движение и т. д.), страницы, ей посвященные, носят бегло описательный характер[7]).

Более того, анализ даже и наиболее полно рассмотренной в статье литературы о ходе военных действий иногда идет по линии составления своеобразных аннотаций. Чаще всего о книге или статье говорится только с точки зрения того, как ее автор излагает фактическую сторону того или иного события. Только в отдельных случаях, как, например, в связи с книгой Н. Какурина, авторы отмечают методологические просчеты историка[8]). В статье недостаточно анализируются концепции, основные выводы исследуемых работ. Обращение к такого рода вопросам носит какой-то случайный характер. Этим, на наш взгляд, можно объяснить и то, что во всей советской исторической литературе 20-х годов об интервенции авторы статьи ошибочные положения увидели только в книге А. И. Гуковского, не заметив их почему-то, к примеру, в книге М. Левидова.

В обширной статье только в самых общих словах упоминается об острой идеологической борьбе на историческом фронте 20-х годов. Из нескольких слов, сказанных по этому поводу (стр. 171), совершенно неясно, в чем суть этой борьбы, каково содержание эсеро-меньшевистских и троцкистской концепций гражданской войны, по каким основным

---

[4]) Д. К. Шелестов. Об изучении гражданской войны и интервенции. Сб. «Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС», М., 1962; его же. Советская историография гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР. «Вопросы истории», 1964, № 2; его же. Советская литература 1962—1964 гг. о гражданской войне в СССР. «Вопросы истории», 1965, № 4 и др.

[5]) «Вопросы истории», 1964, № 2, стр. 23.

[6]) С. Ф. Найда, В. П. Наумов. Гражданская война и иностранная военная интервенция в СССР. «Очерки по историографии советского общества», изд. «Мысль», М., 1965.

[7]) В нашей печати уже отмечался этот основной недостаток работы С. Ф. Найды и В. П. Наумова. Так, Д. К. Шелестов писал, что авторы статьи, дав обстоятельный анализ различных концепций хода боевых действий, не показали «процесс исследования многих других проблем периода гражданской войны». См. «Вопросы истории», 1966, № 4, стр. 131.

[8]) С. Ф. Найда, В. П. Наумов. Указ. соч., стр. 152.

проблемам шла в те годы борьба марксистско-ленинской исторической науки с фальсификаторами истории гражданской войны и интервенции.

Характеризуя второй период в истории советской историографии гражданской войны, С. Ф. Найда и В. П. Наумов высказывают ряд верных наблюдений о состоянии источниковедческой базы тогдашних исследований, о характере литературы тех лет, справедливо утверждая, что нельзя из-за влияния культа личности «списать всю литературу» 30-40-х годов[9]). Но, к сожалению, когда заходит речь о том, что и в те годы историки «многие вопросы осветили правильно или почти правильно»[10]), ни одной работы не названо. В этом разделе особенно заметно отсутствие конкретного анализа вполне конкретных книг или статей.

Слабо, как нам кажется, аргументирована внутренняя периодизация второго периода в советской историографии гражданской войны и интервенции в СССР. Не объясняется стремление авторов начать новый этап советской историографии, в отличие от общепринятой периодизации (с XX съезда КПСС), с 1953 года[11]).

Можно было бы продолжить перечень слабых мест указанной работы, и тем не менее в целом она представляет значительный научный интерес. Ее достоинства и недостатки являются типичными для большинства вышедших в свет историографических работ по гражданской войне и интервенции. Обзорный характер, недостаточный конкретно-исторический анализ литературы являются, вероятно, результатом того обстоятельства, что проблемы советской историографии гражданской войны у нас только начинают разрабатываться. Печать простых обзоров, иногда не столь историографического, сколь библиографического плана, имеет место не только в статьях, в которых оценивается вся обширнейшая литература по истории гражданской войны, но и в историографических статьях по отдельным ее сюжетам и в монографиях.

Книга И. Л. Шермана — первое монографическое исследование по советской историографии гражданской войны в СССР. Его работа посвящена тому этапу советской историографии, когда проходило ее становление (20-е нач. 30-х годов). Автору монографии удалось в основном раскрыть особенности этого во всех отношениях сложного периода. Первые главы, в которых дается характеристика состояния исторической науки в 20-е годы и анализируются работы общего характера по истории гражданской войны и интервенции, представляются нам наиболее удачными.

Но глава о советской историографии гражданской войны на Востоке России содержит ряд существенных недостатков. Во-первых, крайне узок круг литературы, ставшей предметом исследования автора. Во-вторых, в этой главе автор идет почти исключительно по пути краткого пересказа содержания книг и статей, не высказывая своего отношения к выводам рассматриваемых сочинений. К некоторым работам И. Л. Шерман допускает явно некритическое отношение (например, к работам И. Н. Смирнова, В. Эльцина и др.). В-третьих, сам автор, как нам кажется, высказывает ряд ошибочных положений по принципиальным вопросам. Так, например, 2-й раздел III главы он называет: «Борьба с колчаковской контрреволюцией. Крестьянское движение в Сибири и на Дальнем Востоке». Ограничение хронологических рамок крестьянского движения в Сибири периодом колчаковщины совершенно несо-

[9]) Там же, стр. 183.
[10]) Там же.
[11]) В книге «Советская историография гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР» (1966) С. Ф. Найда и В. П. Наумов придерживаются общепринятой периодизации.

стоятельно, так как оно началось здесь задолго до колчаковского переворота.

В определенной степени и эта работа, ставившая своей целью всесторонне проанализировать итоги советской историографии гражданской войны на первом этапе ее развития, ограничивается описанием и обзором литературы. Поэтому процесс утверждения марксистской методологии в советской исторической литературе о гражданской войне, определение научной значимости (или несостоятельности) основных работ того периода, не нашли достаточно всестороннего и глубокого освещения в исследовании И. Л. Шермана; оно является только первым шагом в изучении данной проблемы.

Важным делом в осмыслении процесса становления и развития советской историографии гражданской войны и интервенции являются исследования историографии отдельных вопросов проблемы. За последние годы советские историки добились в этом направлении определенных успехов.

Необходимо отметить статью Н. Ф. Варгина о советской историографии большевистского подполья в годы гражданской войны[12]). Хотя статья весьма схематична, и в адрес конкретных работ не высказано ни одного конкретного критического замечания, общая оценка состояния изучения истории большевистского подполья нам представляется вполне правильной. Так, Н. Ф. Варгин отмечает, что несмотря на большую работу, проделанную советскими историками в изучении одной из важнейших проблем гражданской войны, «ряд основных аспектов проблемы все еще остаются малоисследованными», что многие работы носят чисто фактографический характер, «бедны оригинальными выводами и обобщениями»[13]).

Литература об антисоветской белочешском мятеже рассматривается в статье В. П. Наумова[14]). Некоторые вопросы советской историографии гражданской войны и интервенции ставятся в работах В. Сидорова, С. Хесина и других[15]).

Первая попытка проанализировать состояние изучения такой важной проблемы, как взаимоотношения и борьба РКП(б) с мелкобуржуазными партиями в период Октябрьской революции и гражданской войны предпринята Л. М. Спириным[16]). Нам представляются правильными его выводы об общем состоянии советской историографии данной проблемы, его критические замечания, высказанные в адрес некоторых недавно вышедших работ, определение автором основных направлений в дальнейшем исследовании истории российских мелкобуржуазных партий и отношения к ним на разных этапах революции большевиков. Но и эта статья в значительной степени носит чисто обзорный характер, особенно в той ее части, где идет речь об исследованиях двух первых периодов в истории советской историографии.

---

[12]) Н. Ф. Варгин. К историографии большевистского подполья в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР. «Вопросы истории КПСС», 1965, № 9.

[13]) Там же, стр. 119.

[14]) В. П. Наумов. К историографии белочешского мятежа в 1918 г. «УЗ АОН при ЦК КПСС», вып. 40, М., 1958.

[15]) С. С. Хесин. Некоторые вопросы историографии первых лет Советской власти. «История СССР», 1961, № 3; О. А. Васьковский. Новая литература по истории гражданской войны на Урале. «Вопросы истории Урала», вып. 39, ч. 2, 1961 и др.

[16]) Л. М. Спирин. Историография борьбы РКП(б) с мелкобуржуазными партиями в 1917—1920 гг. «Вопросы истории КПСС», 1966, № 4.

Почти во всех вышеперечисленных работах подвергаются рассмотрению и исследования по истории гражданской войны в Сибири. В монографии И. Л. Шермана, как уже отмечалось, есть глава о советской историографии интервенции и гражданской войны на Востоке России. В статье Н. Ф. Варгина подробнее всего говорится о литературе по истории большевистского подполья в Сибири.

Появились и первые работы, посвященные специально анализу советской литературы по истории гражданской войны в Сибири. Их, правда, еще очень мало. Это — историографический раздел в монографии М. И. Стишова[17]). и статья Н. Ф. Варгина[18]).

М. И. Стишовым дан обзор советской литературы о большевистском подполье и партизанском движении в Сибири. Анализ литературы носит здесь более конкретный характер. Но очень бегло говорится о литературе 30-40-х годов, а о недостатках литературы, вышедшей в последнее десятилетие, говорится в общем плане: критические замечания сделаны фактически только в адрес «Истории гражданской войны в СССР» и книги Л. М. Спирина «Разгром армии Колчака» (М., 1957). Обзор М. И. Стишова, таким образом, не лишен тех черт, которые характерны почти для всех историографических работ по истории гражданской войны, а именно: отсутствие должной глубины и всесторонности в оценках своих предшественников, подмена конкретно-исторического анализа пересказом точек зрения, а чаще всего, фактического содержания рассматриваемых книг и статей.

Исторический обзор советской литературы по истории гражданской войны в Сибири, опубликованный в 1957-1963 гг., сделал Н. Ф. Варгин. Он останавливает свое внимание не только на крупных монографических исследованиях, но и на статьях, широко публикуемых как в центральных периодических исторических изданиях, так и особенно в трудах и ученых записках многочисленных сибирских вузов. Выводы Н. Ф. Варгина о современном состоянии советской историографии гражданской войны в Сибири кажутся нам совершенно верными. Хотя статья Н. Ф. Варгина это опять-таки всего лишь краткий обзор, она довольно убедительно рисует общую картину той значительной работы, которую осуществили в последнее десятилетие советские историки в исследовании различных аспектов гражданской войны в Сибири.

К содержанию всех вышеперечисленных историографических работ нам придется возвращаться еще неоднократно. Пока же, как нам кажется, есть уже достаточные основания, чтобы сделать общие выводы о характере историографических исследований по проблеме гражданской войны в СССР, в том числе в Сибири.

Безусловно, все названные работы, как начало разработки истории советской историографии, нужны и полезны. Но являясь выражением фактически только зарождающейся у нас отрасли исторической науки, они не лишены серьезных пробелов, суть которых состоит, прежде всего, в недостаточно глубоком анализе внутренних процессов развития советской историографии гражданской войны, в слабом выражении авторского отношения к точкам зрения своих предшественников по принципиальным вопросам теории и истории гражданской войны. Так, Н. Ф. Варгин, оценивая итоги первого периода в историографии большевистского подполья, делает следующее заключение: «В этой литературе наряду с богатством фактического материала зачастую присутствовал налет

[17]) М. И. Стишов. Большевистское подполье и партизанское движение в Сибири. М., 1962.

[18]) Н. Ф. Варгин. О литературе по истории гражданской войны и иностранной военной интервенции в Сибири. «История СССР», 1964, № 4.

субъективизма, имели место неточности и ошибочные выводы»[19]). Но ведь эта характеристика ничего не говорит по существу и с полным основанием может быть приложена к любому другому периоду!

Другой пример. В работе С. Ф. Найды и П. В. Наумова в качестве недостатков книги А. Анишева («Очерки гражданской войны 1917—1920 гг.») отмечаются: недостаточность фактического материала, неравномерность обращения к разным событиям, а также то, что автор не раскрыл роль Коммунистической партии, не показал деятельность политотделов и военкомов[20]). В чем же видел А. Анишев истоки победы советского народа над интервентами и белогвардейцами, как рассматривал вопрос о союзе рабочего класса с крестьянством, в чем причины слабости российской контрреволюции — об этом авторы не говорят ни слова применительно не только к книге Анишева, но и ко многим другим.

Как шло становление марксистско-ленинской историографии гражданской войны, по каким конкретным вопросам шла борьба с буржуазными и мелкобуржуазными концепциями гражданской войны и интервенции, что нового в теорию (а не только в накопление фактов!) вносило каждое следующее поколение советских историков, каким критерием определяются достижения их на разных этапах развития советской исторической науки — все эти главные, на наш взгляд, задачи историографии ставятся еще робко и в самом общем виде. Схематизм, фактографичность, т. е. те беды, о которых в связи с характеристикой работ на конкретно-исторические темы говорится во всех историографических исследованиях, не являются «привилегией» только первых, они имеют место и в историографических трудах.

Небезынтересно отметить и тот факт, что в историографических исследованиях нет даже намека на дискуссии между историками, занимающимися вопросами историографии гражданской войны. В лучшем случае работы предшественников упоминаются (иногда с общим реверансом в их адрес), иногда же нет даже простого упоминания их. Д. К. Шелестов справедливо отмечает, что это обстоятельство привело к обеднению, например, «Очерков по историографии советского общества» (М., 1965). «В них нет деловой полемики со взглядами, изложенными в ранее вышедших трудах; история развития советской исторической науки тем самым упрощена»[21]).

Все вместе взятое свидетельствует о том, что вопросы историографии гражданской войны требуют дальнейшего серьезного осмысления и всестороннего освещения. Изучение историографии отдельных проблем гражданской войны, в отдельных крупных районах страны может послужить полезным основанием в создании обобщающих историографических исследований.

Автор данной статьи ставит целью остановиться на характеристике советской историографии лишь некоторых проблем гражданской войны в Сибири, ограничивая при этом и территориальные рамки. Обширная литература по истории гражданской войны на Дальнем Востоке в этой статье рассматриваться не будет.

Обилие литературы ставит автора перед нелегкой задачей. В одной статье невозможно даже просто перечислить все то, что написано по истории гражданской войны в Сибири, поэтому автор сознательно ограничивает себя анализом только наиболее интересных и типичных для определенных периодов советской историографии работ.

[19]) Н. Ф. Варгин. Указ. соч., «Вопросы истории КПСС», 1965, № 9, стр. 112.
[20]) С. Ф. Найда, П. В. Наумов. Указ. соч., стр. 152.
[21]) Д. К. Шелестов. Важные проблемы историографии советского общества. «Вопросы истории», 1966, № 4, стр. 132.

Другая трудность состоит в большом количестве проблем, из совокупности которых и складывается понятие гражданской войны и иностранной интервенции в СССР. Для Сибири гражданская война (в хронологических рамках 1918—1920 гг.) в силу вполне понятных причин исключает такие сюжеты, как социально-экономические и хозяйственно-культурные преобразования Советской власти, совершенствование государственного аппарата, национальное строительство, аграрные преобразования, связанные с деятельностью комбедов и т. д. Но и без этих вопросов гражданская война в Сибири включает в себя целый комплекс тесно связанных между собой проблем: иностранная интервенция, контрреволюция, большевистское подполье, рабочее движение, крестьянство на разных этапах гражданской войны, партизанское движение, боевые действия и роль Красной Армии в освобождении Сибири и др.

Рассмотреть эволюцию взглядов советских историков по всем этим вопросам в одной статье не представляется возможным. Поэтому автор, не ограничивая себя хронологическими рамками (хотя и уделяя главное внимание современному состоянию советской историографии гражданской войны в Сибири), останавливается только на трех проблемах гражданской войны: большевистское подполье, сибирское крестьянство в годы гражданской войны, сибирская контрреволюция.

Первые два сюжета выбраны и потому, что они являлись одними из главных, решающих в период гражданской войны, и потому, что в советской исторической литературе по ряду вопросов указанных проблем до сих пор продолжаются споры. История контрреволюции в Сибири до настоящего времени изучена недостаточно, а между тем эта проблема всеми советскими историками связывается с таким принципиально важным вопросом, как поведение сибирского крестьянства в годы гражданской войны, поэтому нам представляется нужным остановиться специально на советской историографии сибирской контрреволюции.

Но прежде чем перейти к анализу литературы по трем выбранным проблемам, необходимо дать хотя бы самую краткую характеристику эволюции советской историографии гражданской войны и интервенции.

Советская историография гражданской войны прошла в своем развитии три основных этапа: 1-й — 20-е годы начало 30-х годов; 2-й — с середины 30-х годов до XX съезда КПСС; 3-й — с XX съезда партии до настоящего времени. Эта периодизация является у нас общепринятой, если не считать, что некоторые историки конечными рамками первого этапа считают 1931 год, а другие — середину 30-х годов.

Поскольку в нашей литературе уже определялась сущность основных периодов советской историографии вообще и историографии гражданской войны в частности[22]), мы ограничимся самыми краткими характеристиками их.

Первый период в развитии советской историографии гражданской войны был сложным периодом ее становления. Классовая борьба на идеологическом фронте выливалась в острые формы. Это было время, когда в упорной борьбе с буржуазной идеологией, с эсеро-меньшевистскими и троцкистскими взглядами в исторической науке прокладывала путь ленинская концепция революции и гражданской войны. Одновременно шло и формирование кадров историков-марксистов.

[22]) См. Д. К. Шелестов. Советская историография гражданской войны и иностранной военной интервенции. «Вопросы истории», 1964, № 2; И. Л. Шерман. Указ. соч.; С. Ф. Найда, В. П. Наумов. Указ. соч.; А. И. Гуковский. Как я стал историком. «История СССР», 1965, № 6, «Очерки истории исторической науки в СССР». Т. IV. М., 1966 и др.

Естественно, что в условиях, когда советская историография только зарождалась, неизбежны были поиски и ошибки, иногда серьезного методологического характера. Естественно так же и то, что этот первый период был прежде всего периодом накопления фактического материала. Обобщающих работ выходило немного. Источниковедческая база только начала создаваться, к тому же по некоторым проблемам гражданской войны и не могло быть в силу самой природы явления широкого круга архивных источников (например, по истории большевистского подполья, о крестьянских восстаниях осени 1918 года). Поэтому большое внимание уделялось публикации такого вида источников как воспоминания. Да и вообще в те годы подавляющее число работ выходило из-под пера активных участников гражданской войны, что не могло не наложить определенного отпечатка на всю литературу тех лет.

С точки зрения сегодняшнего состояния исторической науки некоторые оценки, высказанные в те годы по истории гражданской войны, особенно по истории крестьянских восстаний и партизанского движения, кажутся неглубокими, вульгарно-упрощенческими, подчас наивными. Но все это не дает основания к тому нигилистическому отношению к достижениям советской историографии гражданской войны 20-х годов, которое долгое время имело у нас место и не преодолено еще в должной степени по сей день. Оно особенно бросается в глаза в кратких историографических обзорах и проявляется в том, что о литературе 20-х годов чаще всего говорят только с точки зрения ее недостатков, характер которых по существу не вскрывается.

Так, Н. Ф. Варгин, говоря о литературе 20-х годов по истории большевистского подполья, делает, как уже отмечалось, заключение о том, что в ней «наряду с богатством фактического материала зачастую присутствовал налет субъективизма, имели место неточности и ошибочные выводы»[23]). Но эта характеристика носит столь общий характер, что ее можно распространить на литературу по данной теме любого периода. А вот о том, что наиболее типично в постановке вопросов, каковы принципиальные выводы о характере и роли большевистского подполья, какие ошибки методологического плана допускались в литературе тех лет, так же как и в чем ее основные достижения в этом направлении — Н. Ф. Варгин, к сожалению, ничего не говорит.

Даже в работе И. Л. Шермана, являющейся первым монографическим исследованием историографии гражданской войны 20-х годов и отличающейся стремлением воздать должное достижениям советских историков тех лет, проявляется иногда тенденция критически оценить работу того или иного автора не за то, что он сумел сделать, а за то, что он должен был сделать.

Попытка современных историографов давать оценки работам первого периода советской историографии через призму достижений сегодняшнего дня ведет иногда к обвинениям, явно незаслуженным. Так, например, И. Л. Шерман пытается убедить читателя в том, что ссылки исследователей 20-х годов на крайнюю бедность архивных источников по истории гражданской войны, были «чрезвычайно преувеличены»[24]), хотя этот факт бесспорен. Несправедливо Шерман обвиняет историков 20-х годов и в том, что у них будто бы не было достаточно критического подхода

---

[23]) Н. Ф. Варгин. Указ. соч., «Вопросы истории КПСС», 1965, № 9, стр. 12.
[24]) И. Л. Шерман. Указ. соч., стр. 48.

к широко публикуемым тогда мемуарам белогвардейцев и интервентов[25]).

Правы те историки, которые как раз подчеркивают, что молодая советская историческая наука дала отпор антисоветским идеям и концепциям. Критические рецензии на мемуары белогвардейцев разных мастей и интервентов были в те годы весьма распространенным явлением. И взгляды откровенных врагов Советской власти, на наш взгляд, не представляли сколько-либо ощутимой опасности для советской исторической науки.

Гораздо более серьезной угрозой для советской историографии тех лет являлись эавуалированные идеи «перестроившихся» эсеров и меньшевистско-троцкистские выводы по ряду вопросов гражданской войны. Они, как мы попытаемся показать далее, действительно проникали в отдельные работы советских историков. Но с эсеровской и троцкистской концепциями революции и гражданской войны шла упорная борьба, и ленинское понимание принципиальных вопросов этой проблемы к концу рассматриваемого периода стало в советской историографии господствующим.

В те годы были достигнуты значительные успехи в изучении таких вопросов, как история Красной Армии и ее боевых действий на фронтах гражданской войны, история интервенции и контрреволюции, сделаны первые шаги в изучении большевистского подполья и партизанского движения. Вышли первые работы, авторы которых пытались обобщить историю гражданской войны в СССР[26]). И достижения первого периода советской историографии гражданской войны и интервенции нельзя сводить только к накоплению фактического материала. Мы полностью присоединяемся к той оценке общих итогов первого периода советской историографии, которую дает Д. К. Шелестов: «Основной итог этого десятилетия заключается в том, что советская историческая наука, успешно преодолевая в условиях острой идейной борьбы эсеро-меньшевистские, троцкистские и иные попытки фальсифицировать события 1918-1920 гг., сделала решающий шаг в освоении марксистско-ленинской методологии и твердо встала на путь ленинского освещения событий»[27]).

30 июля 1931 года было принято известное постановление ЦК ВКП(б) об издании многотомной «Истории гражданской войны в СССР», начинается широкая работа по ее написанию. Казалось, что в исследовании чрезвычайно важного и интересного периода в жизни Советского государства открываются новые перспективы.

Но еще в 1929 году вышла в свет статья К. Е. Ворошилова «Сталин и Красная армия», впоследствии неоднократно переиздававшаяся отдельными книжками. В ней, как известно, не только чрезмерно преувеличивалась роль И. В. Сталина, но давались сугубо субъективные оценки ря-

---

[25]) И. Л. Шерман вообще считает большой ошибкой публикацию подобных мемуаров, более того, винит в их публикации советских историков. «Тот факт,— пишет он,— что такие работы выходили и не всегда получали должный отпор, говорил о том, что советские историки еще недостаточно проникались ленинской партийностью и часто объективистски подходили к своим идейным противникам» (стр. 20). Странная постановка вопроса! Можно осуждать историков за то, что они не боролись с враждебными и антинаучными взглядами авторов таких мемуаров, но обвинять историков в идейно-методологической слабости на основании того, что государственными издательствами публиковались мемуары белогвардейцев (кстати, при правильном отношении к ним, весьма полезные при изучении многих аспектов гражданской войны), занятие, на наш взгляд, совсем несостоятельное.

[26]) См., например, А. Н. Анишев. Очерки истории гражданской войны 1917—1920 гг. Л., 1925; Н. Е. Какурин. Как сражалась революция. Т. 1, Л., 1925; т. 2, 1926; и др.

[27]) Д. К. Шелестов. Указ соч. «Вопросы истории», 1964, № 2, стр. 32.

да важных событий из истории гражданской войны. Скоро в литературу о гражданской войне все сильнее начали проникать фальсифицированные представления и взгляды, весьма далекие от того, что мы понимаем под ленинским освещением событий.

Об отрицательном влиянии культа личности на советскую историографию в нашей литературе сказано было уже много раз. Писали и об его влиянии на историографию гражданской войны. Правда, по этому периоду историографии гражданской войны до сих пор нет ни одной специальной работы. Историки, говорящие о нем, ограничиваются самыми общими обзорами и оценками. Вероятно поэтому оценки данного периода советской историографии гражданской войны часто носят противоречивый и мало аргументированный характер даже в работах историков, специализирующихся на историографии.

Так, в статье Д. К. Шелестова нельзя, как нам кажется, найти четко сформулированного ответа на вопрос о том, насколько серьезно и в каких вопросах имело место отступление советских историков от марксистско-ленинской методологии в работах, написанных под сильным влиянием культа личности. Д. К. Шелестов говорит о многих недостатках и слабостях историографии гражданской войны того периода и в конце концов заявляет, что одностороннее освещение многих событий гражданской войны, «повлекло за собой **искажение** всей картины борьбы с интервентами и белогвардейцами, означало **отход от исторической правды** (подчеркнуто нами.— М. П.)»[28]). Эту оценку он распространяет на всю литературу о гражданской войне, выходившую в 30-е — нач. 50-х годов. И тут же Д. К. Шелестов утверждает, что чуждый марксизму-ленинизму культ личности «не мог изменить и не изменил марксистско-ленинскую основу исторической науки»[29]).

Но ведь известно, что одним из главных принципов марксистской методологии является научная объективность, правдивое изображение событий. Если же был повсеместный отход от объективности в угоду схемам, навязанным культом, если все историки только тем и занимались, что «отходили от исторической правды», то признав это, как можно серьезно заявлять, что все это не влияло на марксистско-ленинский подход к историческим явлениям.

Не менее противоречивую оценку дает этому периоду и Н. Ф. Варгин. «Научной разработки истории партийного подполья, — пишет он, — по существу, почти не велось. Однако это ни в какой степени не умаляет труда историков, работавших в то время и внесших свой посильный вклад в развитие историографии»[30]). Как можно говорить о вкладе в науку, одновременно утверждая, что научной разработки вопроса «почти не было», остается секретом автора.

Вывод С. Ф. Найды и П. В. Наумова более определенный. Они отмечают, что в те годы «грубо искажались исторические факты. Многие важные вопросы истории гражданской войны истолковывались упрощенно и фальсифицированно... Содержание работ все более принимало биографический характер: историки описывали лишь события, в которых непосредственно участвовал Сталин»[31]), но тем не менее перечеркнуть литературу данного периода нельзя, так как и в то время «историки вели серьезную исследовательскую работу по изучению истории гражданской войны и многие вопросы осветили правильно или почти правильно»[32]).

---

[28]) Д. К. Шелестов. Указ. соч. «Вопросы истории», 1964, № 2, стр. 38.
[29]) Там же, стр. 37.
[30]) Н. Ф. Варгин. Указ. соч. «Вопросы истории КПСС», 1965, № 9, стр. 112.
[31]) С. Ф. Найда, П. В. Наумов. Указ. соч., стр. 180.
[32]) Там же, стр. 183.

Вывод этот был бы более объективен, если бы авторы конкретно назвали работы, которые они относят к серьезным научным исследованиям, указали бы вопросы, научная разработка которых шагнула вперед, но С. Ф. Найда и В. П. Наумов не сделали этого, и у читателя может создаться ошибочное представление о том, что все историки создавали действительно научные исследования по истории гражданской войны.

Какой-то явно схоластический подход (с одной стороны — все плохо, с другой — основа науки не менялась) к советской историографии гражданской войны 30-х — нач. 50-х годов, противоречия в оценке одного и того же периода, являются, как нам кажется, результатом того, что историографы пока что говорят **вообще** о состоянии советской историографии того периода, не анализируя как следует самих работ. И поэтому невольно нарушается основной принцип нашей методологии, принцип конкретно-исторического подхода к анализу явлений, в данном случае к анализу вполне определенных работ по вполне определенным темам. Вот почему до сих пор нет еще ни одной работы, в которой бы достаточно аргументированно было показано истинное положение дел в советской историографии гражданской войны второго периода, из которой читатель мог бы понять, какие из работ тех лет, несмотря на влияние культа личности, являются все-таки настоящими научными исследованиями, а какие из-за явного отхода от исторической правды, являются ненаучными.

Пока же обо всех работах того периода говорят одинаково и только с точки зрения их ошибок, и при всем том делают вывод, что в основе исторической науки ничего не менялось. А ведь совершенно очевидно, что нельзя одной меркой мерять, например, работы А. Березкина, А. Гулыги, А. Геронимуса, Б. Штейна и др.,[33]), с одной стороны, статьи и книги В. Меликова, В. Андреева, В. Воробьева, А. Федорова[34]),— с другой. Первые вносили определенный вклад в советскую историографию иностранной интервенции и не потеряли значения и в наши дни, а вторые, сочиненные со специальной целью показать И. В. Сталина в роли спасителя Восточного фронта, извращавшие многие события, связанные с военными действиями на Восточном фронте гражданской войны, никогда не имели научного значения.

Конкретный анализ работ того периода говорит о том, что большинство советских историков, несмотря на всю пагубность догматизма и лакировки по **основным принципиальным вопросам** стояли на марксистско-ленинских позициях. По некоторым проблемам гражданской войны (дальше мы будем говорить об этом более конкретно) историки шли вперед, и не только в накоплении и систематизации фактов, но и в более глубоком, по сравнению с предшествующим периодом, понимании их.

Если бы этого не было, не произошло бы такого стремительного скачка в области историографии гражданской войны, который начался буквально сразу же после XX съезда партии. Уже в 1957-1959 гг. вышло много интересных работ. Их появление невозможно было бы без XX съезда, но оно невозможно было бы и без того огромного материала (не только чисто фактического), который накапливался в предшествующие годы.

---

[33]) А. Березкин. США — активный организатор и участник военной интервенции против Советской России. М. 1949. (2-е издание, М., 1952); А. Гулыга, А. Геронимус. Крах антисоветской интервенции США. М., 1952; Б. Е. Штейн. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции (1919—1920 гг.). Госполитиздат, 1949; Г. Е. Мымрин. Англо-американская военная интервенция на Севере и ее разгром. Архангельск, 1953 и др.

[34]) В. Воробьев. И. В. Сталин — организатор побед на фронтах гражданской войны. М., 1949; А. Федоров. Пермская катастрофа и контрнаступление Восточного фронта. Воениздат, 1940 и др.

Кроме того, когда мы говорим о работах по истории гражданской войны, написанных в 30-е — нач. 50-х годов, мы должны иметь в виду, что многие из этих работ отдавали дань культу личности чисто формально. Именно поэтому есть немало работ, написанных в самый, так сказать, «расцвет» культа личности, которые не потеряли значения и в наши дни. Особенно это относится к работам по истории интервенции.

Мы не собираемся отрицать вред культа личности, его тормозящее влияние на историографию гражданской войны. Нам только кажется, что этот вопрос надо решать более глубоко и более конкретно. На наш взгляд, главной бедой литературы о гражданской войне тех лет является не усиленное выпячивание личности Сталина, не бесконечное цитирование его работ, не выбрасывание из истории многих героев гражданской войны, а уход от наиболее сложных и острых проблем гражданской войны. Так, отличительной чертой этого периода является почти полное отсутствие работ о падении Советской власти в Сибири летом 1918 года и начальном этапе контрреволюции, о характере колебаний сибирского крестьянства и первых крестьянских восстаний, о партизанском движении, о профсоюзах Сибири в 1918 году и т. д.

Более глубоко и всесторонне данные проблемы стали разрабатываться после XX съезда КПСС, открывшего новый этап в советской историографии вообще, советской историографии гражданской войны в Сибири, в частности. Десять лет, прошедшие со времени XX съезда, срок небольшой, но он оказался для советской исторической науки весьма плодотворным.

Сущность этого периода всем хорошо известна, на его общей характеристике здесь нет нужды останавливаться. А современное состояние советской историографии гражданской войны в Сибири мы попытаемся проанализировать на материалах трех избранных нами проблем.

а) Сибирское большевистское подполье в советской историографии

Коммунистическая партия сыграла решающую роль в организации борьбы советского народа против интервентов и белогвардейцев. Оказавшиеся в исключительно сложных условиях глубокого белогвардейского тыла, большевики Сибири внесли огромный вклад в общее дело разгрома контрреволюции. И интерес к изучению истории сибирского большевистского подполья, проявившийся сразу же после окончания гражданской войны, вполне понятен. Но история трудной и многогранной деятельности большевистских организаций в тылу врага далеко не сразу нашла широкое и верное освещение в советской исторической литературе.

В исследовании большевистского подполья историк встречался с большими трудностями, проистекавшими из характера источниковедческой базы.

Необходимость соблюдения строжайшей конспирации, периодические разгромы партийных центров и групп привели к тому, что документов, исходящих от самих подпольных организаций, сохранилось очень немного. До нас не дошли даже решения I и II сибирских конференций большевиков, не говоря уже о том, что никаких протоколов городских конференций или заседаний партийных комитетов историки никогда не видели по той простой причине, что их подпольщики, как правило, не писали. Очень мало сохранилось материалов нелегальной печати (листовки, газеты).

В архивах отложилась масса материалов белогвардейского происхождения, в них есть документы и о сибирском большевистском под-

полье. Но, во-первых, донесения агентуры белых контрразведок и документы других органов контрреволюции (например, решения военно-полевых судов, официальные доклады о политическом состоянии того или иного района) носят чрезвычайно тенденциозный характер, во-вторых, они содержат много ошибочных, иногда специально придуманных сыщиками, сведений.

Крайняя ограниченность документальных источников по истории большевистских организаций Сибири периода гражданской войны придает особую значимость мемуарам участников подполья. В 20-е годы их написание всячески поощрялось Центральным и местными истпартами. И поныне воспоминания являются фактически основным источником в исследованиях истории большевистского подполья[35]).

Мемуары же, как известно, все, хотя и в разной степени, несут на себе печать опасного для историков субъективизма. Недостаточно критическое отношение к ним приводило многих историков к повторению высказанных мемуаристами ошибок не только фактического, но и теоретического характера.

Ограниченность первоисточников (а в 20-е годы, в связи с тем, что архивные фонды по гражданской войне только начали создаваться, их было совсем немного), специфичность мемуарной литературы наложили свой отпечаток на литературу о большевистском подполье, вышедшую в первый период советской историографии.

Воспоминания не являются только источником. Уже в 20-е годы часть воспоминаний создавалась с использованием документов, их авторы не ограничивались освещением частных вопросов, а стремились нарисовать общую картину деятельности большевистского подполья, пытались дать самостоятельную оценку принципиальным вопросам истории большевистских организаций. Такие мемуары с полным основанием, хотя и с некоторыми оговорками, могут быть отнесены к историческим исследованиям. В этом плане можно рассматривать прежде всего работы К. Молотова, В. В. Вегмана, Б. Шумяцкого, А. Ширямова[36]), которые положили начало советской историографии большевистского подполья в Сибири.

Особый интерес представляла книга К. Молотова, потому что Молотов был одним из очень немногих руководящих работников сибирского подполья, оставшихся в живых к моменту освобождения края от колчаковцев и интервентов. К. Молотов — участник сибирских подпольных конференций большевиков, председатель первого нелегального Сибирского Областного Комитета партии, поэтому его небольшая книга является до сих пор чуть ли не единственным источником о работе двух первых конференций.

Работы К. Молотова, В. Вегмана, Б. Шумяцкого, Г. Шпилева давали только самую общую картину деятельности сибирских большевиков, ограниченную рамками Областного Комитета и наиболее крупных организаций, в них мы не найдем систематической истории многогранной по формам и широкой по масштабам работы большевиков периода гражданской войны в Сибири. Но в первые годы Советской власти, когда только еще начиналось собирание фактического материала, и нельзя было

---

[35]) См. Сб. «Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС»; М., 1962; Очерки по историографии советского общества. М., 1965.

[36]) К. Молотов. Контрреволюция в Сибири и борьба за Советскую власть. Самара, 1921; В. В. Вегман. РКПб при Колчаке. «Сибирь», 1925, № 4; Б. Шумяцкий. В большевистском подполье при Колчаке. «Сибирские огни», 1933, № 7, 8; Г. Шпилев. Из истории партийной работы в Сибири при Колчаке. «Пролетарская революция», 1928, № 1.

создать работ, выходящих за рамки общего, подчас схематичного изложения наиболее важных событий.

Если учесть, что в тот период в ряде книг и статей (и не одних только эсеров) проводилась мысль о стихийности борьбы трудящихся Сибири против контрреволюции, то будет понятным особое значение работ Молотова, Вегмана, Шпилева[37]), показывающих огромную организующую роль большевиков в мобилизации рабочих и крестьян Сибири на борьбу с контрреволюцией.

В 20-е — начале 30-х годов было опубликовано ряд статей, в которых показывалась деятельность отдельных местных партийных организаций. Статья В. Вегмана была посвящена истории Томской подпольной организации, в воспоминаниях А. И. Попова рассказывалось о работе сельских коммунистов с. Быстрый Исток на Алтае[38]).

В эти же годы в некоторых работах о партизанском движении отводилось значительное место показу ведущей роли коммунистов в его организации и руководстве им[39]). И. М. Зубов (Бурков), рассказывая о боевых действиях своего и переваловского партизанских отрядов, особо подчеркивал, что «своим существованием, боеспособностью и сочувственным отношением населения, партизанские отряды всецело обязаны партийной организации Томска, Красноярска и Боготола[40]). Значение всех этих воспоминаний определялось также и тем, что в те годы историки-профессионалы в своих работах о гражданской войне в Сибири не уделяли должного внимания освещению большевистского подполья. Так, в книге П. С. Парфенова[41]) о деятельности подпольщиков говорилось лишь в самых общих словах. Причем, Парфенов исходил из совершенно безосновательной посылки о том, что будто бы зимой 1918-1919 гг. колчаковцам почти полностью удалось задушить большевистское подполье.

Во второй половине 20-х годов появились работы, отражающие отдельные стороны жизни и борьбы сибирских нелегальных организаций. Значительный интерес представляла книга «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов[42]), в которой довольно широко показывалась борьба большевиков с эсерами и меньшевиками в профсоюзах, их роль в организации забастовочного движения в 1918-1919 гг. Тогда же были написаны первые небольшие очерки о некоторых руководителях сибирского большевистского подполья, погибших от рук белогвардейцев[43]).

Таким образом, в 20-е — начале 30-х годов советской историографией большевистского подполья в Сибири делались первые шаги. Они были довольно плодотворны.

Но литература тех лет имела, конечно, и свои недостатки. Они проистекали не только из ограниченности документальных источников.

---

[37]) Г. Шпилёв, В. Вегман, К. Молотов приводили некоторые сведения и о руководстве сибирским большевистским подпольем и партизанским движением со стороны ЦК РКПб, что имело особенно большое значение.

[38]) В. Вегман. В борьбе за коммунизм (к истории Томской организации РКП). «Знамя революции», приложение, 22 февраля 1920 г.; А. И. Попов. Подпольная организация села Быстрый Исток. В сб. «Повстанческое движение на Алтае», Новосибирск, 1935.

[39]) См., например: Сборник работ военно-исторической секции Томского госуниверситета и мединститута, Томск, 1931; А. Геласимова. Партизаны Томской губернии (1919 г.). «Борьба классов», 1933, № 7 и др.

[40]) Сборник работ военно-исторической секции Томского госуниверситета и мединститута. Томск, 1931, стр. 62.

[41]) П. С. Парфенов (Петр Алтайский). Гражданская война в Сибири 1918—1920 гг. М. 1924.

[42]) Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов. 1917—1919 гг. Составитель В. Шмелев. Под ред. В. Вегмана. Новосибирск, 1928.

[43]) См. ж. «Сибирский горнорабочий», 1921, № 1.

Главной бедой, как нам кажется, был субъективизм в оценке ряда принципиальных событий из истории сибирского большевистского подполья.

Почти все авторы первых работ по этой теме являлись участниками многих описываемых ими событий. В период гражданской войны у них имелись вполне сложившиеся, иногда ошибочные, взгляды на некоторые вопросы тактики коммунистов в подполье и это нашло отражение в их книгах и статьях. Так, К. Молотов на конференции выступал против местных восстаний, считая необходимым сосредоточить все усилия на подготовке всесибирского восстания. И в своей работе он не отказался от этой точки зрения, объявив резолюцию 2-й конференции о возможности и даже необходимости при определенных условиях местных восстаний ошибочной. В. Вегман придерживался такого же взгляда. Субъективистский взгляд на тактику сибирских коммунистов зимой 1918 года привел этих авторов к другой ошибке, к недооценке вооруженных восстаний, осуществленных большевиками в конце 1918 — начале 1919 гг. в городах Сибири. Без всяких на то оснований они называли эти восстания «сепаратными» и видели в них один результат — гибель многих коммунистов.

Правда, уже тогда некоторые товарищи высказали свое отрицательное отношение к вышеуказанным выводам К. Молотова и В. Вегмана. Так, Г. Шпилев писал, что К. Молотов глубоко ошибался, объявляя решение конференции, признающей необходимость местных восстаний, «несчастьем»[44]). Но тем не менее в целом эти оценки Молотова и Вегмана в рассматриваемый период в значительной степени являлись господствующими в советской исторической литературе о большевистском подполье в Сибири. И только в последующие годы историки по-иному взглянули на решения 2-й подпольной конференции по вопросу о характере и масштабах вооруженных восстаний в Сибири.

Со второй половины 30-х годов в литературе по истории большевистского подполья в Сибири преобладающее место занимают не воспоминания, а статьи и книги профессионалов-историков. Само по себе это явление вполне закономерно. Были созданы значительные кадры советских историков и пришло время, на основании накопившихся материалов, сказать свое слово именно профессионалам. Но подавляющее преобладание литературы, вышедшей из-под пера профессиональных историков, являлось результатом не только объективно действующих законов развития исторической науки. На резком сокращении публикаций мемуаров сказались условия культа личности, когда многие активные участники большевистского подполья были лишены возможности писать воспоминания[45]).

В рассматриваемый период по истории большевистского подполья в Сибири вышло довольно много статей, брошюр, книг. Здесь и работы о роли большевиков в организации партизанского движения[46]) и об отдельных руководителях сибирских организаций коммунистов[47]), и о роли

[44]) Г. Шпилев. Из истории партийной работы в Сибири при Колчаке. «Пролетарская революция», 1928, № 1(72), стр. 73.

[45]) Из немногих опубликованных в тот период воспоминаний по интересующей нас теме, наибольший интерес представляют: Г. Ивкин. О подпольной работе большевиков в селе Зимино. Сб. «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918—1920 гг.» Новосибирск, 1936; И. Дмитриев. Большевики в тылу у Колчака. «За власть Советов». Новосибирск, 1947.

[46]) К. Селезнев. Большевики — организаторы и руководители партизанского движения в Сибири (1918—1919 гг.). «Коммунист», Новосибирск, 1935, № 5—6; Ф. Сухой. Большевики и партизанское движение в Западной Сибири. «Военно-исторический журнал», 1940, № 3; и др.

[47]) А. Померанцева. Борцы пролетарской революции. Новосибирск, 1940; Сб. «Первый призыв». Новосибгиз, 1941.

их в организации рабочих восстаний[48]). Выходили в свет статьи и брошюры о деятельности коммунистов в отдельных городах[49]). Предпринимались попытки нарисовать картину всей многогранной работы сибирских коммунистов в годы гражданской войны[50]).

Больше всего историки писали о роли коммунистов в руководстве партизанским движением. Для историков этого периода проблема ведущей роли большевиков в придании партизанскому движению организованного характера, в том, что партизанская война в Сибири в целом проходила под лозунгами восстановления власти Советов, перестала быть «дискуссионной». В эти годы ни о каком проникновении в советскую историческую литературу эсеровских и троцкистских оценок не может быть и речи. И в этом, как нам кажется, надо видеть главный итог развития советской историографии большевистского подполья.

В решении ряда «частных», но принципиальных вопросов тактики сибирских коммунистов, советские историки этого периода стояли на более правильных позициях, чем их предшественники. Это можно проследить, например, на их оценках решений 2-й сибирской подпольной конференции, на их понимании вопроса о времени и характере складывания военно-политического союза рабочих и трудового крестьянства в условиях гражданской войны в Сибири (об этом подробнее пойдет речь в следующем разделе статьи).

Но в то же время на работах 30-х — начале 50-х годов о большевистском подполье влияние культа личности нашло сильное отражение, и не только в смысле исключения из истории многих фамилий, в результате чего само большевистское подполье выглядело каким-то совершенно безликим. Влияние культа личности выразилось прежде всего в уходе от ответов на некоторые важные вопросы, в приукрашивании событий, в облегченном подходе к сложным, часто противоречивым явлениям и процессам.

Если в исторической литературе 20-х годов о трудностях работы большевиков в подполье писали много, а некоторые ошибки и просчеты подпольщиков иногда безосновательно выпячивались, в работах этого периода все спорные вопросы, как правило, обходились, недостатки замалчивались. Например, в работе А. Худякова[51]) о серьезных спорах по вопросам тактики, развернувшихся на 2-й сибирской конференции, даже не упоминалось, так же как не упоминалось и о военно-тактических просчетах большевиков в связи с восстаниями, которые они поднимали. Трудности большевиков в овладении партизанским движением сглаживались.

Печать культа личности очень заметна в брошюре И. Яковлева[52]), в которой отсутствует должный анализ причин поражения вооруженных рабочих восстаний, тенденциозно оцениваются некоторые бывшие деятели большевистского подполья, упрощенно рассматривался вопрос о партийном влиянии в партизанских отрядах.

---

[48]) В. Вихлянцев. Кольчугинское восстание. «Сибирские огни», 1939, № 6.

[49]) М. В Красных. Омские большевики в годы гражданской войны. Омск, 1947; Вл. Молотов. Большевики Сибири в период гражданской войны (1918—1919). Омск, 1949. (Хотя эта книга называется «Большевики Сибири», в ней фактически рассматривается деятельность только Омских коммунистов).

[50]) Ц. Гофман. Большевистская партия — организатор разгрома колчаковщины «Исторический журнал», 1940, № 9; Н. Яковлев. Большевистское подполье в тылу Колчака. Новосибирск, 1941; И. Г. Зобачев. Борьба за власть Советов в Сибири. Сб. «За власть Советов», Новосибгиз, 1947 и др.

[51]) А. Худяков. Гражданская война на Алтае. Барнаул, 1952.

[52]) Н. Яковлев. Указ. соч.

Типичной для того периода является и статья Ф. Сухого[53]). Общая схема, выдвинутая автором, не вызывает принципиальных возражений, но она автором не доказывается, а иллюстрируется отдельными примерами. И так как он берет только факты, свидетельствующие об удачах и успехах коммунистов, вся картина партизанского движения в Сибири, явления далеко не однородного, выглядит упрощенно, а колоссальная работа большевиков, вопреки воле автора, смазывается, потому что не показаны исключительно сложные условия, в которых они работали.

Указанные недостатки в той или иной степени присущи всем работам данного периода. Необходимо отметить также, что многие историки не пытались сколь-либо значительно расширить источниковедческую базу. «Весьма своеобразно развивалась с начала 30-х годов источниковедческая база по истории гражданской войны,— пишут С. Ф. Найда и П. В. Наумов. Казалось бы, что по мере изучения истории гражданской войны наука должна была накапливать все большее количество фактов... Однако в научный оборот не только не вводились новые документы и факты, а замалчивались даже многие из тех, которые были широко распространены в исторической литературе»[54]).

В этом наблюдении есть известное преувеличение (не надо, например, забывать о неопубликованных диссертациях, ценность многих из них определяется как раз введением в научный оборот значительного нового фактического материала, в том числе архивных документов), но в основе оно верно, так как в публиковавшейся тогда литературе новых сведений и фактов по ряду проблем гражданской войны, в том числе и по истории большевистского подполья в Сибири, появлялось немного.

Наконец, типичной, так сказать, чертой советской историографии большевистского подполья в Сибири (как, впрочем, и всей советской историографии гражданской войны и интервенции) являлся уход историков от исследования историографических тем. Не только в статьях, но и в больших работах не делалось даже попыток критического анализа предшествующих исторических исследований. Как правило о них даже не упоминалось (исключением являются неопубликованные диссертации, в большинстве которых имелись краткие историографические обзоры).

После XX съезда КПСС советская историография гражданской войны достигла, как уже отмечалось, значительных успехов. Изданы три последних тома «Истории гражданской войны в СССР», ряд монографий и множество статей и брошюр. Только за 1956-1960 гг. вышло в свет одних книг более 500[55]). После длительного перерыва вновь появились работы историографические, в том числе о зарубежной буржуазной историографии гражданской войны и интервенции[56]).

Публикация десятков новых документальных сборников, большого количества воспоминаний значительно расширили источниковедческую базу проблемы.

Многое сделано и по дальнейшему исследованию гражданской войны в Сибири, и, в частности, истории сибирского большевистского подполья. О большевистских организациях пишут и в общих работах по истории гражданской войны в том или ином районе Сибири[57]), и в кни-

[53]) Ф. Сухой. Указ. соч.

[54]) С. Ф. Найда, П. В. Наумов. Указ. соч., стр. 184—185.

[55]) Н. Ф. Вергин. О литературе по истории гражданской войны и иностранной военной интервенции в Сибири. «История СССР», 1964, № 4, стр. 141.

[56]) Е. А. Кунина. Американская буржуазная историография о политике США в отношении Советской России в 1917—1920 гг. «Вопросы истории», 1960, № 10; сб. «Против буржуазной фальсификации истории советского общества», М. 1960 и др.

[57]) Славное сорокалетие. Красноярск, 1957; Борьба за власть Советов на Алтае: Исторический очерк. Барнаул, 1959; В. Т. Агалаков. Из истории строительства

гах по истории партизанского движения[58]). Вышло в свет ряд новых специальных исследований о большевистском подполье[59]), историко-биографических очерков о наиболее выдающихся деятелях сибирских коммунистических организаций периода революции и гражданской войны[60]). Опубликованы интересные статьи, уточняющие многие аспекты создания и деятельности Сибирского бюро ЦК РКП(б) и роли ЦК партии в организации и руководстве сибирским большевистским подпольем[61]).

Современные историки, используя ранее накопленные материалы и значительно расширив источниковедческую базу за счет широких поисков новых материалов в центральных и местных сибирских архивах, смогли более полно рассмотреть ряд таких вопросов из истории большевистского подполья Сибири, которые ранее оставались вне поля зрения исследователей: история создания большевистских организаций летом 1918 года, участие большевиков в организации забастовочного движения. Значительно шире показывается в современной исторической литературе место большевистских деревенских ячеек в подготовке крестьянских восстаний осенью 1918 года, помощь ЦК партии сибирским коммунистам. Особенно большую работу провели советские историки по изучению такой проблемы, как большевики и партизанское движение в Сибири. Хотя, к сожалению, и в наши дни иногда появляются совершенно несостоятельные «исследования» типа книги А. Г. Липкиной[62]), в целом общий научно-теоретический уровень работ по истории большевистского подполья в Сибири вырос по сравнению с предшествующими периодами. Заметным явлением стало стремление историков к созданию обобщающих монографических исследований.

Советской власти в Восточной Сибири (1919—1921 гг.), Иркутск, 1958; Боевые годы. Сб. статей и воспоминаний. Новосибирск, 1959; Д. К. Шелестов. Борьба за власть Советов на Алтае. Изд. МГУ, 1959; В. А. Кадейкин. Годы огневые. Кемерово, 1959; М. Д. Гудошников. Очерки из истории гражданской войны в Сибири. Иркутск, 1959 и др.

[58]) В. Мирзоев. Партизанское движение в Западной Сибири. Кемерово, 1957; Г. А. Васильев. Коммунистическая партия — организатор и руководитель партизанского движения в Восточной Сибири в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. Красноярск, 1957.

[59]) В. А. Овсянкин. Большевистское подполье в тылу Колчака. «Ученые записки Ленинградского университета», 1959, т. 258; А. Г. Солодянкин. Коммунисты Иркутска в борьбе с колчаковщиной. Иркутск, 1960; М. В. Наумов. Омские большевики в авангарде борьбы против белогвардейцев и интервентов, Омск, 1960; М. И. Стишов. Большевистское подполье и партизанское движение в Сибири. М. 1962; М. Н. Журавлев, Г. Н. Юдахин. Большевики Новочиколаевска в период военной интервенции и гражданской войны, Новосибирск, 1963; В. А. Кадейкин. К вопросу о переходе большевистских организаций Восточной Сибири на нелегальное положение летом 1918 года. В кн. «Коммунисты Восточной Сибири в борьбе за победу Советской власти и построение коммунизма». Иркутск, 1965 и многие др.

[60]) Они боролись за власть Советов. Новосибирск, 1957; Борцы за власть Советов. Томск, 1959.

[61]) А. Я. Казаков. О времени создания и месте деятельности Сибирского бюро ЦК РКП(б). «Вопросы истории КПСС», 1960, № 1; Л. М. Спирин. О деятельности Сибирского Бюро ЦК РКП(б) в годы гражданской войны. «Вопросы истории КПСС», 1961, № 2; И. Ф. Плотников. К вопросу о партийных центрах по руководству большевистским подпольем на Урале и в Сибири в годы гражданской войны. Сб. статей «Из истории уральских партийных организаций», Свердловск, 1964 и др.

[62]) А. Г. Липкина. 1919 год в Сибири. Воениздат, 1962. Выход в свет этой книги вызвал почти всеобщее удивление историков, так как она поражает извращением общеизвестных фактов и событий, и поверхностным освещением важнейших вопросов гражданской войны в Сибири. См. В. С. Познанский. Несерьезное отношение к серьезной теме. «Известия Сибирского отделения Академии наук СССР», 1963, вып. 3; В. Т. Агалаков. Еще раз о книге А. Г. Липкиной. «История СССР», 1963, № 3; М. И. Стишов. Рецензия на книгу А. Г. Липкиной «1919 год в Сибири». «Вопросы истории», 1963, № 4 и др.

Но нерешенных или не до конца решенных вопросов из истории большевистского подполья еще много. В. А. Кадейкин справедливо отмечает, что далеко не все сделано в освещении проблемы: большевики и рабочее движение в Сибири в годы гражданской войны[63]). Н. Ф. Варгин подчеркивает, что даже многие вопросы тактики большевистских подпольных организаций до сих пор остаются нераскрытыми[64]).

Серьезным недостатком современной исторической литературы о гражданской войне в Сибири вообще и о сибирском большевистском подполье, в частности, является и то, что в ней не изжиты до конца некоторые «пережитки прошлого». Элементы догматизма и схематизма, отсутствие должного анализа источников, фактографичность имеют место даже в наиболее крупных исследованиях. Так, справедливо указывал на недостаток анализа и выводов в книге М. А. Гудошникова «Очерки по истории гражданской войны в Сибири» (Иркутск, 1959) Н. Ф. Варгин[65]). В немалой степени указанные выше недостатки присущи и монографии М. И. Стишова «Большевистское подполье и партизанское движение в Сибири», которая явилась первой попыткой обобщить историю большевистских организаций Сибири в связи с их деятельностью по руководству партизанским движением.

Об этой работе говорится во всех историографических статьях и обзорах, ей посвящались специальные рецензии. Историки оценивают ее высоко, как в целом удачную попытку дать обобщающую картину основных процессов гражданской войны в Сибири, главное внимание уделяя перечислению достоинств книги, вскользь делая некоторые частные замечания критического характера. Причем, в опубликованных отзывах критические замечания идут, как правило, в плане указания на то, какие вопросы М. И. Стишов упустил, по существу же сделанных автором выводов почти никто не высказывался. Анализ же ошибок автора, данный участниками обсуждения его монографии в ВНО[66]), не стал, достоянием широкой гласности.

Между тем есть настоятельная необходимость говорить о недостатках и ошибках этой книги, потому что они, во-первых, серьезно снижают ее научную ценность и, во-вторых, в какой-то степени являются типичными и для многих других работ по истории гражданской войны в Сибири.

В книге М. И. Стишова много неточностей, фактических ошибок, явных преувеличений. Дело доходит до того, что одни и те же люди, известные в период гражданской войны под различными фамилиями, у него иногда выступают как совершенно разные личности. Так, один и тот же командир партизанского отряда И. Гончаров-Толкунов один раз выступает как рабочий-коммунист Гончаров (стр. 142), другой — как солдат Толкунов (стр. 234). По тексту чувствуется, что автор так и не понял, что об одном человеке говорит как о разных людях. И это не единичный пример. Отказ от попытки раскрыть подпольные клички многих ведущих коммунистов приводит автора к тому, что даже в вопрос о составе Сибирского Областного Комитета партии, выбранного на II подпольной конференции, он не вносит ясности.

---

[63]) В. А. Кадейкин. Большевистское подполье и рабочее движение в тылу сибирской контрреволюции (1918—1920 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора истор. наук, Кемерово, 1966, стр. 12—13.

[64]) Н. Ф. Варгин. Указ. соч. «Вопросы истории КПСС», 1965, № 9, стр. 119.

[65]) Н. Ф. Варгин. Указ. соч. «История СССР», 1964, № 4.

[66]) См. «Стенограмма обсуждения книги М. И. Стишова «Большевистское подполье и партизанское движение в Сибири» в военно-научном обществе при Центральном музее Советской Армии». Москва, 1963 г.

Некритическое отношение к источникам и литературе привело М. И. Стишова и к другим, более существенным по своим результатам, ошибкам. Так, на стр. 234 он приводит весьма далекие от истины сведения о численном составе партизанских отрядов, действовавших на территории Томской губернии. По всем источникам в отряде П. К. Лубкова в момент наивысших его успехов было около 300—500 бойцов, отряд П. К. Голикова, к тому же действовавший очень недолго, насчитывал 80-100 человек. М. И. Стишов же, доверясь неверным сведениям П. Ф. Лапшина, доводит численность отряда Лубкова до 5 тысяч человек, П. К. Голикова — до 1000 человек, численность отряда Матузова преувеличивает в 10-15 раз! Автор создает, таким образом, картину может быть и внушительную, но, мягко говоря, несколько отличающуюся от истинного положения.

Причем, характер всей книги не дает оснований обвинять автора в сознательном стремлении исказить правду. Нет. Просто источники очень разные, очень противоречивые (особенно воспоминания), они требуют серьезных сопоставлений, проверки, а автор далеко не всегда проявлял критическое отношение к источнику.

К сожалению и в ряде других работ за внешней наукообразностью (каждый факт приводится со ссылкой на источник, тысячи ссылок на архивы) скрывается еще не до конца преодоленная болезнь — стремление подобрать нужные для автора факты для иллюстрации авторской схемы.

Пример абсолютно несерьезного отношения к фактам дает книга Н. С. Мутовкина[67]), в которой почти все сведения о большевистском подполье и партизанском движении в Сибири не могут не вызывать удивления, Мы уже не говорим, о неточностях, связанных с географическими названиями[68]). В этой работе можно встретить и такую вещь, как «воскрешение» погибших людей. Так, на стр. 277 А. Нейбут оказывается в качестве посланца ЦК на Дальнем Востоке после того, как он был расстрелян колчаковцами. Н. С. Мутовкин, без всякой ссылки на источник, заявляет о том, что в марте 1919 года в Мариинском уезде действовал отряд Толкунова, насчитывающий свыше 2 тысяч человек (стр. 269), тогда как хорошо известно по документам и литературе[69]), что отряд Толкунова-Гончарова возник в апреле и не в Мариинском, а Томском уезде и насчитывал в своих рядах в это время 250-350 бойцов.

Со ссылками на архив (но без указания характера документа), автор монографии приводит данные, которые могли стать открытием, если бы подтверждались фактами. Мы имеем в виду те страницы книги Н. С. Мутовкина, на которых он вводит в действие крупные американские и японские военные силы на Алтае[70]). К такого рода сообщениям надо относиться с особой ответственностью. В большой литературе о гражданской войне на Алтае, в многочисленных воспоминаниях до Мутовкина (и он это должен знать) никогда не писалось об участии японских и американских войск в боях с алтайскими партизанами (там были польские, чешские и некоторые другие интервенционистские части), и это обязывало автора хотя бы кратко объяснить характер источника, из

---

[67]) Н. С. Мутовкин. Военно-политический союз рабочего класса и трудового крестьянства в СССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920 гг.). Изд. Московского университета, 1965.

[68]) Напр. стр. Иланская в книге называется Еланская (стр. 265), Ишимский уезд назван Шимским (стр. 266).

[69]) См. Сб. док. «Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917—1919)». Томск, 1957, стр. 437, 438; .сб. «Боевые годы», Новосибирск, 1959, стр. 202—208; Сб. восп. «В огне революционных битв». Зап.-Сиб. изд., 1964, стр. 215.

[70]) Н. С. Мутовкин. Указ. соч., стр. 273.

которого он почерпнул приводимые факты, а не ошарашивать читателя такого рода «открытиями». Список неточных, ошибочных и непроверенных сведений, имеющих место в данной работе, можно продолжать до бесконечности.

Некритический подход к источникам приводит не только к искажению фактической стороны дела, но и к путаным или ошибочным выводам по ряду принципиальных вопросов, в том числе и по вопросу о существе решений I и II сибирских подпольных конференций большевиков. Некоторые историки вообще обходят спорные вопросы, связанные с данными конференциями[71]), другие приписывают участникам конференций ошибки, которых те не совершали.

Н. С. Мутовкин совершенно безапелляционно, не приводя никаких доказательств, заявляет, что после II сибирской конференции «коммунисты-подпольщики взяли курс на организацию местных городских восстаний рабочих и отдельных распропагандированных частей колчаковских гарнизонов. Этим по существу сбрасывалось со счетов сибирское крестьянство...»[72]). М. И. Стишов обвиняет участников первых конференций в «забвении ленинского учения о союзе рабочего класса и крестьянства»[73]). У многих историков наблюдается явное противопоставление решений 1-й и 2-й конференций по тактическим вопросам.

М. И. Стишов, говоря о первой конференции, отмечает, что ее решения страдали абстрактностью, из них неясно, в какие сроки будет осуществлено восстание, что конференция не сформулировала достаточно четко вопрос об укреплении союза рабочего класса и крестьянства[74]).

Насчет «абстрактности» решений говорить трудно, не имея самих решений (они до нас дошли в кратком изложении К. Молотова). Нам кажется, что у нас нет оснований и для того, чтобы упрекать участников конференции за то, что они не говорили подробно о необходимости союза рабочего класса с крестьянством. Ведь после Октябрьской революции для большевиков этот вопрос был аксиомой, и в резолюции прямо говорилось о совместной борьбе рабочего класса и крестьянства с контрреволюцией[75]).

Вряд ли есть смысл видеть недостаток решений конференции в том, что она не указала точного срока сибирского восстания. Ведь совершенно очевидно, что в условиях, когда борьба с контрреволюцией только намечалась, большевики не могли определить сроков и конкретного плана восстания. Сроки определялись не желанием большевиков, а обстановкой в тылу и на Восточном фронте, объективной готовностью широких трудящихся масс к восстанию. В августе же 1918 года задача состояла в том, чтобы начать собирать и организовывать силы для предстоящих боев, о чем и шла речь в решениях конференции. Ведь не случайно в тезисах о текущем моменте определяются три этапа борьбы: «Первый этап — накопление и организация сил рабочего класса во главе с партией коммунистов, второй — организация широких масс для борьбы с реакцией и третий этап — вооруженная борьба...»[76]). Кстати, определение задач по этапам не свидетельствует о непонимании большевиками роли и места рабочего класса и крестьянства в борьбе с контрреволюцией. Организацию сил начинать с организации рабочих,

[71]) М. В. Наумов. Омские большевики в авангарде борьбы против белогвардейцев и интервентов. Омск, 1960; А. Г. Липкина. Указ. соч.

[72]) Н. С. Мутовкин. Указ. соч., стр. 267.

[73]) М. И. Стишов. Указ. соч., стр. 120—121.

[74]) Там же, стр. 50—51.

[75]) Партизанское движение в Западной Сибири (1918—1920 гг.). Документы и материалы. Новосибирск, 1959, стр. 49.

[76]) Там же, стр. 48.

а организация широких масс трудящихся — второй этап,— это тактика, свидетельствующая о понимании реального соотношения сил и места различных слоев трудящихся в таком сложном процессе, как борьба за социалистическую революцию, за власть Советов[77]).

У нас нет возможности в данной статье останавливаться на всех противоречиях и ошибках в оценке тактических решений первых сибирских подпольных конференций большевиков. Скажем только, что внимательное . непредвзятое прочтение всех имеющихся материалов о конференциях (их, к сожалению, немного) и знание конкретного хода событий гражданской войны в Сибири в 1918 году снимают многие из тех упреков, которые бросают в адрес большевистского подполья некоторые советские историки.

В последнее время появляются работы, авторы которых стремятся всесторонне проанализировать тактику сибирских коммунистов и приходят, как нам кажется, к более глубоким и верным выводам в ее оценке. Так, нам представляется верным вывод В. А. Кадейкина о том, что «решения второй конференции по вопросу о местных и стихийных восстаниях были не отходом от линии, взятой первой конференцией, а ответом на совершенно новые вопросы, возникшие глубокой осенью 1918 г. в ходе успешных операций Красной Армии на Восточном фронте[78]). Заслуживают внимания многие выводы об отношении коммунистов к вооруженным восстаниям, о характере рабочих и крестьянских восстаний 1918—1919 гг., изложенные в работах И. Ф. Плотникова[79]).

Даже из немногих приведенных нами примеров явствует, что хотя советская историография большевистского подполья в Сибири достигла больших результатов, работы в этом направлении предстоит немало. Всестороннего осмысления и обобщения история борьбы и работы большевиков Сибири в белогвардейском тылу еще не получила.

б) Советская историография о сибирском крестьянстве в годы гражданской войны и интервенции

Для России, в которой до революции мелкобуржуазные слои населения преобладали, союз рабочего класса с крестьянством в судьбах пролетарской революции играл решающую роль. Тем большее значение приобретал вопрос о позициях крестьянства, об отношении его к Советской власти в таком районе страны, как Сибирь, где крестьянство составляло почти 90% населения.

Уже по одной этой причине историки должны были уделять первостепенное внимание вопросам поведения сибирского крестьянства в годы гражданской войны, когда союз рабочего класса и крестьянства

[77]) Нам кажется, что если и была в чем-то ошибочна резолюция по текущему моменту, так это в недооценке сил контрреволюции. В резолюции прямо говорилось о «крайней слабости контрреволюции». В ней не учитывалась огромная помощь внутренней контрреволюции со стороны иностранных империалистов, общее тяжелое положение Советской республики летом 1918 года в связи с развернувшейся интервенцией. Недооценка сил контрреволюции и привела участников конференции, как верно замечает М. И. Стишов, к ошибочной мысли о возможности разгрома сибирской контрреволюции только внутренними силами, без помощи Красной Армии. О том, что некоторые участники конференции, исходя из недооценки сил контрреволюции, верили в очень скорую победу над ней, говорят следующие строки из книги К. Молотова: «Будущее обмануло светлые ожидания. Борьба не привела так скоро к победе, как этого хотелось». (К. Молотов. Указ. соч., стр. 19).

[78]) В. А Кадейкин. Указ. автореферат докт. дисс., стр. 30.

[79]) И. Ф. Плотников. К вопросу о характере вооруженных восстаний в колчаковском тылу (1918—1920 гг.). «Известия Сибирского отделения Академии Наук СССР», серия общественных наук, 1966, выпуск 1. Его же. Большевистское подполье в Сибири в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920 г.г.) Свердловск, 1966 и др.

проходил суровое испытание на прочность. Но на практике долгое время проблема участия сибирского крестьянства в гражданской войне, особенно вопрос о крестьянских восстаниях в Сибири осенью 1918 года, не стоял в центре внимания наших историков.

В небольшой литературе 20-х годов о крестьянских восстаниях 1918 года имели распространение самые различные суждения.

Эсеры всячески замалчивали сам факт вооруженных выступлений крестьян против контрреволюционного режима до Колчака. Наиболее отчетливое выражение эсеровская концепция крестьянских выступлений в годы гражданской войны в Сибири получила в работах Е. Е. Колосова[80]).

Одну из первых попыток разобраться в сущности и характере крестьянских восстаний в Сибири на первом этапе гражданской войны предпринял П. Парфенов. В статье «Сибирские эсеры и расстрел славгородских крестьян в августе 1918 года»[81]) П. Парфенов разоблачил антикрестьянскую политику эсеров и Временного Сибирского правительства. Уже одно то, что он заговорил об одном из крупных крестьянских восстаний доколчаковского периода, имело немаловажное значение.

Но в характере славгородского восстания он не сумел разобраться, изобразив его как стихийный бунт против местных эсеро-белогвардейских властей и карательных отрядов. По вопросу об отношении сибирских крестьян к Омскому правительству П. Парфенов, сам того не желая, солидаризировался с эсером Е. Е. Колосовым. Вот почему статья Парфенова и его работа «Гражданская война в Сибири», где он повторял свои ошибочные выводы о природе крестьянских восстаний осенью 1918 года, вызвали резкую критику со стороны одного из участников славгородского восстания Т. Чуева, опубликовавшего в «Сибирских огнях» в 1925 году свои воспоминания об этом восстании. В конце 20-х годов были опубликованы воспоминания Н. Обухова о Минусинском восстании и В. Цыкунова о восстании крестьян в Змеиногорском уезде Алтайской губернии[82]).

Названными работами собственно и исчерпывалась в те годы специальная литература о крестьянских выступлениях против контрреволюции летом и осенью 1918 года. В общих работах по истории гражданской войны они чаще всего даже не упоминались, не придавалось им должного значения и в исследованиях о партизанском движении, хотя совершенно очевидно, что возникновение, характер, размах партизанского движения в Сибири нельзя понять и по-настоящему правильно оценить, не изучив предшествующего этапа борьбы крестьян против белогвардейского режима.

В 20-е годы о партизанском движении, о роли крестьянства в нем, писали довольно много. Но в советскую литературу, посвященную данной проблеме, нередко проникали чуждые марксизму положения, вульгарно-упрощенческие взгляды и представления. Научно-объективная, марксистско-ленинская концепция партизанского движения утверждалась в борьбе с эсеро-меньшевистскими и троцкистскими выводами и оценками.

---

[80]) Е. Колосов. Крестьянское движение при Колчаке. «Былое», 1922, № 20; Его же. Сибирь при Колчаке. Пг., 1923.

[81]) П. Парфенов (Петр Алтайский). Сибирские эсеры и расстрел славгородских крестьян в августе 1918 года. «Пролетарская революция», 1922, № 7.

[82]) Н. Обухов. Восстание минусинских крестьян в 1918 году. «Сибирские огни», 1929, № 6; В. Цикунов. В огне (воспоминания). «Сибирские огни», 1929, № 8—10.

Меньшевистско-троцкистские взгляды на место и роль крестьянства в революции, на политический характер партизанского движения проводились в работах В. Эльцина[83]). При определении причин и характера партизанского движения в Сибири у Эльцина совершенно выпадала политическая сторона этого явления, причину массового сопротивления крестьянства белогвардейскому режиму он видел только «в противоречиях экономического свойства», в «несоответствии между состоянием сельскохозяйственного рынка и потребности крестьянского хозяйства»[84]).

Эльцин пытается для каждой губернии найти свои специфические экономические причины партизанского движения. Размах партизанского движения у него зависит от степени развития рынка в том или ином уезде. Он утверждал, что в Томской губернии для партизанского движения социальная база была особенно узкой, так как здесь, по Эльцину, существовали низкие наделы земли и высокие налоги на бедноту. Это приводило к тому, что будто бы здесь в партизанском движении участие принимала только крестьянская беднота, своей борьбой с кулачеством «оттолкнувшая от себя середняка». То, что в Томской губернии в развертывании партизанского движения огромную роль сыграли рабочие, Эльцин не берет во внимание.

У Эльцина вообще взгляд на отношения рабочих и крестьян в рассматриваемый период мало чем отличается от эсеро-меньшевистской постановки вопроса: «Город и деревня представляли два лагеря», «Разрыв между городом и деревней отразился и на партизанском движении в том направлении, что крестьянство не искало уже помощи от города и таким образом замыкалось в свою собственную оболочку»[85]). В оценке характера партизанского движения Эльцин делал шаг назад даже по сравнению с эсером Колосовым. Если Е. Колосов снизошел до признания того, что часть партизанских отрядов была создана большевиками и в ряде районов Сибири партизанское движение проходило под большевистским влиянием, то Эльцин рисует это движение как сплошную стихию мятежей крестьян, взбунтовавшихся из-за сужения рынка сбыта хлеба. «Отсутствие политического руководства города,— утверждал Эльцин, — было... главной особенностью сибирского партизанского движения. Отсюда беспартийное по своему существу (в смысле руководства) движение, неоформленность лозунгов, отсутствие строгой и определенной программы в период борьбы, случайность в подборе вождей и значительная роль последних, похожих скорее на «атаманов», чем на политических вождей восставшего крестьянства»[86]).

И. М. Стишов, может быть и не очень «академично», но по существу абсолютно правильно пишет, что в статьях В. Эльцина «что ни слово, то клевета и ложь»[87]).

---

[83]) В. Эльцин. Пятая армия и сибирские партизаны. Сб. «Борьба за Урал и Сибирь», М.—Л., 1926; его же. Крестьянское движение в Сибири в период Колчака. «Пролетарская революция», 1926, № 2, № 3.

[84]) В. Эльцин. Указ. соч. «Пролетарская революция», 1926, № 2, стр. 5.

[85]) Там же, стр. 79, 80.

[86]) Борьба за Урал и Сибирь, стр. 268.

[87]) М. И. Стишов. Указ. соч., стр. 370. Мы не стали бы уделять столь большое внимание статьям Эльцина, неоднократно подвергавшихся резкой критике в ряде работ советских историков, если бы не встретили какое-то объективистское отношение к его выводам в монографии И. Л. Шермана. В статьях Эльцина и социальный состав партизанских отрядов, и их политическое лицо освещаются с антимарксистских позиций. А Шерман И. Л. во всем этом видит только «определенное упрощение и игнорирование политических, организаторских и других факторов, несомненно сказавшихся на размахе и характере партизанской борьбы в различных районах Сибири» (Указ. монография, стр. 103). Троцкистские же позиции Эльцина И. Л. Шерман видит только в той части его работ, где он переходит к конкретному освещению хода партизанской борьбы в отдельных районах Сибири и начисто отрицает роль большевиков и рабочих в партизанском движении.

Меньшевистско-троцкистское, какое-то барское отношение к партизанскому движению нашло яркое проявление в статье И. Н. Смирнова[88]). И. Н. Смирнов принижал значение партизанского движения в освобождении Сибири и видел в нем тоже чисто стихийное выступление крестьян, без всякой организующей роли пролетариата и партии[89]).

Подобные точки зрения на партизанское движение начали разоблачаться и опровергаться уже в середине 20-х годов. А. Ширямов в 1926 году решительно выступил против попыток принизить роль коммунистов в партизанском движении, против изображения партизанского движения аморфным и аполитичным. «...Это была борьба,—писал он,—организованная с первого выстрела коммунистической партией и ею и ее членами, ее работниками руководимая на всем протяжении Сибири... Крестьянские массы Сибири шли в бой с белой диктатурой не только под лозунгами рабочего класса (за Советы), но и под руководством его партии; союз рабочего и крестьянина был единым для России и Сибири, как едины были задачи революции, как едины были причины, давшие в конечном счете победу Советской власти и поражение Колчаку»[90]).

В приведенных словах есть определенное преувеличение (все партизанское движение не было «с первого выстрела» организовано большевиками, некоторые отряды возникали стихийно и понадобилось время и силы, чтобы придать им организованный характер), но вывод автора о том, что партизанское движение явилось формой выражения союза пролетариата с крестьянством, что в целом оно шло под лозунгом борьбы за власть Советов, что огромную роль в его организации сыграли большевики, совершенно справедлив. Этот вывод убедительно иллюстрировался появившимися воспоминаниями некоторых командиров отрядов и активных участников партизанского движения[91]).

Попытался разобраться в причинах партизанского движения, в его движущих силах В. В. Максаков[92]). Он верно подметил, что в организации партизанских отрядов в Приенисейском крае ведущую роль играли рабочие-железнодорожники и крестьяне-новоселы, в экономическом отношении находившиеся в гораздо худшем положении, чем крестьяне-старожилы. По мнению автора, крестьяне-старожилы встают на путь вооруженной борьбы с белогвардейцами главным образом под влиянием массовых репрессий и поборов. Там, где было много переселенцев-новоселов, партизанское движение начиналось раньше и становилось наиболее сильным.

В этих рассуждениях есть рациональное зерно, так как среди новоселов беднота преобладала, но автор допускал серьезную ошибку, сводя расстановку классовых сил в деревне к делению крестьян только на старожилов и новоселов. К тому же В. В. Максаков недооценивал, а порой игнорировал роль такого политического фактора, как работа большевиков по организации партизанского движения.

---

[88]) И. Смирнов. Борьба за Сибирь. Сб. «Борьба за Урал и Сибирь», М.—Л., 1926.

[89]) И. Л. Шерман эту статью не анализирует и неизвестно на каком основании относит ее наряду с работами Тухачевского и Путны к тем, которые имели «особенно большое значение». (Указ. монография, стр. 114).

[90]) Последние дни колчаковщины, М.—Л., 1926, стр. 19.

[91]) В. Г. Яковенко. Записки партизан. М.—Л., 1925; П. Е. Шетинкин. Борьба с колчаковщиной. Очерк борьбы на Минусинском фронте. Новосибирск, 1923; Сборник работ военно-исторической секции Томского университета и мединститута. Томск, 1931; А. Геласимова. Партизаны Томской губернии. «Борьба классов», 1933, № 7 и др.

[92]) См. предисловие к сборнику «Партизанское движение в Сибири», М.—Л., 1925.

Подводя общий итог, приходится признать, что в 20-е — начале 30-х годов в изучении истории партизанского движения делались лишь первые шаги. Научный, исследовательский подход к проблеме только начинался, литература тех лет по преимуществу носила описательный характер, в ней преобладали воспоминания об отдельных отрядах и событиях.

Но интерес к принципиальным вопросам проблемы: характер колебаний сибирского крестьянства в годы гражданской войны, расстановка классовых сил в деревне, политическое лицо партизанских отрядов и т. д., появился уже на первом этапе развития советской историографии гражданской войны. Эсеровские и меньшевистско-троцкистские концепции партизанского движения встретили отпор. Однако историки-марксисты того периода сами не смогли до конца разобраться в характере крестьянского движения в годы гражданской войны в Сибири, ряд вопросов этой проблемы решали упрощенно, сводя причины крестьянских выступлений к недовольству экономической политикой и карательными операциями белогвардейских правительств. Важнейшая проблема гражданской войны в Сибири — союз рабочего класса и крестьянства — не нашла освещения.

И последующий период не стал, с нашей точки зрения, особенно плодотворным этапом в историографии сибирского крестьянства в годы гражданской войны.

Правда, вышли в свет некоторые новые воспоминания[93]), дающие дополнительный материал о партизанском движении в различных районах Сибири, два-три сборника документов[94]).

В работах профессиональных историков, посвященных главным образом большевистскому подполью, популяризировались наиболее яркие факты из героической борьбы сибирских партизан. Ценным в них являлось то, что они показывали влияние большевистских идей и организаций на партизанское движение. Советская направленность подавляющего большинства партизанских отрядов у историков этого периода не вызывала никаких сомнений, больше стало уделяться внимания и вопросу о влиянии рабочего класса Сибири на возникновение и развитие партизанской войны в крае.

С середины 30-х до начала 50-х годов не вышло в свет ни одной работы о сибирском крестьянстве в годы гражданской войны, в 1954 году появилась первая статья о крестьянских восстаниях начального периода гражданской войны в Сибири[95]).

В общих же работах и статьях процессы, характерные для сибирской деревни лета — осени 1918 года, не изучались. Достаточно сказать, что в обширном введении к сборнику «За власть Советов», написанном И. Г. Зобачевым, нет ни слова о характере крестьянских восстаний 1918 года в Сибири. В книге Вл. Молотова[96]) упоминаются только некоторые из них. В статье Ф. Сухого правильно подчеркивается, что «к моменту колчаковского переворота... рабочие и крестьянские восстания пылали во многих местах Сибири»[97]), что поворот сибирского крестьянства к военно-политическому союзу с пролетариатом начался

---

[93]) Сб. «За власть Советов», Новосибирск, 1947.

[94]) Повстанческое движение на Алтае. Новосибирск, 1935; Партизанское движение в Западной Сибири, Новосибирск, 1936.

[95]) Д. К. Шелестов. Из истории крестьянских восстаний в Западной Сибири осенью 1918 г. «Вестник Моск. ун-та», 1954, № 1.

[96]) В. Молотов. Большевики Сибири в период гражданской войны. Омск, 1949.

[97]) Ф. Сухой. Большевики и партизанское движение в Западной Сибири. «Военно-исторический журнал», 1940, № 3, стр. 61.

осенью 1918 года[98]), но на анализе восстаний автор не останавливается, упоминая мимоходом их. Н. Яковлев дал тоже лишь самые общие характеристики некоторым осенним восстаниям[99]), квалифицировав их к тому же как чисто стихийные вспышки протеста.

В книге А. Худякова[100]), название которой обязывало автора уделить должное внимание политическим настроениям и поведению трудового крестьянства на Алтае летом и осенью 1918 года, буквально в нескольких словах говорится о Славгородском восстании, да и то только в связи с жестокостями, проявленными карателями в подавлении его.

Не изучался вопрос о социально-экономическом положении сибирского крестьянства, о его дифференциации, поэтому из книжки в книжку переходило ничем не аргументированное утверждение о подавляющем преобладании середняка в сибирской деревне. Появилась весьма несложная схема истории возникновения партизанского движения: середняк склонен к колебаниям, его в Сибири большинство (причем, никто никогда не сказал — сколько), он отошел от Советской власти — Советская власть пала; он из-за репрессий контрреволюционных властей повернул в сторону Советской власти,— пала колчаковщина.

При этом все оперировали известными словами В. И. Ленина о «сытом» сибирском крестьянине. В. И. Ленин давал эту оценку в сравнении с крестьянами внутренних губерний России, т. е. оценка «сытый» была относительной. Но историки не пытались раскрыть истинное положение сибирского крестьянства и, говоря о колебаниях его, в качестве почти единственного аргумента использовали ленинское выражение о «сытом» сибирском крестьянине.

Такие вопросы, как роль большевиков в партизанском движении, место сибирских рабочих в нем, борьба с анархо-кулацким влиянием, политические лозунги партизанского движения в общем плане, ставились правильно. Сложилось довольно парадоксальное положение. С одной стороны, в исторической литературе о партизанском движении в Сибири безраздельно утвердилась ленинская схема революции и гражданской войны. Но в то же время часто проявлялся явный отход от марксистско-ленинских принципов исторических исследований. Многие историки шли не от анализа фактов и явлений к выводам, а искали факты для иллюстрирования определенной схемы. Поэтому литература о крестьянском движении в годы гражданской войны в Сибири все более приобретала иллюстративно-фактографичный характер.

После XX съезда КПСС в советской историографии сибирского крестьянства в годы гражданской войны и интервенции наступил по-настоящему новый этап.

Только в связи с 40-летием Октябрьской революции сибирскими издательствами было выпущено в свет несколько десятков сборников документов и воспоминаний. Многие документы публиковались впервые, причем не только о партизанском движении, но и о крестьянских выступлениях осенью 1918 года. Среди них особый интерес вызывают материалы о социально-экономической политике первых белогвардейских правительств в Сибири, об отношении крестьян к этим правительствам, о ходе крестьянских восстаний в сентябре-ноябре 1918 года, о роли нелегальных деревенских ячеек и рабочих в подготовке восстаний и т. д.

---

[98]) Там же, стр. 58.

[99]) Н. Яковлев. Большевистское подполье в тылу Колчака. Новосибгиз, 1941, стр. 15.

[100]) А. Худяков. Гражданская война на Алтае, Барнаул, 1952, стр. 51.

Больше всего статей и книг написано в последние годы о большевистском подполье и партизанском движении. Полнее показывается зарождение партизанских отрядов, раскрывается на конкретных материалах роль рабочего класса в партизанском движении, много места уделяется показу деятельности сибирских большевиков по организации и руководству им.

Стали выходить в свет исследования, специально посвященные раскрытию такого важного вопроса, как отношение большевиков к крестьянству, борьба большевиков за трудовое сибирское крестьянство в годы гражданской войны и интервенции[101]).

Заслуживает, на наш взгляд, внимания попытка И. Ф. Плотникова[102]) разобраться в соотношении организованности и стихийности в крестьянских восстаниях на разных этапах гражданской войны и интервенции в Сибири. Нам понятен его протест против упрощенческого подхода к такому сложному явлению, как антибелогвардейские восстания сибирских крестьян.

Безусловный интерес вызывают работы Ю. В. Журова[103]). Он обратился к теме, почти не затрагиваемой историками, а именно к анализу социального состава партизанских отрядов, к изучению социально-экономического положения крестьянства в районах партизанского движения. На большом фактическом и статистическом материале Ю. В. Журов выясняет степень дифференциации енисейского крестьянства в годы гражданской войны, рассматривает состав и деятельность Советов, созданных в партизанских районах, особенно их работу по социально-экономическим преобразованиям. С некоторыми выводами автора можно спорить[104]), но попытка автора выйти из рамок облегченных схем, дать самостоятельно действительно сложную картину положения дел в партизанских республиках, заслуживает уважения.

Самостоятельную оценку расстановки сил в сибирской деревне, поведения крестьянства в белогвардейском тылу, роли партизанского движения в освобождении Сибири попытался сделать Г. Х. Эйхе в книге «Опрокинутый тыл» (М., 1966). Как свидетельствует введение, автор собирался внести полную ясность в сложную проблему, но на наш взгляд, с этой нелегкой задачей Г. Х. Эйхе не справился, так как многие положения, выдвинутые им, не только не разъясняют историю гражданской войны в Сибири, но еще более ее запутывают. Мы не будем здесь останавливаться на искусственных, на наш взгляд, попытках определить классовую и национальную структуру «Колчакии», на авторских формулировках сущности «колчаковщины». Нам хочется обратить внимание на то, как автор рассматривает проблему сибирского крестьянства и партизанского движения.

---

[101]) См. напр. И. С. Валисевич. Борьба большевиков Сибири за крестьянство в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920 гг.). «Труды Иркутского университета...», 1958, т. 21.

[102]) И. Ф. Плотников. К вопросу о характере вооруженных восстаний в колчаковском тылу (1918—1920 гг.). «Известия Сибирского отделения АН СССР», серия общественных наук, выпуск 1, 1966.

[103]) Ю. В. Журов. Енисейское крестьянство в годы гражданской войны и военной иностранной интервенции. Автореферат кандид. дис., Иркутск, 1963; его же. Енисейское крестьянство в партизанских районах в годы гражданской войны и военной иностранной интервенции (1918—1920 гг.). «Сборник аспирантских работ (философия, история, литературоведение)», Иркутск, 1964 и др.

[104]) Например, нам кажется слишком категоричным даже и для Енисейской губернии, имевшей специфические черты в характере дифференциации в деревне, вывод автора о «едином общекрестьянском антиколчаковском фронте». Это невольно возвращает нас к некоторым высказываниям начала 20-х годов о «единении» кулака с трудовым крестьянством в борьбе против колчаковщины.

Исходной точкой его рассуждений является заявление о том, что основную массу населения Сибири составляло **зажиточное** крестьянство (стр. 10). Правда, автор не объясняет, что он понимает под зажиточностью и к какой категории относит бедноту. Г. Х. Эйхе, посвятив самостоятельный параграф первым крестьянским восстаниям в Сибири (стр. 84—96), так и не ответил на вполне законный вопрос: за что боролись восставшие крестьяне, каково их отношение к лозунгу «за власть Советов». И, наконец, в разделах о партизанском движении, за многочисленными военно-теоретическими выкладками весьма прозрачно прослеживается какое-то снисходительное отношение к партизанам. В этом разделе у автора много противоречий. То он осуждает элементы «партизанщины» (они действительно имели место), то заявляет, что главное преимущество партизан как раз и состоит «в беспорядочности ведения военных действий» (стр. 303) и высмеивает тех командиров, которые стремились вести дело «на манер большой войны».

В книге Г. Х. Эйхе есть положения, заслуживающие внимания, в частности, о том, что нельзя представлять себе повстанческое и партизанское движение в Сибири как нечто монолитное по классовому составу и единое по социально-экономическим и политическим устремлениям и целям всех его участников» (стр. 305).

Но к сожалению автор, развертывая этот тезис, сосредоточил внимание на трудностях и ошибках в партизанском движении, что привело его к созданию искаженной картины.

Значительное внимание стали уделять историки и поведению сибирского крестьянства в первые месяцы гражданской войны и интервенции, т. е. до массового партизанского движения. По этому вопросу появились первые специальные работы[105]), рассматривается он в той или иной степени и в любом выходящем в наши дни исследовании о партизанском движении.

Однако в освещении именно этого вопроса сильнее всего, на наш взгляд, проявляются те недостатки, которые имели место в литературе предшествующего периода и до донца не преодолены по сей день. Мы имеем в виду недостаточно глубокое изучение источников, приверженность к раз появившимся оценкам, отказ от сравнительного анализа разных видов источников. Только этим и можно объяснить то обстоятельство, что даже такой вопрос, как время складывания союза рабочего класса с крестьянством является в советской историографии гражданской войны в Сибири спорным. Не решен до донца вопрос и о характере восстаний сибирских крестьян осенью 1918 года.

До сих пор совершенно по-разному оценивается характер крестьянских восстаний. В. А. Кадейкин, несколько преувеличивает организованное начало в Чумайском восстании[106]). М. И. Стишов, напротив, явно недооценивает роль большевиков и деревенских подпольных ячеек в подготовке крестьянских восстаний осенью 1918 года. По Стишову большевикам не удалось ввести стихийное движение крестьян в «русло организованной борьбы за восстановление власти Советов». «Разбушевавшаяся стихия не поддавалась пока какому-либо организованному воздействию[107]).

[105]) М. И. Стишов. О некоторых особенностях образования военно-политического союза рабочего класса и крестьянства в условиях Сибири и его роли в разгроме колчаковщины. В кн. «Из истории Великой Октябрьской социалистической революции», изд. МГУ, 1957; Д. К. Шелестов. О начале поворота Сибирского трудового крестьянства на сторону Советской власти. «История СССР», 1962, № 1.

[106]) См. В. А. Кадейкин. Годы огневые. Кемерово, 1959, стр. 27—42.

[107]) М. И. Стишов. Большевистское подполье и партизанское движение в Сибири. М., 1962, стр. 90.

На наш взгляд, справедливыми являются замечания И. Ф. Плотникова о том, что попытка М. И. Стишова провести какой-то водораздел между первым и вторым этапами крестьянского движения в Сибири в годы гражданской войны, несостоятельна[108]).

Нам кажется, что наиболее правильно подходит к оценке этих восстаний Д. К. Шелестов[109]), который, анализируя конкретные исторические факты, приходит к следующему выводу: элемент стихийности в осенних крестьянских восстаниях имел место, он проявлялся особенно в ходе восстаний. Но восстания, как правило, готовились заранее, проходили под лозунгом восстановления власти Советов при участии и влиянии рабочих-большевиков, и изображать их «разбушевавшейся стихией» нет оснований.

Недостаточное изучение источников, слабое представление о конкретном положении дел в сибирской деревне летом 1918 года приводят некоторых авторов к серьезным заблуждениям и противоречиям в оценке поведения сибирского крестьянина в начальный период контрреволюции и интервенции в Сибири. Некоторые историки преувеличивают влияние эсеров на сибирское крестьянство летом 1918 года. Так, М. И. Стишов утверждает, что в то время эсерам «удалось повести за собой большинство сибирского крестьянства», что, более того, крестьянство «резко колебнулось в сторону буржуазии»[110]). Положение о том, что эсерам удалось повести за собой большинство сибирских крестьян, переходит из книги в книгу, и ни одним автором не доказывается фактами. Не доказывает это и М. И. Стишов, так как из работы не видно, в чем проявился переход крестьян на сторону эсеров. Более того, обращение к событиям, связанным с чехо-белогвардейским мятежом, вынуждает Стишова делать выводы, противоречащие его собственной концепции: автор в другом месте своей монографии пишет, что «крестьянство в своей массе» не примкнуло к эсеро-кулацким и чешскому мятежам, что оно заняло выжидательную позицию[111]). Последнее положение, совершенно справедливо. Середняк, действительно, не встал на защиту советской власти, заняв позицию выжидания. Но ведь само по себе это обстоятельство еще не свидетельствует о переходе крестьян на сторону эсеров и буржуазии, а других аргументов ни М. И. Стишов, ни другие авторы, придерживающиеся вышеуказанной точки зрения, не приводят. Причем, надо еще разобраться во всех причинах пассивности крестьянина в тот период. Ведь беднота-то, стоявшая на позициях Советской власти, тоже в своей массе активно ее не защищала, потому что не сумела организоваться, а большевики и Советы ничего не успели сделать по мобилизации деревни на борьбу с контрреволюционным мятежом. Крайний недостаток партийных сил в деревне, неожиданность мятежа безусловно сказались не только на поведении деревенской бедноты, но в какой-то степени и на позиции середняка.

Первые же шаги Омского белогвардейского правительства встретили сначала глухое, пассивное недовольство, а затем и открытое сопротивление трудового сибирского крестьянства, переходившее часто в вооруженные восстания. Переход от состояния растерянности и выжидания к активной борьбе квалифицируется многими историками как отход крестьян от эсеров. А. Н. Резниченко так прямо и пишет»: «Восстания показали, что крестьянские массы Сибири быстро начали отвора-

---

[108]) См. «Известия Сиб. отд. АН СССР», серия общ. наук, выпуск 1, 1966, стр. 91.
[109]) Д. К. Шелестов. Указ. соч. «История СССР», 1962, №1.
[110]) М. И. Стишов. Указ. монография, стр. 85.
[111]) Там же, стр. 86.

чиваться от эсеров и меньшевиков и становиться на сторону большевистской партии»[112]).

В этой короткой фразе содержится, как нам кажется, сразу несколько заблуждений. Во-первых, нельзя смешивать отношение крестьян к эсерам и их отношение к Временному Сибирскому правительству, это совсем не одно и то же. Во-вторых, само отсутствие восстаний еще не говорит о том, что крестьяне шли «за эсерами и меньшевиками». Ведь рабочие восстания начались еще позднее, с декабря 1918 года, но на этом основании никто никогда не делал вывода о том, что рабочие до зимы шли за эсерами и меньшевиками[113]). И, в-третьих, ставить вопрос о переходе «крестьянских масс» (здесь подразумевается, видимо, основная часть крестьянства, в том числе и беднота) на сторону большевистской партии только осенью 1918 года, это значит отрицать наличие союза рабочего класса с трудящимся крестьянством в период Октябрьской революции.

Вообще, в нашей литературе по вопросу о переходе трудового крестьянства на сторону Советской власти и большевистской партии до сих пор существует непонятная путаница, поэтому на этом вопросе есть необходимость остановиться специально.

Начавшиеся осенью 1918 года восстания крестьян в Сибири (Тюкалинское, Славгородское, Чумайское, Змеиногорское, Минусинское и другие) свидетельствуют о том, что трудовая деревня задолго до колчаковского переворота поднимается на путь открытой борьбы с белогвардейскими режимами. Эти восстания не вовлекли в активную борьбу еще широкие массы трудящегося крестьянства, но они явились выражением настроения всего трудового крестьянства и началом той борьбы, которая с весны 1919 года принимает все более массовый характер.

Размах крестьянского движения в Сибири осенью и зимой 1918 года не нужно преувеличивать, но и игнорировать этот период в истории сложных процессов, протекавших в крестьянстве в годы гражданской войны, недопустимо. А некоторые историки проявляют явную недооценку его. Так, Л. М. Спирин утверждает, что только с весны 1919 года в Сибири стали складываться условия для создания союза рабочих и большинства крестьянства»[114]). Здесь, во-первых, неясно, что имеет в виду Спирин под «большинством крестьянства», включает ли он сюда и бедноту (ведь ее в Сибири по подсчетам многих современных историков было 40-50% от общего числа крестьян). Во-вторых, если уже говорить о **начале** поворота сибирского крестьянства периода гражданской войны в сторону рабочего класса, Советов, то оно совпадает с первыми **крестьянскими восстаниями.** А ведь по Л. М. Спирину даже и весною

---

[112]) А. Н. Резниченко. Начало гражданской войны в Сибири. Борьба большевиков против меньшевистско-эсеровской буржуазной диктатуры 1918 года. Сб. «Боевые годы», Новосибирск, 1959, стр. 68.

[113]) Некоторые товарищи при определении политических настроений трудового крестьянства Сибири почему-то снимают со счетов период «пассивного» сопротивления его Омскому правительству. Между тем обращение к донесениям управляющих уездами о политическом настроении деревни (а их тысячи хранятся в фондах ЦГАОРа, частью они опубликованы, например, в сборнике: «Борьба за власть Советов в Томской губернии», Томск; 1957 и др.), к эсеро-меньшевистской прессе и к другим источникам убеждает исследователя в том, что похвастаться благоприятным отношением к себе со стороны трудового крестьянства не могли ни «демократическое» Омское правительство, ни эсеры. Об этом же ярко свидетельствуют решения сельских сходов, которые летом 1918 года проводились специальными инструкторами-информаторами Омского правительства для того, чтобы добиться его поддержки.

[114]) Л. М. Спирин. Разгром армии Колчака. М., 1957, стр. 196.

1919 года речь идет не о самом **начале** складывания союза рабочих и крестьян, а лишь об **условиях** для его создания!

Но ведь общеизвестной истиной является тот бесспорный факт, что условия для союза рабочих и крестьян имели место в стране накануне Октябрьской революции, без них победа революции была бы невозможна. Вместо того, чтобы говорить **об условиях укрепления** пошатнувшегося в начале гражданской войны союза рабочего класса с трудовым крестьянством, Л. М. Спирин пишет **об условиях его создания.**

Кстати, такого рода неточности в постановке этого принципиальнейшего вопроса допускаются и многими другими историками. При чтении подавляющего большинства работ по истории гражданской войны в Сибири создается впечатление, что союз рабочего класса и крестьянства в Сибири стал складываться только в период гражданской войны. Даже Д. К. Шелестов, специально занимающийся этим вопросом, правильно определяя **время** начала поворота сибирского крестьянства в сторону Советской власти, не говорит о том, что этот поворот не первый, что это новый поворот после периода недолгих колебаний и пассивности.

А между тем, В. И. Ленин, когда заходила речь о поведении крестьянства, в том числе сибирского, летом и осенью 1918 года, о повороте его в сторону активной борьбы за советскую власть, всякий раз подчеркивает, что «Одно время они (крестьяне. — *М. П.*) шли вместе с пролетариатом»[115]) (период Октябрьской революции и триумфального шествия Советской власти).

Только при таком подходе к вопросу и можно как следует разобраться в характере развернувшихся летом и осенью 1918 года событий в сибирской деревне. Только такая постановка вопроса помогает правильно разобраться и в причинах крестьянских восстаний того периода. Если помнить и учитывать весь предшествующий период революции, тогда не придется сводить причины нового поворота среднего крестьянства только к карательной политике белогвардейских правительств, как это вольно или невольно делают многие историки; тогда и причины столь быстрого нового поворота и его характер будут раскрываться более всесторонне и правильно.

Противоречивые суждения историков о времени и причинах складывания союза рабочего класса и крестьянства Сибири являются следствием, во-первых, поисков чисто сибирских причин и условий при забвении факторов общероссийских и, во-вторых, недостаточно строгого отношения к собственным формулировкам и выводам.

Можно было бы говорить еще о многих недочетах, противоречиях и даже ошибках в освещении проблемы борьбы сибирского крестьянства с контрреволюцией в 1918-1919 гг., но объем работы заставляет нас ограничиться вышесказанным и присоединиться к оценке состояния изученности данной проблемы, высказанной в статье Н. Ф. Варгина: «Исход классовой борьбы был решен в конечном счете общими усилиями трудящихся, создавших военно-политический союз рабочего класса и трудового крестьянства. Это был трудный и длительный процесс, осложненный особенностями социально-экономической структуры населения, колебаниями политических настроений крестьянства и другими факторами. Но лишь в немногих трудах мы видим первые попытки научной разработки этой важнейшей проблемы»[116]).

---

[115]) В. И. Ленин. ПСС, т. 37, стр. 16. См. также т. 37, стр. 313; т. 38, стр. 192.

[116]) Н. Ф. Варгин. О литературе по истории гражданской войны и иностранной военной интервенции в Сибири. «История СССР», 1964, № 4, стр. 155.

в) Советская историография мелкобуржуазной контрреволюции в Сибири в годы гражданской войны и интервенции

О сущности колчаковской диктатуры, социально-экономической политике колчаковского правительства, о социальной базе его в советской исторической литературе давно уже нет (да фактически не было и на раннем этапе становления советской историографии) двух точек зрения[117]). Советские историки исходят из глубоких и точных оценок колчаковской диктатуры, данных В. И. Лениным еще в 1919-1920 гг.

Глубокое и почти всестороннее освещение нашел (правда, далеко не сразу!) и такой важный аспект проблемы контрреволюции, как иностранная интервенция, ее роль и место в развязывании гражданской войны, в подготовке и осуществлении колчаковского переворота и т. д.

Но история мелкобуржуазной контрреволюции в Сибири изучена далеко не достаточно. Поэтому до сих пор даются совершенно различные оценки классового и партийного состава «Временного Сибирского правительства», не решен вопрос о хронологических рамках периода мелкобуржуазной контрреволюции, существуют самые общие представления о характере эсеровской «фронды» Колчаку и т. д.

Исследование истории сибирской контрреволюции наиболее интенсивно шло в 20-е — начало 30-х годов. Тогда вопрос о роли мелкобуржуазных партий в подготовке антисоветского мятежа, о причинах краха мелкобуржуазной, так называемой «демократической» контрреволюции, о поведении эсеров в условиях колчаковской диктатуры, о целях, преследуемых «Политцентром» не были вопросами чисто научными. В условиях первого этапа нэпа проблема мелкобуржуазной стихии, «демократической» контрреволюции являлась проблемой практической политики.

Много материалов для освещения истинного поведения и роли эсеров в годы гражданской войны и интервенции дали документы процесса над правыми эсерами, состоявшегося в 1922 году[118]), публикация некоторых документов Парижского архива эсеров[119]) и др.

Представители «демократической» контрреволюции оказались весьма плодовитыми по части написания мемуаров. Керенский, Чернов, Авксентьев, Аргунов, Святицкий, Ракитников и многие другие выступали со статьями, брошюрами, книгами. И самые «левые» из правых эсеров и такие правые, которые фактически не отличались от кадетов, с одинаковым усердием старались оправдать эсеро-меньшевистскую «демократию», убедить читателя в том, что они не имеют никакого отношения к колчаковскому перевороту, что они, напротив, усиленно боролись с диктатурой Колчака и т. д.

Советские историки не могли не ответить решительным разоблачением попыток обелить историю контрреволюции. Работы А. В. Луначарского, Е. Ярославского, П. Лисовского, В. Н. Мещерякова[120]) и др. ярко и убедительно вскрывали «демократизм» эсеро-меньшевистской контрреволюции, связь мелкобуржуазных партий с самой махровой буржуаз-

[117]) Если не считать совершенно неожиданного вывода А. Г. Липкиной о том, что в Сибири при Колчаке господствовал «военно-феодальный режим» (А. Г. Липкина. 1919 год в Сибири, М., 1962, стр. 110).

[118]) Обвинительное заключение по делу ЦК и отдельных членов иных организаций партии социалистов-революционеров.. М., Госиздат, 1922.

[119]) Работа эсеров за границей. По материалам Парижского архива эсеров. М., Госиздат, 1922.

[120]) А. В. Луначарский. Бывшие люди. М., 1922; Е. Ярославский. Третья сила. Партиздат, 1932; П. Лисовский. На службе капитала. Эсеро-меньшевистская контрреволюция. «Прибой», Л., 1928; В. Н. Мещеряков. Партия социалистов-революционеров. М., 1922 и др.

но-помещичьей реакцией и интервентами, антинародную политику «правительств», создаваемых на первом этапе гражданской войны эсерами и меньшевиками.

Из спецсеминара М. Н. Покровского, который он вел в Институте Красной профессуры, вышел ряд исследований, уделявших серьезное внимание истории мелкобуржуазной контрреволюции[121]).

Тогда же появились и первые работы о мелкобуржуазной контрреволюции в Сибири. Яркую картину антинародной политики, режима бесчинств и террора, установленного Комучем, роли эсеров в подготовке антисоветского чехословацкого мятежа дал в своей книге И. М. Майский[122]). Правда, как справедливо заметил И. Л. Шерман, И. М. Майский не показал деятельности меньшевиков, а она мало чем отличалась от «работы» эсеров по насаждению «народовластия» с помощью иностранного штыка.

В 1922 году вышла в свет статья Д. Тумаркина[123]), в которой ставится вопрос о характере сибирской контрреволюции, о связях мелкобуржуазных партий с реакционной буржуазией, о причинах временного успеха контрреволюции в Сибири. Выводы Тумаркина в основном правильны, но он явно преувеличивает степень оппозиционности эсеров колчаковскому режиму, без всяких на то оснований утверждая, что тогда буржуазия «направила острие своей борьбы в первую очередь против... партии социалистов-революционеров»[124]).

Серьезный вклад в начавшуюся разработку истории сибирской контрреволюции и борьбы с нею внес в те годы В. Д. Вегман, написавший на эту тему несколько работ, активно выступавший с рецензиями на выходящие эсеровские и белогвардейские писания.

Интересна статья В. Д. Вегмана о роли эсеров в подготовке антисоветского мятежа в Сибири, в которой раскрывалась их связь с другими, в том числе и монархическими контрреволюционными организациями[125]).

В других статьях В. Д. Вегман рассматривает попытки сибирских эсеров использовать в борьбе с пролетарской революцией областнические идеи[126]). Эти работы В. Д. Вегмана и по фактическому материалу, и по многим выводам (о природе сибирского областничества, о причинах краха эсеро-областнической контрреволюции) до сих пор представляют значительный интерес.

В работе В. Владимировой[127]) шаг за шагом прослеживалась предательская деятельность сибирских эсеров, их участие в антисоветском мятеже, образование первых эсеро-областнических «правительств», их политика, внутренняя борьба в самом Омском правительстве, разгон облдумы, изгнание эсеро-областников из Временного Сибирского правительства. В наши дни некоторые выводы В. Владимировой кажутся недостаточно глубокими, но приходится признать, что пока лучшей работы об эсеровской контрреволюции в Сибири в 1917-1918 гг. никто не написал. Поэтому нас несколько удивила оценка работы В. Владимировой,

---

[121]) М. Кубанин. Махновщина. Истпарт, 1927; И. Минц. Английская интервенция и северная контрреволюция, М., 1931.

[122]) И. М. Майский. Демократическая контрреволюция. ГИЗ, 1923.

[123]) Д. Тумаркин. Контрреволюция в Сибири. «Сибирские огни», 1922, № 1.

[124]) Там же, стр. 89.

[125]) В. Вегман. Сибирские контрреволюционные организации 1918 года. «Сибирские огни», 1928, № 1.

[126]) В. Вегман. Областнические иллюзии, развеянные революцией (к истории возникновения сибирской областной думы). «Сибирские огни», 1923, № 1, 2; его же. Сибоблдума. «Сибирские огни», 1923, № 4; его же. Областнические иллюзии, возрожденные Колчаком. «Сибирские огни», 1923, № 5—6.

[127]) В. Владимирова. Год службы «социалистов» капиталистам. М.—Л., 1928.

высказанная И. Л. Шерманом. И. Л. Шерман признает, что в книге Владимировой собран «большой и убедительный материал, показывающий контрреволюционную, антинародную эсеровскую «демократию», хорошо показана зависимость эсеровской власти от иностранных интервентов[128]). А далее без серьезных на то оснований автор заявляет, что работа Владимировой «не может быть названа исследовательской, так как в основном представляет собой хронологическое изложение событий и документов без глубокого классового, политического анализа». И, наконец, И. Л. Шерман предъявляет вовсе уже странную претензию: «книга Владимировой показывает только одну сторону истории — контрреволюционный лагерь и совершенно не останавливается на главном — на борьбе трудящихся... против антинародной власти интервенции. Это является крупнейшим недостатком работы. Этот пробел находит отражение и в самом названии работы В. Владимировой»[129]). Можно осуждать Владимирову за то, что она избрала «не ту» тематику, но обвинять ее в том, что она в работе о внутренней эволюции контрреволюции не показала борьбу рабочих и крестьян против интервенции и белогвардейских властей, по меньшей мере странно. Это все равно, что ругать А. Толстого за то, что он не показал, строительство социализма в СССР в своей повести «Эмигранты».

В 20-е — начале 30-х годов публиковались по интересующей нас проблематике критические рецензии на выходящие мемуары белогвардейцев, в общих работах по истории гражданской войны в Сибири истории контрреволюции уделялось большое внимание[130]). Об эволюции сибирской контрреволюции от «демократии» к колчаковской диктатуре приведены материалы в хронике В. Максакова и А. Турунова[131]).

Значительное место уделялось вопросам истории сибирской контрреволюции и борьбе с нею в вышедших в конце 20-х — начале 30-х годов томах Сибирской Советской Энциклопедии[132]). В ССЭ были опубликованы такие статьи, как «Белогвардейские организации», «Временное сибирское правительство», «Директория», Закупсбыт» и мн. другие.

Все это свидетельствует о том, что на первом этапе советской историографии была осуществлена значительная работа по исследованию рассматриваемой проблемы. Но, как правильно замечает Л. М. Спирин[133]), ряд вопросов проблемы, и прежде всего такой важный, как политика и тактика большевиков по отношению к различным группам мелкобуржуазных партий, в те годы не стал предметом серьезного изучения.

Уже и в те годы некоторые историки относились подозрительно к исследованиям истории контрреволюции. А. И. Гуковский в недавно опубликованных воспоминаниях пишет, что обращение к истории контрреволюции вызывало критические замечания, некоторые квалифицировали это как нездоровый интерес к ненужной проблематике[134]).

Нет поэтому ничего удивительного в том, что с середины 30-х годов на длительное время пропал всякий интерес к «нежелательной» тематике.

---

[128]) И. Л. Шерман. Указ. соч., стр. 95.

[129]) Там же.

[130]) См., напр., П. Парфенов. (Петр Алтайский). Гражданская война в Сибири 1918—1920 гг., М., 1924.

[131]) Хроника гражданской войны в Сибири (1917—1918 гг.). Составители В. Максаков и А. Турунов. ГИЗ, 1926.

[132]) ССЭ, т. 1 (А—Ж), 1929; т. 2 (З—К), 1931, т. 3 (Л—Н), 1932.

[133]) Л. М. Спирин. Историография борьбы РКП(б) с мелкобуржуазными партиями в 1917—1920 гг. «Вопросы истории КПСС», 1966, № 4, стр. 103.

[134]) А. И. Гуковский. Как я стал историком. «История СССР», 1965, № 6, стр. 87.

О борьбе с эсерами и меньшевиками писали, но сущностью политики эсеров и меньшевиков никто не интересовался, в самых общих словах говорили об эсеро-меньшевистских «правительствах», Полицентре и др. вопросах, связанных с проблемой «демократической» контрреволюции.

Только в последние годы историки стали вновь обращаться к этой проблеме. Теперь уже всем ясно, что в современных условиях вопросы места и роли мелкой буржуазии и ее партий в революции являются весьма актуальной темой. Для коммунистических и рабочих партий многих стран она является одной из важнейших проблем их стратегии и тактики.

Пристально изучить опыт истории мелкобуржуазных партий России, всесторонне рассмотреть причины превращения эсеровской партии в главного застрельщика антисоветской борьбы, причины провала эсеро-меньшевистских попыток найти «третий путь» в русской революции, изучить возможность коалиции Коммунистической партии с партиями мелкой буржуазии для решения задач не только буржуазно-демократических, национальных, но и задач пролетарской революции, причины провала подобных попыток в условиях русской революции — это значит глубже понять многообразные пути и формы борьбы с капитализмом и империализмом в современных условиях.

Именно этими актуальными задачами руководствовался К. Гусев, написавший интересную работу о «левых эсерах»[135]).

Специальных работ о мелкобуржуазных партиях периода революции и особенно гражданской войны и интервенции в СССР и в последние годы написано немного.

Нам хочется выделить серьезную попытку Е. Г. Гимпельсона разобраться в причинах и истории складывания однопартийной системы в нашем государстве[136]). В его статье и в статье Л. М. Спирина[137]), пожалуй впервые в нашей литературе ставится задача рассмотреть тактику коммунистов на разных этапах гражданской войны по отношению к мелкобуржуазным партиям вообще и к различным группам, течениям их, в частности. И хотя непосредственно «сибирского» материала в этих работах нет, они помогают глубже разобраться и в поведении местной мелкобуржуазной контрреволюции.

Статья В. В. Гармизы[138]). имеет уже самое прямое отношение к проблеме сибирской контрреволюции, так как в ней ставятся вопросы о характере Омского правительства, о его позиции на Уфимском совещании, об его взаимоотношениях с Директорией и т. д.

В общих работах по истории революции и гражданской войны, в исследованиях по истории аграрных преобразований в первые годы Советской власти теперь уделяется значительно больше внимания мелкобуржуазным партиям, глубже ставится вопрос о причинах полного политического краха мелкобуржуазных партий в России, о тех конкретно-исторических условиях, которые привели к тому, что коалиция большевиков с «левыми» эсерами оказалась кратковременной и чрезвычайно непрочной. В этом отношении особенно хочется отметить монографию Е. Н. Городецкого[139]), уделившего серьезное внимание отношениям большевиков с мелкобуржуазными партиями.

---

[135]) К. Гусев. Крах партии «левых» эсеров. М. 1963.

[136]) Е. Г. Гимпельсон. Из истории образования однопартийной системы в СССР. «Вопросы истории», 1965, № 11.

[137]) Л. М. Спирин. Указ. соч., «Вопросы истории КПСС», 1966, № 4.

[138]) В. В. Гармиза. Банкротство политики «третьего пути» в революции (Уфимское государственное совещание 1918 г.). «История СССР», 1965, № 6.

[139]) Е. Н. Городецкий. Рождение советского государства. «Наука», 1965.

О сибирской мелкобуржуазной контрреволюции периода гражданской войны за последние годы написано пока немного[140]).

Конечно, такие вопросы, как роль мелкобуржуазных партий в гражданской войне, борьба большевиков с эсеро-меньшевистской идеологией, с влиянием мелкобуржуазных партий на массы в том или ином виде ставятся в общей литературе о гражданской войне и интервенции в Сибири.

В исследованиях о большевистском подполье, о крестьянских восстаниях, о партизанском движении эти вопросы нельзя обойти и в них идет речь и об участии эсеров в антисоветском мятеже, и о появлении эсеровских «правительств» типа «Временного правительства автономной Сибири» и «Западно-Сибирского эмиссариата», и о позиции эсеров и меньшевиков на Уфимском совещании, и о пагубном влиянии эсеро-анархистских взглядов и элементов на партизанское движение.

Но так как все эти вопросы не являлись предметом специального изучения, большинство историков в освещении этого периода сибирской контрреволюции оперируют общими сведениями. Кроме того, по многим вопросам этой темы бытуют самые разные оценки.

Например, по-разному оцениваются состав, политика «Временного Сибирского правительства». В. В. Гармиза и автор настоящей статьи квалифицируют его как правительство буржуазное, кадетское, на политику которого небольшая примесь эсеров не оказывала серьезного влияния. Большинство же историков говорят об Омском правительстве как о правительстве эсеров и меньшевиков[141]), хотя в его составе, как об этом свидетельствуют источники, меньшевиков, если не считать вышедшего из меньшевистской партии Шумиловского, вообще не было[142]).

Вопрос о составе Омского правительства не формальный. Это вопрос о роли эсеров и меньшевиков в контрреволюции, об отношении к ним «союзников», о социальной базе «Временного Сибирского правительства», об условиях перехода к военно-буржуазной диктатуре и т. д.

Поскольку существуют различные оценки партийно-классового характера «Временного Сибирского правительства» постольку и периодизация «демократического» этапа в истории сибирской контрреволюции дается различная. Большинство советских историков доводит его до колчаковского переворота, лишь немногие (в том числе автор данной статьи) считают, что в силу ряда причин мелкобуржуазный этап контрреволюции закончился в Сибири раньше (в августе-сентябре), с роспуском облдумы и изгнанием из Омского правительства немногих бывших в его составе эсеров.

Этот вопрос, с нашей точки зрения, не праздный. Правильное его решение поможет глубже разобраться в таких вопросах, как причины быстрого краха Директории, характер эсеровской «оппозиции» колчаковскому режиму, дальнейший распад эсеровской партии и т. д.

---

[140]) А. Н. Резниченко. Начало гражданской войны в Сибири. Борьба большевиков против меньшевистско-эсеровской буржуазной диктатуры 1918 года. Сб. «Боевые годы», Новосибирск, 1959. М. Е. Плотникова. Роль «Временного сибирского правительства» в подготовке контрреволюционного колчаковского переворота в Сибири. «Сборник научных работ исторических кафедр», изд. Томского университета, 1964, т. 168; её же. К вопросу об эсеровской контрреволюции в Сибири в 1917—1918 годах. «Программа и краткое содержание докладов научной сессии...», изд. Томского ун-та, 1964; И. М. Разгон. Сибирское областничество в 1917 г.», там же.

[141]) См. указ. соч. А. Резниченко, М. Стишова, V глава III тома «Истории гражданской войны в СССР» и др.

[142]) См. М. Е. Плотникова. Указ. соч. «Сборник научных трудов...», Томск, 1964, т. 168.

Кстати, о характере эсеровской фронды, о разброде в эсеровской партии после колчаковского переворота, о попытках эсеров организовать в 1919 году «земско-социалистическое» движение мы до сих пор можем прочитать только в эсеровской литературе. Советская историография по этим вопросам до сих пор не сказала своего слова, если не считать некоторых общих положений на этот счет.

Совершенно не освещен вопрос об отношении большевиков с «левыми» группами эсеров, ушедшими в условиях колчаковского режима в подполье, о поведении «левых» эсеров в годы гражданской войны.

Очень важно, как пишет Л. М. Спирин, по-настоящему глубоко исследовать вопрос о том, «как марксистско-ленинская теория классовой борьбы применялась в конкретных условиях того времени, на каких принципах основывалась тактика большевиков по отношению к мелкобуржуазным партиям, как, когда и почему она претерпевала изменения»[143]).

Всестороннее аналитическое изучение источников, глубокое использование ленинского наследства (известно, что В. И. Ленин, как никто другой, исследовал многие аспекты проблемы мелкобуржуазной революционности и контрреволюционности), отказ от схематизма и упрощенного подхода к проблеме — вот условия, при которых возможно настоящее научное освещение истории мелкобуржуазной контрреволюции. Это, в свою очередь, приведет к более глубокому и всестороннему пониманию всей проблемы гражданской войны и интервенции не только в Сибири, но и в стране в целом.

**
*

Все вышесказанное позволяет еще раз подчеркнуть заметные достижения советских историков в научной разработке важнейших проблем гражданской войны в Сибири[144]). И в то же время приходится признать, что эти результаты уже теперь могли быть более значительны, если бы мы историки, не только помнили, но и неукоснительно применяли ленинские методы исследования.

Ленинские положения о значении факта[145]), о марксистском методе исторического исследования[146]) хорошо известны, они часто цитируются историками. К сожалению, описательность, фактографичность, внешняя наукообразность при отсутствии действительно самостоятельных научных выводов и наблюдений, встречаются нередко и в современной исторической литературе.

Все эти недостатки можно объяснить и объективными причинами и субъективными факторами, они не сразу исчезают. Однако время, современные требования, предъявляемые к исторической науке требуют решительного и бесповоротного отказа от иллюстративности, нередко подменяющей конкретно-исторический анализ совокупности фактов и явлений, от догматически-начетнического метода «доказательств». В окончательном преодолении указанных недостатков и пережитков прошлого — залог дальнейших успехов советской историографии гражданской войны и интервенции.

---

[143]) «Вопросы истории КПСС», 1966, № 4, стр. 105.

[144]) Уже после того, как статья была сдана в печать, в свет вышло много новых работ по ряду проблем гражданской войны в Сибири.

[145]) В. И. Ленин. ПСС, т. 30, стр. 350—351.

[146]) В. И. Ленин. ПСС, т. 49, стр. 329.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Г. В. АТЛАСОВ

В ожесточенной идеологической борьбе двух мировоззрений — марксистского и буржуазного — как никогда раньше ясно стала видна зависимость исторических концепций от современной политической борьбы. Социальные сдвиги современности и потребности идеологической борьбы, а также внутренние процессы развития самой исторической науки заострили внимание буржуазных ученых на теоретических вопросах исторической науки, на специальных проблемах методологии исторического знания. В то же время в связи с расширением проблематики исторических исследований и быстрым накоплением источников различного типа усложнились приемы и методы исторического исследования.

Рядом с «традиционной» повествовательной историей (а в известной мере и на месте ее) возникла история социально-экономических процессов и отношений, неразрывно связанная с политэкономией, социологией, демографией и другими общественными науками. Возникновение этой истории во Франции относится к концу XIX — началу XX вв, когда старый либерализм, связанный с классически-идеалистической, политико-исторической школой по линии Оляр-Сеньобос-Ланглуа, уже умирал и почти исчез совершенно ко времени второй мировой войны, тщетно пытаясь приспособиться к новым требованиям. Отличительной чертой зарождавшегося направления во французской историографии стала тенденция к «синтетическому» исследованию, к «интеграции» общественных наук, наиболее отчетливо проявившаяся к так называемой «школе» Анналов[1]). Эта школа, возникновение которой обычно относят к 1929 году, ко времени основания Люсьеном Февром и Марком Блоком журнала «Annales d'histoire économique et sociale» органически была связана с концепцией «культурно-исторического синтеза» Анри Берра, хотя ее генезис восходит к разным идейным истокам. Большая заслуга в этом отношении принадлежит позитивизму, который в конце прошлого века превратился «в своего рода официальную методологию значительной части буржуазной историографии, определяя в большей мере как методы и приемы, так и саму направленность исторического исследования»[2]). Правда, здесь следует говорить о влиянии не столько позитивистской философии, известной своим крайним эклектизмом, сколько о влиянии

---

[1]) См. И. С. Кон. О современной буржуазной философии истории. «Философские науки», 1965, № 2, стр. 83.

[2]) Б. Г. Могильницкий. У истоков социально-экономического направления в русской буржуазно-либеральной медиевистике. В сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 3, Томск, 1965, стр. 206.

позитивистской социологии во главе с Эмилем Дюркгеймом, хотя влияние последней не сводилось к простому следованию ее канонам. Принимая и развивая отдельные позитивистские положения Э. Дюркгейма, новое направление французской историографии в целом далеко не укладывалось в схемы, уготованные ей позитивистской социологией. Заслугу Дюркгейма видели лишь в том, что он ввел понятие «социальной морфологии», т. е. установил принцип, что существует связь между функциями и структурой социальных групп, и этим ввел меру в социологии. Даже Анри Берр, крупнейший теоретик движения «культурно-исторического синтеза», испытавший довольно значительное влияние Дюркгейма, примыкал к нему лишь постольку, поскольку тот казался ему создателем подлинной науки (науки о социальном как таковом) и отходил от него в той мере, в какой Дюркгейм пытался создать доктрину, учение о социальном (или «коллективном», по Дюркгейму) сознании[3]). Ничего не было бы более антинаучным, по мнению Берра, как опираясь на конструктивную психологию, якобы предрешающую социальные нужды и стремления, делать выводы о социальной организации, ибо даже в индивидуальной психологии внутренние свидетельства не принимаются безоговорочно и требуют проверки. Дюркгейм требовал изучать коллективное сознание по своей форме и материалу в себе и для себя, а это приводило к тому, что позитивистская социология делала из своего сознания сенсориум общества. Берр же, напротив, видел во всяком обществе определенную организацию, в которой проявляется ее реальность и требовал исходить из внешних проявлений этой реальности, а именно из институтов, в которых выражаются насущные потребности социального существа[4]).

Строгое следование принципам позитивистской социологии было едва ли возможно для исторической науки, ибо ставило под вопрос самое ее существование. Характерно в этом отношении высказывание Л. Февра, что последователи дюркгеймовской школы не только не избавили историю от позитивистского угара, но еще более растворили историю в нем. Все, что в области исторических знаний им казалось поддающимся рациональному анализу, они отнесли к области социологии, оставив за историей незавидную роль регистратора «положительных» фактов, чаще всего «сынов случайности» (по выражению Февра), которые оставалось только расположить в хронологической последовательности[5]). Идейные истоки школы «Анналов», восходя к позитивистской социологии, получили свое первоначальное преломление в берровской концепции «культурно-исторического синтеза». Положительной стороной этой концепции, воспринятой и развитой впоследствии анналистами, являлось отрицательное отношение ко всевозможным реакционным течениям в буржуазной историографии и особенно философии истории. Луи-Филипп Мэй указывает, что, хотя Анри Берр считал себя преимущественно философом, это не мешало ему быть решительным противником «философии истории», в которой он видел слишком удобное средство для коньюнктурных интерпретаций или систематических конструкций, следуя которым легко было свернуть историческую науку с истинно научного пути[6]). Критика произвольных философских построений сопровождалась глубо-

[3]) H. Beer. La Synthese en histoire. Paris. 1953, p. 257—258.
[4]) Ibid., p. 124, 128—129.
[5]) L. Febvre. Combats pour l'histoire. Paris, 1953, p. 422—423.
[6]) См. «Revue historique», t. CCXIV 1955, p. 200. Здесь мы не ставим целью дать достаточно полную характеристику течения «культурно-исторического синтеза» и отсылаем к работам И. С. Кона: Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, М., 1959, стр. 293—307; Некоторые вопросы философии истории в современной французской историографии, «ВИМК», 1959, № 1, стр. 15—17.

кой верой в научную ценность истории, в ее социальное назначение и функцию. Берр требовал, чтобы в гуманитарных науках, как и науках естественных, придерживались строго научных методов. «Почва истории и законов — одна и та же»—говорил Берр[7]), и это стремление поставить историю на научную почву было шагом вперед по сравнению с антинаучными теориями философов-иррационалистов, решительно утверждавших непознаваемость сущности исторических явлений». Берр считал историческим законом то, «к чему стремится история», подчеркивая этим не историческую закономерность, характеризующую основную направленность от низшего к высшему, а предустановленную логическую необходимость, которой подчиняется тотальное движение[8]). Теория истории Берра не выходила за рамки идеалистического понимания исторического процесса, в котором он усматривал три группы причинных отношений: отношения простой («грубой», по Берру) последовательности, где одни факты непосредственно определяются другими; постоянные отношения, где факты связаны друг с другом необходимостью; наконец, внутреннюю связь, где факты связаны друг с другом рациональностью. Сами исторические факты Берр относит к трем различным порядкам: к случайностям разного рода; к необходимости социального характера, выражающейся в социальных институтах; к логическим факторам, зависящим от потребностей и тенденции, присущих существованию[9]).

Разумеется, не эти положения, довольно абстрактные и произвольные, выделяли А. Берра среди прочих теоретиков истории. Понимая под синтезом внутреннюю и внешнюю организацию истории (т. е. логику и практику), Берр большое место в своей концепции отвел синтезу как методу исторического исследования. Отстаивая место истории в ряду других научных дисциплин, он подчеркивал, что история как наука имеет свой собственный метод, свою оригинальность в ансамбле научных дисциплин[10]).Синтез как метод должен был, по его мнению, помочь лучше понять смысл и причины человеческих поступков, роль человека в обществе, открыть перспективы на игру причин в природе, на тотальную эволюцию[11]).

Историческое исследование, построенное на научном синтезе, должно было заниматься выявлением причинных отношений, анализом их взаимодействий, комбинаций, соотношений. Таким образом, синтез воспроизводил бы прошлое иначе и лучше, нежели интуиция: если интуитивная история в разных формах, опираясь на накопленные факты, пыталась более или менее осторожно воспроизвести жизнь, то научная история, пользуясь синтезом, как методом исследования, стремилась ее объяснить[12]). Синтез исторических знаний, за который выступал А. Берр, означал на практике изучение всех общественных явлений, и даже естественных, в их отношении с общественными. Синтез должен был помочь лучшему познанию истории человечества, за фактами пути, по которому оно следует и развивается: лучше знать, чтобы лучше мочь[13]). Историческое исследование, по мнению Берра, не должно было сводиться к простому накоплению знаний, к бесплодной эрудиции; оно должно было четко ориентироваться на решение самых неотложных и полезных задач, касающихся жизни народов и индивидов, жизни материальной

[7]) H. Berr, ibid., p. 26.
[8]) Ibid., p. 31, 68, 136, 179.
[9]) L-Ph. May, ibid., p. 201. См. И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959, стр. 296.
[10]) H. Berr. ibid., p. 53.
[11]) Ibid., p. 233.
[12]) Ibid.
[13]) L.-Ph. May, p. ibid., p. 200.

и жизни духовной. Разглядеть в беспорядочной игре инстинктов «направляющее действие» (l'action directrice) — такова была в конечном счете научная и моральная цель истории в концепции Берра[14]).

Правда, последнее не удалось Берру, так как «направляющим действием», движущей силой он провозгласил в конечном счете абстрактную «тенденцию к существованию», которая проявляется в различных потребностях индивида и общества[15]). Но им был сделан первый шаг по пути координации различных исторических исследований, по пути сближения истории с социологией, философией, психологией. «Истинная наука — это наука понятий, наука разума, — считал Берр. — Она стремится к универсальному, она есть философия»[16]). Но выступая за тесную связь истории с философией, за то, чтобы история, связанная со всеобщим синтезом, опиралась на философское размышление, Берр в то же время отвергал притязания некоторых философов истории и социологов подогнать историческую науку под их произвольные схемы. Именно в этом смысле он и говорил, что философия мешает истории стать наукой[17]). Но не желая принимать откровенно реакционные релятивистско-субъективистские концепции философии истории, Берр и его последователи не хотели также опереться на единственно научную философию истории — исторический материализм. Оставаясь эклектиком в философии, Берр придавал понятию материалистического монизма некий мистический смысл, допуская реальность духа, формированию и совершенствованию которого якобы была посвящена вся человеческая история, а историческая наука должна была отразить именно этот процесс. История является, по Берру, коллективной интроспекцией, в которой человечество осознает свой внутренний порыв, условия своего прошлого и направления будущего развития. Разум, жизнь и материя — только модусы космической энергии на разных ступенях своего развития[18]). Постоянно заботясь о развитии исторического знания, А. Берр разработал план организации научной работы, который должен был позволить истории ликвидировать свое «отставание» от естественных наук и направить историческое исследование в русло синтеза. С этой целью был основан в 1925 г. Международный центр синтеза, встретивший горячую поддержку со стороны Поля Ланжевена, Абеля Рея, Думера и особенно Люсьена Февра. Задачи Международного центра синтеза выходили за рамки синтеза исторического и претендовали на синтез всеобщий. Уже в 1920 г. вышел первый том коллективной серии «Эволюция человечества», задуманной как непосредственное продолжение «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. Эта серия обладала внутренним единством плана и руководящих идей, излагавшихся в пространных вступлениях Берра к отдельным томам.

В отличие от «традиционной» историографии, не поднимавшейся выше описания преимущественно военно-политических событий, в серии «Эволюция человечества» главное внимание было сосредоточено на истории цивилизации, где в первую очередь рассматривались вопросы культуры. Происходила своего рода переоценка ценностей: история цивилизаций, которая изучалась до этого лишь как побочная дисциплина, скорее интересная, чем необходимая, внезапно предстала как объективное научное преддверье исторической работы[19]). Сама цивилизация мыслилась как нечто единое целое, состоящее из различных компонентов, со-

[14]) Ibud., p. 201. H. Beer, ibid., p. 246.
[15]) См. И. С. Кон. Указ. соч., стр. 302.
[16]) H. Berr, ibid., p. 229.
[17]) Ibid., p. VII.
[18]) L.-Ph. May, ibid., p. 202.
[19]) Ibid., p. 201.

циальных, политических, экономических, духовных, степень влияния которых на развитие цивилизации признавалась различной, а следовательно, оказывалась различной и их ценность. По сути дела задача исторической науки заключалась именно в том, чтоб определить и выявлять эти ценности, образующие цивилизацию. А. Берр различал три категории ценностей: 1) ценности индивидуальной жизни; 2) ценности социальной жизни и 3) ценности жизни духовной. Ценности первой категории устанавливают социальную полезность индивида; вторая категория ценностей связана с экономической реальностью, но решающее значение Берр отводил ценностям духовной жизни. Под «духовными ценностями» Берр подразумевал не только определенные феномены общественного сознания — социально-политиче кие, правовые, моральные, религиозные, эстетические нормативы, принципы, идеалы, оценки и их критерии,— но само объективное научное познание, установление истины, ибо истина, по его мнению, это тоже ценность: она существует и оценивается разумом и для разума[20]). Таким образом, объектом исторической науки оказывалась сфера духовной культуры как некая совокупность компонентов, в которой историческое познание отделяло существенное от несущественного при помощи отнесения отдельных компонентов или индивидуальных процессов к ценностям.

Задачу исторической науки А. Берр видел в объективном выявлении ценности ценностей (т. е. истины) и в соответственной оценке цивилизации. Но так как в последней он абсолютизировал элементы духовных ценностей, то не могло быть и речи о правильной оценке цивилизации. Марксизм указывает, что источник всех изменений в обществе и источник его прогресса лежит в развитии производительных сил и производственных отношений, которое составляет объективный критерий общественного прогресса. Ценность как реализация материальной или духовной деятельности индивида или общества не может служить критерием уже потому, что сама нуждается в критерии. Кроме того, ценностный подход к истории нацеливает на изучение преимущественно вопросов культуры, тогда как основные закономерности общественного развития лежат в сфере материального производства.

В целом, концепция «культурно-исторического синтеза» Анри Берра оказала довольно значительное влияние на последующее развитие французской буржуазной историографии. А. Берр один из первых, если не самый первый, во Франции начал наступление на позитивистскую историографию, отрицавшую исторические закономерности и занимавшуюся описанием, главным образом, политических событий и объяснением их участников, не пытаясь докопаться до истинных причин самих этих стимулов и намерений. Выступая против априорных философских построений Берр призывал открывать в истории законы, что было бы возможным только при тесном содружестве ряда смежных общественных и даже естественных дисциплин[21–22]). Не случайно именно призыв к координации научных исследований особенно ставится в заслугу А. Берру.

В то же время берровская концепция не могла разрешить многие стоявшие перед исторической наукой проблемы. Сосредоточив внимание, главным образом на вопросах истории культуры, возглавляемая Берром коллективная серия «Эволюция человечества» как раз и не могла правильно отразить этой эволюции, найти подлинные движущие силы и критерии прогресса цивилизации, не говоря уже о том, насколько правомерным было самое понятие цивилизации как совокупности определенных

[20]) H. Berr, ibid., p. 178—180, 218—220.

[21–22]) В настоящее время вновь наблюдается поворот к изучению так называемых «фактов цивилизации». См. ниже об этом.

ценностей, духовных, социальных, индивидуальных. Даже под ценностями социальной жизни А. Берр подразумевал прежде всего институты, которые якобы одни только выражают насущные потребности социального существа и реализуют великие функции социальной жизни. Несомненно призыв отгалкиваться от «институтов», от элементов надстроечного порядка при изучении социальных явлений был своевременным и правильным по отношению к позитивистской эмпирической историографии, так как «на ход исторической борьбы оказывают также влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки...»[23]). Но при этом, «согласно материалистическому пониманию истории, в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни»[24]). Только исходя из этого, история могла стать подлинно научной, а ведь именно к этому стремился А. Берр. Его концепция не могла в рамках идеалистического понимания исторического процесса ответить на вопросы, поставленные жизнью, и решить задачи, которые встали перед исторической наукой.

Новое поколение требовало себе новых учителей, и ими становятся в 20—30-е годы Люсьен Февр, Марк Блок, Жорж Лефевр и другие, которые в отличие от Берра сами были профессиональными историками. Основанный Л. Февром и М. Блоком в 1929 г. журнал «Annales d'histoire economique et sociale» сгруппировал вокруг себя целую школу, которая хотя и была органически связана с концепцией Берра, но не являлась простой ее реализацией, а скорее всего дальнейшим развитием положительных сторон «теории синтеза» с уклоном уже не в сторону изучения вопросов истории культуры, а в сторону исследования сложных социально-экономических процессов. В этом сказалось прежде всего несомненное влияние марксизма, так как обращение в изучению социально-экономической стороны исторического процесса «не только не диктовалось основными принципами позитивистской социологии, но и в определенной степени происходило через их преодоление»[25]). Кроме того, возникновение этой школы, как правильно указывает Б. Бертольд, нельзя рассматривать в отрыве от идейного движения, которое примерно в 1928 г. началось в духовной жизни Франции[26]). Ориентация «Анналов» на экономическую и социальную историю тесно связана, по мнению В. Бертольда, с этим идейным и политическим движением. Если до этого в официальной науке господствовал преимущественно витализм Анри Бергсона, то в дальнейшем стало сказываться плодотворное знакомство с диалектикой Гегеля и Маркса[27]). Впрочем, влияние марксизма не отрицают сами буржуазные ученые[28]).

Усилия «Анналов», направленные на расширение круга изучаемых проблем, на стремление связать историю с требованиями жизни, с потребностями эпохи, критика «Анналами» реакционных модернизаторских тенденций сделают вскоре эту школу самым интересным течением в западноевропейской буржуазной историографии, а журнал «Анналы» станет наиболее авторитетным историческим журналом Запада. Крити-

[23]) Ф. Энгельс. И. Блоху. 21—22 сент. 1890 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. 1848, стр. 422.

[24]) Там же.

[25]) Б. Г. Могильницкий. Указ. соч., стр. 209.

[26]) В. Бертольд. «...Голодать и повиноваться». М., 1964, стр. 260.

[27]) Там же.

[28]) Например, А. Берр писал, что основание школы «Анналов» было вызвано тем, чтоб осветить ту сторону жизни обществ, которая очень долго оставалась в тени и обратить внимание на которую призывал марксизм (H. Berr, ibid., p. 289). Об этом же говорит А. Марру. (Cm. Histoire et ses méthodes. Eucyclopedie de la Pleiade. Paris, Gallimard, 1961, p. 1473).

ческие статьи и исследования печатались там непрестанно, принося массу точных фактов, светлых идей, новых перспектив. «Это были прекрасные и великие годы», — замечает Августен Реноде о деятельности «Анналов» в этот период[29]). Действительно, деятельность «Анналов» была весьма плодотворной в тот период, когда остро встал вопрос о социальном назначении истории, когда, с одной стороны, страх перед будущим заставлял некоторых теоретиков истории проповедовать о принциальной непознаваемости и иррациональности социальной действительности, а с другой стороны, напротив, раздавались голоса, что только историк способен позволить жить людям в «этом чрезвычайно неустойчивом мире иными чувствами, кроме страха»[30]). Неслучайно поэтому борьба по теоретико-методологическим проблемам исторической науки приняла острый характер, так как речь шла о защите прав истории на существование как науки. В центре внимания стояли, как указывает О. М. Медушевская, не столько вопросы истолкования самого исторического процесса, сколько специальные проблемы методологии исторического знания[31]). Л. Февр и М. Блок выступили с критикой методологических трактатов теоретиков истории, против априорных историософских построений, против «событийной», «историствующей» истории (histoire evenenentielle, histoire historisante) в пользу «histoire structuelle», «histoire quantitative», короче, за превращение истории из «connaissance» в «science» (из «познания» в знание, науку»). Будучи профессиональными историками, они утверждали, что теория истории не может развиваться вне повседневной практики. Теоретики истории занимались до сих пор лишь выявлением операций ума применительно к историческому материалу, ограничиваясь описанием поверхностной и школярной логики истории, ничего не дающей историку, продолжавшему двигаться вслепую в лабиринте понятий и фактов. Чтобы правильно ориентироваться в этом лабиринте, историку нужна теория, являющаяся самим опытом науки, а непроизвольной конструкцией разума, отрицающей, к тому же, познаваемость явлений. Теория только тогда оказывает пользу науке, когда она покоится на постулате, что природа, а в ней и человек, как часть природы и объект истории, познаваемы и объяснимы[32]).

Вопрос об исторической объективности занимает большое место в творчестве анналистов, особенно Л. Февра и М. Блока. Они считали абсолютную объективность догмой, наивностью, внушенной рудиментарным позитивизмом. Однако, решая этот вопрос в рамках буржуазной методологии науки, они зачастую сами оказывались в плену субъективизма. Так Л. Февр отмечает, что развитие естественных наук и различные научные открытия оказали свое влияние на понимание исторического объекта: теперь уже нельзя сказать, что в истории объект дан заранее и не зависит от воли и действий ученого. Напротив, историк постоянно конструирует свой объект изучения, а наука непрерывно испытывает на себе вмешательство ученого, его воли и деятельности. Различие между естественными науками и историей стерлось, по мнению Л. Февра, так как для ученых выражением научных усилий стало не познание, а понимание[33]). Историков не должно пугать, что исторические факты, даже самые незначительные, вызываются к жизни самими историками, ибо история объективно является выбором. Вначале происходит выбор

[29]) A. Renaudet. L'oeuvre historique de Lucien Febvre. «Revue d'histoire moderne et contemporaine», P. PUF, 1956, t. III, p 258—259.

[30]) Ibid., p. 259.

[31]) О. М. Медушевская. Некоторые проблемы методологии истории в современной французской историографии. «Вопросы философии», 1965, № 1, стр. 10—11.

[32]) L. Febvre. Combats pour l'histoire. Paris, 1953, p. 431—432, 116—117.

[33]) Ibid., p. 30.

случая. В результате стихийных бедствий и социальных потрясений до нас доходят не все факты прошлого. Затем наступает выбор человека: из дошедших до нас документов мы выбираем только нужные нам. Правильно отметив, что исследователь ничуть не должен уходить от проблемы выбора фактов, Л. Февр вместе с тем не дал четкого ответа на вопрос о критерии выбора. Он ограничился указанием, что выбор обусловлен поставленной проблемой: история есть выбор, но выбор не произвольный, а предвзятый[34]). Конструируя выбранные факты в реальность, историк должен размышлять над этими фактами, но не подчиняться им, ибо они им самим выбраны и созданы. В противном случае историк превратится в ремесленника, пусть даже и блестящего[35]). Л. Февр считал, что противопоставление истории и естественных наук на том основании, что первая делается текстами, а последние — экспериментами, неправомерно, потому что выбор — это тоже эксперимент, это тоже «вмешательство» в реальность, однако это «вмешательство» не является покушением на историю как науку или, как выражается Февр, «протаскиванием троянского коня» субъективности в город объективности»[36]). Историческая реальность непременно конструируется сознанием историка и несет на себе печать его индивидуальности: проблема обращения к прошлому есть проблема самоанализа[37]). Исследование историка должно быть генетическим, оно должно восходить от простого к сложному, от единичного к общему. «Выявлять всеобщее в конкретном, не заботясь об исключениях, — такова самая высокая и труднодоступная вершина, которую нужно преодолеть историку», — пишет Люсьен Февр[38]). Однако призывая выявлять всеобщее в конкретном, Февр в то же время сомневался в наличии исторических законов, хотя и не отрицал их: в лучшем случае он понимал под законами только общие формулы, которые, группируя разобщенные факты, формируют их в серии[39]). Субъективистское понимание законов шло вразрез с формулой Февра о назначении истории («позволять понимать прошлое») так как, естественно, без постижения исторических законов, закономерностей общественного развития не может быть и речи о глубоком понимании этого прошлого. Кроме того, Февр отрицал за историей если не возможность, то, по крайней мере, необходимость предвидения. По его мнению, с истории достаточно и того, что она с помощью прошлого позволяет лучше понимать настоящее, а особенно — прошлое с помощью настоящего[40]).

Для научной деятельности М. Блока тоже было характерным стремление восстановить утерянную «традиционной» историографией связь между историей и современностью, прошлым и настоящим и тем самым поднять социальную значимость исторической науки. Но он, как и Л. Февр, воздерживался формулировать законы, так как они, по его мнению, непременно «обеднили» бы действительность, лишили бы его неповторимого своеобразия. Вместо познания законов история должна была ограничиваться открытием причинно-следственных связей, но самую причинность Блок понимал узко, метафизически[41]). Он учил, что история — это наука об изменении; явления имеют лишь одну фактическую направленность; два события никогда не повторяются совершенно

[34]) Ibid., p. 7—8, 116—117.
[35]) Ibid., p. 22, 115—116.
[36]) Ibid., p. 22.
[37]) Ibid., p. 3.
[38]) Ibid., p. 141.
[39]) Ibid., p. 14—16.
[40]) Ibid., p. 87, 426.
[41]) См. И. С. Кон, А. Д. Люблинская. Труды французского историка Марка Блока. «Вопросы истории», 1955, № 8, стр. 152—153.

одинаково, так как условия, в которых они протекают, никогда полностью не совпадают. В то же время в человеческой эволюции история устанавливает, если не постоянные, то, по крайней мере, длительные элементы, которые переходят из одной цивилизации в другую хотя бы в общих чертах. Это позволяет в какой-то мере предвидеть будущее, предвидеть, чем «завтра» будет отличаться от «сегодня». Правда, М. Блок считал ненадежным такое предвидение, которое зависит от случайностей и больше похоже на угадывание[42]). В этом сказалась несостоятельность основных идейно-методологических позиций как Блока, так и Февра. Действительно, в будущем невозможно предусмотреть все случайности, однако от этого историческое предвидение не превращается в гадание на кофейной гуще. Необходимость прокладывает себе дорогу через случайности, и речь должна идти прежде всего о предвидении этой необходимости. Эффективность научного предвидения зависит от того, насколько хорошо мы познали законы общественного развития, а познание последних возможно только с позиции исторического материализма. Поэтому попытки решить вопрос о предвидении с позиций философского идеализма обречены на провал, о чем свидетельствует весь опыт развития общественной мысли[43]). Скепсис в отношении к историческому предвидению заставил М. Блока и Л. Февра ограничить задачу историка только «пониманием» прошлого. К тому же, М. Блок, выступая против релятивистско-субъективистского подхода к истории, против прагматически-модернизаторских рецептов ее истолкования, становится на ошибочные позиции буржуазного объективизма. Он считал, что историк должен воздерживаться от вынесения каких-либо оценок историческим явлениям и личностям, ибо «нет ничего более изменчивого по своей природе, чем подобные приговоры, отражающие все колебания общественного сознания или индивидуальной прихоти»[44]). Единственный долг историка, по его мнению,— «понимать а не судить»[45]). Несостоятельность этих высказываний очевидна. Они не только умаляли социальное назначение истории, но и превращали историка в равнодушного регистратора событий. Бесплодное «понимание» прошлого без надлежащих выводов и оценок вряд ли могло кого-нибудь заинтересовать, а тем более принести пользу обществу. Историк непременно должен дать объективную оценку событий и деятелей прошлого, выразить свое отношение к ним. При этом надо помнить, что даже субъективная оценка событий не является произвольной, но всегда имеет широкий общественный характер и выражает потребности и интересы многих людей, классов, социальных групп и т. д.

Люсьен Февр, выступил против эмпирической историографии, обрушился прежде всего на позитивистскую схему исследования, ведущую от документов к фактам, от единичного факта к серии фактов, отрицающую роль обобщений, гипотез и проблем. При этом он, конечно, не отрицал необходимости накопления единичных фактов, история, по его мнению, не делается без минимума позитивных знаний, отвечающих потребностям историка[46]). Но это отнюдь не должно приводить к голому «фактографированию» или «фотографированию» реальности. Историки должны, по словам Февра, раз и навсегда отказаться от повествовательной, фактографической истории, от «наивного реализма Ранке, воображавшего,

[42]) M. Bloch, Apologie pour l'histoire ou Metier d'historien. Paris, 1949, p. 35—37, 60.

[43]) См. В. В. Иванов. К характеристике идейно-методологических взглядов Марка Блока. В сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 3, Томск, 1965, стр. 103.

[44]) M. Bloch, ibid., p. 70.

[45]) M. Bloch, La société feodale. Paris, 1940, p. XVII, 56.

[46]) L. Febvre, ibid., p. 87.

что можно познать факты так, как они происходили на самом деле»[47]). Он выступал в первую очередь за проблемную историческую науку. «Постановка проблемы является началом и концом всякой истории. «Нет проблем — нет науки», — справедливо заявлял Февр[48]). Свою цель он видел как раз в том, чтоб, сокрушая рамки отдельных дисциплин, идти прямо к проблемам[49]). Вся научная работа, по его мнению, должна опираться на две операции: постановку проблем и формулировку гипотез[50]).

Критикуя позитивистскую схему исследования, сводившую методологические проблемы до уровня «техники» исследовательской практики, Л. Февр в то же время не смог противопоставить ей свою конструктивную концепцию. Он только пересмотрел самое понятие факта и документа, что само по себе было, конечно, важным, так как до сих пор историческое исследование придерживалось схемы, предложенной Ланглуа и Сеньобосом, которая в своем апогее сводилась к пустой фразе: история делается текстами. Эта схема уже не могла удовлетворить представителей школы «Анналов», потому что она ориентировала на изучение только письменных источников, тогда как к этому времени был накоплен и происходило дальнейшее быстрое накопление исторического материала различного типа. В 20-30 годы археологический, нумизматический, папирологический, лингвистический базис исторической критики достиг высокой ступени технического совершенства. Критические издания и обработка всевозможных источников, искусство выяснения связи событий в процессе всестороннего сопоставления и оценки исторических свидетельств, восполнение этих свидетельств при помощи исторического обобщения, — все это уже становилось методами исторического познания, доступными точному изучению. Теперь от историка требовали умения использовать все, что было в руках человека, зависело от человека, служило человеку, выражало человека, короче — все, что так или иначе было связано с человеческой историей[51]). Ученый должен был сочетать в себе качества специалиста и синтетика, ибо времена узкого профессионализма, как и времена универсализма, ушли безвозвратно, по мнению Л. Февра[52]). Позитивизм Ланглуа и Сеньобоса уже казался поколению М. Блока и Л. Февра слишком суммарным, поразительно поверхностным и старомодным. Исторический факт стал пониматься гораздо шире и глубже, чем прежде. «Обесценение ливра, снижение зарплаты, дороговизна — это, без сомнения, тоже исторические факты, — писал Л. Февр, — и они в наших глазах ценнее, чем смерть монарха или заключение недолговечного договора»[53]). Однако расширяя рамки понятия «факт», Л. Февр иногда оказывался в плену релятивистских представлений. Он, например, считал, что всякий научный факт «выдуман», а не дан в сыром виде ученому[54]). Конечно, Л. Февр не был ни агностиком, ни скептиком; он стремился лишь подчеркнуть динамизм и сложность исторического исследования, доказать, что историография не сводится к простой регистрации раз и навсегда данных фактов, но требует независимого и серьезного размышления. Однако незнание материалистической диалектики и фактическое игнорирование объективных законов общественного развития приводили его к релятивистским выводам о том, что история как

[47]) Ibid., p. 59.
[48]) Ibid., p. 22.
[49]) Ibid., p. 106.
[50]) Ibid., p. 22—23.
[51]) Ibid., p. 4—5, 13—14, 87, 428
[52]) Ibid., p. 60.
[53]) Ibid., p. 7—8.
[54]) Ibid., p. 57.

наука сама создает свой объект изучения, а это значит, что она не способна открывать закономерности развития человеческого прошлого.

Следовательно, одной критики позитивистской схемы исследования было далеко не достаточно для превращения истории в подлинную науку потому, что настоящие проблемы исторической науки начинаются лишь за пределами филологической критики, обработки и оценки источников — там, где учет и приведение в ясность материального состава источников переходит в воспроизведение, характеристику и объяснение «материи» того социально-исторического процесса, который послужил для них предметным основанием[55]). Эту грань не смогли переступить ни Февр, ни Блок, так как они не смогли преодолеть идеалистического воззрения на историческую действительность и ее познание. Их исторические концепции, как и многих других современных буржуазных историков, внутренне противоречивы: верные положения, отдельные ценные наблюдения, горячее стремление обоих сделать историографию подлинно научной сочетались с явно идеалистическими взглядами. Теоретико-методологические искания Л. Февра и М. Блока наглядно показывают безуспешность решения проблем методологии истории на базе идеалистического мировоззрения.

Однако деятельность Л. Февра и М. Блока была далеко не безрезультатной: они увлекли многих историков на дорогу, на которую те должны были рано или поздно вступить. После второй мировой войны «Анналы» дали новый толчок широкому исследованию социально-экономических сторон исторического процесса[56]). Главной целью этого направления было провозглашено изучение цивилизации, и журнал стал называться «Annales. Economies-sociétes — civilisations». В понятии «цивилизация» в настоящее время видят основу периодизации истории, выражение специфики каждого конкретного общества во всей совокупности его экономики, социального и политического строя и духовной жизни[57]). Увеличение социально-экономической историей является, по признанию профессора-медиевиста Тулузского факультета Филиппа Вольфа, отличительной чертой нашей цивилизации и берет начало с середины прошлого столетия[58]). Однако здесь следует указать еще на одну отличительную черту: увлечение социально-экономическими проблемами не идет, как правило, дальше постановки сравнительно частных вопросов. Поэтому в этой связи важно констатировать не столько это «увлечение» социально-экономической историей, сколько то, что они понимают под последней. Ф. Вольф, например, не только не пытается выявить связи между социально-экономической и политической историей, но даже самое понятие социально-экономической истории объявляет не лишенным двусмысленности[59]). Он объясняет эту двусмысленность тем, что якобы трудно установить более или менее тесную связь между историей социальной и историей экономической. Действительно, существенным методологическим пороком буржуазной историографии является изолирован-

[55]) В. Ф. Асмус. Маркс и буржуазный историзм. М.—Л., 1933, стр. 183.

[56]) В настоящее время некоторые советские историки, в частности доцент МГУ А. В. Адо, предпочитают говорить не просто о школе «Анналов», а об экономическом направлении во французской историографии во главе с Э. Лябруссом, которое органически связано с «Анналами», но гораздо шире. Идейные истоки этого направления, ставшего в послевоенные годы господствующим, лежат в эклектическом сочетании марксизма, позитивизма, социологических учений Э. Дюркгейма и, особенно Ф. Симиана.

[57]) Г. Г. Дилигенский. Обзор журнала «Annales. Économies-sociétés-civilisations». «Вопросы истории», 1962, № 7, стр. 186.

[58]) Histoire et ses méthodes. Encyclopedie de la Pleiade. Paris. Gallimard. 1961, p. 847.

[59]) Ibid., p. 850.

ное рассмотрение различных сфер и «уровней» в жизни общества. Фернанд Бродель, глава школы «Анналов», различает в жизни общества две сферы или две «площадки»: нижнюю», которую образует материальная жизнь, и «верхнюю», к которой относится экономическая и политическая жизнь, правовые учреждения, идеи и верования[60]). Если Ф. Бродель, совершенно неправомерно исключает из материальной жизни экономику, то бывает и обратное, когда экономическая история ограничивается перечнем так называемых «экономических фактов» или сводится к экономической деятельности человека[61]). Подобные, не отвечающие действительным связям, размежевания объектов экономической истории ведут к построению произвольных схем и искусственных объяснений конкретных исторических явлений. Буржуазная наука, указывает О. М. Медушевская, не в состоянии раскрыть секрета взаимодействия частей общественного целого и движущих сил его развития. Методологическую основу для работы в этом направлении дает лишь материалистическое понимание истории и в первую очередь понятие общественно-экономической формации, базирующейся на определенном способе производства. Изучение структур и форм существования (функционирования) такого конкретно данного социального целого (формация) и составляет объект исследования источника. Следовательно, содержание понятия «история» должно включать в себя понятие структуры и форм функционирования этого социального целого, рассматриваемого либо во всей совокупности, либо относительно отдельных его «уровней»[62]).

Преимущественный интерес представителей школы «Анналов» (или экономического направления) к отдельным изолированным сферам или «уровням» жизни общества приводит к тому, что экономическую историю пытаются либо свести к истории экономических учений, либо (что характерно для историков, не являющихся специалистами в экономической области, замечает Ф. Вольф) ограничить ее перечнем экономических фактов: производством, товарообменом, ценами и зарплатой, подобранными более или менее случайно[63]). Действительно, для экономического направления характерен переход к построению статистики, к использованию материала, поддающегося серийной обработке. «Экономическая история, — пишет Шарль-Эдмон Перрен в рецензии на книгу «История и ее методы»,—стремясь охватить движение широкого масштаба, может достичь своей цели только при том условии, если она располагает многочисленными данными, объединенными в непрерывные серии»[64]). Даже Вольф, который третирует этот серийный материал, как «экономические факты», выступает тем не менее за широкое его использование и выделяет его в особую область микроэкономики с тем условием, чтоб исследователь, опираясь на последнюю, переходил к анализу макроэкономической структуры определенной системы, т. е. к анализу общих условий ее функционирования. В умении разглядеть в этой системе не только простые изменения в равновесии микро- и макроструктур, но глубокую эволюцию системы заключается, по мнению Ф. Вольфа, динамичность экономического исследования[65]). В экономической трактовке истории некоторые французские ученые отводят далеко не последнее место географической среде.

[60]) См. Г. Г. Дилигенский. Там же, стр. 188—189.
[61]) Histoire et ses methodes, p. 849—850.
[62]) О. М. Медушевская. Обсуждение теоретико-методологических проблем истории. «Вопросы истории», 1966, № 1, стр. 192.
[63]) Histoire et ses méthodes, p. 850—851.
[64]) Ch.-Edmond Perrin. L'histoire et ses méthodes,—«Journal des savants», Paris, 1962, juillet-sept., p. 140—141.
[65]) Histoire et ses methodes, p. 851.

Еще Марк Блок указывал на важность географических факторов, особенно при характеристике аграрно-экономической истории, когда «условия, навязанные человеческой деятельности природой... выступают во всей своей силе»[66]). В то же время М. Блок не преувеличивал значения географических факторов, которые, по его мнению, не способны объяснить коренных черт аграрной истории[67]). Однако у некоторых историков преувеличенное представление о роли географической среды приводит к возрождению до некоторой степени географического детерминизма. Социальная среда предстает синтезом данных, подсудных в первую очередь географии и истории, а сами эти науки объявляются лишь двумя средствами научного познания одного и того же комплекса отношений, формы которых бесконечно разнообразны[68]). Географический комплекс в целом считается соединением элементов различного возраста, каждый из которых имеет свою историю. На том основании, что история продолжается и действует в настоящем, в «очеловеченном» пейзаже ищут отражение истории[69]). «Географическая среда, — считает Фернан Бродель, — не довлеет над людьми неумолимо, так как все их усилия... как раз направлены на то, чтоб освободиться от ее цепких объятий»[70]). География, по мнению Шарля Игуне, не объясняет ни всей жизни, ни всей истории людей. Природа предлагает, а человек располагает, и важно лишь выявить действительную степень географических влияний и человеческих реакций на них в историческом развитии[71]). В формуле Ш. Игуне (природа предлагает, а человек располагает) уже имеются элементы географического детерминизма, которые неизбежно ведут к отрицанию того простого факта, что люди творят свою историю, не просто исходя из раз и навсегда данных, наличных условий, включая сюда и географические, но преобразуя эти условия в процессе своей деятельности. Значимость действия географических фактов зависит от стадии общественно-экономического развития; первоосновой деятельности людей являются производительные силы, состояние которых выражает меру способности этих людей воздействовать на природу. В своей деятельности они, безусловно, связаны с данной им реальностью, но они в то же время преобразуют эту реальность. Следовательно, человек не просто располагает тем, что милостливо предложила ему природа, а воздействует на эту природу. Только при таком подходе можно правильно понять действительную роль географической среды в социально-экономическом процессе.

Поворот к социально-экономической истории, являясь несомненно положительной стороной во французской историографии, еще не спасает от ряда опасных тенденций, среди которых известный географический детерминизм и упрощенный экономизм занимают далеко не последнее место. Неправильное представление об экономическом развитии как о развитии главным образом техники, торговли и обращения, преимущественный интерес лишь к «экономическим фактам», а не формам собственности, образующим основу производственных отношений, приводят к недооценке роли классовой борьбы в историческом процессе, к рассмотрению политики в простой функциональной связи с экономической и социальной жизнью. Ф. Вольф, например, считает, что всякое

[66]) М. Блок. Характерные черты французской аграрной истории (перевод с франц.) М., 1957, стр. 32.
[67]) Там же.
[68]) P. George. Geographie et histoire. «Revue historique», t. CCXXIX, 1963, p. 294—295, 302—303.
[69]) Histoire et ses méthodes, p. 81.
[70]) Ibid., p. 73.
[71]) Ibidem.

политическое решение является, очевидно, функцией экономической, социальной и интеллектуальной среды, в которой оно было принято. В соответствии с характером этой среды оно отвечает большей или меньшей свободе выбора, оно более или менее поддается осуществлению, оно влечет за собой более или менее решающие последствия, оно, следовательно, более или менее изменяет эту среду[72]). Однако Ф. Вольф упускает из виду, что всякое политическое решение принимается в динамике классовой борьбы прежде всего, так как «всякая политическая борьба есть борьба классовая»[73]), значит и всякое политическое решение есть решение классовое, и в этом случае оно не просто более или менее изменяет среду, но с огромной силой оказывает обратное воздействие на развитие общества. Прогрессивная политика несомненно стимулирует закономерный социально-экономический процесс и направляет его, тогда как реакционная — только тормозит. Отрицание как раз этого обратного воздействия и признание только простой функциональной связи между социальным и экономическим является следствием сужения понятия экономики главным образом сферой обращения и технического прогресса. Экономический прогресс всегда предшествует социальному, какое бы влияние последний не оказал на него, считает Ш. Моразе. Этого же мнения придерживаются Лябрусс и Вольф[74]). Функция истории, по мнению Э. Лябрусса, заключается в тройном исследовании экономического, социального и психологического. В отличие от Вольфа, Лябрусс отдает предпочтение именно экономическим фактам, которые составляют основу фактов коллективных. Изучение классов и социальных групп, из которых состоят эти классы, должно происходить именно на экономической основе. Э. Лябрусс заявляет, что в настоящее время для такого изучения есть почти все: история буржуазии, дворянства, ремесленного сословия, пролетариата, история господствовавших и господствующих классов может быть возрождена на совершенно новой основе. И это вовсе не является «марксистским» мероприятием, продолжает Лябрусс, потому что история экономическая и история социальная не может быть ничьей собственностью: над исследованием социально-экономических процессов трудятся очень различные школы, и каждый исследователь вносит в это изучение свои подходящие знания и профессиональную честность[75]). Лябрусс, конечно, совершенно прав, что социально-экономическая история не является монополией марксистов, которые, кстати сказать, и не стремятся к такой монополии. Можно изучать только одни политические факты, оставаясь марксистом в их освещении, и, наоборот, можно социально-экономическую историю интерпретировать с немарксистских позиций. Исторические направления и школы различаются не столько тем, что они исследуют, сколько тем, как они это делают. И беда в том, что одной профессиональной честности и соответствующей квалификации часто бывает далеко не достаточно для правильного освещения исторического процесса. Как справедливо изучает И. С. Кон, реакционные и вредные идеи очень часто высказывают и пропагандируют субъективно честные и добросовестные люди, серьезные ученые, лично, по своим убеждениям, не желающие ни укреплять капитализм, ни подрывать научное знание[76]).

---

[72]) Ibid., p. 866—867.

[73]) Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 21, стр. 309—310.

[74]) Histoire et ses méthodes, p. 851. «Rensée. Revue du ratiohalisme moderne», 1962, janv.—fev., p. 35.

[75]) «Pensée», ibid, p. 34—35.

[76]) И. С. Кон. Указ. соч., стр. 24.

Главную задачу социально-экономической истории видят в изучении в прошлом распределения богатств в определенной среде, в установлении границ и функций социальных классов, их взаимоотношений между собой, в определении поведения более мелких социальных групп. Представители экономического направления во французской историографии выступают за изучение социального на прочной экономической основе, ограниченной, правда, пресловутыми» экономическими фактами» и расплывчатыми «общими условиями развития системы». Склонность к односторонне социологической и экономической трактовке истории, внутреннее отчуждение по отношению к политической истории порождает тенденцию к изложению всемирной истории как истории чисто материального, технического и культурного прогресса, к стремлению отвести классовой борьбе и революциям второстепенное место. Единство и взаимосвязь истории экономической и истории социальной считается обусловленным единством их основного объекта, каковым является средний человек («l'homme moyen»), которого противопоставляют исключительной личности, великому человеку, в котором видят действительного представителя более или менее широкой социальной группы и через которого пытаются понять экономический режим этой группы, ее юридический статут, ее психологию, обычаи, нравы и т. д.[77]).

История, по мнению Э. Лябрусса, должна быть прежде всего историей коллективных фактов, в которую вписывается история индивидов. История может быть полной, тотальной только в том случае, если она сталкивает коллектив и индивида, среду и человека. Коллективное бесспорно господствует в истории, подчеркивает Лябрусс; оно составляет сущность, путеводную нить истории, рассматриваемой во временной перспективе[78]). Наряду со стремлением воздать должное явлениям общественной жизни, охватить экономические, социальные отношения и образ мыслей среднего человека для экономического направления характерно также обращение к проблемам коллективной психологии, начало которой восходит к дюркеймовской идее «коллективного сознания». Впоследствии эта идея трансформировалась в более четкое понятие «умонастроения» (mentalité), обозначающее «господствующую в обществе манеру мыслить», присущую не отдельному индивиду, а всей социальной группе[79]). Однако речь шла вовсе не о том, чтоб определить de plano универсальные приемы чувствования, мышления и действия, а прежде всего о том, чтоб провести тесную связь между коллективными представлениями и индивидуальным поведением, с одной стороны, и состоянием общества, его историей, с другой[80]). Л. Февр и М. Блок, выступая против чисто событийной истории, прекрасно понимая необходимость тесного сотрудничества историков с исследователями различных сторон общественных явлений, уделяли большое внимание проблемам коллективной психологии. Л. Февр считал, что своей социальной средой человек обязан коллективной психологии, которой подсудны также безымянные массы, несущие на себе бремя истории[81]). Изучение психической структуры общества, по мнению Февра, не поддается индивидуальной психологии, так как индивиды, объединенные в группу, мыслят и действуют иначе, чем мыслил и действовал бы каждый индивид в отдельности при тех же обстоятельствах. В этом случае индивидуальные эмоции приводят к формированию «системы межиндивидуального возбуждения,

[77]) Histoire et ses méthodes, p. 852.
[78]) «Pensée», 1962, NIOI, p. 34—35.
[79]) Histoire et ses méthodes, p. 940.
[80]) Ibid., p. 941.
[81]) L. Febvre. Combats pour l'histoire, p. 208—209, 212.

которая становится разнообразной соответственно ситуациям и обстоятельствам и делает разнообразными также реакции и чувствительность каждого»[82]). Обращение к проблемам социальной психологии является несомненно положительной стороной французской историографии. Социальная психология имеет отдельные верные положения и установки относительно социальной обусловленности индивидуального и коллективного поведения. Жорж Дюби, французский социолог и историк, указывает, что каждое индивидуальное поведение отвечает некоторой «ситуации» и может быть понятно только в соотношении с окружающей средой[83]).

Вместе с тем положение о социальной детерминированности индивидуальных и коллективных психических функций дает извращенное представление о действительном, сущностном соотношении социально-психологических и социально-экономических отношений, макро- и микроструктуры общества. Так, Фернан Бродель делит историю на три ступени, положив в основу деления «ритм длительности». Микроистория, по его мнению, охватывает короткий промежуток времени и занимается изучением определенного события и определенного индивида. Затем идет так называемая «коньюнктурная» история[84]), охватывающая периоды, исчисляющиеся десятилетиями, и занимающаяся исследованием различных фактов. Эта история более поверхностная, история-драма. Наконец, следует история, внимание которой обращено к длительным периодам и более глубоким процессам, которые из поколения в поколение детерминируют основные позиции и поведение индивидов. К ним относятся классические произведения искусства, мировоззрения и верования, религиозные представления, понятия о добродетели, патриотизме и чести. Вместе взятые, эти идеи и представления определяют своеобразный, неповторимый колорит каждой цивилизации[85]). Короче говоря, здесь игнорируется авторами (Ф. Броделем и Ж. Дюби) тот факт, что социальная психология складывается как непосредственное отражение повседневных условий жизни людей, что социальные условия жизни являются определяющим фактором формирования и развития психики. Схема, предложенная Ф. Броделем, отражает, по мнению Жоржа Дюби, эволюцию психических поведений и позиций. Именно на уровне микроистории устанавливаются, по его словам, отношения между группами и личностями, реакции коллектива на действия индивида, а также реакции индивида на внешние давления[86]). Однако эта схема, условия, произвольная и натянутая, отражает не эволюцию психических поведений, как думает Ж. Дюби, а стремление обойти классовый анализ общественной психологии и растворить самое понятие класса в более широкой категории социальной группы, создав тем самым видимость социальной однородности современного буржуазного общества[87]). Направленная своим острием против марксистского понимания истории, эта концепция имеет целью доказать, будто органы социальной жизни являются отражением психологии коллектива. Кроме того, стремление объяснить явления общественной жизни, исходя из признания решающей в конечном итоге роли психологического фактора, приводит к тому, что предмет социальной психологии предельно расширяется, охватывает всю социальную

[82]) Ibid., p. 273.
[83]) Histoire et ses méthodes, p. 942.
[84]) Это выражение заимствовано у историков-экономистов, замечает Жорж Дюби.
[85]) Ibid., p. 950—951.
[86]) Ibid., p. 949.
[87]) См. Б. Д. Парыгин. Социальная психология как наука, Л., 1965, стр. 31.
[88]) Там же, стр. 61.

структуру и выходит за рамки индивида или коллектива[88]). «Всякая история коллективных фактов приводит к восстановлению и объяснению коллективной психологии, т. е. главным образом к социальным поведениям и мнениям»,— говорит Э. Лябрусс[89]). Большое значение он придает истории политических мнений, суждений[90]). Таким образом, отдельные факты социального поведения оказываются в центре внимания исторической науки, уже не претендующей на широкие теоретические обобщения относительно исторического развития общества в целом. Абсолютизация социально-психического в историческом процессе приводит к игнорированию того факта, что любое социальное явление или социальная «ситуация», будучи в конечном счете обусловлена экономическим фактором, представляет собой, по выражению Энгельса, не что иное, как результат столкновения множества отдельных воль, «причем каждая из этих воль становится тем, чем она является опять-таки благодаря массе жизненных обстоятельств»[91]).

Преувеличенная роль, которая отводится психологии в общественном развитии, вытекает из самого существа идеалистического понимания истории, согласно которому общественное развитие есть результат взаимодействия различных факторов, каждый из которых может становиться в различные периоды решающей силой общественного развития. Отсюда, шатание из одной крайности в другую: от географического детерминизма и упрощенного экономизма до психологизма и биологизма. Как указывает Е. Б. Черняк, психологизм и биологизм в объяснении общественных явлений получил особенно широкое распространение как средство сокрытия классовых корней политической жизни[92]). Органическое неприятие классовой борьбы лежит в основе не только пренебрежения к изучению этой политической жизни, к так называемой «событийной истории», но и в игнорировании связи классов с определенным конкретным способом производства. Излишний интерес к сфере обмена, к проблеме цен, как ключу экономического и вообще исторического движения, вызывает неправильное представление о характере социально-экономического развития, приводит к отрицанию решающей роли способа производства в историческом процессе. Наряду с этим недвумысленно отвергается детерминистское и материалистическое истолкование истории, несмотря на то, что взят курс на изучение социально-экономической сферы, в которой лежит базис исторических закономерностей. Упоминавшийся выше Ф. Вольф различает три точки зрения на этот счет: марксистскую, признающую исторические закономерности и возможность научного предвидения; противоположную ей точку зрения, отрицающую в истории всякие законы и считающую, что история есть и не может быть ничем иным, как изучением особенного и неповторимого; правда, Ф. Вольф замечает, что сторонники этой точки зрения немногочисленны, особенно в среде историков экономики; наконец, существует еще по Вольфу, «средняя позиция, сводящая понятие «закона» к более или менее нормальным связям, не допускающим абсолютного детерминизма. Впрочем, Вольф спешит оговориться, что социально-экономическая история как дисциплина еще не устоялась, поэтому об установлении та-

---

[89]) «Pensée». 1962, NIOI, p. 35.
[90]) Ibidem.
[91]) Ф. Энгельс. И. Блоху. 21—22 сент. 1890 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. II, М., 1949, стр. 468.
[92]) См. Е. Б. Черняк. Историография против истории, М., 1962, стр. 19—20.

них законов говорить преждевременно, и что дебаты на этот счет далеко не заключились[93]).

Следовательно, социально-экономическая направленность исторических исследований обесценивается в значительной мере этой «средней позицией», являющейся выражением происходящей и дифференциации в рядах французских историков. Те, кто занимает эту «среднюю позицию», часто принадлежат к левому, оппозиционному крылу буржуазной интеллигенции, готовому пойти на определенные уступки народным массам и ввиду этого проявляющему большой интерес к их социальным, экономическим и культурным потребностям. Они остро и честно критикуют современный капиталистический строй с позиций буржуазной демократии, отвергают крайне реакционные проявлении империалистической идеологии, резко отмежевываются от идей антидемократизма и милитаризма, колониализма и неоколониализма. В то же время, не порывая с идеалистическим мировоззрением, они пытаются подчинить ему марксистский подход к анализу общества и категории, выработанные в ходе его анализа. Отсюда, высказывания об «ограниченности», «архаичности» марксизма, о необходимости «достроить» его, например, культурной антропологией, аксиологией, психоанализом и т. д.[94]).

В настоящее время наблюдается некоторое охлаждение к увлечению узким экономизмом, структуральностью, социологизмом. В декабрьском номере «La Pensèe» был опубликован отчет о состоявшемся в Высшей нормальной школе в Сен-Клу коллоквиуме «О социальной истории», из которого явствует, что историки задыхаются от узкого экономизма и помышляют о возвращении к оценочной истории[95]). Эрудиция возрождается, но принимает новую ориентацию, определяемую самой историей. Правда, говоря о возрождении эрудиции, как «истории фактов», нужно иметь в виду, что она по сути дела и не исчезла окончательно[96]), и, как утверждает Робер Маришаль, никогда не исчезнет[97]). Однако в «истории фактов» сам факт приобрел иную значимость. Вместо описания и повествования или анализа фактов и событий, вместо портретов исторических деятелей делается акцент на интеллектуальных и моральных позициях, на их социальном окружении. В центре внимания была и остается история цивилизаций, но с учетом того, что она состоит из густой сети имен, дат, событий, где политические факты, обычно лучше подтверждаемые документами, составляют ее прочную основу[98]).

Правда, эта тенденция чревата нежелательными последствиями. Прежде всего возникает опасность не только возрождения, но и оправ-

---

[93]) Histoire et ses méthodes, p. 888. Ш. Э. Перрен, напротив, не теряет надежду на установление общих законов. «В своей новой концепции история,— пишет он,— стремится охватить ансамбль деятельности общества в определенный момент; ее устремление ограничивается пониманием, познанием, объяснением; наконец, в той мере, в какой она отходит от индивидуального, чтоб подойти к массовым явлениям, история способствует некоторому детерминизму, который мог бы однажды проявиться в форме общих законов» (См. его рецензию на книгу «Histoire et ses methodes» в «Gournal des savants», Paris, 1962, juillet—septembre, p. 149—150). Если бы Ш. Э. Перрен разделял марксистское понимание истории, то ему не пришлось бы ждать изобретения пороха и ограничивать функции истории пониманием, познанием и объяснением; он вынужден был бы признать за историей еще одну функцию: научное предвидение.

[94]) См. Е Д. Морджинская. Некоторые тенденции современной буржуазной критики марксистской теории. «Вопросы философии», 1966, № 2, стр.. 129.

[95]) «Pensée, 1965, N 124, p. 91.

[96]) Это в особенности относится к области античной истории. Что касается области новой и новейшей истории, то здесь по данным 1961 г. 41% докторских диссертаций были по экономической и социальной истории

[97]) Histoire et ses methodes, p. 1349.

[98]) Ibid., p. 1348—1349.

дания фактографической, чисто описательной истории. Трудно решить, в самом деле, что хуже: узкий экономизм или голый эмпиризм? Между тем именно к последнему относится Р. Маришаль. Он сетует на то, что история загромождена синтезами, объемистыми трудами, где идеи перехлестывают через край и где почти начисто отсутствуют хорошие, добросовестные, удобные для обращения перечни «объектных» фактов. Поэтому он призывает отказаться от изучения «фактов цивилизации» типа изобретения буссоля и т. д., чтоб вернуться к «объективным» фактам, приемлемым для точной датировки и локализации. «Оставьте буссоль в покое, — пишет он, — и дайте нам перечень консулов, министров, браков принцев, маршрутов королей и т. д., но не из вторых рук... Мы не требуем компиляций, в этом у нас нет недостатка, мы требуем критической работы. И это не будет история? Как Вам угодно... Во всяком случае, это будут серьезные книги, более трудоемкие и полезные, чем важные тезисы»[99]).

В методике научного исследования Робер Маришаль предлагает вернуться на дорогу, проложенную в свое время Ланглуа и Сеньобосом. По его словам, историк, размышляющий над условиями своей профессии, не отбрасывает аксиомы позитивистского метода, а старается поднять их на уровень, на котором они приемлемы[100]). Этот уровень определяется умением критически осмыслить документы различного характера и зафиксировать правила их исследования. Правда, Маришалю не удается выработать эти правила, и его схема критики источников покоится на рельсах традиционной позитивистской методологии истории. Однако в отличие от схемы Ланглуа и Сеньобоса сфера исторического исследования расширяется и включает в себе не только «видимые, предметные» события, но и так называемые «ценности» — намерения, интересы, императивы — рассматриваемые в плане общественного сознания, оторванного от общественного бытия. Поэтому обычные методы исторического исследования (в частности сравнительно-исторический метод, прекрасно разработанный М. Блоком, хотя и в рамках буржуазной методологии науки[101]) признаются недостаточными и подменяются интуитивными постижениями ценностных представлений индивида, которые якобы служат ему ориентиром в социальной действительности. «Когда объектом исследований историка становится определенный индивид, изучаемый в своей деятельности и жизни, — пишет Р. Маришаль, — тогда сравнительный метод оказывается недостаточным. Конечно, общество... «присутствует» в своем индивиде; поведение каждого индивида может быть сравнимо в большей степени с поведением его современников, но то, что является самым глубоким в нем и самым интересным, несравнимо»[102]). А раз несравнимо — значит непознаваемо, поэтому вместо научного анализа жизни общества предлагается интуитивное постижение субъективных переживаний и ценностных представлений индивида. Неслучайно Р. Маришаль принимает формулу А. Марру о том, что «историческое познание покоится в конечном счете на акте веры»[103]) лишний раз подтвердив тем самым, что «современный» философствующий «историк подчас выступает в качестве откровенного приверженца релятивизма и субъективизма»[104]).

Таким образом оппозиция отдельных ученых против «синтеза», против школы «Анналов» логически ведет к возрождению политической ин-

[99]) Ibid., p. 1349—1350.
[100]) Ibid., p. 1348.
[101]) См. об этом В. В. Иванов. Указ. соч., стр. 98—101.
[102]) Histoire et ses methodes, p. 1359—1360.
[103]) Ibid., p. 1360.
[104]) О. М. Медушевская. Некоторые проблемы методологии истории в современной французской историографии. «Вопросы истории», 1965, № 1, стр. 110.

терпретации истории» в духе немецкого историзма», как выражается В. Бертольд[105]). Правда тенденция к такой интерпретации едва ли грозит всей истории, особенно новой и новейшей. Как замечает Ш. Э. Перрен, непреодолимое течение несет молодых исследователей к сюжетам новейшей истории, не только потому, что настоящее находит свое объяснение в недавнем прошлом, но и потому, что современная эпоха из-за обилия статических данных представляет прекрасные сюжеты для исследований в области истории экономической и социальной[106]). По-иному обстоит дело в области античной истории и истории средних веков, где из-за скудности материала, поддающегося серийной обработке, наблюдается резко выраженное охлаждение к социально-экономическим проблемам и даже в целом к этим периодам. Это в особенности относится к средним векам; что касается античной истории, то она, по словам Ш. Э. Перрена, продолжает сохранять своих адептов в силу западноевропейских гуманистических традиций и в силу того, что древние тексты имеют исключительную ценность для формирования историка.

Следовательно, для истории древнего мира и средних веков характерной (за редким исключением) остается политическая интерпретация истории. Поэтому опасение Ш. Э. Перрена, что экономическая история во Франции рискует задушить исследования иного характера напрасны, так как там существуют концепции, ничего общего не имеющие ни с «историческим синтезом», ни с экономическим направлением[107]). Притом, в рамках даже одного направления или школы уживаются, как правило, весьма разнородные тенденции и устремления, что объясняется во многом общим состоянием кризиса буржуазной исторической мысли, ее панической боязнью исторического материализма[108]). Любая же ориентация (даже социально-экономическая) в рамках идеалистического понимания исторического процесса не может дать общего положительного результата вследствие несостоятельности исходных теоретико-методологических позиций, которые в свою очередь определяются «современной историку социально-политической действительностью и общественной борьбой»[109]).

Таким образом, в настоящее время характерной тенденцией во французской историографии является тенденция к «синтетическому» исследованию, к «интеграции» общественных наук, наиболее отчетливо проявляющаяся в школе «Анналов». Это — несомненно прогрессивное явление буржуазной историографии. Но, как указывает И. С. Кон, при этом сразу же встает вопрос: что именно подлежит интеграции? Насколько те области знания, к которым обращаются за помощью буржуазные историки, сами являются научно состоятельными?[110]). Действительно, апелляция к современной буржуазной социологии и аксиологии, коллективной психологии и культурной антропологии, которые сами содержат множество произвольных, ненаучных постулатов, не может пойти на пользу исторической науке.

Рассмотрение экономического направления показывает, что несмотря на ряд положительных моментов в историографической практике приверженцев данного направления, решение методологических вопросов исторической науки невозможно в рамках философского идеализма.

---

[105]) В. Бертольд. Указ. соч., стр. 263.
[106]) CH.— Edmond Perrin, ibid., p. 154—155.
[107]) Ibidem.
[108]) Г. Г. Дилигенский. Там же, стр. 190.
[109]) А. И. Данилов. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ. «Средние века», вып. XV, 1959, стр. 91.
[110]) И. С. Кон. О современной буржуазной философии истории. «Философские науки», 1965, № 2, стр. 83.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

ИСТОРИОГРАФИЯ ФРГ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ В ЗАГОВОРЕ 20 ИЮЛЯ 1944 ГОДА В ГЕРМАНИИ

Н. С. ЧЕРКАСОВ

Известно, что в заговоре 20 июля 1944 г. участвовали и «некоторые немецкие патриоты из числа офицеров и представителей буржуазии, которые не разделяли реакционную концепцию группы Герделера и выступали за союз с активными борцами-антифашистами из рабочего класса, против односторонней ориентации Германии на империалистические западные державы, противоречившей национальным интересам немецкого народа»[1]).

К числу их относятся прежде всего непосредственный исполнитель покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. граф Клаус Шенк фон Штауффенберг и ряд группировавшихся вокруг него офицеров, а также участники патриотической группировки, сложившейся в так называемом «кружке Крайзау» (Адам фон Тротт цу Зольц, Петер Йорк фон Вартенбург, Адольф Рейхвейн и др.). Данная статья не ставит целью доказать наличие в заговоре 20 июля патриотического течения — это уже сделано в марксистской литературе Советского Союза и ГДР[2]). Несмотря на непоследовательность и противоречивость взглядов представителей патриотического течения, в их представлениях о будущем Германии, о путях и способах борьбы с гитлеризмом явственно ощущается влияние подлинно антифашистского движения. В их воззрениях, как пишет историк ГДР Хелена Роггенбук, можно констатировать по крайней мере точки соприкосновения с непосредственными требованиями КПГ[3]).

Участники патриотической группировки в заговоре 20 июля 1944 г., несомненно, должны быть отнесены к борцам антифашистского Сопротивления. Их деятельность высоко оценивается в Германской Демократической Республике, являющейся воплощением заветов борцов-антифашистов не только из рядов рабочего класса, но и из других слоев населения Германии. Выступая по случаю 20-й годовщины создания блока антифашистских демократических партий, первый секретарь ЦК СЕПГ, председатель Государственного Совета ГДР В. Ульбрихт воздал должное памяти жертв антифашистской борьбы из числа участников патриотической группы в заговоре 20 июля 1944 г.[4]). Орган ЦК СЕПГ газета «Нойес Дойчланд» отмечала, что «в лице своих лучших представителей,

[1]) Очерк истории немецкого рабочего движения. М., 1964, стр. 161.

[2]) См., например, Д. Мельников. Заговор 20 июля 1944 года в Германии. Причины и следствия. М., 1965, стр. 154—183; Zur Vorgeschichte der Verschwörung des 20. Juli 1944. Berlin, 1960, S. 88—97 и др.

[3]) H. Roggenbuck. Der 20. Juli 1944 im Lichte der historischen Wahrheit. — «Einheit», 1964, Hf. 7, S. 88.

[4]) «Neues Deutschland», 14. VII. 1965.

в их мужественных действиях 20 июля было актом сопротивления варварству»[5]).

Значение деятельности патриотической группы в заговоре 20 июля 1944 г., принципиальную противоположность ее целей целям реакционной верхушки заговора отмечает и ряд прогрессивных западногерманских историков. Так Г. Брюдигам отмечает, что в «кружке Крайзау» и в группе, сформировавшейся вокруг Штауффенберга, господствовали «совершенно иные представления, нежели чем у заговорщиков вокруг Герделера и генералов»[6]). Аналогичная оценка деятельности патриотической группы в заговоре 20 июля дается в журнале западногерманского объединения лиц, преследовавшихся при национал-социализме[7]). Один из руководителей этого объединения, Макс Оппенгеймер, выступая по поводу 21-й годовщины покушения на Гитлера 20 июля 1944 г., заявил о необходимости «разрушить легенду о том, что будто бы все участники 20 июля были в большей или меньшей степени предтечами стратегии НАТО». Он отметил, что «от западногерманской общественности скрывают, что в рядах людей 20 июля имелись весьма различные, даже совершенно противоположные воззрения», подчеркнув необходимость бороться с подобного рода исторической фальсификацией[8]).

Патриотические силы в заговоре 20 июля осуществили все сколько-нибудь серьезные **практические** действия, предпринятые заговорщиками. Без них оппозиция против Гитлера так и осталась бы пустой болтовней, не сопровождаемой какими-либо реальными шагами, направленными на ликвидацию фашистского режима.

По сути дела наличие патриотической группы в заговоре 20 июля и позволяет в настоящее время демократическим и либеральным силам Западной Германии использовать годовщину покушения Штауффенберга на Гитлера как повод для разоблачения бывших нацистов, в том числе и тех, кто принимал непосредственное участие в расправе над заговорщиками, в нынешней Западной Германии.

Так, 19 июля 1964 г. на митинге в Вольном университете Западного Берлина, где с антисоветской речью выступил президент ФРГ Г. Любке, выступили также представители социалистического и либерального студенческих союзов, которые потребовали наказания всех сторонников и пособников Гитлера. Студенческие союзы потребовали полного расследования всех преступлений, совершенных национал-социалистами и удаления с государственной службы всех лиц, которые в какой-либо форме в них участвовали[9]).

Однако эти и подобные им высказывания тонут в нынешней Западной Германии в хоре голосов буржуазных историков, стремящихся опровергнуть факт наличия в заговоре 20 июля патриотического направления. Целью таких стремлений является обоснование невозможности сколько-нибудь прочного союза между рабочим классом и другими слоями населения Германии, устранение всяких сомнений относительно антикоммунистических и антисоветских убеждений всех участников заговора 20 июля 1944 г., с тем, чтобы тем вернее использовать их образ, так извращенный, в антикоммунистической и антисоветской пропаганде сегодняшнего дня.

---

[5]) «Neues Deutschland», 22. VII. 1965.

[6]) H. Brüdigam. Wahrheit und Fälschung. Frankfurt am Main, 1959, S. 66. Представляется, однако, что Г. Брюдигам делает ошибку, рассматривая «кружок Крайзау» как некое однородное целое, не учитывая наличия в нем реакционной группировки, близкой к группе Герделера.

[7]) «Stimme des Widerstandes», 1964, Hf. 8/9, S. 8.

[8]) «Neues Deutschland», 21. VII. 1965.

[9]) «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 20. VII. 1964.

Особое внимание западногерманские историки уделяют интерпретации образа К. Ш. фон Штауффенберга. Это неудивительно. Яркая фигура Штауффенберга, человека, обладавшего, как это признают даже его враги, самыми разносторонними талантами, на протяжении целого года несшего на своих плечах фактически всю организационную работу по подготовке к попытке переворота, самого осуществившего, несмотря на тяжелые физические недостатки (в Северной Африке он потерял правую руку, часть пальцев левой руки и глаз), попытку уничтожения Гитлера и в самый день 20 июля 1944 г., в отличие от действовавших в высшей степени медлительно и нерешительно генералов, до последнего момента пытавшегося повернуть ход событий в иную сторону, невольно привлекает к себе внимание.

Можно выделить два основных подхода к трактовке образа Штауффенберга, применяемых западногерманскими историками. В первом случае стремление Штауффенберга к установлению контактов с антифашистским движением Сопротивления, руководимым коммунистами, к установлению дружественных отношений с Советским Союзом признается, но при этом он осыпается бранью, обвиняется в желании установить «новую тоталитарную диктатуру» и противопоставляется основной массе заговорщиков как некий «чужеродный элемент». Эта версия преобладает у историков консервативного направления. Во втором случае образ Штауффенберга подвергается довольно тонкой фальсификации. Отмечаются его «странности», «своеобразие» его политических установок, но в целом он изображается как человек, антикоммунизм которого не вызывает сомнений. Особое внимание при этом уделяется спекуляции на некоторых (и весьма существенных) слабостях и ошибках Штауффенберга. Подобная трактовка характерна для сторонников псевдолиберального направления и получила особенное распространение в последние годы. Она самым непосредственным образом связана с попытками фальсификации позиции немецких коммунистов в антифашистской борьбе[10]).

Одним из тех, кто положил начало первому варианту трактовки образа Штауффенберга, был глава американской разведывательной службы в Швейцарии Аллен Даллес. С явным неудовольствием он констатировал, что Штауффенберг, этот «опасный революционер», «проявлял величайший интерес к проблемам Востока». Со слов своего поверенного Гизевиуса Даллес утверждает даже, что Штауффенберг намеревался «произвести революцию рабочих, крестьян и солдат» и стремился при поддержке Советской Армии создать «организованную по русскому образцу коммунистическую Германию»[11]). Гизевиус, крайне неприязненно относившийся к Штауффенбергу (и к которому Штауффенберг в свою очередь питал глубокое недоверие) естественно стремился изобразить его перед своим шефом — А. Даллесом — в самом невыгодном свете, но так или иначе Даллес, безусловно пользовавшийся и другими источниками о настроениях заговорщиков, не сомневается в «революционных» намерениях Штауффенберга. В другом месте он констатирует, что именно Штауффенберг «предложил включить комму-

[10]) См. А. С. Бланк. КПГ в борьбе против фашизма и войны (1933—1945). М., 1964, стр. 154—183; П. Ю. Рахшмир. Фальсификация западногерманскими буржуазными историками истории антифашистского Сопротивления в Германии.— «Из истории рабочего и коммунистического движения в зарубежных странах», часть 2, Свердловск, 1963; Н. С. Черкасов. Проблемы немецкого антифашистского движения Сопротивления в историографии ФРГ. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 3, Томск, 1965.

[11]) A. W. Dulles. Verschwörung in Deutschland, Kassel, 1948, S. 218.

нистов в коалицию» против Гитлера и настоял на встрече с их представителями, что, по мнению Даллеса, имело роковые последствия[12]).

Признавая, что среди тех, кто «склонялся в сторону Востока», многие были привлечены «динамической силой, которая оттуда исходила», Даллес, однако, использует существование среди заговорщиков группы людей, стремившихся к установлению дружественных отношений с Советским Союзом, для выпадов против той, на его взгляд неверной, политики, которую проводили западные державы в годы войны по отношению к Германии. Большинство тех, кто стоял за «восточную ориентацию», пишет он, «находились, хотя и не хотели в этом признаться самим себе, под воздействием очень тонкой и эффективной русской пропаганды, в то время как с Запада они не слышали ничего иного, кроме того, что они должны безоговорочно капитулировать», и далее обрушивается с резкими нападками на вредный, по его мнению, лозунг безоговорочной капитуляции[13]).

Откровенной неприязнью к Штауффенбергу пронизаны мемуары находившегося на крайнем реакционном крыле заговора Г. Б. Гизевиуса. Некоторые западногерманские историки пытаются объяснить эту неприязнь чисто личными мотивами. Дело, конечно, главным образом, не в них. Неприязнь в отношениях между Штауффенбергом и Гизевиусом объясняется, в первую очередь, принципиальными расхождениями между ними по вопросу о целях и методах борьбы против Гитлера. Штауффенбергу претили практиковавшиеся Гизевиусом сугубо конспиративные методы, исключавшие возможность привлечения к борьбе против Гитлера сколько-нибудь широких кругов, его контакты с архиконсервативными и профашистскими сферами (Шахт, Хелльдорф, Небе, Канарис и др.). Гизевиусу были, в свою очередь, глубоко чужды демократические установки Штауффенберга, его стремление к созданию широкого фронта борьбы против Гитлера, его идеи относительно необходимости взаимопонимания Германии с ее восточными соседями. Отсюда его вражда к нему. Гизевиус не стесняется в бранных эпитетах в адрес Штауффенберга, опускаясь при этом до столь недостойных приемов, как утверждение о том, что даже внешность и манеры его были такими же, что и у национал-социалистов(?!)[14]). До прихода Штауффенберга в заговор, пишет Гизевиус, военные занимались технической подготовкой переворота, а гражданские — политической. Теперь же все изменилось. Штауффенберг стал вмешиваться в решение политических проблем. Гизевиус выражает крайнее возмущение этим обстоятельством. Как же: теперь стало труднее осуществлять те закулисные махинации с явными и скрытыми нацистами, которые составляли существенный момент его деятельности! В раздражении он тут же обвиняет Штауффенберга в стремлении к установлению «военной диктатуры» по образцу национал-социалистической, при этом, чтобы сделать

[12]) Ebenda, S. 221—222.

[13]) Ebenda, S. 211.

[14]) H.—B. Gisewius. Bis zum bitteren Ende. Hamburg, 1960, S. 475. Характерно, что большинство западногерманских историков повторяет слово в слово легенду (автора которой сейчас трудно выяснить) о том, что в 1933 г. Штауффенберг, будучи офицером воинской части, расквартированной в Бамберге, горячо приветствовал приход к власти национал-социалистов. Г. Френкель, не поверив на слово распространителям этой легенды, решил побеседовать с вдовой Штауффенберга — графиней Ниной Штауффенберг и выяснил, что ничего подобного не было и Штауффенберг всегда был противником нацизма (H. Fraenkel, R. Manvell. Der 20. Juli. Berlin—Frankfurt am Main—Wien, 1964, S. 205). Невольно возникает вопрос: неужели западногерманские историки, столь кичащиеся солидностью источниковедческой базы своих исследований и создавшие настоящий культ «личных писем к автору» и «личных бесед с автором» не могли выяснить этот момент раньше?

его облик еще более отвратительным для буржуазного читателя, он добавляет, что Штауффенберг ставил ударение на социалистических моментах такой диктатуры[15]). С филистерским ужасом сообщает Гизевиус, что в окружении Штауффенберга обсуждалась идея установления союза с иностранными рабочими, согнанными в Германию, и с массами немецких рабочих, добавляя для вящего страха буржуа и усиления его ненависти к сторонникам Штауффенберга, что они будто бы говорили даже о «братстве угнетенных как базе, на которой будет построена совершенно новая Европа»[16]).

Из мемуаров Гизевиуса многое заимствовал в своей работе «Карл Герделер и немецкое движение Сопротивления» Герхард Риттер. Он подчеркивает серьезность расхождений между Штауффенбергом и Герделером. Штауффенберг, пишет он, хотел обновления Германии посредством революционного движения, которое в своем «бешеном беге» должно смести все старое». Буржуазные же политики и «прежде всего Герделер... хотели, наконец, положить предел «бешеному бегу» революционного усердия и поставить на место вечного революционного смятения ясный и прочный порядок». Риттер недвусмысленно берет при этом под защиту Герделера, называя критические замечания Штауффенберга в его адрес «незрелым непониманием... истинных потребностей времени». «Можно понять,— пишет он,— что Герделер лишь с трудом переносил... этого своенравного, делавшего все наперекор человека»[17]), который, как писал, уже находясь в заключении, Герделер, «желал неясного политического курса сближения с левыми социалистами и коммунистами и своим своенравием сильно осложнил мне жизнь»[18]).

Следует отметить, что Риттер, браня Штауффенберга за «левизну» и «революционность», в то же время пытается представить его расхождения с Герделером не как результат принципиально различных политических установок, а как следствие «нервного перенапряжения» и «разности темпераментов», перенося тем самым расхождения из области идеологии в область психологии[19]). Он не упускает случая подчеркнуть отрицательное отношение Штауффенберга к коммунизму как общественному строю и даже не останавливается перед тем, чтобы приписать ему явно националистические и шовинистические устремления. Так, он утверждает, что Штауффенберг будто бы выступал за сохранение «имперской границы 1914 г. на Востоке, сохранение Австрии и Судетской области в составе рейха, автономию Эльзас-Лотарингии, приобретение Тироля до Боцена и Мерана»[20]). Риттер однако не приводит никаких доказательств, свидетельствующих о согласии Штауффенберга с документом, в котором излагаются эти требования. Документ этот, озаглавленный «Цель», был найден гестаповцами у сотрудника начальника штаба резервной армии генерала Ольбрихта капитана Германа Кайзера и, как полагало гестапо, был самим Кайзером и составлен[21]). С другой стороны известно, что когда 16 июня 1944 г. на

[15]) H.—B. Gisewius. Bis zum bitteren Ende, S. 472.
[16]) Ebenda, S. 448—449.
[17]) G. Ritter. Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung. Stuttgart, 1954, S. 360.
[18]) Ebenda, S. 527.
[19]) Ebenda, S. 365.
[20]) Ebenda, S. 609.
[21]) Spiegelbild einer Verschwörung. Stuttgart, 1961, S. 119. Герман Кайзер, историк по профессии, был близок к Ф. Мейнеке, с которым регулярно встречался, начиная с 1941 г. (F. Meinecke. Die detsche Katastrophe, Zürich-Wiesbaden, 1946, S. 145). Риттер полагает, что Кайзер лишь переписал этот документ, составленный Герделером (G. Ritter. Carl Goerdeler..., S. 500). Возможно, это и так, хотя не исключена и возможность того, что ряд разделов меморандума принадлежит самому Г. Кайзеру.

совещании в отеле «Эспланада» произошло столкновение между Герделером и Штауффенбергом по поводу того, что последний самостоятельно вступил в связь с лидерами профсоюзов, участвовавшими в заговоре, что по мнению Герделера не являлось «делом военных», то близкий к Штауффенбергу Ю. Лебер заявил о необходимости отказа Германии от Восточной Пруссии, Судетской области и Эльзас-Лотарингии. Это заявление встретило резкий отпор со стороны Герделера, который даже объявил, что впредь не хочет иметь ничего общего ни с Лебером, ни со Штауффенбергом[22]). Риттер таким образом, нападая на Штауффенберга с точки зрения консервативного ядра заговорщиков, стремится в то же время сделать его образ «непригодным для использования» при доказательстве факта существования прогрессивного крыла в заговоре, преувеличивая реакционные моменты его мировоззрения.

Не сомневается в намерениях группировавшихся вокруг Штауффенберга участников заговора заключить мир с Советским Союзом В. Р. фон Шрамм. Он противопоставляет им руководителей оппозиции в Париже, которые активно искали пути контактов с западными державами, в то время как в Берлине, с неодобрением замечает Шрамм, всерьез обсуждали планы посылки Шуленбурга в Москву[23]).

Утверждает, что Штауффенберг, этот «националист и социалист», придерживался «тоталитарного образа мышления», в то время как Герделер «хотел восстановить демократию» и сторонник консервативного направления К. Миш[24]).

Для сторонников консервативного направления любое отступление от позиций защиты германского империализма и милитаризма, любая мысль о полезности контактов с коммунистами является смертельным грехом. Отсюда и их вражда к Штауффенбергу, к другим патриотам — участникам заговора 20 июля.

Историки псевдолиберального направления поступают иначе: они стремятся отвести от Штауффенберга и его единомышленников всякие подозрения в намерениях установить единство действий с коммунистами (если значение контактов с ними и признается, то потому лишь, что это были «национально ориентированные коммунисты», линия которых будто бы расходилась с линией ЦК КПГ) и в каких бы то ни было симпатиях к Советскому Союзу. Прогрессивные, демократические идеи, выдвигавшиеся ими, будучи соответствующим образом извращены, подаются как предвосхищающие «демократический» порядок «социального равноправия», будто бы установившийся в Федеративной Республике. Нынешние ее руководители особенно хотят получить себе в союзники, изобразить в качестве своего идейного и политического предшественника Клауса Штауффенберга. Неслучайно в последние годы все большая часть церемоний в дни годовщин 20 июля отводится на его долю. К месту расстрела Штауффенберга ежегодно боннскими официальными лицами, среди коих немало бывших нацистов, в свое

---

[22]) Spiegelbild einer Verschwörung, S. 118.

[23]) W. R. von Schramm. Der 20. Juli in Paris. Bad Wörishofen, 1953, S. 22—23.

[24]) C. Misch. Deutsche Geschichte in Zeitalter der Massen. Stuttgart, 1952, S. 512. В популярной литературе дело в свое время доходило до того, что Штауффенберга обвиняли в прямом пособничестве «Советам». Так, например, в 1950 г. известный журнал «Дер Шпигель» писал, что Штауффенберг, этот «единственный революционер среди путчистов» и «политический путаник», хотел «захватить Германию и выступить вместе с Россией против капиталистического Запада» и, что, если бы он оказался у руководства в случае удачи переворота, то «русские стояли бы сегодня не на Эльбе, а по меньшей мере на Рейне» («Der Spiegel», 23. III. 1950. Цит. по E. Zeller. Geist der Freiheit. Der 20. Juli 1944. München, 1956, S. 405). Автор статьи предпочел остаться анонимным.

время всячески одобрявших расправу фашистских главарей над заговорщиками, возлагаются венки. Бывшая Бендлерштрассе, где находилась штаб-квартира заговорщиков в день 20 июля 1944 г. и где Штауффенберг и его товарищи были убиты, переименована в Штауффенбергштрассе. В 1964 г. военный министр фон Хассель торжественно открыл памятник Штауффенбергу в Зигмарингене. Поистине пределом кощунства над памятью мужественного антифашиста Штауффенберга явилось наименование его именем... одной из казарм бундесвера[25]). Популярность Штауффенберга, притягательную силу его личности и его идей стремятся использовать в интересах сделавшего своим знаменем антикоммунизм и реваншизм боннского режима. В последние годы выходит все большее число работ, принадлежащих, главным образом, перу историков псевдолиберального направления, посвященных как самому Штауффенбергу, так и другим представителям патриотического направления в заговоре 20 июля 1944 г. и извращающих их образ[26]).

Историки-псевдолибералы, в том числе их признанный лидер Г. Ротфельс, придают исследованию и интерпретации взглядов и деятельности Штауффенберга очень большое значение, сознательно противопоставляя свою трактовку точке зрения историков-марксистов. В предисловии к специальному номеру ежеквартальника Мюнхенского института современной истории, посвященного 20-й годовщине заговора 20 июля 1944 г., Г. Ротфельс прямо пишет, что этот номер должен быть посвящен прежде всего «исторической фигуре Клауса Штауффенберга», так как необходимо противостоять попыткам историографии советской зоны (так именует Ротфельс ГДР — **Н. Ч.**) и Советского Союза вырвать Штауффенберга и его группу из общей картины немецкой оппозиции против Гитлера»[27]). В своей статье, посвященной 20-й годовщине заговора, Г. Ротфельс все время говорит о Штауффенберге и его «союзниках» в заговоре, но не упоминает даже имен К. Герделера и Л. Бека[28]). В то же время следует отметить, что в работах самого Г. Ротфельса, подчеркивающего важность изучения «исторической фигуры» Штауффенберга, о нем говорится весьма мало. Это касается, в частности, и его книги «Немецкая оппозиция против Гитлера». Создается впечатление, что этот маститый ученый, понимая «невыгодность» той интерпретации образа Штауффенберга, которую дают историки консервативного направления, не рискует в то же время, боясь быть обвиненным в научной недобросовестности, развивать ту концепцию, которую выдвигают его менее видные единомышленники. Он ограничивается лишь эскизным наброском тех идей, которые в развернутом виде излагают Б. Шойриг, Э. Целлер и др. Ротфельс пишет, что Штауффенберг «жил более в универсальной перспективе, нежели в во-

---

[25]) «Bulletin des Presse — und Informationsamtes des Bundesregierung», 21. VII. 1964, Nr. 114, S. 1088.

[26]) Только за последнее время появились работы Б. Шойрига, Э. Целлера, И. Крамаржа о Штауффенберге, Г. Ротфельса о А. фон Тротт цу Зольце и др. (B. Scheurig. Claus Graf Schenk von Stauffenberg. Berlin, 1964; E. Zeller. Claus und Berthold Stauffenberg.—«Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte»—1964, Hf. 3; H. Rothfels. Trott und die Aussenpolitik des Widerstandes.—«Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 1964, Hf. 3; J. Kramarz. Claus Graf Stauffenberg. Das Leben eines Offiziers. Frankfurt am Main, 1965).

[27]) «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 1964, Hf. 3, S. 221. См. также: T. Vogelsang. Die Widerstandsbewegung und ihre Problematik in der zeitgeschichtlichen Darstellung.—«Aus Politik und Zeitgeschichte», 1965, Hf. 28, S. 20—21.

[28]) «Aus Politik und Zeitgeschichte», 1964, Hf. 29, S. 3—6. Как в «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», так и в «Aus Politik und Zeitgeschichte» в специальных номерах, посвященных 20-й годовщине заговора 20 июля 1944 г. на первом плане — фигура Штауффенберга.

енной или националистической. Мысли и планы его были направлены на освобождение всех народов, которые страдали под тираническим господством, но, конечно, не на замену гитлеровской диктатуры сталинской»[29]). Сквозь вуаль изощренных формулировок явственно проглядывает излюбленная Ротфельсом «доктрина тоталитаризма»: Штауффенберг был-де борцом не только с гитлеровским фашизмом, но и с «тоталитаризмом» вообще, к коему под предлогом ошибок, связанных с культом личности, отнесен и советский строй. Несколько далее Ротфельс хвалит книгу К. Михеля «Восток и Запад» за то, что в ней содержится «ценная информация» об антисоветских настроениях Штауффенберга, хотя сам называет эту книгу «слишком романтической»[30]).

Книга Эберхарда Целлера «Дух свободы» местами представляет настоящий панегирик Штауффенбергу, самым ревностным среди западногерманских историков почитателем которого является ее автор. Целлер разыскал и привел в книге множество материалов о жизни и деятельности Штауффенберга, нелицеприятно свидетельствующих о его мужестве, патриотизме, в том числе материалы о его контактах с участниками коммунистического подполья. Но в то же время Штауффенберг Целлера — человек, которому «ничто не чуждо более, чем желание развязать революцию снизу», человек, контакт которого с коммунистами объясняется лишь желанием прощупать их силы, человек, который предлагал заговорщикам открыть фронт на Западе, продолжая борьбу против Советской Армии[31]). Целлер резко критикует Гизевиуса за то, что тот создал «легенду о стремлении Штауффенберга к «восточному решению»[32]).

Б. Шойриг в своей работе о НКСГ утверждает, что как раз консервативное крыло заговора, в частности У. фон Хассель, возлагали свои надежды на деятельность Национального Комитета «Свободная Германия» в Советском Союзе, в то время как после того, как в центре заговора встал Штауффенберг, стал заметен «растущий... отказ от лозунгов организации «Свободная Германия»[33]).

Значительный интерес представляет вышедшая к 20-й годовщине со дня 20 июля 1944 г. книга Б. Шойрига, специально посвященная К. Штауффенбергу. Шойриг решительно отбрасывает утверждение историков-консерваторов о том, что Штауффенберг был сторонником установления «диктатуры» и чуть ли не замаскированным национал-социалистом. Он был убежден, пишет Шойриг, что «только демократическая республика может освободить Германию от диктатуры». Шойриг констатирует, что Штауффенберг стремился к осуществлению реформ «буржуазно-капиталистического порядка» и к тому, чтобы

---

[29]) H. Rothfels Die deutsche Opposition gegen Hitler. Frankfurt am Main—Hamburg, 1958, S. 136.

[30]) Ebenda, S. 201. О «научном» уровне этой книги можно судить хотя бы по таким примерам. Она насыщена звероподобными «большевистскими комиссарами», некими русскими старцами, обращающимися к немецким офицерам «мои братья» и т. д. В ней фигурирует мифическая девушка «Руся», которая приехала в Германию и только там узнала, что такое «цивилизация». Автор книги, совершив невероятные подвиги, спасает «Русю» из концлагеря, куда ее поместили нацисты за то, что она была «против мировой революции» (K. Michel Ost und West. Der Ruf Stauffenbergs. Zürich, 1947). Б. Шойриг справедливо отмечает, что книга Михеля «вряд ли заслуживает обсуждения» (B. Scheurig. Claus Graf Schenk von Stauffenberg, S. 93).

[31]) E. Zeller. Geist der Freiheit, S. 221, 381, 382. Несколько переработанный вариант одной из глав этой книги представляет статья Целлера о Штауффенберге в «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 1964, Hf. 3.

[32]) Ebenda, S. 372.

[33]) B. Scheurig. Freies Deutschland. München, 1960. S. 146.

«рабочему классу было предоставлено достойное место в государстве»[34]).

Шойриг с горечью отмечает, что «на Западе Германии смущенно обходят Штауффенберга. Его не любят». Шойриг однако пытается это объяснить тем, что в ФРГ будто бы «сегодня патриотизм почти заглушен. Ошеломляющее поражение удушило его... Поступок из любви к отечеству вряд ли одушевит ныне сердца и умы»[35]).

Сам Шойриг весьма высоко оценивает роль Штауффенберга. «Без акции Штауффенберга едва ли стоит говорить о каком-либо сопротивлении Гитлеру,— пишет он».— Штауффенберг — «одна из вершин нашего века, перед которой мы все должны склониться»[36]).

Факты о взглядах и деятельности Штауффенберга, которые приводит в своей книге Шойриг, представляют большой интерес. Объективно они подтверждают ту оценку Штауффенберга, которая дается в марксистской литературе (Д. Мельников и др.). Итальянский исследователь движения Сопротивления в Германии Энцо Коллотти отмечает, что факты, сообщаемые Шойригом, «ничуть не противоречат воссозданию политической позиции Штауффенберга, обрисованной Мельниковым, разве только вводят некоторую расплывчатость там, где советский ученый выступает с более решительными утверждениями»[37]).

Однако сам Шойриг, вступая в противоречие с им же самим сообщаемыми фактами, пытается дать иную трактовку взглядов Штауффенберга. Он совершенно сознательно противопоставляет ее оценке Штауффенберга в марксистской литературе, преследуя провозглашенную Ротфельсом цель — «не-отдавать» Штауффенберга «Востоку»[38]). Недооценка Штауффенберга, «замешательство» вокруг него вызывают возмущение Шойрига прежде всего потому, что это помогает марксистской историографии «взять Штауффенберга себе».

Шойриг особенно настойчиво подчеркивает, что Штауффенберг рассматривал «восточное решение» (т. е. установление контактов с Советским правительством и прекращение военных действий на Восточном фронте) лишь как «тактическое средство давления» на западные державы[39]). Шойриг утверждает, что Штауффенберг крайне отрицательно относился к НКСГ и никогда не пытался установить с ним контакт[40]). Он ничего не говорит о попытках Штауффенберга установить контакты с немецкими коммунистами. Буквально копируя Ротфельса, Шойриг заявляет, что Штауффенберг «боролся против Гитлера и его системы не для того, чтобы позволить победить другому тоталитаризму»[41]). Характерным моментом концепции Шойрига является также попытка несколько сгладить противоречия между Штауффен-

---

[34]) B. Scheurig. Claus Graf Schenk von Stauffenberg, S. 56—58.

[35]) Ebenda, S. 90. Подобные же взгляды развивает в рецензии на книгу Б. Шойрига В. Фенор. «В Федеративной республике,— пишет он,— потеряно, кажется, всякое отношение к национальному прошлому... 1813 год отдан СЕПГ... Нетронутым отдают Востоку и имя Штауффенберга». (W. Venohr. Verlegenheit um Stauffenberg? — «Die Zeit», 1964, N. 12, S. 17).

[36]) Ebenda, S. 92, 91.

[37]) E. Collotti. Lòppositione antinazista e l'attentato del 20 luglio.—«Il movimento di liberazione in Italia», 76, luglio—settembre 1964, p. 109.

[38]) Характерно, что Шойриг, который еще в 1960 г. провозглашал необходимость игнорирования марксистской литературы, остается верен себе и в 1964 г. Так, в качестве примера марксистской трактовки Штауффенберга он называет одну лишь книгу М. А. Мильштейна (М. А. Мильштейн. Заговор против Гитлера. М., 1962), даже не упоминая о исследованиях Д. Мельникова и о работах, появившихся в ГДР. (B. Scheurig. Claus Graf Schenk von Stauffenberg, S. 63.

[39]) B. Scheurig. Claus Graf Schenk von Stauffenberg, S. 63.

[40]) Ebenda. S. 62—63.

[41]) Ebenda, S. 63.

бергом и Герделером, характеризуя последнего как тоже «демократа»[42]).

Хотя марксистское исследование взглядов и роли Штауффенберга по сути дела только еще начинается, уже сейчас налицо достаточное количество фактов, которые опровергают концепцию Шойрига, рушащуюся под давлением даже и тех фактов, которые приводит ее автор и другие западногерманские историки. На деле идея переговоров с «Востоком» была для Штауффенберга не просто «тактическим средством», а осознанием необходимости установления дружественных отношений с восточными соседями Германии. Один из его близких друзей, оставшихся в живых, Буше, выступая на дискуссии в историческом семинаре в Гамбургском университете, говорил о «проникновенном отношении Штауффенберга к Востоку», о том, что одним из его любимых изречений было — «Ex oriente lux» — «с Востока свет»[43]). Факты, свидетельствующие о попытках Штауффенберга и его друзей связаться с НКСГ, приводятся в изданной в ГДР работе «К предистории заговора 20 июля 1944 г.»[44]). Имеются факты, свидетельствующие о связи Штауффенберга с немецкими коммунистами не только в 1944 г., но даже еще в 1943 г.[45]).

Некоторые западногерманские историки вообще пытаются снять вопрос о политических взглядах Штауффенберга. Так М. Бовери утверждает, что Штауффенберг не был политиком, «вообще не мыслил категориями политики» и, следовательно, вопрос о его внутри- и внешнеполитической ориентации является праздным[46]). Ряд историков пытается изобразить Штауффенберга как выразителя интересов дворянства, которому дескать свойственны были «социалистические устремления»[47]).

Трактовка Штауффенберга историками-социал-демократами совпадает в основном с трактовкой, характерной для историков псевдолиберального направления, — Штауффенберг в их изображении — человек, выступающий за «обновление» Германии, взгляды которого существенно расходятся с консервативными идеями Герделера, но, тем не менее, остающийся в общем потоке «движения 20 июля», противник всякого «тоталитаризма»[48]).

Характерно, что в тех яростных нападках, которым подвергалась со стороны западногерманских буржуазных историков книга американца У. Ширера, посвященная истории нацистской Германии, наряду с обвинениями в том, что Ширер «не понимает сущности тоталитарного государства» и связывает национал-социализм «с политикой правых», немаловажную роль сыграли обвинения в том, что он, дескать, не подчеркивает в должной мере отдельные высказывания Штауффенберга, направленные против советского общественного строя[49]).

---

[42]) Ebenda, S. 57.

[43]) D. Ehlers. Technik und Moral einer Verschwörung (20 Juli 1944). Frankfurt am Main—Bonn, 1964, S. 217.

[44]) Zur Vorgeschichte der Verschwörung..., S. 92—95.

[45]) «Neues Deutschland», 21.VII.1965.

[46]) M. Boveri. Der Verrat im XX. Jahrhundert. Bd. II. Hamburg, 1958, S. 81.

[47]) L. Carsten. Nationalrevolutionäre Offiziere gegen Hitler.— «Aus Politik und Zeitgeschichte», 1964, Hf. 29; W. Alff. Vierundzwanzig Stunden die Wahrheit.— «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 18.VII.1964.

[48]) I. G. Leithäuser.Wilhelm Leuschner. Ein Leben für die Republik. Köln, 1962, S. 230; A. Leber. Das Gewissen steht auf. Berlin—Frankfurt am Main, 1954, S. 228—231 и др.

[49]) G. Hass. Zur Methode der Polemik gegen Shirers «Auftieg und Fall des Dritten Reiches» von Seiten der offiziellen westdeutschen Geschichtsschreibung und Publizistik.— «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1962, Hf. 7, S. 1638.

Пристальное внимание западногерманских историков к Штауффенбергу конечно не случайно. Оно является одним из показателей того приспособления буржуазной историографии ФРГ к политическим потребностям ее господствующих кругов, которое в последние годы становится все более заметным. Развитие обстановки в мире и в Германии, развитие марксистской исторической мысли в ГДР, усиление прогрессивных тенденций в самой западногерманской историографии — все это вынуждает ведущих проимпериалистических историков касаться неприятных для них тем, которые они стремятся, по выражению историков ГДР В. Бертольда и Г. Лоцека, «обезвредить» и по возможности добиться их истолкования в выгодном для правящих боннских кругов духе[50]). Одной из таких тем является тема наличия в заговоре 20 июля 1944 г. прогрессивного, патриотического течения, наиболее видным представителем которого являлся Штауффенберг. Западногерманские историки готовы признать наличие существенных разногласий между Штауффенбергом и Герделером, признать исключительное значение деятельности Штауффенберга в заговоре 20 июля, но они отказываются видеть какие-либо принципиальные отличия взглядов Герделера и Штауффенберга, какую-либо связь между позицией Штауффенберга и его единомышленников и позициями антиимпериалистических сил, боровшихся с гитлеризмом. Штауффенберг — герой, великий человек, но он борец не столько с фашизмом, сколько с «тоталитаризмом» вообще, с коммунизмом в первую очередь — таков смысл новейших фальсификаций образа Штауффенберга в западногерманской исторической литературе.

Аналогичный характер носит фальсификация в западногерманской исторической литературе деятельности так называемого «кружка Крайзау»[51]), в котором сложилось влиятельное прогрессивное, патриотическое течение. Вопросы, связанные с деятельностью этого кружка, занимают одно из центральных мест в обширной литературе, посвященной заговору 20 июля.

В историографии ФРГ интерес к крайзаусцам особенно возрос в последние годы. Внимание сторонников псевдолиберального направления соответствующим образом препарируемые либеральные и социалистические идеи, развивавшиеся в Крайзау, привлекают значительно больше, нежели архиреакционная внутри- и внешнеполитическая программа Герделера.

«Кружок Крайзау» изображается преимущественно как пример сплочения «различных, далеко друг от друга отстоящих социальных сил... в движении Сопротивления»[52]). Из этого сплочения всех классов и партий исключаются, однако, разумеется, коммунисты. Те участники кружка и историки, которые связаны с социал-демократической партией, в качестве руководящей группы Крайзау стремятся изобразить «социалистическое» крыло, а преобладающей идеологией — «социалистическую»[53]). Другие авторы подчеркивают религиозный момент в деятельности крайзаусцев и роль представителей католической и прогес-

---

[50]) W. Berthold, G. Lozek. Das Dilemma reaktionärer Geschichtsschreibung.— «Einheit», 1964, Hf. 12, S 87—92.

[51]) Это название (der Kreisauer Kreis), употреблявшееся самими участниками кружка и ставшее общепринятым в исторической литературе, происходит от имения одного из их руководителей — графа Гельмута фон Мольтке — в Силезии, где происходили основные совещания крайзаусцев.

[52]) K.— D. Erdmann. Das Dritte Reich in Zussamenhang der deutschen Geschichte.— «Geschichte im Wissenschaft und Unterricht», 1961, Hf. 7, S. 417.

[53]) E. Henk Die Tragödie des 20. Juli 1944. Heidelberg, 1946; J. G. Leithäuser, Wilhelm Leuschner... и др.

тантской церквей[54]). Весьма распространенной является трактовка «кружка Крайзау» как «связующего звена, обеспечивающего духовную и практическую связь между буржуазными и социалистическими группами»[55]). В «кружке Крайзау», пишут А. Лебер и Ф. Мольтке, «произошло подлинное слияние различных мировоззрений»[56]).

В «кружке Крайзау» налицо были две группировки. Одна из них в целом разделяла взгляды реакционных политиков типа Герделера, Хасселя, Попица, возглавлявших заговор 20 июля 1944 г. В то же время в нем сформировалась патриотическая группа, взгляды которой в основном совпадали со взглядами Штауффенберга и его сторонников. Ее наиболее видными деятелями были фон Тротт цу Зольц, Йорк фон Вартенбург, социал-демократ Рейхвейн[57]). Сторонники патриотической группы в «кружке Крайзау» в коренных вопросах национальной жизни «приближались..., несмотря на всю пестроту и противоречивость их политических взглядов, особенно относительно способов их реализации, к реалистической точке зрения, как это, например, нашло выражение в вопросах окончания войны, взаимоотношения с Советским Союзом, установления прочного мира и добрососедских отношений со всеми народами, внутреннего устройства Германии после войны»[58]).

Большинство западногерманских историков утверждает, однако, что каких-либо принципиальных различий во взглядах хотя бы части крайзаусцев, с одной стороны, и руководителей заговора, с другой, не было. Особенно усердно отрицается стремление части членов «кружка Крайзау» к установлению дружественных связей с Советским Союзом, к установлению единства действий с антифашистским движением Сопротивления, руководимым коммунистами. Цели, которые при этом преследуются,— отрицание существования патриотической группы в заговоре 20 июля, отрицание возможности установления союза между антифашистскими элементами буржуазии и офицерства и антифашистской борьбой рабочего класса, т. е. те же цели, которые преследуются и при фальсификации взглядов Штауффенберга[59]).

Стремление непременно изобразить патриотические и демократические силы, выступавшие против Гитлера, в антикоммунистическом облике, отрицание каких-либо принципиальных отличий в их взглядах от взглядов руководителей заговора 20 июля 1944 г. распространяются в западногерманской исторической литературе также и на изображение деятельности ряда группировок в этот заговор не входивших. Особенно большое значение уделяется при этом деятельности антифашистской группы мюнхенских студентов «Белая роза» во главе с братом и сестрой Гансом и Софи Шолль, профессором Губером и др., уничтоженной нацистами в 1943 г. Благородство помыслов и поступков, нравственная чистота, глубочайшая ненависть к унижающему человеческое достоинство фашистскому режиму делают участников этой группы исключительно популярными в демократических кругах населения Западной Германии. Без преувеличения можно сказать, что в оп-

[54]) H. Rothfels. Die deutsche Opposition...; T. Steltzer. Von deutscher Politik. Frankfurt am Main, 1949 и др.

[55]) H. Mau, H. Krausnick. Deutsche Geschichte der jüngsten Vergangenheit 1933—1945. Stuttgart, 1956, S. 180.

[56]) A. Leber, F. von Moltke. Für und wider. Berlin—Frankfurt am Main, 1962.

[57]) Анализ их взглядов см. Д. Мельников. Заговор 20 июля 1944 года, стр. 154—174.

[58]) H. Roggenbuck. Der 20. Juli 1944..., S. 87.

[59]) См. об этом подробнее. Н. С. Черкасов. «Кружок Крайзау» в исторической литературе. «Методологические и историографические проблемы исторической науки», вып. 3, Томск, 1965.

ределенной части студенчества ФРГ существует настоящий культ «Белой розы».

Этой популярностью «Белой розы» и пытаются злоупотребить в своих целях реакционные историки и политики ФРГ. Спекулируя на слабых моментах деятельности этой группы — признании главной формой антифашистской борьбы пассивного сопротивления[60]), подчеркивании религиозных мотивов борьбы с гитлеризмом[61]), они стремятся изобразить ее как всего лишь «возмущение совести», воодушевленное идеями «католического молодежного движения Южной Германии», не имеющее отношения к массовой антифашистской борьбе[62]).

В феврале 1963 г. в Мюнхене состоялись торжества, посвященные 20-летию выступления «Белой розы» против фашистского режима. На них собралось много антифашистов и демократов, искренне желавших почтить память Ганса и Софи Шолль и их товарищей. Однако организаторы торжеств решили использовать их для антикоммунистической пропаганды, которую имена участников «Белой розы» должны были прикрывать. Выступивший на чествовании Ганса и Софи Шолль Мюнхенским университетом профессор Ганс Тилике (Гамбург) заявил, что память о них должна служить напоминанием о необходимости вести борьбу за «воссоединение с потерянными областями на Востоке». Более того, гамбургский профессор утверждал, что если участники «Белой розы» боролись с «тоталитарным государством, выступавшим в качестве врага свободы», то сегодня память о них должна помочь «защитить государство от разнузданной свободы распоясавшихся групп и органов прессы», т. е. попросту предлагал заткнуть рот всем тем, кто в какой-то мере пытается подвергать критике боннские порядки[63]). Организаторы празднеств добились принятия собравшимися текста телеграммы, в которой требовалось освобождение арестованных в ГДР за антинародную деятельность контрреволюционеров, кощунственно поставленных на одну доску с участниками «Белой розы» — и те и другие, дескать, «борцы с диктатурой»[64]). Неприглядные махинации вокруг памяти борцов «Белой розы» вынудили отца Ганса и Софи Шолль, Роберта Шолля, заявить, что он сожалеет, что не имел никакого влияния на организацию торжеств в честь памяти его детей, так как он не допустил бы иначе выступления, подобного речи Тилике[65]).

Даже те западногерманские авторы, которые воздерживаются от антикоммунистических и антисоветских выпадов при изложении истории «Белой розы», рисуют ее деятельность как совершенно изолированную от антифашистского движения, как индивидуальный акт небольшой группы кристалльно чистых наивных юношей и девушек. В их представлении Ганс и Софи Шолль и их товарищи совершали своего рода искупительную жертву, заранее обрекая себя на гибель, не имея никаких шансов на успех в борьбе с нацизмом. Так, например, рисует дело редактор «Зюддейче цейтунг» В. Е. Зюскинд[66]).

Для характеристики источниковедческих методов, применяемых буржуазными историками ФРГ, показательно, что те материалы «Бе-

---

[60]) I. Scholl. Die weisse Rose. Frankfurt am Main—Hamburg, 1956, S. 135, 138.
[61]) Ebenda, S. 142—143.
[62]) G. Ritter. Carl Goerdeler..., S. 344.
[63]) «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 23.II.1963.
[64]) «Süddeutsche Zeitung», 23/24. II. 1963.
[65]) «Neues Deutschland», 24. II. 1963. В апреле 1965 г. Р. Шолль выступил с заявлением, в котором потребовал установления нормальных отношений между Западной Германией и ГДР («Berliner Zeitung», 29. IV. 1965).
[66]) W. E. Süskind. Der Tag der Weissen Rose. — «Süddeutsche Zeitung», 22.II.1963.

лой розы», которые свидетельствуют о религиозных настроениях ее участников, о преувеличении ими в ряде случаев значения пассивного сопротивления, обыгрываются со всех сторон, многократно цитируются. В то же время факты, свидетельствующие о том, что брат и сестра Шолль и их товарищи решительно выступали против антибольшевизма, за организацию массовых актов саботажа замалчиваются. Создается видимость того, что таких фактов вообще не существует. Достаточно однако обратиться к листовкам «Белой розы», изданным сестрой Ганса и Софи — Ингой Шолль, чтобы убедиться в лживости той интерпретации взглядов этой группы, которая преобладает в западногерманской историографии. «Не военная победа над большевизмом..., а уничтожение национал-социализма» должно быть предметом заботы немецкого народа, писалось в одной из них. «Не верьте национал-социалистической пропаганде, пугающей вас ужасами большевизма»,— писалось в другой. «Саботаж на всех военных и имеющих военное значение предприятиях,.. саботаж во всех областях науки и идеологии..., работающих для продолжения нынешней войны, будь это университеты, институты, лаборатории, исследовательские учреждения, технические бюро»,— к этому призывала «Белая роза» всех немцев[67]). Известно также, что участники «Белой розы» были связаны с коммунистической подпольной группой Шульце-Бойзена/Харнака, с другими подпольными организациями коммунистов и социал-демократов, получая от них нелегальные материалы и указания о методике ведения конспиративной работы. Деятельность «Белой розы» не прекратилась и после ареста ее руководителей[68]). Ганс и Софи Шолль и их товарищи не были ни антикоммунистами, ни экзальтированными одиночками, приносящими себя в жертву в безнадежной борьбе — они были одними из бойцов той подпольной антифашистской армии, ведущую силу которой составлял немецкий рабочий класс, объединявший вокруг себя всех искренних противников гитлеризма из среды буржуазии, офицерства, интеллигенции и других слоев,— армии, внесшей существенный вклад в дело разгрома национал-социализма. Следует конечно учитывать, что организация «Белой розы», подобно группе Штауффенберга и «кружку Крайзау» также не была единой, в ней существовали серьезные разногласия между прогрессивными и консервативными элементами, о чем сообщает О. Нейман[69]).

Большие усилия прилагают буржуазные историки ФРГ и для того, чтобы отрицать всякую возможность установления совместного фронта антифашистской борьбы масс верующих и демократических сил. Это вызывает даже протесты отдельных историков ФРГ. Так гёттингенский профессор Д. Е. Вольф в статье, опубликованной в одном из журналов ГДР отмечает, что «образование христианско-антибольшевистского фронта после 1945 года» не является наследием и продолжением борьбы масс верующих с нацизмом[70]).

Подводя итог оценке западногерманской буржуазной историографией тех групп антифашистского движения Сопротивления, которые не руководствовались в своей борьбе марксистской идеологией, не входили в организационном отношении в состав возглавляемого коммунис-

---

[67]) I. Scholl. Die weisse Rose, S. 136, 148, 136—137.

[68]) O. Neumann. Wie Münchner Studenten gegen den Faschismus kämpften.— «Neues Deutschland», 28. III. 1963; H. Lautenschläger. In breiter Front gegen Hitler — «Neues Deutschland», 8. IX. 1965; Niemals vergessen. Berlin, 1959, S. 197.

[69]) O. Neumann. Wie Münchner Studenten...

[70]) D. E. Wolf. Probleme der Geschichtsschreibung des Kirchenkampfes.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst—Moritz—Arndt—Universität Greifswald», Gesellschafts — und sprachwissenschaftliche Reihe, 1961, Hf. 4/5, S. 396.

тами подполья, но тем не менее стремились к созданию антифашистского фронта, отвергали антикоммунизм и антисоветизм лидеров заговора 20 июля 1944 г., следует подчеркнуть, что в последние годы деятельности этих групп уделяется особенно большое внимание. Все более тонкая фальсификация взглядов участников этих групп обыгрывание малейших их слабостей и непоследовательностей в духе антикоммунизма, стремление представить их в качестве образцов борьбы с «тоталитаризмом» и, в первую очередь, с причисляемым к нему коммунизмом — характернейшие черты современной западногерманской историографии движения Сопротивления. Безудержное прославление явно реакционных лидеров 20 июля 1944 г. (Герделера, Попица, Хасселя), хотя и продолжает занимать весьма существенное место в исторической литературе, но тем не менее отступает на второй план. Это один из примеров, подтверждающих, что идеологи буржуазии (и не только западногерманской) переходят в нынешней обстановке от защиты явно консервативных, реакционных идей к пропаганде «умеренных», «либеральных», реформистских, псевдосоциалистических идей. Это одно из свидетельств того, что потерпев банкротство в пропаганде явно реакционных идей, буржуазные идеологи вынуждены проводить более тонкую, более гибкую, зачастую более опасную линию, но проводить ее на плацдармах, которые им навязаны, маневрирование на которых приводит иногда вынужденным образом и к нежелательным, и опасным для них самих результатам.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

Л. РАНКЕ И Ф. МЕЙНЕКЕ (ЗНАЧЕНИЕ РАНКЕ ДЛЯ НЕМЕЦКОГО БУРЖУАЗНОГО НЕОИДЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСТОРИЗМА)

Н. И. СМОЛЕНСКИЙ

Едва ли удастся найти имя, которое бы в современной западногерманской литературе по методологии истории упоминалось чаще, чем имя Леопольда Ранке. Не говоря о многочисленных статьях западногерманских историков, достаточно указать в этой связи на такие издания, как «Das Fischer-Lexikon-Geschichte»[1]) и сборник, посвященный Г. Ротфельсу[2]). Исследование проблем методологии истории со ссылкой на Ранке является общей чертой этих работ, отражающих во многом уровень разработки теоретических проблем исторического познания в современной западногерманской историографии.

В настоящее время можно говорить об определенной тенденции в изучении Ранке буржуазными историками ФРГ. Для большинства из них значение Ранке состоит не в изучении им тех или иных вопросов исторической действительности — того, чем он занимался на протяжении всей своей продолжительной и необычайно плодовитой научной деятельности. Место Ранке в истории исторического познания определяется, прежде всего, исследованием им широкого круга исторических источников, разработкой и углублением методов их научной критики, введением в научный оборот большого количества новых источников — архивных документов; значение Ранке определяется также созданием самой обширной исторической школы в Германии, оставившей в лице своих наиболее значительных представителей заметный след в истории исторического познания (Г. Вайц, Г. Зибель и др.). Исторические сочинения Ранке написаны, в конечном счете, с глубоко консервативных позиций, поэтому они уже и для своей эпохи часто были далеки от переднего края исторической науки. Но и в этом отношении полное отрицание значения Ранке было бы неправильным: он, например, впервые в историографии начал рассматривать реформацию как преимущественно политическую борьбу[3]).

Значение Ранке для современной западногерманской историографии определяется другими обстоятельствами. К причинам, объясняющим неослабевающий интерес к нему современных буржуазных историков ФРГ, могут быть отнесены следующие наиболее общие предпосылки:

---

[1]) «Das Fischer—Lexikon. Geschichte». Mit einer Einleitung von H. Rothfels, herausgegeben von W. Besson. Hamburg, 1965.

[2]) «Geschichte und Gegenwartsbewußtsein». Festschrift für Hans Rothfels zum 70. Geburtstag. Göttingen, 1963.

[3]) М. М. Смирин. Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 1952, стр. 15.

1) Ряд методологических принципов исторической концепции Ранке являются проблемами, имеющими значение на всех этапах исторического познания; такими вопросами, обращавшими на себя особое внимание Ранке, были, например, вопросы, связанные с объективностью познания и ее условиями. Противоречивый характер этих, как и некоторых других сторон взглядов Ранке делал возможным их истолкование с разных позиций на основе одностороннего подхода буржуазных историков ФРГ к интерпретации его суждений.

2) Выдвижение Ранке таких идей, как идея единства романо-германских народов и идея равновесия европейских держав. В политическом и научном отношении эти идеи становятся чрезвычайно актуальными в связи с изменившимися условиями после второй мировой войны и стремлением западногерманского империализма к союзу с западными державами. Модернизированное истолкование западногерманскими историками идеи Ранке о единстве романо-германских народов превращает его в ученого, предвосхитившего концепцию единства «христианского Запада»[4]).

3) Идеализм общеисторических взглядов Ранке, его мистически-религиозное мировоззрение как основа его исторической концепции.

В центре внимания большинства западногерманских историков, в той или иной форме обращающихся к изучению Ранке, находятся его общеисторические взгляды. Актуальность взглядов Ранке предполагает одновременно, следовательно, научный и политический интерес. Этим интересом объясняется, в конечном итоге, и переиздание некоторых его трудов в Западной Германии[5]).

Традиции в изучении Ранке буржуазными историками ФРГ восходят во многом к имени одного из виднейших немецких буржуазных историков Фридриха Мейнеке. Его интерпретация взглядов Ранке в связи с проблемой историзма в историческом мышлении во многом определяет отношение к этому ученому западногерманских историков. При этом, если истолкование ими отдельных взглядов Ранке уже не совпадает с тем, которое дал Мейнеке, то круг основных проблем при изучении методологии исторического исследования Ранке остается одним и тем же[6]).

Вследствие этого приобретает актуальность изучение интерпретации исторических взглядов Ранке Фридрихом Мейнеке. Оно дает возможность ответить на вопрос, в каком отношении находятся взгляды Ранке к проблеме неоидеалистического историзма, играющей важную роль в западногерманской историографии. В некоторой степени такое рассмотрение позволяет понять также смысл поисков буржуазных историков ФРГ в области методологии истории.

Неоидеалистический историзм Мейнеке — система реакционных по своим политическим и научным выводам взглядов на историю. В политическом отношении концепция историзма призвана, в конечном

[4]) Об этой концепции см.: E. Hoffman. Zur Entwicklung und Rolle der westdeutschen Geschichtsschreibung.—«Zeitschrift für Geschichtswissenschaft». 1960, Heft 8, S. 1813—1814; J. Streisand. Progressive Traditionen und reaktionäre Anachronismen in der deutschen Geschichtswissenschaft.—«Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1961, Heft 8, 1786—1787.

[5]) См., например, L. Ranke. Preußische Geschichte (4 Bd). Ausgewählt und bearbeitet von Hans—Joachim Schoeps. München, 1965.

[6]) Укажем на такие большие работы, как: R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. Neue Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung herausgegeben von Kurt v. Raumer, Bd. I, 1957; G. Hinrichs. Ranke und die Geschichtstheologie der Goethezeit, Göttingen, 1957; E. Schulin. Die weltgeschichtliche Erfassung des Orients bei Hegel und Ranke, Göttingen, 1958. В этих работах проблематика историзма является основой для исследования вопросов, выдвигаемых авторами.

итоге, оправдать господство буржуазных общественных отношений в Западной Германии. Не менее реакционна она по своему научному содержанию. Ее антинаучная сущность обнаруживается в отрицании поступательно-прогрессивного и закономерного характера исторического развития. Фундаментом неоидеалистического историзма является тезис о синтезе силы и духа, государства и духа в истории, синтезе, достигаемом прежде всего в результате идейного развития[7]). Принципы неоидеалистического понимания истории были сформулированы Мейнеке на основе анализа односторонне понимаемого им идейного развития, прежде всего, анализа взглядов целого ряда представителей буржуазной философии и историографии. В теоретико-познавательном отношении для концепции неоидеалистического историзма весьма характерна склонность к мистицизму и иррационализму; вслед за Буркгардтом Мейнеке придавал большое значение в истории «демонии силы»[8]). Связь неоидеалистического историзма со взглядами ряда представителей буржуазной философии и историографии прошлого обнаруживается и в содержании двух его основных категорий: идеи индивидуального и идеи развития[9]).

Подобно эволюции исторического мышления самого Мейнеке интерпретация им исторических взглядов Ранке не оставалась неизменной в разные периоды его научной деятельности. В более поздних и более ранних его работах выдвигались на первый план в качестве объекта исследования не только разные стороны взглядов Ранке, но и одни и те же вопросы получали у Мейнеке разные оценки. Наиболее систематизированное изложение взглядов Ранке с позиций неоидеалистического историзма Мейнеке дал в связи с публикацией большого исследования об историзме[10]).

Наряду с этим Мейнеке посвятил Ранке небольшие работы, представляющие собой главы его более общих произведений или являющиеся самостоятельными исследованиями взглядов этого историка[11]).

В речи, посвященной памяти Ранке 26 января 1936 г., Мейнеке стремился рассматривать его исторические взгляды в качестве «одной из самых значительных попыток решения» проблемы, существовавшей, по мнению Мейнеке, с античности, изучения истории как единства идеальной и материальной жизни, нашедшего свое высшее выражение в историзме[12]). Только при таком подходе к изучению Ранке становится возможным, с точки зрения Мейнеке, понимание подлинного смысла его исторических взглядов.

Для Мейнеке Ранке был ученым, воплотившим в наиболее законченной форме принципы неоидеалистического историзма. Реальное и идеальное в истории рассматривались Ранке в единстве; классическую формулировку этого синтеза Мейнеке находил в известных словах Ранке, в которых он выразил в целом идеалистическое понимание

---

[7]) См. об этом А. И. Данилов. Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный историзм.—«Новая и новейшая история», 1962, № 2, стр. 46; G. Lozek. H. Syrbe. Geschichtsschreibung contra Geschichte. Berlin, 1964, S. 34.

[8]) См. А. И. Данилов. Ук. соч., стр 52.

[9]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. Herausgegeben und eingeleitet von Carl Hinrichs. München, 1959, S. 595.

[10]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 585—602.

[11]) Главы в книгах Мейнеке: Weltbürgertum und Nationalstaat. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Herzfeld, München, 1962; Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. Herausgegeben und eingeleitet von Walter Hofer. München, 1960. Отдельные работы: Deutung eines Rankewortes.—«Zur Theorie und Philosophie der Geschichte». Herausgegeben und eingeleitet von Eberhard Kessel. Stuttgart, 1959; S. 117—139; Aphorismen.—ibidem, S. 215—263; Ranke und Burckhardt. Berlin, 1948.

[12]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 585.

исторических событий как духовных реальностей («real-geistig»)[13]). Идеальное Ранке принимал при этом в качестве основы человеческой истории[14]). В таком же смысле Мейнеке истолковывал складывание исторической концепции Ранке, происходившее под влиянием идеализма и романтизма. Главным результатом идейного развития Ранке и, следовательно, концепции неоидеалистического историзма был, по мнению Мейнеке, «синтез идеи и реальности»[15]). На этом пути Ранке не мог удовлетворить Фихте с его убеждением в том, что божественная идея лежит в основе истории. Этот тезис Фихте не отвечал стремлению Ранке к «строгой эмпирич». Рассматривая взгляды Ранке в известном смысле как итог идейного развития историко-философского мышления XVII—XVIII вв. Мейнеке давал тем самым определенную интерпретацию истолкования явлений с позиций синтеза материального и духовного начала[17]). В этом отношении Мейнеке считал взгляды Гёте необходимым условием возникновения историзма Ранке.

Формирование взглядов Ранке являлось, с точки зрения Мейнеке, не только результатом развития идей, но и было обусловлено определенными историческими условиями. Синтез «идеи и реальности» Мейнеке понимал прежде всего как свойство самой исторической действительности, как определенная гносеологическая категория она обязана своим возникновением тому импульсу, который Ранке получил от освободительных войн и последовавших за ними национальных и политических движений; именно благодаря тому, что Ранке пережил эти события, он пришел к пониманию истории и прежде всего государства и нации, как синтеза духовного и материального начала[18]).

Изображая Ранке в качестве высшего этапа идейного развития XVII—XVIII вв.[16]), Мейнеке подвергал тем самым определенной интерпретации историко-философское мышление этого времени. Данная интерпретация не лишена определенного исторического смысла, так как затрагивает действительные результаты развития ряда общественных наук, одним из которых было проникновение в них принципа историзма. С другой стороны, эта интерпретация отнюдь не является бесспорной, она обусловлена, в конечном итоге, теми теоретическими представлениями, которые были присущи самому Мейнеке. Явления, исследовавшиеся им на материале, главным образом, историко-философского мышления Германии, имели место и в развитии исторического мышления других европейских стран. Ранке, как историк своей эпохи, несомненно, испытал влияние свойственных ей определенных направлений философско-исторической мысли; однако изображать его ученым, который воплотил в себе основные результаты идейного развития предшествующей эпохи с точки зрения научного метода изучения истории было бы в действительности неоправданной и исторически недоказуемой попыткой. Неизбежным следствием этой попытки является приписывание Ранке такой теоретической глубины, которой он не достигал в действительности. Интерпретация историзма, как метода исследования, свелась у Мейнеке по существу к утверждению о механическом перенесении Ранке на изучение исторических явлений тех принципов, которые были разработаны Гёте. Для ряда немецких буржуазных ученых история историзма Мейнеке не являлась поэтому бесспорной[19]).

[13]) Ibid., S. 589.
[14]) Ibid., S. 595.
[15]) Ibid., S. 601.
[16]) F. Meinecke. Zur Theorie..., S. 254.
[17]) F. Meinecke. Die Enstehung des Historismus. S. 600.
[18]) Ibid., S. 601.
[19]) В. Гец, например, писал, что свою книгу о возникновении историзма Мейнеке обрывал там, где еще необходимо решить ряд задач (W. Goetz. Historiker in mei-

Исторические взгляды Ранке Мейнеке истолковывал с точки зрения основных, по его мнению идей историзма: идеи индивидуального и идеи развития; в этом отношении Ранке олицетворял для него высший пункт в развитии исторического мышления на пути к историзму[20]). При этом у Мейнеке речь идет об историзме не только как мировоззрении, но и как методе познания действительности, который Ранке в качестве историка применял для исследования исторической действительности. Категория индивидуального, по Мейнеке, включала в себя различные аспекты взглядов Ранке на характер исторических явлений, как неповторимых, своеобразных феноменов. Сюда относилось, прежде всего, понятие индивидуального, как отдельное историческое явление или факт, единичное, по выражению Ранке[21]). Понятие индивидуального имело у Ранке, с точки зрения Мейнеке, собирательное значение, обозначая собой целые комплексы событий или целые исторические эпохи; «индивидуальны,— писал Мейнеке,— тенденции или идеи...», выражающие содержание этих эпох[22]). Наконец, существенным моментом идеи индивидуального была оценка этим историком государства как индивидуальной сущности[23]). По меньшей мере эти три стороны взглядов Ранке охватывала идея индивидуального, будучи одновременно и гносеологической категорией и в то же время понятием, выражающим свойства самой исторической действительности. Идея индивидуального означала, таким образом, определенную интерпретацию взглядов Ранке о характере исторических событий; ее нельзя себе представить вне связи со взглядами Мейнеке на характер познания исторических явлений. Идея индивидуального Ранке предполагает, с точки зрения Мейнеке, его убеждение в невыразимости средствами рационального познания, логическим путем богатства индивидуального содержания исторических явлений. В этом отношении Мейнеке рассматривал Ранке как один из примеров, свидетельствующих о невозможности для историков придти в ходе исследования к результатам, аналогичным по своей точности результатам, получаемым в естественно-научном познании. Мейнеке особенно подчеркивал и выдвигал на первый план те мысли Ранке, в которых выражен присущий ему мистицизм в области познания исторических явлений. Абсолютизируя эти

---

ner Zeit. Gesammelte Aufsätze. Köln—Graz, 1957). Гец имел в виду, прежде всего, утверждение Мейнеке о Ранке как ученом, применившим принципы историзма к исследованию общественных явлений. Практические замечания Геца состояли в том, что, по его мнению, нельзя преувеличивать влияния Гете на Ранке. Там, где Мейнеке видел такое влияние, имело место, по мнению Геца, самостоятельное развитие Ранке или сказывалось другое влияние. Принципы историзма Гете не могли бы оказать надлежащего влияния, если бы историческое исследование не базировалось на прочной основе добытых путем новой источниковедческой методики фактов. Состояние исторической науки и условия эпохи были, с точки зрения Геца, таковы, что историзм мог стать непосредственно взглядами Ранке в такой же мере, как и взглядами Гете (S. 359). С позиций неоидеалистического историзма, развитого Мейнеке, Гец сделал, таким образом, ряд замечаний, которые показывают определенную несостоятельность взглядов Мейнеке. Другой немецкий буржуазный историк Г. Манн писал, что книга Мейнеке об историзме представляет собой не «...историю исторической науки, а изложение «способа рассмотрения истории, для которого... государство исчерпывает предмет исторической науки» (G. Mann. Geschichte und Geschichten. Frankfurt a M, 1962, S. 40). Г. Манн резко критически отзывался как о концепции историзма Мейнеке, так и об изображении с его позиций Ранке (S. 42—44).

[20]) F. Meinecke. Die Enststehung des Historismus, S. 595. См. также А. И. Данилов. Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный историзм.— «Новая и новейшая история». 1962, № 2, стр. 56.

[21]) L. v. Ranke. Sämmtliche Werke (в дальнейшем — S. W.), Bd. 33—34, Leipzig, 1874, S. VIII; Bd. 23—24, Leipzig, 1872, S. 3.

[22]) F. Meinecke. Die Enstsehunk des Histirismus. S. 592.

[23]) Ibid., S. 592.

мысли, он писал, что высшей формой эмпирического познания у Ранке, завершающей его фазой является догадка[24]). Однако отрицать убеждение Ранке в познаваемости истории, в возможности постижения подлинного смысла единичного средствами рационального познания можно лишь игнорируя его историографическую практику, общий смысл его источниковедческой критики, ее цели. Целые комплексы исторических источников Ранке исследовал, руководствуясь отнюдь не теми соображениями, в которых выражен мистицизм и которые оказались вследствие этого столь актуальными для Мейнеке, а убеждением в познаваемости истории. Указанные суждения Мейнеке обусловлены субъективистским и во многом иррациональным содержанием идеи индивидуального. Эта идея была способом предельной индивидуализации исторических событий и истолкования с этой точки зрения взглядов Ранке. Мейнеке в то же время оговаривался, указывая, что, по существу, историческая жизнь не представлялась Ранке как «голое, безбрежное море»[25]), т. е. исторические события при всем их многообразии и индивидуальной природе не выступали как нечто абсолютно несвязанное друг с другом. Не употребляя здесь термин «релятивизм», Мейнеке тем не менее имел в виду опасность релятивизма, которой избежал Ранке. Релятивизм был, с точки зрения Мейнеке, пороком более позднего по отношению к Ранке историзма, который стал утрачивать связь с мировоззрением[26]). Идея индивидуального не исключала, с точки зрения Мейнеке, категорию общего у Ранке; выводы Мейнеке в данном отношении основывались на некоторых суждениях Ранке и прежде всего на положении, высказанном им в «Английской истории»: «В духовной жизни все является одновременно всеобщим и индивидуальным»[27]). Это положение Мейнеке называл «генеральным принципом» исторической концепции Ранке[28]). Оно доказывало для него, во-первых, неоидеалистическую интерпретацию истории Ранке, поскольку «все духовное... связано с реальным»[29]). С другой стороны, здесь Мейнеке видел общее, объединяющее индивидуальное. Мейнеке, естественно, ставил вопрос о том, как следует понимать общее у Ранке. Он писал, что это общее не является абстрактным логическим понятием, как, например, категории «прогресс», «регресс», «либерализм», «абсолютизм». Другим свойством, присущим категории общего в познании Ранке, было то, что она выступала как одна из форм индивидуального: «Всеобщее, как мы можем сказать точнее,—писал Мейнеке,— есть высшая из всех наблюдаемых в истории индивидуальностей, охватывающая все остальные». Всеобщее — это ход событий в целом. Мы, утверждал Мейнеке, имеем дело с отнесением к сфере общего историческое развитие данного народа, если оно оказывало влияние на другие народы. Общим была для Мейнеке также ранкеанская идея

---

[24]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 589.
[25]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 595.
[26]) Уже в «Идее государственного разума в новой истории» Мейнеке писал не только о положительном значении идеи индивидуального, исключающей понятие закономерности из истории, но и об отрицательных следствиях, которые из нее вытекали: о релятивизме. В данном случае Мейнеке прямо ставил вопрос, почему Ранке избежал релятивизм. Дуалистическое представление о природе исторических событий, как индивидуальных явлений, каждое из которых, развиваясь на своей неповторимой основе, обнаруживало в то же время «абсолютную инстанцию», было у Ранке, с точки зрения Мейнеке, средством, предупреждающим релятивизм (Die Idee der Staatsräson..., S. 443, 445).
[27]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 13—14, Leipzig, 1870, S. X.
[28]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 592.
[29]) Ibid., S. 593.

западной общности народов[30]). Но это всеобщее есть не что иное, как ярко выраженная индивидуальность более общего порядка.

Такая интерпретация понимания Ранке общего в исторической действительности и в познании определялась взглядами Мейнеке на природу исторических явлений как индивидуальных, неповторимых сущностей. Отвечая на критику его взглядов об отношении единичного и общего, Мейнеке указывал, что он не отрицал полностью значение общего в истории. «Но сердце и рассудок вели меня все больше к индивидуальному, а не к типическому»,— писал он в одном из писем[31]).

С точки зрения последующего развития буржуазной историографии ФРГ эти выводы Мейнеке не оказались окончательными и бесспорными. Пересмотр данной им интерпретации Ранке был выражением и следствием критики его взглядов об отношении общего и особенного в истории в целом, причем эта критика имела место уже при жизни Мейнеке[32]). Результатом критики был отход большинства западногерманских буржуазных историков от данного Мейнеке решения вопроса и признание в познании наряду с индивидуальным, неповторимым большего значения общего, которое в определенной степени было обусловлено также признанием большей роли общего в истории, как одной из характерных черт современного общества[33]). К числу первых попыток обоснования этой точки зрения относится книга Р. Фиргауса «Ранке и социальный мир», в которой автор, не полемизируя открыто с Мейнеке, дал существенно иную интерпретацию взглядов Ранке[34]).

Подобно Мейнеке, вопрос об отношении общего и особенного Фиргаус считал «коренной проблемой ранкеанской методологии», а не только его историографической практики[35]). Как и Мейнеке, Фиргаус подчеркивал большую внутреннюю широту понимания Ранке индивидуального в истории, при этом материалом для суждений Фиргауса были те же мысли Ранке, на основе которых Мейнеке пришел к выводу о понимании Ранке общего, как разновидности индивидуального. Но в отличие от Мейнеке Фиргаус писал, имея в виду Ранке, что «всякое индивидуальное является особенным и одновременно всеобщим, то есть в каждом случае конкретным, которое в свою очередь по отношению к более общему выступает, как особенное»[36]). Суждения Ранке Фиргаус истолковывал, таким образом, не с точки зрения крайней индивидуализации исторических явлений, а находя в формуле Ранке содержание, согласующееся с признанием им определенного значения общего в событиях. В то же время эта формула, писал Фиргаус, свидетельствует об убеждении Ранке в идеальном начале основы явлений исторической действительности. Здесь Фиргаус усматривал отправной пункт для своего исследования вопроса о роли проблемы социальных отношений в историографии Ранке[37]).

---

[30]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 593. См. также: Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. S 261.

[31]) F. Meinecke — an Kaehler 31.7.1941. — F. Meinecke. Ausgewählter Briefwechsel. Herausgegeben und eingeleitet von L. Dehio und P. Classen. Stuttgart, 1962, S. 295. «И в типах,— повторял Мейнеке свою мысль,— я вижу лишь индивидуальности особого рода».— Ausgewählter Briefwechsel, S. 313.

[32]) См. об этом, напр., письмо Мейнеке к Србику.— Ausgewählter Briefwechsel. S. 305.

[33]) См., напр., Th. Schieder. Strukturen und Persönlichkeiten in der Geschichte — «Historische Zeitschrift», Bd. 195, Hf. 2, 19622, S. 266.

[34]) Работам Мейнеке, посвященным Ранке, Фиргаус давал высокую оценку. Эти работы, писал Фиргус, являются лучшими из всех, которые существуют о Ранке.— R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. S. 67, Anm. 40.

[35]) R. Vierhaus. Op. cit, S. 55.

[36]) Ibid., S. 56.

[37]) R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt, S. 56.

Выдвижение на первый план в методологии и историографии Ранке вопроса об отношении общего и особенного объясняется теоретическим содержанием проблемы историзма, как исходной позиции обоих указанных выше буржуазных историков ФРГ. Решение Фиргаусом данного вопроса соответствует истолкованию его в современной западногерманской историографии.

Генеральным положением, применявшимся Ранке к исследованию всех общественных явлений в статье В. Бессона «Историзм», опубликованной в «Das Fischer-Lexikon. Geschichte», также объявляется указанное положение из «Английской истории». Ранке рассматривал историю, по мнению Бессона, как совокупность саморазвивающихся индивидуальных феноменов, но при этом «индивидуальность большого объема является затем соответственно всеобщим по отношению к индивидуальности меньшего объема». Это положение распространяется и на ранкеанское понимание сущности государства, интерпретация которого является примером утончённой фальсификации его взглядов в соответствии с политической и научной программой буржуазных историков ФРГ: для Ранке «...европейское государство как отдельная индивидуальность, лежала в русле романо-германского мира как индивидуальности»[38]). Между таким истолкованием общего и особенного у Ранке в связи с его взглядами на государство и политическими задачами, стоящими перед современными западногерманскими историками, никаких опосредствующих звеньев нет. Ранкеанская идея единства романо-германских народов осовременивается до уровня сегодняшних представлений о единстве «христианского запада» и произвольно используется в качестве аргумента для доказательства определенного соотношения общего и особенного в познании этого историка.

Оценка современными западногерманскими историками этого вопроса в методологии Ранке свидетельствует о том, что они испытывают определенное влияние Мейнеке, хотя, как это очевидно, в данном случае нельзя все объяснить лишь одним влиянием. Разные выводы при одинаковой, в конечном итоге, степени изучения взглядов Ранке и при использовании одних и тех же его суждений показывает, что смысл интерпретации в обоих случаях объясняется не столько самим объектом исследования, сколько характером подхода к нему. Обосновывая необходимость видеть в истории не только индивидуальное, но и общее, новейшие буржуазные историки ФРГ ссылаются обычно на характер «современного индустриального общества», в котором действия масс, коллективных образований слишком явно обнаружили свое решающее значение в противовес роли отдельной личности[39]). Определенная справедливость этого утверждения не означает, однако, что в действительности оценка характера явлений истории обосновывается буржуазными историками ФРГ только в теоретико-познавательном отношении. Признание роли общего в истории и в познании связано с внешнеполитической программой современных западно-германских историков, с их отказом от противопоставления немецкой исключительности во всех отношениях Западу. Современные буржуазные историки ФРГ преодолели определенный разрыв между политической и научной программой, имевшей место у Мейнеке: в условиях «индустриального общества» Мейнеке, провозглашая доктрину о единстве «христианского Запада», совмещал ее в теоретико-познавательном отношении с крайней индивидуализацией исторических событий. И Мейнеке, и современные западногерманские историки молчаливо предполагают, что сужде-

[38]) «Das Fischer—Lexikon. Geschichte». S. 109.
[39]) «Das Fischer—Lexikon. Geschichte». S. 95—96.

ния Ранке об общем и особенном выражают отношение общего, повторяющегося к индивидуальному, неповторимому в истории. На деле это не так. Вопрос о соотношении общего и особенного у Ранке должен быть решен другим путем.

Идея индивидуального в теории историзма Мейнеке тесно связана с категорией развития. Индивидуальное обнаруживает себя через развитие, которое в свою очередь понимается как индивидуальное развитие[40]). Связь этих двух категорий выражает, с точки зрения Мейнеке, коренное содержание историзма Ранке как высшей, зрелой формы историзма. К числу признаков, характеризующих для Мейнеке понимание исторического развития Ранке, относится то, что оно не является непрерывным развитием каких-то заранее данных, содержащихся в зародыше начал. Отличительная черта исторического развития состоит в его большой потенциальной изменчивости; именно на этом покоится неразрывная связь индивидуального и всеобщего в нем[41]). Индивидуальное, выступающее как всеобщее и имеющее в качестве своей основы духовное начало, заключает в себе единство исторического процесса. Но Ранке искал это единство не там, где его видели Гегель и другие его современники, так как для него «не была действительной ни неизбежная естественная закономерность..., ни неизбежная духовная закономерность...». Тем и другим способом, писал Мейнеке, пытались доказать прогрессивный характер человеческой истории. Ранке же отрицал прогресс в ней, за исключением прогресса в материальной сфере. Он усматривал значение каждой исторической эпохи в ней самой, в связи с ее непосредственным отношением к богу[42]). Религиозные взгляды Ранке освобождали его и от оценки истории, как непрерывного прогресса, и от учения о «закате Запада»[43]). Между этими взглядами и методикой исторического исследования Ранке Мейнеке видел непосредственную связь. Он предупреждал при этом против неправильного истолкования «прирожденной» «потребности» Ранке «к незапятнанной чистоте в отношениях со свидетельствами человеческой жизни»[44]). Мейнеке признавал справедливость той точки зрения, согласно которой стремление Ранке удалить свое «я» из его сочинений было практически неосуществимо. Но нужно было, утверждал он, именно такое стремление Ранке, чтобы его индивидуальность нашла такое полное выражение в его произведениях[45]). Оценивая в этом отношении мировоззрение Ранке положительно. Мейнеке давал ставшее затем довольно распространенным среди буржуазных историков ФРГ объяснение стремлению Ранке преодолеть субъективизм в исследовании истории. Если, с одной стороны, Мейнеке справедливо считал невозможным свести исторические произведения Ранке лишь к точному критическому исследованию фактов, то, с другой стороны, он усматривал смысл исторического познания Ранке в религиозно-мистическом созерцании. Но в этом заключались для Мейнеке и определенные негативные стороны. В религиозной вере Ранке находил, писал Мейнеке, определенный выход из сложных проблем истории, не поддававшихся его решению. Телеологические мотивы во взглядах Ранке на развитие всемирной истории объясняют отсутствие у него стремления к другому ее объяснению, чем то, которое соответствовало его религиозным убеж-

[40]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 594; А. И. Данилов. Ук. соч. стр. 56.
[41]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 595.
[42]) Die Entstehung des Historismus. S. 595.
[43]) Ibid., S. 596.
[44]) Ibid, S. 588.
[45]) Ibid., S. 587, 599.

дениям; но это были вера, а не научное знание[46]). В этих рассуждениях Мейнеке содержится зародыш более поздней критики Ранке. В данном случае Мейнеке в осторожной, сдержанной форме упрекал Ранке за то, что его слишком переполняла вера, когда он смотрел на действительность глазами историка. Но этот упрек отнюдь не преследует цель доказать, что рациональное историческое познание, познание на почве действительной истории должно быть единственным методом ее постижения.

Скептицизм Мейнеке направлен прежде всего против веры Ранке в историю как божественный порядок вещей. Можно поэтому сомневаться в том, писал Мейнеке, сумел ли Ранке осознать «великую проблему теодицеи, существование зла в мире...»[47]). Является также вопросом, продолжал Мейнеке, понимал ли Ранке «загадочную силу случая» в истории[48]). Наряду с этим он отмечал, что Ранке удовлетворяло отдельное немецкое государство в системе мелкодержавия[49]). Резюмируя результаты этих критических замечаний, которые сделаны, по существу, в виде оговорки при общем рассмотрении Ранке как историка, давшего правильный метод для постижения подлинного смысла истории, Мейнеке писал о невозможности рассматривать взгляды Ранке в виде всеобщеобязательного канона для ее изучения[50]). Методология Ранке не исключала, по мнению Мейнеке, других способов исследования истории, которые в равной мере могут иметь научный характер, как и взгляды Ранке, но всегда будут ему обязаны своим возникновением[51]).

Такова концепция историзма Ранке, развитая Мейнеке в 30-е — 40-е годы в связи с интенсивной разработкой им проблемы историзма в целом. Таким образом, Мейнеке в общем мало находит во взглядах Ранке положений, которые бы не укладывались в рамки создавшейся им теории неоидеалистического историзма; но это отнюдь не означает, что проблема историзма, как теории в целом, и проблема историзма у Ранке совпадали по своему содержанию. Концепции Мейнеке оказывается внутренне присущим противоречие, которое состоит в том, что Ранке рассматривался в качестве высшего этапа историзма — и в то же время Мейнеке писал, хотя и в полувопросительной форме, что зрелый историзм должен включать определенные новые идеи, выходящие за рамки идей Ранке. В работах Мейнеке, написанных во время и после второй мировой войны, это противоречие становилось все более глубоким и существенным.

С самого начала правомерно, следовательно, говорить о Ранке не как об ученом, олицетворявшем своими взглядами зрелый историзм в понимании Мейнеке, а как об одном из источников развиваемой им теории неоидеалистического историзма, причем теоретическим источником Ранке перестает быть отнюдь не только там, где об этом у Мейнеке идет речь.

Изложенная интерпретация Мейнеке взглядов Ранке имеет свою историю развития, обнаруживающуюся уже в его ранних работах[52]); с другой стороны работы Мейнеке, написанные в период и после второй мировой войны показывают, что его концепция историзма Ранке

---

[46]) Die Entstehung des Historismus. S. 597.
[47]) Ibid., S. 598.
[48]) Ibid., S. 598—599.
[49]) Ibid., S. 599.
[50]) Ibid., S. 598.
[51]) Ibid., S. 599.
[52]) Главы о Ранке в книгах «Weltbürgertum und Nationalstaat» и «Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte».

не оставалась чем-то окончательным и неизменным. В этом смысле нельзя говорить об одном и том же понимании Мейнеке проблемы историзма у Ранке в разные периоды его научно-исследовательской деятельности.

Первоначальным элементом мейнековской интерпретации взглядов Ранке с точки зрения неоидеалистического понимания истории был анализ его «национальной идеи», взглядов этого историка на государство. Это делалось для доказательства наличия синтеза идеального и реально-исторического начала в его историческом мышлении. Понятие «нация» превращалось при этом Мейнеке в «главную категорию» исторической концепции Ранке[53]). Та действительная неопределенность, неясность этого понятия у Ранке, о которой писал Лампрехт[54]), является для Мейнеке одним из важных признаков его научности: Ранке «... никогда не злоупотреблял им для примитивной классификации исторического материала»[55]). Кроме определенной направленности против космополитических представлений XVIII века, в понятии «нация» Ранке трудно выделить какие-либо стороны, которые бы доказывали для него актуальность этого вопроса. Несомненно, однако, что, по крайней мере, до момента объединения Германии понятие национального у Ранке было тесно связано с его идеей отдельного немецкого государства в системе территориальной раздробленности. Расплывчатость его суждений по этому поводу неизбежно приводила поэтому к логической неопределенности понятия «нация». В неразработанности данного вопроса у Ранке Мейнеке видел тем не менее особый теоретический смысл, по которому понятие «нация» Ранке выражало «... бессознательные, инстинктивные, рациональным путем не постигаемые жизненные процессы». Национальная жизнь, писал Мейнеке, заключала в себе для Ранке «нечто загадочное», благодаря чему он определял «национальную идею как «чисто духовную и бестелесную»[57]). Подобный подход характерен для Ранке не только в отношении к нации, но и применительно к истории в целом. В этом состоял «великий переворот духовного значения», поскольку Ранке таким способом «воздавал должное реальностям», то есть реальной эмпирической истории, материальному в ней[58]).

Для раскрытия внутреннего смысла взглядов Мейнеке и их последующего изменения имеет значение, однако, не аргументация тезиса о единстве идеального и реального в истории при помощи выяснения понимания Ранке национального развития — к этой аргументации Мейнеке больше не возвращался,— а отношение Мейнеке к взглядам Ранке на государство.

Поскольку Ранке видел идеальное и реальное неразрывно связанными, постольку, писал Мейнеке, ему удалось правильно определить отношение нации и государства[59]). Государство — это, прежде всего, воплощение определенных национальных потенций. В этом смысле духовный элемент, загадочное «нечто» в такой же мере присущи пониманию государства у Ранке, как и пониманию им основ националь-

---

[53]) F. Meinecke. Weltbürgertum und Nationalstaat. S. 244.
[54]) K. Lamprecht. Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft. Berlin, 1896, S. 36.
[55]) F. Meinecke. Weltbürgertum und Nationalstaat, S. 244.
[56]) L. v. Ranke. Weltgeschichte, II, S. 388.— Цит. по K. Lamprecht. Op. cit. S. 38.
[57]) F. Meinecke. Weltbürgertum und Nationalstaat. S. 247.
[58]) Ibid., S. 248.
[59]) Ibid., S. 250.

ной жизни[60]). Это духовное начало или моральная «энергия»[61]) предшествует всем конституционным формам, но оно не сводится у Ранке, как у романтиков, к народному духу[62]). Национальные основы находили свое выражение не в едином немецком национальном государстве, а в отдельных немецких государствах, каждое из которых было порождением своего собственного принципа[63]). Устанавливая этот факт, Мейнеке еще очень далек от негативного отношения к нему. Несмотря на то, что у Ранке Мейнеке находил «... оправдание и одухотворение отдельного немецкого государства»[64]), его исследование полностью сводится к высокой положительной оценке Ранке в этом отношении. Однако, имея в виду факт объединения Германии, Мейнеке писал, что «понятие его (т. е.— Ранке) национального государства настолько гибко, что оно включает в себя национальное государство как старого, так и нового образца»[65]). В этом отношении Мейнеке считал, что как идеал государства Ранке, так и государство Бисмарка включали в себя общие и необходимые черты. Несмотря на то, что государство Ранке было непосредственно связано с миром универсальных идей, являющихся своего рода заповедью для государственных деятелей, эти идеи отнюдь не определяли жизненные функции государства. Универсален у Ранке был аспект рассмотрения государства, но его политика определялась «эгоистическими мотивами»[66]). В этом смысл противопоставления Мейнеке взглядов Ранке на государство «консервативной национально-государственной идее» в понимании романтиков. Государство у Ранке, писал Мейнеке, твердой поступью шло в мир, «следуя лишь голосу своего собственного гения»[67]). Наряду с этим Мейнеке видел важное значение взглядов Ранке в его принципе самоопределения государства путем применения силы как утверждения его национальных потенций, моральной энергии[68]). Государственно-политический идеал Ранке Мейнеке рассматривал поэтому как определенный этап на пути к утверждению государства Бисмарка[69]) и видел между политической программой обоих внутреннее сходство[70]). Мейнеке утверждал в конечном итоге, что Бисмарк стоял на точке зрения консервативной национально-государственной идеи, рассматривая ее, однако, в качестве средства для подготовки будущего национального государства[71]). Бисмарк признавал при этом «государственный эгоизм за единственную здоровую основу» политики[72]).

В той мере, в какой Мейнеке принимал тезис Ранке о государстве как синониме историко-политической действительности, взгляды Ранке становились объектом его исследования. Эти взгляды, несомненно, имели некоторые общие черты не только с политическим мышлением Бисмарка, но и были близки самому Мейнеке перед первой мировой войной. Преклонение перед государством Бисмарка объясняет не только его высокую оценку Ранке, но также и то, почему Мейнеке проводил параллели между взглядами Ранке и Бисмарка дальше до-

[60]) Ibid., S. 254.
[61]) L. v. Ranke. Die Großen Mächte. — S. W. Bd. 23—24, Leipzig, 1872, S. 93.
[62]) F. Meinecke. Weltbürgertum und Nationalstaat. S. 252.
[63]) Ibid., S. 251—252.
[64]) Ibid., S. 250.
[65]) Ibid., S. 254.
[66]) Ibid., S 256.
[67]) Ibid., S. 259.
[68]) Ibid., S. 257.
[69]) Ibid., S. 260.
[70]) Ibid., S. 261.
[71]) Ibid., S. 263, 269.
[72]) Ibid., S. 271.

пустимых пределов. Для взглядов самого Мейнеке в этот период весьма характерно его убеждение в том, что принцип силы — «подлинный принцип государства»[73]). Неоспоримо, что исторически Мейнеке находил оправдание этому тезису во взглядах Ранке. Взглядами Мейнеке в этот период объясняется и его оценка Гегеля, как одного из тех мыслителей, которые распространяли убеждение о необходимости «... величия и духовного превосходства» государства[74]).

В соответствии с общим содержанием исследования Мейнеке в центре его внимания оказались некоторые стороны политического мышления Ранке. Его понимание природы и сущности государства становилось для Мейнеке аргументом, подтверждающим неоидеалистическую интерпретацию истории. В этом понимании нашел выражение тот синтез идеи и реальности, который Мейнеке рассматривал как единственно научный способ изучения исторической действительности. При этом сущность государства у Ранке Мейнеке видел, не противореча в этом отношении Ранке, в сфере идеального. Идеальное начало, моральная энергия, будучи воплощением в государстве национальных потенций, объединяло для Мейнеке взгляды на государство у Ранке и у Бисмарка[75]). Особую значимость специфического синтеза идеи и реальности во взглядах Ранке на государство, а, следовательно, и на историю, поскольку государство в понимании Ранке было тождественно с историко-политической действительностью в целом, Мейнеке видел в том, что идеальному и материальному при объяснении истории придается соответствующее им значение[76]); в этом отношении Мейнеке противопоставлял Ранке Гегелю, который «... все индивидуальные сущности истории насильственно лишал их необходимого права», объявив их простым инструментом мирового духа[77]).

В обоих случаях мы имеем дело с точкой зрения последовательного идеалистического монизма. До известного предела исторические события изучаются и объясняются на основе их реального, фактического содержания; познание их сущности предполагает, однако, с точки зрения Мейнеке, учет идеальных факторов, идеального начала. В данном случае различие между философией тождества и неоидеалистической интерпретацией истории состоит в действительности во многом лишь в разных названиях одного и того же идеалистического понимания истории. Спецификой интерпретации Ранке с точки зрения неоидеализма является та особая форма синтеза идеального и реально-исторического начала, при которой государство силы Ранке (Machtstaat») есть одновременно и духовная сущность. Смысл ранкеанского понимания государства выражен Мейнеке в данном случае совершенно правильно, причем с этим у Мейнеке связана высокая положительная оценка этого историка. Во взглядах Ранке Мейнеке привлекала — и этим объясняется во многом противопоставление Ранке Гегелю — та форма исторического идеализма, которая исключала возможность истолкования истории, как закономерного процесса; у Гегеля же «эмпирическая история стала игрой теней»[78]). Но Мейнеке здесь еще не обнаруживал отрицательных сторон гегелевского принципа о тождестве идеи и действительности. С другой стороны, у Гегеля, как и у Ранке, Мейнеке считал общей чертой их взглядов и одновременно единственно научным положением, при помощи которого можно объяснить

[73]) Ibid., S. 272.
[74]) Ibid., S. 237.
[75]) Ibid., S. 254.
[76]) Ibid., S. 256.
[77]) Ibid., S. 241.
[78]) Ibid., S. 256.

историю, их убеждение в идеальной сущности явлений общественной жизни. При этом, если ответ на вопрос, в какой степени Ранке стоял на почве действительной истории, следует искать во многом в его историографической практике, то рассмотрение Мейнеке идеалистического монизма в качестве общей основы методологии Ранке и его конкретных исследований, безусловно, было правильным.

Рассмотренная выше интерпретация взглядов Ранке претерпела сильные изменения в связи с теми выводами философско-исторического характера, к которым Мейнеке пришел после первой мировой войны. Эти изменения (будучи ее непосредственным следствием) отразились, однако, не в послевоенных изданиях книги «Космополитизм и национальное государство»[79]), а в его новом исследовании «Идея государственного разума в новой истории».

В центре внимания нового исследования Мейнеке стояла проблема государственного разума как высшего принципа политики государства. Опыт новейшей истории свидетельствовал, с точки зрения Мейнеке, об обоснованности дуалистического представления о характере явлений общественной жизни[80]); духовное и примитивно-естественное начало заложено, согласно этому, и в самой основе государственного разума. Важным отступлением Мейнеке от традиционных взглядов немецкой буржуазной историографии и философии был его тезис о дуализме политики и морали; Мейнеке считал, что немецкое историко-политическое и философское мышление должно сблизиться с западноевропейским, которому присущ дуализм политики и морали[81]).

Существенные изменения в интерпретации взглядов Ранке определялись содержанием категории государственного разума, развиваемой в этой книге; в связи с этим Мейнеке не только расширял и дополнял проблематику предыдущего исследования, но и ставил новые вопросы, хотя в центре его внимания по-прежнему находились взгляды Ранке на государство. Содержание идеи государственного разума оказывалось во многом противоположным тем представлениям о сущности государства и принципах его политики, которые Мейнеке развивал в книге «Космополитизм и национальное государство». Мейнеке исходил из убеждения в дуализме духовного и естественного начал, лежащих в сущности государства, социальных индивидуумов и всех исторических событий как индивидуальных явлений[82]). Исследование этих вопросов находило у Мейнеке свое дополнение в отказе усматривать во взглядах Ранке лишь обоснование принципа национального эгоизма, как единственной здоровой основы политики государства; уже здесь вырисовывается, по существу, та оценка Ранке, которая столь близка современным буржуазным историкам ФРГ, руководствующихся в их внешнеполитической программе идеей о единстве «христианского Запада». Мейнеке впервые в немецкой буржуазной историографии предпринял попытку исторического обоснования этой идеи в применении к взглядам Ранке[83]). В своей книге он писал, хотя в еще довольно сдержанной форме, о «глубокой вере» Ранке в силу общеевропейского чувства, предохраняющего, якобы, борьбу государств от гибельного перерастания ее в уничтожающие войны[84]). Над миром отдельного

[79]) Изменения в каждом новом издании этого исследования (см. об этом предисловие к последнему изданию Г. Герцфельда, S. XXIX—XXXI) не затронули основного смысла его интерпретации Ранке.

[80]) F. Meinecke. Die Idee der Staatsräson..., S. 507.

[81]) См. об этом А. И. Данилов. Ук. соч., стр. 52—53.

[82]) F. Meinecke. Die Idee der Staatsräson..., S. 10—11.

[83]) F. Meinecke. Die Idee der Staatsräson..., S. 457—459.

[84]) Ibid., S. 458.

государства, писал Мейнеке, Ранке воздвиг западную общность народов[85]). Ссылка на работу Ранке «Великие державы» является здесь для Мейнеке в такой же степени аргументом, подтверждающим эту идею, в какой данная работа была использована им в его предыдущем исследовании для доказательства тезиса о самоопределении государства на основе учета национальных интересов; такое государство противостояло — в этом Мейнеке был полностью солидарен с несранкеанцем М. Ленцем — союзам между государствами как непрочным временным объединениям, границы которых предписываются принципам утверждения силы государства во внешней и внутриполитической жизни[86]). Мейнеке при этом довольно близко подошел к определению подлинного смысла идеи Ранке с «европейской общности» народов, рассматривая ее как «естественный результат первоначальной общности происхождения и территориальной близости[87]). Такое противоречие у Мейнеке объясняется не противоречивостью взглядов Ранке, а изменением отношения к нему самого Мейнеке.

Соответственно общему содержанию книги синтез идеального и реального во взглядах Ранке на государство и нацию приобретал дуалистическую форму. Этот дуализм Мейнеке усматривал, по существу, в трасцендентальном характере исторических идей Ранке, обнаруживающих божественный разум в истории. Особую заслугу Ранке Мейнеке видел в том, что он не индентифицировал, подобно Гегелю, божественную идею с историческим процессом. Религиозные убеждения историка приобрели для Мейнеке не только роль аргумента в противопоставлении Гегелю Ранке в их взглядах на историю; они были необходимым условием для достижения «поразительного беспристрастия» Ранке по отношению к историческим явлениям. Сохранение дистанции «между богом и эмпирической историей» позволило Ранке показать действительное развитие событий, не навязывая ему никаких схем; в этом смысле религиозная вера Ранке рассматривалась как основная предпосылка научности его исторического познания[88]). На основе находимого таким образом дуализма во взглядах Ранке Мейнеке пытался установить его отношение к так называемой проблеме маккиавеллизма и идее государственного разума. Он использовал при этом некоторые суждения историка о Маккиавелли[89]). Мейнеке, однако, вынужден был признать, что, к сожалению, Ранке рассматривал деятельность Маккиавелли как индивидуальное явление, не делая в этом отношении никаких обобщений[90]). Между тем действиям тех исторических личностей, которых он описывал, также был присущ маккиавеллизм[91]). Он описывал их, указывал Мейнеке, со смешанным чувством восхищения и отвращения[92]), хотя восхищение при этом преобладало. Поскольку Ранке отвергал гегелевскую формулу о хитрости разума, то Мейнеке объяснял эти факты дуализмом масштабов «неизменного и меняющегося»[93]), т. е. морали и политики.

При всем стремлении доказать наличие конфликта между политикой и моралью в историческом мышлении Ранке данная попытка Мейнеке свидетельствует о том, что он имел дело не с системой взглядов Ранке по этому вопросу, а с его отдельными суждениями. Этот

[85]) Ibid., S. 459
[86]) F. Meinecke. Weltbürgertum und Nationalstaat. S. 257.
[87]) F. Meinecke. Weltbürgertum und Nationalstaat, S. 259.
[88]) F. Meinecke. Die Idee der Staatsräson..., S. 444.
[89]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 33—34, S. 151—174.
[90]) F. Meinecke. Die Idee der Staatsräson..., S. 446—447.
[91]) Ibid., S. 448.
[92]) Ibid., S. 448.
[93]) Ibid., S. 449.

дуализм оказывается в большой степени искусственно сконструированным, поскольку моральное у Ранке, как признавал сам Мейнеке, соответствует идеальному[94]), и в этом отношении мы имеем дело с идеалистическим монизмом Ранке. Дуализм политики и морали неразрывно связан у Мейнеке с отказом от прославления силы в истории и в государстве — точка зрения, которую он разделял до первой мировой войны. Именно поэтому обнаруживаемому во взглядах Ранке дуализму политики и морали противоречит констатируемое Мейнеке «...оптимистическое... восприятие проблемы силы» этим историком[95]). Но то, как об этом писал Мейнеке, является не критикой, а, скорее, упреком Ранке за то, что он так просто решал проблему силы в истории. Дуализм во взглядах Ранке он характеризовал, вследствие этого, как непоследовательный, ограниченный[96]), причем этот вывод относился не только к дуализму политики и морали, но и к пониманию Ранке природы исторических явлений вообще. Последнее Мейнеке доказывал отказом Ранке отождествлять божество с самим историческим процессом[97]). Противопоставляя в этом отношении Ранке Гегелю, Мейнеке в то же время считал его взгляды в определенной степени отягощенными принципом тождества идеи — в данном случае религиозной идеи — и исторического процесса; следствием этой непоследовательности был исторический оптимизм Ранке[98]).

Ограниченный характер влияния идеи государственного разума на историографию Ранке Мейнеке объяснял, таким образом, непоследовательной, ограниченной формой дуализма политики и морали в его взглядах. Лишенные априоризма, взгляды Ранке, однако, не содержат дуализм в этой форме, в которой он выражен у Мейнеке, как дуализм духовного и естественного начал в исторических явлениях.

Что касается понимания Ранке наиболее общих вопросов исторического процесса, то в этой области он был идеалистом, причем его взгляды могут быть охарактеризованы как разновидность объективного идеализма. Говорить об идеализме Ранке, однако, можно не как о какой-либо особой оригинальной форме философско-исторического мышления, а лишь имея в виду его религиозные взгляды, поскольку они у Ранке неотделимы от его понимания существа и содержания процесса исторического развития. В отличие от целого ряда представителей философско-исторической мысли в Германии XVIII—XIX вв., в том числе и в отличие от Фихте, оказавшего определенное влияние на формирование у Ранке его религиозного мировоззрения, религиозные убеждения этого историка не были связаны с какой-то особой, теоретически разработанной идеалистической системой взглядов. Ранке был убежденным протестантом, для которого не подлежало сомнению, во-первых, наличие творца, стоящего у начала исторического развития и согласно воле которого направлялось развитие истории и, во-вторых, непознаваемость его в истории рациональным путем[99]). В данном отношении Ранке был гораздо более реакционен, чем, например, Гегель: история, будучи, по Гегелю, творением божественной идеи, развивалась по своим собственным законам, которые могли быть познанными как законы объективного духа; с точки же зрения Ранке, божественное вмешательство в развитие истории имеет место; отсюда и встречаю-

[94]) Ibid., S. 450.
[95]) Ibid., S. 451.
[96]) Ibid., S. 449—451.
[97]) Ibid., S 450.
[98]) Ibid., 449.
[99]) См., напр., его письмо к Отто Ранке от 25. V. 1873 — L. v. Ranke. Das Briefwerk. Eingeleitet und herausgegeben von W. P. Fuchs. Hamburg, 1949, S. 518—519.

щееся в его историографической практике объяснение событий с позиции провиденциализма. Эти взгляды сами по себе едва ли могут вызвать интерес к себе, но они приобретали для Мейнеке особую значимость и смысл именно потому, что Ранке был историком, пытавшимся на основе этих представлений дать свое объяснение истории. Мейнеке шел, следовательно, от истории, оценивая религиозные, а вместе с тем и общеисторические взгляды Ранке. При этом для него являлось вопросом второстепенного значения, называть ли метафизическую основу исторического процесса божеством или обозначать ее каким-либо другим термином. Не подлежала никакому сомнению, по убеждению Мейнеке, лишь ее непознаваемость[100]). Ранке же исходил из религиозных убеждений при изучении истории, что нашло выражение и в его общеисторических взглядах, и в его историографической практике. Он исходил из незыблемости своих религиозных убеждений. У Мейнеке же эти убеждения становятся объектом теоретического мышления. Именно поэтому Мейнеке рассматривал религиозное мировоззрение Ранке как продукт и даже высшую ступень его исторического познания, тогда как в действительности они являлись исходным моментом его исторического мышления. Для Мейнеке историческое познание Ранке было «сочетанием познания и догадки»[101]), причем догадка («Ahnung») имеет уже смысл во многом не ранкеанской религиозной веры, а дильтеевского истолкования исторического познания как благоговейной догадки, вживания в объект и т. д.

Формула Ранке «real-geistig», употребляемая им для обозначения объекта исторического познания, во многом условна[102]); это отнюдь не определение, которое может претендовать на полноту выражения в нем взглядов Ранке на характер явлений общественной жизни. Это выражение употреблялось Ранке, чтобы кратко выразить некоторые стороны его исторических взглядов; в данном отношении значение этого выражения не сводится только к чисто символическому: оно являлось для Ранке удобной формой соединения идеализма с историческим реализмом в понимании истории. Но данное выражение не означает у Ранке борьбы этих двух моментов, идеализм и наивный исторический реализм соединены здесь воедино, причем речь идет здесь, безусловно, об идеалистическом монизме. Взгляды Ранке не имеют, следовательно, того теоретического содержания, которое в них усматривал Мейнеке.

В отличие от книги «Космополитизм и национальное государство» идея индивидуального в новом исследовании Мейнеке исходит из представления о двойственном характере событий истории как индивидуальных сущностей.

Загадочность познания начинается, с точки зрения Мейнеке, там, где историк переходит от исследования связей причины и следствия в сфере эмпирического познания к рассмотрению исторического явления как определенного жизненного единства, как индивидуальности.

---

[100]) F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. S. 134.

[101]) Ders., Die Entstehung des Historismus. S. 590. Догадка имела место у Ранке в том случае, пояснял Мейнеке, когда, например, Ранке рассматривал государства как индивидуальности и одновременно как «идеи бога».

[102]) Данное выражение Ранке употреблял, например, противопоставляя немецких ученых конца XVIII в. историкам Франции и других стран, выступавших с критикой священного писания. В отличие от них, немцы, с точки зрения Ранке, не «подвергали сомнению само духовное или отрицали» его (Die deutschen Mächte und der Fürstenbund. Deutsche Geschichte von 1780 bis 1790. Erster Band, Leipzig, 1871, S. 123). Они исследовали в своем уединении «духовные реальности». Ранке писал здесь о таком понимании истории, для «которого религиозная мистика в наиболее чистой форме была даже потребностью» (Ibid., S. 122).

Хотя Мейнеке ставил перед историком задачу «...постичь все видимые нити и переходы между примитивно-естественным и идеальным» в событиях, однако в своей метафизической основе эта двойственность была для Мейнеке непознаваемой[103]).

«Неизвестное x, которое объясняет это единство и эту противоположность (т. е. единство и противоположность идеального и природного начал), мы оставляем не определенным, потому что его нельзя определить»[104]). Именно в этом состоит смысл его утверждений о непознаваемости истории и загадочности перспектив исторического развития. В соединении с категорией демонической природной силы, содержащейся в самом государственном разуме, эти взгляды несовместимы со взглядами Ранке. Эту глубокую противоположность Мейнеке отказывался еще признать, усматривая в констатируемом им в историческом мышлении Ранке синтезе идеи и реальности ограниченную непоследовательную форму дуализма природного и духовного начал; в то же время он, очевидно, понимал в какой-то степени неправомерность такого истолкования взглядов Ранке, так как термин «дуализм» в последующих его работах о Ранке уже не употреблялся. Расхождения со взглядами Ранке, которые, как мы видели, касались коренных вопросов, воспринимались Мейнеке как незначительные, что соответствует той форме, в которой он об этих расхождениях писал. Эти расхождения предполагали, а не исключали дуализм исторического мышления Ранке. Как это очевидно, дух критических замечаний Мейнеке в 30-е гг., в связи с выходом книги «Идея государственного разума в новой истории», и в начале 40-х гг. был, в целом, один и тот же, хотя критическое отношение к Ранке выражено здесь более явно. Интерпретация его взглядов с точки зрения проблематики и основного содержания историзма была за это время значительно расширена и дополнена. В работах Мейнеке 40-х гг. выявлены в основном все черты взглядов Ранке, на основе которых Мейнеке определял его место и значение в развитии историзма. В соответствии с этим методология истории Ранке все в большей степени становится объектом изучения Мейнеке. Во втором своем большом произведении он рассматривал Ранке как гениального представителя историзма[105]), когда пытался выяснить вопрос об отношении общего и особенного в исторической концепции Ранке[106]). Понятие индивидуального Мейнеке рассматривал в обеих книгах как один из ведущих принципов исторического мышления Ранке, причем в «Идее государственного разума» это понятие значительно расширяется, принимая форму гносеологической категории. В соответствии с содержанием историзма, рассматриваемого как теории, Мейнеке стремился выявить понимание Ранке исторического развития. Развернутую интерпретацию этого вопроса он дал в работе «Толкование одного выражения Ранке», написанной в 1942 г.[107]). Вторая мировая война усилила те изменения во взглядах Мейнеке, которые обнаруживались в книге «Идея государственного разума в новой истории». В центре его внимания оказалось положение Ранке о непосредственном отношении каждой исторической эпохи к богу. В оценке этого положения в полной мере обнаруживается двойственное отношение Мейнеке к Ранке. Здесь критический момент выражен уже значительно более ярко, чем в предыдущих работах. Огромное значение указанного положения Ранке

[103]) F. Meinecke. Die Idee der Staatsräson, S. 11.
[104]) Ibid., S. 504.
[105]) Ibid., S. 443.
[106]) Ibid., S. 455—456.
[107]) F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte, S. 117—136.

объясняется, с точки зрения Мейнеке, тем, что оно по своей сути направлено против взглядов на историю, как на прогрессивное развитие. Такие взгляды он оценивал как недоказуемую гипотезу, так как не существует масштаба, с помощью которого этот прогресс можно было бы обнаружить. Это положение указывает историку, утверждал Мейнеке, на его подлинную задачу при изучении истории — познание своеобразия, индивидуального характера исторических явлений[108]). В этом положении заключен, таким образом, своего рода масштаб, с помощью которого определяется историческая значимость каждого события. Его значение определяется не в зависимости от того, является ли последующий ход исторического развития поступательно-прогрессивным, или это попятное движение — ценность каждой исторической эпохи определяется ее индивидуальной сущностью и ее отношением к высшему, что знает человек», т. е. к богу[109]). Таково так называемое рассмотрение истории «по вертикали». Сам ход исторического развития делает, с точки зрения Мейнеке, несостоятельной всякую попытку изучения истории только «по горизонтали». Ранке вслед за Гете был ученым, который доказал необходимость рассмотрения истории «по вертикали»[110]). Исследование событий в их пространственно-временной последовательности должно, в конечном итоге, приводить к установлению связей всемирно-исторического характера. Всемирная история как единство отдельных явлений выступает в результате этого как индивидуальность в такой же мере, в какой индивидуально отдельное событие. Как индивидуальность, она в целом также стоит в непосредственном отношении к богу, как и ее отдельные эпохи. Достижением всемирно-исторического аспекта исследования и рассмотрением всемирной истории как индивидуальности, находящейся в непосредственном отношении к богу, ликвидируется, с точки зрения Мейнеке, противоположность между обоими указанными способами изучения истории[111]). Мейнеке, таким образом, стремился доказать, что идея индивидуального у Ранке получила свое высшее обоснование с точки зрения его взглядов на всемирную историю, как высшую форму индивидуальности.

Изучение истории «по вертикали» представляет собой один из тех примеров, когда, по характеристике Маркса, история пишется при помощи какого-то лежащего вне ее масштаба[112]). Такое изучение означает определенную интерпретацию историографической практики Ранке исключительно на основе его общеисторических взглядов. Согласно этой интерпретации каждый исторический феномен в познании Ранке является в определенной степени результатом изучения истории «по вертикали». Примеров такого рода из историографической практики Ранке Мейнеке не приводил, хотя это отнюдь не означает, что Ранке был чужд мистицизм при истолковании конкретных исторических фактов. В данном случае мы имеем дело с тенденцией, отличной от позиции, которую занимал Мейнеке по отношению к Ранке во время методологической дискуссии 90-х гг. XIX в. в немецкой буржуазной историографии: согласно пресловутому требованию изучать историю «по вертикали» мистицизм и иррационализм заложены в самой основе познания Ранке конкретных фактов, тогда как во время методологической дискуссии Мейнеке ограничивал мистически-трансцендентальный момент лишь сферой общеисторических взглядов Ран-

[108]) F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. S. 118.
[109]) Ibid., S. 119.
[110]) F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. S. 98.
[111]) F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. S. 120.
[112]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 37.

ке, поскольку этот момент вообще «неустраним при постановке высших вопросов философии»[113]).

Историографическая практика Ранке существенно отличается в рассматриваемом отношении от его общеисторических взглядов. Определенное несовпадение исторической теории и конкретного исследования выражается при этом не только в неизбежном несовпадении в познании идеи и ее эмпирического обоснования. Данное положение Ранке отнюдь не следует понимать в том смысле, будто оно в историографической практике становилось моментом, определяющим собой познание конкретной индивидуальности явления в каждом случае. Ранке, например, относил группу романогерманских народов к так называемым «историческим», рассматривая народы, не входящие в рамки его европоцентристской концепции, как неисторические. Ссылка на провиденциализм должна рассматриваться, по существу, как исключение, а не как правило из его общего объяснения событий рациональным путем[114]). Исторический идеализм, следовательно, в гораздо большей степени вытекает в данном случае из общеисторических взглядов Ранке, чем из его историографической практики. Это обстоятельство используется Мейнеке для его общих суждений о Ранке. Основной чертой его исторического познания является по Мейнеке, изучение истории «по вертикали», заменяющее собой в действительности исследование структуры событий в рамках данной исторической эпохи их мистификацией.

Ранке мотивировал свое отрицание прогрессивного характера исторического развития не только на основе религиозного мировоззрения, но и в теоретико-познавательном отношении. Обосновывая свою точку зрения об отсутствии прогресса в нравственной сфере, он ссылался на факты, которые, по его убеждению, подтверждали это положение[115]). Однако в положении об одинаковой ценности каждой исторической эпохи по отношению к богу главную роль играет вера, а не эмпирическое знание. Именно это положение становится, с другой стороны, объектом критики Мейнеке, так как оно, утверждал Мейнеке, не объясняет наличие демонического в истории[116]). Оно приемлемо для Мейнеке лишь как постулат веры, а не как принцип научно-исторического познания. В конечном счете, Мейнеке безуспешно пытался доказать — на основе дуализма духовного и естественного в истории,— что для Ранке существовали эпохи, «более близкие и менее близкие к богу»[117]).

Возражения Мейнеке Ранке по поводу положения последнего о непосредственной близости каждой исторической эпохи к богу далеко выходят за пределы простой интерпретации взглядов этого историка[118]). Усматривая в данном положении сущность исторического мышления Ранке, он подходил к его оценке с позиций наличия демонического в истории, пытаясь его объяснить. Ни трансцендентальн-

---

[113]) А. И Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв., 1958, стр. 73—75.

[114]) Приведя ряд примеров объяснения истории Ранке ссылкой на провиденциализм в его первом труде, Мюльбе даже утверждал, что в дальнейшем в такой наивной форме Ранке не писал — E. Mülbe. Selbstzeugnisse Rankes über seine historische Theorie und Methode im Zusammenhand der zeitgenossischen Geistesrichtungen. Berlin, 1928, S. 54.

[115]) Л. Ранке. Об эпохах новой истории. М., 1898, стр. 9.

[116]) F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte, S. 132.

[117]) Ibid., S. 121.

[118]) В Западногерманской историографии эта работа была оценена как «одна из его самых глубоких работ по теории истории» — См. F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. XLVI.

ная вера, на пантеизм не решают, согласно Мейнеке, этого вопроса. Историк, писал он, будет созерцать философию истории Ранке как прекрасное здание, фундамент которого, однако, покажется ему сомнительной прочности Задача исторического познания должна состоять, по Мейнеке, в преодолении взгляда, по которому природа исторических явлений связывалась только с божественным началом. Подлинное понимание природы исторических явлений требует преодоления как представлений об имманентности историческому процессу божественного начала, так и трансцендентальной веры, несовместимость которых существует только для человеческой логики, а не для метафизических сфер.

При этом само божественное Мейнеке понимал как «в высшей степени противоречивое, бессмертное и смертное одновременно»[119]). Такое понимание он связывал с неизбежным выходом за пределы человеческой логики при рассмотрении исторических событий[120]).

Вторая мировая война углубила и укрепила у Мейнеке представления о дуалистической природе исторических явлений, в связи с чем категория «демонии силы» стала играть еще большую роль в его взглядах. С полной очевидностью это наблюдается и в его интерпретации Ранке.

В положении Ранке о непосредственном отношении каждой исторической эпохи к богу Мейнеке увидел глубокий теоретический смысл, т. к. это соответствовало содержанию развиваемой им теории неоидеалистического историзма. В той степени, в какой это положение соответствовало данной теории, оно находило у Мейнеке высокую положительную оценку; и наоборот, оно становилось объектом критики постольку, поскольку противоречило взглядам самого Мейнеке. Исход второй мировой войны Мейнеке рассматривал как подтверждение правильности тех взглядов, которые ему были до этого присущи. В соответствии с этим критика Ранке приобретает у него все большее значение и становится совершенно определенной и явной. Для такого отношения к Ранке характерна его работа «Ранке и Буркгардт», написанная в 1948 году. В последние годы жизни Мейнеке особенно привлекла проблема сравнения исторических концепций Ранке и Буркгардта для выработки «правильной» исторической теории, выходящей за пределы взглядов обоих историков. «Ибо ни тот, ни другой,— писал Мейнеке,— не говорят последнее слово»[121]). Ставя так вопрос, Мейнеке относил себя к числу историков, ищущих «новые пути»[122]), стремился определить значение Ранке и Буркгардта с точки зрения их «пригодности» для современности.

Он настаивал при этом на необходимости «переучиться» в связи с опытом «четырнадцати последних лет» в истории Германии. Сравнивая Ранке и Буркгардта, Мейнеке писал, что последний глубже понял современную ему эпоху и поэтому смог лучше предвидеть будущее[123]). Мейнеке имел в виду, прежде всего, высказанное Ранке в день его девяностолетия положение о том, что важнейшим итогом исторического развития в современную ему эпоху он считал поражение революционных сил, делавших невозможным нормальное («regelmäßige») развитие всемирной истории, а также исключавшее воз-

---

[119]) F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte.
[120]) Ibid., S. 133.
[121]) F. Meinecke. Ausgewählter Briefwechsel, S 276. См. также другие письма Мейнеке Ausgewählter Briefwechsel, S. 247, 514, 604.
[122]) Ibid.. S. 514.
[123]) F. Meinecke. Ranke und Burckhardt. S. 4.

можность ее объективного познания историком[124]). Ранке, по словам Мейнеке, был бы в данном случае прав, если бы думал об огромной опасности всеобщего революционного хаоса; он, продолжал далее Мейнеке, поставил объективное познание истории в зависимость от победы монархического принципа в Германии, которую сам пережил[125]). Указывая на несостоятельность этих прогнозов Ранке, Мейнеке спрашивал: кто может поручиться за то, что мировая история будет развиваться без катастроф? Заслуга Буркгардта состояла, по мнению Мейнеке, в том, что там, где Ранке усматривал лишь нарушение нормального хода развития истории, Буркгардт видел «мрачную повторяемость»[126]). Пессимизм Буркгардта не позволял ему рисовать никакой идеальной картины развития истории; при этом, замечал Мейнеке, Буркгардт едва ли не радикальнее отклонял принцип народного суверенитета, чем Ранке. Мейнеке утверждал, таким образом, что Буркгардт точно определил биение пульса своего времени, пессимистически оценивая ход исторического развития не только в современную ему эпоху, но и в будущем.

Мейнеке считал далее поучительным для историка отношение Буркгардта к Бисмарку. Перед лицом краха дела Бисмарка необходимо, с точки зрения Мейнеке, подвергнуть тщательному анализу все то в его деятельности, что с самого начала таило в себе опасность для будущего[127]). Пример решения этой задачи он видел в критическом отношении к Бисмарку Буркгардта, считавшего его революционные методы насилия опасными; в отличие от Буркгардта Ранке быстро успокоился, наблюдая консервативный характер результатов этих усилий Бисмарка[128]). Наряду с этим Буркгардт предвидел, писал Мейнеке, узурпацию государственной власти диктаторами, опирающимися на военные корпорации[129]). Он отрицательно оценивал прогресс капиталистической техники и хозяйства, ведущих, по его мнению, человечество в пропасть[130]). Для Ранке же была свойственна «светлая вера» в спасителя Европы[131]), в божественный гений.

Среди других параллелей, проводимых Мейнеке между взглядами обоих историков, существенным является сравнение оценок ими роли силы в истории, отношения ее к культуре и цивилизации. В отличие от Ранке, усматривавшего в силе духовный элемент[132]), возвеличивавшего государство силы и политику силы, сила, как таковая, была для Буркгардта злом[133]). Буркгардт не относил безоговорочно, подобно Ранке, государство к сфере культуры[134]). Хотя, оговаривался Мейнеке, для Ранке также вопрос всемирно-исторического значения заключался в том, как элемент культуры утверждался вопреки «насильственным новообразованиям», «кровавым разрушениям». Между положительным и отрицательным воздействием государственной власти на культуру Мейнеке усматривал таинственную взаимосвязь. Люди, призванные быть творцами культуры, должны, писал он, бороться против такого состояния государственной власти, когда она

[124]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 51—52, Leipzig, 1888, S. 597.
[125]) F. Meinecke. Ranke und Burckhardt. S. 6.
[126]) Ibid., S. 7.
[127]) Ibid., S. 9.
[128]) Ibid., S. 8.
[129]) Ibid., S. 9.
[130]) Ibid., S. 11.
[131]) Ibid., S. 10.
[132]) Ibid., S. 12.
[133]) Ibid., S. 11.
[134]) Ibid., S. 25.

становится препятствием для развития культуры[135]). Ее судьба зависит, по словам Мейнеке, от того, насколько познается ее подлинное содержание, сохраняемое и развиваемое затем посредством сознательной деятельности; сердцем западной культуры являлась для Мейнеке религия[136]). В соответствии с изложенным отношением к Ранке Мейнеке оценивал его формулу «real-geistig»; она служила, утверждал теперь Мейнеке, «... прославлению силы, государства силы и политики силы»[137]).

Сравнивая Ранке и Буркгардта как в связи с их оценками современной исторической эпохи, так и в связи с такими вопросами, как перспективы исторического развития, отношение к государству и понимание силы в истории, Мейнеке, в конечном итоге, приходил к выводу, что для современного ему исторического мышления взгляды Буркгардта имеют большее значение, чем взгляды Ранке. Однако ошибочно полагать, что этот вывод означает шаг вперед в объективно-научной интерпретации взглядов Ранке со стороны Мейнеке по сравнению с его собственными более ранними работами. Конечно, развитие истории опровергло прогноз Ранке о зависимости объективного изучения истории от господства монархического принципа, причем его несостоятельность была очевидна уже в современную ему эпоху. Однако Ранке, мотивировавший свой оптимизм не гносеологически, а в религиозном смысле, был не менее далек от истины, чем Буркгардт с его пессимизмом относительно грядущего исторического развития. В целом этот пессимизм также несостоятелен, хотя позиция Буркгардта, лишенная той апологетики существовавших отношений, какая была свойственна Ранке, объективно открывала ему некоторые возможности для более глубоких суждений о капиталистической действительности, чем это мог сделать Ранке. В целом же указанный вывод Мейнеке о большей актуальности Буркгардта в сравнении с Ранке объясняется развивавшейся им категорией «демонии силы».

Таков итог изучения Мейнеке исторических взглядов Ранке. Оно показывает, прежде всего, возрастание критического отношения Мейнеке к этому историку, хотя определяющей, в конечном итоге, оказалась положительная оценка. В послевоенных условиях задача немецких буржуазных историков заключалась, по мнению Мейнеке, в том, чтобы переосмыслить присущее Ранке понимание истории на основе опыта современности[138]). Мейнеке ставил перед немецкими буржуазными историками задачу выработки новых представлений в масштабе всемирной истории, представлений, в которых взгляды Ранке и Буркгардта продолжали бы жить в снятом виде. Но это должно быть, с точки зрения Мейнеке, не эклектическим соединением, а решением проблемы на основе глубокого переосмысления соотношения силы и культуры, природного и духовного в жизни и в истории[139]). Окончательной эта оценка может быть признана лишь постольку, поскольку она является у Мейнеке последней. Рассмотренное изучение им на протяжении почти пятидесяти лет его научной деятельности взглядов Ранке показывает неразрывную связь каждой оценки Ранке с совокупностью тех представлений научного и политического характера, которые были присущи Мейнеке в каждый период. В этом смысле ведущей нитью исследований Мейнеке в каждом случае был не объект, а субъект, т. е. его собственные научные и политические позиции.

[135]) Ibid., S. 30.
[136]) Ibid., S. 31.
[137]) Ibid., S. 14.
[138]) Ibid., S. 21.
[139]) Ibid., S. 22.

В каждом случае объективный смысл интерпретации Ранке состоял прежде всего в том, чтобы истолковывать его взгляды в соответствии с теми изменениями, которые претерпели взгляды самого Мейнеке. Неотъемлемой чертой мейнековской концепции историзма Ранке является антиисторизм, выраженный как в подходе на всех этапах к изучению Ранке, так и в самой сути интерпретации взглядов этого ученого. Отмеченные противоречия, характерные для оценок Ранке в разных работах Мейнеке, объясняются не противоречивостью объекта исследования, а обусловлены субъективными предпосылками — идейно-политическим развитием самого Мейнеке. Несмотря на его заявления о соответствии даваемой им интерпретации подлинным взглядам этого историка, постижение объективного смысла исторического мышления Ранке отступало всякий раз на задний план перед потребностью использования его в качестве одного из аргументов для обоснования тех или иных идей. Но из этого было бы ошибочным делать вывод о том, что внутренняя логика изменения его отношения к Ранке объясняется влиянием современности, как таковой. Это была своеобразно понятая современность, которая оказывала влияние на интерпретацию Ранке через посредство ряда идей немецкой буржуазной философии истории; непосредственным импульсом для рассмотренной эволюции была, однако, современность.

Антиисторизм Мейнеке, а вслед за ним и современных западногерманских историков заключается прежде всего в попытке истолкования взглядов Ранке в целом с точки зрения неоидеалистического историзма как теории. Между тем, проблема историзма никогда не стояла в центре исторического мышления Ранке, она даже приблизительно не может претендовать, например, на то значение, которое имеет в его исторической концепции проблема объективности и партийности исторического познания. Сам термин «историзм», как обозначение определенной совокупности взглядов, у Ранке не встречается. Равным образом у него отсутствуют и понятия «идея индивидуального» и «идея развития», хотя отсутствие этих терминов у Ранке само по себе еще отнюдь не свидетельствует о том, что содержание его исторических представлений, объединяемое Мейнеке указанными понятиями, не имеет решительно никакого отношения к идейному содержанию концепции неоидеалистического историзма. С самого начала следует учитывать, что концепция неоидеалистического историзма связана теми или иными сторонами взглядов Ранке. Верные в целом ряде случаев наблюдения и выводы Мейнеке не могли не привести к общей ложной концепции историзма Ранке, поскольку эта концепция связана с предпосылками, чуждыми его взглядам. Это достигается, однако, не путем искажений или примитивного истолкования суждений Ранке; интерпретация их Мейнеке обнаруживает хорошее знание работ и идей этого историка и умелое истолкование его взглядов в соответствии с содержанием неоидеалистического историзма.

Теоретическое содержание историзма Ранке Мейнеке усматривал в ряде часто исследовавшихся проблем его исторической концепции[140]), т. е. ссылки на Ранке относительно понимания им историзма должны иметь не прямой, как у Мейнеке, а косвенный характер, поскольку речь идет о проблемах, которые лишь косвенно выражают отдельные аспекты понимания историчности у Ранке (взгляды его на государство, на прогресс и др.). Неизбежным следствием такого подхода к изучению Ранке часто является то, что его суждения предста-

[140]) F. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. S. 588.

ют в отеоретизированной форме, или в них предполагается содержание, которого они в действительности частично или полностью лишены.

Понятие индивидуального, будучи для Мейнеке прежде всего выражением свойств самой исторической действительности, являлось одновременно и гносеологической категорией; именно в связи с этим Мейнеке писал об опасности релятивизма в историческом познании[141]). Идея индивидуального, как и другие логические категории познания Мейнеке, имеют в качестве своей основы иные гносеологические предпосылки, чем это имеет место у Ранке. Историческое познание должно быть, по мнению Мейнеке, формой слияния или взаимопроникновения объекта и субъекта, осуществляемого последним во имя практических целей исторического познания[142]). Мейнеке, по существу, оставлял в стороне вопрос о том, что исследуемый объект может быть при этом неправильно изображен; в природе исторического познания заключено, с точки зрения Мейнеке, то, что оно является частью исследуемого объекта, способствующей его формированию. Результатом такого понимания отношения объекта и субъекта в историческом познании является, прежде всего, само исследование Мейнеке исторических взглядов Ранке.

Подобно Мейнеке, Фиргаус стремился доказать, что важнейшим импульсом исторических работ Ранке, посвященных не только его собственной эпохе, но и прошлому, была современность[143]). Исследование Фиргауса показывает, однако, не только влияние на Ранке современной ему исторической ситуации, но также и то — вопреки Фиргаусу,— что далеко не все в историографии Ранке может быть объяснено таким влиянием. Рассматривая идею индивидуального в применении к Ранке как гносеологическую категорию, служащую, по существу, средством для определенной интерпретации исторических фактов, Фиргаус видел ее большое значение в том, что она, упорядочивая множество фактов, не являлась при этом их принудительной схемой и, охватывая их как целое, не отрицала в то же время их индивидуальных особенностей. Иными словами, это понятие предупреждало, с одной стороны, против строгой каузальности, идеи закономерности, являющейся в данном случае для Фиргауса схемой, а, с другой, — против одностороннего индивидуализирующего подхода к истолкованию исторических явлений[144]). Речь идет, следовательно, о категории познания, являющейся во многом формальным, т. е. независимым от исследуемого объекта средством познания.

Определенный отрыв гносеологических категорий от исторической действительности является неизбежным следствием обеих попыток интерпретации логических понятий, принадлежащих по мнению Мейнеке и Фиргауса, к числу основных понятий историзма Ранке. Такой отрыв порождается не только убеждением в том, что само историческое познание является фактором, формирующим объект исследования — с этим связывается отрицание объективной исторической истины, — но также и отказом до конца рассматривать понятия исторического познания, как выражение свойств исторической действительности.

[141]) Ders., Zur Theorie und Philosophie der Geschichte, S. 203.

[142]) Ibid., S. 239. См. также. G. Lozek, H. Syrbe. Geschichtsschreibung contra Geschichte. Berlin, 1964, S 34.

[143]) R. Vierhaus. Rankes Verständnis der «neuesten» Geschichte untersucht auf Grund neuer Quellen.— «Archiv für Kulturgeschichte», 1957, XXXIX. Band. Heft I, S. 101. См. также разделы его книги «Ranke und die soziale Welt», в которых Фиргаус рассматривал отношение Ранке к XIX в., а также изучение Ранке современности (S. 24—49).

[144]) R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt, S. 57.

У Ранке, как и у Мейнеке и Фиргауса, под индивидуальным подразумевается прежде всего определенное понимание объекта исторического познания. В отличие от них, однако, историческое познание не представлялось Ранке своего рода инструментом, независимым от исследуемого объекта. Исторические представления могут быть ложными, но это является, с точки зрения Ранке, нарушением объективности познания. Принцип объективности истины, как и ее критерий, не были для Ранке вопросами, требующими специального рассмотрения и доказательства; объективность познания доказывается и проверяется практическим путем в ходе исследования. В объективно-научном познании, с точки зрения Ранке, не может быть ничего, что не являлось бы свойством самой исторической действительности. В этом смысле понятие единичного у Ранке, например, имело одновременно и гносеологическое значение. Интерпретация Мейнеке и Фиргаусом взглядов Ранке с точки зрения историзма, как метода познания, неправомерна уже потому, что она исходит из нарушения этого единства в его методологии.

Несомненно, что единичное является исходным пунктом исторического познания у Ранке, причем, правомерность этого положения настолько же очевидна, насколько единичное, «конкретная целостность», по выражению Маркса[145]), является отправной точкой всякого познания вообще. В автобиографии Ранке писал, что от своего принципа «основательного изучения единичного» он нигде не отошел «ни на волос»[146]). Понятие единичного выражало его осознанное убеждение в неповторимом характере исторических явлений: «... нельзя ожидать, чтобы то, что произошло в определенные эпохи у греков или итальянцев, повторилось в другом месте...»[147]). Неповторимость Ранке рассматривал, следовательно, как невозможность найти в истории два или несколько событий, которые обнаруживали бы сходство во всех их чертах; справедливость этого, конечно, нельзя отрицать. Именно в познании явлений, как своеобразно-неповторимых явлений, Ранке видел основную задачу исторического познания[148]). Однако это не означает, что Ранке видел только неповторимое своеобразие исторических событий и не замечал их сходства. О письме к Генриху Риттеру от 18 февраля 1835 г. Ранке писал, например, следующее: «Как ты замечаешь, что у католиков, как и у протестантов, имело место сходное развитие, является совершенно правильным...»[149]). Подобно этому Ранке считал, что народы Западной Европы имели ряд сходств в их историческом развитии. В этом отношении идея единства романо-германских народов находила свое эмпирическое обоснование: эти народы объединяют, по мнению Ранке, их происхождение, обычаи; общность их исторического развития выступает для Ранке также в общих «предприятиях»[150]), к которым относятся переселение народов, крестовые походы и переселения в другие части света. При этом объяснение Ранке несвободно от идеалистических предпосылок: ставя вопрос о причинах перечисленных явлений, он находил ответ в их

---

[145]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 727.
[146]) L. v. Ranke. S. W. Bd 53—54 Leipzig. 1890, S. 663.
[147]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 51—52, S. 572.
[148]) В рекомендациях к написанию истории наук в Германии Ранке, например, писал, что следует избежать антикварности и приблизиться к научным интересам современности, хотя при этом изложение самого сюжета не должно пострадать (L. v. Ranke. S. W. Bd. 53—54, S. 680). Чтобы достичь этой цели, «задача (т. е.— исследование) должна решаться по-разному для разных эпох» (Ibid., S. 681).
[149]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 53—54, S. 271.
[150]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 33—34, S. XV.

общей духовной основе[151]). В одной из своих работ Ранке специально рассматривал сходства и различия английской революции XVII в. и Великой французской революции[152]). Ранкеанское понимание единичного не исключало, таким образом, сходства исторических явлений; наряду с индивидуально неповторимыми качествами явлений их общие черты составляли, по Ранке, содержание исторических событий. При этом неповторимым для Ранке был весь комплекс исторических условий, характеризующих данное явление[153]). Он не различал сущность явления и конкретно-историческую, неповторимую форму его выражения или, вернее, судил о событиях преимущественно на основе их внешних признаков, полагая, что историческое событие познается при этом во всей глубине его содержания.

Признавая в определенной степени сходство исторических явлений, Ранке объективно считал, что определяющее значение имеет познание их индивидуального своеобразия. В его историографической практике основное внимание уделяется именно описанию исторического своеобразия событий. «Исследование,— писал Ранке,— направлено на то, чтобы познать именно различие, которое существует между событиями разных эпох»[154]). Представлению о закономерном характере развития истории Ранке противопоставлял исследование единичного. В понятие закономерного он вкладывал при этом такой смысл, какой усматривают в нем только при желании опорочить идею закономерности: «...ибо согласно этому (т. е. утверждению о закономерном развитии истории) над человеческими видами непременно господствовала бы предопределенная судьба, не только рок..., а и бесплодный, в высшей степени прозаический, непреодолимый естественный закон, против которого бессильны любая воля и дарование: определенная свобода им была бы оставлена только в подчиненной сфере»[155]). Но из такого представления для историка следуют, с точки зрения Ранке, отрицательные последствия, сковывающие свободу его исследования и навязывающие ему рамки. Ценность «исторического исследования единичного» состоит, утверждал Ранке, не только в том, что историк обладает необходимой внутренней свободой исследования; при таком подходе к истории исследование соприкасается с индивидуальной свободой воли, моральной жизнью индивидуума,— а с этим, писал Ранке, непосредственно связаны все великие изменения в истории[156]). В этих изменениях, в борьбе моральных сил в истории обнаруживается божественное, которое не является для Ранке «слепым роком»; подчинение истории «плоской необходимости» несовместимо, утверждал он, с непосредственностью отношения ее к богу. То обстоятельство, что Ранке не увидел в историческом развитии действия закономерностей, объясняется во многом ориентацией его познания на познание единичного, неповторимого, выражавшего объективно для него сущность явлений общественной жизни; идея закономерного развития противоречила также основам его мировоззрения, прежде всего, идее провиденциализма.

Борясь с им же самим изображенным в превратном виде понятием закона в истории, Ранке тем самым закрывал себе путь научного познания не только единичного, неповторимого в событиях, но и личности, роль которой, с точки зрения Ранке, принижается предположением о том, что в истории действуют законы.

---

[151]) Ibid., S. XVI.
[152]) См. R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. S. 244—245.
[153]) См., напр., L. v. Ranke. S. W. Bd. 53—54, S. 44.
[154]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 51—52, Leipzig, S. 572.
[155]) Ibid., S. 571.
[156]) Ibid., S. 572.

Является искаженным представлением о взглядах Ранке утверждение о том, что путь познания у него состоит в движении от единичного к общему, что метод Ранке соответствует индуктивным методам современной науки[157]). Такая точка зрения соответствует в действительности интерпретации Фиргаусом единичного у Ранке, как формы всеобщего по отношению к другому индивидуальному; это соответствует, например, утверждению о том, что идея западной общности народов есть сфера общего у Ранке. Однако это противоречит в его взглядах тому, что индивидуальное, единичное есть, с его точки зрения, прежде всего, конкретное, эмпирическое, факт или событие во всей его неповторимости; общее отступало у Ранке фактически на задний план. В гносеологическом отношении метод Ранке нельзя назвать ни индуктивным, ни, тем более, дедуктивным, так как путь познания конкретного через общее на основе идеи закономерности был для него с самого начала закрыт. Поэтому его познание приобретало в большей части форму эмпирического описания. В связи с этим необходимо выяснить какой смысл вкладывал Ранке в понятие общего, в том числе и в тех случаях, в которых его суждения об отношении общего и особенного стали основой для рассмотренных выводов Мейнеке и Фиргауса.

Содержание этих суждений не имеет ничего общего ни с утверждением о том, что в них выражено убеждение в неповторимом своеобразии исторических событий, ни с утверждением о том, что в них содержится признание определенной роли общего в истории и в познании. Взятые вне связи с соответствующим текстом произведений Ранке, эти мысли порождают ту иллюзию, которая лежит в основе их интерпретации рассмотренными буржуазными историками ФРГ. Этого смысла лишена, прежде всего, приведенная формула Ранке, которую Мейнеке называл генеральным положением его исторической концепции. Во введении к «Английской истории», к которому относятся эти слова, Ранке говорил, что в истории есть события, которые определяют собой последующее историческое развитие. Пример подобных явлений он видел в эпохе английской революции XVII в. Для понимания ее историк должен, по мнению Ранке, сделать объектом непосредственного изучения как связь ее с общим ходом событий — Ранке подразумевал под этим развитие европейской истории в целом,— так и ход событий революции на основе внутренней логики их развития, действия внутренних причин. Следующие затем слова Ранке обнаруживают тесную связь с этими рассуждениями; термин «allgemein» берется не для обозначения общего, сходного в событиях, а как синоним их общего хода, в данном случае — европейской истории. Историк познает, изучая революцию, писал далее Ранке, не только историческое развитие в целом и борьбу противоположных сил, но также и то, как много при этом зависело от образа мыслей, энергии индивидуумов. Под столкновением общего и особенного Ранке понимал в данном случае столкновение индивидуальной воли с общим ходом развития событий[158]). Точно так же содержание, вкладываемое историками ФРГ в термин «общее», не встречается и в других случаях употребления Ранке этого выражения. Не является аргументом, убеждающим в правоте вывода Мейнеке, его ссылка на работу Ранке «Политический диалог», где он писал, что «всеобщее формально, реальное является особенным, жизненным»[159]). Общим в данном случае выступают для Ранке различные формы конституционного устройства; внутреннюю сущность государства отража-

[157]) R. Vierhaus. Rankes Verständnis der «neuesten» Geschichte... S. 99.
[158]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 13—14, Leipzig, 1870, S. IX—X.
[159]) Ders., Geschichte und Politik. Stuttgart, 1942, S. 90.

ют не эти внешние по отношению к ней, второстепенные, с точки зрения Ранке, атрибуты, она заключена в индивидуальной природе государств, в идее[160]).

Ранке объективно отрицал историографию, ограничивающуюся лишь голым перечислением фактов; ошибаются, писал он, те историки, которые рассматривают ее как «огромный агрегат фактов». Задача исторического познания должна состоять, по убеждению Ранке, в том, чтобы на основе изучения единичного придти «своим собственным путем» (т. е. путем исторического, а не философского познания) к общему, к познанию «объективно данной связи»[161]). К подлинным качествам историка Ранке относил его творческую радость по поводу исследования, эмоционально-возвышенное отношение историка к исследуемым явлениям. Повинуясь этому чувству, историк должен заниматься изучением единичного, т. е. истории; это чувство должно быть даже, с точки зрения Ранке, одной из руководящих нитей исследования. Историк не должен, однако, этим ограничиваться, закрывая глаза на общее. Но это общее он не привносит, подобно философу, в познание, измышляя его: «в ходе рассмотрения единичного перед ним (т. е. историком) откроется путь, которым в общем шло развитие мира»[162]). Подобные рассуждения отчасти показывают, что Мейнеке сильно преувеличивал уровень теоретического мышления Ранке, рассматривая его как венец теории неоидеалистического историзма. Ранке, вместе с тем, при критике философского пути познания отметил один из существенных недостатков современной ему идеалистической философии — априоризм, связанный, однако, для него всегда с понятием закономерности. Поэтому он писал, что историческое развитие нельзя свести к «всеобщим понятиям, которые якобы господствовали в ту или иную эпоху». Ранке отвергал, таким образом, движение познания от единичного к общему в подлинном смысле слова, т. е. путь абстракции. Обоснование им своей точки зрения показывает, что в его понимании не являлось таковым в действительности, хотя при этом познание, по его убеждению, уже переставало быть чисто эмпирическим. Его рассуждения сводились к весьма неглубоким представлениям о том, что в истории между народами существовали всегда влияния и взаимовлияния. При этом отдельные народы благодаря своей силе оказывались в положении, когда они оказывали определяющее влияние на остальной мир. Эти взаимосвязи и взаимовлияния составляли, с точки зрения Ранке, содержание всемирной истории; познание этих связей означало ту ступень познания, когда оно имеет дело с общим[163]). Стремление даже такого историка-эмпирика, как Ранке, дать ответ на вопрос, может ли быть историческое познание подлинной наукой, оставаясь на стадии «чисто эмпирического знания», является свидетельством влияния на историографию идеалистической немецкой философии.

Часто свои суждения о сущности и характере исторического познания Ранке высказывал в связи с теми или иными положениями, содержащимися у представителей идеалистической немецкой философии или других течений философско-исторической мысли (например, просветителей). Точка зрения Ранке определялась при этом решающим образом его классовыми позициями и связанным с ним мировоззрением.

Ранке был, несомненно, прав в том отношении, что исходным пунктом познания является живой исторический процесс, а не понятие, логическая категория. У самого Ранке это, однако, не исключало идеа-

[160]) Ibid., S. 91.
[161]) Ibid., S. 134—135.
[162]) Ibid., S. 135.
[163]) Ibid., S. 136.

лизм: природа духа, обнаруживающегося в истории, не является понятийной[164]). Борьба Ранке против логических категорий была направлена против теорий исторического процесса и прежде всего — против философии Гегеля. Гегелевская философия, писал он, стремится к тому, чтобы подчинить исторические явления ее категориям[165]); ее исходным пунктом является система идей, привнесенных в познание[166]). В другом месте Ранке писал, что эта философия была отражением давно известных фактов[167]) и часто противоречила «надежнейшим результатам исторической критики». Ранке противопоставлял, таким образом, философии критическую историографию. За критикой философии Гегеля скрывается во многом ее непонимание Ранке, хотя, как это очевидно, некоторые его замечания затрагивают слабые стороны философской системы Гегеля. Несомненно, что для Ранке Гегель выступал как образец той логической схематизации исторического процесса, которая обедняла содержание истории и противоречила, прежде всего, познанию единичного[168]). Применительно к Гегелю это означало не только критику априоризма, но и отрицание его убеждения в закономерном характере развития истории. Противопоставляя себя этой «схематизации», Ранке сформулировал свои мысли о несводимости исторического ни к какой логической категории: «Духовную реальность (Real-Geistige), которая в неподражаемой оригинальности... возникает перед глазами, нельзя вывести ни из какого высшего принципа»[169]). Аналогичным было отношение Ранке и к распространенным в его время политическим теориям. Они исходили, по мнению Ранке, из «пустой идеи государства». Между тем «только посредством всеобъемлющего исторического исследования можно возвыситься до уровня познания, предчувствующего глубокие, всеопределяющие духовные законы»[170]). Отрицание Ранке логических категорий, теорий нельзя, таким образом, правильно понять, не учитывая некоторых черт философско-исторического мышления, его эпохи и его отношения к ним. Было бы ошибочным считать, что в приведенных суждениях дан ответ на вопрос о роли в познании логических понятий в том смысле, в каком этот вопрос рассматривается многими современными буржуазными историками,— в смысле невозможности выразить логическими средствами результаты познания исторических явлений. Между тем, Мейнеке именно с этой точки зрения истолковывал суждения Ранке о несводимости исторических событий в какой-либо логической категории. Очевидно, что такая интерпретация суждений Ранке предполагает в них содержание, которого они в действительности лишены. Критика Ранке априоризма и отрицание им философско-исторических теорий[171]), в том числе и теории прогресса, не противоречат, при всей реакционной сущности такого отрицания, его убеждению в существовании объективной исторической истины и в возможности ее достижения средствами рационального познания.

Для понимания категории общего во взглядах Ранке существенное значение имеют его суждения об отношении общегерманской истории и истории отдельного немецкого княжества. По этому вопросу у Ранке существовала определенная система взглядов. В одной из своих работ он подчеркивал целесообразность и большую историческую значимость

---

[164]) L. v. Ranke. Geschichte und Politik, S. 137.
[165]) E. Mülbe. Selbstzeugnisse Rankes..., S. 69.
[166]) Ibid., S. 69—70.
[167]) Ibid., S. 70.
[168]) L. v. Ranke. Geschichte und Politik, S. 134.
[169]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 49—50, S. 325.
[170]) Ibid., S. 324.
[171]) См. об этом также L. v. Ranke. S. W. Bd. 23—24, S. 284.

исследования истории Германии в период между 1575 и 1619 гг. Перед историком, писал Ранке, открывается многообразие отличающихся друг от друга явлений этой эпохи, связанных с ее политическими и религиозными противоречиями. В этих событиях находит выражение и общеевропейская история. Имея в виду систему мелкодержавия в Германии, Ранке считал возможным в связи с этим говорить о пфальцской и саксонской[172]), бранденбургской и других видах политики. Изучить эти вопросы, исследовать их в пределах каждого отдельного немецкого государства и всей германской истории, а также, наряду с этим, и в европейском масштабе Ранке считал чрезвычайно ценным. Такое исследование, по его мнению, обнаружило бы большое количество своеобразных исторических событий, вскрыло бы роль личностей в них. Но все это основывается на исследованиях локального характера, изучении отдельных немецких земель; никогда не придет тот день, когда эти локальные исследования («Territorialforschungen»), потеряют актуальность. В связи с этими рассуждениями Ранке писал, что «единичное, как бы оно ни было обособлено, всегда имеет связь с общим. При этом существует опасность потерять из виду общее, которое вытекает не из особенного и многообразного, а является в свою очередь чем-то особенным, включающим другие элементы». Эту мысль Ранке, естественно нельзя истолковывать изолированно от общего смысла и содержания его работы. Смысл выдвигаемой Ранке задачи состоял в том, чтобы показать историю отдельных земель («Territorialgeschichte») в общегерманском («Reichsgeschichte») или даже общеевропейском аспекте. Общегерманская история имеет другие основы, чем история отдельных немецких земель: она развертывается в той сфере, которая охватывает их (т. е. немецкие княжества) все, и все же она не равнозначна ни одной из них. Основную особенность общегерманской истории Ранке видел в том, что она покоится на общегерманском рейхстаге и на дополняющих его собраниях курфюрстов, во время которых кайзер и сословия стремятся сгладить существующие противоречия и поддержать порядок и мир[173]). Первоначальный глубокий смысл мыслей Ранке сводится, таким образом, к его консервативным и весьма поверхностным суждениям. Но это не отменяет значимости мысли Ранке о том, что общегерманская история не является простой суммой слагаемых отдельных немецких земель. В другом месте он отчетливо выразил эту мысль. Давая рекомендации к написанию общегерманской истории, он писал: «Никто у нас не будет возражать, что целое состоит из объединения частей; с географической точки зрения это верно, но неверно с исторической. В этой связи можно было бы привести то, как говорят философы, что здесь, скорее, целое, чем части»[174]). Апелляция Ранке к философии отнюдь еще не говорит о том, что он понимал, например, решение проблемы отношения общего и особенного в классической немецкой философии и, прежде всего, в философии Гегеля. Различные теории, абстракции казались ему, как мы видели, моментом, привносимым в познание, искусственно навязываемым эмпирическому исследованию.

Ранке стремился обосновать особое значение понятий «часть» и «целое» применительно к истории Германии. В этом отношении он противопоставлял раздробленную на ряд государств Италию мелкодержавию в Германии. В Италии понятие единства страны имело, с точки зрения Ранке, «национально-географический характер»; причем

[172]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 7—8, Leipzig, 1868, S. 103.
[173]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 7—8, S. 104.
[174]) Ders., S. W. Bd. 51—52, S. 486

это единство еще никогда не было фактом истории. Общую картину Италии можно было поэтому, утверждал Ранке, получить путем простого соединения историй ее отдельных частей, территорий. Этого нельзя сделать с историей Германии, где обособленность отдельных государств имела глубокие основы. Стремление к обособленности никогда не превращалось в полное разделение страны: жизнь нации покоилась на никогда не прекращавшемся взаимодействии особенного и всеобщего, причем последнее всегда было сильнее. Даже при конфликтах преобладали, писал Ранке, общие интересы. Идея целого была, по его мнению, основой жизни всей Германии. Только с точки зрения последней история отдельных земель могла получить свое правильное изображение. Поэтому Ранке предлагал исследовать «всеобщезначимые, широкие по своим масштабам, определяющие жизнь нации события»[175]). Очевидно, что общее, о котором идет речь у Ранке, является синонимом общегерманской истории, больших, определяющих собой развитие отдельных земель, событий. Общее в данном случае выступало в такой же степени конкретным, как и особенное, единичное; как и последнее, оно — исходный пункт познания, а отнюдь не его результат. Сущностью этого всеобщего является, во-первых, наиболее общий характер исторических связей и — что обусловлено первым — их значимость. Историк, принимающийся за изучение истории любой страны, исключая его собственную, пишет, по мнению Ранке, не ее национальную историю; его взгляд «в соответствии с естественной точкой зрения» будет направлен на те эпохи, которые имели большое значение для развития человечества[176]). Поскольку такие эпохи способствуют выяснению всемирно-исторических связей, постольку они должны становиться, с точки зрения Ранке, объектом исследования. Всемирно-историческая связь является предельно общим видом исторических связей, изучаемых историческим познанием[177]). В этом случае Ранке писал, что «единичное никогда не выступает во всем своем значении, всесторонне показанным, если оно не берется в связи с общим»[178]), т. е. наиболее общими историческими связями. Общее, таким образом, является определенным условием научного понимания единичного. Несомненно, что при такой постановке вопроса познание Ранке, независимо от его субъективных намерений, содержало в какой-то степени определенный момент диалектики познания единичного через общее. В целом, однако, познание продолжало здесь оставаться на уровне конкретного эмпирического знания. С одной стороны, Ранке имел в виду момент всестороннего изучения многообразных связей явлений как одного из условий изображения их во всем значении; с другой стороны, более общие исторические связи, в том числе и универсально-исторического характера, являлись по отношению к менее общим качественно иными, своеобразно-неповторимыми связями; общее в данном случае, как признавал Ранке, не вытекало из особенного. Общее в представлении Ранке неотделимо, таким образом, от расширения аспекта исследования, изучения возможно более широких исторических связей. Возможна ли, спрашивал Ранке, до конца объективная история? К предпосылкам такой истории относились, по его мнению, следующие условия: «1) точное познание единичных явлений; 2) личных моментов, лежащих в их основе; 3) их взаимодействия, всей суммы действий личностей и их взаимных влия-

[175]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 51—52. S. 487.
[176]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 13—14. S. VI.
[177]) Ders., S. W. Bd. 53—54, S. 270.
[178]) Ibid., S. 270—271.

ний; 4) всемирно-исторической связи. Конечный результат — сопричастность к знанию всемирно-исторического целого»[179]).

Если мы учтем точный смысл употребления Ранке термина «общее», то несостоятельность попыток Мейнеке и современных западногерманских историков рассматривать указанным путем вопрос об отношении общего и особенного в познании Ранке обнаруживается ярким образом.

Однако суждения Ранке о том, что лежит в основе общегерманской истории, являются моментом, показывающим в некоторой степени, что объективно выступало для него как общее в познании, будучи одновременно одной из связующих нитей его исследований. Ранке в качестве консервативного и националистически настроенного историка писал, что единство Италии может иметь только географический смысл — слова, опровергнутые ходом событий несколько лет спустя. Зато в Германии основой всегерманской истории является идея целого. Это объяснение, будучи с научной точки зрения совершенно несостоятельным, является частным случаем представления о целом комплексе событий на основе так называемых исторических идей, или тенденций исторического развития. Идеи Ранке не представляют собой особую, разработанную в спекулятивном духе теорию. Лампрехт, несомненно, преувеличенно называл эту сторону взглядов Ранке «учением об идеях»[180]). Идеи Ранке — манифестация бога в истории. Немецкая идеалистическая философия и прежде всего взгляды Фихте были в данном случае не источником, а формой выражения взглядов Ранке. Согласно этим взглядам каждая эпоха в истории является выражением существующей вне ее тенденции развития, имеющей божественное происхождение. Что касается характера идей, то среди них Ранке различал всеобщие, к которым относилась, например, идея государства; наряду с этим существовали тенденции исторического развития, выражавшие характер определенной эпохи. Эти духовные тенденции «господствуют над всеми явлениями»[181]), их природа была для Ранке метафизической тайной: «...кто хочет исследовать,— спрашивал он,— источники духовной жизни?»[182]). Мир идей Ранке отождествлял с божественным порядком вещей, который хотя и нельзя доказать, но все же можно о нем догадываться»[183]). Несомненно, что с наличием в истории идей Ранке связывал свои представления о наиболее общих вопросах исторического развития: об источнике этого развития, его движущих силах и причинах. Эти вопросы объявлялись Ранке стоящими вне сферы научного познания. Но, с другой стороны, идеи обнаруживались в истории в конкретной эмпирической форме, как результат действия индивидуумов, под которыми Ранке понимал прежде всего выдающихся личностей. Историческая действительность не выступает для Ранке как инобытие идей, они являются обобщенной формой его представления о тех или иных сторонах исторической действительности. Представление это было идеалистическим: в идеях Ранке видел духовную основу исторического процесса. Исторический идеализм Ранке был лишен, следовательно, той теоретической формы, априоризма, которые были свойственны взглядам ряда представителей немецкой классической философии. В теоретико-познавательном отношении идеи являлись определенным моментом познания Ранке; в связи с этим его мышление приобретало тот специ-

[179]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 53—54, S. 569.
[180]) K. Lamprecht. Alte und neue Richtungen..., S. 26.
[181]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 51—52, S. 158—159.
[182]) Ibid., S. 159.
[183]) A. Dove. Ausgewählte Schriftchen. Vornehmlich historischen Inhalts. Leipzig, 1898, S. 231.

лятивный характер, за который он критиковал представителей идеалистической философии, главным образом, Гегеля. Объяснение исторической действительности на основе идей и связь происхождения идей с изучением конкретной истории неразрывно у Ранке связаны: познание эмпирического, единичного, по выражению Ранке, составляло содержание исторического познания, и в этом смысле оно было также практической предпосылкой исторических идей. Их теоретическая предпосылка скрывалась в его мировоззрении. Исторические идеи выступали объективно для Ранке тем общим, которое имело место в истории, а с другой стороны они были моментом познания, на основе которого единичное являлось как бы выражением определенной, существующей вне его и в то же время связанной с ним идеи. Такой вывод, несомненно, следует из рассматриваемых взглядов Ранке, но это не был ход его собственных мыслей, который бы выражал к тому же его озабоченность по поводу последствий рассмотрения исторических событий как единичных, неповторимых сущностей. Ибо никаких отрицательных последствий такого подхода к изучению истории Ранке не обнаруживал; напротив, это было, с его точки зрения, необходимой предпосылкой объективности познания. С другой стороны, было бы явным антиисторизмом говорить о проблеме релятивизма в связи с его методологией исторического исследования. Релятивистские выводы следовали, таким образом, непосредственно не из познания Ранке как познания единичного; опасность релятивизма была следствием тех представлений о природе исторических явлений, которые составляли содержание идеи индивидуального. В этом отношении мы имеем дело с примером внутренней несостоятельности мейнековской интерпретации взглядов Ранке с точки зрения неоидеалистического историзма. Очевидно, что вопрос о том, почему релятивизм не являлся следствием историографической практики Ранке, может иметь по отношению к нему лишь косвенное значение. Доказательство единства хода исторических событий может и должно быть, с точки зрения Ранке, естественным результатом исследований историка[184]). Наивный исторический реализм, при котором, в частности, понятие единичного не должно заключать в себе никаких черт, которые бы не были свойствами самой исторической действительности, исключал для Ранке возможность говорить об отрицательных, ведущих к релятивизму последствиях познания, вытекающих из самого метода познания; именно поэтому понятие единичного Ранке не заключало в себе тенденцию к предельной индивидуализации явлений. Единичное у Ранке было выражением подлинной неповторимости исторических событий, хотя эта неповторимость понималась им односторонне. Наконец, конкретные исследования этого историка никогда не утрачивали связь с его мировоззрением, осуществляемую посредством исторических идей. Эта связь существовала уже в исходном пункте познания — в подходе к историческому источнику — и обнаруживалась в методике исторического исследования.

Теоретическое обобщение тех черт историографической практики, которые были свойственны Ранке — представление об исторических событиях, как неповторимых явлениях, эмпиризм — мы находим в неокантианской философии. Неокантианская логика исторического познания основывалась на убеждения в том, что «... всякий телесный или духовный процесс, как он дан нам в опыте, есть индивидуум, т. е. нечто такое, что встречается лишь один раз в данном определенном пункте пространства и времени и, следовательно, никогда не повторяется...». Отсюда для неокантианства следовал вывод об историческом познании

[184]) E. Mülbe Selbstzeugnisse Rankes..., S. 33.

как познании, в основе которого лежит индивидуализирующий метод. «... всякое образование понятий уничтожает», с точки зрения Риккерта, «индивидуальную действительность»[185]). В этом заключается теоретическое обоснование необходимости последовательного эмпиризма для исторического познания, ибо «... устранение эмпирического воззрения есть в то же время устранение индивидуального характера данной действительности»[186]).

Риккерт, однако, указывал, что «всякое научное мышление должно быть мышлением в общих понятиях в том смысле, что элементы суждений и понятий общи...»[187]). Однако это общее, принимавшееся Риккертом лишь «... вследствие особого материала нашей речи и нашего мышления», было для исторической науки тем обходным путем, «идя которым, она опять старается вернуться к индивидуальному, как к своему подлинному предмету»[188]).

Решая таким образом вопрос о логической структуре исторического познания, Риккерт указывал, что он далек от того, чтобы изобретать какой-либо новый метод исторического исследования. «Критическая и нормативная логика»,—утверждал он,— основывалась на изучении имеющихся конкретно-исторических произведений[189]). Но это отнюдь не означало, что она «санкционировала приемы какого-либо единичного историка, например, Ранке...[190]). Указывая на всеобъемлющий характер этой логики, базирующийся, по мнению Риккерта, на опыте исследования самых различных направлений исторического познания, против которых она «не может решительно ничего возразить», так как это означало лишь привлечение нового материала, а отнюдь не введение нового метода, Риккерт в то же время писал о невозможности придти в результате своего исследования к «установлению критических норм, неприменимых к такой истории, как ее писали Ранке или другие представители «прежнего направления...»[191]). Несомненно, однако, что «критическая и нормативная логика» была во многом обобщением именно такого стиля историографической практики, который был присущ Ранке, хотя неокантианская философия не сводилась в этом отношении только к обобщению логического стиля исторических произведений Ранке. Риккерт игнорировал также то обстоятельство, что историографическая практика Ранке имела дело лишь с определенного рода историческими фактами из области политической, религиозной и военно-дипломатической истории, в связи с чем у Ранке складывались представления об истории в целом. В теоретическом обобщении неокантианской философии эти слабые стороны исторического познания Ранке становятся еще более антинаучными, так как здесь утверждается необходимость крайней индивидуализации для логической структуры исторического познания и проповедуется до конца последовательный эмпиризм, против которого возражал — по крайней мере, в теории — даже Ранке. Нельзя, следовательно, утверждать, что на почве неокантианства вырос идеографизм[192]). Конечно, идеографизм был одним из проявлений влияния неокантианской логики исторического познания на практику конкретного исследования. Но не неокантианство породило

[185]) Г. Риккерт. Границы естественно-научного образования понятий. СПб., 1904. S. 208; В. Виндельбанд. Прелюдии. СПб., 1904, стр. 320.
[186]) Там же, стр. 207.
[187]) Там же, стр. 292.
[188]) Там же, стр. 293.
[189]) Там же, стр. 285.
[190]) Там же, стр. 286.
[191]) Там же, стр. 287.
[192]) Таково, например, мнение А. Шаффа — А. Шафф. Объективный характер законов истории. М., 1959, стр. 146.

идеографизм, оно само было во многом обобщением практики идеографизма, в том числе и сочинений Ранке, сводя при этом задачи исторического познания исключительно к описанию явлений.

Опираясь в определенной степени на историографическую практику Ранке и будучи направленным против всякого представления о закономерном характере развития истории, в том числе и против позитивизма, неокантианская логика исторического познания игнорировала в то же время некоторые существенные черты сходства позитивистской методологии с историческими взглядами Ранке. Ему были присущи вполне «позитивистские» идеи: убеждение в познаваемости истории, в существовании объективной истины, субъективизм историка рассматривался как нечто подлежащее устранению; само собой подразумевается убеждение Ранке в том, что история должна и может быть точной наукой о прошлом. Историческая концепция Ранке обнаруживает также определенное сходство с позитивистской методологией в формулировке задач исторического познания как познания, преследующего своей единственной целью изучение истории ради самого такого изучения.

В связи с рядом общих черт исторических взглядов Ранке и позитивистской методологии истории — это общность может быть установлена не только между позитивизмом и Ранке, но и другими историками, не принадлежавшими к позитивизму — в советской литературе высказывались ошибочные положения, по которым Ранке рассматривался в определенной степени как представитель позитивизма[193]).

Одной из наиболее общих черт позитивистской методологии истории было, как известно, признание закономерного характера исторического развития. Ни в онтологическом смысле, ни в теоретико-познавательном отношении закономерность в позитивистской методологии не была связана с вопросом о характере явлений общественной жизни и, прежде всего, с вопросом о повторяемости в истории, хотя сравнение, историческая аналогия были часто характерными признаками историографической практики историков-позитивистов[194]). Законы общества в понимании позитивизма суть прежде всего законы духовного и умственного развития, при этом их познание тесным образом связано с изучением причинно-следственных связей; отдельные историки-позитивисты придавали, как известно, большое значение статистическим методам исследования[195]). Некоторые немецкие буржуазные историки, испытавшие определенное влияние позитивизма, например, Зибель, высказывали убеждение в закономерном характере исторического развития, рассматривая в то же время исторические события в целом как неповторимые единичные явления. Связь отрицания закономерного характера истории со ссылкой на индивидуальную природу исторических событий приобрела в неокантианстве, как и в современной западногерманской историографии, значение главного аргумента для доказательства мнимой несостоятельности представления о закономерном характере исторического развития[196]). Это в полной мере относится и к Мейнеке. Ранке был одним из первых историков, у которого положение о закономерном характере исторического развития объявлялось

---

[193]) См., напр., Философская энциклопедия, т. I, М., 1960. Автор статьи о Буркгардте считает, что Буркгардт сблизился с Ранке «на почве позитивизма» (стр. 204).

[194]) См., напр., Г. Т. Бокль. История цивилизации в Англии. СПб., 1906, стр. 267.

[195]) Г. Т. Бокль. Способы изучения истории.— «Отечественные записки», 1861, февраль, стр. 395.

[196]) См., напр., G. Klaus, H. Schulze. Windelband und die Metodologie der Geschichtswissenschaft.— «Zeitschrift für Geschichtwissenschaft», 1965, Heft 7, S. 1136.

противоречащим природе исторических событий, как неповторимых, индивидуальных сущностей. Очевидно, что между позитивистским представлением о законах исторического развития и отрицанием этого представления в неокантианской философии стоит во многом Ранке. Неокантианская логика исторического познания имела антипозитивистскую — по крайней мере, на словах — направленность, но в качестве одного из своих исходных моментов предполагала некоторые черты методологии и историографическую практику Ранке.

При всем признании индивидуальной неповторимости явлений и стремлений сосредоточить усилия именно на познании этой неповторимости, Ранке говорил о необходимости исторического подхода к их изучению. В этом отношении примечательна, например, его мысль об условии научного понимания борьбы империи и папства в средние века: «Их можно понять лишь как продукты более ранних эпох всемирной истории»[197]). Необходимость исторического рассмотрения событий не является у Ранке случайным положением; она объясняется его убеждением в том, что прошлое, современность и будущее «образуют единое целое»[198]), их связывает «непрерывность» исторического развития[199]). Отсюда стремление Ранке выяснить ход исторических событий, предшествующий изучаемому им явлению или целой эпохе[200]). В данном случае мы имеем, однако, дело не с системой теоретических взглядов, а с отдельными суждениями Ранке, в которых в определенной степени обнаруживается его исторический подход к изучению событий. Признание непрерывности исторического развития не исключало того, что исторический метод Ранке был направлен в прошлое, а не в будущее. Это, однако, не было связано у Ранке, как, например, это было у романтиков, с идеализацией какой-либо одной из эпох в истории человечества и превращением ее в своего рода масштаб для суждений об истории в целом. Стремление Мейнеке использовать взгляды Ранке в качестве аргумента там, где Мейнеке говорит о непознаваемости истории, лишены исторического смысла также и в том отношении, что он имел в виду прежде всего будущее, перспективы исторического развития; предсказание же будущего не является, по общему смыслу исторической концепции Ранке, задачей историка. Ранке, по существу, не задумывался над этим вопросом, что согласуется с его провиденциализмом. Отдельные факты показывают, однако, что он отрицательно относился к попыткам предвидеть перспективы исторического развития. Это обнаруживается уже в формулировке задач исторического познания, данной Ранке в предисловии к своему первому труду: он не относил себя к числу тех, кто из прошлого стремился делать выводы для будущего[201]). Видеть в истории какую-либо цель значило для Ранке «затемнять будущее»[202]). В этом также заключается ограниченность исторического метода Ранке.

Одним из источников истолкования взглядов Ранке на характер явлений общественной жизни с точки зрения идеи индивидуального было для Мейнеке ранкеанское понимание природы государства как индивидуальной сущности, в основе которой лежит определенный духовный принцип[203]). Что касается происхождения государства, то Ран-

[197]) L. v. Ranke. Weltgeschichte. Siebenter Teil, Leipzig, 1886, S. 1.
[198]) Ders., Aus dem Briefwechsel Fr. Wilch. IV. mit Bunsen. Leipzig, 1873, S. 192—193.
[199]) Ibid., S. 193.
[200]) См., напр., L. v. Ranke. Englische Geschichte vornehmlich im siebzehnten Jahrhundert. Erster Band.— S. W. Bd. 13—14.
[201]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 33—34, S. III.
[202]) F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. S. 130.
[203]) См., напр., L. v. Ranke. Geschichte und Politik. S. 91.

ке, отвергая теорию общественного договора[204]), сам эмпирического объяснения этого вопроса не находил и сколько-нибудь аргументированного — на почве действительной истории — обоснования своих взглядов не давал. Вследствие этого он отказывался рассматривать государство как до конца реальное, посюстороннее явление, прибегая к теологическому объяснению его природы. Ранке испытал большое влияние взглядов Гегеля на государство[205]), хотя практически идея государства воплощается, с точки зрения Ранке, в государственных личностях, в мышлении которых концентрируется его духовная жизнь[206]).

Взгляды Ранке на государство Мейнеке истолковывал исключительно с точки зрения идеи индивидуального, усматривая в них подтверждение своего понимания этой категории. В индивидуальной сущности государства Ранке Мейнеке видел, по существу, простую аналогию его понятия единичного в эмпирической сфере. Односторонний характер такой интерпретации был показан Фиргаусом, который в соответствии с его решением проблемы общего и особенного в историзме использовал взгляды Ранке на государство не для отрицания значения общего в познании этого историка, а для доказательства такого значения. Фиргаус привел ряд суждений Ранке, в которых он обращал внимание на роль объективных условий для действий государственной личности[207]). Мысль о зависимости поступков государственных личностей от окружающих их объективных условий является существенной чертой его понимания государства. Вопрос о роли личности в истории, понимавшийся Ранке, прежде всего, как вопрос о роли государственной личности, вообще часто ставился им, и его решение при этом отнюдь не сводилось к утверждению об абсолютной свободе индивидуальной воли. «События развиваются,— писал Ранке,— из столкновения индивидуальной энергии с объективными отношениями в мире»[208]). Установить «отношение индивидуума к общему»[209]) было для Ранке важной проблемой, ибо здесь скрывается «тайна» всякого исторического развития[210]). Показательны в этом смысле его книги о Валленштейне и Гарденберге. Положением методологического значения при изучении истории Валленштейна было для Ранке убеждение в том, что при изображении отдельных личностей нельзя забывать условий, среди которых они выступают и действуют; с другой стороны, при изображении хода исторических событий нельзя отвлекаться от показа личностей, получающих импульс для деятельности в объективных исторических условиях. Поступки людей, писал Ранке, определяются возможностями, представляемыми им общим ходом исторических событий, причем значительный успех исторического действия достигается благодаря коллективным усилиям[211]). Ранке сомневался поэтому в правомерности рассматривать отдельные исторические события, как результат ошибок государственных деятелей, поскольку их поступки определяются необходимостью, заключенной в общем ходе событий[212]). Каждая личность выступает как явление своей эпохи, как «выражение существующей вне ее всеобщей тенденции», но с другой стороны, она оказывает влияние на ход исторических событий в соответствии с ее индивидуальными,

---

[204]) Ibid., S. 92. См. также L. v. Ranke. Aus dem Briefwechsel Friedrich Wilhelm IV mit Bunsen. S. 78.
[205]) Гегель. Собр. соч., т. VIII, стр. 38.
[206]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 49—50, S. 246.
[207]) R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. S. 54.
[208]) L. v. Ranke. Geschichte Wallensteins.— S. W. Bd. 23—24, S. VIII.
[209]) R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. S. 55.
[210]) L. v. Ranke. S. W., Bd. 53—54, S. 571.
[211]) L. v. Ranke. Geschichte Wallensteins.— S. W. Bd. 23—24, S. V.
[212]) L. v. Ranke. Hardenberg und die Geschichte von preußischen Staates vom 1793—1813.— S. W. Bd. XLVII, Leipzig, 1880, S. 145.

неповторимыми качествами[213]). Валленштейн был, писал Ранке, одним из «своеобразных порождений» своей эпохи[214]).

Если, таким образом, индивидуальную природу государства Ранке объяснял теологически, то учет объективных исторических условий при объяснении действий государственных личностей, олицетворяющих для Ранке государство, был выводом его историографической практики. Ранке понимал значение исторической обстановки для характера действий государственных личностей, что было важной чертой исторического подхода при изучении им событий.

Историография Ранке дает возможность проследить в определенной степени его отношение к проблеме использования исторического опыта. Этот вопрос затрагивался Ранке в связи с его попыткой определить сущность и задачи исторического познания; данный вопрос был, следовательно, для него частью проблемы соотношения истории и политики. Ранке достаточно ясно представлял себе сущность обеих точек зрения, выдвигавшихся в современной ему историко-политической литературе в связи со стремлением использовать результаты исторического познания для практически политических потребностей современности: история должна использоваться в практических целях, согласно второй точке зрения такая возможность отвергалась. Он писал о трудности привлечения государственным деятелем выводов исторического познания для практических целей, ибо эти выводы никогда не могут быть сделаны так, чтобы в их истинности никто не мог усомниться. И в этом повинно, с точки зрения Ранке, не само историческое познание, а своеобразное использование его в политической борьбе, по которому в прошлом отыскивается всегда то, что соответствует политической доктрине[215]). Ограничение в использовании исторического знания Ранке видел не только в указанной трудности его применения в условиях современности, но и в самом характере историографии, как части божественного знания. «Кто хотел бы спросить,— писал Ранке,— полезно оно или нет? Достаточно признать, что такое знание, как никакое другое, способствует совершенствованию человеческого духа»[216]).

Ранке в то же время отрицал справедливость того положения, по которому «... знание прошлых событий не содержит в себе ничего, что можно было бы привлечь с пользой для современности и будущего». Но такое использование должно основываться только на таком знании о прошлом, которое может рассматриваться лишь как «совершенно надежное и определенное»[217]), т. е. на объективной исторической истине о прошлом.

Убеждение Ранке в возможности использования исторического знания в политической и государственной деятельности основывалось на его некоторых общеисторических взглядах. «В государстве выступает непрерывность жизни»[218]); взаимосвязь событий, преемственность исторического развития, имеющего в каждом случае своеобразный, присущий каждому народу характер, показывают, с точки зрения Ранке, почему линия исторического развития, предшествующая данному историческому состоянию, не должна упускаться из виду или преда-

---

[213]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 23—24, S. V—VI.
[214]) Ibid., S. VI.
[215]) Ibid., S. 282.
[216]) Ibid., S. 285.
[217]) Ibid., S. 283.
[218]) Ibid., S. 285.

ваться забвению государственными деятелями. Думая о будущем, политики не достигнут, по убеждению Ранке, своей цели, пренебрегая прошлым[219]); политика должна иметь исторические корни, которые заключаются в знании государственной личностью «сущности государства». Но такое знание, писал Ранке, немыслимо без «... знания событий, совершившихся в предшествующие эпохи». Поэтому задача историографии должна заключаться в том, чтобы раскрыть эту «сущность государства» путем изучения его истории[220]). Ибо «знание прошлого несовершенно без знакомства с современностью; современность нельзя понять без знания прошлого. Они протягивают друг другу руки: одно или не может без другого существовать, или же оно будет несовершенным»[221]).

Развивая свою мысль о связи исторических событий, Ранке делал, таким образом, важный вывод для исторического познания. Убеждение Ранке в индивидуальной природе исторических событий не мешало ему говорить о возможности использования исторического опыта для практических целей современной политики. В отличие, например, от Гегеля, опровергавшего ссылкой на индивидуальный характер исторических событий и целых эпох примитивное понимание использования уроков истории[222]), Ранке ни в какой степени не связывал утверждение о возможности использования исторического знания в практических целях со своим пониманием характера исторических событий. Мысль Ранке сводится в данном случае к тому, что политика, не имеющая каких-бы то ни было исторических корней, чревата отрицательными последствиями. Но и в этом своем позитивном содержании данное положение имеет у Ранке консервативный смысл, связанный с апологетикой, с ошибкой «так называемых объективных историков», по выражению Маркса[223]). Ранке, по существу, предупреждал здесь против «нововведений», которые бы означали решительный разрыв со старым, при котором пренебрегаются «формы и законы, освященные обычаем». Каждый исторический феномен, писал он при этом, стремится к самосохранению. Высшим принципом «гражданской мудрости» для людей, занимающих важные государственные посты, Ранке считал их обязанность сохранять то, чему они служат, ведя его день за днем к «высшему совершенству»[224]). В данном случае мы имеем дело с одним из тех примеров, когда мысли Ранке, первоначально не лишенные в научном отношении определенного значения, низводятся затем до жалкого состояния вследствие его реакционных общественно-политических взглядов. Использование исторического познания в практических целях означало, таким образом, объективно для Ранке оправдание историческим путем тех общественных институтов, идеологическим выразителем которых являлся сам Ранке. Однако вопрос об условиях практической полезности исторического знания он пытался решить, выясняя сходства и различия историографии и политики. Вследствие этого взглядам Ранке по данному вопросу присуще противоречие в той мере, в какой противоречив характер его суждений об отношении истории и политики: выдвигая идеал «чистого» исторического знания, Ранке в то же время утверждал возможность использования его для практических потребностей политической жизни.

---

[219]) Ibid., S. 287.
[220]) Ibid., S. 288.
[221]) Ibid., S. 289.
[222]) Гегель, Собр. соч., т. VIII, стр. 7—8.
[223]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 16, стр. 375.
[224]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 23—24, S. 287.

Определенный положительный момент суждений Ранке о применении исторического знания в современности заключался в критике им взглядов философов-просветителей о переустройстве общества путем выработки теории разумного общественного устройства. «Универсальная доктрина» философов XVIII в. противоречит, писал Ранке, результатам тех исследований, в ходе которых познается единичное. Их проект «лучшей государственной формы» неприложим к любому народу, так как он противоречит индивидуальному историческому состоянию народов[225]). Но эти философы,— продолжал Ранке,— и здесь уже его критика теряет всякое научное значение — поняли несколько позже, что нельзя безнаказанно нарушать порядок вещей, «служивших с начала основания человеческого общества»[226]). Они поняли, что нельзя уничтожать насилием индивидуальное своеобразие государств; они сами потерпели ущерб вследствие того, что побудили к деятельности людей низкого звания («der schlechten Menschen». Эти философы принесли поэтому человечеству неисчислимые бедствия и еще продолжают приносить — Ранке ссылался при этом на Испанию[227]).

Признавая определенную справедливость критики Ранке просветителей, нельзя не видеть, что он дал вместе с этой критикой пример использования исторического опыта для современности. Великая французская революция, которая явно подразумевалась Ранке в приведенных суждениях, показала, по его убеждению, историческую бесперспективность революционного насилия, способного нанести государству лишь ущерб. Ранке обосновывал таким путем реакционные выводы, отвечающие его взглядам. Таков был объективный смысл использования им исторического опыта.

Все сказанное выше показывает, что об историзме Ранке можно говорить лишь в связи с его историографической практикой, в которой обнаруживается определенное понимание им исторического характера событий и определенный исследовательский подход к их изучению. У Ранке это отнюдь не теоретический принцип, связанный с системой взглядов.

В центре исторического познания Ранке стояло понятие единичного, выражавшее понимание этим историком явлений общественной жизни, как неповторимых индивидуальных феноменов. Несмотря на признание определенного значения общего, повторяющегося в истории, сущность исторического познания состояла для Ранке в познании единичного. Понятие единичного имело существенное значение для методики исторического исследования Ранке. В основе принципа использования первоисточников лежит его убеждение в качественной неповторимости исторических событий.

Понятие единичного у Ранке есть прежде всего понятие эмпирическое, будучи тождественным с эмпирической формой знания. Метафизический эмпиризм Ранке ориентировал его на изображение преимущественно внешней стороны событий, которая всегда выступает в конкретной, исторически неповторимой форме. В эмпиризме Ранке заключена одна из гносеологических предпосылок отрицания законов истории, хотя такое отрицание вытекало также из его религиозно-идеалистического мировоззрения. Понятие единичного содержит в то же время определенное теоретическое содержание. Несомненно, что в той мере, в какой это понятие было тождественным его представлениям о природе

---

225) L. v. Ranke. S. W. Bd. 23—24, S. 291.
226) L. v. Ranke. S. W. Bd. 23—24, S. 291—292.
227) Ibid., S. 292. Данная работа Ранке была написана в 1836 г., т. е. несколько лет спустя после революции в Испании.

исторических событий, оно являлось в действительности для него важным положением методологического значения. Можно утверждать, что понятие единичного заключает в себе в определенной степени единство эмпирического и теоретического знания, что еще раз свидетельствует о несостоятельности использования взглядов Ранке неокантианской логикой исторического познания в качестве одного из аргументов, якобы доказывающих необходимость голого описания, последовательного эмпиризма, как главной черты исторического познания.

В теоретико-познавательном отношении понимание историчности у Ранке есть во многом выражение подлинной неповторимости исторических событий. В том, что абсолютно сходных событий нет, прав не только Ранке, но и Мейнеке; абсолютизация этой неповторимости Мейнеке является, однако, теоретически бесплодным положением, приводящим, в конечном итоге, к утверждению, что высшая, неповторимая индивидуальность — всемирная история в целом. Это положение, закрывая в действительности перед историком пути для постижения подлинного смысла исторических событий, в том числе и их неповторимого своеобразия, служило практически Мейнеке лишь средством для обоснования вполне определенных реакционных научных и политических взглядов и идей. Это положение, кроме того, не может быть последовательно осуществлено в конкретной историографической практике. Мейнеке, как известно, не дал образцов рассмотрения исторической действительности с точки зрения идеи индивидуального, примеры такого рода следует искать у Ранке. Однако это в действительности есть попытка обоснования исторических идей на основе историографической практики, которая предполагает во многом иные идейно-методологические основы. Что же касается исследований Мейнеке истории идей, в том числе и возникновения историзма, то эти исследования, скорее, опровергают, а не подтверждают идею индивидуального как методологический принцип. Неоидеалистический историзм Мейнеке есть продукт развития, в котором важную роль играла преемственность; историзм есть, прежде всего, развитие некоего общего идейного содержания.

Мейнеке, несомненно, был прав, утверждая, что важной чертой развития исторического мышления XVIII—XIX вв. было проникновение историзма в конкретные исследования. Этот факт он истолковывал, однако, односторонне, приходя к выводу, что результатом указанного развития было рассмотрение исторических событий как неповторимых феноменов. Данный вывод невозможно доказать исторически, причем взгляды Ранке его также во многом не подтверждают. Мейнеке игнорировал важные моменты в развитии философско-исторического познания XIX в., представляющие собой вершину буржуазной философско-исторической мысли в понимании явлений общественной жизни как единства общего и особенного, хотя этот вывод, как известно, является заслугой немецкой классической философии, прежде всего, философии Гегеля. Постановка диалектики в данном отношении на реально-историческую почву и изучение с этих позиций конкретных вопросов исторической действительности было важной чертой работ К. Маркса и Ф. Энгельса[228]). Лишь во второй половине XIX в. важным признаком развития буржуазной исторической мысли становится решительное противопоставление — в угоду своим классовым интересам, находившим преломление в историческом познании — индивидуальных, неповторимых черт исторических событий общему, повторяющемуся в истории

[228]) См., напр., оценку Энгельса римского права. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 412.

с целью отрицания последнего. Ранке еще не принадлежал к числу таких историков. По сравнению с его наивной верой в неповторимость исторических событий идея индивидуального Мейнеке имеет еще более реакционный антинаучный смысл. Будучи современной качественно иному — по сравнению с временем Ранке — этапу исторического познания, когда признание значения общего в теоретико-познавательном отношении, а не только стихийно в историографической практике, было уже не новым для буржуазной историографии (напр., Лампрехт), эта идея не могла претендовать на обобщение опыта исторического познания, так как она во многом противоречила ему.

Взглядам Ранке, как и Мейнеке, чуждо рассмотрение исторических событий как единства общего и особенного. Понятие единичного у Ранке в той мере несостоятельно, в какой оно представляет собой замену сущности явлением в исторических событиях; в то же время, это понятие не исключало в историографической практике Ранке моментов диалектического объяснения явлений как совокупности общих и индивидуальных черт.

Понимание историчности у Ранке предполагает признание объективной истины, одним из условий выяснения которой является, с его точки зрения, познание исторического своеобразия событий истории. Гносеологические предпосылки взглядов Ранке на исторический характер явлений общественной жизни несовместимы с субъективистской теорией познания, лежащей в основе неоидеалистического историзма, хотя Мейнеке отрицал наличие этой глубокой разницы между взглядами Ранке и его собственными.

Существенной чертой понимания Ранке историчности было признание им определенной роли объективных исторических условий при рассмотрении действий государственных личностей. Однако рассуждения Ранке здесь, как и в ряде других случаев, носили двойственный характер. Утверждая, что тенденции исторического развития концентрируются в выдающихся личностях, Ранке в то же время сознавал, что объективный ход событий часто бывает сильнее индивидуальной воли. В связи с этим он склонялся к мысли о необоснованности рассмотрения отдельных исторических действий, как результата ошибок исторических деятелей. Данное положение имеет во многом, однако, конкретно-исторический смысл и не может рассматриваться в качестве методологического принципа общего значения. К этому следует добавить, что понятие «историческая личность» имеет у Ранке классовое содержание. Томас Мюнцер не был для него исторической личностью. Монархи, министры были для Ранке носителями исторического действия, в результате которого складывается определенная объективная ситуация. В историографической практике уровень изучения событий должен был оставаться вследствие этого довольно низким, предполагавшим исторический идеализм при объяснении истории.

Исторический метод Ранке обращен в прошлое, а не в будущее, в этом состоит его ограниченность. В той мере, в какой Ранке сознавал связь современности и прошлого, он говорил о возможности использования исторического знания для практических целей современности. Использование исторического опыта понималось им, прежде всего, как выяснение исторических корней событий современности. Даже в своем позитивном содержании это положение не дает ответа на вопрос о том, при каких условиях возможно использование исторического опыта. При этом историческому познанию отводилась пассивная роль. В противоположность утверждению о возможности использования исторического опыта Ранке стремился ограничить задачи исторического познания изучением исторической действительности во имя самого этого изучения.

Понимание Ранке исторического характера явлений общественной жизни связано, с другой стороны, с его реакционными философско-историческими взглядами. Эта реакционность объясняет, почему для теории неоидеалистического историзма Ранке мог иметь такое значение. Как правильно писал историк-марксист ГДР Г. Шлейер, «реакционная концепция историзма усилила роль субъективистских и иррационалистических элементов в исторических взглядах Ранке, превратив их в настоящий критерий научности» исторического познания[229]). Следует при этом заметить, что не реакционность взглядов Ранке, как таковая, имела первостепенное значение для Мейнеке, хотя то, что в его интерпретации выступают на первый план именно реакционные стороны методологии этого историка, красноречиво свидетельствует о реакционном содержании концепции неоидеалистического историзма. Для Мейнеке имели, несомненно, большое значение та форма и то содержание взглядов Ранке, в которых эта реакционность выступала в связи с его пониманием наиболее общих вопросов исторического развития. Именно благодаря особому содержанию реакционных исторических идей Ранке в их применении к изучению исторического процесса Мейнеке получал возможность истолковывать взгляды Ранке с точки зрения неоидеалистического историзма, сохраняя при этом в определенной степени научность своей интерпретации.

Понимание Ранке историчности отнюдь не совпадает с содержанием проблемы историзма в изложении Мейнеке. При этом могут быть названы следующие случаи, в которых Мейнеке, отталкиваясь от действительных взглядов Ранке, искажал в то же время, в конечном итоге, их точный смысл.

[1]) Форма исторического идеализма Ранке была, несомненно, близка к взглядам Мейнеке, особенно ко времени написания им книги «Космополитизм и национальное государство». Положение о дуалистической природе явлений истории приводило уже к извращенной интерпретации взглядов Ранке. Работы Мейнеке в период и после второй мировой войны характеризуются усилением критического отношения к Ранке в связи с укреплением в нем убеждения о неустранимости демонического начала из истории. Эта критика Мейнеке означала объективно не что иное, как отказ от выдвинутого им тезиса о дуализме духовного и природного начала в познании Ранке. Отношение Мейнеке к Ранке становится в связи с этим противоречивым: с одной стороны, он видел одну из крупнейших заслуг в синтезе идеи и реальности в познании Ранке, с другой стороны, он критиковал его за непоследовательность, выражающуюся в том, что Ранке не видел должного значения демонического в истории. Данный случай является примером неисторического подхода Мейнеке к оценке Ранке, ибо последний подвергается критике с точки зрения тех взглядов, которые ему не были присущи: категория «демонии силы» не имеет ничего общего с его методологией. Очевидно, что высокая оценка Ранке в работах, написанных Мейнеке во время второй мировой войны, объективно имеет смысл защиты обоснованности идеалистического понимания истории, а не доказательства дуалистической его формы в мировоззрении Ранке, хотя Мейнеке не признал прямо несовместимость взглядов последнего с категорией дуализма идеального и естественного начал в истории.

[2]) Идея индивидуального у Ранке основана на его убеждении в неповторимой, индивидуальной природе исторических событий, хотя здесь полного тождества со взглядами Мейнеке быть не могло. Идея

[229]) H. Schleier. Die Ranke-Renaissance.—«Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft». Band II, Berlin, 1965, S. 135.

индивидуального является продуктом теоретического мышления, тогда как единичное у Ранке не выходит, в основном, за пределы эмпирической сферы; результатом этого несоответствия были рассуждения Мейнеке, почему релятивизм не следовал из историографической практики Ранке. Мейнеке, однако, объективно ближе подошел к правильной оценке значения общего в познании Ранке, чем современные западногерманские историки, хотя исторические взгляды Ранке в данном отношении не совпадают с интерпретацией их в обоих случаях. Исторические события для Ранке, как и для Мейнеке,— это события неповторимые. Однако Мейнеке склонялся к признанию решающей роли индивидуального, ставя вопрос о том, что является сущностью исторических событий. Перед Ранке такой вопрос в теоретической форме не возникал; он еще по существу не видел и не понимал значения общего в истории и в познании в той мере, в какой это было свойственно Мейнеке. Для положения Мейнеке о решающей роли индивидуального большое значение имела идея отрицания закономерности в истории; Ранке также обосновывал отрицание закономерности несовместимостью ее со свободой индивидуальной воли в истории и ничем не ограниченной свободой исследователя в познании. Но неповторимость исторических событий не являлась для Ранке главным аргументом, свидетельствовавшим, по его убеждению, о несостоятельности идеи закономерности. Этой идее Ранке противопоставлял провиденциализм. В обосновании отрицания законов истории у Ранке решающую роль играли, в отличие от Мейнеке, мировоззренческие, а не гносеологические предпосылки. Тем не менее интерпретация Мейнеке в большей степени соответствует подлинным взглядам Ранке, чем попытки современных западногерманских историков рассматривать взгляды Ранке в качестве одного из источников «структурного мышления»[23c]), в связи с чем подчеркивается значение общего в его познании. При этом обнаруживается в еще большей степени, чем у Мейнеке, субъективизм в истолковании взглядов Ранке на познание истории, как на субъективистское переживание прошлого в сознании историка, в процессе которого решающая роль принадлежит современности, формирующей это сознание[231]).

[3]) Понятие единичного Ранке не выражает предельной индивидуализации исторических событий. Такая индивидуализация является результатом обобщения историографической практики Ранке неокантианской философией, в которой неповторимость исторических событий превращена в теоретический принцип; подобную индивидуализацию означает и идея индивидуального Мейнеке, хотя у Мейнеке речь идет прежде всего об индивидуальном, как свойстве самой исторической действительности, тогда как Виндельбанда и Риккерта индивидуальное интересовало с точки зрения неокантианской «логики исторической науки».

[4]) В историографии Ранке Мейнеке интересовали прежде всего его общеисторические представления: его взгляды на характер познания общественных явлений, его отношение к идее прогресса в истории, оценка перспектив исторического развития. На каждый из этих вопросов Ранке, отнюдь не будучи крупным теоретиком в историографии, имел определенный ответ, причем часто этот ответ не заключал в себе

[230]) Th. Schieder. Strukturen und Persönlichkeiten in der Geschichte — «Historische Zeitschrift», 1962, Band 195, Heft 2, S. 269; ders., Die Entstehung von Rankes «Epochen der neueren Geschichte».—«Historische Zeitschrift», Band 199, Heft I, 1964, S. 269 E. Schulin. Das Problem der Individulität.— «Historische Zeitschrift», 1963, Band 197, Heft I, S. 126.

[231]) См. напр., K. D. Erdmann. Die Zukunft als Kategorie der Geschichte.— «Historische Zeitschrift», 1964, Band 198, Heft I, S. 45—46.

ничего оригинального и не был результатом специального изучения им данной проблемы. При этом исторический идеализм в гораздо большей степени является чертой методологии Ранке, тесно связанной с его мировоззрением, чем это было свойственно его историографической практике. Это различие было односторонне использовано Мейнеке для его суждений о Ранке как об историке в целом. Сюда относится истолкование мыслей Ранке о непознаваемости конечных причин развития исторического процесса в связи с наличием в истории божественной воли; истолкование положения Ранке о необходимости для историка исключить свое «я» из исследований; другой смысл заключает в себе также отрицание Ранке цели исторического развития.

[5]) Высокая оценка Мейнеке Ранке связана в действительности не с сильными, а со слабыми сторонами общеисторических взглядов последнего. Между тем, именно в сфере общеисторических взглядов Ранке часто не отличался ни глубиной, ни оригинальностью своих идей. Отношение Мейнеке к Ранке обусловлено характером взглядов самого Мейнеке, содержанием развившейся им теории неоидеалистического историзма. Обоснование реакционной и политической сущности этой теории Мейнеке пытался найти, прибегая, наряду с другими представителями идеалистической историографии и философии прошлого, к консервативным взглядам Ранке. В этом отношении взгляды Ранке являлись определенным источником теории неоидеалистического историзма. Однако его широко известное имя, как исследователя различных конкретных проблем истории, Мейнеке использовал, по-своему интерпретируя его взгляды, для доказательства таких идей, которые часто не имели ничего общего с методологией исторического исследования Ранке.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

И. И. ШАРИФЖАНОВ

ОСНОВЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АКТОНА

В последнее время объектом особого интереса западноевропейской и американской буржуазной историографии стал английский историк второй половины XIX века лорд Актон. Влияние, которым он пользуется в настоящее время у буржуазных историков (особенно английских и американских), превосходит влияние многих признанных авторитетов буржуазной исторической мысли прошлого. Актон — сложная фигура в истории исторической науки. Он не пользовался большой известностью у современников и своей популярностью обязан исключительно буржуазным историкам наших дней.

Вплоть до начала 30-х годов XX столетия (три десятилетия спустя после его смерти) известность Актона не выходила за пределы узкого круга его друзей и учеников. Он почти не привлекал к себе внимание исследователей и его имя для большинства историков мало что говорило. Характерным для всего этого периода оставался вывод, который сделал автор статьи, опубликованной вскоре после его смерти в «Энциклопедии Британика». Признавая исключительную эрудицию Актона в области истории и глубокий, критический ум, он в то же время говорил: «Лорд Актон оставил слишком мало законченной оригинальной работы, чтобы занять место среди великих историков»[1]).

Коренное изменение в отношении буржуазных историков к Актону происходит в 30-е — 40-е годы. Целый ряд историков из разных стран обращается в эти годы к исследованию идейного наследия Актона. Отправной точкой для многих из них стала оценка, данная Актону Арнольдом Тойнби. В первом томе своего «Исследования истории» А. Тойнби называет Актона «одним из величайших умов среди западных историков в новое время»[2]).

Особенно широкий размах изучение наследия Актона получает после второй мировой войны. Наряду с исследованием религиозных, политических и исторических взглядов Актона, анализу подвергаются методологические принципы его исторических воззрений. Оцениваются его вклады в области истории исторической науки. Издаются новые и переиздаются старые сборники его трудов. Тщательно изучается все, что хоть в какой-то мере проясняет его точку зрения: дневники, рукописи, переписка. Имя Актона становится все более популярным. Оно произносится сейчас не иначе, как с титром «великий историк». Выступая на XI Международном конгрессе исторических наук в Стокгольме

[1]) «The Encyclopaedia Britannica». 11ed. New York. 1910, p. 160.
[2]) A. Toynbee. A Study of History. London, 1934, vol. I, p. 46.

(1960 г.), Герберт Баттерфилд говорил в своем докладе: «Если мы исключим обсуждения Арнольда Тойнби (которые превосходят все остальные), по-видимому, именно Ранке, Буркхардт и Актон являются теми, кто вызвал величайший интерес в последние примерно десять лет»[3]).

Конкретное исследование идей Актона должно дать ответ, почему он, вместе с некоторыми другими историками XIX века, вызывает такой необычный интерес в современной буржуазной историографии. Обращение к конкретному изучению идейного наследия Актона стало важным и актуальным для историков-марксистов. Оно дает возможность не только расширить и углубить наше знание об исторической науке в XIX веке, учесть ее опыт в более полном объеме, но и показать несостоятельность попыток современных буржуазных историков возвеличить значимость Актона.

В советской исторической литературе Актону уделялось недостаточно внимания[4]). Данная работа не ставит своей целью охарактеризовать все идейное наследие Актона. Ее цель — более ограниченная: дать общее представление об Актоне и на материале, который был доступен нам, конкретно проанализировать основы его идеологии. Исследование идеологического кредо Актона проливает свет на причину особой актуальности Актона в современной буржуазной историографии. Оно также во многом объясняет специфичность его исторической концепции и теоретико-методологических принципов.

Джон Эмерик Эдуард Дальберг Актон (J. E. E. D. Acton) родился 10 января 1834 г. в Неаполе. Знатное происхождение[5]) и высокое положение, занимаемое семьей в обществе[6]), открывали перед ним большие возможности. Воспитанный в католической вере своей матери, Актон прошел курс обучения у видных католических авторитетов своего времени: в Париже у либерального католика Ф. Дюпанлу, в Оскотте (Англия) в католическом колледже «Святой Марии», во главе которого стоял Н. Уайзмен, позднее кардинал и глава английских ультрамонтан, и, наконец, в Мюнхене у немецкого католического теолога и историка, профессора Мюнхенского университета, Иоганна Иосифа Игнаца вана Деллингера (1799—1890).

В доме Деллингера образование Актона носило по преимуществу религиозный характер. Особое внимание уделялось изучению церковной истории и теологии. Актон посещал также университетские курсы лекций по философии и истории средних веков. После восьми лет, проведенных за границей, Актон в 1858 году возвратился в Англию. По возвращении в Англию деятельность Актона направляется по двум руслам: журналистской либерально-католической пропаганды и вигской пар-

[3]) H. Butterfield. The History of the Writing of History.— XI-e Congrès International des Sciences Historigues. Rapports, Stock., 1960, vol. I, p. 36.

[4]) Кроме краткой справки («Советская историческая энциклопедия», М., 1961, т. I, ст. 313) и отдельных случайных упоминаний (К. Б. Виноградов. Очерки английской историографии нового и новейшего времени. Л., 1959, стр. 38, 42, 54, 91; «Вопросы истории», 1963, № 6, стр. 169—174) у нас об Актоне еще ничего не написано.

[5]) Со стороны отца Актон принадлежал к древнему английскому роду, расселившемуся в Шропшире еще в XIV веке. Он был внуком премьер-министра Неаполитанского королевства в царствование Фердинанда IV и племянником римского кардинала. Мать Актона была единственной дочерью Эмерика Иосифа, герцога Дальбергского, южно-немецкого католика — аристократа, связавшего свою судьбу с Францией.

[6]) Через три года после смерти в Париже отца Актона (1837) мать Актона вышла замуж за протестанта, видного политического деятеля Англии лорда Левесон-Гоуэра, позднее графа Гренвилла второго, министра иностранных дел в либеральных правительствах Дж. Россела и У. Гладстона.

тийной политики. Идя по первому руслу, Актон ставит обширную задачу возрождения былого значения римского католицизма в стране, превращения ее в форпост католической веры. Для успешного осуществления этой задачи в Англии имелись, по его мнению, более благоприятные условия, чем где бы то ни было. Английские католики могли пользоваться всеми преимуществами буржуазно-свободного государства. Фактически, заявлял Актон, «английские католики являются естественными руководителями католиков»[7]).

В 1859 году Актон становится редактором католического журнала «The Rambler». Программа либерального обновления католицизма, проповедовавшаяся им на страницах журнала, не встретила сочувственного отклика ни у римской курии, ни у английской католической иерархии, восстановленной специальным папским указом в 1859 году. Отдельные оскорбительные для церкви высказывания Актона еще более ухудшили положение журнала. В 1862 г. издание «The Rambler» было запрещено. Тем не менее, в том же году появился новый журнал «The Home and Foreign Review», во главе которого по-прежнему стоял Актон. В первом его номере был упомянут П. Л. Фарнезе, и, в нарушение торжественного запрещения церкви, он был описан не как племянник Павла III, а как его сын. Актон продолжал свою миссию либерального наставника английских католиков.

В августе 1862 г. кардинал Н. Уайзмен публично осудил направление и форму теологических и церковно-исторических взглядов, проводимых Актоном в журналистской деятельности. Издание журнала с этого времени могло продолжаться только против воли церковных властей. Трения с высшими духовными авторитетами Актон рассматривал как неизбежные в свете той цели, которую он ставил перед своими журналами: «поощрения действительно научного духа и беспристрастной любви к истине»[8]).

После того как на либеральные требования Мюнхенского конгресса теологов, созванного по инициативе Деллингера, папа откликнулся посланием, в котором, отклоняя всякую идею компромисса или реформы церкви, провозглашал мнение католических писателей, подчиненным Риму, Актон решил прекратить издание «The Review». В апреле 1864 г. вышел последний номер журнала с обширной статьей «Конфликты с Римом», в которой он анализировал причины, приведшие журнал к этому исходу. Актон мотивировал свое решение необходимостью послушания законным властям церкви и невозможностью отказаться от своих взглядов[9]).

Дальнейшее развитие событий между тем привело к еще большему упрочению позиций ультрамонтан внутри католической церкви. 8 декабря 1864 г. папа Пий IX издал энциклику Quanta Cura с приложенным к ней Силлабусом — перечнем «главнейших заблуждений нашего времени». В последнем параграфе Силлабуса анафеме предавались все, кто считал, что римский папа «может и должен примириться и вступить в соглашение с прогрессом, либерализмом и современной цивилизацией». Этим заявлением папа наносил сокрушительный удар всем мечтам либерального реформирования католической церкви. На Вселенском соборе в Риме, собравшемся в декабре 1869 г., провозглаше-

---

[7]) H. Butterfield. Acton: His Training, Methods and Intellectual System.— Studies in Diplomatic History and Historiography. London, 1961, p. 183.

[8]) D. Woodruff. The Early Writings of Lord Acton. The Introduction to Lord Acton. Essays on Church and State. New York, 1953, p. 25.

[9]) Lord Acton. Essays on Freedom and Power. A Meridian book. 1956 (в дальнейшем сокращенно, как EFP II), p. 272.

нием догмата непогрешимости суждения папы в вопросах веры, успехи реакционного католического духовенства были закреплены.

Либерально-католическая пропаганда Актона не заканчивается с прекращением издания «The Home and Foreign Review». Он активно участвует в католическом еженедельнике «The Chronicle», а после его закрытия — в бывшем органе шотландской свободной церкви «The North British Review». Однако по сравнению с периодом до 1864 г. его литературная деятельность сейчас не носила такого монолитного и целенаправленного характера. В ней произошло внутреннее изменение. Актон выступал сейчас не в роли преобразователя католицизма, а скорее в роли критика. Критическая направленность его сочинений становится превалирующей особенно в связи с активизацией деятельности ультрамонтан, вызванной началом подготовки к созыву вселенского собора. Актон выступил ярым противником провозглашения догмата папской непогрешимости. Вместе со своим учителем Деллингером, он публикует ряд работ, в которых доказывает историческую необоснованность притязаний папы и практический вред, наносимый ими делу католицизма. Приняв догмат о непогрешимости, пишет Актон, «церковь заняла бы место луны, бесстрастно отражающей свет, который папа получал прямо из небес»[10]). Рецензируя памфлет Деллингера «Папа и собор», опубликованный им в марте 1869 г. под псевдонимом Януса, Актон заявлял, что «вся структура традиций, законов и доктрин, которая поддерживает теорию непогрешимости и практический деспотизм пап, покоится на обмане»[11]).

В начале 70-х годов заканчивается первый период в жизни Актона. Его главным результатом был крах миссионерской деятельности Актона в качестве либерального наставника английских католиков.

Деятельность Актона на поприще вигской партийной политики начала развиваться параллельно его борьбе за восстановление престижа римского католицизма в общественной жизни Англии. В 1859 г. он был избран в палату общин от ирландского избирательного округа Карлоу. Этим избранием он был обязан своему отчиму графу Гренвиллу. Его активность в работе палаты была минимальной. Хотя Актон заседал в важных подкомитетах, он, по свидетельству одного из его биографов, никогда не принимал участие в дебатах и за весь свой шестилетний период пребывания в парламенте от Карлоу ограничился только тремя вопросами, представлявшими сугубо католические интересы[12]). На следующих выборах, проводившихся в 1865 г., Актон лишился возможности быть вновь избранным от Карлоу. Попытка выступить кандидатом в парламент в самой Англии от Бриджнорта дважды была неудачной (в 1865—1866 гг. и в 1868 г.).

Парламентская судьба Актона окончательно была решена в 1869 г., когда он по рекомендации Гладстона занял место в палате лордов. Немаловажную роль в этом назначении сыграла личная дружба Актона с лидером английских либералов. В 1892 г., когда их дружба была в зените, Актон получает новую должность Lord-in-Waiting в штате королевы Виктории. При обсуждении в парламенте биллей о гомруле Актон активно поддерживал Гладстона.

Наряду с политикой, важное место в кругу интересов Актона после 1870 г., занимала история. Он намеревался написать обширное иссле-

[10]) L. Kochan. Acton on History. London, 1954, p. 25.
[11]) G. Himmelfarb. The Introduction to Lord Acton. Essays on Freedom and Power. Boston, 1948, p. XXII.
[12]) J. Auchmuty. Acton's Election as an Irish Member of Parliament.—«The English Historical Review». Sept, 1946, vol. LXI, N 241, p. 404.

дование «История свободы», в котором на огромном историческом фоне было бы показано становление идеи свободы. Работа, однако, никогда не была написана, хотя некоторые из сохранившихся материалов могут считаться подготовительными к ней. Две лекции, прочитанные Актоном в Бриджнорте в 1877 году — «история свободы в античности» и «История свободы в христианстве» — так же могут свидетельствовать об определенной работе, проделанной им в этом направлении.

Серьезное изменение в конце 70-х — начале 80-х годов произошло в отношениях между Актоном и Дёллингером. Полное единство и согласие, существовавшее до сих пор в их взглядах, оказалось непрочным. В важном методологическом вопросе — роли и месте моральных оценок и суждений в истории — у них обнаружились серьезные расхождения. К этому времени этический принцип занял в историческом мировоззрении Актона ведущее место. Поэтому разногласие с Дёллингером именно по данному вопросу явилось для него чувствительным ударом. «Я абсолютно одинок в своей основной этической позиции и потому бесполезен, — гласит одна из его записей этого периода. — Возможность совершения добра сочинениями столь изолированными и отталкивающими... настолько мала, что я не имею права жертвовать ей своим спокойствием и обязанностью воспитания детей. Мое время можно использовать лучше, чем вести безнадежную войну»[13]).

Печатная продукция Актона после 1870 г. резко сокращается. Несмотря на это, он становится обладателем целого ряда почетных научных степеней от Мюнхенского, Кембриджского и Оксфордского университетов. Он избирается членом Баварской королевской академии (1876) и почетным членом Оксфордского общества «All Souls» (1890).

Литературная деятельность Актона оживилась в связи с основанием в 1886 г. первого общенационального журнала английских историков «The English Historical Review». Первый номер журнала открывался его статьей «Немецкие школы истории». В новом журнале Актон помещает ряд своих исторических очерков и рецензий.

Важной вехой в жизни Актона явилось назначение его в 1895 г. королевским профессором новой истории Кембриджского университета. Хотя целый ряд обстоятельств был не в его пользу — неизвестность его имени в широких академических кругах, католическое вероисповедание, отсутствие специальных монографий — Актон быстро завоевал признание в университете. «Он сразу произвел глубокое впечатление в нашем отчасти провинциальном обществе, — вспоминал английский историк Дж. Тревельян, являвшийся в то время студентом Кембриджского университета. — Преподаватели всех предметов битком заполняли его оракульские лекции, которые иногда были непонятными, но всегда впечатляющими»[14]). Актон обратил на себя внимание так же своей активной научно-организаторской деятельностью и требованием осмысления истории. «Кембридж никогда не имел учителя, — писал Дж. П. Гуч,— более способного вдохновить своих студентов на исследование и размышление и более готового войти в их жизнь и интересы»[15]).

В течение своего шестилетнего пребывания на должности королевского профессора Актон прочел два курса лекций по новой истории. Первый курс охватывал период с Возрождения до кануна Французской

[13]) H. Butterfield. Lord Acton. London. 1948, p. 14.
[14]) G. M. Trevelyan. An Autobiography and Other Essays. London. 1949, p. 17.
[15]) G. P. Gooch. History and Historians in the Nineteenth Century. London. 1952, p. 361.

революции 1789 г. Второй курс был полностью посвящен Фран революции.

Последней услугой Актона буржуазной историографии бы товка и редактирование многотомного труда «The Cambridge History». Актон составил подробный план работы и список сотру разделил планируемое издание на тома и каждой главе тома да название. Его намерением было создать труд возможно более с тивно отражающий события нового времени, лишенный национа предвзятости и свободный от субъективных точек зрения авторов будем избегать, — писал он о своих планах, — ненужного выр мнения или солидарности с какой-либо из сторон. Сотрудник сознавать, что наше Ватерлоо должно удовлетворять в равной французов и англичан, немцев и голландцев; что никто не сможет сказать без изучения списка авторов, где епископ оксфордский положил перо, а где Фэрберн или Гаскит, Либерман или Гаррисон приняли его»[16]). Свою высшую задачу Актон видел в подготовке такой «Истории», которая была бы не «грузом на памяти, а просвещением души».

Актон не смог завершить своей работы. В апреле 1901 г. он тяжело заболел и 19 июня 1902 г. умер. Вскоре после его смерти вышел первый том «The Cambridge Modern History».

Специфический характер религиозных взглядов Актона сложился под непосредственным влиянием идей, проповедовавшихся Дёллингером и его школой в середине XIX столетия. Дёллингер стоял во главе одной из академических школ католических теологов, образовавшейся на базе богословского факультета Мюнхенского университета. Направление, принятое им и его сторонниками в деле защиты католицизма в 50-е — 60-е годы, существенно расходилось с тем направлением, которого придерживались ортодоксальные католики, ультрамонтаны, и которое находило большую поддержку Рима.

Главной задачей католитической церкви в начале XIX в. было укрепление своего влияния в общественной жизни европейских государств, сильно пошатнувшееся в период Французской революции и Наполеоновского правления. Часть католитических теологов, обеспокоенная распространением рационализма среди верующих и наличием серьезных разногласий в своей среде, выступила с программой укрепления христианской доктрины на средневековой основе. Могущественное положение церкви в средние века и законодательная роль, принадлежавшая ее учению в духовной жизни народов, рассматривались ими как идеал, к достижению которого должны были стремиться современные католики. Поражение революции 1848—1849 гг. в Европе дало новый стимул к активной пропаганде этой программы. Поддержанная папой, она вскоре заняла господствующее положение в католическом мире. Энциклика Quanta Cura и Силлабус 1864 г., а также догмат непогрешимости папы, провозглашенный на Вселенском соборе в 1870 г., явились практическим воплощением ее положений.

Другая часть католиков, побуждаемая теми же мотивами, что и ультрамонтаны, видела выход в уступке либеральным требованиям века, в обновлении, а не в восстановлении средневековой конституции и учения церкви. Они пытались найти иные источники для религии, чем те, которые основывались, по выражению Актона, на «невежестве, варварстве, царствовании силы». Особую ценность в этом отношении представило для них романтическое историческое движение в Германии в первой четверти XIX века. Романтические идеи органического роста,

[16]) Ibid., p. 364.

исторической непрерывности и консервативности, примененные к теологии, становились оружием в руках католиков. «Исторический метод Нибура, — подчеркивал Актон, — специфически католический»[17]).

Впервые романтическую историческую методологию приспособила к нуждам католицизма Тюбенгенская школа католических теологов. К 50-м годам она находит полное признание у Дёллингера. В трактовке Дёллингера теория исторического развития христианской догмы приобрела дополнительный смысл и была использована в новом направлении. Призванная защитить римскую католическую церковь от обвинения протестантов в том, что она утратила свою апостолическую чистоту и не является более христианской, она стала для Дёллингера в 60-е годы обоснованием необходимости обновления теологии. Своим острием она была направлена им против современных неосхоластов и римского папы.

Дёллингер пришел к твердому убеждению, что аналитический метод средневековых схоластов исчерпал свою роль и непригоден для поддержания учения католической церкви в современном мире; что католическая теология должна быть перестроена на новых принципах — принципах исторического развития. История и философия были, по его словам, двумя глазами теологии. Дёллингер вполне ясно сознавал, что применение к теологии исторического метода будет иметь своим следствием целый ряд открытий, разоблачающих средневековую церковь, и он приветствовал это, полагая, что христианская доктрина и церковь очистятся от всего наносного и случайного и станут более жизнеспособными. Его требование состояло в том, чтобы католики более стого придерживались своего лозунга — quod Semper, quod ubique, quod ab omnibus[18]).

Идея о том, что католики должны стремиться к изложению истины в ее конечной инстанции, находила оправдание у Дёллингера в признании провиденциального характера истории. Всякая легенда была неправдой не просто о человеке, который в истории был лишь послушным орудием, а о боге — истинном дирижере человеческой истории. Те теологи, которые из-за боязни причинить вред своей религии выступали против критического анализа ее доктрины и истории, по мнению Дёллингера, ложно понимали истинные интересы католической религии как непримиримого врага всего, что не соответствовало истине.

Сторонники мюнхенской школы были активными проповедниками союза религиозной веры со светским знанием. Вера рассматривалась ими как основа истинного знания, а знание — как неизбежное дополнение веры. Тот, кто не просто верит, но и понимает и знает — убежден в своей вере. Знание, по их мнению, оказывало огромную услугу религии, оберегая ее от неверия. Отстаивая автономию науки и светского знания, сторонники мюнхенской школы выступали поборниками принципа терпимости.

Деллингер основывал требование терпимости на доктрине логической неизбежности — а косвенно и благодетельной роли — заблуждения в жизни церкви. Оно представлялось им как источник чистоты веры. Инквизиция и индекс не имели логического оправдания и являлись сами по себе, с его точки зрения, порочными методами защиты католической веры.

Опираясь на историю, Дёллингер доказывал несостоятельность притязаний папы на верховенство в светской жизни и на непогреши-

[17]) S. J. Tonsor. Lord Acton on Döllinger's Historical Theology.—«Journal of the History of Ideas». June—Sept. 1959, vol. XX, N 3, p. 337 n.

[18]) Lord Acton. Essays on Church and State. New York. 1953 (в дальнейшем сокращенно, как ECS), pp. 182—189.

мость — в духовной. Он был противником строгой централизации власти в католической церкви и насаждения в ней авторитарных порядков. Одним из важных принципов, отстаивавшихся Дёллингером, был принцип равенства церкви. Католическую церковь разъединял с протестантской, по его мнению, ряд теологических недопониманий и предубеждений. Их устранение открывало путь к объединению. Первым шагом на этом пути должно было быть принятие католической теологией исторического метода и отказ от схоластики. После отлучения его в 1871 г. от римско-католической церкви Дёллингер открыто стал на позиции примирения протестантской и католической церкви. Религиозные воззрения Дёллингера получили высокую оценку Гладстона, приверженца англиканской церкви. «Я не знаю никого другого, — говорил он о Дёллингере, — с чьим способом рассмотрения и трактовки религиозных вопросов я был бы более сердечно согласен»[19]).

Все эти идеи, проповедовавшиеся в школе Дёллингера — терпимости, интеллектуальной и религиозной свободы, автономии науки, изложения истины в ее конечной инстанции, критического исследования религиозной истории — стали краеугольным камнем религиозно-политического мировоззрения Актона. Под их влиянием Актон оформился как либеральный католик. Идеология либерального католицизма Актона была слишком современной, чтобы понравиться официальным властям церкви. Кардинал Н. Уайзмен осуждал его журнал за его «обычное предпочтение некатолических католическим инстинктам, тенденциям и побуждениям»[20]).

Этот перевес в идеологии Актона либерального элемента над католическим был вызван не притуплением его религиозного чувства — он оставался набожным верующим на протяжении всей своей жизни и не пожелал покинуть свою религию даже после того, как кардинал Мэннинг выступил против него с ожесточенными нападками — а самой целью, которую он ставил перед собой: возрождение престижа и влияния римского католицизма в Англии.

По сравнению с соперничающей верой — протестантизмом — католицизм в середине XIX в. как в Англии, так и в Германии находился в невыгодном положении. Протестантизм чувствовал себя уверенно и спокойно. Он имел все привилегии официальной религии, пользовался защитой государства и охватывал широкие слои населения. С ним ассоциировались все буржуазные свободы, достигнутые этими странами. Католицизм, напротив, исторически был дискредитирован. Он выступал как пугало, как символ господства тиранической абсолютной власти и отсутствия элементарных политических свобод. С ним связывались наиболее мрачные страницы в истории развития духовной жизни народов. Он был неотделим от таких зловещих понятий, как инквизиция, аутодафе, индекс запрещенных книг. В Англии сфера распространения католической религии была ограничена узким кругом аристократических слоев общества.

Поэтому, попытка Актона повысить значение католицизма в общественной жизни, расширить его социальную базу могла быть успешной лишь при условии принятия католической религией тех современных требований, которые носили в своей основе буржуазно-либеральный характер. Отсюда становится понятным, почему Актон вслед за Дёллингером настаивал на замене схоластических методов доказательства правоты учения католической церкви историческими, на утверждении

---

[19]) J. Morley. The Life of William Ewart Gladstone. London. 1908, vol. II, p. 90.
[20]) G. P. Gooch. Op. cit., p. 357.

прав науки и политики на свое собственное и независимое от католицизма существование, на рассмотрении свободы и терпимости как неотъемлемых от истинной религии понятий.

Важный вопрос, который должен был предварительно решить Актон, идя по пути либерального преобразования католицизма, касался отношения католической церкви к буржуазному государству. Для Актона выбор между тем, что было предпочтительнее: чтобы государство оказывало покровительство церкви или чтобы оно предоставило ей право пользования полной свободой, во многом был заранее предрешен реальным положением католиков в Англии. Не обладая поддержкой буржуазного государства, выступая в меньшинстве, имея против себя общественное мнение, католики были ревностными апологетами полной религиозной свободы.

Идеал религиозной свободы Актон представлял в независимой от государства, пользующейся правом самоуправления, церкви. Он осуждал всякую политическую систему, при которой государство, хотя возможно и признавало формально свободу вероисповедования для каждого члена общества, но в то же время устанавливало над его церковью свою юрисдикцию. Это приводило, по его мнению, к тому, что религиозная свобода на деле упразднялась, так как там, где, по словам Актона, «церковная власть ограничивается, религиозная свобода фактически отрицается»[21]).

Актон был глубоко убежден, что религия может отстоять свою свободу только через сопротивление диктаторским устремлениям государства. Поэтому он враждебно относится к идее установления гегемонии одной религии с помощью государства. Государство за свои услуги в деле сохранения ее единства, говорит он, потребует вознаграждения признанием его авторитета над ней. Религиозная свобода была возможна, следовательно, только там, делает вывод Актон, где «признано сосуществование различных религий с равным правом, для каждой управлять собой, согласно своим собственным принципам»[22]). Хотя здесь Актон выступает в защиту принципа равноправия религий, он — вовсе не сторонник религиозного плюрализма. Он — полностью за единство церквей, но за единство, устанавливаемое в результате победы одной из них: той, которая является «истинной», а не за единство, учреждаемое властью государства. Самая полная религиозная свобода будет только там, пишет он, где «единство существует как триумф истины, а не силы, через победу церкви, а не через законодательство государства»[23]).

Нетрудно заметить, что во всех этих рассуждениях Актон выступал против протестантской государственной церкви. Протестантизм смешал, пишет он, светские дела с религиозными и отдал предпочтение политическим соображениям перед религиозными[24]). Основной порок протестантской теории Актон усматривал в том, что она растворяла церковь в государстве. Неизбежным следствием этого было, по его мнению, установление нетерпимости и ликвидации свободы.

Взгляд Актона на проблему отношения католической церкви к буржуазному государству не был тождествен ультрамонтанскому. Ультрамонтаны игнорировали власть государства, как незаконную,

[21]) Lord Acton. EFP II, p. 114.
[22]) Ibid., p. 115.
[23]) Ibidem.
[24]) H. Butterfield. Journal of Lord Acton: Rome 1857. «The Cambridge Historical Journal». 1946. Vol. VIII, N 3, p. 204.

и признавали только одну власть: власть Рима. Актон считал признание одного авторитета католиками великой ошибкой его времени[25]). Отправной точкой его воззрений по этому вопросу был принцип, выраженный в словах, приписываемых Иисусу Христу: «кесарю — кесарево, а богу — богово». Из этого принципа следовало, что в своей собственной сфере государство было так же законно и независимо, как должна быть церковь — в своей собственной. Все дело заключалось только в том, чтобы четко провести границы их компетенции.

Выделяя церковь в самостоятельный политический субъект и, таким образом, лишая ее услуг государства, Актон стремился упрочить авторитет церкви с помощью придания ее учению наукообразных форм. Он ясно сознавал, что время убеждения силой безвозвратно ушло. В борьбе за массы, за приоритет выигрывала та религия, учение которой более соответствовало современному уровню интеллектуального развития людей и претендовало на согласованность с требованиями науки. Поэтому он настойчиво проводил идею о «научном» характере католицизма.

Актон утверждал, что католической религии нечего бояться прогресса науки, что вера католика не может пострадать от научных открытий. Настоятельной необходимостью для католической церкви в век, когда наука сделала такой громадный прогресс, убеждает он, является принятие ее в качестве своего «необходимого и надежного союзника»[26]). Сама по себе наука, говорит он в другом месте, не может стать источником враждебности к религии. Ее истины и открытия носят законный характер в своей области и не затрагивают коренных интересов религии. Никакой научный прогресс не может разрушить такие основные идеи религии, как существование бога, вечность души, наказуемость греха. В то же время эти религиозные идеи не закрывают перед верующим пути к приобретению знания[27]).

Через все эти рассуждения Актона красной нитью проходит признание, наравне с автономией политики, автономии науки. Непосредственным результатом этого признания был призыв к терпимости. Все, что мы хотим, заявлял он, это следующее: «наука должна быть верна своему собственному методу, а государство — своему собственному принципу, дальше этого интересы религии не требуют никакой защиты»[28]).

Для осуществления программы «научного» преобразования римского католицизма Актон предлагал отказаться от схоластических приемов доказательства, перевести теологию на историческую основу, подвергнуть критическому пересмотру старые положения и рассказы церкви, особенно в области жизнеописания святых, руководствоваться в историческом исследовании принципом святости истины. Убежденность Актона, что история оправдывала католическое дело, имела своим следствием выдвижение им требования быть критичным и беспристрастным в области исторического познания и излагать всю истину, независимо от того, какой несовместимой она ни казалась с традиционным учением церкви. Ошибочная религия, утверждает он, боится познания всей истины. Истинная религия стремится к ней и признает ее повсюду, где бы она ни обнаруживалась[29]). Если истина находится в самой природе бога, аргументирует Актон в другом месте, то для церкви, как

---

[25]) Lord Acton. ECS, p. 282.
[26]) Ibid., p. 273.
[27]) Ibid., pp. 82, 281—283.
[28]) Ibid., p. 283.
[29]) J. W. Thompson. A History of Historical Writing. New York. 1942. Vol. II, p. 331.
[30]) Lord Acton. ECS, p. 378.

божественного инструмента, только истина и вся истина может быть «естественной» и «конгениальной»[30]).

В полемике с церковными авторитетами принцип святости истины приобретал для Актона все большее значение. В конце концов, он занял, наряду со свободой, место пробного камня в его мировоззрении. «Полное изложение истины, — заявлял он в 1863 г., — является великой целью, ради которой живет человечество на земле»[31]).

Быть критичным и объективным, с точки зрения Актона, диктовалось самим положением католиков, как заинтересованных в изложении только истины и всей истины. «Беспристрастие научного исследования, — пишет он, — является самым верным нашим союзником, если мы примем его, если же мы отвергнем его, путаница, несомненно, охватит нас»[32]).

Требование критического подхода к исследованию истории церкви, доискивания истины за пределами христианской догмы должно было серьезно насторожить современных Актону учителей церкви. Это требование при практическом его осуществлении неизбежно приводило к нарушению установленного и освященного временем взгляда на вещи. Разоблачая и осуждая целый ряд вещей и лиц, которые католическая церковь считала священными, этот подход сеял сомнение среди верующих в непогрешимость церкви. Поэтому программа Актона «научного» преобразования католицизма встретила такую сильную оппозицию среди высшего католического духовенства. Не получив поддержки, она потерпела полное поражение. Подводя итог деятельности Актона на религиозном поприще, кардинал Мэннинг писал Гладстону в 1870 году: «Я не скажу ничего более о лорде Актоне, чья карьера стала разочарованием для его истинных друзей, не только католиков. Он мог бы многое сделать в общественной жизни и среди нас. О первом — вы судья; о втором я должен сказать, что он потерял всякое влияние в Англии и за границей, за исключением отдельных индивидуумов»[33]).

Программа Актона не была реализована не просто вследствие того, что, как утверждают некоторые ее современные буржуазные исследователи, она была выдвинута им несвоевременно, что обстановка для ее пропаганды была крайне неблагоприятной. Недавно восстановленная английская католическая иерархия была особенно подозрительной ко всему новому и необычному в трактовке религиозных вопросов, опасаясь за свой авторитет среди верующих; папство же, со своей стороны, начиная с провозглашения римской республики, жило под постоянным страхом потери светской власти, что вело его к еще более непримиримой политике в области веры. Она не была реализована так же не просто вследствие той опрометчивости, с которой Актон обрушил усвоенные им в Германии идеи на головы своих соотечественников без учета их желания или возможностей.

Эта программа Актона осталась неосуществленной вследствие принципиальной невозможности для католической церкви, как всякой другой церкви, отделить свое реальное содержание от формы его выражения. Ограниченными и порочными религиозные принципы были не по форме, как думал Актон, а по своему реальному содержанию. Они стали таковыми не в данный момент или при данном стечении обстоятельств —

---

[31]) Ibid., p. 38.

[32]) Ibid., p. 275. См также H. Butterfield. Acton: His Training, pp. 181 n., 182: «Истину можно найти только на наших принципах». «Совершенное беспристрастие возможно только среди католиков».

[33]) Lord E. Fitzmaurice. The Life of Granville George Leveson Gower, Second Earl Granville. London, 1905. Vol. II, p. 135.

необыкновенно быстрое развитие, например, науки и научного значения в XIX веке, которому не соответствовала определенная форма религиозного мировоззрения, — эти принципы оставались таковыми всегда и повсюду. Религия никогда не была союзницей свободы, терпимости, прогресса знания, открытия истины, беспристрастного научного исследования. Все эти идеи были привнесены в нее Актоном, вслед за Деллингером, извне, совершенно без учета того, согласна ли сама религия воспринять их. Решающее слово, произнесенное церковным клиром, не было неожиданным. Церковь, строящая свое учение на громадной и сложной системе фикций, должна в интересах своего собственного существования пресекать в зародыше всякие попытки вторгнуться в эту систему и нарушить ее. Ни одна церковная догма в конечном счете, не могла бы выдержать критической проверки. Поэтому самые умеренные и скромные попытки Актона — и с самой «благочестивой» целью — должны были встретить решительный отпор. Они затрагивали не просто интересы отдельных представителей высшего духовенства, как думал сам Актон, но и самые основы католической церкви.

Актон надеялся, что отделение церкви от государства и принятие католиками принципов науки станет роковым для протестантизма. Он полагал, что начиная с самой Реформации, протестантское учение держится единственно благодаря поддержке со стороны государства и что лишение его этой поддержки неминуемо приведет его к краху. «Немецкий протестантизм был бы полностью разрушен, — гласит одна из его записей, — если бы в 1848 году связь церкви и государства была уничтожена»[34]).

Современное состояние протестантского учения Актон рассматривал как глубоко критическое. По его мнению, оно не выдерживало научной критики и не имело себе оправдания в истории[35]). Если у протестантов имелась еще какая-то возможность на спасение, считал Актон, так это — возвращение в лоно католической церкви. «Моим принципом является, — пишет он в 1859 г., — мир среди католиков, для протестантов доброй воли — золотой мост; полемика должна быть направлена главным образом против свободомыслящих»[36]).

Актоновская программа возрождения римского католицизма, как и ультрамонтанская, была вызвана частичным подъемом католической религии в годы реакции после революции 1848 года, напугавшей буржуазию настолько, что она стала заигрывать с папой и католицизмом, как с резервом контрреволюции. Она была утопической, так как не опиралась ни на какую реальную основу. То, что Актону казалось коренным изменением всей политической обстановки, было лишь зигзагом политической конъюктуры. Как только положение буржуазии, потрясенное революцией, окрепло, она круто изменила свое отношение к папству и католической церкви. Надежды Актона на крах протестантизма и возвращение протестантов в лоно католической церкви были в действительности просто иллюзией.

Сама по себе вся деятельность Актона, направленная на укрепление влияния католической религии в общественной жизни путем некоторых уступок с ее стороны либеральным требованиям века и облачения ее учения в наукообразные одежды, носила реакционный характер. Со времени самосознания пролетариатом себя, с выходом его на арену классовой борьбы, по словам В. И. Ленина, «всякая, даже самая утонченная, самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть

[34]) H. Butterfield. Acton: His Training, p. 178 n.
[35]) Ibid., p. 182 n; Lord Acton. ECS, p. 260.
[36]) H. Butterfield. Acton: His Training, p. 181 n.

оправдание реакции»[37]). Религиозная деятельность Актона в своей основе была реакционной, потому что она, закрепляя идею бога в сознании людей, закрепляла придавленность человека классовым гнетом. Объективно она была направлена против классового самосознания трудящихся масс, против классовой борьбы.

Основы политических взглядов Актона, также как и религиозных, были заложены в школе Дёллингера. Страстный поклонник Маколея, каким он прибыл в Мюнхен, Актон к концу своего обучения у Дёллингера становится ревностным почитателем Эдмунда Бёрка. Особенно высоко Актон оценивал в ранний период политическое кредо Бёрка последних лет его жизни, т. е. времени его наибольшей консервативности. Поздний Бёрк был для него олицетворением политической мудрости и бескорыстия, человеком принципа и разума. Его отвращение к просветительским идеалам в политике, приверженность к традиции находили живой отклик у Актона. Актон описывает его как «мудрейшего» из всех защитников католического дела.

В полном соответствии с учением Бёрка, Актон развивал теорию органической социальной реформы. Отправной точкой этой теории был взгляд на государство как на часть человеческой природы. Государство, писал Актон в 1860 году, является такой же изначальной сущностью нации, как ее язык, оно связывает людей моральными узами, а не природными или чувственными, подобно семье и обществу[38]).

Рассматривая государство как часть человеческой природы, независимой от собственной воли людей, Актон делал вывод, что люди не могут уничтожить государство или радикально изменить его без акта самоубийства. Самое большее, что люди могли сделать, это, по его мнению, развить, видоизменить, исправить те или иные моменты в государстве. При этом они должны поддерживать органическую связь государства со своим прошлым, со всей своей историей. В этом Актон видел залог процветания и прогресса общества. Обращаясь к политической истории Англии, Актон утверждал, что истоки английской свободы следует искать не в островном географическом положении страны, не в ее независимом духе, не в великодушии ее народа, а в «настойчивой, последовательной, тупой верности» англичан той политической системе, которую имели первоначально все нации, прошедшие стадию феодализма. «Посредством этого постоянного возвращения к старым принципам и постепенного приспособления новых форм, обеспечивающих безопасность его деятельности, — писал Актон, — английский народ завоевал свою свободу»[39]).

Исходным принципом политических взглядов Актона в ранний период была свобода. Актон резко осуждал тех католиков, которые проводили резкую грань между интересами религии и требованием свободы. Политическая свобода гарантировала социальную деятельность католической религии, интересы которой находились в противоречии с современными общественными отношениями. Поэтому защита религии была неотделима для Актона от защиты свободы. «Тот, кто считает, что он может защитить дело религии, не защищая в то же время дело свободы, — писал он в 1858 году, — не более, как лицемер и предатель»[40]). Свобода, как ее понимал Актон, была, прежде всего, свободой совести. Она являлась гарантией неприкосновенности прав личности поступать «только в соответствии с голосом совести, безотносительно

[37]) В. И. Ленин. ПСС, т. 48, стр. 232.
[38]) Lord Acton. ECS, p. 424.
[39]) Ibid., p. 404.
[40]) Ibid., p. 473.

каких-либо других соображений»[41]). Установление внешнего по отношению к совести контроля над личностью было совершенно несовместимо со свободой, как ее представлял себе Актон. «Мы понимаем свободу, — заявлял он, — как освобождение от контроля»[42]).

Крайне индивидуалистическое понимание свободы вело Актона в политической области к идее разделения власти. Современную опасность, против которой нельзя было найти защиты ни в представительном управлении, ни в демократии, он видел в абсолютизме государства. Абсолютным Актон называл всякое государство, в котором господствовал один какой-либо принцип управления. «Всякий раз, — писал он, — когда отдельный определенный объект делается высшей целью государства, будь то выгода класса, безопасность или могущество страны, величайшее счастье величайшего числа людей или поддержка какой-либо спекулятивной идеи, государство неизбежно становится на это время абсолютным»[43]).

Такими «абсолютными» государствами Актон считал абсолютную монархию, олигархию и демократическую республику. Из этих трех самой «греховной» и самой «преступной» формой государственного управления для Актона была демократическая республика. «Плохо быть угнетенным меньшинством, — говорил он в Бриджнорте, — но еще хуже быть угнетенным большинством... От абсолютной воли всего народа нет никакой аппеляции, никакого спасения, никакого убежища, кроме измены»[44]).

Ограничение суверенной власти государства независимо от того, кем она была представлена, и обеспечение разнообразия интересов было главным политическим требованием свободы у Актона. Он высоко оценивал представительные учреждения. В них Актон видел критерий и характерный признак свободного управления. В то же время Актон рьяно защищал монархию. Конституционное управление в обществе с классовыми и национальными различиями мыслилось им возможным только при наличии власти, стоящей выше отдельных интересов, представляющей не какую-либо часть общества, а все государство в целом. Такой властью была, по его мнению, монархия. «Конституционное управление, т. е. власть закона, а не интереса, может существовать только при короле»[45]). Актон активно выступал за сохранение политических привилегий аристократии. В них он видел могущественное ограничение суверенной власти демократии. «Суверенная власть народа, так же, как и короля, чтобы она не стала деспотической, нуждается в ограничении,— говорил он.— Ограничением монархии является представительство. Ограничением демократии является первородство»[46]).

Особое место в борьбе за свободу Актон отводил церкви. Вся проблема свободы представлялась им как проблема соотношения церкви и государства. Выделяя церковь в самостоятельный субъект, несвязанный ни с какой особой формой государственного управления, Актон

---

[41]) H. Butterfield. Acton: His Training, p. 184.

[42]) Lord Acton Historical Essays and Studies. London 1907 (в дальнейшем сокращенно, как HES), p. 133. В своем раннем дневнике за 1857 год Актон записывает: «Христианин должен стремиться расширить насколько возможно область, где он ответственен только перед своей совестью и свободен от правительственной власти». H. Butterfield. Journal of Lord Acton, pp 200—201.

[43]) Lord Acton. Essays on Freedom and Power. Boston. 1948 (в дальнейшем сокращенно, как EFP I), p. 184.

[44]) Lord Acton. EFP II, p. 63.

[45]) Lord Acton. ECS, p. 336.

[46]) Ibid., p. 407.

изображал в качестве ее миссии «защиту» свободы. Политической функцией церкви, с точки зрения Актона, было ограничение абсолютной власти государства. «Существование такой могущественной и важной корпорации, как церковь, — писал он в 1857 году в своем дневнике, — несовместимо с абсолютной властью государства»[47]).

Даже если бы афинская демократия не была рабовладельческой, то все равно Актон классифицировал бы ее как несвободную. Причина заключалась в том, что государство в древних Афинах осуществляло исключительную власть над гражданами. Появление церкви было для Актона началом новой эры — эры свободы. «Вся свобода началась с церкви, — восклицает он, — люди древнего мира не знали никакой свободы»[48]). Выступление в защиту независимости церкви Актон изображал как существенный вклад в политическую свободу. Чем больше церковь пользовалась правом самоуправления, чем независимее она была, тем больше, по его мнению, было гарантий неприкосновенности прав личности. «Свободная церковь, — провозглашал Актон, — подразумевает свободную нацию»[49]).

С этих позиций Актон резко критиковал политические идеи, отстаивавшиеся современными ему либералами. Их политические идеалы, по его мнению, шли в разрез с идеалами свободы. «Теория свободы настаивает на независимости церкви; теория либерализма же настаивает на всемогуществе государства как органа народной воли»[50]). Либерализм описывался Актоном в этот период как сила более враждебная свободе, чем монархия: «Современный либерализм в Англии, также как и за границей, в Америке, также как и в Европе, сделал больше, чтобы разрушить свободу, чем это сделала монархия»[51]).

Образцом политической свободы для Актона была современная Англия. Он подчеркивал «христианский» характер английской конституции и считал религиозным и политическим долгом католиков защищать ее от нападений радикалов и презрения тори. Актон выступал ярым врагом идеи демократизации английского государственного строя. Современная политическая система Англии представлялась ему идеальной. Она являлась, по его мнению, единственной политической системой, которая обеспечивала неприкосновенность прав личности. «Законы Англии, — писал он, — не исходят из какого-либо отдельного принципа, они являются результатом многих влияний. Они признают власть и традицию, уравновешивают один ряд интересов другим, имеют своей целью удовлетворить самые разнообразные права и определяются многими соображениями о целесообразности»[52]).

Распространение социалистических идей в Англии наводило на Актона страх. Он никогда не допускал мысли, что можно построить свободное общество на отношениях, отличных от частнособственнических. Свобода, которую защищал Актон, была прежде всего свободой частной собственности. «Народ, питающий отвращение к институту частной собственности,— находится без первого элемента свободы»[53]). Страх Актона перед демократией и социализмом был настолько велик, что он уже в 1860 году советовал создать в Англии добровольную армию из представителей высших и средних классов для обеспечения не-

[47]) H. Butterfield. Journal of Lord Acton, p. 194.
[48]) Ibidem.
[49]) Lord Acton. ECS, p. 472.
[50]) Lord Acton. HES, p. 185.
[51]) H. Butterfield. Acton: His Training, p. 186.
[52]) Lord Acton. HES, p. 130.
[53]) Lord Acton. EFP I, p. 192.

прикосновенности прав собственности. «Задачей волонтеров будет,— писал он,— защита не государства от народа, а собственности от грабежа и общества от социализма»[54]).

Исключительную враждебность Актон проявлял к демократической Франции. Вслед за А. Токвилем, Актон считал, что Французская революция 1789 года не уничтожила абсолютной власти старого режима, а только поставила ее на службу новым интересам.

Политические принципы, отстаивавшиеся Актоном в ранний период, нашли свое яркое выражение в анализе и оценке им двух крупнейших событий современности: Гражданской войны в Америке и национально-освободительного движения в Италии. В памфлете «Политические причины Американской революции», опубликованном в 1861 году в майском номере журнала «The Rambler», Актон, подобно многим представителям правящего класса Англии, выступил всецело на стороне рабовладельцев Юга. Он приветствовал их путч как протест и реакцию против революционных доктрин, которые господствовали в Европе со времени Французской революции 1789 года и которые оказали непосредственное влияние на Соединенные Штаты. «Фальшивая демократия Французской революции, — писал он, — является просто тем, что разрушило Союз путем уничтожения остатков английских традиций и институтов»[55]).

Актон обвинял северные штаты в стремлении установить абсолютную власть в стране посредством подчинения прав меньшинства воле большинства. Выдвигая принцип неприкосновенности прав меньшинства, Актон оправдывал рабовладельцев Юга как в отделении от Федерации, так и развязывании гражданской войны. В ней они, по его мнению, защищали политические идеи, лежащие в основе английского государственного строя: идеи свободы, самоуправления и ограниченной власти. Глубокое чувство отвращения вызывало у Актона политические требования аболиционистов. В них он видел угрозу господству частной собственности в целом. «Невозможно симпатизировать с религиозных позиций, — заявлял Актон, — категорическому запрещению рабства, как с политических позиций — мнениям аболиционистов. В этом, как и во всем другом, они представляют тот самый абстрактный, идеальный абсолютизм, который в равной мере враждебен католическому и английскому духу. Их демократическая система отравляет все, к чему она ни прикасается»[56]).

Откровенно контрреволюционная оценка политических причин гражданской войны в Америке, которая была сделана в памфлете Актона, нашла горячую поддержку у Гладстона, занимавшего в это время пост министра финансов в правительстве Пальмерстона. В письме к Актону от 5 мая 1861 года Гладстон дает самую высокую оценку его работе. «Я прочел вашу ценную и замечательную статью,— писал он в нем. — Я принимаю ее политические принципы, восхищаюсь ее научностью и богатством знания. Вся ее атмосфера, если можно так сказать, является той, которой я желал бы дышать. Она — истинно английская статья»[57]).

Линии, намеченные Актоном в памфлете 1861 года, были развиты в лекции «Гражданская война в Америке. Ее место в истории», которую он прочитал в Бриджнорте 18 января 1866 года. В лекции Актон представлял гражданскую войну как кульминационный пункт борьбы двух

[54]) Lord Acton. ECS, p. 452.
[55]) Ibid., p. 338.
[56]) Ibid., p. 334.
[57]) D. Mathew. Acton. The Formative Years. London. 1946, p. 174.

противоположных политических теорий, которые лежали в основе Американской конституции. Основателем одной из этих теорий был Джефферсон, основателем другой — Гамильтон. Первая настаивала на политической системе, имитирующей систему республиканской Франции, вторая — на системе, имитирующей систему конституционной монархии Англии. Первая основывалась на принципе народного суверенитета, вторая — на принципе личной свободы. Первая требовала гражданского равенства, вторая — уважения к существующим правам и привилегиям. Гражданская война, по мнению Актона, явилась закономерным результатом соперничества этих двух теорий, непримиримости их противоречий. «Теория, которая отождествляет свободу с отдельным правом, правом делать все, что в вашей власти,— писал он,— и теория, которая гарантирует свободу рядом неизменных прав и основывает ее на истинах, которые не открываются людьми и ими не опровергаются, не могут вместе быть исходными принципами в одной и той же конституции»[58]).

В гражданской войне, в изображении Актона, северные штаты являлись носителями первой теории, южные — второй. Северные штаты боролись за централизацию и абсолютную власть большинства. Южные — за самоуправление и ограниченную власть. Победа северных штатов в войне рассматривалась Актоном как крушение принципов личной свободы и справедливости.

Актон глубоко переживал поражение рабовладельцев Юга. В письме к генералу Ли, написанном в ноябре 1866 года, он выражал искреннее сочувствие мятежникам. «Вы сражались за нашу свободу, наш прогресс и нашу цивилизацию, — говорил он в нем. — Я оплакиваю ставку, потерянную при Ричмонде больше, чем радуюсь ставке, спасенной при Ватерлоо»[59]).

Свое отношение к национально-освободительному движению в Италии Актон выразил в двух работах: в «Кавуре», опубликованном в 1861 году, и в «Национальности», опубликованной в 1862 году. В этих работах Актон осудил идею национально-государственного единства, которую пытались претворить в жизнь (каждый по своему) Кавур и Маззини. О Кавуре Актон писал в первой работе: «Его политика имела своей целью величие государства, а не свободу народа. Он искал как можно больше силы, не противоречащей принципам монархической конституции, а не как можно больше свободы, совместимой с национальной независимостью»[60]). Актон приписывал Кавуру всевозможные политические преступления: нарушение договоров, уничтожение границ государства, объявление несправедливых войн, захват иностранных владений, угнетение церкви, коррупцию религии. Среди них самым злостным преступлением Кавура Актон считал ограничение власти церкви. Свобода, по его мнению, подразумевала независимость церкви. Там, где ее независимость ограничивалась, свобода неизбежно ликвидировалась.

Во второй работе Актон подверг резкой критике главное требование теории национально-государственного единства: совпадение границ государства и нации. Там, где политические и национальные границы совпадают, писал он, общество перестает двигаться вперед, и нации

---

[58]) Lord Acton. HES, p. 132.
[59]) G. Himmelfarb. Lord Acton. A Study in Conscience and Politics. London. 1952, p. 83.
[60]) Lord Acton. HES, p. 182.

становятся в положение людей, отказывающихся от всякого общения со своими собратьями — такими же людьми[61]).

Вслед за Эд. Берком Актон развивал теорию дуалистического патриотизма. По этой теории, имелись два типа патриотизма: национальный патриотизм и политический патриотизм. Первый основывался на естественной привязанности человека и относился к нации, второй основывался на моральном долге и относился к государству. Всячески восхваляя политический патриотизм, Актон резко порицал национальный патриотизм. Национальный патриотизм представлялся им как чувство, присущее скорее животному, чем цивилизованному человеку. «Человек, который предпочитает свою страну любому другому долгу, — заявлял он, — проявляет тот же самый дух, что и человек, который уступает все права государству. Оба они отрицают, что право выше власти»[62]).

Теории национально-государственного единства Актон противопоставлял теорию «национальной свободы». Главным требованием теории национальной свободы было сосуществование различных наций в одном и том же государстве. «Сосуществование различных наций в одном и том же государстве, — писал Актон, — является критерием, а также лучшей безопасностью его свободы»[63]). Самыми совершенными отсюда Актон считал те государства, которые включали в себя различные национальности без угнетения их. Такими государствами были, по его мнению, Британская и Австрийская империи.

Положение апологета и идеолога католицизма определяло отношение Актона ко всем политическим проблемам современности. Политическое кредо Актона в ранний период носило откровенно выраженный антиреволюционный (теория органической реформы), антилиберальный (теория политической миссии церкви как миссии «свободы»), антидемократический («увеличение числа тех, кто разделяет власть, делает власть еще более непреодолимой») и антисоциалистический характер. Свобода, которую защищал Актон, не требовала уничтожения сословного неравенства, классового и национального гнета. Напротив, она предполагала их. Гражданское равенство было полностью враждебно понятию свободы у Актона.

В 1870 году начался новый период в жизни Актона. Характерной чертой этого периода являлось специфически моральное истолкование коренных принципов политики. С абстрактно-моральной позиции Актон отвергал представление политики как дела силы и как дела целесообразности. Его требованием было рассмотрение ее, как состоящей из «научных истин и этических обязанностей», т. е. как «дела принципа и совести». В прямую противоположность своей ранней оценке, Актон сейчас дает резко отрицательную характеристику Эдмунду Берку. Причиной являлась трактовка Берком политических вопросов «экспериментально, бэконовскими методами». Эмпирический подход к политике, отказ от признания действия в ней моральных принципов, присущий Берку и его современным последователям, Актон считал закономерным следствием отсутствия у них глубокой религиозной веры. «Так как для него нет никаких прав бога, — писал он о своем и Гладстона близком друге Джоне Морли,— нет и никаких прав человека — следствие на земле, вытекающее из обязанности на небе»[64]). Бог, по мнению Актона, санкционировал святость моральных принципов в обществе. Отрицание

[61]) Lord Acton. EFP I, p. 186.
[62]) Ibid., p. 189.
[63]) Ibid., p. 185.
[64]) J. Morley. Recollections. London. 1924. Vol. I, p. 232.

или сомнение в существовании бога неизбежно вело к падению общественной морали. «Если не было ничего достоверного в теологии, — не было никакой достоверности в этике и никакой моральной обязанности. Воля человека, а не воля бога была бы правилом жизни; каждый человек и каждая группа людей имели право делать то, на что они имели средства»[65]).

Моральные правила Актон считал едиными как для простых людей, так и для людей, находящихся у власти. Он тяжело переживал речь, произнесенную Гладстоном в парламенте по случаю смерти Дизраэли. В этой речи Гладстон, будучи в душе очень низкого мнения о Дизраэли, отозвался о последнем в самых лестных выражениях. Актон, хорошо знавший истинное мнение Гладстона, осуждал его речь, рассматривая ее как предательство моральных принципов.

Конечное моральное суждение о людях, партиях и политических системах Актон требовал выносить по «наихудшему действию». Таким наихудшим действием в политической жизни Актон считал насилие. Он не проводил разграничение между деспотическим насилием и революционным насилием. С моральной точки зрения, революционное насилие было для него равнозначно деспотическому насилию. Обе формы насилия осуждались им как принципы абсолютного правления. Выдвижение насилия Актоном в качестве универсального критерия моральной оценки имело целью осудить одновременно тиранические и революционные методы правления. Папы в средние века, жестоко расправлявшиеся посредством инквизиции со всеми противниками их абсолютной власти, были в глазах Актона такими же моральными преступниками, как и якобинцы, вынужденные применить к врагам революции революционный террор, чтобы сохранить завоевания республики. Тем и другим Актон вменял «вину крови».

Важное место в концепции моральной политики Актона занимала проблема власти. Подобно всем политическим проблемам, проблема власти истолковывалась Актоном с абстрактно-метафизических позиций. Власть рассматривалась им не в определенных общественных отношениях, не как средство установления и закрепления господства определенного класса, но как несвязанная ни с какой определенной формой классового господства, неизменяющаяся с изменением социально-экономических отношений в обществе и действующая во все времена с одинаковыми последствиями сила. Моральное действие этой силы на людей, в руках которых она находилась, Актон расценивал как разрушительное. Разрушительные последствия власти, по его мнению, возрастали по мере того, как возрастала власть. «Власть имеет тенденцию коррумпировать, — писал он в 1887 году М. Крайтону, — абсолютная власть коррумпирует абсолютно»[66]). Вся политическая история поэтому представлялась Актону как сделанная «грешными» руками, а «великие» люди были в его глазах почти всегда «плохими» людьми. Свое отвращение к макиавеллевскому обоготворению власти в политике Актон выразил в одной из своих записей. В этой записи он говорил: «Среди всех причин, которые ведут к деградации и деморализации людей, власть является самой постоянной и самой активной»[67]).

Значительное изменение после 1870 года произошло в отношении Актона к либерализму. В ранний период Актон считал унизительным

[65]) Lord Acton. EFP I, pp. 136—137.

[66]) Ibid., p. 364. В другом месте Актон записывает: «Власть; чем больше она, тем больше она деморализует». H. Butterfield. Man on his Past. Cambridge. 1955, p. 62n.

[67]) L. Kochan, op. cit., p. 163.

для католиков искать поддержки у либералов. Политическое учение либерализма рассматривалось им как непримиримо враждебное свободе. В поздний период Актон описывает либерализм как единственную политическую теорию, основанную на принципах свободы и морали. «Этический элемент в либерализме, — гласит одна из его записей. — Идентичность либерализма и морали. Объект либерализма является не политическим, не национальным и не духовным, а моральным»[68]): Актон был непримиримым в своем этическом истолковании либерализма. Об этом можно судить из его письма к М. Крайтону от 5 апреля 1887 года. В нем он, католик, обвиняет протестанта за слишком преувеличенное представление добродетелей позднесредневекового папства[69]).

Важное место в кругу политических интересов Актона в поздний период продолжала занимать проблема свободы. Как принцип Актон ставил свободу выше всех других политических принципов общества. «Свобода, — говорил он в лекции, прочитанной в 1877 году в Бриджнорте, — является не средством к более высокой политической цели. Она сама является высочайшей политической целью»[70]). Истолкование свободы Актоном не претерпевает коренных изменений. Свобода, как он ее понимал, носила крайне индивидуалистический, характер. Утверждение личных прав предполагалось в ней возможным только в противовес общим интересам. «Под свободой я подразумеваю,— гарантию, что каждый человек будет защищен в совершении того, что он считает своим долгом, от влияния власти и большинства, обычая и мнения»[71]).

По этому определению свободы, государство не могло предписывать обязанности и проводить разграничение между добром и злом за пределами границ, касающихся его благополучия. Оно могло это делать только в своей непосредственной сфере[72]). Единственным руководителем человека в жизни Актон считал совесть. Совесть рассматривалась им как «слышимый голос бога», который направляет человека на путь истины. Предоставление свободы совести поэтому было, по мнению Актона, высшим проявлением свободы. «Свобода совести является первой из свобод,— потому что она является свободой избежать грех»[73]). Идею совести Актон истолковывал как революционную идею. Тезисом и антитезисом в ней были совесть и власть, личность и общество. «Идея совести. Человек имеет душу. Общество не имеет. Поэтому она является высочайшей целью.— Так как совесть есть голос бога... власть является волей человека... на этом я основываю революционную идею»[74]). Примат божественного над земным, совести над властью, личности над обществом — в этом заключалась суть «революционной» идеи Актона. Эта идея была безнадежно ограниченной, т. к. она игнорировала социально-экономические проблемы общества и касалась единственно

---

[68]) H. Butterfield. Journal of Lord Acton, p. 201n.

[69]) «Вопрос не в том,— писал он, обращаясь к М. Крайтону,— нравится ли Вам инквизиция или нет... но в том, можете ли Вы без упрека исторической точности говорить о позднесредневековом папстве, как терпимом и просвещенным. Относительно того, что Вы говорите по этому вопросу, я поражаюсь точно также, как я поразился бы, прочитав, что французские террористы были терпимыми и просвещенными и не несут вины за пролитую кровь». Lord Acton. EFP I, p. 361.

[70]) Lord Acton. EFP II, p. 74.

[71]) Ibid., p. 55.

[72]) Записи Актона гласят: «Свобода дает нам возможность выполнять наш долг беспрепятственно со стороны государства». «Долгу не учит государство». «Мы не узнаем наш долг от государства. Люди античности узнавали». H. Butterfield. Journal of Lord Acton, p. 201 n.

[73]) H. Butterfield. Lord Acton, p. 11.

[74]) J. S. Nurser. The Religious Conscience in Lord Acton's Political Thought.— «Journal of the History of Ideas». Jan.— Mar. 1961. Vol. XXII. N 1, p. 61.

проблемы свободы совести. Своим острием она была направлена против действительной революционной борьбы.

К концу жизни Актон изменяет свое непримиримое отношение к демократии. В письмах к дочери Гладстона, написанных в начале 80-х годов, он объявляет себя сторонником расширения политических прав, в частности избирательного права. «Справедливость требовала, — писал Актон, — чтобы собственность — не отказалась, — но поделилась своей верховной властью в политике»[75]).

В этой эволюции Актона немалую роль, очевидно, сыграло влияние Гладстона. Актон верил в политическую «мудрость» Гладстона и был спокоен, когда тот находился у государственного руля. Тем не менее, гипертрофированный страх перед демократией у Актона не исчез. Это наглядно видно из инцидента с отставкой Гладстона в 1885 году[76]).

Политическое кредо Актона в поздний период, как и в ранний, носило откровенно выраженный антисоциалистический характер. Актон был знаком с некоторыми трудами К. Маркса и Ф. Энгельса. В «Капитале», который он назвал «кораном новых социалистов», Актон отмечает страницы, описывающие низкий уровень жизни английских сельскохозяйственных рабочих. Он рекомендовал «Капитал» К. Маркса Гладстону как «замечательную книгу». Об Энгельсе, которого он характеризует как «лучшего писателя материалистических социалистов», Актон замечает, что он «сделал известными ошибки и ужасы нашей фабричной системы»[77]). Однако дальше частичного признания справедливости критики К. Маркса и Ф. Энгельса капиталистической системы Актон не шел. Революционные выводы марксизма были полностью чужды взглядам Актона. Полагая, что противоречия капитализма можно урегулировать научными методами, не покушаясь на сам принцип частной собственности, Актон мечтал о том времени, когда буржуазная политическая экономия достигнет уровня науки. Как только это произойдет, писал он, как только «сражение между экономистами и социалистами закончится, злая сила, которую социализм вносит в демократию, исчезнет»[78]).

**
*

Рассмотрение религиозно-политического мировоззрения Актона ставило своей целью показать сложный и противоречивый характер, который оно носило. Актон начал свою общественную деятельность в то время, когда в английской римско-католической церкви господствовал

---

[75]) G. Himmelfarb. Lord Acton, p. 174.

[76]) В 1884 году Гладстон провел избирательную реформу. Общее число избирателей несколько увеличилось. Однако, неудачи во внешней политике привели его в начале следующего года к мысли об отставке. Это решение вызвало бурный протест со стороны Актона. Сильно преувеличив значимость проведенной избирательной реформы, он испугался за судьбу буржуазного государства в целом. В письме к Гладстону от 2 февраля 1885 года Актон говорит, что его отставка в тот момент, когда новый парламент только начинает свою работу, когда тори перепуганы, а народ возбужден, совершенно несвоевременна. Она могла только увеличить «опасность критического перехода». В национальных интересах Англии, писал Актон», уменьшить внешние признаки изменения, соединить мостом очевидную пропасть и поддержать традиционный характер государства. Это мог сделать, по его мнению, только Гладстон. Вы один вызываете уверенность, продолжал Актон, что все, что делается для широких масс, делается с полным сознанием экономической ответственности. В своем ответном послании от 11 февраля Гладстон поспешил успокоить своего друга, что никакого кризиса в конституционной истории Англии на горизонте нет. John Morley, op. cit., vol. II, pp 309—310.

[77]) G. Himmelfarb. Lord Acton, pp. 181—182.

[78]) Lord Acton. EFP I, p. 164.

ультрамонтанский дух, а в английской политике — либеральный дух. Программа реорганизации католицизма на «научно»-исторической основе лишила Актона возможности занять видное место в церкви. Но и в политике он не сыграл никакой заметной роли.

Политическое учение, отстаивавшееся Актоном в ранний период, было непримиримо враждебно современному либеральному, демократическому и социалистическому учениям. Характерными его чертами являлись взгляд на государство как на часть человеческой природы; идея органической связи религии и свободы; истолкование свободы как свободы совести; требование разделения суверенной власти государства; представление политической миссии церкви как миссии свободы; защита привилегий аристократии; рассмотрение частной собственности как первого элемента свободы; высокая оценка политических систем Британской и Австрийской империй.

1870 год явился важной вехой в жизни Актона. Католическая церковь, которую Актон ценил, по его собственным словам, дороже своей жизни, лишила его покровительства. Хотя формально и не отлученный подобно своему учителю Дёллингеру, Актон стал для нее «блудным» сыном. Неудача на поприще церковной реформы сделала Актона моралистом. В последующий период он примиряется с либералами. Однако последовательным сторонником либерализма Актон никогда не стал. В современном либерализме его отталкивал религиозный индифферентизм. «Христианство — лишь слово», — так он характеризует одного из апостолов английского либерализма середины XIX века, Дж. Ст. Милля.

Современные буржуазные историки, особенно англо-американские, проявляют живой интерес к идейно-политическому наследию Актона. В их изображении, Актон предстает как настоящий гуманист, как величайший борец за свободу и истину. Высокая оценка религиозно-политических взглядов Актона в современной буржуазной историографии связана с особой политической ситуацией, сложившейся в западно-европейских странах и в Америке после второй мировой войны. Послевоенный период характеризуется ростом скептицизма и пессимизма у представителей буржуазного общества. Две мировые войны — одна разрушительнее другой — зверства фашизма, атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки, а также обострение социально-экономических противоречий капитализма и переход целого ряда стран на путь социализма — все эти события XX века вызвали в среде буржуазного общества идеологический разброд и шатания.

Перед буржуазными идеологами встала задача оживить буржуазное общество новыми идеями и новыми авторитетами и предотвратить, по выражению Г. Химмелфарб, одного из исследователей взглядов Актона, его «погружение в моральную анархию». Идеи Актона о том, что прогресс не является непрерывным, что демократия, если она не ограничена, враждебна свободе, что национально-государственное единство представляет угрозу индивидуальной свободе, что власть, в чьих руках она бы ни находилась — короля, папы или парламента — имеет те же самые коррупгирующие тенденции, что свобода основана на органическом росте и не может быть ни завоевана, ни дарована и ни реализована через принуждение,— эти идеи Актона наиболее созвучны современным настроениям в буржуазном обществе. Неудивительно поэтому, что буржуазные исследователи взглядов Актона провозглашают его современником скорее XX, чем XIX века.

В настоящее время идейно-политическое наследие Актона используется в двух прямо противоположных направлениях, что отражает противоречивый характер идей Актона. Одно из них — традиционно-либе-

ральное. Выдвигая Актона на передний план, сторонники этого направления преследуют цель подготовить общественное мнение как против революции, так и против реакции. «В наше время, когда вера в свободу (особенно в Европе) стала объектом цинизма, — писал Ганс Кон, — жизнь и мысль Актона свидетельствуют о ее силе»[79]).

Другое направление — нео-консервативное. Прикрываясь авторитетом Актона, сторонники этого направления ведут широкое наступление на идеологические основы либерализма. Либеральная вера в добрую природу человека подвергается ими резкой критике. События XX века, по их мнению, свидетельствуют не о доброй природе человека, а о его внутренней порочности. Сторонники этого направления призывают прислушаться к учению церкви о первородном грехе человека. Они требуют ликвидации либерального предубеждения против религии и принятия взгляда Актона на религию как основу свободы. «В наше время, — говорил Г. Баттерфилд, — более верным будет доказывать (вместе с Актоном), что преследование исходит не из христианства, как такового, а из человеческого элемента, примешанного к нему,— что церковь или ее агенты, возможно, заблуждались, но что принципы самой религии были семенами свободы»[80]).

Одной из важных причин особого интереса, проявляемого после второй мировой войны к идейно-политическому наследию Актона американскими буржуазными историками, является падение изоляционистской политики США, рост их непосредственного вмешательства в дела европейских стран и претензия на роль гегемона Европы. Актон выдвигается американской буржуазной историографией на передний план как один из тех европейских историков XIX века, кто высоко оценивал политическую структуру США, видел в них во многом образец будущего общества.

---

[79]) H. Kohn. Reflections on Modern History. The Historian and Human Responsibility. Princeton. 1963, p. 61.

[80]) H. Butterfield. Reflections on Religion and Modern Individualism.—«Journal of the History of Ideas». Jan.—Mar. 1961. Vol. XXII, N 1, p. 35.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

О МЕТОДЕ РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ МЕДИЕВИСТИКИ (СЕРЕДИНА 70-х г. XIX в. — НАЧАЛО 900-х гг.)

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

Характерной чертой созданной в русской либеральной историографии последней четверти XIX в. концепции западноевропейского феодализма является выдвижение на передний план сферы социально-экономических отношений. В трудах П. Г. Виноградова, М. М. Ковалевского, Н. И. Кареева, И. В. Лучицкого, Д. М. Петрушевского, А. Н. Савина, В. К. Пискорского главным объектом исследования стала так называемая социальная сторона феодализма, под которой понимались базировавшиеся на натуральном хозяйстве, определенным образом сложившиеся отношения между феодалами и крестьянами[1]). Многовековая история европейского крестьянства от его закрепощения в раннее средневековье до судеб в эпоху перехода к капитализму составила своеобразный стержень, вокруг которого строилась вся их концепция западноевропейского феодализма. Сосредоточение научных интересов русских либеральных медиевистов в сфере социально-экономических отношений, изучение которых рассматривалось как главная задача исторической науки, обусловило и особенности их исторического метода.

Формирование метода русской либеральной медиевистики падает на период существенных сдвигов, происходивших в области буржуазной исторической мысли. В исторической науке вследствие совершавшихся в европейском обществе XIX в. огромных экономических, социальных и идеологических перемен возникает направление, ставившее своей первоочередной задачей исследование социальной стороны общественного процесса, неминуемым следствием чего был пересмотр определенной частью буржуазных ученых воззрений относительно путей и способов исторического познания.

На смену традиционным в буржуазной науке XIX в. представлениям о методе исторического исследования, получившим наиболее полное воплощение в теоретических взглядах и историографической практике Ранке[2]), пришло признание необходимости не только изучения социально-экономической стороны исторического процесса, но и, в той или иной мере, учета этой последней при рассмотрении других его сторон. В западноевропейской буржуазной историографии положение о зависимости

[1]) См., в особенности, Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. I, СПб, 1892, стр. 46.

[2]) О методе Ранке см. Н. И. Смоленский. О некоторых теоретико-методологических принципах исторической концепции Леопольда фон Ранке.— Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», Томск, 1963; его же. Леопольд фон Ранке. Методология и методика исторического исследования.— Там же, вып. 4, Томск, 1966.

социально-политических отношений от экономических условий жизни общества получило наиболее полное выражение в трудах Торольда Роджерса, предпринявшего едва ли ни единственную в буржуазной науке Запада попытку рассмотреть под этим углом зрения ключевые проблемы истории Англии в средние века и новое время[3]).

Аналогичные взгляды распространяются в последней четверти XIX в. в русской либеральной медиевистике, реализуясь в признании значения для историка изучения экономических отношений и их места в общественном процессе. Нередко это признание, правда, выражалось в форме постулирования необходимости первоочередного изучения сферы экономики в виду ее мнимой элементарности[4]), что, конечно, значительно снижает его методологическую ценность. Однако даже в таком виде оно играло плодотворную роль в развитии буржуазной исторической науки, способствуя углублению у известной части ее представителей понимания действительного характера связей, существующих в объективной исторической реальности, а следовательно и метода ее познания.

Проблема метода в буржуазной историографии приобретает особенный интерес вследствие того, что именно в этой области преимущественно реализовалось влияние материалистического понимания истории на буржуазную мысль. Отвергая в силу понятных причин материалистическую концепцию общественного развития и, в особенности, следовавшие из нее революционные выводы, ведя борьбу с марксистским учением об общественно-экономических формациях и материалистической диалектикой, некоторые буржуазные ученые в то же время испытали определеннсе влияние марксизма в самом подходе к изучению прошлого, в методе осмысления многообразных связей, реально существовавших в исторической действительности. Конечно, это ни в коей мере не означало усвоения ими материалистического метода, но уже сама постановка вопроса о необходимости рассматривать развитие общества под углом зрения эволюции его экономического строя, при всей ее непоследовательности и ограниченности в буржуазной науке, способствовала обогащению ее исторического метода.

Существенно важным при этом является то обстоятельство, что в отличие от своих зарубежных коллег, как правило, игнорировавших марксизм или яростно отвергавших всякое его позитивное значение для развития исторической мысли, многие русские либеральные медиевисты прямо связывали с Марксом распространение представлений о необходимости изучения социально-экономических отношений как первооче-

[3]) См., в особенности, его «The economic interpretation of history». Обращает на себя внимание уже самое название этой книги, выросшей из курса лекций, прочитанных в Оксфордском университете. В экономической интерпретации истории Роджерс усматривал единственный путь создания подлинной исторической науки. Характерным образом свою книгу он начинает с резкой критики современной ему историографии. Он подчеркивает, что почти вся она игнорирует влияние экономических фактов на социальную жизнь, вследствие чего история становится простым беспорядочным и несовершенным словарем. В противовес этому английский ученый указывает на необходимость изучения экономической обусловленности политических событий и социальных движений (J. E. T. Rogers. The economic interpretation of history. Vol. I, 4. Edition, London, 1898, p. 1—2). Об исторических взглядах Роджерса см. Е. В. Гутнова, Т. Роджерс и возникновение историко-экономического направления в английской медиевистике второй половины XIX в. (60—90-е гг.) — Сб. «Средние века», вып. XVII, М., 1960.

[4]) Особенно отчетливо этот взгляд выразил Петрушевский, провозгласивший, что «только начав с более простого, только выяснив сущность простейших элементов и элементарнейших процессов, можно надеяться понять сложные продукты человеческого общежития, какими являются государство, религия, право мораль и т. п.» (см. его «Новое исследование о происхождении феодального строя».— ЖМНП, 1892, № 12, стр. 311).

редной задачи исторической науки, подчеркивая научную плодотворность такой постановки вопроса. Даже Виноградов, избегавший формулировать свое отношение к марксизму, счел необходимым, характеризуя методологию Ковалевского, подчеркнуть, что такие важные черты ее, как преимущественное внимание к изучению столкновения и взаимодействия экономических сил и интересов, понимание идейной стороны жизни общества как существенного, но производного процесса, являются результатом верности ученого «общей тенденции исторического материализма, пошедшего от Маркса»[5]). Не менее показательно, что такой воинствующий противник материалистического понимания истории и его русских приверженцев, каким был Кареев, называет Маркса в числе мыслителей, оказавших наибольшее влияние на социологическую мысль второй половины XIX в.[6]). С этих позиций мы и попытаемся рассмотреть некоторые особенности исторического метода русской либеральной медиевистики.

I

Одним из центральных методологических принципов, утвердившихся в русской либеральной медиевистике, явилось положение о зависимости социального строя и политической организации общества от господствующих в этом обществе экономических отношений, в первую очередь отношений собственности. Этот принцип неоднократно выражался как в виде теоретического постулата, так и в историографической практике либеральных ученых.

По-видимому, не всегда его распространение в русской науке было связано с непосредственным влиянием материалистической теории исторического процесса. В частности, у нас нет достаточных оснований утверждать это применительно к Виноградову. Между тем, уже анализ его «Происхождения феодальных отношений в Лангобардской Италии» позволяет сделать вывод о стремлении ученого связать изменения, совершавшиеся в социальной и политической организации лангобардского общества после завоевания Италии с эволюцией аграрных отношений у лангобардов. Рассматривая в своей книге процесс феодализации лангобардского общества, Виноградов обращает серьезное внимание на его экономические причины, которые усматриваются в решающих сдвигах, совершавшихся в поземельном строе этого общества. Он ставит перед собой задачу выяснить, как «перемены в характере земледелия и его распределении подкапывают общественный и политический строй, основанный на преобладании многочисленного класса свободных людей»[7]). Рассматривая под этим углом зрения судьбы лангобардов после их утверждения в Италии, Виноградов прежде всего указывает на значение возникновения крупного королевского и герцогского землевладения. По его словам, политический строй в Лангобардском государстве основывался, главным образом, на земельной собственности короля и герцогов, а также на их земельных пожалованиях своим дружинникам[8]). Виноградов подчеркивает, что неравенство в поземельном отношении становится основой социального неравенства, земельная собственность превращается в мерило ценности личности, а ее распределение делается

---

[5]) П. Г. Виноградов. Максим Максимович Ковалевский. Некролог. Оттиск из «Известий Императорской академии наук», П., 1916, стр. 1165.

[6]) Н. И. Кареев. Введение в изучение социологии. СПб, 1897, стр. 285.

[7]) П. Г. Виноградов. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии. СПб, 1880, стр. 291.

[8]) Там же, стр. 124.

тем экономическим фундаментом, на котором вырастает весь социальный строй и вся политическая организация лангобардского общества[9]).

Сходный ход мыслей мы можем проследить и в его курсе лекций по истории средних веков[10]). Здесь же встречаются и другие интересные мысли, свидетельствующие о том значении, какое придавал Виноградов материальным условиям жизни общества и эволюции его политической организации и социального строя. Так, он подчеркивает главное значение «постепенной эволюции материального строя» для перехода от рабства к крепостничеству[11]). Рассматривая социальный строй Англии по данным переписи 1086 г., он подчеркивает его радикальное изменение «сравнительно с прежними условиями ... главным образом вследствие хозяйственных потребностей»[12]). Представляют интерес рассуждения Виноградова о самом характере средневекового общества. Для него история средних веков неразрывно связана с господством натурального хозяйства. В этом обстоятельстве он ищет ключ к пониманию не только особенностей хозяйственной жизни средневекового общества, но и — опосредствованно — его политической организации[13]).

Однако значение подобных высказываний не следует преувеличивать. Речь идет только о том, что в отдельных случаях, чаще всего относящихся к раннему средневековью, Виноградов считал не только возможным, но и необходимым объяснять социально-политическую организацию общества из условий его экономической жизни, отнюдь не проводя последовательно эту точку зрения в историческом исследовании. Характерно, что чем далее он уходил от раннего средневековья, тем реже становились его попытки экономической интерпретации исторических явлений. Напротив, сами социально-экономические отношения все чаще объясняются факторами политического порядка, и прежде всего — политикой государственной власти.

Полностью отвлекается Виноградов от экономических отношений при анализе особенностей социально-политического развития европейских государств в средние века. Поставив в своем лекционном курсе по истории средних веков цель, проследить специфику взаимоотношений между «обществом и государством» в каждом из трех крупнейших западноевропейских государств — Франции, Англии и Германии — он рассматривает историю этих стран исключительно под углом зрения отношений между сословиями и королевской властью. Результаты такого подхода особенно рельефно выступают в его анализе политического развития средневековой Германии. В течение средних веков в Германии не сложилось жизнеспособное национальное государство потому, утверждает Виноградов, что «Германия была совершенно не подготовлена в национальном отношении для политической жизни», а это последнее заключалось, по его мнению, в том, что «нация искала себе оснований не у себя дома, а вне»[14]). Очевидно, что такое объяснение сложнейшего явления европейской средневековой истории не может считаться удовлетворительным даже с точки зрения общего уровня, достигнутого современной Виноградову исторической наукой.

Все сказанное позволяет утверждать, что к вопросу о значении экономических отношений в жизни общества Виноградов подходил всецело

---

[9]) Там же, стр. 165—167.
[10]) П. Г. Виноградов. История средних веков, Изд. 2-е, М., 1899—1900, стр. 146—149.
[11]) Там же, стр. 141.
[12]) Там же. Добавление, стр. 24.
[13]) Там же, стр. 176.
[14]) Там же. Добавление, стр. 178.

с позиций эклектической теории равноправных факторов. Подобно многим другим современным ему зарубежным ученым, занимавшимся аналогичными сюжетами, он охотно обращался к экономическому истолкованию исторических явлений в тех случаях, когда имел дело с элементарными общественными формами. Чем более исторический процесс усложнялся, тем решительнее выступают у него на первый план факторы иного порядка, прежде всего политический[15]).

Более определенно представляется возможным говорить об отражении марксизма в методологических взглядах некоторых других либеральных медиевистов, которые в отличие от Виноградова пытались провести принцип экономической интерпретации социально-политических явлений более или менее последовательно во всей своей историографической практике, и, что особенно важно, поднимались до признания общеметодологического значения этого принципа.

В одной из своих работ Ковалевский прямо писал, что в преподавательской деятельности он «не довольствовался одним описанием политических форм, их генезиса, развития и вырождения», а «старался найти всему этому основы в изменении социального строя», характерным образом прибавляя, что в таком подходе сказывался «ученик Карла Маркса»[16]). Заслуживает внимание сама постановка вопроса, хотя Ковалевский тут же неправомерно возводит принцип социального обоснования политических учреждений в такой же степени к марксизму, как и к позитивизму: ученый отчетливо осознает связь между марксизмом и своими собственными методологическими воззрениями.

Конечно, Ковалевский не был учеником Маркса в обычном смысле этого слова. Тем не менее, влияние материалистической теории исторического процесса благотворно отразилось на его представлениях о движущих силах общественного развития, способствуя, в частности, известному преодолению ограниченности его исходной посылки о решающей роли роста народонаселения в истории. Как известно, влияние экономической эволюции на социальную структуру общества, социальных отношений — на его политический строй рассматривались Ковалевским как вторичное и третичное явления, уходящие корнями к своему первоисточнику — происходящим в обществе дематографическим изменениям. Вместе с тем, сама его постановка вопроса о роли дематографического фактора в истории оказывалась настолько широкой, что допускала признание самостоятельного влияния экономического развития общества на сферу социально-политических отношений. В этом смысле прав Б. Г. Сафронов, когда он выступает против распространенного как в русской дореволюционной, так и в советской литературе взгляда о том, что Ковалевский принадлежал к числу тех ученых, кто видел в дематографическом факторе главную причину развития общества. Он справедливо указывает, что Ковалевский приписывал приросту населения роль главного фактора экономического развития, а не эволюции общества в це-

---

[15]) Естественно, сказанное выше не снимает вопроса о возможности влияния марксизма на методологические взгляды Виноградова, влияния опосредствованного или, может быть, не всегда отчетливо сознаваемого самим автором. Тем более, что отдельные высказывания ученого прямо наталкивают на мысль, что ему в его историографической практике не были чужды некоторые положения материалистического понимания истории. Так, в частности, обстоит дело с его пониманием общественных классов. Он подчеркивает, что классы в своей основе вытекают «из хозяйственных факторов, из распределения и организации труда» (История средних веков, стр. 35). Но, конечно, такого рода высказывания еще не дают основания для положительного решения занимающего нас вопроса.

[16]) М. М. Ковалевский. Мое научное и литературное скитальчество.—«Русская мысль», 1895, № 1, стр. 67.

лом[17]). Подчеркивая решающее значение роста народонаселения в развитии производства, Ковалевский вместе с тем выдвигает и другую сторону вопроса — определяющее влияние изменений в сфере производства на социально-политическую структуру общества. Вот что писал по этому поводу сам ученый. Указывая на рост народонаселения и его плотности как на важнейший фактор эволюции форм народного хозяйства, он продолжает: «Формою же производства обусловливаются и порядок владения, и отношения свободы и зависимости отдельных групп и индивидов»[18]).

В самых разных своих работах Ковалевский подчеркивал экономическую обусловленность социальной организации общества. Уже в одной из первых своих книг, формулируя ее цель, он писал: «Автор поставил себе целью проследить влияние, оказываемое экономическим прогрессом и обусловливаемым им развитием сословий и классов, на организацию общественных и государственных учреждений»[19]). Правда, эта авторская декларация далеко не всегда находила удовлетворительное воплощение в историографической практике ученого. Тем не менее, нельзя не отметить настойчивое стремление Ковалевского применить высказанный здесь принцип к характеристике различных исторических эпох.

Особенно всестороннее освещение этот принцип получил в работах Ковалевского, посвященных истории первобытного общества. В способе добывания средств к жизни ученый видит ключ к пониманию характера общественных отношений в первобытную эпоху. Он подвергает решительной критике теорию об извечности частной собственности, подчеркивая, что господство коллективной собственности («коммунистических отношений», как он часто писал в соответствии с терминологией, принятой в современной ему науке) в первобытную эпоху коренится в самом характере производства, является единственно возможным при существовавших тогда экономических отношениях[20]). Ковалевский подчеркивает первоначально коллективный характер не только недвижимой, но и движимой собственности, выводя его из условий добывания первобытными племенами средств к существованию[21]). Хотя взгляды Ковалевского и не отличались последовательностью[22]), нельзя не отметить глу-

[17]) Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог. М., 1960, стр. 195—200.

[18]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства, т. I, М., 1898, стр. VII—VIII.

[19]) М. М. Ковалевский. История полицейской администрации (полиция безопасности) и полицейского суда в английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III. К вопросу о возникновении местного самоуправления в Англии. Прага, 1877, стр. III—IV.

[20]) См. М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М., 1939, стр. 57—58.

[21]) Там же, стр. 62. Аналогичный ход мыслей развивается ученым и в других его работах, где рассматривается характер первобытных общественных отношений. Укажем в этой связи на первые две лекции его «Развития народного хозяйства в Западной Европе» и, в особенности, на «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения».

[22]) В ряде случаев он допускал довольно существенные отступления от провозглашаемых им же самим принципов. Так, например, обстоит дело с его трактовкой причин возникновения частной собственности. Правильно указывая, что «приложение индивидуального труда приводит, естественно, к частному присвоению» («Очерк происхождения и развития семьи и собственности», стр. 59), он, тем не менее, считает главной причиной развития частной собственности «пробуждение духа частной инициативы, проявляющегося в таких фактах как разведение скота; насаждение плодовых деревьев, постройка частных жилищ и т. п.» (там же, стр. 62). В другой своей работе, рассматривая материнский род, Ковалевский полностью игнорирует экономические условия, вызвавшие его к жизни, и исходит в своих выводах исключительно из отношений родства, что и обусловило его принципиальные ошибки в оценке характера этого исторического периода — отрицание власти женщины в роде и т. п. (см. главу III книги «Первобытное право», вып. I, М., 1886).

бину самой его постановки вопроса об определяющем влиянии формы производства материальных благ на характер социальной организации общества. Мы имеем здесь дело не просто с рядом более или менее удачных эмпирических наблюдений, а с четко сформулированным теоретическим принципом, действие которого отнюдь не ограничивается первобытной эпохой. С большим или меньшим успехом ученый стремится руководствоваться им и при изучении социального строя других периодов в истории человеческого общества.

К числу наиболее удачных в этом плане попыток принадлежит его подход к исследованию социальных отношений в Англии XV—XVII вв. Избрав предметом своей докторской диссертации общественный строй Англии в позднее средневековье, Ковалевский буквально на первой же странице своей книги провозгласил необходимость исследования экономической структуры английского общества, в первую очередь отношений собственности, как обязательного условия выяснения характера социальных отношений в обществе. Выражая свое кредо, он писал: «Историку, который желал бы представить картину внутреннего быта той или другой страны в ту или другую эпоху ее существования, необходимо остановиться прежде всего на вопросе о распределении в ней недвижимой собственности. Эта последняя всегда являлась и доселе является одним из материальных фундаментов всякого господства, общественного и политического: от сосредоточения ее в руках того или другого сословия зависело и зависит распадение общества на влиятельные и невлиятельные классы»[23]). Наряду с этим Ковалевский подчеркивает значение движимой собственности, как второго по значению фактора, определявшего положение человека в обществе, значение которого все возрастает по мере перехода от простейших видов производства к более сложным[24]).

Конечно, современный читатель найдет немало пробелов, неточностей и даже грубых ошибок в нарисованной Ковалевским картине социальной эволюции в средневековой Англии. Укажем, в частности, на несомненную идеализацию ученым средневекового сословного строя[25]). Но остается непоколебленным его главный вывод о том, что социальный строй средних веков характеризовался преобладанием дворянства и его, по выражению Ковалевского, alter ego — высшего духовенства над остальными сословиями вследствие причин экономических: сосредоточения в его руках почти всей недвижимой собственности и тех своеобразных, прежде всего имущественных, связей, которые ставили в прямую зависимость от него не только крепостное, но и свободное население сел и городов[26]). В связи с этим заслуживает внимание сама структура его книги об общественном строе позднесредневековой Англии. Свое исследование Ковалевский начинает с изучения распределения недвижимой собственности, уделяя при этом особое место системе поземельных держаний и ее эволюции в позднее средневековье, переходит затем к выяснению распределения движимой собственности и уже на основании всего этого рассматривает социальную организацию английского общества, взаимоотношения сословий и классов между собою. Вряд ли может вызывать сомнение плодотворность такого метода изучения социальной истории общества.

---

[23]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в конце средних веков, М., 1880, стр. I.

[24]) Там же, стр. 150—151.

[25]) См. М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии, т. I, М., 1895, гл. II, в особенности, стр. 60—62, 116.

[26]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в конце средних веков, стр. 393—394.

Важную роль в изменении социальной структуры английского общества Ковалевский отводит огораживаниям, которые он определяет как «процесс векового обезземеленья всего населения в интересах незначительного меньшинства»[27]). Он подчеркивает, что социальным результатом этого процесса, начавшегося в конце XV в., явился «целый переворот в характере прежних отношений между различными общественными слоями»[28]).

С аналогичных позиций подходит Ковалевский к рассмотрению социальных последствий английской революции середины XVII в. Указывая, что социальный быт Англии революционной эпохи почти не затронут многочисленными ее историками, он подчеркивает, что без решения вопроса о судьбах крестьянства и рабочего люда, об отношении народа к земле и капитала к труду, о том, в какой мере насущнейшие интересы широких слоев народа были затронуты революционным переворотом,— без решения всех этих вопросов немыслимо правильное понимание характера первой английской революции[29]). Четко формулируя цель своей интересно задуманной статьи об общественном строе Англии в годы республики, Ковалевский видит ее в том, чтобы показать определяющее влияние переворота в экономической структуре общества на его социальную организацию[30]).Особенно большое значение в этом плане Ковалевский придает сдвигам, происходившим в первой половине XVII в. в сельском хозяйстве. Он подчеркивает что именно в этой сфере жизни страны «лежит первоначальный источник всех последующих изменений в ее общественном складе»[31]).

Является принципиальным достижением метода Ковалевского то обстоятельство, что в работе, посвященной общественному строю Англии революционной эпохи, он не только декларирует необходимость изучения экономических процессов, совершавшихся в стране, но и сам дает пример такого изучения, по существу делая на этом центр тяжести всего своего исследования. Многие страницы своей работы ученый посвящает рассмотрению прогресса в земледелии в Англии XVII в., исследуя в связи с этим и новую расстановку классовых сил в английском обществе.

Избранный Ковалевским угол зрения в подходе к английской революции позволил ему сказать принципиально новое слово в буржуазной историографии вопроса. В отличие от господствовавшей в буржуазной науке XIX в. трактовки английской революции как религиозно-политического переворота, Ковалевский сумел не только увидеть ее социальную природу, но и последовательно провести свой взгляд при характеристике ее результатов. «Знакомство с социальными условиями землевладельческих классов в период республики и протектората,— указывает он,— не оставляет сомнения в буржуазном характере первой английской революции»[32]). Эта мысль выступает как логический вывод из всего исследования ученого. Он показывает, какие общественные слои выиграли в итоге революции, подчеркивая, что важнейшие социальные мероприятия, осуществлявшиеся органами революционной власти, были вызваны

---

[27]) Там же, стр. 49.
[28]) Там же, стр. 94.
[29]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в эпоху республики.— «Юридический вестник», № 12, 1891, стр. 479.
[30]) Там же, стр. 480—481.
[31]) Там же, стр. 482.
[32]) Там же, стр. 509.

к жизни экономическими потребностями класса средних земельных собственников, отвечали его настоятельным интересам[33]).

Вместе с тем, Ковалевский указывает, что революция не привела к улучшению положения широких народных масс. «Если в заключение мы спросим себя, — пишет он, — какое влияние революция 1648 г. оказала на социальное положение земледельческих классов, нам придется ответить, что она не сделала ничего для улучшения быта ни крестьян-общинников, ни арендаторов». Более того, он здесь же подчеркивает, что революция лишь ускорила процесс огораживания[34]).

Так, исходя из признания определяющего влияния экономической структуры общества на его социальную организацию, Ковалевский сумел в начале 90-х гг. XIX в. ближе, чем кто-либо в буржуазной историографии, подойти к пониманию подлинного характера английской революции, правильно расставить некоторые существенные социальные акценты в происходивших тогда событиях, хотя следует признать, что целый ряд значительных проблем, связанных с революцией в Англии, в частности относящихся к экономическим и социальным сдвигам в английском городе, в статье Ковалевского не был даже затронут[35]).

Ковалевский как историк английской революции не остался без продолжателей в русской науке. В этой связи следует назвать Савина, лекционные курсы которого, посвященные этому сюжету, характеризуются несомненным вниманием их автора к социальной проблематике революции[36]), хотя в отличие от Ковалевского он и не порывает полностью с традиционным в буржуазной историографии подходом к событиям середины XVII в. в Англии.

В связи с подходом Ковалевского к английской революции находится его общая постановка вопроса о народных движениях. Для Ковалевского всякое крупное массовое народное движение является продуктом многообразных причин, коренящихся в первую очередь в материальных условиях жизни широких масс. Он подчеркивает ту истину, что «движениями классов управляют сколько-нибудь продолжительно

---

[33]) Там же, стр. 497—502.

[34]) Там же, стр. 509. Здесь же, говоря о буржуазном характере революции, Ковалевский подчеркивает, что «интересы народного демоса не были приняты ею в расчет».

[35]) Ковалевский собирался издать монографию «Англия в эпоху республики» (см. об этом «Юридический вестник», 1892, № 11, стр. 454). Этот замысел остался неосуществленным. Однако в русских либеральных журналах начала 90-х гг. им был опубликован ряд статей, посвященных различным аспектам английской революции, которые, очевидно, следует рассматривать как фрагменты задуманной ученым монографии. Помимо статьи «Общественный строй Англии в эпоху республики» сюда относятся: «Родоначальники английского радикализма» («Русская мысль», 1892, №№ 1—3. «Кавалеры и круглоголовые.— Опыт изучения их политических воззрений» («Северный вестник», 1892, №№ 7, 8), «Кромвель и свобода совести в Англии» («Киевский сборник», Киев, 1892).

[36]) См., в частности, его характерное признание о том, что «на историографии английской революции все еще лежит аристократическая и спиритуалистическая окладка. Батрак, подмастерье, бродяга, даже йомен и мастер, все еще редко показываются на страницах общих и даже специальных работ. Все еще недостаточное внимание привлекают к себе общинное поле, огороженная ферма, нарушающая цельность общинного уклада, придорожный кабак, где собирается в сумерках подозрительный люд, скромный дом городского мастера с еще более скромными пристройками для учеников, лавка скупщика, раздающего работу этим мастерам, просторный сарай молодой мануфактуры, лондонский док, стягивающий к себе все лишнее, что вырабатывается в смятенной стране». (Лекции по истории английской революции, Изд. 2-е, М., 1937, стр. 43). Этот весьма показательный перечень актуальных проблем в историографии английской революции в известной своей части перекликается с вопросами, привлекавшими внимание Ковалевского.

не отвлеченные идеалы, а экономические и политические интересы»[37]). Эту же мысль ученый проводит и в другой своей работе, отмечая значение сдвигов, совершившихся в экономической структуре английского общества в XV в., для надлежащего освещения целого ряда явлений, «все еще непонятых и необъясненных». Ибо, указывает он, «источник происхождения большинства общественных и политических движений лежит ни в чем ином, как в распределении материального благосостояния, прежде всего недвижимой собственности»[38]).

Наряду с Ковалевским идею об экономической обусловленности социально-политических явлений разделял и в той или иной степени проводил в своих работах Кареев. Выше мы отмечали, что при всей своей критике марксизма, Кареев не мог не признавать значение марксистской постановки вопроса о материальных основах исторического процесса. Пусть с различными оговорками, он все же считал возможным говорить о «политической и юридической надстройке на экономическом фундаменте»[39]).

Правда, признание значения материальных условий жизни общества сопровождалось у Кареева решительным провозглашением не менее существенной роли в историческом процессе стороны идеальной. Недаром, заключая т. I своей «Истории Западной Европы в новое время», он писал: «Материальные интересы и моральные принципы были всегда двумя великими деятелями истории, и мы их находим в основе всех рассмотренных явлений»[40]). Кареев настойчиво подчеркивает равноправие этих двух начал, невозможность сведения одного из них к другому. Бесспорно, такой методологический дуализм не способствовал пониманию закономерностей исторического развития, вел к путанице в теоретических взглядах ученого, в его оценке важнейших исторических явлений.

Провозглашая двойственную природу движущих сил исторического развития как свое методологическое кредо и даже подчас нарочито подчеркивая свой дуализм, Кареев в большинстве случаев и в теоретических построениях и, в особенности, в историографической практике строго разграничивал сферу деятельности каждого из двух решающих, по его мнению, факторов общественного процесса — материального и духовного. Подчеркивая самостоятельное значение идеалов и моральных норм, независимое от экономики развитие религии и искусства, литературы и т. д., он в то же время признавал функциональную зависимость социально-политической организации общества от господствующих в нем экономических отношений. Это эклектическое разграничение сфер деятельности духовного и материального начала давало, однако, Карееву возможность, продолжая критику «односторонности» и «узости» марксизма, одновременно в определенной мере использовать отдельные марксистские положения в своем подходе к изучению социальной истории, т. е. именно той области истории, которая всегда вызывала его научный интерес и которую он считал наиболее существенной для познания прошлого человеческого общества.

В отдельных случаях Кареев подходит к пониманию значения эволюции орудий труда для социально-экономического прогресса общества. Отмечая, что «материальная жизнь общества зависит всегда от развития в нем техники в широком смысле слова», он далее указывает, что

---

[37]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии, т. III, М., 1897, стр. 159.

[38]) М. М. Ковалевский. Общественный строй Англии в конце средних веков, стр. 150.

[39]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. I, СПб, 1892, стр. 39.

[40]) Там же, стр. 553.

технические изобретения, «вызывая перевороты в способах производства или обмена продуктов, а также в способах ведения войны, оказывают сильное влияние на всю материальную жизнь общества, на его экономический строй, а через него и на разные социальные отношения других категорий. Известно, например, что промышленная революция, создавшая современный капитализм со всеми его общественными следствиями, была в значительной мере результатом изобретения и применения к промышленности машин»[41]).

Но особенно большое внимание Кареев уделяет взаимоотношениям между экономическим строем общества и его социальной организацией. Он подчеркивает, что на почве экономического взаимодействия людей вырастает известная социальная структура[42]), указывает на экономическую подкладку социальных отношений[43]) и т. д. Кареев признает экономическую обусловленность деления общества на классы, усматривая в отношении последних к собственности главный критерий их положения в обществе. «В основе классового строя общества, — утверждает он, — лежат экономические отношения между классами... Экономически господствующие классы всегда стремились сделаться и классами правящими»[44]).

Стремление Кареева раскрыть социально-экономические основы политического господства находится в тесной связи с его взглядами на природу политической организации общества. Признание зависимости социальной организации от господствующей экономической структуры в отдельных случаях дополняется у него указанием об определяющем влиянии социальных отношений на политический строй общества. Он прямо говорит о том, что социальные отношения обусловливают политический строй[45]). Существенные соображения на этот счет содержатся в небольшой книге Кареева «Главные обобщения всемирной истории», представляющей собою систематическое изложение теоретико-исторических взглядов ученого. Излагая в этой работе основные выводы своей философии истории, Кареев, в частности, уделил значительное внимание разъяснению закономерностей общественного развития. Он видит существенное содержание социальной истории в изучении истории взаимоотношений классов общества, их стремлений, происходящих в них движений[46]). Рассматривая под этим углом зрения ход всемирно-историче-

[41]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. V, СПб, 1898, стр. 842. В другой работе, развивая эту же мысль, Кареев писал, используя известное сравнение Маркса: «Между ручным жерновом, перемалывающим зерно в муку в феодальном поместье, и паровой мельницей современного капиталистического строя лежит вообще длинный период технического прогресса, отражавшегося на народном хозяйстве, а с ним вместе и на социальном строе». (Поместье — государство и сословная монархия средних веков. Очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной Европе, СПб, 1906, стр. 368).

[42]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. I, стр. 38.

[43]) Там же, т. IV, СПб, 1894, стр. 12.

[44]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории. СПб, 1903, стр. 81. Применительно к истории средних веков Кареев говорит о крупном землевладении как главной экономической опоре социальной мощи, в то же время подчеркивая, что с обладанием земельной собственностью соединялась верховная власть или во всяком случае — после преодоления политической раздробленности — господствующее положение в обществе. Вместе с тем он показывает, как с развитием крупного капиталистического производства происходит перемещение социальной мощи от земли к капиталу, вследствие чего руководящее политическое положение в обществе переходит к промышленной (по его терминологии «капиталистической») буржуазии (История Западной Европы в новое время, т. I, стр. 239—241).

[45]) Н. И. Кареев. Поместье — государство и сословная монархия средних веков, стр. 24.

[46]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 80.

ского развития, ученый обращается к вопросу о связи между социальной эволюцией и изменением политической организации общества.

Правда, буржуазная ограниченность в понимании природы государства сказалась и на его трактовке данного вопроса. В соответствии со своими общими воззрениями на государство, Кареев считал возможным говорить о таких политических формах, которые характеризуются, по его мнению, подчиненным положением в государстве всех классов общества, в том числе и экономически господствующих в нем, их большим или меньшим закрепощением в интересах господствующего целого (монархии древнего Востока, поздняя Римская империя, европейские абсолютистские государства)[47]). Отрицание классового характера восточной деспотии и новоевропейского абсолютизма, являвшееся общим местом в буржуазной науке, представляет собою в значительной мере следствие поверхностного подхода буржуазных ученых к этим формам государственной власти, их неспособности рассмотреть действительную расстановку классовых сил и их взаимоотношений с государственной властью, скрывающихся за кажущимся всевластием государя и его чиновников. В этом плане значительно больше возможностей для буржуазного исследователя представляют такие государственные формы, в которых связь между социальным строем и политической организацией общества выступала несравненно ярче.

Так, в частности, обстояло дело и с Кареевым. Он выделяет в истории такие политические формы, которые определяются характером господствующего социального строя, когда, по его выражению, имущие классы делаются правящими (правление эвпатридов в Афинах и вообще знати в древнегреческих городах, патрициев в Риме, феодального дворянства в период политической раздробленности в средневековой Европе). «Во всех этих случаях,— заявляет он,— государственная власть становится достоянием привилегированного меньшинства, которое пользуется ею в своих сословных интересах. Установление таких аристократических правлений было лишь результатом аристократизации социального строя»[48]). Показательно, что и последующую эволюцию политического строя в античных и средневековых государствах Кареев рассматривает под углом зрения происходивших в обществе социальных перемен, обусловленных, в свою очередь, экономическим развитием[49]).

Следует отметить его попытки рассматривать взаимодействие экономических отношений, социальной структуры и политической организации общества в конкретной исторической действительности, исходить из факта этого взаимодействия при признании определяющего влияния социально-экономических отношений на политический строй в своих поисках ориентира в безбрежном океане разнообразных исторических фактов. Показательна в этом отношении его книга о положении французского крестьянства перед революцией. Эта работа составила эпоху в историографии вопроса именно потому, что Кареев впервые в буржуазной науке отрешился от юридического подхода к истории французского феодального крестьянства, перенеся в своем исследовании центр тяжести на почву экономических отношений[50]).

Формулируя цель своей работы, Кареев прямо заявляет, что она заключается в выяснении реального экономического состояния крестьянства как решающего момента в истории так называемого крестьянского

[47]) Там же, стр. 82—84.
[48]) Там же, стр. 84.
[49]) Там же, стр. 85.
[50]) См. И. И. Фролова. Значение исследований Н. И. Кареева для разработки истории французского крестьянства в средние века.— Сб. «Средние века», вып. VII, М., 1955, стр. 320—323.

вопроса перед революцией. Указывая, что главной своей задачей он считает рассмотрение аграрных и социальных отношений, определявших положение крестьян, он продолжает: «Вся суть этого (крестьянского— Б. М.) вопроса в отношениях аграрно-социальных, и как постановка его, так и способ решения обусловились, с одной стороны, принципами, лежавшими в основе тогдашнего поземельного устройства, а с другой,— потребностями, интересами и стремлениями отдельных общественных классов»[51]). Поставленная таким образом задача находит свое воплощение во всей структуре книги. В центре внимания Кареева—судьбы предреволюционного французского крестьянства как эксплуатируемого класса общества, условия его экономического существования. В этом плане рассматриваются его взаимоотношения с другими общественными классами и государством, а главное — его отношение к земле. «Сущность истории французского крестьянства,— заявляет он,—заключается в том, что рядом с уничтожением крепостничества и ослаблением государственной власти сеньеров происходит, так сказать, закрепление сеньериальных прав на землю»[52]).

Кареев подвергает резкой критике своих предшественников во французской историографии за их юридический подход к освещению положения крестьян. Обращая главное внимание на освобождение крестьянина от крепостной зависимости, историки, пишет он, оставили в пренебрежении вопрос о том, что сталось с его землей. «В таком результате,—подчеркивает ученый,—виновато главным образом их юридическое направление, для которого вся суть дела в постепенном переходе от бесправности к правоспособности»[53]). Сознательно отвергая это направление как методологически несостоятельное, Кареев противопоставляет ему исследование социально-экономической действительности Франции XVIII в., определявшей реальное положение крестьянства. «Суть дела,— пишет он,—заключается именно в экономических отношениях»[54]). И вся книга убедительно показывает, как тяжелое материальное положение крестьянства, обусловленное его поземельной зависимостью от сеньеров и бременем государственных налогов, являлось причиной упадка земледелия, народной нищеты, бродяжничества, опустения деревень и переполнения городов нищими, что в свою очередь вело к резкому возрастанию социальной напряженности в обществе.

Важное место в обострении социально-экономических противоречий во Франции перед революцией Кареев отводит обезземеливанию крестьянства. В самой постановке этого вопроса представляется возможность проследить влияние 24-й главы «Капитала». Он приходит к выводу, что взгляд Токвиля о существовании до революции в значительных размерах крестьянской мелкой собственности является сильно преувеличенным[55]). Вопреки Токвилю он показывает наличие во французской деревне XVIII в. большого слоя мало- и безземельного крестьянства, отмечая, что земли крестьянам не хватало. В этом обстоятельстве Кареев видел один из наиболее существенных моментов, характеризующих положение французского крестьянства накануне революции. Вслед за Марксом он противопоставляет формально-юридической точке зрения на историю крестьян другую, рассматривающую их отношение к земле. «История,— утверждает ученый,— которая с формально-юридической точки зрения является прогрессом свободы и приобретения крестьянами собственно-

[51]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века, М., 1879, стр. 480.
[52]) Там же, стр. 26.
[53]) Там же, стр. 15.
[54]) Там же, стр. 219.
[55]) Там же, стр. 105.

сти, с точки зрения социально-экономической получает несколько иной смысл», разъясняя который, он указывает на прогрессирующую утрату крестьянами земли, что продолжалось вплоть до революции, спасшей французскую деревню от полного обезземеливания[56]).

Рассматривая результаты аграрного развития Франции к началу революции, Кареев в первую очередь обращает внимание своих читателей на неблагоприятно сложившиеся для крестьян их отношения к земле, что заставляло большинство из них работать на чужой земле, обременённой различными рентами, в качестве половников, поденщиков и т. п. при столь невыгодных условиях, что многие уходили в города, переполненные и без того нищими, а прежде обрабатывавшиеся земли приходили в запустение[57]). Сложившиеся таким образом экономические отношения, по мнению Кареева, обусловили и характер отношений между крестьянами и сеньерами в предреволюционной Франции, бывших самыми враждебными[58]). Так последовательно проводит ученый свою точку зрения при характеристике положения французского крестьянства в последней четверти XVIII в.

Обильный материал по интересующему нас вопросу дает «История Западной Европы в новое время». Этот многотомный, являющийся и по замыслу, и по исполнению единственным в своем роде в русской историографии, труд до настоящего времени, на наш взгляд, не получил достаточного признания в советской науке. Между тем, мы имеем дело с бесспорно оригинальным произведением, плодом многолетней преподавательской работы Кареева в Петербургском университете, во многом представляющем собою итог всей научной деятельности ученого в 70—90-е гг.[59]). В этом многотомнике впервые в русской историографии была сделана попытка синтетического освещения социальной истории Западной Европы в средние века и новое время, рассматривавшейся в тесной связи с экономическим развитием, идейно-политической борьбой своего времени, а также развитием науки и культуры. Далеко не во всем удачная, в полной мере отразившая на себе антимарксистскую направленность философских взглядов своего автора (вспомним, что «История Западной Европы...» публиковалась как раз в разгар нападок Кареева на марксизм и его русских последователей), эта книга в такой же степени отразила сильные стороны его методологии, оплодотворенные влиянием того самого материалистического понимания истории, с которым он так упорно и безуспешно боролся.

Наше внимание не может не привлечь самое стремление Кареева построить изложение истории Западной Европы в XIV—XIX вв. вокруг кардинальных общественных переворотов, определивших на многие столетия характер социально-политической истории Европы в позднее средневековье и новое время—вокруг реформации XVI в. и французской ре-

---

[56]) Там же, стр. 116. Отметим, как характерное для Кареева, признание качественной однородности процессов, совершавшихся в эпоху перехода от средних веков к новому времени во французской и английской деревне. В другой своей работе, отмечая, что «в Англии XVIII в. можно назвать уже завершившимся процесс перехода сельского хозяйства из крестьянских рук в руки фермеров с превращением сельского населения в безземельных земледельческих рабочих», он прибавляет: «В сущности Франция шла в сельском своем быту по той же экономической дороге, что и Англия, но с тем различием, что аналогичные процессы, представляемые социальной историей обеих стран, совершались в Англии и раньше и полнее» (История Западной Европы в новое время, т. III, СПб, 1893, стр. 107).

[57]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции..., стр. 482.

[58]) Там же, стр. 483.

[59]) Первые пять томов этой книги, охватывающие социальную историю Западной Европы с XIV до 70-х гг. XIX в., были опубликованы в 1892—1898 гг. В своей оценке книги мы имеем в виду именно эти, вышедшие до революции 1905 г., тома.

волюции XVIII г. Выпуская в свет первые три тома своей «Истории...», он писал в предисловии к первому из них об основах построения книги: «Общая связь между этими тремя томами заключена в той мысли, что новая история (речь идет о хронологическом отрезке времени, обнимающем XVI—XVIII вв.—Б. М.) есть история разложения средневековой католико-феодальной системы западноевропейского общества и что двумя главными событиями, игравшими особенно важную роль в этом разложении старого строя жизни, были реформация XVI в. и революция XVIII столетия. Этой общею мыслью обусловливается и то, на какие явления обращено в книге наибольшее внимание, и то, какие эпохи излагаются подробнее»[60]). Этот же авторский замысел пронизывает и последующие тома книги. Центральной идеей т. IV является изучение последствий революции конца XVIII в. для Франции и Европы, причем автор исходит из мысли, что французская революция «имеет значение исходного пункта новейшей истории со всеми политическими, социальными и национальными движениями, которыми так было богато...XIX столетие»[61]). Смысловой центр т. V лежит в изображении европейских революций 1848 г.

Избранный Кареевым угол зрения позволил ему сосредоточить свое внимание на изучении самых существенных сторон исторического процесса. В его изображении история Западной Европы XVI—XIX вв. это — история смены феодального строя капиталистическим. При этом важно подчеркнуть, что социальную эволюцию европейского общества он рассматривает в тесной связи с совершавшимися в этом обществе экономическими переменами, подходя в отдельных случаях к пониманию определяющего влияния последних на социальный строй, что особенно ярко проявляется в его трактовке европейской истории XVIII—XIX вв.

Рассматривая переход от средних веков к новому времени, Кареев видит его экономическое содержание в замене мелкого производства крупным. Рост крупного производства расценивается им как один из важнейших экономических переворотов, на почве которого возникает современный капиталистический строй с характерными для него двумя основными классами — промышленной буржуазией и пролетариатом, неведомыми средневековому обществу.[62]). Эта мысль получает свое дальнейшее развитие и конкретизацию в IV и V тт. «Истории Западной Европы...», посвященных социальной истории Европы конца XVIII—середины XIX вв. В обоих томах большое место отводится освещению происходивших в европейских странах того времени радикальных экономических сдвигов, которые рассматриваются в органической связи с обусловленными ими социальными переменами. Характерна уже сама постановка вопроса Кареевым. В своем анализе социальной истории Западной Европы с конца XVIII в. он намеренно выдвигает на первый план, по его собственным словам, экономическую точку зрения[63]). Тем самым социальные перемены в передовых европейских странах XIX в., и прежде всего утверждение в последних буржуазных общественных отношений, получают экономическое обоснование, выступают как необходимый итог глубоких изменений в материальных условиях жизни европейского общества.

Именно с таких позиций подходит Кареев к анализу главного социального противоречия европейского общества XIX в.: противоречия между рабочим классом и буржуазией. Подчеркивая, что в XIX в. наря-

[60]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. 1, стр. V.
[61]) Там же, т. IV, стр. 1.
[62]) Там же, т. 1, стр. 150.
[63]) Там же, т. IV, стр. 504.

ду с крестьянским вопросом, бывшим главным социальным вопросом предреволюционной эпохи, появляется рабочий, ставший основным социальным вопросом современности, он обнаруживает истоки последнего в промышленном перевороте XVIII в. «Экономический переворот, совершившийся в конце XVIII в., — утверждает он, — породил рабочий вопрос»[64]). При этом будет уместным заметить, что в своем анализе возникновения крупного капиталистического производства Кареев последовательно проводит мысль о том, что важнейшим его социальным последствием явилось резкое ухудшение положения рабочего класса. Он многократно говорит о пауперизме масс как следствии наступления капиталистической эры, подчеркивая, в частности, гибельное влияние на благосостояние пролетариата присущих капитализму экономических кризисов[65]). Тем самым Кареев получает исходный пункт для понимания европейской социальной истории середины XIX в., характеристике которой посвящен т. V его книги. Не будет преувеличением сказать, что рабочий вопрос является одним из центральных в пятом томе. Сквозь призму его Кареев рассматривает социальную историю крупнейших стран Западной Европы в 30—60-е гг. XIX в., он неизменно присутствует при анализе ученым социальных и политических идей середины прошлого столетия и в особенности, конечно, при характеристике революций 1848 г. Антагонизм между рабочим классом и буржуазией, ее страх перед революционными выступлениями пролетариата он расценивает как один из наиболее существенных факторов, определявших ход революций во Франции и Германии и в конечном счете обусловивших их неудачу[66]).

Наряду с признанием зависимости социально-политической организации общества от характера экономических отношений, в русской либеральной медиевистике предпринимались интересные попытки проследить социально-экономическую обусловленность господствующих в обществе идей. Положение о том, что источники различных общественных идей, философских и экономических теорий следует искать в условиях жизни общества, получило настолько широкое распространение в либеральной историографии, что стало своего рода общим местом, не нуждавшемся в специальных доказательствах. Уже молодой Ковалевский в одной из своих ранних работ подчеркивал наличие причинной связи между политическими теориями средневековой Англии и современными им политическими и общественными движениями, усматривая в первых ответы на жгучие вопросы современной им действительности[67]). И в последующих работах ученого мы нередко встречаем аналогичную постановку вопроса. Он пишет о том, что развитие экономической мысли идет рука об руку с изменением хозяйственных форм, и новые экономические учения и идеи возникают там, где происходят перемены в экономическом строе общества,[68]) рассматривает многочисленные привлекавшие его внимание теории в тесной связи с вызывавшими их к жизни социальными условиями.

С таких позиций, в частности, подходит Ковалевский к анализу всегда вызывавших его научный интерес идей французского Просвещения. Ставя центральной задачей своего капитальнного исследования «Проис-

[64]) Там же, т V, стр. 509. Эту же мысль Кареев проводит и в другом месте, подчеркивая капиталистическую природу промышленного переворота конца XVIII — начала XIX в., который он отождествляет с процессом возникновения крупного капиталистического производства (стр. 575).

[65]) Там же, т. IV, стр. 581—592.

[66]) См. там же, т. V, главу XX, а также стр. 560—563.

[67]) М. М. Ковалевский. К истории политической мысли в Англии в средние века.—«Юридический вестник», 1879, № 1, стр. 73.

[68]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства, т. 1, стр. XVIII.

хождение современной демократии» изучение процесса развития «той доктрины, которая была положена в основу» законодательства французской революции, он сразу же подчеркивает: «Политические учения только тогда понятны, когда представлены в связи с той общественною средой, в которой жили и действовали их провозвестники»[69]). Отсюда вытекает и сама структура работы. Так, первая часть первого тома посвящена изучению общественного строя Франции во второй половине XVIII в., отношениям между различными классами французского общества того времени, выяснению особенностей хозяйственного строя города и деревни, во второй — анализируется политический строй Франции накануне революции, и лишь после этого автор приступает к обстоятельному исследованию общественных и политических доктрин XVIII столетия. Обосновывая такой порядок изложения, Ковалевский подчеркивал необходимость «выяснить себе тот путь, каким на почве существующих экономических и государственных порядков сложилась ходячая в конце XVIII в. доктрина». И далее: «Экономические и общественные доктрины Франции XVIII в. всецело вытекали из критики современных им хозяйственных порядков и существующего строя социальных отношений»[70]). С принципиально таких же позиций подходил Ковалевский и к изучению генезиса общественных доктрин XIX в., в том числе и марксизма[71]).

Интересные наблюдения о связи между социальным и духовным развитием общества принадлежат Кареву. Вопреки собственным нападкам на марксизм за его отрицание самостоятельности духовного начала в историческом процессе, Кареев, рассматривая в социологическом плане развитие духовной культуры, обращается к его социальной основе. Ученый подходит к пониманию классового характера культуры в классовом обществе. «Едва только начинается разделение народа на отдельные классы по роду занятий и по имущественному положению,— заявляет он, — как общность миросозерцания начинает исчезать, и в единой национальной культуре начинается разрыв между народной массой и выделившимися из нее культурными группами». И еще более определенно далее: «Социальная дифференциация, т. е. распадение общества на классы, сопровождается и распадением духовного единства нации»[72]).

Своеобразной конкретизацией этого положения служит характеристика Кареевым средневековой литературы, которой он посвятил в т. I «Истории Западной Европы в новое время» специальную главу под характерным заглавием «Общественный характер литературы». Уточняя известную формулу «литература есть зеркало, в котором отражается общество», он подчеркивает, что, в действительности, в ней отражаются идеи различных классов, на которые распадается общество. Отсюда вытекает и задача, решаемая в главе — проследить, как выражались идеи общественных классов средневековья в литературе XII—XV вв[73]). Кареев рассматривает развитие и упадок различных видов дворянской литературы, следит за эволюцией литературы горожан, отмечая ее проповедь новых общественных идей и критику существовавшего порядка, и завершает главу характеристикой произведений, подобных «Реформации императора Фридриха III», в которых видит сознательное стремление их авторов изменить все средневековое общественное устройство.

Наконец, отметим его высказывания об искусстве. Решительно выступая против материалистического понимания природы искусства, Ка-

[69]) М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии, т. I, стр. VII.
[70]) Там же, стр. 337.
[71]) М. М. Ковалевский. Современные социологи, СПб, 1905, стр. 235 и след.
[72]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 94—95.
[73]) См. Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. I, стр. 250—251.

реев в то же время подчеркивал факт его зависимости от известного общественного состояния. «Искусство,—писал он,—бывает религиозным и светским, идеалистичным или реалистичным, возвышенным или низменным, идейным или безыдейным в зависимости от данной среды и от переживаемого обществом момента»[74]).

Исходя из положения о том, что распадение общества на классы сопровождается распадением духовного единства народа и исчезновением общности мировоззрения, Кареев в отдельных случаях не только приходит к пониманию таких понятий, как «классовая идеология», «классовое мировоззрение», но и пытается руководствоваться ими в своей историографической практике. По крайней мере, в отдельных случаях Карееву не было чуждо представление об общественной идеологии как своеобразной надстройке над социальным строем общества, его необходимом порождении. «Каждый общественный и государственный строй,—писал он,—имеет свою идеологию,—разумея под этим термином совокупность существующих в данном обществе идей, в которых заключается как теоретическое понимание, так и практическая оценка наличных социальных и политических форм»[75]). Этому своему положению Кареев придает значение всеобщности. Так, по его мнению, обстояло дело и на ранней стадии общественного развития, когда общественные идеи еще не получили ясной и точной формулировки и какой бы то ни было систематизации, и в последующие периоды человеческой истории, даже в тех случаях, когда эти идеи имеют строго отвлеченный характер и являются перед нами в виде чисто логических выводов из более ранних, но таких же отвлеченных идей. При этом Кареев подчеркивает, что общественные идеи одного и того же времени различаются в зависимости от их принадлежности к тому или иному общественному классу[76]). Этим положением он и руководствуется в подходе к оценке отдельных общественных и научных доктрин прошлого[77]).

Конечно, высказывания такого рода не могут считаться определяющими для методологии Кареева, много лет ведшего упорную борьбу против материалистического понимания истории. Но это и не случайная оговорка в устах убежденного идеалиста, принципиально отрицающего всякое влияние материальных условий жизни общества на его духовное развитие. Трудность вопроса заключается именно в том, что методологические взгляды Кареева, как и других крупных представителей русской либеральной медиевистики, являются слишком эклектичными, чтобы их можно было подвести под ту или иную однозначную формулу. При этом дело заключается не только в известных противоречиях как в методологических взглядах этих ученых, так и, в особенности, между их теоретическими принципами и конкретным историографическим воплощением этих последних. Сами эти противоречия не случайны и уж, конечно, не являются следствием неумения наших историков свести концы с концами. Отметим, в частности, один, но существенный, на наш взгляд, момент. Очень часто мы имеем здесь дело с отражением объективных трудностей, которые вставали перед буржуазным ученым в процессе исторического познания. Будучи в силу своей классовой принадлежности органически неспособным принять материалистическое понимание истории

[74]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 130.

[75]) Н. И. Кареев. Поместье — государство и сословная монархия средних веков, стр. 204.

[76]) Там же, стр. 204—205.

[77]) См., в частности, его оценку английской классической политической экономии как «научной теории нового социального строя», призванной дать научное оправдание господствующим при капитализме экономическим отношениям (см. Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. IV, стр. 507, 622).

и часто даже, подобно Карееву, активно выступая против него, они вместе с тем всем кругом своих научных интересов, собственной историографической практикой приходили к признанию значения марксистской постановки вопроса о соотношении различных сторон общественного процесса. Это признание далеко не всегда являлось открытым. Еще реже оно сопровождалось переходом ученого на позиции материалистического понимания истории пусть даже в каком-либо частном вопросе исторического познания. Тем не менее, пройти мимо этого явления мы не можем, ибо в противном случае окажутся утраченными определенные оттенки в той общей картине, которую представляют методологические идеи русской либеральной медиевистики.

Вопрос о социально-экономической обусловленности идейной стороны жизни общества получил особенно четкую постановку в ряде работ младшего поколения русских либеральных медиевистов, где можно говорить о непосредственной связи его выдвижения с влиянием материалистической теории исторического процесса. Укажем, в частности, на опубликованные на рубеже нашего столетия труды Петрушевского, под несомненным влиянием марксизма рассматривавшего исторический идеализм как течение общественной мысли, безнадежно устаревшее, потерявшее всякое научное значение[78]).

Петрушевский подвергает критике основную посылку идеализма — взгляд на идею как на творца исторического развития. Отвергается идеалистическая метафизика, идеалистические вечные принципы, абсолютные и неизменные[79]). Ученый проводит мысль о том, что не общественные идеи и теории являются главными движущими силами исторического развития, а, напротив, реальное значение той или иной теории определяется материальными условиями жизни общества, в котором она распространяется. Подвергая саркастической критике «авторов и приверженцев широких исторических построений», крайне просто решавших вопрос о влиянии идей на общественное развитие, он подчеркивает, что наличие определенной общественной идеи вовсе не ручается за совпадение ее с действительной жизнью и воздействие на нее. «...Юридическая, политическая и всякая иная общественная идея,—продолжает Петрушевский, — только в тех случаях может оказаться реальной общественной силой, когда она является живой формулой или символом уже сложившихся в данном обществе в той или иной мере фактических отношений, в противном случае она представляет собою мертвый капитал и достояние книжной учености»[80]). Высмеивая чрезвычайно распространенное в буржуазной науке идеалистическое учение, сводящее самые разнообразные перемены в самых различных общественных условиях к влиянию какой-либо одной идеи, которой, говоря словами Петрушевского, словно какой-нибудь инфекционной болезнью заражается общество, он убедительно показывает его несостоятельность на примере критики двух идеалистических теорий: о рецепции римского права и возрождении искусства и науки в позднее средневековье.

Конечно, сегодня мы не можем во всех пунктах согласиться с Петрушевским в его критике этих теорий. Он несомненно принижает действительное значение эпохи Возрождения[81]), идеализирует положение анг-

---

[78]) См. Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, М., 1907, стр. 19.

[79]) Д. М. Петрушевский. О задачах всеобщей истории как науки.—«Образование», 1898, № 2, стр. 2.

[80]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 20—21.

[81]) Там же, стр. 25—26.

лийского крепостного крестьянства в XIII в.[82]). Наконец, сама критика теорий рецепции римского права и Возрождения ведется им в плане борьбы со всемирно-исторической точкой зрения. Но нас в данном случае интересуют прежде всего методологические принципы, из которых исходил Петрушевский в своей критике этих теорий. «В рецепции римского права и возрождения искусств и наук,—говорит он,—обыкновенно видят факты, наглядно доказывающие, что только усвоив наследие, доставшееся ей от классической древности, новая Европа пробудилась от многовекового сна к новой жизни и из варварской стала той, какой она является в настоящее время, перешла в новый фазис в развитии человечества»[83]). Подвергая развернутой критике эту точку зрения, Петрушевский утверждает ту мысль, что решающим критерием для оценки значения той или иной теории является ее соответствие или несоответствие реальной действительности.

С этих позиций Петрушевский, в частности, подходит к так называемой юридической теории виллянства, созданной английскими юристами в XII—XIII вв., которая рассматривается им как один из аспектов рецепции римского права в средневековой Европе. Явившись результатом усиления феодального натиска на английское крестьянство, эта теория, как известно, с беспощадной прямолинейностью стремилась применить правовые нормы и принципы римского рабовладельческого общества к английской феодальной действительности XII—XIII вв., низводя виллана до уровня римского раба. Рассматривая ее под углом зрения соответствия реальному положению дел в английской средневековой деревне, Петрушевский подчеркивает, что в Англии XIII в. отсутствовала необходимая экономическая почва для претворения этой теории в жизнь. Он обращает внимание на существенное различие социально-экономических отношений в рабовладельческом римском и феодальном английском обществе, коренящееся в различии общих хозяйственных условий, обусловливающих разницу и в формах эксплуатации зависимого населения, что и делало неприемлемыми к жизни Англии юридические теории, созданные под сильным влиянием римских юридических идей[84]). Продолжая эту мысль, Петрушевский подчеркивает, что только изменение экономических условий в Европе, приближение их к римским в смысле развития товарно-денежных отношений, создало необходимую почву для

---

[82]) Там же, стр. 21—22.

[83]) Там же, стр. 20.

[84]) Там же, стр. 21—22. Вместе с тем следует признать упрощенной общую оценку Петрушевским юридической теории виллянства как доктрины, лишенной всякой реальной почвы в современной ей английской действительности. Правильно подчеркивая, что реальные экономические условия XIII в. делали невозможным реставрацию рабовладельческих отношений, да еще в форме античного рабства, Петрушевский, следуя в этом отношении за Виноградовым, даже не задается вопросом о том, существовали ли в английской действительности XIII в. обстоятельства, вызывавшие к жизни эту теорию. Между тем, как это убедительно показали исследования Е. А. Косминского, в английской деревне XII—XIII вв. имело место усиление феодального нажима на крестьян, чему в области права соответствовало провозглашение крестьянина-виллана рабом, а его имущества — собственностью его господина. В силу этого в юридической теории виллянства следует видеть не просто доктрину, противоречившую английской средневековой действительности, а выражение стремления изменить эту действительность в соответствии с классовыми интересами феодальных земельных собственников (см. Е. А. Косминский. Исследования по аграрной истории Англии XIII в., М.—Л., 1947, стр. 407—408). Е. А. Косминский убедительно показал, что юридическая теория виллянства отнюдь не оставалась простой кабинетной теорией, оторванной от реальной жизни. Являясь порождением нового этапа в развитии феодальной эксплуатации, связанного с успехами товарно-денежных отношений и ростом феодальной государственности, она послужила юридическим обоснованием наступления феодалов на крестьян в английской деревне XII—XIII вв. (см. об этом главу VIII его «Исследований...»).

действенного использования римских правовых норм. «Римские юридические доктрины, — утверждает он, — только тогда стали применимы к жизни обществ новой Европы, когда эти последние сами в той или иной мере доросли до них, когда в них сложились и развязались экономические, социальные и политические отношения, для которых римские юридические доктрины, возникшие на аналогичных этим последним условиях, могли явиться готовой формулировкой и санкцией»[85]).

В качестве примера Петрушевский приводит так называемое второе издание крепостничества в Германии. Резкое усиление крепостнического гнета на востоке Германии в XVI в. он объясняет общими переменами в европейской экономике, приведшими к значительному развитию товарно-денежных отношений. Именно в этих условиях теории о неограниченных правах господина над личностью и имуществом зависимых от него людей и «явились формулировкой для весьма реальных и осуществимых интересов и стремлений немецких землевладельцев», которые в своем наступлении на личность крестьянина и его землю нашли союзников в воспитанных на римском праве юристах, обосновывавших нормами этого права все их действия. «Тем не менее,—продолжает он,—нельзя сомневаться, что и без этих союзников немецкие землевладельцы достигли бы своей цели, пока на их стороне был перевес организованной силы»[86]).

С аналогичных позиций подходит Петрушевский и к критике идеалистической теории Возрождения, представляющей, по его словам, «едва ли не самый популярный сюжет историков-идеалистов, с особым торжеством выдвигаемый ими для доказательства силы влияния идей в истории»[87]). Он резко выступает против утверждений о том, что сущность эпохи Возрождения заключается в перевороте в средневековом мировоззрении, совершенном под влиянием античных идей. Ученый подчеркивает, что новое миросозерцание, пришедшее на смену средневековому, есть «органический продукт всего предшествующего, очень сложного материального и культурного (идейного) развития западноевропейских обществ»[88]). В соответствии с таким пониманием эпохи Возрождения Петрушевский совершенно справедливо указывает, что центр ее изучения должен лежать не в прослеживании античных идей в произведениях гуманистов, этом излюбленном сюжете идеалистической историографии Возрождения, а в кропотливом изучении целого ряда сложнейших, прежде всего хозяйственных и социальных, процессов, протекавших в средневековой Европе, так как именно они и вызвали к жизни тот период в культурном и идейном развитии западноевропейского общества, который известен под термином Возрождения[89]).

---

[85]) Там же, стр. 22.
[86]) Там же, стр. 22—23.
[87]) Там же, стр. 23.
[88]) Там же, стр. 24.
[89]) Там же, стр. 25. Сам Петрушевский тоже не сумел правильно оценить действительное место Возрождения в европейской истории. Как уже отмечалось, ему была присуща явная недооценка подлинного значения гуманизма. В какой-то степени это, возможно, объясняется тем, что эпоха Возрождения не являлась предметом его специального изучения. И все же нельзя не видеть, что исходные методологические позиции позволили Петрушевскому стать на голову выше современной ему буржуазной историографии вопроса, которая в лице своих крупнейших представителей сводила сущность гуманизма к культурному перевороту, вызванному развитием индивидуализма, в свою очередь являвшегося порождением определенных политических обстоятельств. Сошлемся, в частности, на Я. Буркгардта, чья концепция итальянского Ренессанса оказала большое влияние на развитие всей буржуазно-либеральной историографии вопроса во второй половине XIX — начале XX вв. Сводя существенное содержание эпохи Возрождения к пробуждению духа индивидуализма, Буркгардт усматривал причины последнего в особенностях политического строя Италии того

Важно подчеркнуть, что Петрушевский не ограничивался простой декларацией требования выводить общественные идеи из изучения материальных условий жизни общества, но и пытался в ряде случаев проводить этот принцип в своем исследовании конкретного исторического материала. Показательно, что наибольшей зрелости попытки этого рода достигают в его лучшей работе «Восстание Уота Тайлера», где наряду с тщательным изучением аграрного строя средневековой английской деревни, рассматриваются также некоторые современные ему идеи и теории, и хотя они, как правило, исследуются гораздо менее обстоятельно, вызывает интерес сама постановка вопроса о их связи с материальными условиями жизни английского средневекового общества.

Именно с этих позиций подходит ученый к оценке роли лоллардов в восстании Уота Тайлера. Резко выступая против взглядов тех своих предшественников, кто, подобно Роджерсу[90]), утверждал, будто это восстание было вызвано пропагандистской и организаторской деятельностью «бедных священников», он был далек в то же время от всякого отрицания их роли в крестьянском движении. Петрушевский отмечает популярность лоллардистских проповедников, необычайную быстроту распространения их идей в широких крестьянских массах накануне восстания, уделяя особое внимание деятельности Джона Болла. Причину этому он ищет «в сфере материальных отношений». Развивая эту мысль он пишет: «В настоящее время, по-видимому, нет уже надобности подробно разъяснять ту простую мысль, что разгадку популярности, которую приобретает в данный момент в обществе та или другая доктрина, следует искать в том, что доктрина эта... является формулировкой жизненных интересов, развившихся к этому времени в данном обществе или в той или иной его части и требущих своего удовлетворения. Отвлеченный язык доктрин говорит тогда человеку и общественной группе, к которой он принадлежит, об очень конкретных их потребностях и стремлениях. Злобы современной общественной действительности превращают часто до тех пор мертвую букву учения в живое слово, поднимающее на борьбу, и оно оказывается на знаменах общественного движения, становится лозунгом и паролем»[91]). Таким образом, не идеи являются решающей движущей силой исторического развития а, наоборот, условия материальной жизни общества, «злобы современной общественной действительности», определяют степень действенности той или иной общественной идеи. С этой точки зрения Петрушевский и рассматривает лоллардизм, объясняя успехи его распространения тем обстоятельством, что различные общественные группы находили в его идеях формулировку и санкцию своим жизненным, материальным интересам[92]).

С аналогичных методологических позиций подходит Петрушевский к изучению генезиса программ, выдвинутых восставшими крестьянами

времени (см. Я. Буркгардт. Культура Италии в эпоху Возрождения, т. I, СПб, 1905, стр. 157). Показательно, что давая в своем исследовании широкую картину политической и культурной жизни Италии в эпоху Возрождения, рассматривая весьма обстоятельно быт этой эпохи, нравственность, семейно-брачные отношения и т. п., Буркгардт совершенно игнорирует экономический строй итальянского общества и крайне мало говорит об отношениях социальных, ограничиваясь утверждением, что в это время «сословные различия почти совсем исчезают в высших образованных классах» (там же, т. II, СПб, 1906, стр. 81), что рассматривается «как результат новых воззрений» (там же, стр. 82).

[90]) См. Т. Роджерс. История труда и заработной платы в Англии с XIII по XIX в. Пер. с англ. В.Д.Каткова, СПб, 1899, стр. 203—204

[91]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера, ч. 2, М., 1901, стр. 348.

[92]) Там же, стр. 344—350.

в 1381 г. Анализируя программные требования повстанцев, он видит в них отражение в первую очередь социально-экономических отношений, господствовавших в Англии XIV в. Так, в частности, подходит он к анализу известной Майл-Эндской программы. Петрушевский подчеркивает, что выражавшиеся этой программой социальные идеи созрели значительно раньше восстания, что они складывались в народном сознании десятилетиями классовой борьбы, всей совокупностью социально-экономических условий, определявших жизнь английского крестьянина. «За этой социальной программой,—пишет он,—стоит целая эпоха классовой борьбы, не прекращавшейся все предшествующее тридцатилетие. Изучение этой эпохи даст нам возможность выяснить, в какой степени социальные идеи восставших соответствовали материальной действительности, хозяйственным и социальным условиям, в какой степени они развивались в сознании народа параллельно с ходом материального процесса, являясь отражением этого процесса в народном сознании»[93]).

Тем самым Петрушевский указывает на один из центральных аспектов всей своей концепции восстания Уота Тайлера. При всех известных ее недостатках и упущениях, бесспорным достоинством этой концепции являлось стремление Петрушевского рассматривать восстание как органический продукт английской средневековой действительности. В условиях материальной жизни английского народа ищет он объяснение как причин восстания, так и его программных требований. Он ставит вопрос, «можно ли сказать, что антифеодальные идеи восставших были лишь формулировкой тенденции материальной действительности?»[94]). И вся вторая часть «Восстания Уота Тайлера», посвященная исследованию аграрных отношений в средневековой Англии, является в сущности попыткой найти положительное решение этого вопроса.

Отражение материалистических взглядов в подходе к решению вопроса о соотношении материальной и идейной сторон жизни общества представляется возможным проследить и в некоторых работах молодого Виппера. «Самые явления духовной культуры, под беглым впечатлением которых прежде выводились смелые и красивые воздушные линии над земною обыденностью, — утверждал он в прямой полемике с традиционными в буржуазной историографии представлениями,—самые эти явления новый исследователь стремится привести в тесную связь с ближайшими социальными и материальными условиями»[95]).

С этих позиций Виппер и подходит к изучению переломного в европейской истории XVI столетия. Если для большинства современных ему буржуазных ученых XVI век являлся в первую очередь веком ожесточенной религиозной борьбы, то Виппер обращает главное внимание на материальные предпосылки реформации и контрреформации. Показательно, что свою работу «Общество, государство, культура Запада в XVI ве-

[93]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера, ч. 1, СПб, 1897, стр. 382.

[94]) Там же. Стремление Петрушевского рассматривать в своей историографической практике идейную борьбу как выражение борьбы социальной можно проследить и в ряде других его работ. Ограничимся одним примером. В связи с идейной борьбой в английском обществе XIII в. он писал: «То, что идеологу представляется как борьба принципов, их логическая игра, в действительности представляет собою борьбу реальных интересов общественных групп, в теоретических построениях находящих лишь свое выяснение и более или менее точную формулировку». И далее он указывает, что победа того или другого принципа является лишь завершением общественной борьбы, выражением торжества соответствующей социальной группы (Д. М. Петрушевский. Борьба за политическое освобождение в английском обществе во второй половине XIII в.—«Русское богатство», № 9, 1905, стр. 60—61. Ср. его «Очерки из истории английского государства и общества в средние века», ч. 1, СПб, 1903, стр. 202).

[95]) Р. Ю. Виппер. Общество, государство, культура Запада в XVI в. «Мир божий», 1897, № 2, стр. 6.

ке» он начинает с характеристики экономического подъема Западной Европы, в котором и усматриваются истоки идейно-политической борьбы в европейском обществе. Подчеркивая недопустимость отрыва изучения религиозной и политической борьбы от ее материальных основ, ученый писал: «Крупные столкновения политических сил, например, Габсбургов и Валуа, Голландии и Испании, гугенотских дворян и католических горожан во Франции, не могли бы разыграться без скопления и борьбы масс капитала, характерные черты самих религиозных программ, их широта и распространенность, их социальный оттенок останутся нам непонятны, если мы не схватим тех могущественных пружин материальной жизни, влияние которых объединило в XVI в. Европу, подняло или разрушило различные общественные группы в среде европейских наций»[96]).

II

В тесной связи с отмеченными особенностями метода русской либеральной медиевистики находится свойственный ей историзм в подходе к изучению и оценке явлений прошлого. Вся ее концепция западноевропейского феодализма исходила из признания обусловленности феодального строя определенными объективными обстоятельствами, учитывала его внутреннее развитие и изменение под влиянием этих обстоятельств.

Конечно, историзм русских либеральных медиевистов никогда не был последовательным. Отвергая марксистское учение об общественно-экономических формациях, они естественно ни в своих теоретических воззрениях, ни в историографической практике не смогли последовательно провести взгляд на феодализм как на исторически необходимую стадию в поступательном развитии человеческого общества. Серьезным препятствием исторического подхода к явлениям общественной жизни являлась классовая ограниченность их политических взглядов, что особенно рельефно отразилось на их трактовке таких проблем, как государство и революция. Мы видели, как и в подходе русских либеральных медиевистов к этим проблемам подлинный историзм нередко уступал место предвзятым суждениям, обусловливавшимся их политическими воззрениями, как эти последние порождали абстрактные, метафизические схемы, противоречившие реальной исторической действительности[96а]).

В то же время русской либеральной медиевистике изучаемого периода были присущи и сильные стороны буржуазного историзма XIX в. Ее характерной чертой являлся подход к истории как к процессу. Всякое явление, бывшее предметом анализа русских медиевистов, рассматривалось ими, как правило, в связи с конкретно-историческими условиями, определявшими его развитие. Пример тому — их лучшие работы, которых при всем различии проблематики и методики исследования объединяло стремление их авторов к всестороннему изучению всей совокупности обстоятельств, обусловивших возникновение и эволюцию изучаемого явления или группы явлений. Рассматривая английский манор или каталонскую деревню, аграрные отношения в предреволюционной Франции или судьбы свободной общины, социальный строй Англии в позднее средневековье или историю кальвинистской церкви, русские либеральные медиевисты в той или иной степени стремились исследовать свой сюжет в его эволюции и многообразных связях, вскрыть его место в общей цепи исторического развития. Не будет преувеличением

[96]) Там же, № 8, стр. 218.

[96а]) См. Б. Г. Могильницкий. О некоторых аспектах отражения современности в трудах русских медиевистов. — Сб. Методологические и историографические вопросы исторической науки, вып. 4, Томск, 1966.

сказать, что успех таких книг, как «Восстание Уота Тайлера», «Английская деревня в эпоху Тюдоров», «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.», исследований Виноградова по социальной истории средневековой Англии и т. д. во многом объясняется именно тем, что их авторам в высшей мере было присуще историческое чутье, отразившееся уже на самом их подходе к своему материалу.

Покажем это на примере Петрушевского. Обращаясь к восстанию Уота Тайлера, Петрушевский сумел увидеть в нем «крайне знаменательный момент в хозяйственной и социальной эволюции феодальной Англии, вскрывающий перед нами самые основные течения этой эволюции и тем облегчающий ее изучение»[97]). Такой подход к восстанию обусловил и структуру книги о нем. Центральное место во второй ее части занимает исследование судеб манориальной организации в средневековой Англии. В то же время внимание ученого привлекают экономические и политические последствия Черной смерти, рабочее законодательство и налоговая политика правительства. Такая широкая постановка вопроса позволила ему увидеть в восстании Уота Тайлера закономерный итог всего социально-экономического развития средневековой Англии. Конечно, с точки зрения современной науки его концепция восстания содержит немало уязвимых положений и не может быть принята в целом[98]), однако для своего времени она являлась важным шагом вперед в историографии вопроса, составив крупнейшее явление не только в русской, но и в мировой литературе по истории английского феодализма[99]). Нельзя не признать научную плодотворность самого принципа, которым руководствовался Петрушевский в своем подходе к восстанию и благодаря которому он сумел показать его обусловленность важнейшими процессами, протекавшими во всех сферах средневекового английского общества, в первую очередь в сфере социально-экономических отношений.

Вместе с тем рассматриваемый пример свидетельствует и об ограниченности буржуазного историзма. Многие недостатки созданной Петрушевским концепции восстания Уота Тайлера объясняются как раз непоследовательностью его исторического метода. Отсюда, в частности, проистекает модернизация природы экономических отношений, утверждавшихся в английской деревне XIV в., которые неправомерно квалифицировались как капиталистические, резкое преувеличение качественного отличия их от порядков, господствовавших в предшествующие столетия и т. п.

Исторический подход к познанию прошлого присущ и лучшим обобщающим трудам, созданным русской либеральной медиевистикой. В таких книгах, как «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», «Поместье — государство и сословная монархия средних веков», «История Западной Европы в новое время», четко вырисовывается стремление их авторов рассматривать смену экономических и социальных форм в европейском обществе как закономерный исторический процесс. При этом в отдельных случаях прямо утверждается мысль о необходимости при оценке тех или иных явлений прошлого исходить из объективных условий, при которых оно имеет место, сочетающаяся с признанием того обстоятельства, что одно и то же

[97]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера, ч. 2, стр. VII.

[98]) См. А. И. Данилов. Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков.— Сб. «Средние века», вып. VI, стр. 301—306.

[99]) См. В. Ф. Семенов. Восстание Уота Тайлера в исторической литературе и концепция Д. М. Петрушевского.— Сб. «Средние века», вып. II, в особенности, стр. 242.

явление в различных исторических условиях имеет неодинаковый объективный смысл[100]).

Заслуживают быть особо отмеченными две характерные черты историзма русской либеральной медиевистики середины 70-х гг. XIX—начала XX вв., вытекавшие из своеобразия ее общих идейно-методологических позиций. Во-первых, это — известная экономическая подкладка, присущая историческому методу ее представителей. Рассматривая эволюцию общественного строя в целом или отдельные ее этапы, исследуя порождаемые ею социальные формы, русские либеральные ученые в своем анализе нередко исходили из признания необходимости искать экономическую основу социально-политического развития. Их историзм включал в себя признание не только историчности социальных, правовых и политических форм, что было характерно для буржуазной науки XIX в., но и в определенной мере изменчивости экономического строя общества как материальной основы социальной эволюции. Тем самым углублялся их метод научного познания, открывая новые возможности для исследования закономерностей феодального общества.

Во-вторых, историзму русской либеральной медиевистики была присуща относительная прогрессивная направленность (в его политических выводах). В этом плане представляет интерес сравнение его с известной исторической школой права, оказавшей серьезное влияние на развитие буржуазной наукиXIX в. Вызванная к жизни феодальной реакцией на Великую Французскую революцию, эта школа призвана была обосновать несостоятельность идей революционного переустройства общества, доказать незыблемость и естественность феодального порядка вещей[101]). Гуго, Савиньи и другие ее представители выдвинули и обосновали положение об органическом происхождении и эволюции права и учреждений, что само по себе означало несомненный шаг вперед в развитии современной им исторической мысли. Однако это положение получило в трудах представителей школы сугубо консервативное истолкование. Исторический подход к изучению прошлого вел к его апологетике, а вместе с этим и к оправданию настоящего, базирующегося на этом прошлом. Глубоко вскрывая реакционную сущность такого историзма, Маркс писал о его представителях как о школе, «которая подлость сегодняшнего дня оправдывает подлостью вчерашнего, которая объявляет мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только этот кнут — старый, унаследованный, исторический кнут»[102]). По мере усиления реакционных тенденций в капиталистическом обществе, консерватизм исторической школы права, претерпевая известные модификации, получает широкое распространение в буржуазной науке XIX в., становится одним из ее ведущих методологических принципов[103]).

[100]) Так поступает, например, Кареев, подчеркивавший, что в условиях Германии начала XIX в. проповедь сословного представительства по образцу средневековых сеймов являлась орудием политической реакции, ибо не отвечала требованиям жизни, поставившей на порядок дня вопрос о введении конституционного строя по образцу, созданному французской революцией (см. его «Поместье — государство...», стр. 220).

[101]) Марксистскую критику исторической школы права см. О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.—Л., 1940, стр. 144—148; Е. А. Косминский. Историография средних веков, М., 1963, стр. 291—313; U.—J. Heuer. Karl Friedrich Eichhorn und die historischen Rechtschule, in: Studien über die detsche Geschichtswissenschaft. Bd. I. Die detsche Gescichtswissenschaft vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Reichseinigung von oben. Berlin, 1963, S. 121—135.

[102]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 416.

[103]) Влияние реакционного романтизма и исторической школы права, в особенности, на развитие буржуазной мысли XIX в. особенно настойчиво подчеркивает Белов (см. его «Die deutsche Geschichtsschreibung von Befreiungskriegen bis zu unsern

Тем более поучительным является отношение к исторической школе и ее теоретическим представлениям в русской либеральной медиевистике. Отмечая ее большие научные заслуги, отдельные русские медиевисты в то же время подвергли резкой критике ряд существенных положений этой школы. Является характерным само направление этой критики. Ее объектом в первую очередь становится политический консерватизм, присущий исторической школе[104]). Кареев подчеркивает «общий ее консервативный дух»[105]), отмечает реакционность политических взглядов Савиньи, его враждебное отношение к конституционным идеям своего времени[106]).

Существенный интерес представляет характеристика Кареевым немецкой исторической школы в политической экономии, методологически родственной исторической школе права. Признавая научное значение этой школы, он решительно осуждает ее представителей за ту политическую направленность, которую получил у них исторический метод исследования. «Становясь на историческую точку зрения,—пишет он,—при известном настроении легко оправдать настоящее ссылками на то, что это настоящее есть ни что иное, как необходимый результат прошедшего. Такая точка зрения, действительно, давала возможность брать под защиту одинаково и против либеральной экономии, и против социалистов устарелые хозяйственные формы, обреченные на разложение»[107]). Заслуживает внимания и критика Кареевым объективизма, провозглашенного исторической школой в политической экономии, который, по словам ученого, «заставлял ее сторонников лишь констатировать данные явления без их оценки, особенно в применении к жизненной практике», что он ставит в прямую связь с их политическим консерватизмом[108]).

Убежденным противником немецкого реакционного историзма выступал Ковалевский. Уже в одной из своих ранних работ он достаточно определенно сформулировал принципиальное отличие собственного понимания принципа историзма (которое следует признать типичным для русской либеральной медиевистике вообще) от взглядов, развивавшихся немецкой исторической школой права. «Учреждения, которые в глазах представителей и последователей исторической школы правоведения в Германии являются своеобразными проявлениями «свободолюбивого германского духа», казались ему,—пишет ученый о себе, — не более, как

Tagen». München, Bd. 2. Aufl. 1924). Впадая в этой книге в несомненные преувеличения в своем стремлении доказать, будто вся буржуазная историография XIX в., включая неокантианцев, вышла из романтизма, Белов, тем не менее, достаточно убедительно показал действительно большое влияние положений исторической школы права на развитие методологических принципов последующей немецкой и зарубежной буржуазной историографии. Ср. H. R. Srbik. Geist und Geschichte von deutschen Humanismus bis zur Gegenwart. Bd. I. München—Salzburg, 1950, S. 191, где в связи с этой школой подчеркивается «немецкий примат в филологической и исторической науке в культурной жизни Европы». О влиянии немецкого историзма на развитие буржуазной исторической мысли Запада в XIX в. см. также Lord Acton. Die neuere deutsche Geschichtswissenschaft. Berlin, 1887; K. Dockhorn. Der deutsche Historismus in England. Göttingen, 1950; H. Butterfield. Man of his Past. The study of the History of Historical Scholarship. Cambridge, 1955, p. 22; J. Herbst. The German Historical School in American Scholarship. A Study in the Transfer of Culture. New York, 1965.

[104]) Необходимо подчеркнуть, что в своей критике политического консерватизма исторической школы права русские либеральные медиевисты продолжали традицию Грановского, что было отмечено уже Виноградовым (см. его статью «Т. Н. Грановский»—«Русская мысль», № 4, 1893, стр. 48—49).

[105]) Н. И. Кареев. История Западной Европы в новое время, т. IV, стр. 275.

[106]) Там же, стр. 370.

[107]) Там же, т. V, стр. 380.

[108]) Там же, стр. 379—380. Ср. П. Г. Виноградов. История средних веков. М., 1893, стр. 11.

продуктами известной ступени общественного развития»[109]). Выраженная здесь точки зрения составляет своеобразную доминанту всего его подхода к исторической школе права. В целом ряде своих работ Ковалевский показывает несостоятельность главного принципа этой школы—об определяющем влиянии «народного духа» на историческое развитие. Уничтожающей критике этого принципа посвящена в значительной своей части его первая методологическая работа. Примечательным образом он выступает здесь против спекулятивных построений немецких историков, которые в апологетических целях приписывали народный характер учреждениям, обязанным своим происхождением временным и скоропреходящим причинам[110]). Особенно большое значение в научном преодолении свойственной исторической школе права мистическо-националистической интерпретации общественного развития имели этнографические исследования Ковалевского. «Всякое объяснение факта возникновения тех или других институтов психическими особенностями племени,—писал он,—рано или поздно оказывается несостоятельным»[111]). Все многочисленные этнографические труды ученого представляют собою убедительное обоснование этого тезиса.

Отвергая политический консерватизм исторической школы права и присущее ей стремление объяснять общественное развитие из пресловутого «народного духа», русские либеральные медиевисты основывали свой метод на представлении об исторической обусловленности всякого общественного явления. Тем самым создавались определенные предпосылки для отражения в их построениях реальной исторической действительности в ее объективных связях и опосредствованиях. Исследуя самые сложные проблемы западноевропейского феодализма, создавая общие концепции общественного развития, русские либеральные медиевисты, как правило, исходили не из национальных особенностей того или иного народа, а из реальных условий его исторической жизни, определявших, по их мнению, в числе прочих и эти особенности. Такой подход к истории, конечно, сам по себе не обеспечивал возможности ее объективного отражения, тем более, что у русских либеральных медиевистов он, как известно, нередко сочетался с идеалистическим истолкованием явлений общественной жизни. Тем не менее, в определенных границах, он способствовал совершенствованию познавательных приемов буржуазной науки[112]).

Историзм русских либеральных медиевистов являлся, если можно так выразиться, по преимуществу эмпирическим. Исходя из общих эволюционистских представлений о характере общественного развития, они в своей историографической практике стремились рассматривать то или иное явление в его развитии, изменении, исторической обусловленности. В то же время лишь в сравнительно крайне редких случаях они обращались к теоретическому осмыслению самого принципа историзма. Ни

[109]) М. М. Ковалевский. История полицейской администрации..., стр. III.

[110]) М. М. Ковалевский. О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений. М., 1878, стр. 13. Было бы неверным искать в резкой критике Ковалевским немецкой историографии националистические мотивы. С неменьшим сарказмом указывает он и на несостоятельность исторической концепции славянофилов с ее превознесением «славянского духа» (там же, стр. 6).

[111]) М. М. Ковалевский. Первобытное право, вып. II, М., 1886, стр. 169.

[112]) Само собою разумеется, что в критике и преодолении реакционно-националистических построений исторической школы права русские либеральные медиевисты не были одиноки. Аналогичные взгляды в последней трети XIX в. получили широкое распространение под влиянием позитивизма в англо-французской либеральной историографии, что было отмечено уже Ковалевским (см. его «О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений», стр. 6; «Английская конституция и ее историк», стр. 45). В частности, решительным противником объяснения истории с помощью мистического «народного духа» выступал Мэтланд.

один из них не оставил развернутого определения этого принципа, не говоря уже о его теоретическом обосновании. Тем большее значение приобретают их отдельные высказывания по интересующему нас вопросу. Сделанные подчас по тому или иному случайному поводу они, тем не менее, позволяют в известной степени судить о понимании этого вопроса в русской либеральной медиевистике. Отметим, в частности, отдельные мысли, высказанные на этот счет Кареевым.

В системе историко-теоретических взглядов Кареева важное место занимало энергичное утверждение научной и общественной значимости исторического познания. Он решительно выступил против ницшеанского тезиса о «чрезмерности истории», в который раз подчеркивая ее «громадное образовательное и воспитательное значение в личной и общественной жизни человека»[113]). И в своих теоретических работах, и в исследовательской практике Кареев решительно защищал «историческую точку зрения», рассматривая ее как необходимую предпосылку не только изучения истории, но и общественного познания в целом. При этом характерным образом он предостерегает против отождествления историзма вообще с той его формой, которая была вызвана к жизни европейской реакцией начала XIX в. Кареев показывает неправомерность обвинений историзма в том, что историческое отношение к действительности само по себе естественно и необходимо должно вести и к упорному консерватизму, как результату чрезмерного почитания исторических традиций, и к узкому национализму, и к пренебрежению правами, интересами и стремлениями личности, раз они расходятся с исторически сложившимся порядком вещей. «Если, действительно, подобные явления и наблюдаются в истории философии, науки и публицистики XIX в.,—указывает он,—то прямую их причину никак не нужно искать в применении исторической точки зрения к разработке разных культурных и социальных идей». Он подчеркивает, что историзм XIX в., как и рационализм XVIII столетия, имеет значение лишь метода, оказывающего большое влияние на общий характер миросозерцания, но отнюдь не исходного пункта, определяющего самое его содержание. С помощью исторической точки зрения, по его мнению, можно защищать диаметрально противоположные воззрения[114]).

Развивавшиеся Кареевым взгляды объективно содействовали распространению принципа историзма в русской либеральной общественной мысли. Однако само его понимание этого принципа являлось ограниченным, отражало на себе слабые стороны его общих методологических представлений. В этой связи показательно, что Кареев считал необходимым защищаться от обвинений Михайловского в преувеличении значения принципа историзма. Он решительно отвергает утверждение Михайловского, будто историзм является его коренным принципом, подчеркивает необходимость сочетания его с «незыблемой идеей об истинном и справедливом»[115]). Принимая в «ограниченном», по его выражению, смысле принцип историзма, он в то же время специально оговаривается: «...Я не стою исключительно на исторической точке зрения, не считаю историзм верховным, единственно руководящим принципом мысли и жизни»[116]).

[113]) Н. И. Кареев. Ницше о «чрезмерности истории».— «Сборник в пользу недостаточных студентов Московского университета», М., 1897, стр. 14. Вся эта статья посвящена критике ницшеанской аргументации тезиса о «вреде» и «чрезмерности» истории и исторического образования.

[114]) См. Н. И. Кареев. Историко-философские и социологические этюды. СПб, 1895, стр. 36—38.

[115]) Н. И. Кареев. Мысли о сущности общественной деятельности, СПб, 1895, стр. VIII—X.

[116]) Там же, стр. XI.

Само по себе это последнее положение особых возражений не вызывает. Действительно, было бы неверным сводить к принципу историзма все многообразие средств общественного познания. Признание изменяемости мира общественных явлений не исключает признания его относительного постоянства, что предполагает необходимость его всестороннего исследования с различных точек зрения. Исторический подход к изучению прошлого должен сочетаться с логическим. Сам принцип историзма только тогда дает плодотворные результаты, когда он органически сочетается с использованием других методологических принципов, необходимых для познания существенных связей, определяющих внутреннюю природу изучаемого явления. Но все дело как раз и заключается в существе этих принципов.

Для Кареева речь идет прежде всего об этических категориях добра, справедливости и т. п., с позиций которых он и пытается интерпретировать исторический прогресс. Вследствие этого сам принцип историзма получает у него субъективно-идеалистическое истолкование. «Мой историзм, не только не исключающий этики, но и прямо ее требующий,—писал он,—вполне волюнтаристичен... В истории я везде вижу результаты человеческих воль»[117]). Тем самым на сцену выходила пресловутая человеческая природа как важнейший двигатель исторического развития, возникало причудливое сочетание признания изменяемости, историчности мира и неизменности абстрактной человеческой природы с ее не менее абстрактными потребностями и стремлениями[118]). Нет нужды говорить о том, что такое понимание принципа историзма исключало возможность сколько-нибудь последовательного проведения его в исследовательской практике.

Говоря об историзме русских либеральных медиевистов необходимо, наконец, иметь в виду его классовую ограниченность. Эта последняя не только лишала их возможности глубокого осмысления таких вопросов, которые, подобно вопросу о государстве, требуют как непременного условия их научного решения последовательно исторического подхода к ним, но и придавала всему их историзму определенное политическое звучание. Историческая точка зрения широко использовалась ими как для обоснования либеральной программы общественно-политических преобразований в России, так и с целью доказательства «неправомерности» революционного пути развития общества. Выводы, которые делались из изучения истории Западной Европы, призваны были обосновать необходимость постепенных реформ в либеральном духе сверху с тем, чтобы предотвратить революционное насилие снизу. Решительно осуждалось революционное «доктринерство», провозглашалась необходимость при учете опыта других стран приспосабливать его к местным условиям, что на практике означало отказ от радикальной ломки самых устаревших учреждений, теоретически оправдывало политическое бессилие и трусость русской либеральной буржуазии[119]).

---

[117]) Там же, стр. XX.

[118]) Кареев так и писал: «История человечества есть жизнь и движение: преходящи те формы и направления, в коих она происходит...— непреходяща только духовная и материальная природа человеческой личности, непреходяще ее стремление к истине и справедливости, осуществляющее культурный и социальный прогресс» (см. Н. И. Кареев. Философия культурной и социальной истории нового времени (1300—1800). Введение в историю XIX века. СПб, 1893, стр. 176).

[119]) Недаром один из признанных вождей ее, Милюков, так превозносил «исходную научную точку зрения» Ковалевского, которая, по его словам, «не допустила грубого применения теорий и практических советов, основанных на заимствовании одного народа у других, несмотря на разные ступени развития каждого». Поясняя свою мысль, Милюков с нескрываемым сочувствием пишет об осуждении Ковалевским «французских доктринеров 1789 г.» (см. П. Н. Милюков. М. М. Ковалев-

Один русский либеральный юрист, отмечая, что историзм составлял наиболее мощный научный интерес Ковалевского, писал: «У него исторический метод—не орудие политического консерватизма, средство остановить реформаторский порыв доказательствами, сколь древне, неискоренимо и вечно данное учреждение, — а, наоборот, история для него— средство доказательства того, что данные учреждения или идеи, порожденные конкретными историческими условиями и обстоятельствами, с отмиранием этих условий, с переменою этих обстоятельств, должны также перемениться или отмереть»[120]). В этих словах, может быть, независимо от желания автора, горячо симпатизировавшего Ковалевскому, выражена вся суть русского либерального историзма (в его политических выводах, сводившихся к обоснованию буржуазного реформизма).

III

Историзм русских либеральных медиевистов нашел свое воплощение в их исследовательской методике. В частности, с ним связано широкое распространение в русской либеральной медиевистике сравнительно-исторического метода, являвшегося в известном смысле ее официальным методом. Не только в своих общеисторических построениях, но и в специальных исследованиях русские либеральные медиевисты исходили из убеждения в том, что полное знание о том или ином историческом явлении возможно лишь при условии его широкого сопоставления с явлениями аналогичными или смежными. Использование сравнительно-исторического метода рассматривалось как необходимая предпосылка познания закономерностей исторического процесса, открытия законов, по которым происходит развитие общества, создания общей концепции эволюции человечества. Не говоря уже о Ковалевском, как известно, подчас даже злоупотреблявшем бесчисленными аналогиями в своих построениях[121]), русские либеральные медиевисты нередко основывали на данных, полученных в результате применения сравнительно-исторического метода, важнейшие результаты своих исследований.

Распространение сравнительно-исторического метода в русской либеральной медиевистике находится в связи с влиянием на нее позитивистской методологии исторического исследования. Уже Лучицкий в первой же своей опубликованной работе, рассматривая сравнительно-исторический метод как необходимое условие изучения общественных явлений, прямо связывал его научное обоснование с Контом и его школой[122]). Начиная с Лучицкого, мы находим в русской либеральной медиевистике неизменно высокую оценку этого метода как важнейшего средства исторического познания. «Могучим орудием в деле формулирования эволюционных законов» называл его Кареев[123]), выражая тем самым общее мнение всех своих коллег.

Однако наиболее основательную разработку в русской либеральной медиевистике сравнительно-исторический метод получил в трудах Ковалевского, который с первых же шагов своей научно-педагогической

ский как социолог и как гражданин.— Сб. «М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин», П., 1917, стр. 140).

[120]) Я. М. Магазинер. Политическая идея М. М. Ковалевского в связи с характеристикой его личности. П., 1917, стр. 13.

[121]) О недостатках в применении Ковалевским сравнительно-исторического метода см. А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв., М., 1956, стр. 42.

[122]) См. И. В. Лучицкий. Адам Фергюсон и его историческая теория.—«Университетские известия», Киев, 1868, № 11, стр. 29—31.

[123]) Н. И. Кареев. Главные обобщения всемирной истории, стр. 59.

деятельности выступил страстным поборником этого метода и больше, чем кто-либо, содействовал его успехам в самых разных сферах гуманитарных наук в России. Показательно, что свое преподавание в Московском университете он начинает с чтения курса сравнительной истории права, рассматривавшегося им как необходимое условие всестороннего объяснения судеб отечественного законодательства[124]). Введением к этому курсу и явилась его известная работа «О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждения», в которой нашли свое выражение представления молодого ученого о средствах познания прошлого. Важнейшим из них провозглашается сравнительно-исторический метод, обоснованию которого в значительной мере и посвящена эта работа. Именно базируясь на сравнительно-исторический метод, Ковалевский показывает здесь несостоятельность объяснения истории с помощью теории о влиянии духа народа на характер его общественных и политических институтов. В широком применении этого метода, а также в параллельном использовании целого ряда связанных с ним вспомогательных научных приемов с целью получения более достоверных сведений о прошлом (проверка выводов, полученных при помощи одного способа, результатами, достигнутыми путем применения других) он видит непременное условие объективного, а тем самым и научного изучения форм общественной жизни, характерным образом противопоставляя ему субъективные, а потому и произвольные построения о влиянии расы на историю учреждений[125]).

Взгляды, выраженные в этой работе, получили свое развитие и конкретизацию в последующих трудах Ковалевского. Ученый все более укрепляется в своей оценке сравнительно-исторического метода, как крупнейшего завоевания научной мысли в сфере познания мира общественных явлений, подлинного переворота в арсенале познавательных приемов общественной науки. Он пытается дать теоретическое обоснование этому методу, выяснить возможности его использования в научной работе. Характерным образом Ковалевский указывает на закономерность исторического процесса как на объективную основу сравнительно-исторических исследований. Он обращает внимание на сходство между учреждениями разных времен, стран и народов, порожденное одинаковостью исторических условий, вызвавших их к жизни. Подчеркивая, что источник этой одинаковости лежит «не в повторяемости одних и тех же событий на расстоянии веков и тысячелетий, так как таких повторений не знает история, а в прохождении разными народами одинаковых стадий общественного развития», он ставит перед сравнительно-историческим методом задачу выделения сходных у разных народов на аналогичных ступенях их развития обычаев и учреждений с тем, чтобы дать материал для построения истории прогрессивного развития форм общественной жизни[126]).

В соответствии с таким пониманием задач сравнительно-исторического изучения Ковалевский выдвигает на первый план необходимость установления общих черт в развитии различных народов с целью выяснения причин смены (в общеисторическом масштабе) одних форм человеческого общежития другими и восстановления так называемого нормального хода общественного развития. Что же касается объяснения причин различия в историческом развитии разных народов, то это, по мнению ученого, дело будущего, не составляющее непосредственной

[124]) М. М. Ковалевский. О методологических приемах при изучении раннего периода в истории учреждений, стр. 1—2.

[125]) Там же, стр. 22.

[126]) М. М. Ковалевский. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права. М., 1880, стр. 19.

задачи современной науки[127]). Таким образом, сравнительно-исторический метод выступает у Ковалевского в генерализирующей форме в отличии от характерной для немецкого историзма формы индивидуализирующей, когда главное внимание сосредотачивается на выяснении специфических особенностей, присущих истории данного народа[128]).

Бесспорно, Ковалевский и в своих теоретических воззрениях и, в особенности, в историографической практике повинен в недооценке значения индивидуальных различий в историческом процессе. Его общие схемы нередко грешат забвением учета своеобразия проявления закономерностей общественного процесса в конкретных исторических условиях. Стремление подчеркивать во всех случаях только общее неизбежно вело к обеднению картины действительного хода мирового процесса и в то же время создавало уязвимые места в использовании Ковалевским сравнительно-исторического метода, сообщая ему известную односторонность. Вместе с тем для своего времени генерализирующая форма сравнительно-исторического метода в том виде, как она применялась Ковалевским и другими представителями русской либеральной историографии, являлась определенным шагом вперед в совершенствовании способов исторического познания по сравнению с формой индивидуализирующей. В то время, как характерной чертой немецкого буржуазного историзма XIX в. являлось выпячивание особенного в истории, сочетавшееся с отрицанием ее единства, русские либеральные медиевисты настойчиво проводили мысль о закономерности исторического развития, поглощающей те или иные специфические особенности, свойственные отдельным народам, широко используя для утверждения ее сравнительно-исторический метод[129]).

Особенно плодотворным являлось применение Ковалевским сравнительно-исторического метода в исследовании доклассового общества. Он подчеркивает решающее значение этого метода для изучения первобытнообщинного строя и присущих ему социальных форм. «Только обращаясь к сравнительному приему и выделяя с помощью его черты сходства и различия в родовой, общинной и семейной организации возможно большего числа народностей,—утверждает он,—мы в состоянии отметить те характерные черты, соединение которых обнимается соответствующими понятиями рода, общины и нераздельной семьи; только этим путем возможно точное разграничение этих, во многом сходных между собою, форм человеческого общежития»[130]). Сформулированное здесь положение нашло свое воплощение в историографической практике Ковалевского. Красной нитью через все его многочисленные сочинения по истории первобытного общества проходит стремление к сравнению аналогичных общественных форм у самых разных племен и народов, обитавших подчас в противоположных уголках земного шара. Не будет преувеличением сказать, что на таком сравнении построены все его более или менее значительные выводы о характере общественного развития и формах социальной организации в первобытную эпоху.

[127]) Там же, стр. 20—21.

[128]) Ср. Th. Schieder. Möglichkeiten und Grenzen vergleichender Methoden in der Geschichtswissenschaft.— «Historische Zeitschrift», 1965, Bd. 200, S. 539, 550.

[129]) В русской либеральной медиевистике имела место постановка вопроса и об индивидуализирующей природе сравнительно-исторического метода. Так, выступая против подмены сравнительно-исторического метода приемом простого сопоставления однородных явлений, Кареев усматривал одну из задач первого в установлении того, что индивидуализирует данный факт при его общей основе с другими однородными фактами (см. Н. И. Кареев. Земские сборы древней Руси.— «Юридический вестник», № 2, 1886, стр. 259). Однако ни у самого Кареева, ни у его коллег это положение не получило развития ни в теоретическом плане, ни в сфере практического приложения сравнительно-исторического метода.

[130]) М. М. Ковалевский. Первобытное право. Вып. 1, стр. 4.

Современного читателя поражает смелость и размах, с которыми Ковалевский оперирует своим излюбленным методом в историко-этнографических исследованиях. Народы Кавказа и Индии, Африки и Америки в равной степени привлекают внимание ученого, через сопоставление существовавших у них в определенный исторический период социальных форм он приходит к пониманию общих закономерностей социального развития родо-племенного общества. Правда, в применении сравнительно-исторического метода Ковалевский нередко отступал от строгих научных норм. Его сравнения при их бесспорной широте иногда не учитывали в полной мере своеобразия сопоставляемых явлений, вследствие чего подчас в его аналогиях внешняя форма преобладает над внутренним содержанием, иногда нарушался принцип историзма в самом подборе сравниваемых явлений. Наконец, отмеченное Б. Г. Сафроновым преувеличение Ковалевским возможностей сравнительно-исторического метода в деле обнаружения законов общественного развития[131]) относится и к его исследованию родо-племенного строя. Однако не эти слабые стороны определяют характер и значение использования Ковалевским сравнительно-исторического метода. Замечательные исследования ученого в сфере семейно-родовых отношений, доставившие ему мировое признание, базируются как раз на научно корректном применении сравнительно-исторического метода, с которым неразрывно связаны все его достижения в изучении социальной эволюции первобытного общества.

Широко использовал Ковалевский сравнительно-исторический метод и в изучении социально-экономического развития средневекового общества. Достаточно вспомнить его «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства», весь построенный на сравнительном изучении различных путей становления и развития феодальных отношений на Западе[132]). При этом будет уместным отметить широкое использование ученым этого метода как средства для доказательства прогрессивных для того времени исторических идей. В особенности это относится к его характеристике аграрных отношений раннего средневековья. Ковалевский широко использует сравнительно-исторический метод для защиты и дальнейшего развития общинной теории. Так, приступая к исследованию вопроса о характере землевладения у франков по «Салической правде» он настойчиво подчеркивает необходимость широкого привлечения дополнительных источников. Он указывает на отрывочность и неполноту сведений, сообщаемых «Салической правдой» по данному вопросу и связанное с этим разноречие в его толковании. Выход из положения Ковалевский усматривает в решительном изменении самого метода изучения этого источника. Способу интерпретации «Салической правды», основанному исключительно на анализе ее статей, он противопоставляет иной, предполагающий воссоздание исследователем на базе всех доступных ему источников общей картины аграрных отношений соответствующего периода как основы для решения вопроса о характере землевладения у салических франков. Составив такое общее представление, ученый должен документально доказать решительное совпадение его с буквальным смыслом источников. Ковалевский под-

[131]) См. Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог, стр. 256—257.

[132]) При этом довольно широко для уяснения тех или иных явлений в общественной жизни и хозяйственных порядках средневековой Западной Европы привлекался русский материал. Так, в частности, поступал Ковалевский, рассматривая характер аграрных отношений у англо-саксов в VII—IX вв. Утверждая в полемике с Сибомом, что отсутствие переделов отнюдь не подрывает факт существования в этот период у англо-саксов общинного землевладения, он в числе других аргументов ссылается на практику, существовавшую в некоторых русских областях (см. «Экономический рост Европы...», т. I, стр. 362—363).

черкивает далее необходимость широкого привлечения сравнительных данных для доказательства того, что отрывочные свидетельства «Салической правды», упоминаемые ею одиночные обычаи и отношения мыслимы только при известном порядке землевладения, который, в свою очередь, должен вполне соответствовать как экономическим условиям времени, так и соответствующему общественному и политическому укладу[133]).

Плодотворность избранного Ковалевским метода изучения аграрных отношений салических франков очевидна. Благодаря ему ученый сумел преодолеть характерную для буржуазной историографии юридическую интерпретацию памятников раннего средневековья. При всех частных недостатках его трактовка аграрных отношений франков в эпоху «Салической правды» является объективно-истинной в главном: в определении их подлинной природы. С почвы филологической критики источника и его юридической интерпретации Ковалевский перенес решение вопроса на почву широких исторических обобщений, основывающихся на всестороннем учете всех обстоятельств, относящихся к нему, и прежде всего на проникновении в сокровенное существо социально-экономических отношений изучаемого периода. Такой подход обеспечивал удачное сочетание основательного источниковедческого анализа с широкими общеисторическими построениями. И хотя самому Ковалевскому можно предъявить справедливые претензии относительно его работы с источниками, представляется несомненным позитивное значение самого провозглашенного им метода изучения аграрных отношений раннего средневековья.

Об этом, в частности, свидетельствует историографическая практика советских медиевистов, которые успешно применяют сравнительно-исторический метод, руководствуясь при этом принципами материалистического понимания истории. Пример тому—фундаментальное исследование А. И. Неусыхина, посвященное складыванию феодальных отношений в Западной Европе[134]). Усматривая основной объект исследования в процессе перехода племен и народов, населявших в VI—VIII вв. Западную Европу от первобытнообщинного строя к феодализму, А. И. Неусыхин в соответствии с этим определяет и свой метод. Он указывает на свое стремление к сочетанию изолированного изучения особенностей возникновения зависимого крестьянства на материале истории отдельных народов с параллельным сравнительно-историческим их изучением[135]). Последовательно осуществляя свой замысел, А. И. Неусыхин сумел не только раскрыть своеобразие феодализационного процесса у франков и других германских племен в VI—VIII вв., но и осветить общие закономерности перехода от первобытнообщинного строя к феодальному в Западной Европе.

Рассматривая сравнительно-исторический метод важнейшим средством познания прошлого, Ковалевский в то же время подчеркивал его громадное социологическое значение. «Историко-сравнительный метод,—

[133]) Там же, стр. 50—51.

[134]) А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII в. М., 1956.

[135]) Там же, стр. 3—4. При этом А. И. Неусыхин делает важные указания относительно условий, обеспечивающих плодотворность применения сравнительно-исторического метода. Он выдвигает три таких условия: 1) сравниваемые объекты должны быть соизмеримы по своим качественным особенностям; 2) они должны быть одинаково хорошо изучены; 3) сравнение должно выяснить черты не только сходства, но и различия сопоставляемых объектов — с тем, чтобы потом свести результаты такого сравнения воедино в обобщающем построении (там же, стр. 4). Нельзя не признать, что, широко оперируя сравнительно-историческим методом, Ковалевский нередко грешил несоблюдением этих условий.

утверждал он,—является... средством к построению совершенно новой науки—истории естественного роста человеческих обществ»[136]). Отсюда, в частности, вытекал историзм социологических построений Ковалевского. Как справедливо отмечает Кареев, «...в своих социологических исканиях Ковалевский был преимущественно историком»[137]). Нам представляется, что это обстоятельство составляло сильную сторону социологических воззрений ученого, будучи своего рода противоядием против распространенных в буржуазной социологии био-психологических концепций общественного развития. И хотя сам Ковалевский отдал щедрую дань этим концепциям, здоровое историческое чутье предохраняло его от крайних преувеличений сторонников био-психологической интерпретации истории.

Заслуживают внимания соображения Ковалевского, которые он выдвигал для обоснования универсального значения сравнительно-исторического метода. Он указывал, что человеческое общество является единым целым, и в этом единстве человечества ученый видит основу для применения сравнительно-исторического метода в той интерпретации, которую ему дает Ковалевский. Утверждая, что «потребности и способности различных рас различаются лишь в подробностях», он прямо подчеркивает, то объектом наблюдения сторонников сравнительного метода «являются не отдельные феномены, вызванные действием какого-нибудь закона общественного развития у какого-либо отдельного народа той или другой расы, а эволюция форм общественной жизни всего человечества»[138]). Единство человеческого общества вне зависмости от расовых и национальных особенностей и образует, с точки зрения Ковалевского, ту почву, на которой оказывается возможным (и необходимым) применение сравнительного метода в историческом познании.

Наконец, нельзя не согласиться с Ковалевским, когда он настоятельно подчеркивает необходимость для социолога руководствоваться в своих обобщениях данными сравнительного изучения истории всего человеческого общества. Он видит «большую ошибку» Конта в том, что основатель позитивной социологии построил ее исключительно на фактах из истории римско-католического мира. Полемизируя с Контом, он указывает, что выводы науки об обществе станут вполне убедительными лишь в том случае, если наблюдения и опыт не будут замыкаться в каких-нибудь определенных границах, отмечая в особенности необходимость сравнительного изучения истории славянских народов и стран Востока. Он прямо заявляет, что «всякая новая попытка установить какое-нибудь социологическое положение может иметь значение только при условии, что она введет в поле нашего изучения жизнь Востока, в особенности же славянского мира»[139]).

Среди младшего поколения русских либеральных медиевистов активным сторонником сравнительно-исторического метода был Петрушевский. Выдвигая перед исторической наукой задачу «изучать генезис и развитие общественных явлений путем тщательного и всестороннего анализа общественных явлений во всей их индивидуальности и в полном их контексте»[140]), он рассматривал сравнительный метод как важнейшее

[136]) М. М. Ковалевский. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения права, стр. 22.

[137]) Н. И. Кареев. М. М. Ковалевский как историк и социолог.— Сб. «М. М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин», стр. 171.

[138]) М. М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. М., 1939, стр. 19.

[139]) Там же, стр. 18.

[140]) Д. М. Петрушевский. Новое исследование о происхождении феодального строя.— ЖМНП, № 12, 1892, стр. 307—308.

средство такого изучения. Так, писал ученый, чтобы понять феодализм, необходимо изучить его в целом ряде обществ, только такое сравнительное изучение феодализма дает возможность в равной мере осветить все его стороны, выяснить существенное содержание феодального процесса и его форм как в целом, так и в их конкретном проявлении в каждом отдельном обществе[141]). «Общественная наука, стремящаяся к уразумению исторического (общественного) процесса и его законов,—утверждал он,— ...становится по необходимости на почву сравнительного, сравнительно-исторического изучения»[142]).

В связи со сравнительно-историческим методом стоит в русской либеральной историографии метод переживаний, получивший распространение в этнографии XIX в. в значительной степени благодаря известным работам Тэйлора. В русской науке на значение этого метода для изучения ранних форм человеческого общежития еще в 1878 г. указал Ковалевский[143]), широко применявший его в своих историко-этнографических трудах.

Блестящий образец использования метода переживаний в изучении феодальных отношений дают труды Виноградова, в особенности его «Исследования по социальной истории Англии в средние века». Показательна уже сама структура этой книги.

Задавшись целью показать развитие феодальных отношений в средневековой Англии, ученый начинает свое изложение с изучения положения крестьянства и аграрного строя XIII в., переходя затем последовательно к анализу социального строя Англии по данным «Книги страшного суда» приходит, наконец, к исследованию аграрных отношений в англо-саксонский период. О плодотворности избранного Виноградовым способа исследования свидетельствуют его результаты. Ученый сумел таким путем до известной степени преодолеть недостаток информации, сообщаемой источниками по истории раннего английского средневековья. Следуя в своем анализе от более известного к менее известному, тщательно прослеживая в позднейших социальных формах следы переживаний минувших времен, устанавливая между ними генетическую связь, он приходит к важному, убедительно аргументированному выводу о характере и тенденциях аграрного развития Англии в VI—XIII вв. «В общем,—заключает Виноградов свое исследование,—история аграрных отношений не может быть объяснена из первоначального рабства и помещичьей власти. На ней ясно отразилось постепенное вырождение свободы»[144]). Этот вывод, получивший дальнейшее обоснование и развитие в последующих трудах ученого и сыгравший значительную роль в создании подлинно научной истории средневековой Англии, во многих своих существенных положениях базируется на мастерском использовании Виноградовым ретроспективного метода[145]). Он сумел доказать свободное происхождение вилланской средневековой общины, показать, что

---

[141]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства, стр. 5—6.

[142]) Там же, стр. 5.

[143]) М. М. Ковалевский. О методологических приемах при изучении ранних периодов в истории учреждений, стр. 9—13.

[144]) П. Г. Виноградов. Исследования по социальной истории Англии в средние века. СПб, 1887, стр. 259.

[145]) Конечно, сам по себе этот, как и всякий другой, исследовательский метод отнюдь не предполагает получение научно-прогрессивных результатов. Достаточно сказать, что он был использован и Сибомом в его известной книге об английской сельской общине, где ученый пришел к выводам, диаметрально противоположным выводам Виноградова. Все зависит, таким образом, от общих идейно-методологических позиций историка, обусловливающих в конечном итоге и характер использования им того или иного конкретного метода исследования.

определенные формы в социальном строе феодальной Англии, и прежде всего сама общинная организация, являются развитием в новых исторических условиях дофеодальной общественной организации, покоившейся на господстве общественной собственности на землю.

В 90-е — начале 900-х гг. в русской либеральной медиевистике наряду со сравнительно-историческим и ретроспективным методами получает распространение статистический метод, основанный на тщательном монографическом исследовании, как правило, более или менее локального материала и предполагающий получение научных результатов как итог скрупулезных статистических вычислений. Нельзя не видеть определенной разницы в научных результатах, которые приносило использование сравнительно-исторического метода, с одной стороны, и статистического—с другой. Если применение первого, как правило, было связано с широкими научными обобщениями, выяснением общих, типических черт в общественном развитии, то второй, не отвергая принципиально возможности таких обобщений, переносил центр тяжести на детальное исследование особенностей исторического процесса в определенных пространственных и временных координатах, не претендуя на построение широковещательных выводов общеисторического порядка.

В то же время было бы очевидной ошибкой возводить разницу между этими методами в ранг качественного различия, вытекающего из принципиально различного понимания задач и возможностей исторического познания. В этой связи показательно, что оба метода в той интерпретации, которую они получили в либеральной историографии последней трети XIX—начала XX вв., в равной степени восходят к одному и тому же источнику—позитивистской социологии. Уже родоначальник позитивистской историографии Генри Бокль, реализуя в своей исследовательской практике провозглашенные Контом теоретические принципы, в одинаковой мере пытался базировать свою попытку создания научной истории на данных как сравнительно-исторического, так и статистического метода[146]).

Аналогичное положение наблюдалось и в русской либеральной медиевистике изучаемого периода. Характерно, что даже такой горячий приверженец сравнительно-исторического метода, каким был Ковалевский, отнюдь не отрицал значение статистического метода в научном исследовании, выступая лишь против злоупотребления в пользовании им. И Ковалевский, и его единомышленник в этом отношении Кареев справедливо предостерегали против попыток подменить социологические законы статистическими обобщениями, выдать частные факты за средние величины[147]). В то же время оба они в своих трудах наряду с широкими историческими параллелями нередко применяли и статистическое исследование отдельных локальных проблем. Достаточно указать на книгу Кареева о положении французских крестьян перед революцией или главы «Экономического роста Европы...», посвященные анализу экономических последствий Черной смерти в различных европейских государствах[148]). С другой стороны, и те русские историки, кто выдвигал в своей исследовательской практике на первый план статистический метод, не отрицали значения сравнительно-исторических построений.

[146]) См. его «История цивилизации в Англии», т. I—II, разные издания.

[147]) М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы..., т. I, стр. 379—380; Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории, т. II, М., 1883, стр. 40.

[148]) Вместе с тем Ковалевский, очевидно, неправ, когда он отводит конкретным фактам роль простой иллюстрации обобщений, получаемых иным путем (см. «Экономический рост Европы...», т. I, стр. 379). В этой недооценке значения эмпирических наблюдений в процессе исторического познания и заключается один из существенных недостатков всей его историографической практики.

Сошлемся, в частности, на Лучицкого, который не только провозглашал значение сравнительно-исторического метода, но и в определенной степени использовал его в своих трудах[149]).

Вместе с тем с начала 90-х гг. все более определенно в системе методов исторического познания Лучицкий выдвигает на первый план по своему значению статистический метод. Именно с ним киевский профессор связывает наиболее существенные успехи европейской исторической науки в последней четверти XIX в., в особенности, в области изучения экономической истории Западной Европы[150]). Приступив в 90-е гг. к систематическому исследованию аграрных отношений во Франции перед революцией, Лучицкий положил в его основу скрупулезный анализ всей совокупности статистического материала, относящегося к положению различных классов французского общества в их отношении к земле. Он настоятельнно подчеркивает, что только в итоге такого анализа исследователь правомочен делать определенные выводы обобщающего порядка. Для понимания требований, которые Лучицкий в эти годы предъявлял к историческому методу, показателен следующий ход его мыслей. Рассматривая труды французских ученых по истории крестьян во Франции перед революцией, он обращает в первую очередь внимание на особенности их метода. Он подчеркивает, что независимо от того, как оценивали те или иные ученые положение крестьян—изображали они его в возможно розовом свете или, напротив, представляли в самом мрачном виде—все они опирались, главным образом, на свидетельские показания более или менее случайного характера (мемуары и письма современников, донесения правительственных чиновников, крестьянские наказы). Признавая значение этого материала, Лучицкий, однако, указывает, что серьезным источником для окончательных выводов он может служить лишь после его тщательной критической проверки, сопоставления с теми фактическими данными, которые можно извлечь из описей, сделок, сведений о ценах продуктов и земли, сообщений, показывающих процесс передвижения собственности и т. п.

Однако такой проверки, продолжает Лучицкий, сделано не было. В лучшем случае некоторые исследователи ограничивались приведением в своих работах выборочных данных подобного рода, долженствовавших подтвердить те или иные их положения. Этот путь изучения аграрных отношений в предреволюционной Франции находит у Лучицкого решительное осуждение. Отмечая, что такой метод не подвинул, да и не мог подвинуть, ни на один шаг выяснение действительного положения крестьян в XVIII в., Лучицкий противопоставляет ему путь тщательных статистических вычислений как единственно способный дать сколько-нибудь удовлетворительные научные результаты. В полемике с современной ему французской историографией ученый набрасывает целую программу исследования положения крестьян перед революцией, которая по существу и являлась реализацией его понимания статистического метода. Он указывает на необходимость узнать цены на предметы потребления и домашнего обихода, размеры поденной и годовой заработной платы для каждого вида сельской работы и каждого разряда сельских

---

[149]) См., например, его работу «Поземельная община в Пиренеях» («Отечественные записки», 1883, № 9, 10, 12). Рассматривая формы пиренейской общины и их эволюцию, Лучицкий подчеркивает общеисторическую значимость своих выводов путем сопоставления общинной организации на Пиренеях с аграрными отношениями у самых различных народов мира. По существу характер сравнительно-исторических исследований носят и его работы, посвященные отмене крепостного права в разных европейских странах, публиковавшиеся вплоть до начала 900-х гг.

[150]) И. В. Лучицкий. Вопрос о населенности германских городов в XIV—XV вв.—«Университетские известия», Киев, № 2, 1893, стр. 205.

рабочих, определить валовый и чистый доход каждой данной единицы земельных угодий, а также размеры арендной платы за землю и чистый доход арендатора. Дальнейшим шагом к решению вопроса, продолжает Лучицкий, является исчисление размеров земельной обеспеченности крестьян, количество земли и земельных угодий, принадлежавших как всем крестьянам, так и каждой группе отдельно, и установление разрядов крестьян по среднему количеству собственной, а затем и наемной земли. Наконец, последней стадией работы исследователя, по словам Лучицкого, является вычисление процентного отношения между группами с различным земельным обеспечением, после чего представляется возможным и приблизительное исчисление степени зажиточности в каждое данное время каждой из групп крестьянского населения, определение как процента зажиточных крестьян, расширявших размеры своей земельной собственности, так и процента крестьян, находившихся ниже минимума, обеспечивавшего сколько-нибудь сносное существование[151]).

Изложенная здесь программа в значительной степени получила свое воплощение в историографической практике Лучицкого 90-х — начала 900-х гг. В эти годы исследовательский метод ученого наиболее отчетливо проявился в его монографии «Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене)». Поставив перед собой задачу показать распределение во Франции XVIII в. земельной собственности и тенденции ее перемещения перед революцией, а также проанализировать структуру сельского населения и характер феодальных отношений в деревне, он строит свое исследование на кропотливом всестороннем изучении документального материала, способного дать определенные статистические обобщения, объективно отражающие реальную историческую действительность.

Нельзя не отметить тщательность самой исследовательской методики Лучицкого. Избрав в качестве основного источника для определения структуры и характера землевладения во французской деревне перед революцией так называемые roles des vingitiémes[152]), он посвящает две главы своей книги выяснению степени их достоверности. В итоге, путем сопоставления различных данных — от высказываний Тюрго до крестьянских наказов—Лучицкий приходит к аргументированному выводу о том, что roles des vingitiémes отличаются значительной точностью по отношению к исчислению земель, находившихся во владении различных социальных групп сельского населения, и поэтому могут быть использованы в качестве источника для определения размеров землевладения этих социальных групп накануне революции. В то же время он отмечает ненадежность этого источника для суждений о доходности земли и крестьянских платежах, что вынуждает его обратиться к другим, более достоверным, свидетельствам для выводов по этим вопросам.

Тонкая исследовательская техника Лучицкого, его стремление исходить в своих выводах из всестороннего учета достоверного фактического материала, поддающегося статистическим обобщениям, обусловили бесспорные достижения ученого в изучении аграрных отношений предреволюционной Франции. Приступив к изучению вопроса, вокруг которого уже существовала богатая литература, Лучицкий сумел не просто сказать новое слово в его историографии, но и, говоря словами современного американского историка исторической науки, революцио-

[151]) См. И. В. Лучицкий. Новые исследования по истории крестьян во Франции XVIII в. Вып 1, Киев, 1896, стр. 5—13.

[152]) Roles des vingitièmes — списки плательщиков всеобщего поземельного налога, обязательного для всех сословий, где указывались размеры земельного владения налогоплательщика, его доходность, личный статус налогоплательщика и т. п. сведения.

низировать наши знания о положении французских крестьян в канун революции[153]). В определенной степени опираясь на выводы Кареева в его книге о французских крестьянах в последней четверти XVIII в.[154]), Лучицкий на огромном фактическом материале обосновал ряд существенных положений о характере аграрного развития Франции накануне революции. К их числу следует отнести положения о широком распространении во Франции перед революцией мелкой крестьянской собственности, глубокой дифференциации среди крестьянства и развитии в связи с ней деревенских промыслов и т. д.

Серьезного внимания заслуживает III глава его книги, посвященная изучению социальной структуры сельского населения Франции перед революцией и представляющая собою один из лучших опытов применения статистического метода в историко-социальном исследовании. На основе всестороннего анализа roles des vingitiémes в сопоставлении с другими источниками Лучицкий выделяет различные социальные группы во французской деревне, устанавливает их численное соотношение в разных областях страны, показывает их отношение к земле, рассматривает характер и способы ведения хозяйства. Он убедительно показывает, что всякая инициатива в развитии земледельческой культуры исходила от крестьянства, зависела от его энергии[155]). Наряду с этим, вопреки мнению целого ряда влиятельных ученых, в том числе и Ковалевского, Лучицкий показывает неразвитость перед революцией фермерского хозяйства[156]).

С аналогичных позиций рассматривает Лучицкий вопрос о перемещении земельной собственности во Франции накануне и в период революции. Он вновь подчеркивает, что этот вопрос может быть решен «при единственно научном условии, т. е. на основании историко-статистического метода»[157]). Подвергая статистическому исследованию данные о продаже национальных имуществ в годы революции в отдельных районах страны, он приходит к выводу о переходе определенной части земель, принадлежавших ранее главным образом эмигрантам, в руки крестьян[158]).

Безупречная исследовательская техника Лучицкого, солидное фактическое обоснование его выводов обусловили широкое признание созданной им концепции аграрного развития Франции накануне и в период революции. С конца 90-х гг. его взгляды получают большое распространение за пределами России, в особенности во Франции, оказывая определяющее влияние на трактовку социально-экономической истории Франции XVIII в. Работы Лучицкого переводятся на французский язык[159]), встречают сочувственные отзывы во французских исторических

---

[153]) H. E. Barnes. A History of Historical Writing. Second Revised Edition. New York, 1963, p. 257.

[154]) В частности, это относится к кардинальному положению всей концепции Лучицкого — о господстве во французской деревне XVIII в. мелкого хозяйства. Цитируя утверждение Кареева о том, что во французской деревне XVIII в. господствовало мелкое хозяйство, и с сожалением констатируя, что это справедливое положение не получило признания в исторической литературе (см. его «Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене)» Киев, 1900, стр. 129—130) он, в сущности, посвящает значительную часть книги статистическому обоснованию этого взгляда.

[155]) И. В. Лучицкий. Крестьянское землевладение во Франции накануне революции, стр. 156.

[156]) Там же, стр. 166—173.

[157]) И. В. Лучицкий. Вопрос о крестьянской поземельной собственности во Франции до революции и продаже национальных имуществ. Киев, 1894, стр. 10.

[158]) См. там же, в особенности, стр. 4, 14, 27, 28, 42.

[159]) См., в частности, его «La petite proprieté en France avant la révolution et la vente des biens nationaux», Paris, 1897.

журналах[160]), их выводы все более широко входят в научный оборот[161]) и даже находят отклик в деятельности парламента[162]). Его труды уже при жизни становятся классическими, за ними утверждается значение основополагающих в изучении аграрных отношений Франции XVIII в.[163]).

Труды Лучицкого по аграрной истории Франции XVIII в, представляют для нас интерес еще и потому, что они в равной мере обнаруживают не только сильные, но и слабые стороны избранного ученым метода исторического исследования. Нарочитое подчеркивание значения статистического метода как важнейшего способа научного познания неизбежно вела к сужению исторического кругозора ученого, порождало неминуемое снижение теоретического уровня его исследований. Уже С. Д. Сказкин справедливо подчеркивал эмпиризм как характерную черту Лучицкого — исследователя феодальных отношений во французской деревне XVIII в.[164]). Действительно, при всем богатстве работ Лучицкого фактическими данными, они крайне редко содержат выводы обобщающего характера. Понимая научную осторожность ученого, его стремление строить свои заключения на прочном статистическом фундаменте, мы тем не менее, не можем не видеть известную односторонность, ограниченность исторических построений Лучицкого, вытекающую из своеобразия его исследовательской методики и в конечном итоге обусловленную его общетеоретическими взглядами на характер исторического развития вообще и развития феодального общества в частности.

В особенности это относится к его трактовке характера крестьянской собственности при феодализме. Вряд ли можно спорить с его хорошо аргументированным взглядом о преобладании во Франции перед революцией мелкой крестьянской культуры. Впервые научно обоснованное Лучицким положение о широком распространении во Франции

[160]) См. рецензии в «Revue historique», 1898, mars—avril и «La Révolution française», 1898, avril. Автор последней — Олар.

[161]) См., в частности, книгу одного из крупнейших авторитетов во французской историографии аграрных отношений XVIII в. Саньяка «La legislation civil de la révolution française (1789—1804). Paris, 1898, выводы которой относительно последствий продажи национальных имуществ и характера перемещения земельной собственности в результате этой последней опираются на соответствующие данные Лучицкого.

[162]) В 1897 г. Жан Жорес цитировал в Палате депутатов выводы Лучицкого о характере аграрного развития Франции в конце XVIII в. и под влиянием его внес проект организации комиссии для собирания и издания документов по экономической истории французской революции. Комиссия эта была организована в 1903 г. (См. В. П. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX в., ч. I, М.—Л., 1929, стр. 199).

[163]) Показательна в этом отношении статья известного ученого Анри Сэ под характерным названием «Чем экономическая и социальная история Франции в XVIII в. обязана трудам Лучицкого?» (См. «Научный исторический журнал», 1914, № 4). Выражая в этой статье мнение Олара, Саньяка и других специалистов (см. там же, стр. 4), Сэ подчеркивал, что «в настоящее время совсем нельзя заниматься экономической и социальной историей Франции в XVIII в. без изучения этих (Лучицкого — Б. М.) работ» (там же, стр. 22). Утверждая вслед за Саньяком, что Лучицкий «создал историю поземельной собственности во Франции в XVIII в.», он характерным образом связывает это с исследовательским методом русского ученого. Он указывает, что Лучицкий является родоначальником метода, заимствованного у него всеми, кто после него приступал к тому же сюжету, и называет самой существенной чертой этого метода обращение к статистике, которая одна только в состоянии дать полную картину распределения земельной собственности по различным общественным классам (там же, стр. 23). Нельзя не согласиться с заключительным выводом Сэ: «Идет ли речь о продаже национальных имуществ или об аграрном строе XVIII в., исследования Лучицкого всегда ведутся превосходным научным методом и всегда он больше всего заботится о том, чтобы не довольствоваться поверхностным знанием вещи, а проникает в сложную и живую реальность экономических и социальных фактов, им изучаемых» (там же, стр. 29).

[164]) См. С. Д. Сказкин. Февдист Эрве и его учение о цензиве.—Сб. «Средние века», вып. 1, М.—Л., 1942, стр. 187.

XVIII в. крестьянской собственности, как отличительной черты ее аграрного строя, по праву завоевало широкое признание в науке[165]). Однако глубоко неверным является его понимание существа крестьянской собственности при феодализме. В его изображении фактически исчезает ее феодальная природа, и крестьянин выступает таким же земельным собственником, как феодал или буржуа. Правда, ученый нередко говорит о сословиях привилегированных и непривилегированных, неправомерно включая в состав первых и буржуазию[166]). Однако это не мешает ему утверждать об отсутствии принципиального различия между характером владения землей перед революцией представителями разных сословий. Усматривая «выдающуюся черту» дворянского землевладения XVIII в. в зависимом характере держания земли, он далее прямо пишет: «Резкой черты, которая отграничивала бы дворянские держания от держаний как буржуазных, так и крестьянских, совершенно почти не существовало во Франции накануне революции»[167]).

Таким образом, по существу затушевывается действительная природа социальных отношений, господствовавших во французской деревне перед революцией, тем более, что сами феодальные отношения понимались Лучицким весьма упрощенно. Для него их смысл заключался «в иерархическом подчинении одних владельцев другим в форме вассальной зависимости вассалов и арриер-вассалов и от ближайшего сеньора, и от ряда стоявших выше»[168]). Причем такого рода отношения рассматривались ученым, во всяком случае для некоторых областей Франции, как отжившие, потерявшие еще до революции всякий реальный смысл[169]). Неудивительно поэтому, что он считал возможным определять французское общество XVIII в. как общество не феодальное. По его словам, оно делилось на два противоположных класса: привилегированных, куда он включал многих буржуа, судебных чиновников, фискальных агентов и т. п., и roturiers, причем основой для такого деления избирается отношение к уплате налогов[170]). Главное зло налоговой системы он видит в дурном и неправильном распределении налогов «не между классами, а между отдельными лицами»[171]).

Такая постановка вопроса фактически искажала действительный характер социальных отношений во французском обществе XVIII в. То обстоятельство, что в разряд привилегированных попадали в силу своего общественного положения, государственной службы, богатства некоторые недворяне, никак не может свидетельствовать о том, что фран-

---

[165]) В известном споре о характере аграрного развития Франции XVIII в. между Ковалевским и Лучицким (о нем см. Н. И. Кареев. Беглые заметки по экономической истории Франции в эпоху революции. Серия 1-я, СПб, 1913, стр. 57—136) более прав был, несомненно, Лучицкий. Уже в 1899 г. в предисловии к французскому переводу своей книги о французских крестьянах в последней четверти XVIII в., Кареев выражал сожаление, что ему не удалось переработать ее с учетом исследований Лучицкого (см. его «Les paysans et la question paysanne au dernier quart du XVIII siècle» Paris, 1899, p. X). По существу ко взглядам Лучицкого он склоняется и в своих «Беглых заметках...» (см. в особенности стр. 120). Оценку спора между Лучицким и Ковалевским с марксистских позиций см. в цитированной выше статье С. Д. Сказкина, где отмечается, что по существу поднятых вопросов ближе к истине был Лучицкий (см. «Средние века», вып 1, в особенности стр. 189, 193).

[166]) См. И. В. Лучицкий. Крестьянское землевладение во Франции накануне революции..., стр. 119, 188 и др.

[167]) Там же, стр. 234. Конкретизируя это положение, он здесь же заявляет, что нередко отсутствовало всякое фактическое различие между этими держаниями.

[168]) Там же, стр. 221.

[169]) См. И. В. Лучицкий. Новые исследования по истории крестьян во Франции XVIII в., вып. 1, стр. 54.

[170]) Там же, стр. 52.

[171]) Там же.

цузское общество XVIII в. потеряло свой феодальный характер. Ведь даже если мы последуем в данном случае за Лучицким и будем рассматривать вопрос под углом зрения правительственной налоговой политики, нетрудно будет убедиться, что основа этой последней оставалась чисто феодальной: те или иные категории третьего сословия, подпадали под налоговые изъятия как раз вследствие своей тесной связи с господствующим классом. Лучицкий перечисляет те социальные группы, которые верой и правдой служили дворянскому государству и стоящим за ним классовым силам. В их ряду были, как известно, и «многие буржуа», о которых пишет Лучицкий и которые по существу давно уже порвали со своим собственным классом.

Нельзя не видеть определенных точек соприкосновения между взглядами Лучицкого и получившей широкое распространение в буржуазной историографии второй половины XIX в. концепцией Токвиля, утверждавшего, что еще задолго до революции «с одной стороны,—французский крестьянин сделался поземельным собственником, а с другой,— он совершенно освободился от управления своего господина[172]). В известном смысле можно даже сказать, что результаты исследований Лучицкого в той интерпретации, которую давал им сам автор, в некоторых отношениях служили фактическим обоснованиям концепции Токвиля, объективно направленной на дискредитацию значения Великой Французской революции (чем, на наш взгляд, и объясняется их популярность во Франции не только среди радикально настроенных ученых типа Олара, но и среди историков, придерживавшихся консервативных политических убеждений).

Между тем, было бы ошибочным видеть в Лучицком последователя Токвиля. И в своих идейно-теоретических взглядах в целом, и в трактовке социального развития Франции XVIII в. в частности, он занимал существенно иные позиции, чем идеолог французской реакционной буржуазии. Его понимание характера аграрных отношений в предреволюционной Франции является несравненно более глубоким и многоплановым, нежели токвилевское. Отмечая широкое распространение мелкой крестьянской собственности, он отнюдь не ограничивается, подобно Токвилю, простой констатацией этого факта. Токвилевский тезис о крестьянине — поземельном собственнике представлялся Лучицкому упрощенным, нуждался, по его мнению, в ряде существенных оговорок.

В этом плане несомненный интерес вызывает постановка Лучицким вопроса о степени обеспеченности французских крестьян землею накануне революции. Отличительной чертой земельных порядков, установившихся в это время почти по всей стране, провозглашается им «самая крайняя и резкая неравномерность в распределении земли между приходами, полная почти обездоленность одних и относительно значительное наделение землей и земельными угодьями других»[173]). В его концепции аграрного развития Франции в XVIII в. важное место занимает признание существования большого слоя малоземельных и безземельных крестьян. Исследуя далеко зашедший процесс экономической дифференциации французского крестьянства, он выделяет группу «мельчайших собственников, огородников» и просто безземельных, подчеркивая значительное распространение ее в таких областях, как Нормандия, Артуа и некоторых других[174]). Но не только огородники и безземельные

---

[172]) А. Токвиль. Старый порядок и революция. Перевод под ред. П. Г. Виноградова. М., 1896, стр. 46.

[173]) И. В. Лучицкий. Крестьянское землевладение во Франции накануне революции..., стр. 109.

[174]) Там же, стр. 99—104. В связи с ростом имущественного расслоения крестьян-

крестьяне привлекают внимание Лучицкого. Он отмечает прогрессирующий процесс размельчения земельной собственности, протекавший и в других слоях крестьянского населения, в том числе и среди наиболее обеспеченной землею группы laboureurs[175]). В свете этих хорошо аргументированных положений Лучицкого вопрос о земельном обеспечении крестьян перед революцией отнюдь не представляется таким очевидным, как это казалось Токвилю, да и решение его оказывалось существенно иным.

Однако исключительная ориентация Лучицкого в своих исследованиях на статистический метод привела к тому, что он по существу лишь ограничился констатацией сделанных им наблюдений, не пытаясь проникнуть в глубину совершавшихся в аграрной истории Франции XVIII в. процессов и прежде всего выяснить их классовую природу[176]). Простая же констатация фактов, как известно, нередко ведет к их апологетике, позволяет включать их в такие связи, которые неизбежно приводят к ложным выводам, искажают подлинную историческую перспективу. Вследствие этого и выступает на первый план кажущаяся близость концепции Лучицкого к взглядам Токвиля, хотя на основании факта распространения мелкой крестьянской собственности в XVIII в. он никогда, в отличие от французского ученого, не пытался преуменьшить действительное значение революции как крупнейшего переворота в отношениях собственности[177]).

Наконец, сопоставление взглядов Лучицкого и Кареева на характер аграрного развития предреволюционной Франции позволяет уяснить еще одну слабую сторону избранной киевским ученым методики исторического исследования. Базируя свои выводы исключительно на данных статистических подсчетов, Лучицкий дал скорее статическое, чем динамическое изображение состояния французской деревни в последней четверти XVIII в., и в этом отношении его общая концепция по ее философской глубине значительно уступает кареевской. Указав на прогрессирующее обезземеливание французского крестьянства перед революцией, Кареев сумел более широко взглянуть на всю совокупность социальных отношений в их динамике, вследствие чего его постановка вопроса в целом являлась более глубокой потому, что она более объективно отражала тенденцию исторического развития французской деревни в эпоху перехода от феодализма к капитализму.

Пример трудов Лучицкого по аграрной истории Франции XVIII в., убедительно свидетельствуя о возможностях статистического метода в историческом исследовании, в то же время указывает и на его границы. Статистические исследования представляют несомненную ценность для

ства Лучицкий рассматривает и развитие кустарных промыслов во французской деревне XVIII в., устанавливая прямую зависимость между этими двумя процессами и подчеркивая, что обезземеленное крестьянство вынуждено было искать средства к существованию в сфере промышленности (см. там же, стр. 97—99).

[175]) Там же, стр. 212—213.

[176]) Ср. С. Д. Сказкин. Февдист Эрве и его учение о цензиве.— «Средние века», вып. 1, стр. 188.

[177]) Напротив, в конфискации земель в годы революции и их продаже Лучицкий видел одно «из крупных и редких в истории явлений», изучение которого он и рассматривал в качестве главной цели своих научных изысканий (см. И. В. Лучицкий. Крестьянское землевладение во Франции накануне революции..., стр. 9).— В то время, как Токвиль, вынося в заголовке одной из глав своей книги вопрос «что собственно сделала Французская революция?», приходит к выводу, что «результатом этой революции была только отмена политических учреждений, которые... обыкновенно обозначаются названием феодальных учреждений, и возведение на их место более однообразного и простого политического и общественного порядка, основанного на равенстве сословий» (А. Токвиль. Старый порядок и революция, стр. 36).

историка, в ряде случаев составляя необходимую предпосылку для его выводов. Но сами эти выводы не могут быть построены с помощью одного только статистического метода. Степень их зрелости, глубины и масштабности зависит в последнем счете от зрелости идейно-методологических позиций ученого, от его умения теоретически осмыслить результаты, полученные путем применения статистического, как и всякого другого конкретно-исторического метода.

По своему исследовательскому методу к Лучицкому был близок Савин. Подобно ему, Савин в своей историографической практике перенес центр тяжести на кропотливое всестороннее изучение источников, усматривая в историко-статистических исследованиях единственный путь объективного отражения исторической действительности. В еще большей степени, чем Лучицкий, он осторожен в своих выводах. Характеризуя исследовательский метод Савина, Е. А. Косминский писал: «Савин долго и тщательно подготовляет свое исследование, производит длинные и точные вычисления, собирает огромную массу доказательств—и только тогда решается сделать очень осторожный, даже нерешительный вывод»[178]). Не будет преувеличением сказать, что своими трудами по аграрной истории Англии XVI в. Савин совершил настоящий научный подвиг: за каждым его положением стоят годы изнурительной тяжелой черновой работы, горы поднятого им и обработанного статистического материала, бесчисленные подсчеты и вычисления данных, впервые извлеченных ученым из архивной пыли. Все его труды отличает исключительная научная добросовестность. Мы не встретим в них ни одного авторского вывода, который бы не опирался на обильный, тщательно проанализированный материал. Его строго документированные выводы о сохранении серьезных остатков крепостничества в Англии XVI в., об исторической преемственности между копигольдерами и вилланами, о юридической необеспеченности прав копигольдеров на землю, о классовой природе английских судов, о распределении секуляризованной монастырской земли и некоторые другие получили широкое научное признание, без их учета стало невозможным дальнейшее изучение аграрной истории Англии в позднее средневековье.

И в то же время при чтении и «Английской деревни в эпоху Тюдоров», и, в особенности, «Английской секуляризации» невольно возникает чувство некоторой неудовлетворенности. «К сожалению, — писал сам Савин в предисловии к «Английской секуляризации»,—эта книга есть только фрагмент фрагмента»[179]). Это определение достаточно точно передает характер исследований ученого. При всей важности имеющихся в них выводов, они не только не содержат общей концепции истории Англии XVI в., но и полностью игнорируют больший круг вопросов, связанных главным образом с развитием капиталистических отношений в английской деревне. Приходится согласиться с Кареевым, утверждавшим, что в «Английской деревне...» Савин обращает главное внимание не на те явления, которым предстояло развиваться в будущем, а на остатки прошлого в деревенском быту[180]).

Конечно, было бы несправедливым требовать от одного человека даже в ряде работ всестороннего освещения сколько-нибудь длительного и сложного исторического периода, тем более, когда речь идет об аграрной истории Англии XVI в., начиная изучение которой Савин во многом выступал в роли первооткрывателя. Нельзя спорить и с избранным Са-

[178]) Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963, стр. 42.
[179]) А. Н. Савин. Английская секуляризация. М., 1906, стр. III.
[180]) Н. И. Кареев. Научные труды А. Н. Савина.—«Анналы», 1923, № 3, стр. 225.

виным способом исследования своего материала: прежде чем перейти к анализу новых явлений в английской деревне, необходимо было изучить эволюцию феодальных отношений к началу XVI в., выяснить положение и генезис самой многочисленной категории сельского населения того времени—копигольдеров. Научная правомерность сюжетов, привлекавших внимание Савина, не подлежит ни малейшему сомнению. И все же мы не можем уйти от вопроса, почему Савин отказался от того пути, по которому шли в своей исследовательской практике его предшественники в русской либеральной историографии по изучению аграрных отношений в средневековой Англии. Ведь и его учитель, Виноградов, приступая к изучению аграрных отношений в раннее и классическое английское средневековье, обращался к таким же неразработанным сюжетом, где к тому же имели широкое распространение научно-несостоятельные взгляды, типа теории Сибома, об изначальности существования в истории Англии крепостной общины и феодального поместья. Однако пути к решению стоявших перед ним задач он искал в создании широкой обобщающей концепции, способной схватить существенное содержание всего изучаемого периода и наметить основные тенденции в развитии социальных отношений в его рамках.

Достаточно сравнить «Исследования по социальной истории Англии в средние века» и «Villainage in England», с одной стороны, и «Английскую деревню в эпоху Тюдоров» и «Английскую секуляризацию», с другой, чтобы наглядно представить себе все различие исследовательских приемов авторов этих книг. Но такое сравнение будет поучительным и в другом отношении. Представляется несомненным, что метод учителя является в научном плане более плодотворным, чем метод его ученика. В трудах Виноградова мы не встретим такого мастерского освещения деталей, такого обилия фактического материала, приводящегося для обоснования того или иного, даже частного, положения, чем так богаты книги Савина. Но зато они содержат нечто, более ценное: цельную картину исторического развития на определенном его этапе, опирающуюся в своих главных элементах на данные источников, в то время как труды Савина при всем присущем им богатстве фактического материала так и остаются «фрагментами фрагментов». Не случайно поэтому, что и влияние трудов Виноградова на развитие исторической науки оказалось гораздо более эффективным.

При этом было бы ошибкой усматривать в Савине принципиального противника широких обобщений в науке. Завершая свою «Английскую деревню», он с неожиданной горечью признавался: «...Мне было бы больно, если бы компетентные критики упрекнули меня в отсутствии всяких общих точек зрения»[181]). Конечно, такой упрек будет несправедливым. Но также несомненно и другое: эти общие точки зрения нередко оказываются погребенными под грудой статистического материала, не соединяются в общую концепцию аграрного развития Англии в XVI в.

На примере научной деятельности Савина особенно отчетливо выступает оборотная сторона применения статистического метода в историческом исследовании, которая обнаруживается там, где, как в данном случае, имеет место своеобразная гипертрофия этого метода. Настойчивое стремление Савина базировать свои выводы исключительно на данных, полученных в результате историко-статистических исследований,

---

[181]) А. Н. Савин. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903, стр. 485. Ср. воспоминания его ученика по Московскому университету С. Д. Сказкина, отмечавшего, что Савин всегда подчеркивал свое тяготение к обобщающему методу, «хотя и был очень осторожен, делая обобщения» (С. Д. Сказкин, А. Н. Савин как учитель.—«Труды института истории РАНИОН», вып. 1, М., 1926, стр. 52).

неизбежно вело к эмпиризму, делало невозможным всякое сколько-нибудь значительное заключение, выходящее за рамки простого статистического обобщения, обрекало ученого на незавидную роль поставщика материалов для теоретических построений в неопределенном будущем. Недостаток работ Савина заключается, конечно, не в его стремлении опираться во всех своих выводах на прочную базу источников, а в том, что историко-статистический метод занимает в них самодовлеющее положение, не сочетаясь с другими методами исторического познания. Между тем, только такое сочетание обеспечивает как возможность создания широких научных обобщений, вскрывающих закономерности общественного развития, так и условия оптимального использования статистического метода в историческом исследовании[182]).

Ввиду всего сказанного представляется возможным утверждать, что распространение статистического метода в русской либеральной медиевистике 90 — начала 900-х гг., не являясь показателем пересмотра ее представлений о возможностях исторического познания, вместе с тем свидетельствовало об определенных сдвигах в этих представлениях. Совершенствование методики конкретно-исторического исследования в условиях сохранения буржуазно-идеалистической основы идейно-методологических взглядов ученых влекло за собою понижение теоретического уровня их трудов. Не отвергая принципиальной возможности и даже необходимости широких исторических обобщений, некоторые либеральные медиевисты в своей повседневной исследовательской практике все чаще ограничивались простым эмпирическим изучением фактического материала. В этом разрыве между несомненными успехами в изучении исторической эмпирии и уровнем ее теоретического общения и заключался один из симптомов приближавшегося кризиса историзма в русской либеральной медиевистике.

***

Крупнейшие достижения русской либеральной медиевистики, принесшие ей в последней четверти XIX в. мировую известность, неразрывно связаны с особенностями ее исторического метода, во многом объясняются ими. Именно в области метода она сумела в ряде пунктов преодолеть ограниченность идеалистического объяснения истории, подойти в отдельных случаях к пониманию места и значения социально-экономических отношений в историческом процессе. Не сделавшись вследствие этого материалистами в интерпретации мира общественных явлений, русские либеральные медиевисты, тем не менее, сумели как в своих теоретических представлениях, так и, в особенности, в историографической практике отрешиться от откровенно идеалистических воззрений на характер общественного развития. В своей научной деятельности они не только уделяли преимущественное внимание исследованию сферы социально-экономических отношений, но и нередко искали в эволюции этих

[182]) Блестящий пример такого сочетания представляют «Исследования по аграрной истории Англии XIII в.» Е. А. Косминского. Определяя метод своей работы, Е. А. Косминский писал: «Единственно надежным методом я считаю путь массовых подсчетов, охватывающих значительные, по возможности сплошные, территории» (стр. 40). И действительно, его «Исследования...» построены на широких и исключительно скрупулезных статистических вычислениях, на совершенной методике обработки архивных данных. Но при этом Е. А. Косминский никогда не упускал из виду исторической перспективы. Его теория английского манора базируется на осмыслении с позиций материалистического понимания истории всей английской феодальной действительности, закономерностей развития феодального способа производства, и как раз эта теоретическая глубина книги обусловила в конечном итоге и плодотворность применения ученым статистического метода в своем исследовании.

последних решающую причину перемен в других сферах жизни общества. Отразившееся на их подходе к истории известное влияние марксистского метода содействовало более глубокому познанию действительных связей, имевших место в объективной реальности, и тем самым открывало возможности для научно достоверного отражения существенных сторон исторического процесса—возможности, получившие определенную реализацию в историографической практике наших ученых. То обстоятельство, что в своих лучших трудах они сумели в ряде случаев обнаружить глубинные тенденции общественного развития, сделать принципиально важные обобщения общеисторического характера, и составляет убедительное свидетельство плодотворности выработанного ими научного метода.

В то же время на их трудах в полной мере сказалась внутренняя противоречивость и непоследовательность этого метода, проистекавшая из органически присущего русской либеральной медиевистике мировоззренческого эклектизма. Претензия подняться над «крайностями» исторического материализма и исторического идеализма в конечном итоге вела к тому, что в решении центральных мировоззренческих вопросов она оставалась в целом на идеалистических позициях. Но тем самым определяются и границы научной плодотворности исторического метода русской либеральной медиевистики.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

ОБ ИДЕЙНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ НЕМЕЦКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 50-х — 60-х гг. XIX в.

В. А. ГАВРИЛИЧЕВ

Немецкая историческая наука занимает видное место в развитии мировой историографии. Не случайно в последние годы советские историки и марксисты ГДР все больше начинают уделять внимание изучению различных сюжетов этой темы. Исследования советских ученых[1]) и марксистов ГДР[2]) вносят заметный вклад в создание марксистско-ленинской картины развития исторической мысли Германии XIX—XX вв.

Однако многие вопросы данной большой и сложной темы остаются еще слабоизученными. Речь идет прежде всего об идейно-методологических основах главных направлений, школ и крупнейших представителей немецкой историографии. Здесь предстоит очень большая работа, поскольку без тщательного, серьезного анализа философских, теоретико-методологических предпосылок нельзя правильно показать ни главные тенденции в развитии исторической мысли в Германии, ни подлинный вклад виднейших немецких школ и ученых в национальную и мировую науку.

Цель данной статьи — дать общую характеристику идейно-методологических основ главных (в области новой истории) школ немецкой буржуазной историографии периода 1848—1871 гг.

§ 1. Политические идеи немецкой буржуазной историографии в 50—60 гг. XIX в.

Развитие политических идей немецкой историографии в 50 — 60-х гг. XIX в. проходило под заметным влиянием опыта революции 1848 — 1849 гг.

---

[1]) А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв. М., 1958; Он же. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ.— Сб. «Средние века», вып. XV. М., 1959; он же. Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный историзм.—«Новая и новейшая история», № 2, 1962, Н. И. Смоленский. О некоторых теоретико-методологических принципах исторической концепции Леопольда фон Ранке.— В кн. «Методологические и историографические вопросы исторической науки». Отв. ред. проф. А. И. Данилов (сборн. статей). Томск, 1963;

В. З. Каплюк. Марксистская историография ГДР о раннебуржуазной революции в Германии.— Там же, вып. 2, Томск, 1964, Н. С. Черкасов. К характеристике современного состояния западногерманской историографии.— Там же, вып. 4, Томск, 1966.

[2]) K. Obermann. Über die Entwicklung der deutschen Geschichtsschreibung in der ersten Hälften des 19. Jahrhunderts.— «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1957,

Крупнейший юнкерский историк Леопольд фон Ранке, опасаясь «ужасов красной республики»[3]), в первые месяцы революции подает королю докладные записки с настоятельным советом «укреплять старопрусские силы», использовать противоречия между либералами и демократами. Верный своей «теории» о примате внешней политики над внутренней, Ранке объявляет немецкую революцию 1848 г. влиянием «пагубных» иноземных (французских) идей[4]). Главным врагом старой монархии Ранке не без основания считал молодой пролетариат Германии, то «фабричное население», которое «поднимается, чтобы опрокинуть общество или захватить господство над ним»[5]).

В 50 — 60-е годы реакционные политические взгляды Ранке существенно не изменились. Относясь с ненавистью к демократическому пути объединения Германии (через великогерманскую республику), Ранке не склонен был одобрять гегемонистские устремления Пруссии и Австрии в Германии. Единство страны он мыслил как духовное, религиозное единство[6]). Убежденный консерватор, сторонник сохранения старопрусских порядков феодальной раздробленности страны и «равновесия» полуабсолютистских монархий, Ранке смотрел косо даже на Бисмарка, усматривая в его планах опасность для юнкерства[7]). Вплоть до 1871 года «историограф Пруссии» опасался возможности победы «радикализма», особенно объединения «радикальных тенденций» с «унитаристскими». Спасение от революции Ранке усматривал в союзе между Пруссией и Австрией, с сожалением отмечая, что «обе силы находятся в принципиальных противоречиях друг с другом»[8]).

Тем не менее, революция 1848 г. и последовавшее за ней быстрое развитие капитализма в Германии не прошли бесследно для политических взглядов Ранке. В 50 — 60-х гг. XIX в. ускоряется приспособление юнкерства к буржуазному развитию страны. И это сказывается на отношении Ранке к либерализму. В эти годы патриарх дворянской историографии уже не склонен считать немецкий буржуазный либерализм «подрывным элементом», как думали в 20 — 30-х гг. XIX в. реакционные романтики и ультрамонтаны. Главным противником для Ранке становится «радикализм», революционная демократия — «весь этот завистливый, неимущий люд, возглавляемый готовыми на все энергичными людьми»[9]) — как он определил ее в 1848 г. Что же касается

Heft 4; Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft. Hrsg. von J. Streisand. Bd. I—II. Berlin, 1963—1965; H. Schleier. Sybel und Treitschke. Antidemokratismus und Militarismus im historische—politischen Denken großbourgeoiser Geschichtsideologen. Berlin, 1965; G. Lozek, H. Syrbe. Geschichtsschreibung contra Geschichte. Berlin, 1964 u. a.

[3]) L. v. Ranke. An Heinrich Ranke. 11. 8. 1848. — In: R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. Neue Münstersche Beiträge zur Geschichtsschreibung. Bd. I. Münster, 1957, S. 127.

[4]) L. v. Ranke. Sämtliche Werke. Bd. 49/50. Leipzig, 1887, S. 588—589, 596—597.

[5]) L. v. Ranke. Das Briefwerk... Hrsg. von W. P. Fuchs. Hamburg, 1949, S. 331. Марксистскую оценку позиции Ранке по отношению к революции 1848 г. см.: О. Л. Вайнштейн. Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историография. — В сборн.: «Критика новейшей буржуазной историографии». М.—Л., 1961, стр. 118—119; С. Б. Кан. Немецкая историография революции 1848—1849 гг. в Германии. М., 1962, стр. 45—46.

[6]) Подробнее о политической позиции Ранке в 50—60-х гг. XIX в. см.: Н. И. Смоленский. О некоторых теоретико-методологических принципах исторической концепции Леопольда фон Ранке. — «Методологические и историографические вопросы исторической науки». Сборн. статей. Томск, 1963, стр. 147—149.

[7]) H. R. von Srbik. Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart. Bd. I. München—Salzburg, 1950, S. 275—276, 278.

[8]) K. A. von Müller. Ein unbekannter Vortrag Rankes aus dem Jahr 1862. — «Historische Zeitschrift», 1935, Bd 151, S. 327.

[9]) L. von Ranke. Sämtliche Werke. Bd. 49/50, S. 589.

буржуазно-либерального конституционализма, то Ранке считает полезным приспособить его к нуждам прусской монархии. Не случайно в середине 1848 г. юнкерский историк советовал Фридриху-Вильгельму IV сохранить конституцию, ибо «люди теперь представляют себе государственную власть только в конституционных формах»[10]). В 50—60-х гг. XIX в. Ранке не раз возвращается к вопросу о нецелесообразности свойственного раньше реакционным романтикам огульного смешивания либерализма и радикализма. Он пишет даже специальное сочинение «О различии между либеральными и революционными тенденциями» (до нас дошел лишь небольшой отрывок)[11]).

Таким образом, оставаясь в основном в рамках прежней старопрусской реакционной политической программы, Ранке постепенно приходил к выводу о необходимости компромисса дворянства с буржуазией. Одобрение Ранке в 1871 г. объединения Германии под главенством Пруссии в конечном счете следует рассматривать как результат несомненного приспособления одного из идеологов старопрусского юнкерства к новой социально-политической обстановке, определяющейся победой капитализма в экономике страны.

Сложнее обстояло дело с развитием политических идей у буржуазных историков Германии 50—60-х гг. XIX в. Самое влиятельное до 1848 г. течение — либерально-прогрессивная школа гейдельбергских историков (южная Германия) — была напугана ожесточенной классовой борьбой в период революции 1848 г. Виднейшие представители этой школы — Фридрих Христофор Шлоссер и Георг Готтфрид Гервинус — не поняли и не приняли революции. По мнению Шлоссера, «немецкая нация в 1848 году была сбита с правильного пути легкомысленными писателями»[12]).

Гервинус и редактируемая им «Deutsche Zeitung» в 1848 г. склонялись к правому крылу франкфуртского парламента. Революция внесла смятение в либерально-конституционные взгляды Гервинуса: он был обеспокоен необычайной активностью народных масс, особенно пролетариата (июньские дни 1848 г. во Франции), и вместе с тем ошеломлен отказом прусского короля принять корону «из грязи»[13]). Гервинус не перешел, как большинство либералов, в лагерь реакции, но и не стал, вернее, не мог стать в силу своей либеральной ограниченности сторонником демократической революции.

Такой поворот событий не был случайностью, он закономерно вытекал из непоследовательности и умеренности политических идеалов средних и мелких кругов бюргерства южной Германии, интересы которых представляли Шлоссер, Гервинус, Роттек и др. Прогрессивная роль гейдельбергских историков отчетливо проявилась в 20—30-х гг. XIX в., когда развитие капитализма в Германии было довольно слабым[14]), а засилье полуфеодальной реакции — значительным. В эти годы пропаганда гейдельбергскими историками буржуазных идей «свободы и равенства», идей французской буржуазной революции имела положительное значение, так как была направлена против поли-

[10]) Ibidem, S. 596.

[11]) L. von Ranke. Über den Unterschied zwischen liberalen und revolutionären Tendenzen nach 1848.— In: R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. Bd. I. Münster, 1957, S. 244.

[12]) Шлоссер. История XVIII столетия... Пер. (Н. Г. Чернышевского) с 4-го нем. изд. Изд. 2-е, т. IV, СПб, 1868, стр. 90.

[13]) E. Lehman. Georg Gottfried Gervinus. Hamburg, 1871, S. 44. Н. Попковский. Жизнь и политические идеи Гервинуса.—«Отечеств. записки». 1873, т. CCVII, март, стр. 151.

[14]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 13, стр. 490.

тических идей исторической школы права и Ранке, стремившихся увековечить в Германии полуфеодальную раздробленность, партикуляризм. Выступления Роттека и Гервинуса за установление в Германии буржуазно-конституционного строя, их убеждение в том, что «свобода и равенство являются необходимым фундаментом благоразумного правового порядка, его принципами»[15]) сыграли несомненную прогрессивную роль.

Однако эта прогрессивная роль была исторически и классово ограничена. Нередко смелые в теоретической критике феодализма и княжеского деспотизма, гейдельбергские историки становились беспомощными, когда речь шла о **практических** выводах из этой практики, о **практических** путях достижения национального единства. Здесь на первый план выступало их либеральное доктринерство, абстрактный морализм, уводившие их в сторону от революционной борьбы народных масс за свержение феодализма и монархии. Очень ярко эти слабые стороны политических взглядов гейдельбергской школы выступали у Шлоссера. Сторонник «свободы и равенства», Шлоссер однако нигде не высказывается определенно и решительно в пользу какой-либо формы государственного объединения, отвергая республику как «деспотизм», буржуазно-конституционную парламентскую монархию английского типа, как «плутократию» и т. д. Вслед за Кантом Шлоссер считал «свободу» желанной, но практически недостижимой целью для немцев, нации пассивной, склонной «к мечтательности и преувеличениям»[16]). Отсюда упование Шлоссера на «просвещенного монарха», восхваление Фридриха II как величайшего в XVIII в. борца за «свободу» в Германии и в Европе[17]).

Такую же непоследовательность проявляли Роттек, считавший, что демократическая республика «вредна», как и деспотизм[18]), и Гервинус. Прогрессивный русский историк Н. Попковский, анализируя политические взгляды Гервинуса в 30—40-е гг. XIX в., показал, что ученик Шлоссера «не считал нужным держаться по отношению к современности ни республиканской, ни вообще какой бы то ни было политической формы... Он верил в возможность национального объединения отечества одной силою идеи национальной свободы, доводя до крайности пренебрежение к форме последней, упуская из виду, с кем имеет дело. Он требовал великодушного содействия германскому делу от Пруссии, игнорируя ее прошлое... и в то же время отстранялся от единственного естественного союзника — республиканской партии»[19]). Такая непоследовательность, абстрактно-моралистское решение жгучей национальной проблемы обусловили шаткость политической позиции Гервинуса. Гервинус, отмечает русский историк, уже до 1848 г. «остался между двух партий и этим объясняется его неуспех в политическом отношении»[20]).

Противоречивость либеральных взглядов Гервинуса ярко выступает в оценке политического пути развития Франции и Германии первой

---

[15]) C. von Rotteck. Freiheit.— In: Carl von Rotteck und Carl Welcker. Staats—Lexikon oder Enzyklopädie der Staatswissenschaft... Bd. VI. Altona, 1838, S. 60.

[16]) F. C h.Schlosser. Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Abteilung II. Heidelberg, 1823, S 228—229; F. Ch. Schlosser. Geschichte des achtzehnten jahrhunderts, 3 Aufl. Bd. IV. Heidelberg, 1844, S. 246.

[17]) F. Ch. Schlosser. Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts..., 3 Aufl. Bd. II. Heidelberg, 1837, S. 262, 264, 268—269, 276.

[18]) C. von Rotteck. Freiheit, op. cit., S. 71, 73.

[19]) Н. Попковский. Жизнь и политические идеи Гервинуса.— «Отечественные записки». 1873, т. CCVII март, стр .168, 178, 175.

[20]) Там же, стр. 157.

половины XIX века. Положительно оценивая вслед за Шлоссером и Роттеком революции 1789 и 1830 гг. во Франции, Гервинус считал буржуазные революции неприемлемыми для Германии, так как немецкая нация отлична от «подвижной» и «впечатлительной» французской нации. Ученик Шлоссера был уверен, что в Германии революция не нужна именно потому, что «развитие Германии в последние столетия приняло удивительно естественный процесс: от обновления религиозного — к духовному, и от него — к политическому обновлению»[21]).

Неудивительно, что план объединения Германии, выдвинутый в 40-х гг. XIX в., Энгельс считал типично буржуазным[22]): план был чужд идее демократической революции, в основном строился на иллюзорных расчетах на «добрую волю» прусского короля, пропитан упованиями на то, что король осуществит требования либералов, введет общую конституцию, будет проводить независимую от царской России внешнюю политику и т. д.

Революция 1848 г. опрокинула все либеральные иллюзии Гервинуса. Разочаровавшись в прусской монархии[23]), историк в 50—60-х гг. XIX в. оказался неспособным решительно пойти дальше «старого» либерализма, встать на путь борьбы за революционный путь объединения Германии через общенемецкую демократическую республику. В то же время Гервинус не способен был стать на позиции малогерманцев и Бисмарка. «Войны 1866 и 1870 гг. произвели на него действительно «ударное воздействие» и его бессильные протесты — эта удивительная смесь буржуазной органиченности и честности»... — писал Франц Меринг о последних годах жизни Гервинуса[24]).

Несостоятельная (вытекающая в конечном счете из их абстрактного, моралистско-просветительского мировоззрения) попытка Шлоссера и Гервинуса быть защитниками «прогресса и свободы», возвышаясь над партиями, эта находящаяся в противоречии с политическими условиями 1848—1871 гг. позиция последних могикан «старого» либерализма привела их к политической изоляции, к потере былого влияния на читателя, облегчила выдвижение малогерманской школы. По справедливому замечанию Э. Ротакера, «50—60-е годы XIX века являются временами настоящего господства малогерманской школы» в немецкой буржуазной историографии[25]).

Основная причина быстрого выдвижения малогерманцев заключается в том, что они как нельзя лучше отражали политические настроения переходившей на сторону прусской реакции крупной промышленной буржуазии.

Активнейшая роль малогерманской школы в борьбе за антидемократический путь объединения Германии во главе с Пруссией

[21]) G. G. Gervinus. Schriften zu Literatur. Berlin, 1962, S. 264.

[22]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2-е, т. 21, стр. 487, т. 8, стр. 10—17. См. также G. Schilfert, G. Schleier. Georg Gottfried Gervinus als Historiker.— In: «Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft». Bd. I, S. 153.

[23]) Ряд писем Гервинуса, впервые опубликованных в 1962 г. немецким литературоведом Г. Эрлером, свидетельствуют о его критических нотках в отношении Пруссии. «Мое отвращение к прусскому я даже не могу описать»,— писал Гервинус в письме к Карлу Гегелю от 27. XI. 1849 г. (G. G. Gervinus. Schriften zu Literatur. Berlin, 1962, S. LXXII). Однако новые документы не дают достаточного основания, как это делает Г. Эрлер, говорить об эволюции политических взглядов Гервинуса влево после 1848 г. (Ibidem, S. LXII). Такой серьезной эволюцией влево в 50—60-х гг. XIX в. мог быть переход Гервинуса на позиции революционной демократии, чего в действительности не было.

[24]) Ф. Меринг. Легенда о Лессинге.— В. кн.: Ф. Меринг. Литературно-критические статьи в двух томах. Т. I, М., 1934, стр. 138.

[25]) E. Rothacker. Einleitung in die Geisteswissenschaften. Tübingen, 1920. S. 166.

(против идеи общенемецкой республики и великогерманского плана) достаточно убедительно раскрыта в работах историка-марксиста ГДР Г. Шлейера[26]).

Отметим лишь то, что у автора выступает недостаточно четко: прогрессивное значение участия Зибеля в «конституционном конфликте» с Бисмарком нельзя преувеличивать. Позиция Зибеля не была характерна для всех малогерманцев, его «левение» оставалось в рамках антидемократического либерализма, явилось последним проявлением оппозиции буржуазии дворянству. Во всяком случае, конфликт 1862—64 гг. не задержал складывания идейно-политического фундамента буржуазно-юнкерского блока на общей антиреволюционной, прусско-монархической основе.

§ 2. Методология немецкой буржуазной историографии 50—60-х гг. XIX века

Гейдельбергская школа в 50—60-х гг. XIX в. мало изменила свои идейно-методологические позиции. Непоследовательной, противоречивой политической программе этой школы вполне соответствовали идеалистические в основе теоретические идеи, являвшиеся продолжением моралистско-просветительской историографии и философии XVIII века (Вольтер, Гердер, Кант и др.). Рационалистическая теория прогресса просветителей, элементы диалектики в философии Канта, идущее от Гердера универсально-гуманистическое понимание всемирной истории, понимание важной роли насилия в истории дали возможность Шлоссеру и его ученикам в ряде случаев успешно бороться с мистической, реакционно-националистической методологией исторической школы права и школы Ранке, методологией, характеризующейся пониманием развития как медленного, органического процесса, лишенного противоречий и насильственных переворотов, революций. Однако эта борьба гейдельбергских историков не могла закончиться их решительной победой: староидеалистическая ограниченность их просветительских теоретических взглядов не давала возможности в корне развенчать несостоятельность методологии романтиков и Ранке, а либеральная основа их политической программы была источником серьезных уступок реакционным идеям по ряду важных общеметодологических и исторических позиций (резкая критика движений «черни», вера в неклассовую сущность монархии и возможность «немецкого пути» борьбы с феодализмом по образцу «просвещенного монарха» Фридриха II и т. д.). Явно отставая от французских либеральных историков периода Реставрации в понимании роли экономики, классов и классовой борьбы, школа Шлоссера не могла противопоставить характерному для романтиков сведению исторического процесса к истории государства сколько-нибудь принципиально новое толкование предмета исторической науки.

Заслуга гейдельбергской школы, таким образом, состояла в том, что в период жесточайшей меттерниховской реакции, в годы настоящего похода романтиков против буржуазно-прогрессивных, рационалистических и универсалистских методологических идей просветителей Шлоссер и его ученики отстаивали эти идеи в либерально-прогрессивной, с оттенками демократизма, форме. Дальше Вольтера, Канта, Гердера в понимании закономерностей исторического процесса, его движущих сил они существенно продвинуться не могли. Это явилось источником

[26]) G. Schleier. Die kleindeutsche Schule.— In: «Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft». Bd. I; derselbe. Sybel und Treitschke... Berlin, 1965.

определенных слабостей методологии Шлоссера и его учеников. Гейдельбергские историки не могли понять ряда рациональных моментов в теоретических взглядах романтиков и школы Ранке, особенно их постановки вопроса о государстве, как продукте исторического развития, их стремления (пусть на формально-юридической основе) изучать конкретную историю народа, а в отдельных случаях вносить элементы социального подхода к событиям.

Староидеалистические взгляды просветителей XVIII века Шлоссер и Гервинус продолжали и в теории познания истории. Отсюда — определенное единство этих взглядов. Вслед за Гердером Шлоссер и Гервинус считали задачей историка раскрывать универсальный прогресс культуры человечества. Основные пути достижения этой задачи они видели во многом в изучении литературных произведений. Литература, подчеркивал Гервинус, является носительницей духовных стремлений народа, его нравственной чистоты и преданности свободе. Обращение к литературным произведениям важно тем, что дает возможность проследить развитие идеи свободы, духа свободы — этой причины и цели» прогресса[27]). Шлоссер также полагал, что историку важно знать, насколько литературное произведение «способствовало народному развитию или задерживало его»[28]).

Отсюда конкретная задача историка определялась Гервинусом как задача изучения таких исторических событий, «в которых люди достигали истинной культуры и личного благосостояния»[29]), т. е. эпох расцвета культуры, ибо эти эпохи есть «самые возвышенные эпизоды всякой истории, и они становятся по преимуществу предметом историографии»[30]).

Как же решить эту задачу? Гервинус полагал, что решение этой задачи достигается выбором историком в качестве источников памятников литературы, которые «гораздо более всяких архивов способствуют истинному беспристрастию»[31]). Если историк будет учиться у писателя при распределении фактического материала, если он будет «внутренне честен и правдив», будет проявлять «живое наблюдение, сметливость и фантазию, проницательность и дар соображения, анализ и синтез, идеализм и реализм», если он будет способствовать слиянию истории с поэзией и философией на основе «исторического наблюдения», если он, наконец, будет независим от политических партий — успех будет обеспечен, историк —«не подвергнется никакой опасности...»[32]).

Гервинус резко выступал против тех историков, которые опираются на спекулятивные выводы или на статистические данные, это «бесплодно для этой науки духа, которая... в сущности занимается самыми сокровенными духовными силами... — этими последними достижениями человечества — и потому более чуждается произведений прошлого материализма»[33]).

---

[27]) Г. Гервинус. Принципы историографии (1837). Приложение II к кн. «Автобиография Гервинуса». Пер. Э. Циммермана. М., 1895, стр. 330.

[28]) Шлоссер. Всемирная история (пер. под ред. Н. Г. Чернышевского и др.) изд. 2-е, т. I, СПб., 1888, стр. 310.

[29]) Г. Гервинус. Принципы историографии..., стр. 334.

[30]) Там же, стр. 335—336.

[31]) Автобиография Гервинуса, стр. 138.

[32]) Г. Гервинус. Принципы историографии..., стр. 323, 329, 339. Автобиография Гервинуса, стр. 237; G. G. Gervinus. Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen. Bd. I. Leipzig, 1855, S. X; derselbe. Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog. Leipzig, 1861, S. 61

[33]) Автобиография Гервинуса, стр. 237—238.

Отсюда видно, что теория исторического познания Шлоссера и Гервинуса оставалась в значительной мере на уровне староидеалистической просветительской историографии XVIII века. Непонимание известного отличия развития общества от развития природы и специфики исторического познания, отсутствие сколько-нибудь четкой системы отбора и использования источников и неоправданное выдвижение в центр внимания литературных произведений, как якобы более «надежных и достоверных» — все это ясно показывает, что гейдельбергские историки и в гносеологии недалеко ушли от просветителей. Само провозглашение Гервинусом «тайной исторического искусства» универсализма, общечеловеческого (а не конкретно-исторического) подхода к событиям, универсализма, без которого историк бессилен «выбрать и очистить материал, определить все несущественное и случайное, от всего важного и необходимого»[31]) — не открывало ничего принципиально нового в гносеологии истории, а было лишь повторением старых установок Гердера, Лессинга, Вольтера. Таким образом, как в методологии, так и в гносеологии Шлоссер и Гервинус в общем остались на уровне просветительской историографии XVIII века, что в середине XIX века было явно недостаточно. Сам Гервинус неоднократно признавался, что у Шлоссера нет строгого отбора источников, наблюдается беспорядочность в изложении фактов, небрежность в отработке материалов[35]). Следование за устаревшей, отсталой для середины XIX века теорией познания просветителей привело к тому, что на практике источниковедческая методика Шлоссера дала ограниченные научные результаты. Шлоссер не смог ни заметно расширить документальскую базу исследования, ни упорядочить накопившийся печатный документальный материал.

Некоторые исследователи в упорном следовании Шлоссера за устаревшей методикой исследования, в нежелании применять систематическую критику источников усматривают чуть ли не роковую ошибку Шлоссера[36]). Они полагают, что если бы Шлоссер не совершил этой «ошибки», то развитие немецкой историографии могло бы повернуться иначе. Так рассуждать — значит не видеть диалектической взаимосвязи между методологией историка и его техникой научного исследования. В действительности ни до, ни после 1848 г. Шлоссер не мог принять критический метод Нибура, Ранке. Он был чужд ему методологически, поскольку базировался на методологии романтизма. Не вина Шлоссера, а беда его в том, что он даже в середине XIX века оставался сыном XVIII века.

По сравнению с 20—40-ми годами XIX века в 50—60-е гг. не произошло существенных изменений и в методологии, и методике исследования Ранке[37]). Усовершенствовав критический метод Нибура, Ранке, как и Савиньи, довел до предела формальную критику источников, превращая подчас ее в самоцель. Стремление «историографа Пруссии» ориентироваться в выборе фактов исключительно на особые неповторяемые явления полностью соответствовало реакционной методологии Ранке с ее местически-трансцендентальной основой и отрицанием прогресса даже в либерально-идеалистическом плане. Верность Герви-

[34]) Г. Гервинус. Принципы историографии..., стр. 310.
[35]) Автобиография Гервинуса..., стр. 131.
[36]) G. Schlifert. Friedrich Christoph Schlosser.— In: «Studien...», Bd. I.
[37]) Теоретико-методологические принципы Ранке не изменились сколько-нибудь заметно и в последующие, 70—80-е гг. XIX в. Верность на всю жизнь выдвинутым во второй четверти XIX в. методологическим принципам объясняется твердой уверенностью Ранке в их правильности (см. Н. И. Смоленский, указ. соч., стр. 162, примеч. 124).

нуса и других гейдельбержцев пониманию истории как закономерного процесса представлялась Ранке «неутешительным взглядом на человеческую жизнь, благодаря которому историк во время своих исследований должен чувствовать себя парализованным и чрезвычайно подавленным». Ранке настаивал на необходимости поисков «божественного в истории». «Божественное — не мрачный рок, оно проявляется в противоречиях и силах морального мира»[38]). Каждая из этих школ — и Шлоссера, и Ранке — не были внутренне едины по своим идейно-методологическим принципам, отколовшиеся от них ученики (Гейссер, Зибель и др.), в 50-е гг. составили актив новой, малогерманской школы.

Философия истории и методология нового течения была малооригинальна и крайне эклектична. Немецкая классическая философия, «старый» либерализм (Дальман), реакционный романтизм, «историческая школа» в политэкономии (Ф. Лист, Б. Гильдебрандт и др.), либерально-эволюционные теории французских историков (Токвиль), даже английский позитивизм середины XIX в. (Бокль) — вот из какого множества источников черпали свои воззрения в области теории малогерманцы[39]), чаще всего выступавшие как эпигоны. Человеческое общество представлялось им «нравственным миром», где действуют вечные, объективные нравственные принципы, законы (Зибель). Другие малогерманцы (Дройзен) считали, что «нравственный мир» держится не на общих законах, а на «нравственных формах», причем формы эти уникальны, неповторимы, единичны. Преклонение Дройзена перед индивидуальным в истории коренилось в политических принципах: в сугубо особом, «прусском», пути объединения Германии, резко выделяющимся из других путей буржуазного развития в Европе.

Придавая решающее значение этическим категориям, историки малогерманской школы однако заметно трансформировали их социально-политическую функцию по сравнению с буржуазным историзмом до 1848 г. (Шлоссер, Роттек и др.). Как правильно отмечал историк-марксист ГДР Г. Шлейер, если у южнонемецкого либерализма первой половины XIX века этика служила задачам критики феодализма, сочуствия угнетенным, то у малогерманской школы в соответствии с их антидемократизмом мораль изменила свои функции: она направлялась не только против реакции, но и в большей степени против «радикализма» — левых политических течений[40]). Этика служила малогерманцам теоретическим средством утверждения незыблемости буржуазного строя, отсюда и ее известная метафизичность, проявляющаяся в поисках малогерманцами «вечных» нравственных категорий, форм и законов.

[38]) L. von Ranke. Georg Gottfried Gervinus.—«Historische Zeitschrift». 1872. Bd. 27, S. 140.

[39]) О влиянии немецкой классической философии на некоторых малогерманцев см.: H. Heller. Hegel und nationale Machtsstaatsgedanke in Deutschland.... Leipzig—Berlin, 1921; H. Schroth. Welt und Staatsidee des deutschen Liberalismus in der Zeit der Einheits- und Freiheitskampfe 1859—1866. «Historische Studien», 1931. Bd. 201. О влиянии романтизма см. G. von Below. Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen. München und Berlin, 1924; H. O. Siburg. Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts (1848—1871). Wiesbaden, 1958. О влиянии «исторической школы» политэкономии на Зибеля и Трейчке см. H. Seier. Die Staatsidee Heinrich von Sybels in den Wandlungen der Reichsgründzeit 1862/71. Lübeck und Hamburg, 1961; W. Bußmann. Treitschke. Sein Welt- und Geschichtsbild. Göttingen, 1952. О влиянии раннего позитивизма см. E. Rothacker. Die Einleitung in die Geisteswissenschaften. Tübingen, 1920.

[40]) H. Schleier. Die kleindeutsche Schule.— In: «Studien...», Bd. I, S. 298; derselbe. Sybel und Treitschke..., Berlin, 1965, S. 231—233.

Это не мешало этике Зибеля и Трейчке видоизменяться под влиянием современности (военные успехи Бисмарка). Так, если использование морали в объяснении излюбленной, важнейшей для малогерманцев проблемы государства в 50-е гг. XIX в. страдало известной недооценкой насилия, то после 60-х гг. быстро нарастает антигуманистическая, милитаристская сущность понимания малогерманцами насилия в структуре государства, что находит свое яркое выражение в этизации Трейчке грабительских войн, культе государства и в резких нападках на миролюбивые традиции просветителей[41]).

Под влиянием успехов династических войн Бисмарка — антипросветительская трансформация этики у малогерманцев нарастала; порывая с гуманизмом Монтескье, Руссо, Канта, Гердера, выступавших за мир и дружбу между народами, этика у Трейчке наполнялась человеконенавистнической, варварской пропагандой.

Значительную трансформацию претерпевает в мировоззрении малогерманской школы понимание традиционной проблемы — связи историографии с современностью, с политикой, проблема партийности исторической науки. Предшественники малогерманцев в этом вопросе — Гёте, французские либеральные историки периода Реставрации, часть гейдельбергской школы, «Молодая Германия», левогегельянцы — в понимании этих проблем в значительной мере находились еще под влиянием идеализма. Однако либерально-прогрессивный и буржуазно-демократический характер их критики феодализма и реакции помогал им занимать передовые для своего времени позиции в понимании политической функции науки. «Мы живем в такое время, когда каждый — тот, который воображает себя беспартийным, — даже против собственного сознания и воли, является, хотя бы только в теории, человеком партии, мы живем в такое время, когда политический интерес поглощает все остальное»[42]) — писал Фейербах накануне революции 1848 г. С ним перекликается мысль Генриха Гейне: «Мы пишем за или против чего-нибудь, за какую-нибудь партию или против нее, вялая беспартийность.... всегда есть ложь»[43]). Необходимость политического, партийного размежевания горячо отстаивал в 30-е гг. XIX в. и Велькер, называвший свое время временем политики, когда «господствующее направление в стремлениях людей и народов — политическое»[44]). При этом прогрессивные историки первой половины века не склонны были понимать связь исторической науки и политики в форме простого подчинения первой второй, они уже чувствовали определенную сложность этой диалектической взаимосвязи: видели не только решающее влияние современности на историографию, но и активное влияние науки на политическую борьбу за единство нации. «История больше, чем какая-либо другая наука пробуждает и воспитывает в людях идею свободы, она органически соединяет любовь к отечеству с любовью к свободе»[45]), — писал Роттек.

У малогерманских историков, на первый взгляд, перенявших теоретические установки предшественников, в действительности понимание связи историографии и политики приобретало уже другой (как в онто-

[41]) Подробнее об этом см: H. Schleier. Sybel und Treitschke..., S. 104—126.
[42]) Л. Фейербах. Избранные философские произведения. Т. II, М., 1955, стр. 493.
[43]) Г. Гейне. Собр. соч., т. 9, М., 1959, стр. 92—93.
[44]) C. T. Welcker. Allgemeine enzyklopädische Übersicht der Staatswissenschaft und ihre Teile.— In: Staats—Lexikon... Hrsg. von Carl von Rotteck und Carl Welcker. Bd. I. Altona, 1834, S. 3.
[45]) C. von Rotteck. Gesammelte und nachgelassene Schriften. Hrsg. von Rotteck. Bd. I. Pforzheim, 1841, S. 377.

логическом, так и в гносеологическом планах) характер. У Зибеля, Дройзена, Трейчке на первый план все больше выдвигался примат политики над наукой, сама историческая наука, по существу, низводилась до уровня послушного инструмента политики, глашатая «прусской легенды». Новый момент, навеянный 1848 годом, — выступление не только против феодализма, но и против «радикализма»[46]). В речи Зибеля «О состоянии новой немецкой историографии», произнесенной в 1856 г. в Марбурге, этот двойственный характер политических задач историографии разрешается, однако, явно односторонне. Не соглашаясь с «объективностью» Ранке, отвергая «нейтрализм», восторгаясь политическим размежеванием немецких историков по различным партиям («какой в высшей степени значительный прогресс!»), Зибель при этом боится «дурных влияний радикализма» на историографию. Отсюда и его призыв к немецким либералам и консерваторам — заключить политическое соглашение между собой, как виги и тори в Англии. Отсюда и осуждение просветительского морализма Шлоссера и противопоставление ему в качестве «истинного историка» Ранке. Зачеркивая достижения прогрессивной школы Шлоссера в борьбе с реакционным романтизмом, Зибель видит в немецкой историографии до 1848 г. только достижения романтиков (создание «истории культуры» Савиньи и Эйхгорном, критического метода в источниковедении Нибуром — Ранке)[47]).

Робкая критика теоретических принципов дворянской историографии, фактическая поддержка их и резкое выступление против близких к демократизму старолиберальных историков-просветителей — результат влияния антидемократических политических взглядов Зибеля, «человека компромисса и середины», «консервативного вига», как называли его Э. Маркс и П. Байи[48]). Совершенно прав был историк-марксист ГДР Г. Шлейер, когда оценивая в целом понимание малогерманской школой проблемы связи истории и политики, писал: «По сравнению с прогрессивными буржуазными историками предшествующих десятилетий, которые тоже сознавали необходимость связи политики и историографии (также идеалистически, но все же в радикально-буржуазном духе) школа сделала роковой шаг назад, поскольку политическое истолкование этой связи служило классовому союзу с юнкерством и подчинению прусскому милитаризму»[49]).

Современные западногерманские историки недооценивают, а подчас попросту искажают влияние политической линии компромисса с юнкерством на методологию малогерманской школы[50], стремятся затушевать отрицательные последствия этого влияния (антидемократический пересмотр ряда идеологических принципов буржуазии периода ее восходящего развития). Так, Вальтер Буссман даже в поздних взглядах Трейчке на прогресс готов усмотреть «рационалистическо-просветительский характер»[51]). Историки-марксисты ГДР, разоблачая эти искажения, убедительно показывают, что понимание прогресса Зибелем и Трейчке представляло собой постепенную вульгаризацию

---

[46]) H. von Sybel. Vorwort.— «Historische Zeitschrift», 1859, Bd. I, S. III—V.

[47]) H. v. Sybel. Über den Stand der neueren deutschen Geschichtsschreibung.— In: H. v. Sybel. Kleine historische Schriften. München, 1863, S. 345—358.

[48]) H. Seier. Staatsidee Heinrich von Sybels in den Wandlungen der Reichsgründzeit 1862/71. Lübeck und Hamburg, 1961, S. 17.

[49]) H. Schleier. Sybel und Treitschke..., S. 223.

[50]) Марксистскую критику взглядов историков ФРГ на малогерманскую школу см. G. Schleier. Sybel und Treitschke..., S. 281—296.

[51]) W. Bußmann. Treitschke. Sein Weit — und Geschichtsbild. Göttingen, 1952, S. 265, 250.

и трансформацию просветительской теории прогресса, оно было менее исторично, менее оригинально, чем староидеалистическая философия истории просветителей, а в том виде, какой она приобрела в 70—80 гг. XIX в., предвещала исчезновение веры в прогресс у поздней (империалистической) историографии[52]). Действительно, политический опыт революции 1848 г., торжество прусского пути объединения Германии в 1866—1871 гг., Парижская коммуна 1871 г. и рост социалистического движения в Германии не могли не оказать влияния на трансформацию традиционно-просветительного понимания прогресса во взглядах малогерманских историков. Из прогресса «исключаются» многие немецкие народы: движущей силой прогресса, по Зибелю и Трейчке, становятся «великие личности», монархи; подчеркивается, что реформы (а не революции, совершаемые силой «черни») двигают вперед общество. Понятие «народ» приобретает в толковании малогерманцев все более реакционный характер, «народ» низводится до инертной, безвольной массы. Как итог проделанной эволюции в понимании прогресса — от умеренного либерализма до ярого консерватизма — звучат сказанные Зибелем незадолго до смерти (1895 г.) Эриху Марксу слова: «Я разделяю мнение Трейчке: время делают великие люди. Масса ничего не создает...»[53]). Соответственно трансформируется и свойственное либерально-прогрессивным историкам до 1848 г. понимание истории как духовного и культурного прогресса всех народов и задача историка — быть союзником этого прогресса, изучать идеальные, духовные стремления народов (стремление к свободе), не зависящие от воли правительства. Эта, хотя и просветительско-идеалистическая, но все же прогрессивная в 20—30-е гг. XIX в., в условиях меттерниховской Германии, теория, подменяется в 70—80-е гг. XIX в. не менее идеалистическим и откровенно реакционным требованием Трейчке изучать историю сильных личностей, якобы воплощающих в себе народы и государства.

В 70-е гг. XIX в. выяснилось, что малогерманская школа не в состоянии противопоставить просветительской теории прогресса сколько-нибудь лучшее решение проблемы. С одной стороны, малогерманцам было трудно отграничиться от Kontinuitatsgedanke реакционных романтиков[54]), с другой стороны, попытки создать свое понимание прогресса наталкивались на отсутствие сколько-нибудь оригинальной философии истории и всемирно-исторической концепции. Созданию последней препятствовал и ярый прусский национализм школы, искусственное выпячивание истории Пруссии (с правлением Гогенцоллернов) в мировой истории как якобы олицетворения прогресса.

В итоге малогерманская школа не смогла создать свою концепцию всемирной истории (что пытался сделать Ранке).

Малогерманская школа оказала значительное влияние на развитие немецкой историографии конца XIX века (в плане воинствующего национализма, в плане поддержки агрессивной внешней политики, в плане всемирного восхваления сильной монархии — прусского государства и т. д.). И тем не менее, эта школа после 70-х гг. XIX в. оказалась нежизнеспособной: она распалась со смертью Дройзена, Зибеля, Трейчке. Тот факт, что исчезновение школы произошло не в результате каких-либо потрясений, а со смертью ее основоположников — яркий пример нежизнеспособности малогерманской школы. Единство и жизне-

---

[52]) H. Schleier. Sybel und Treitschke..., S. 265—268, 233—234.
[53]) E. Markes. Männer und Zeiten. Bd. I. Leipzig, 1911, S. 272—273.
[54]) H. Schleier. Die Kleindeutsche Schule. — In: «Studien...», Bd. I, S. 303; H. Seier. Staatsidee Heinrich von Sybels..., S. 12.

способность этой школы определялись социально-политическими потребностями классовых сил в Германии 50—70-х гг. XIX в. С реализацией политической программы малогерманцев, с победой прусско-монархического пути объединения страны, когда роль школы, казалось, должна была особенно возрасти, эта школа исчезает. В 80—90-е гг. сочинения ее лидеров не характеризовались ни широтой проблематики, ни оригинальностью общеисторической концепции. Ведущие деятели малогерманской школы не сумели дать ничего нового, занимаясь лишь идеологическим укреплением здания немецкой империи. Между тем в новой ситуации этого было уже явно недостаточно. В конце XIX в. возник австро-прусский союз, появилось пангерманское движение. Отрицательная трактовка роли Австрии, данная Зибелем—Трейчке, оказалась уже неприемлемой.

Выдвижение Германской империи на мировую арену вызвало потребность в новой проблематике, связанной со всемирной историей, а историки-малогерманцы были весьма мало подготовлены для этого: они располагали лишь традицией прославления прусского монархического государства, но этой традицией в конце XIX века уже нельзя было ограничиться, поскольку теперь немецкой буржуазией ставился вопрос не о гегемонии Пруссии в Германии (эта гегемония была достигнута), а о гегемонии немцев вообще (Германии и Австрии) в Европе.

Все это обусловило то обстоятельство, что ученики Зибеля, Дройзена, Трейчке не столько продолжают линию малогерманской школы, сколько ищут новые пути. На щит поднимается Ранке, возрождение его школы в 80—90-е гг. XIX в. (так называемое «неоранкеанство»)[55]) было связано прежде всего с наличием у Ранке определенной всемирно-исторической концепции, которая позволяла (конечно, в обновленном и трансформированном виде) как-то преодолеть узость тематики малогерманцев. Идея «равновесия государств» Ранке приобретает особую актуальность в конце XIX века именно в плане всемирной истории, она приобретает новое звучание в связи с выходом на мировую арену молодого агрессивного германского империализма.

В эти же годы наблюдается тяга и к методологии Ранке. Для реакционной немецкой буржуазно-юнкерской историографии прежнее провозглашение Зибелем и Дройзеном политического размежевания историков по партиям как «прогресса» в 80—90-е гг. XIX в., в условиях борьбы уже не с великогерманцами, а с общенемецким социалистическим рабочим движением, становится явно неприемлемым. Принцип партийности исторической науки даже в его антидемократически-прусском понимании кажется немецким историкам помехой в борьбе с марксизмом, более приемлемой для этой цели представляется им «объективность» Ранке. Сами малогерманцы также чувствуют политическую нецелесообразность пропаганды в новых условиях субъективизма и буржуазной партийности. Зибель в 80—90-е гг. XIX в. отказывается от критики объективизма Ранке и даже восхваляет его[56]), отрицательное отношение Зибеля вызывает уже позитивизм Лампрехта[57]) и распространение социально-экономической проблематики в немецкой историографии, противоречащие историографической практике как Зибеля, так и Ранке.

---

[55]) Об этом см.: G. Schleier. Die Ranke-Renaissance.— In. «Studien über die deutsche Geschichtswissenschaft», Bd. II, S. 99—135.

[56]) См. H. v. Sybel. Gedächtnisrede auf Leopold von Ranke. (1886) — In: H. v. Sybel. Vorträge und Abhandlungen. München und Leipzig, 1897.

[57]) Подробнее об отношении Зибеля к Лампрехту см.: H. Schleier... Sybel und Treitschke..., S. 241—244.

В эти годы изменяется и трактовка проблемы государства, вырабатывается взгляд, представляющий модернизацию идей Ранке и отчасти Трейчке. Буржуазно-юнкерским историкам конца XIX в. уже не импонирует понимание государства только как силы, которую высказывал в 60—70-е гг. Трейчке.

Подводя итоги, можно сказать, что появление малогерманской школы, ее господствующее положение в немецкой буржуазной историографии 50—70-х гг. XIX века, ее дальнейшая эволюция и исчезновение в конце XIX века были обусловлены потребностями социально-политического порядка. **Малогерманская школа была прежде всего и главным образом идейно-политическим течением.** Общее участие в пропаганде «прусского» пути объединения Германии сплачивало членов школы.

Однако это единство не исключало и наличия разногласий по научным вопросам. Представляя пестрое объединение историков, прошедших обучение у самых различных учителей (от реакционера Савиньи до прогрессивного историка Шлоссера), малогерманцы неизбежно должны были расходиться в понимании ряда теоретических проблем исторической науки. У малогерманцев не было единого понимания закономерности общественного развития, здесь сталкивались точка зрения Зибеля, признававшего существование неизменных «нравственных» законов (эклектическое соединение идей немецкой классической философии и французского позитивизма 50-х гг. XIX в.) и точка зрения Дройзена, категорически возражавшего против самой постановки вопроса о законах общественного развития[58]). Эклектизм, известные разногласия характеризуют и теорию познания малогерманских историков, их понимание специфики исторического познания. Здесь также сталкивались точки зрения Зибеля и Дройзена.

Зибель, по свидетельству близкого к нему К. Ольденбурга, проявлял большой интерес к естествознанию, присутствовал на съездах биологов, не раз в беседе с ними высказывая мысль о необходимости приблизить историю по точности методов исследования к естествознанию[59]). Свидетельство Ольденбурга подтверждается и рядом работ Зибеля 60-х гг. XIX в. В этом отношении характерны его речь «О законах исторического познания», отчасти речь «Три боннских историка» (речь памяти Арндта, Дальмана, Лейбеля)[60]). В них проявляется присущий Зибелю рационализм, высокая оценка успехов естествознания, его методов исследования (наблюдение, эксперимент и др.), вера в закон причинности и взаимосвязи явлений в истории, стремление к объективной истине. Взгляды Зибеля, несомненно, навеяны работами английского позитивиста Бокля. Но эта положительная сторона теории познания Зибеля серьезно ослаблялась общим идеалистическим пониманием им специфики общественных и естественных наук. Зибель свел все трудности познания истории к психологическим моментам (несовершенство человеческой памяти и др.). При этом им игнорировалась классовая, социальная основа познания, игнорировалось то, что источники отражают не только индивидуальность психологии автора, но прежде всего его классовую идеологию, которая определяется конкретно-историческими условиями, социальной, классовой борьбой того

---

[58]) I. G. Droysen. Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft. «Historische Zeitschrift», 1863, Bd. 9.

[59]) K. Oldenbourg. Heinrich von Sybel.— «Historische Zeitschrift», 1895, Bd. 75, S. 387.

[60]) H. v. Sybel. Über die Gesetze der historischen Wissens. Rede, gehalten am 3 August 1864..., Bonn. 1864; derselbe. Drei bonner Historiker.— «Historische Zeitschrift», 1868, Bd. 18.

или иного времени. Нереален и идеалистичен путь точного изучения истории, равного по точности естествознанию, который предложил Зибель (полное доверие официально-дипломатическим документам и недоверие, очищение субъективных наслоений в источниках нарративного характера с помощью «критического ума»). Он интересен лишь тем, что еще раз подтверждает эклектизм методологии Зибеля — стремление прусского историка сочетать противоречивые вещи: идею Бокля о сближении истории по точности методов исследования с естествознанием с установкой Ранке о необходимости использования официально-дипломатических документов как «надежных» (которая, как известно, базировалась на чуждой позитивизму теории познания реакционного романтизма).

Если теория исторического познания Зибеля при всей ее несовершенности все же содержала некоторые научно-прогрессивные идеи, то этого нельзя сказать о теории познания истории Дройзена. В отличие от Зибеля, сочувственно относившегося к ряду идей Бокля, Дройзен выступал воинствующим антипозитивистом. Он расходился с Зибелем, считавшим, что историк должен брать пример с естествоиспытателя, учиться у него точности методов исследования. Дройзен выступал категорически против такого рода призывов, полагая, что естественнонаучные методы неприменимы к истории[61]). Абсолютизируя различия между двумя науками, Дройзен решительно противопоставлял историю как дисциплину, изучающую область человеческого духа, нравственный мир, естествознанию, которое изучает природу[62]). По мнению Дройзена, исторические явления сугубо индивидуальны, неповторимы, поэтому бессмысленно искать в истории какие-то законы, нелепо возводить ее в науку[63]. Дройзен утверждал, что «сущность нашей дисциплины неясна...»[64]). История не наука, а скорее своеобразное искусство, искусство описания фактов. Поэтому задача историка — улучшать методы описания фактов, развивать теорию методики изучения, словом, искать законы исторического познания, а не законы истории[65]).

Дройзен подчеркивал, что эту задачу успешно решила лишь критическая школа в немецкой историографии, т. е. школа Ранке. Ее великая заслуга в том, что она нашла способ проверки ценности источников. Дройзен подчеркивал, что при изучении истории мы восстанавливаем не «объективное» прошлое, а лишь субъективные воспоминания о нем, что получаемые и полученные взгляды — это все, что мы в силах узнать о прошлом и что, таким образом, «история» не вне нас и не реалистична, а проявляется лишь в познании, в исследовании — это положение должно стать исходным пунктом для желающих остановить натурализацию истории[66]).

Установка Дройзена весьма важна для понимания характера его теории познания. Во-первых, она таила в себе возможность распространения агностицизма и антинаучного релятивизма по отношению к историческим фактам, во-вторых, представляла несомненное искажение

---

[61]) I. G. Droysen. Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft.— «Historische Zeitschrift», 1863, Bd. 9, S. 4.

[62]) Ibidem, S. 20.

[63]) Ibidem., S. 6—7, 12. См. также I. G. Droysen. «Historik». Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte. Hrsg. von R. Hübner. München und Berlin, 1937, S. 17—18.

[64]) I. G. Droysen. Antrittsrede in der Berliner Akademie. (1867) — In: I. G. Droysen. «Historik»..., S. 428.

[65]) I. G. Droysen, op cit., S. 428. derselbe. Kunst und Methode.— In: I. G. Droysen «Historik»..., S. 421.

[66]) I. G. Droysen. Kunst und Methode.— op. cit., S. 420.

гносеологии самого Ранке. Для основателя «критической школы» не подлежала сомнению возможность достижения объективной истины путем изучения конкретных фактов дипломатических источников. Дройзен же отходил от этой уверенности, его многочисленные высказывания 60-х гг. XIX в. и более поздних лет все больше и больше окрашены агностицизмом.

Дройзен отрицал объективность прошлого. «Мы имеем только современность», — утверждал историк[67]). Дух современности оживляет прошлое, факты существуют только потому, что существует сам историк. «Вся наша наука зиждется на том, что из подобного, столь современного материала мы восстанавливаем не прошлое, а лишь наши представления о нем...»[68]). Дройзен полагал, что «для исторического исследования прошлое не является объектом именно потому, что оно исчезло; — объектом может быть лишь то, что осталось от прошлого: воспоминания о нем или остатки ранее существовавшего и происходившего»[69]).

В исторических источниках Дройзен отказывался видеть памятники, отражающие объективное прошлое, реально происходившие исторические события. Он видел в источниках лишь представления или воспоминания современников о прошлом[70]). Таким образом, Дройзен разрывал и даже противопоставлял друг другу историческое прошлое и исторические источники. «Такое противопоставление в сочетании с отказом усматривать в результатах познания прошлого отражение исторической действительности открывало широкий простор для крайнего релятивизма в исторической науке»[71]).

И действительно, теоретико-познавательные установки Дройзена содержат многочисленные выпады против теории отражения в историографии. Утверждая, что прошлое навсегда умерло и живет лишь в наших представлениях, Дройзен принципиально отвергал возможность познания объективной истины, возможность отражения прошлых событий, восстановления фактов и явлений историком. Он скептически относится почти ко всем видам источников, подчеркивает «поверхностность и ненадежность наших сведений о прошлых временах...»[72]). Дройзен акцентировал внимание на том, что мы никогда не узнаем всех мыслей героев прошлого, мотивов их подлинных поступков, мы можем лишь более или менее представить их мысли. В истории, подчеркивал Дройзен, множество неизвестных нам явлений, неповторимых, особых, они не поддаются объяснению, их можно только описать, да и то не во всех случаях.

«Многое, о чем мы спрашиваем и что мы могли бы исследовать, даже не может быть понято,— подчеркивал Дройзен.— Как наши императоры во время поездок в Рим преодолевали с тысячами людей и лошадей Альпы, как они в горах снабжались продовольствием, как после революции, которую Александр Великий пронес над Азией, была организована торговля в Средиземном море, — на все эти вопросы источники не дают нам никаких сведений»[73]).

---

[67]) I. G. Droysen. Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft.— «Historische Zeitschrift», 1863, Bd. 9, S. 9.

[68]) I. G. Droysen. «Historik»..., S. 20.

[69]) Ibidem, S 327.

[70]) Ibidem, S. 37

[71]) А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX в. М., 1958, стр. 54.

[72]) I. G. Droysen. Kunst und Methode...— In: I. G. Droysen. «Historik»..., S. 421.

[73]) Ibidem.

Спору нет, источники часто страдают неполнотой данных и далеко не всегда могут дать нам те или иные интересующие нас сведения. В этом Дройзен прав. Однако это не дает никаких оснований, как делал Дройзен, релятивистски относиться к объективному содержанию источников. Неполнота исторических данных не только не освобождает историка от задачи исследовать ту или иную проблему, но, напротив, обязывает его заботиться о всемерном расширении источниковедческой базы, о комплексном изучении всего имеющегося круга документов. Только при таких условиях неизвестное будет постепенно становиться известным, неполное знание — более полным.

Кроме того, совершенно не обязательно и не нужно стремиться к абсолютно исчерпывающему знанию мелких деталей, к чему призывает Дройзен. Историку не так уж важно знать, как снабжалась продовольствием в Альпах свита немецких императоров. Нет большой беды, если мы не будем знать эту деталь — от этого не изменится понимание хода основных событий.

Историку гораздо важнее знать ход социальных процессов в средневековой Германии, развитие классовой борьбы и место императоров в этой борьбе. Таким образом, историку нужно знать наиболее существенное, что позволяло бы вскрыть закономерность общественного развития и ее конкретное проявление в ту или иную эпоху, в конкретный период и конкретной стране. Под этим углом зрения он и должен рассматривать источники, определяя, насколько тот или иной документ содержит объективно-истинное отражение прошлого. По этому кардинальному вопросу мы и спорим с Дройзеном, отвергая, как ненаучный, его курс на описание мелочных событий, третьестепенных деталей, связанных с деятельностью «великих личностей». Невозможно согласиться с дройзеновским пониманием истории как нагромождения особых, неповторяемых фактов, которые историк будто и описать толком не может. Задача историка — не просто описывать и описывать далеко не всякий факт; его задача — на основе описания и теоретического анализа из «хаоса» фактов выделять общее, закономерное в объективной логике событий, уметь видеть проявление общего в особом и единичном.

Теория исторического познания Дройзена даже в рамках немецкой идеалистической историографии 50 — 60-х гг. XIX в. выделялась своим отсталым характером. Расходясь в гносеологии с Зибелем, отходя даже от Ранке в понимании объективной истины, Дройзен пытался приспособить идеографизм Ранке, его критические методы к агностическим и релятивистским теоретико-познавательным принципам. Историографическая практика Дройзена со всей очевидностью показала полнейшую несостоятельность его принципов. Работы Дройзена еще в меньшей степени, чем работы Зибеля, содержали позитивные научные результаты. В то время как «Историю французской революции и ее времени» Зибеля продолжали хвалить и в 80—90-е гг. XIX в., «История прусской политики» Дройзена настолько казалась примитивной, что вызывала насмешку даже у буржуазных немецких историков.

На примере Зибеля и Дройзена мы могли видеть, что и в методологии, и в теории исторического познания малогерманская школа не была достаточно единой, проявляла эклектизм, оставалась в плену у идеализма худшего толка.

***

Подведем некоторые итоги.

1. Теоретическая, методологическая база немецкой буржуазной историографии в 50—60-е гг. XIX в. явно приходит в упадок ввиду неспособности «старого» либерализма (гейдельбергская школа) в но-

вых условиях решительно пойти дальше узкого просветительства в политике и в методологии и невозможности для господствующего «нового» либерализма (малогерманская школа) решительно порвать со многими теоретическими принципами реакционного романтизма вследствие антидемократического курса малогерманцев в политике (компромисс с юнкерством после 1848 г., поддержка прусской монархии в объединении страны).

2. Упадок немецкой буржуазной теоретической мысли данного периода отчетливо проявляется в методологии малогерманской школы, которая характеризуется отказом от ряда достижений «старого» либерализма (моралистская критика монархов, князей, универсально-гуманистический подход к истории и др.) и отсталой, скудоумно-эклектической трансформацией традиционно-просветительского использования этики как исходного пункта общеметодологических и социологических принципов (закономерность общественого развития, прогресс, государство и т. д.).

3. Все это неизбежно предопределяло весьма ограниченные результаты историографической практики малогерманцев, которые не могли выйти за рамки успешного решения отдельных частных проблем истории и известного расширения источниковедческой базы на основе критического метода Ранке.

Изучение идейно-методологических основ немецкой буржуазной историографии после 1848 г. наглядно подтверждает правильность мысли Ф. Энгельса о том, что эпоха 50—60-х гг. XIX в. является «эпохой эпигонов», когда «оригинальные мыслители» в среде имущих классов были крайне редки»[74]).

[74]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., Изд. 2-е, т. 16, стр. 382.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды· том 193 Серия историческая

СТРУКТУРА ТЕОРИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ*

(окончание)

А. И. УВАРОВ

Существенное значение для понимания сущности и структуры исторической теории и тем более для выяснения гносеологической природы реконструируемых объектов имеет анализ способов построения реконструируемых объектов в исторической науке. Но прежде чем приступить к этому, необходимо хотя бы в общих чертах остановиться на вопросе об условиях построения теории, в том числе исторической теории и реконструируемых объектов. Они в значительной степени предопределяют способы и средства создания реконструируемых объектов. При этом условия построения исторической теории, естественно, значительно отличаясь от условий построения реконструируемых объектов, которые выступают всего лишь как один из компонентов ее, взаимообусловливают друг друга, влияют друг на друга и по ряду пунктов совпадают.

Для того, чтобы построить научную теорию, относящуюся к изучаемому объекту, необходимо определить внутренние границы его, а это невозможно сделать не установив гносеологической единицы исследования применительно к данному объекту и данной создаваемой теории; затем требуется располагать достаточным количеством существенных фактов и соответствующим научным методом исследования или группой их, сведенных на основе философского метода познания и логического аппарата исследования истины в единую систему методов, приспособленную для разработки определенной теории. Важное место в создании научной теории занимает правильная выработка идеи ее, которая нередко в начале постулируется, и зачастую весь смысл создания теории сводится к доказательству, развитию и конкретизации выдвинутой идеи. Постулирование, охватывая не только идею, но и другие виды знания, с помощью которых и на основе которых строится любая теория, также служит неотъемлемым условием построения научной теории, хотя и проявляется оно в каждой отрасли знаний, а в определенной мере и в каждой создаваемой теории в разной степени и в разных формах. В одних случаях к постулированию прибегают открыто, в других случаях им пользуются в неявной форме.

При выдвижении новой теории одним из определяющих факторов как гносеологических, так и социальных является ее актуальность, без чего не будет разрабатываться ни одна серьезная научная теория. Невозможно создавать научную теорию — эту высшую форму научного мышления со сложной внутренней и внешней[1]) организацией знаний —

---

* [1]) С нашей точки зрения, в научной теории следует выделять внутреннюю и внешнюю форму.

без наличия целого арсенала логических правил ее построения, в том числе изложения содержания знаний, входящих в ту или иную теорию. Правила же эти и их применение зависят от общего уровня развития наук, разработанности логики, а также от общей культуры и логической грамотности автора теории. Каждая теория должна быть максимально простой и по своему содержанию, и по своей форме, опять же как внутренней, так и внешней. Простота научной теории достигается имеющимися в науке средствами упрощения знаний, которые могут быть и общими для всех конкретных наук, но со своеобразным проявлением в каждой отрасли знаний, и специфическими, т. е. выработанными в отдельных науках именно для теорий их профиля. К наиболее общим способам упрощения следует отнести идеализацию, формализацию, моделирование и в определенной мере структурный метод познания действительности. Само собой разумеется, перечисленные способы исследования действительности не только упрощают знания, но и служат важными средствами открытия объективной истины, а тем самым одним из фундаментальных условий построения научной теории[2]).

Перечисленные нами общие условия построения научной теории трансформируются по-своему в теориях исторических наук. Некоторые из этих особенностей конструирования исторических теорий нами уже рассматривались в предыдущих разделах данной работы. На двух же из них, а именно: на вопросе об абстрактности в исторической науке и применения в ней постулирования следует остановиться специально.

Проблема актуальности в науке освещена в философской и методологической литературе слабо, хотя затрагивается она часто, и негласно как бы считается, что здесь фактически все ясно[3]). На самом же деле это одна из очень сложных теоретических проблем, затруднение понимания которой усугубляется не только исключительной сложностью и противоречивостью самого объекта (в каждой науке актуальность ее и ее теорий проявляется по-разному), но и тем, что представление об актуальности научных знаний исторически изменчиво. В разные эпохи можно даже сказать и разные классы во многом по-разному судят об актуальности теорий. В настоящее время, когда пишут об актуальности научных знаний, т. е. теорий и наук, имеют в виду обычно их социальную сторону, что справедливо, но недостаточно. Категория актуальности многогранна. Ее содержание не исчерпывается, безусловно, отражением социального аспекта знаний. Она выражает определенные гносеологические и логические стороны человеческого познания. Актуальность — широкое синтетическое философское понятие. Оно не укладывается ни в рамки логики, ни в рамки социологии. Это, с нашей точки зрения, как раз одна из тех категорий, которая в полную меру будет разрабатываться формирующейся в наше время новой наукой; наукой о науке и которая будет входить в основу системы категорий этой науки. При рассмотрении вопроса об актуальности в науке следует различать актуальность той или иной науки и актуальность конкретных

[2]) Д. П. Горский пишет об упрощении знаний: **«Упрощение... в гносеологическом смысле является функцией более глубокого отображения действительности** (увеличения количества и качества информации, получаемые о ней)». Д. П. Горский. Проблемы общей методологии наук и диалектической логики. М. 1966, стр. 72. Курсив автора—А. У.

[3]) Применительно к исторической науке имеется специальная статья П. Н. Хмылева «Проблема актуальности в историческом познании», в которой автор делает попытку разобраться в этом вопросе с теоретической точки зрения. См. сб. «Методологические и историографические вопросы историчекой науки» (выпуск 2). Томск, 1964.

Рассматривает данный вопрос также Б. Г. Могильницкий в своей статье «Объективность и партийность в историческом исследовании», помещенной в этом же сборнике.

теорий, либо более частных элементов наук: отдельных гипотез, взглядов и т. п. Несмотря на тесную связь между актуальностью первого и второго рода, между ними есть разница, и они не совпадают друг с другом. Возможны случаи, когда в фундаментальной ведущей отрасли знаний возникают неактуальные теории, случайные с точки зрения развития данной науки, так как актуальные знания — это необходимые научные знания, хотя появление их может сопровождаться случайными факторами. Но бывают и обратные ситуации. Ученые, работающие в области так называемых второстепенных наук, время от времени способны выдвигать теории чрезвычайной важности и актуальности для всего человеческого познания.

Актуальность в исторической науке проявляется в трех аспектах. Во-первых, подлинно историческое знание всегда имеет непосредственное отношение к современности и зависит от нее. По поводу этой стороны актуальности исторических знаний А. И. Данилов пишет: «Социально-политическая действительность всегда определяла в конечном счете основные тенденции развития, проявляющиеся в данный момент в исторической науке. Воздействие социально-политической действительности на историческую науку в наиболее непосредственной форме осуществляется через влияние политической идеологии борющихся классов. В политических идеях эпохи часто можно обнаружить источник актуализации той или иной проблемы в исторической науке, а также исходный пункт ее конкретной интерпретации. «Социальный заказ», предъявляемый современностью исторической науке, неотделим от политических идей, возникших в процессе классовой борьбы».

При этом он верно отмечает, что взаимное влияние исторической науки и современности не исчерпывается сферой политики. «Влияние социально-политической действительности на историческую науку, — продолжает А. И. Данилов, — осуществляется и через современные философские, социологические и экономические теории. Обобщая опыт современной общественной борьбы с точки зрения определенного класса и используя результаты предшествующего развития философской, социологической и экономической мысли, эти теории так или иначе не могут обойтись без исторической интерпретации интересующих их вопросов. Они поэтому нуждаются в данных, полученных исторической наукой. В то же время идеи, развиваемые и обосновываемые философией, социологией и политической экономией оказывают мощное воздействие как на направление, так и на характер развития исторической науки»[4]).

К этому следует лишь добавить, что на историческую науку всегда оказывали и оказывают в настоящее время особенно воздействие, помимо общественных наук в узком смысле слова, многие науки как гуманитарного, так и естественного профиля, влияя в первую очередь на способы исторического познания.

Анализируя взаимоотношение между исторической наукой и современностью, необходимо также учитывать тот факт, что общественная действительность, включая идеологию и конкретные науки, влияет не одинаково на разные части и стороны исторической науки.

Во-вторых, в исторической науке, как и в любой науке, существует как бы собственная, внутренняя актуальность, вытекающая из логики развития самой исторической науки, когда становится совершенно необходимым разработка определенной проблемы, темы, создание той или иной теории. В исторической науке к этому примешивается еще

[4]) А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX—начала XX в. М. 1958, стр. 3—4.

сохранность исторических источников, ограничивающая выбор объекта изучения. Е. А. Косминский, касаясь причин интереса выдающихся русских медиевистов конца прошлого — начала текущего столетия к аграрной истории английского феодализма, пишет: «Англия влекла к себе русскую либеральную интеллигенцию, как контраст политическому строю царского самодержавия; но она притягивала к себе также исследователей разных лагерей, как тип раннего, чистого и законченного капиталистического развития. Хорошая сохранность английских источников, концентрация и доступность архивов, сравнительная простота и однообразие совершавшихся на почве Англии экономических процессов давали возможность ставить широкие и общие вопросы и разрешать их на почве широкого и достоверного материала. Едва ли на какой-нибудь другой почве, кроме английской, эти два основных момента в исследовательской работе — возможность постановки широких проблем и точного метода в их разрешении — встречаются в такой счастливой комбинации»[5]).

С конца XIX в. наблюдается усиление математизации наук, что отразилось, естественно, и на исторической науке. Особенность сохранившихся письменных памятников из жизни средневековой английской деревни позволяла применять к их анализу статистический метод. Последнее как раз увеличивало интерес русских историков к изучению аграрной истории английского средневековья. Применение статистического метода в изучении социального прошлого было необходимым условием и являлось закономерной ступенью в развитии исторической науки в целом.

В-третьих, проблема актуальности в исторической науке проявляется и в том, что историческое познание по своему существу органически связано с современностью[5а]). Связь эта проистекает с одной стороны, из того, что исследователь, познавая прошлое, до некоторой степени познает и настоящее, которое есть не что иное, как результат развития прошлого; с другой стороны, из того, что прошлое познается на основе современных знаний и интерпретируется оно с позиций настоящего, т. е. завершенного прошлого.

Отсюда актуальность следует рассматривать как момент логического познания в историческом познании. Категория актуальности служит необходимым звеном в раскрытии связи между логическим и историческим способами исследования.

Актуальность в качестве необходимого элемента содержится в ретроспекции, в реконструировании, где без опоры на современность познание объектов невозможно. И вообще она входит в любой научный метод исследования, тем более в философский способ познания мира, поскольку каждый научный метод так или иначе направлен на познание ставшего с учетом настоящего, с учетом современности, которая предстает в таком случае перед ученым как познанная, как идеальная, как осмысленная современность, как современность в идеальной форме. Даже о будущем в научном плане можно сказать фактически лишь то, что вырисовывается в настоящем.

Проявление актуальности в исторической науке имеет целый ряд особенностей, которые нужно учитывать для более глубокого понимания

---

[5]) Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историография средних веков. М. 1963, стр. 39.

[5а]) Воздействие современности на историческую науку не отрицают даже нынешние буржуазные историки, хотя и толкуют это обстоятельство по-своему. Так, западно-германский историк Г. Геймпель заявляет: «Современность — первый исторический источник историка». (H. Heimpel. Der Mensch in seiner Gegenwart. Göttingen. 957, S., 204).

философской природы исторической теории. В исторической науке проблема актуальности обнаруживает себя в более определенной, можно даже сказать в более резкой форме, чем в других отраслях человеческого знания, ибо историку приходится обосновывать необходимость и важность своей науки для современников. Тогда как представителем многих других наук этого практически делать не приходится.

Как мы видели выше, через категорию актуальности в исторических исследованиях проявляется принцип партийности в широком смысле этого слова, а это означает, что актуальность выступает в качестве непременного условия достижения объективной истины в исторической науке, что она влияет на момент абсолютного и относительного в исторической истине, так как актуальность бывает и прогрессивной, и регрессивной.

Воздействие актуальности на историческое познание столь глубоко и столь многосторонне, что приходится признать, что она затрагивает основы самой исторической теории, сам фундамент ее. Категория актуальности оказывает влияние не только на выбор темы, ее раскрытие, но даже на факты исторической науки, на их отбор, интерпретацию и в определенной степени их воссоздание, а точнее говоря, если иметь в виду научные факты, конструирование их.

Сказывается в исторической науке по сравнению с другими науками бо́льшая связь ее теорий с эмоциональной стороной читателя, либо слушателя, в том числе влияние на его общую культуру и воспитание.

Категория актуальности в некоторой мере облегчает задачу историка-исследователя. Она способствует выработке определенной схемы выбора объекта исследования, подхода к нему и в некоторой мере предопределяет выводы из анализа изучаемого материала. Однако последнее уже свидетельствует об отрицательном моменте воздействия категории актуальности на историческое познание. Она направляет мысль исследователя на выяснение общих сторон в историческом процессе и не толкает непосредственно к установлению индивидуального и специфического в событиях прошлого, т. е. категория актуальности таит в себе опасность расширительного использования аналогий в историческом познании, поэтому она постоянно нуждается в диалектической корректировке и интерпретации. Последняя необходима хотя бы в рамках стихийной диалектики, что и наблюдается в трудах крупных историков-исследователей, не стоявших на позициях марксистского мировоззрения.

Конъюнктурщина, модернизация, стилизация и идеализация прошлого, свойственная в силу тех или иных причин в той или иной степени значительному числу исторических сочинений также суть следствия проявления отрицательной стороны актуальности в исторической науке.

Сложной, важной и вместе с тем практически не исследованной в философской литературе является такая научная форма мышления, как постулирование, без которого нельзя построить ни одной научной теории ни в какой отрасли наук: будь то теоретическая наука или прикладная.

Под постулированием мы понимаем такую форму мысли, где знания возникают в результате синтеза наиболее достоверных предельно обобщенных прежних старых знаний, выраженных в наиболее краткой форме и первых приближенных абстрактных знаний об исследуемом объекте. Как форма мысли постулирование противоречива и многогранна. Она выходит за рамки обычных логических форм мысли и потому, что она связана с интуицией, и потому, что связана с верой. Научное познание не исключает абсолютно веру как таковую. Оно выступает

противником религиозной веры и предполагает научную веру, в частности, веру в силу человеческого разума и в определенных пределах в силу научного авторитета. Другое дело, что в реальном человеческом познании элемент веры, входящий в науку, нередко абсолютизируется и становится источником заблуждения. Вера в науке способствует связи нового знания со старым, т. е. способствует преемственности в научных знаниях, позволяет делать первые приближенные проверки полученных новых выводов и, что особенно важно, усиливает, расширяет эвристические возможности научной мысли. Без момента научной веры не может функционировать не одно постулирование, а и предположение, догадки, гипотеза, короче те логические операции и формы мышления, которые всей своей сущностью направлены на открытие новых истин. Однако все это не снимает консервативное начало, которое свойственно всякой вере, в том числе и научной.

Знания, которые содержатся в постулате, как это вытекает из самой природы постулирования и нашего определения его, не равноценны по своей глубине и истинности. Постулат — это яркий пример единства в человеческом познании абсолютной и относительной истины. Структура их следующая.

Постулат включает в свое содержание:

1) общие доказанные прежние знания, которые складываются из прежних установленных уже знаний экстраполированных на исследуемый объект и знаний, почерпнутых из мировоззрения исследователя;

2) новых, также общих знаний, касающихся рассматриваемого объекта и носящих характер гипотезы и догадки, так как они в начале в постулате высказываются без обстоятельного доказательства и обоснования в качестве лишь предположения[6]);

3) наконец, элемент научной веры[7]). Последняя, третья структурная единица постулата как формы научного мышления — научная вера как логически, так и психологически тесно связана с мировоззрением, т. е. с важной частью первого по содержанию элемента постулата[7а]). Внутреннее единство и замкнутость в структуре постулата делают его, с одной стороны, самостоятельной формой научного мышления, важной составляющей частью теоретического знания, с другой стороны, в определенной степени обосновывают и доказывают постулат с самого нача-

[6]) П. В. Копнин, различая гипотезу и догадку, так определил последнюю: «Догадка — это первоначальное предположение, которое еще в достаточной мере не исследовано, не выяснены его логические и эмпирические основания». (П. Копнин. Гипотеза и познание действительности. Киев, 1962, стр. 67).

Отсюда видно, что догадка это такой элемент в структуре постулата, который по мере утверждения его все больше и больше исчезает, пока не преодолевается теорией, возникшей на основе данного постулата, окончательно. Вообще не следует думать, что постулат нечто застывшее. Постулат развивается и исторически, и логически. Если в начале построения теории постулат выступает фактически как допущение, то в конце ее создания он превращается в один из элементов данной теории и тем самым становится доказанным знанием. Бывают, естественно, такие постулаты, которые доказываются не одной, а несколькими теориями, что не меняет сути положения. Создание теории, ее развитие и доказательство и есть по существу обоснование и конкретизация, по крайней мере, уточнение постулата или группы их, лежащей в основе определенной теории, если, само собой разумеется, она построена на постулате или нескольких постулатах.

[7]) Наличие научной веры в постулате указывает на один из истоков происхождения его как формы мысли, а именно на то, что первоначально постулирование было связано с религиозным мышлением. Это особенно наглядно прослеживается в сочинениях мыслителей древнего мира и средних веков.

[7а]) П. В. Копнин рассматривает научную веру как некое промежуточное звено «между знанием и практическим действием, она не только и не просто знание, а оплодотворенное волей, чувствами и стремлениями человека, знание, перешедшее в убеждение». (П. В. Копнин. Введение в марксистскую гносеологию. Киев, 1966, стр. 248).

ла его возникновения. Уже по одному этому неправильно было бы полагать, что постулат совершенно не доказывается в науке.

Знания, содержащиеся в постулате, являются общими по своей сущности, общими по сравнению с теорией, в основу построения которой он положится, но особенность их такова, что они направлены и, можно сказать, требуют раскрытия не только общих сторон у исследуемого объекта, но и, по крайней мере, дают возможность познавать специфическое и даже индивидуальное у этого объекта. А это особенно имеет значение для исторической науки. Данная особенность постулата объясняется многогранностью, синтетичностью, целостностью, системностью и в определенной мере завершенностью его содержания.

Как и всякий вид знания постулаты образуются рациональным и эмпирическим путем. С этой точки зрения, они подразделяются на постулаты дедуктивные и постулаты индуктивные. В разных отраслях знаний и в разные эпохи в человеческом мышлении господствует либо тот, либо другой тип постулирования. Однако следует иметь в виду, что рациональное и эмпирическое начала знаний в обязательном порядке присущи каждому постулату и подразделяя постулаты на дедуктивные и индуктивные мы берем лишь относительное превалирование в конкретном постулате того или другого начала.

Каково же назначение и какова роль постулатов в теории? Главная функция их — эвристическая. Постулаты способствуют открытию новых истин, в том числе таких, которые непосредственно не вытекают из знаний, имеющихся в распоряжении исследователя, т. е. старых знаний. Как прием научного мышления они в яркой форме воплощают в себе творческую сторону человеческого мышления, означают переломную точку, перерыв постепенности в нашем познании. Вместе с тем постулирование, в качестве своей теневой стороны, легко проявляющейся в практике познания, содержит предпосылки к догматизму, схематизму, пренебрежению доказательством выдвинутых положений, схоластике, к субъективизму вплоть до самых его крайних форм, т. е. вплоть до философского идеализма и религии включительно.

Помимо эвристической функции постулаты выполняют в теории другие функции, имеющие также отношение к эвристической функции, а именно: способствуют вычленению объекта исследования, накладывая определенные рамки на объект исследования, вводя исследователя в определенные границы; придают знаниям, составляющим содержание теории ясность, непротиворечивость, последовательность и системность[8]); выступают в роли критерия, хотя и не окончательного, для проверки истинности высказываний теории. Все это и свидетельствует о том, с одной стороны, что постулаты, как мы уже отмечали выше выступают в качестве важного условия построения теории, ее существенной основой, с другой стороны, заключают в себе возможности формализации теории. Операционалистские функции в познании постулированию присущи в большей мере, чем другим научным формам мышления.

Применяется постулирование как форма научного мышления и в исторической науке. При этом характер его использования во многом определяется мировоззрением исследователя, но не одним им, так как и постулирование будучи общим логическим приемом познания, к тому же весьма сложным, зависит от общего уровня развития наук, не

[8]) Нельзя не отметить в связи с этим, что системность в познании сама по себе содержит эвристическое начало, так как система, представляя собой нечто целое, требует как бы достройки недостающих элементов, т. е. исследование неизвестных сторон в изучаемом объекте.

говоря уже о том, что применение его зависит также в значительной степени от специфики объекта исследования. Марксистская методология не исключает использование постулирования при познании прошлого человечества. Она лишь предупреждает против его неправильного применения в исторической науке, как и в любой отрасли знаний, в частности, против абсолютизации этой формы мышления. Ф. Энгельс писал в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»: «Подобно натурфилософии, философия истории, права, религии и т. д. состояла в том, что место действительной связи, которую следует обнаруживать в событиях, занимала связь, измышленная философами; что на историю, — и в ее целом и в отдельных частях, — смотрели как на постепенное осуществление идей, и при том, разумеется, всегда только любимых идей каждого данного философа»[9]).

Злоупотребляли постулированием в исторической науке неокантианцы. В. Виндельбанд утверждал, например: «Закон причинности есть для нас научный постулат постижения природы, а поэтому мы должны применять его самоочевидное значение принципиально к душевной действительности так же, как и к телесному миру»[10]).

Еще определеннее заявлял на этот счет Э. Мейер: «...исторические законы существуют только в идеале, в качестве постулатов»[11]).

Историческому постулированию присущи свои особенности. В отличие от постулатов математических и естественных наук постулаты в исторической науке характеризуются бо́льшей гипотетичностью, предположительностью. Особенно важна их роль в начале исследования, в первоначальный этап построения теории, и в меньшей мере они используются в последующие этапы, поскольку историк, проникая все глубже и глубже в свой объект изучения, все больше и больше опирается на выводы, полученные в результате познания самого объекта. Тогда как в математических и естественных науках менее заметна разница в применении постулатов в начале исследования и в конце его, так как математик, например, создавая ту или иную теорию, вынужден постоянно обращаться к исходным аксиомам.

Историческое постулирование служит исходным пунктом для раскрытия сущности событий прошлого не одного общего в них, а и индивидуального, особенного, т. е. исторические постулаты по своему содержанию могут являться в значительной степени частными истинами[12]). Последнее, конечно, не означает вовсе того, что в подобного рода исторических постулатах отсутствует общее знание. Без общей истины, присутствующей в постулате пусть даже в заувалированном виде, постулата как формы научного мышления не может быть. Отсюда постулирование в исторической науке по сравнению с постулированием во многих других науках более тесно связано с чувственным познанием. Эта связь обусловливается, осуществляется и обнаруживается нашим познанием через историческую реконструкцию.

Значительная доля в содержании исторического постулата приходится на мировоззрение. Нередко исторические постулаты общего порядка представляют собой не что иное, как философские положения.

---

[9]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. изд. 2, т. 21, стр. 305.

[10]) В. Виндельбанд. О свободе воли. М., 1905, стр. 101.

[11]) Э. Мейер. Теоретические и методологические вопросы истории. М., 1904, стр. 30.

[12]) Историку, имеющему дело со многими неизвестными при изучении своего объекта, приходится чаще, чем другим ученым, в процессе познания прибегать к допущениям и различным предположениям, т. е. пользоваться рабочими постулатами или, по крайней мере, рабочей, в смысле преходящей относительной стороной в постулате.

Это создает гносеологические условия к схематизму и догматизму в исторических науках. Если же историк придерживается ошибочного мировоззрения, то его исходные постулаты в таком случае могут служить причиной грубых заблуждений и приводить к конфликту с фактическим материалом. Да и сами подобные постулаты в исторической теории оказываются в конфликте с фактами.

Когда мы давали общую характеристику постулированию, то отмечали связь данной формы научного мышления с формализацией в познании. В принципе это положение сохраняет свою силу и применительно к исторической теории. Однако возможность формализации исторического познания, заложенная в постулировании, сдерживается самим объектом познания и более заметно реализовываться будет лишь в будущем по мере проникновения в историческую науку количественных методов исследования. При этом следует иметь в виду, что количественной стороной в познании не исчерпывается постулирование вообще, историческое тем более, что то же в свою очередь ограничивает использование формализации в историческом познании на основе постулирования.

Существует еще одно условие, которое следует учитывать при построении многих теорий, в особенности при создании их в области исторических наук, где это условие сказывается в весьма значительной степени. Имеется в виду прием, названный Плехановым применительно к философским теориям «началом (принципом) антитезы» и основанный на том, что ученый, вырабатывая новую теорию, сознательно противопоставляет ее старым учениям. Широкое использование историками принципа антитезы объясняется большой ролью мировоззрения при построении теорий в исторических науках. Данный принцип, выражающий субъективную сторону объективного поступательного процесса в науке, исследователями используется прежде всего в начале создания новой теории. Но его действие может сохраняться и на завершающем этапе ее создания. А возможно даже и возрастание значения принципа антитезы к концу построения теории, так как могут выявиться дополнительные обстоятельства, свидетельствующие об ошибочности прежних представлений.

Помимо условий общих с теориями других наук исторические теории обладают своими специфическими условиями построения. К ним следует отнести характер и состояние исторических источников. От них во многом зависит объект исследования, аспект его рассмотрения, интерпретация описательного материала, глубина, достоверность исторической теории и всесторонность охвата ею изучаемого объекта. Исторические источники в значительной мере определяют метод исследования объекта, эффективность его и даже принципы построения и изложения самой исторической теории.

Не безразличен для построения теорий в исторических науках общий уровень развития художественного познания, на что было обращено внимание в предшествующей части нашей работы. Тогда как для теорий других отраслей знаний художественное мышление имеет меньшее значение.

Третьим, наиболее своеобразным, условием построения исторической теории будет необходимость создания в ходе этого построения реконструированного объекта.

Как отмечалось выше, условия построения реконструируемых объектов в исторической теории тесно связаны с условиями создания ее самой, что не означает тождества между ними. Создавая реконструируемый объект, историк не ограничивается специфическим использова-

нием условий, необходимых для построения исторической теории, но прибегает и к таким гносеологическим и логическим средствам, которые необходимы лишь для построения именно реконструируемых объектов в исторической науке.

Первое, что приходится учитывать историку-исследователю, приступая к созданию реконструируемого объекта — это его назначение и цель в данной теории, которые обусловливаются многими моментами. Если реконструируемый объект строится в начале создания и разработки исторической теории, то он может содержать довольно много субъективного, гипотетического, абстрактного, то есть в этом случае он может вообще оказаться всего навсего одним из рабочих средств в построении исторической теории. Если же он конструируется в момент завершения разработки теории, то тогда реконструируемый объект создается максимально обоснованным, развернутым и доказанным. Короче, в этом случае реконструируемый объект (имеется в виду типичная картина, а не различного рода отклонения от нормы) несет в своем содержании в максимальных пределах объективную истину.

Существенно будут разниться реконструируемые объекты и от того, какую сторону человеческой истории они отражают. Реконструируемые объекты, относящихся к материальным процессам прошлого отличаются большим сходством между собой, в некоторой степени бóльшей стандартностью и бóльшей достоверностью и объективностью, поскольку они воссоздают в идеальной форме более устойчивые и во многом повторяющиеся структуры. Что же касается реконструируемых объектов, в которых восстанавливается духовная жизнь прошлого, то они, напротив, менее стандартны, менее одинаковы, они нуждаются в более индивидуальных и тонких средствах построения, зато и достоверность их меньшая, чем у первых и в их содержание может вкрадываться больше субъективного. Кроме того, одно дело, когда исторические события или процессы, запечатленные в реконструируемых объектах, являются частными, несущественными, и совершенно иное дело, когда они были важными и значительными, либо они имеют существенное значение для понимания исследуемых исторических явлений.

Не может не учитывать историк при построении реконструируемых объектов также место, которое предназначается реконструируемому объекту в системе знаний, составляющих данную теорию. Он может относиться к частным положениям исторической теории, а может выражать и ее важную сторону, касающуюся уже принципиальных утверждений. Естественно, что в последнем случае требования к реконструируемым объектам в исторической науке значительно возрастают. При этом меняется не только содержание в реконструируемых объектах, но и наблюдается изменение и в их структуре, а именно, увеличивается доля знаний о закономерном в исторических процессах.

К первостепенным условиям построения реконструируемых объектов в исторических науках также, как и теорий этих наук относится наличие в распоряжении исследователя научной методологии, в первую очередь, философии. Именно методология историка в значительной степени предопределяет сущность, глубину реконструируемых объектов, их направленность и аспект рассмотрения посредством их исследуемого исторического процесса. Важность методологии в построении реконструируемых объектов помимо этого связана с эвристической функцией философии.

К пониманию эвристической функции философии следует подходить конкретно-исторически. В разные эпохи в разных философских системах она проявляется по-разному. И неправильно было бы полагать, что по

мере развития конкретных наук эвристическая роль философии падает, по крайней мере значительно снижается. Меняется лишь форма проявления эвристической функции философии. Наиболее развита и плодотворна данная функция у марксистской философии. Диалектика ориентирует историка-исследователя создавать такие реконструируемые объекты, которые отражали бы прошлое максимально многогранно, с учетом своеобразия исторических явлений, их изменения и развития, она как бы подсказывает ему, что, обнажив одну сторону в том, либо ином историческом процессе необходимо раскрыть его противоположную сторону. Материалистическая диалектика направляет мысль историка на построение исторических реконструкций сущностного порядка, предохраняет ученого от абсолютизации специальных методов исследования.

В тесной связи с методологией, как условием построения реконструируемых объектов в исторических науках, находится идея, главная мысль исторической теории, которая тоже оказывает значительное влияние на создаваемые исторические реконструкции. Причем, чем весомей по своему значению для теории реконструируемый объект, тем в большей зависимости он находится от ее идеи и тем больше в свою очередь он воздействует на последнюю. В исторической науке между идеей той или иной исторической теории и художественной идеей существует бóльшая общность, чем в других науках. И обусловливается это не только тем, что в историческом познании участвует художественное мышление, что накладывает эмоциональный отпечаток на исторические идеи, придает им определенную индивидуальную окраску. При построении исторической теории идея не только как бы задается заранее, она не только уходит своими истоками в имеющийся фактический материал, но и в некоторой мере определяется создаваемыми исследователем в процессе создания теории реконструируемыми объектами. Историческая идея, следовательно, не остается неизменной при построении теории, она все время конкретизируется, развивается, что, безусловно, в определенных границах свойственно и теориям других наук, но в исторической науке данный гносеологический процесс проступает ярче, и что, с одной стороны, служит одним из логических средств для отображения конкретности, индивидуальности исторических закономерностей историческими теориями вообще и историческими идеями в особенности, а, с другой стороны, указывает на некоторое сходство исторических идей с художественными идеями. Ведь отличительным признаком художественной идеи и будет как раз то, что в конечном счете она определяется не замыслом автора, а исполнением его замысла, т. е. системой художественных образов конкретного произведения. Обогащение исторической идеи за счет воздействия на нее реконструируемых объектов теории придает идее в исторической науке более многогранный и синтетический характер по сравнению с идеями многих других наук.

Своеобразно проявляется в качестве условия построения реконструируемых объектов в исторической науке проблема актуальности. Если для исторической теории актуальность выступает как необходимое, неотъемлемое ее свойство, то по отношению к реконструируемым объектам этого сказать нельзя. Актуальность требуется только от важных фундаментальных реконструируемых объектов, имеющих принципиальное значение для тех теорий, в состав которых они входят. Что же касается исторических реконструкций частного характера, то для них это требование желательно, но не обязательно. Следовательно, актуальность как условие построения реконструируемых объектов в исторической науке не носит признака всеобщности. И объясняется это тем, что

реконструируемый объект представляет собой лишь один из элементов, составляющих историческую теорию, в которой, само собой разумеется, не может быть каждый элемент актуальным, хотя как целое историческая теория всегда должна быть актуальной.

При создании реконструируемых объектов использует историк постулирование, так как приступая к построению реконструируемых объектов как одного из моментов познания социального прошлого, исследователь уже располагает о нем некоторыми знаниями, либо фактическими знаниями, либо знаниями об исторических закономерностях. Отсюда постулирование в таком случае будет означать скачкообразный переход в знаниях от части к целому; постулируется целостное представление о предмете на основе разрозненных частных знаний о нем.

Следует подчеркнуть, что такая форма постулирования интересна с той точки зрения, что она помогает раскрыть «секрет» механики данного логического процесса, по крайней мере один из моментов этой механики. Новое знание предполагается не вообще, а постулируется новое знание целостного типа на основе частного прежнего, но доказанного знания. Подобный вид постулирования используется, конечно, не в одной исторической науке, а и в других отраслях человеческого знания.

К постулированию как логической операции историки вынуждены прибегать при построении реконструируемых объектов еще и потому, что историческое познание неотделимо от художественного мышления, характеризующееся своей целостностью и синтетичностью.

Как известно, одним из первостепенных условий правильного построения теорий служит их непротиворечивость. В исторической теории данное условие действует в значительной степени специфично. Это своеобразие связано в первую очередь с наличием в ней как раз реконструкций. Реконструируемые объекты и факты, входя в состав исторической теории, могут вступать в противоречия с основными мыслями и положениями ее не только диалектического (что является вполне естественным), но и формального характера. Возможность подобных противоречий объясняется относительной самостоятельностью фактов и реконструируемых объектов в системе исторической теории, как и всякой теории, а также тем, что факты и реконструируемые объекты служат основой для теоретических выводов, т. е. объясняется их объектной природой. Отсюда противоречивость исторической теории не всегда будет означать ее ложность и ошибочность. Она может оказаться ошибочной в одном пункте и правильной в другом. Причем истоки противоречивости теорий в исторической науке бывают самыми различными вплоть до невозможности избежать ее при современном состоянии изученности данного исторического объекта.

Подобно любому теоретическому построению реконструируемый объект не должен быть противоречивым. Но он может содержать помимо диалектических формальные противоречия уже в силу хотя бы того, что в структуру реконструируемого объекта наряду с рациональным знанием входит чувственное познание, воображение и отчасти фантазия. Реконструируемый объект строится по существу двумя субъектами: исследователем (главным образом) и читателем (слушателем), что увеличивает, несомненно, субъективный момент в его содержании. Все это приходится принимать во внимание при создании исторических реконструкций.

Существует одно специфическое условие построения реконструируемых объектов в исторической науке. Нельзя его игнорировать и при создании исторической теории в целом, но в первом случае, при постро-

нии реконструируемых объектов оно особенно важно. Речь идет об идеале как об условии построения реконструируемых объектов и исторической теории. Строго говоря, идеал является неотъемлемым обстоятельством, участвующим в разработке любой теории всякой науки, хотя проявляет он свое участие в разных формах и разной степени. Однако особое значение идеал имеет для теорий, направленных на познание общественного прошлого и будущего. При построении этих теорий исследователь использует фактически даже два идеала: общественный и научный. Имея в виду первый вид идеала, общественный идеал следует отметить, не вдаваясь в подробности этого большого вопроса, что он может играть как положительную, так и отрицательную роль в создании исторических теорий вообще, ее реконструируемых объектов в особенности, поскольку в них субъективная сторона больше, чем в теории в целом. Идеал, вытекающий из научного мировоззрения и связанный с прогрессивным классом, серьезно способствует разработке глубоких теорий и построению научных исторических реконструкций. Общественный идеал же, порожденный ложным мировоззрением, но поддерживаемый консервативными, либо реакционными силами, толкает исследователя к субъективизму, к искаженному ложному отражению изучаемого объекта, в том числе к созданию весьма произвольных исторических реконструкций.

Рассматривая структуру реконструируемого объекта в исторической науке, мы уже отмечали, что в его состав входят факты. Поэтому важно при построении реконструируемого объекта использовать существенные факты, причем существенные как с точки зрения отображения событий прошлого, так и в плане создания самого реконструируемого объекта, который давая целостную картину о том или ином историческом событии включает в свое содержание в некоторой мере и знание о случайном в нем; важно отобрать однородные факты, однородные и в смысле одинаковых, повторяющихся, без чего невозможно установить закономерность и в смысле относящихся к одному и тому же историческому явлению, Обычно за каждым реконструируемым объектом стоит целая группа научных фактов, даже если они формально в его структуру не вошли. Но один среди них будет решающим, достаточным для обоснования в принципе главной мысли создаваемого реконструируемого объекта. Внешне в исторической теории он довольно часто излагается в виде существенного по своему значению примера. Историческая реконструкция наряду с другими структурными элементами исторической теории сводит вместе факты, группирует их, обобщает, как бы их уплотняет и, являясь в определенной мере моделью событий социального прошлого, замещает их. Следует при этом отметить, что роль фактов в реконструируемом объекте исторической теории не сводится лишь к обоснованию выдвигаемых теоретических утверждений, либо их конкретизации. В исторических реконструкциях факты, как и в теории в целом, выполняют еще критериальную функцию.

Наконец, весьма существенным условием построения реконструируемых объектов в исторической теории служит следующее обстоятельство. Реконструируемый объект в исторической теории предстает не сам по себе, не как нечто изолированное от других ее элементов, в том числе от остальных реконструируемых объектов теории. Совсем наоборот. В теории реконструируемый объект органически включен в ее структуру и в систему других реконструируемых объектов, входящих в данную историческую теорию. Поэтому реконструируемый объект историком-исследователем не строится обычно в виде универсального и единственного, а как один из моментов, совокупность которых способна воссоз-

дать сложный исторический процесс. Именно благодаря целой системе реконструкций, составляющих важную часть той или иной исторической теории, и передается многообразие, противоречивость, специфичность рассматриваемых исторических явлений, отражается изменчивость и развитие общественных процессов прошлого.

Построить правильную систему реконструируемых объектов составляет гораздо большую трудность, чем создать один реконструируемый объект. Здесь как раз требуется верная научная методология, тогда как удачный единичный реконструируемый объект можно построить случайно. В каждой системе реконструируемых объектов (независимо от того, относится ли эта система к теории в целом или только к части ее, ведь в теории возможна и целая иерархия систем исторических реконструкций, имеется самый существенный, самый важный, узловой реконструируемый объект. В нем наиболее точно запечетлена идея теории, либо существенная сторона этой идеи и через него идея систематизирует, как бы организует в одно целое другие реконструируемые объекты теории; т. е. в построении реконструируемых объектов в исторической теории существует своя логика, которая может отличаться от логики построения теории как таковой, однако ведущее начало и тут сохраняется за идеей теории. На систематизирующую функцию идеи в познании в свое время еще Кант справедливо обратил внимание, который писал: «Под системою же я разумею единство многообразия знаний, подчиненных одной идее»[13]).

Теперь рассмотрим вопрос, поставленный в начале этого раздела нашей работы, а именно: вопрос о способах построения исторических реконструкций. Реконструирование, будучи сложным, хотя и важным фактором в исторических науках[14]), осуществляется, естественно, в разных формах и разными методами. И было бы ошибочным абсолютизировать что-то из них. Вместе с тем, некоторые общие черты в способах создания реконструируемых объектов можно выделить.

Сначала строится костяк, остов, схема для целой серии реконструируемых объектов. Эту первоначальную исходную основу целесообразно назвать матрицей реконструируемых объектов в исторической теории, ибо она предопределяет во многом сущность и общие контуры реконструируемых объектов своей сферы. Затем исследователь как бы пополняет ту или иную матрицу конкретным материалом, историческими портретами, фактами, некоторыми соображениями общего и частного порядка и в результате создается историческая реконструкция. Знания, содержащиеся в матрице, являются общими, сущностного характера.

Обычно историческая теория включает в себя не одну, а несколько матриц, главных, определяющих, не считая частных матриц. Это дает возможность историкам многогранно отражать исторические процессы, создавать емкие исторические теории с раскрытием динамики явлений прошлого, так как в этом случае имеются условия для построения нескольких линий реконструируемых объектов разного плана рассмотрения исторического прошлого, а также создавать реконструкции интегрального типа, опирающихся на несколько матриц.

В книге А. И. Неусыхина «Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв.» можно выделить несколько исходных матриц,

[13]) И. Кант. Критика чистого разума. Птгр. 1915, стр. 454.

[14]) На большое значение реконструирования в исторических науках в свое время обращал внимание еще П. Н. Грацианский, который писал в связи с этим, в частности: «Мы не можем говорить об отчетливом знании земельного строя известной местности в известную эпоху до тех пор, пока не в состоянии представить себе господствовавшую в этой местности систему полей in concreto». (Н. П. Грацианский. Бургундская деревня в X—XII столетиях. М.—Л., 1935, стр. 114).

на основе которых автор строит целые цепи реконструируемых объектов разного назначения и плана. Главной из них является матрица, связанная с характеристикой социального состава крестьянства Германии той эпохи, и которая имеет особое значение для всей теории А. И. Неусыхина о положении немецкого крестьянства.

В монографии утверждается: «Различные слои и прослойки крестьянства в Германии VIII—XI в. в. можно разбить на следующие группы: 1) совершенно свободные аллодисты, т. е. общинники, сохранившие еще в неприкосновенности и свои аллоды и свою личную свободу и не впавшие ни в экономическую, ни в личную зависимость от вотчинников в какой бы то ни было форме; 2) аллодисты, вынужденные согласиться на превращение части их аллода в держание (на тех или иных основаниях), но сохранившие другую часть своего аллода в качестве такового...; 3) аллодисты, владения коих целиком превратились в держания, но при этом **не в тяглые мансы,** а в **прекарии...**; 4) аллодисты, общинные наделы которых целиком или частично превратились **в тяглые мансы** и которые сами полностью или частично утеряли свою **личную свободу;** 5) общинники, разными путями (например, посредством коммендации) впавшие в **личную зависимость,** но временно сохранившие части своих аллодов, которые они **впоследствии** утратят; 6) наконец, бывшие свободные крестьяне, **подвергшиеся личному закабалению** и превратившиеся в дворовых холопов»[15]).

Важную роль в построении исторических реконструкций в интересующей нас работе А. И. Неусыхина играет характеристика структуры крупной германской вотчины в раннефеодальный период. Автор указывает на пять ее признаков: «1) разбросанность и иногда значительную удаленность друг от друга принадлежащих крупному вотчиннику земельных владений, организованных в виде отдельных имений; 2) разбросанность самих крестьянских держаний, зависящих от каждого имения; 3) чересполосное размещение домена в различных населенных пунктах; 4) фиксированность отработочной ренты на определенном уровне, высота которого такова, что поглощает не более половины рабочего времени зависимого крестьянина; 5) факт превышения в 2—3 раза площади пахотной земли совокупности держаний над площадью барской запашки»[16]).

Система полей, формы поселений, состав надела — все это тоже матрицы, с помощью которых исследователь воссоздает положение крестьянства в средневековой Германии, рисует картину жизни их.

При этом обращает на себя внимание то, что матрица, относящаяся к формам поселений, содержит много описательного материала и поэтому выступает в качестве основания для построения описательных реконструкций или описательной части, стороны в реконструируемых объектах, которые создаются на основе не одной матрицы. Вот как описывает А. И. Неусыхин кучевую деревню: «**В кучевой деревне** дома расположены беспорядочно и на значительном расстоянии друг от друга. Между ними лежат хозяйственные пристройки, а также приусадебные участки с садами или огородами. В такой деревне не было большой дороги или улицы, проходившей через все поселение; отдельные домохозяйства связаны были друг с другом лишь тропинками, которые имели весьма различное направление, так что вся кучевая деревня в целом представляла собой своеобразную сеть изогнутых проходов или проулков;

[15]) А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 25—26. Курсив автора — А. У.

[16]) А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 29.

расположение домов было, таким образом, не только чрезвычайно бессистемным, но и запутанным. Проезжая дорога лишь огибала деревню, но не пересекала ее»[17]).

Характеристика этой формы поселения в феодальной Германии получилась у автора столь типичной, емкой и одновременно столь конкретной и определенной, что достаточно подставить название какой-нибудь деревни, район поселения и перед читателем предстанет кусочек ожившего прошлого.

Выяснение сущности матрицы и установление ее места в построении реконструируемых объектов имеет принципиальное значение для понимания гносеологической и логической природы исторической теории, исторического познания вообще. Программируя в определенной мере построение целой серии подобных друг другу исторических реконструкций, матрица с этой стороны выступает в качестве специфического средства формализации исторических теорий и допущения идеализации при исследовании процессов и явлений социального прошлого. Матрица также служит существенным обстоятельством в применении структурного метода в исторических науках, так как она, неся в себе общее знание, дает некоторую общую схему, общие рамки для изучения исторических объектов.

Через матрицу историческое реконструирование связано с конструктивизацией. Раскрывая этот логический процесс, Д. П. Горский так его характеризует: «Процесс познания предполагает использование человеком средств **конструктивизации** постоянно изменяющихся предметов. Под **конструктивизацией мы будем понимать непосредственно связанный с материальной деятельностью сложный мыслительный процесс, с помощью которого на основе процессов отождествления, различе́ния, анализа, абстракции и других и последующего знакового оформления результатов применения этих процессов устанавливаются строгие, «жесткие» границы между отдельными предметами, между классами предметов, их свойствами, отношениями между ними и т. п., осуществляется превращение непрерывного в дискретное.** Применение процесса конструктивизации к окружающей нас действительности дает возможность сформулировать по отношению к познаваемым предметам строгие, более или менее эффективные правила оперирования, отличающиеся общим и инвариантным характером. Процесс конструктивизации одновременно приводит к формированию соответствующих понятий, законов науки и т. п., отличающихся однозначным содержанием»[18]).

Признаки, которые Д. П. Горский устанавливает применительно к конструктивизации, во многом свойственны и матрицам, реконструированным объектам вообще. Действительно, матрицы в исторических исследованиях, реконструируемые объекты как бы членят историческую действительность, устанавливают по отношению к изучаемым событиям прошлого определенные и в этом смысле «жесткие» границы между ними, намечают пути, вехи их исследования. Правда, имеется одна существенная особенность в использовании конструктивизации в исторических науках. Данный логический способ в историческом познании применяется к уже несуществующей действительности, что придает ему бо́льшую абстрактность и в силу этого меньшую отдифференцированность от идеализации. Кроме того, конструктивизации в исторических теориях в меньшей степени, чем в других сферах присуща аналитич-

[17]) А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 52. Курсив автора — А. У.

[18]) Д. П. Горский. Проблемы общей методологии наук и диалектической логики. М., 1966, стр. 10—11. Курсив автора — А. У.

ность, так как природа реконструируемых объектов предполагает синтезирование, воссоздание событий прошлого в их целостном виде.

Чтобы проиллюстрировать второй этап в построении реконструированных объектов А. И. Неусыхиным, возьмем воссоздание им в своей книге истории двух семей свободных аллодистов крестьянского типа — семьи Зигихарта и семьи Мегинхарта. На их примере автор показывает как свободные аллодисты постепенно теряли свою свободу и впадали в зависимость.

Зигихарт был сыном свободного, имел аллод. Помимо этого он произвел распашку новины. Женился на Фридигарте, находившейся в зависимости от мужского монастыря. Расчистку передал женскому монастырю на льготных для себя и своего потомства условиях. Но каноники мужского монастыря, ссылаясь на неравный брак Зигихарта, стали считать его сыновей тяглыми держателями своего монастыря. Суд Фогга обоих монастырей подтвердил это в отношении сына Самилина. Однако Самилин в свою очередь женился на несвободной женщине, зависимой от женского монастыря. Это позволило их сыновьям считать себя зависимыми от женского монастыря, а унаследованный надел рассматривать в качестве чиншевого прекарного держания. Но в конце-концов после еще двукратного разбирательства суд удовлетворил иск мужского монастыря и потомки Зигихарта были превращены в тяглых монастырских сервов.

В случае с семьей Зигихарта монастырь претендовал в первую очередь на личную зависимость членов этой семьи, в случае же с семьей Мегинхарта монастырь добивался присвоения крестьянской собственности.

Некий Мегинхарт также был свободным аллодистом. Он возглавил расчистку леса, которая велась целой группой свободных людей вместе с монастырскими сервами. Мегинхарт и его потомки считали, что эта расчищенная и распаханная земля принадлежала им. Однако монастырь воспользовался тем, что в расчистке леса принимали участие несвободные и стал требовать передачи земли в его владение. В результате трех судебных исков и многолетних судебных разбирательств домогательство монастыря было судом фогга удовлетворено[19]).

Ради краткости при изложении мы опустили многие конкретные детали, относящиеся к двум приведенным историческим реконструкциям, которые показывают, что в основу этих реконструируемых объектов положено несколько матриц. Но это видно даже из того, что здесь нами схематично перечислено. Чтобы конкретно изобразить историю двух крестьянских семей в феодальной Германии, А. И. Неусыхин, по крайней мере, использовал свою классификацию социального положения немецкого крестьянства, общие схемы структуры вотчины, системы полей и состава наделов помимо материала, характеризующего эти семьи с их индивидуальной стороны. Поэтому с этой точки зрения о структуре реконструируемого объекта в исторической теории коротко можно сказать, что историческая реконструкция состоит из матрицы (одной или нескольких) и исторического портрета (или группы портретов). Данная формула отражает существо строения исторического реконструируемого объекта, показывает специфическую особенность этой формы научного мышления.

Рассматриваемые реконструируемые объекты (их можно считать за две системы реконструируемых объектов, так как А. И. Неусыхин описывает судьбу детей в значительной степени отдельно от судьбы

[19]) См. А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 127—137.

родителей, берет судьбу детей как нечто самостоятельное, хотя и связанное с судьбой их родителей) обладают двумя признаками, важными для выяснения особенностей исторической теории. Они динамичны и диалектичны. Динамическими, само собой разумеется, могут быть и реконструируемые объекты метафизического характера, ибо они способны передать внешние стороны эволюции исторических процессов. Но к подлинно динамическим историческим реконструкциям следует отнести лишь такие из них, которые строятся на основе материалистической диалектики. Только реконструируемые объекты такого типа в состоянии отобразить и передать внутреннюю динамику событий человеческого прошлого.

Назначение интересующих нас реконструкций в теории А. И. Неусыхина не исчерпывается лишь воссозданием судьбы двух семей средневековой эпохи; семьи Зигихарта и семьи Мегинхарта. С помощью полученных реконструируемых объектов исследователь делает последующий шаг в решении своей главной задачи, т. е. в прослеживании эволюции свободного крестьянства в феодальной Германии раннего периода. Он использует их в качестве модели при анализе аналогичных судеб других крестьянских семей. При этом А. И. Неусыхин не восстанавливает детально истории этих других семей, а намечает лишь основные этапы их эволюции в нужном для него плане, ссылаясь на судьбу семей Зигихарта и Мегинхарта. В связи с этим по поводу одной из «генеалогий» он замечает: «Весьма вероятно, что родоначальники пяти родственных групп, входивших в состав этой «генеологии», т. е. три брата и две сестры, впали в зависимость одним из тех путей, который мы могли установить посредством анализа судьбы Зигихарта и Мегинхарта и их потомков вплоть до третьего и четвертого поколения»[20]).

Следовательно, реконструируемые объекты в исторической теории не только обладают эвристической функцией, способствуют раскрытию сущности исследуемого процесса, но и способствуют более экономному, более краткому изложению материала. Последнее является несколько неожиданным обстоятельством. Казалось бы наоборот. Исторические реконструкции усложняют исторические теории, делают их более пространными. В определенной мере, это, конечно, так, но, с другой стороны, в силу целостности и синтетичности природы исторических реконструкций они и сокращают, делают более емкой теории в исторических науках.

Отсюда также видно, что хотя реконструируемый объект и может выступать в роли модели, но отождествлять его с моделью нельзя. Это — самостоятельная форма мышления. Чтобы сделать вывод о социальном составе населения марок, к которым принадлежали Зигихарт и Мегинхарт, А. И. Неусыхин не ограничивается материалом, легшим в основу реконструкций семей Зигихарта и Мегинхарта, а привлекает материал, рисующий жизнь других семей, принадлежащих к данным маркам.

В процессе анализа сущности реконструируемого объекта, а также рассматривая только что разобранные исторические реконструкции, мы обращали внимание читателя на их функции в исторической теории. Если суммировать все это, то о функциях, которые выполняют исторические реконструкции в своих теориях, необходимо сказать следующее.

Реконструируемые объекты воссоздают в целостной наглядной форме события социального прошлого, при этом они объясняют и описывают их, т. е. выражают объективную историческую истину в конкретном виде. Они способствуют систематизации знаний, заключенных

[20]) А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 143.

в исторической теории, преемственности в исторических теориях, их эмоционального и, можно сказать, культурного воздействия на читателя. Реконструируемые объекты в исторических науках несут на себе функции идеализации, упрощения процессов прошлого, моделирования их, а вследствии этого интерпретирующую и критериальную функции. Такое многообразие функций исторических реконструкций в теориях их наук объясняется богатством их содержания и в то же время указывает на важность места реконструируемых объектов, которое они занимают в теориях исторических наук.

Однако вернемся снова к выяснению гносеологической природы матриц и их значение для реконструируемых объектов. Матрицы, конечно, устойчивые образования в исторических теориях. Но и они, как правило, не остаются неизменными на протяжении всей теории. Своеобразие и индивидуальность исторических процессов вынуждает исследователя вносить в них изменения, в том числе существенные, чтобы создаваемые на их основе реконструкции точней воссоздавали историческую действительность. В результате чего складываются новые матрицы, новые схемы, образующие целую систему матриц, входящих в ту либо иную историческую теорию. Между прочим, подобная система матриц выступает в теории исторических наук дополнительным организующим началом, придающим ей устойчивость и целостность.

Книга А. И. Неусыхина «Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII в. в.» и в этом отношении поучительна. Стремясь к максимально адэкватному отображению предмета своего исследования, автор по мере надобности вносит в первоначальные матрицы соответствующие поправки. Так, по поводу системы полей в Тироле — этом своеобразном районе средневековой Германии, он пишет, что здесь распространены были система геваннов, хотя и обозначались они другим термином, система полей, связанных с хуторным поселением, но не в чистом виде, так как парцеллы некоторых владельцев расположены были рядом друг с другом, а не в перемежку, как это наблюдалось обычно. Были в средневековом Тироле также поселения с системой полей, свойственных лесным гуфам, опять же с целом рядом особенностей[21]).

Любая абстракция, любая теоретическая конструкция, вообще любое отображение действительности имеют границы своего применения, т. е. границы, в пределах которых они отображают тот или иной процесс, в пределах которых они сохраняют свою истинность. Обладает ими и реконструируемый объект. С одной стороны сфера применения реконструируемого объекта ограничивается матрицей (она указывает на границы использования содержащегося в нем общего знания), с другой стороны—историческим портретом. Последний как бы устанавливает пределы применения индивидуального знания, входящего в содержание реконструируемого объекта. Вторая граница означает более жесткую линию, чем первая.

Ограниченность сферы применения каждого в отдельности реконструируемого объекта свидетельствует о том, что было бы неправильно абсолютизировать реконструирование вообще, в исторической науке в частности как способ исследования. У него есть свои недостатки, своя ограниченность.

Как бы не было необходимо реконструирование для познания исторических процессов, какими бы достоинствами оно не обладало, но существенным недостатком его будет уже то, что с него нельзя начинать

[21]) См. А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 158—159.

научное познание объекта. С этой стороны реконструирование носит опосредованный характер, т. е. оно возможно лишь на основе уже какого-то готового знания. Конечно, на первоначальных этапах знакомства с предметом исторического исследования можно создавать гипотетические реконструируемые объекты. Однако научная ценность их невысока. В лучшем случае их можно рассматривать как вспомогательные рабочие предположения, наброски, схемы с использованием наглядности, опирающиеся больше на воображение исследователя, чем на научные данные и выводы.

Одной из сильных сторон человеческого познания является способность мышления отождествлять предметы реальности, выделяя у них общие стороны. Через свою матрицу реконструируемый объект отождествляет определенную группу исторических событий, поскольку они в каком-то отношении сходны между собой. Но вообще-то пафос исторического реконструирования направлен на установление своеобразия в событиях прошлого, воссоздания их с учетом их особенностей, поэтому использование реконструируемых объектов в историческом исследовании существенно ограничивает применение приема отождествления исследуемых предметов, тем самым сдерживает применение в исторической науке формальных методов исследования. Отмечая данное обстоятельство, мы имеем в виду не факты, ограничивающие использование формализации в историческом познании, связанные со спецификой самого предмета изучения, а то, что тормозит этому внутри самой исторической гносеологии, с чем нельзя не считаться. Все это, само собой разумеется, не означает, что реконструируемый объект в исторической теории остается одинаковым во все эпохи. В современной исторической науке в связи с возрастанием в ней теоретической стороны, в связи с применением таких методов исследования, как, например, статистический, реконструируемые объекты ближе стоят к формализации, тесней с ней смыкаются, чем прежде. И на это мы выше указывали, характеризуя матрицу, в частности, как одно из средств, условий формализации исторического познания. Вместе с тем в реконструируемом объекте есть нечто такое, что противостоит формализации, как бы сопротивляется ей. Оно проистекает из того, что каждый способ исследования не только предполагает, но и исключает другой способ, из того, что метод реконструирования сформировался задолго до появления формализации в науке как специфического способа познания и теперь историческое реконструирование вынуждено приспосабливаться к некоторым современным средствам познания истины, наконец, оно обусловлено особенностями исторического объекта, запечатленными в реконструировании как средстве познания исторической действительности.

Упрощение, идеализация свойственные в определенной степени реконструируемым объектам также делают реконструирование не всегда желательным способом познания в исторической науке.

Некоторые черты ограниченности реконструируемых объектов связаны с самой сильной стороной его, а именно с целостным отражением социальных явлений прошлого. Целостное представление об исторических событиях, что вытекает из самой сущности гносеологической природы исторической реконструкции, предполагает завершенность в знаниях, входящих в содержание реконструируемого объекта. А это толкает мысль историка-исследователя к определенному консерватизму, успокоению, к излишнему увлечению гипотетическими подробностями об отражаемом процессе ради целостности картины, к увлечению историческими портретами в изложении исторической теории.

Хотя реконструируемые объекты выступают в исторической теории не как нечто изолированное и разрозненное, а в системе, все равно у них существует тенденция к усилению дискретного начала в теориях исторических наук, к их внутреннему дроблению, что затрудняет устанавливать исторические закономерности, выяснять истинную сущность исторических процессов. С особой силой эта тенденция проявляется в том случае, когда автор придерживается метафизических взглядов. Тогда и сам предмет исследования предстает как нечто разрозненное.

М. А. Барг в своей работе «Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв.» характеризуя теорию П. Г. Виноградова, широко применявшего метод реконструирования, но с метафизических и идеалистических позиций, пишет: «...Феодализм в его изображении оказывается в лучшем случае совокупностью различных институтов, которые хотя и взаимообусловлены генетически, но, раз возникнув, получают самостоятельное бытие и оказываются почти изолированными в своих дальнейших судьбах. В результате общество как единое и органическое целое исчезает, распадаясь на отдельные автономные ячейки, каковы суть: вотчина, фьеф, государство и т. п.»[22]).

Ограниченность реконструируемых объектов в исторической теории объясняется не одной их собственной природой, но и ограниченностью тех методов, с помощью которых они строятся, не универсальностью этих методов, в первую очередь структурного метода и ретроспективного. Важность структурного метода познания для исторической науки и его связь с историческим реконструированием совершенно очевидны[23]).

Однако следует учитывать возможности структурного метода, которые не безграничны, с чем нередко приходится считаться в практике исторического исследования. Через структуру предмета легко нащупывается его качественная граница, но скачок перехода от одного явления к другому с помощью структурного метода уловить бывает трудно. Не всегда позволяет он правильно отобразить количественную сторону анализируемых предметов, а также условия существования их или их генезиса. Вот некоторые примеры в подтверждение сказанному.

Касаясь трудностей в анализе социальной сущности промежуточного слоя мелких земельных собственников в Германии в эпоху раннего средневековья, А. И. Неусыхин замечает: «...для отчетливого представления о различии между мелкой вотчиной представителя господствующего класса и мелкой вотчиной разбогатевшего общинника нужно принять во внимание не только структуру владений того или другого, но и их **абсолютную величину, их размеры;** ибо в процессе увеличения размеров владений мелкого вотчинника второй категории на каком-то этапе их роста должен произойти скачок, приводящий к переходу количества в качество и превращающий земельное владение такого мелкого вотчинника в типичную феодальную вотчину»[24]).

Или еще пример из этой же монографии. А. И. Неусыхина, когда структурного метода явно недостаточно для установления сути дела и требуются дополнительные рассуждения, чтобы раскрыть истину. А. И. Неусыхин пишет: «По структуре владений, казалось бы, более всего приближается к обладателю небольшой феодальной вотчины да-

---

[22]) М. А. Барг. Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв. М., 1962, стр. 6.

[23]) О значении структурного метода для исторического познания пишет, например, М. А. Барг в статье «Структурный анализ в историческом исследовании». («Вопросы философии», № 10, 1964).

[24]) А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 36—37. Курсив автора — А. У.

ритель Тениль, который передал в 821 и 823 гг. Фрейзингенскому монастырю церковь, господский двор в одной деревне и половину своих владений в другой (в том числе лес, оставив другой лес за собой). Однако, как указывают условия его дарения, Тениль совершил этот акт для того, чтобы выкупить у епископа Гиттона несвободную женщину, с которой он хотел вступить в брак, стремясь при этом обеспечить свободу своему сыну. Факт отказа Гениля от половины своих владений для достижения этой скромной цели говорит против возможности зачисления Гениля в состав феодалов (хотя бы и самых мелких)»[25]).

А. И. Неусыхин обращает также внимание на возможность ошибок при реконструировании исторических процессов, если ученый неосторожно пользуется регроспективным методом исследования, т. е. переносит более поздние данные в отдаленную эпоху[26]).

В заключение анализа исторической реконструкции следует остановиться на понятии меры реконструирования. Данное положение, т. е. мера реконструирования выступает как бы в роли регулятора сколько и каких реконструируемых объектов нужно строить для той или иной исторической теории. В конечном счете это определяется главным и единственным правильным и глубоким отображением исследуемых процессов социального прошлого. Отсюда становится понятным, почему в исторической теории обычно довольно ограниченное количество реконструкций и почему исследователь создает не только интегральные реконструируемые объекты, но и реконструкции, охватывающие лишь отдельные стороны исторических явлений. Конечно, степень возможности реконструирования нередко зависит не от одной необходимости, а и от сохранившихся данных по тому либо иному вопросу.

Понятие меры реконструирования в исторической теории служит специфическим выражением более фундаментального научного понятия — мера объективности теории. Эта категория указывает на границы объективности теории, возможность и необходимость этой объективности в данной теории и данной науке. Зависит объективность теории от множества факторов, начиная от сложности объекта и кончая целями создаваемой теории[27]).

---

[25]) А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 37—38.

[26]) См. А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 46.

[27]) В связи с разросшимся объемом данной работы анализу двух других частей исторической теории — знаковая система и вспомогательная часть — автор предполагает посвятить специальную статью.

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

И. И. ШАРИФЖАНОВ

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКЕ (1960—1965 годы)

До самого последнего времени проблемами исторического познания в США и Англии занимались, как правило, философы. Буржуазные историки обращались к их исследованию в редких случаях. Хотя в настоящее время положение остается во многом прежним, в отношении буржуазных историков к изучению теоретических основ своей профессии намечаются существенные изменения.

Все громче и настойчивее среди буржуазных историков раздаются голоса о необходимости положить конец гегемонии философов в области теории исторического познания и взяться самим за ее освоение. И это не только слова. Например, целая группа американских историков участвовала в комплексном исследовании проблемы исторического обобщения. Результаты этого исследования были опубликованы в 1963 году в книге «Обобщение в историографии» под редакцией Л. Готтшалка.

Эти новые настроения среди английских и американских буржуазных историков сказываются и на содержании исторических журналов. В них заметно увеличивается удельный вес работ по теоретическим проблемам истории как науки. Это особенно верно в отношении американских исторических журналов. Что же касается английских, то здесь, несмотря на громадное влияние, которое продолжает оказывать на них буржуазный академизм, также появляются новые веяния. Достаточно сослаться на призыв установить более тесный контакт между историками и социологами, с которым несколько лет назад обратился Альфред Коббэн, редактор журнала «History». В одном из номеров его журнала (за июнь 1963 года) была опубликована статья социолога Голлоуэя, в которой теоретически обосновывался этот призыв.

Мы считаем, что будет небезынтересным и небесполезным проанализировать и дать оценку взглядам английских и американских буржуазных историков на проблемы исторического познания, как они были изложены в 1960—1965 года на страницах исторической и социально-политической периодической печати.

Природа исторического познания очень сложная. Общие законы познания находят в нем своеобразное преломление. Некоторые буржуазные историки, абсолютизируя специфические черты исторического познания, противопоставляют его другим родам общественного познания, с одной стороны, и естественнонаучному познанию, с другой.

Главным недостатком социологов Карл Бриденбау, профессор истории Браунского университета (США), считает отсутствие гума-

нистического понимания общества. Анализируя современную социологию, он приходит к выводу, что работа социологов является в основном систематизирующей: они игнорируют хронологию и имеют дело со статистикой, элементами и тенденциями, стремясь дедуцировать законы общества. Иное положение, по мнению К. Бриденбау, имеет место в истории. «Историк хорошо понимает,—говорил он в своем президентском выступлении перед членами американской исторической ассоциации, — каким ошибочным и ненаучным является распространенное убеждение, что история повторяется. Рассматривая события как уникальные, он конкретное предпочитает обобщенному и абстрактному»[1]).

Этот взгляд на историю как имеющую дело с индивидуальным и неповторимым, разделяется и некоторыми другими буржуазными историками. Артур Шлезингер, видный американский историк, называет стремление к обобщению профессиональным заболеванием историков. Однако, обобщение не может быть применимо, по его мнению, ко всем историческим событиям. «Действительно трудные случаи» — не обобщаемы[2]).

Своеобразие соотношения объекта и субъекта в историческом познании используется некоторыми буржуазными историками для проведения резкой разграничительной линии между историей и естественными науками. Известно, что историк не находится к своему предмету в том отношении, в каком стоит к своему предмету исследователь природы. Особенность исторического познания заключается в том, что оно является самопознанием. Историк не может беспристрастно относиться к процессу, частью которого он сам является. Иное дело в естественных науках. Их предметом является природа, к которой исследователь может относиться с полным беспристрастием.

Сознание этой особенности и ведет буржуазных историков к разделению и противопоставлению исторического и естественно-научного познания. «История — не отделима от человека, — пишет американский историк Глен Тиндер, — поэтому она не является объектом, пригодным для анализа, который применяется в науках. Эта особенно явствует из того, что история является незавершенной»[3]). Несостоятельность утверждения буржуазных объективистов, что историк может и должен писать беспристрастно, хорошо понимает американский историк Бойд Шэфер, исполнительный секретарь Американской исторической ассоциации и редактор «The American Historikal Review».

Б. Шэфер ясно видит неустранимость влияния социального положения историка на интерпретацию им конкретных исторических событий. «Какой желанной ни была бы полная объективность, — говорил он, — никакой историк не может писать историю без некоторого пристрастия»[4]). Отсюда, однако, Б. Шэфер делает вывод, что в истории, в отличие от естественных наук, не могут иметь место «точные» и «определенные» законы.

---

[1]) C. Bridenbaugh. The Great Mutation.—«The American Historical Review». January. 1963. Vol. LXVIII. № 2, p. 326.

[2]) A. Schlesinger. The Historian and History.—«Foreign Affairs». April, 1963. Vol. 41, N 3, p. 494. См. также: W. T. Laprade. Obstacles in Studying History.—«The South Atlantic Quarterly». 1960. Vol. LIX, N 2, p. 204; D. M. Dozer. History as Force.—«Pacific Historical Review». November, 1965, Vol. XXXIV, N 4, p. 383; C. F. Mullet. The Muse is not for Burning. Review Article.—«The Journal of Modern History». June, 1963. Vol. XXXV, N 2, p. 158.

[3]) Glenn Tinder. The Necessity of Historicism.—« The American Political Science Review». September, 1961. Vol. LV, N 3, p. 563.

[4]) Boyd C. Shafer. History, Not Art, Not Science But History. Meanings and Uses of Histry.—«Pacific Historical Review». May, 1960. Vol. XXIX. N 2, p. 161.

То обстоятельство, что в исследовании прошлого историк не может использовать измерительные приборы естественных наук, не может ни заставить прошлые события повториться вновь, ни изолировать их для изучения в лабораторных условиях, также используется Б. Шэфером для отрицания единства исторического и естественнонаучного познания. Историческое знание, по его мнению, носит гипотетический характер: оно не может быть общепринятым, как научно-истинное знание. «Мы не имеем, — заявляет он, — никаких микрометров, чтобы определить мотивировку или причинность, и никакого способа так проверить наши обобщения, чтобы другие историки могли принять их на веру»[5]).

Наконец, одним из самых затасканных аргументов, приводимых некоторыми буржуазными историками для доказательства абсолютной противоположности исторического и естественнонаучного познания, является утверждение, что история будто бы полностью лишена возможности предвидения». «Мы не можем заглянуть вперед с какой-либо уверенностью даже на несколько лет, — пишет Глен Тиндер. — Совершенно невозможно сказать что-либо вообще относительно конечного результата истории»[6]).

Вывод о невозможности предвидения в истории Б. Шэфер делает, прежде всего, из существования различных интерпретаций истории. Поскольку всякое предвидение, рассуждает он, должно основываться на объективно-верных результатах познания, то отсутствие таковых в истории, что доказывается, по его мнению, наличием различных интерпретаций, делает невозможным предвидение в истории. «Историки, — говорил он, — не были еще в состоянии достичь всеобще применимых или приемлемых обобщений, которые можно использовать с целью предсказаний»[7]).

Кроме того, отрицание возможности предвидения в истории выводится Б. Шэфером из отсутствия полной или точной повторяемости исторических событий. «Всегда будет неверным утверждение, — заявляет он, — что обстоятельства одного времени точно повторяют обстоятельства предшествующего времени»[8]).

Взгляд на историческое познание как абсолютно противоположное другим родам общественного познания и естественнонаучному познанию разделяется далеко не всеми буржуазными историками и социологами. Часть из них не видит особых причин для такого резкого разграничения и противопоставления. Доказательства, приводимые сторонниками теории об абсолютной противоположности исторического и естественнонаучного познания, мало их убеждают. Они вызывают у целого ряда из них не только сомнение, но и критику. Особенно острой критике подвергается утверждение, что историк не обобщает.

Термины «идиографический» и «номотетический», введенные в конце XIX века В. Виндельбандом и Г. Риккертом для обозначения исторического и естественнонаучного знания, Крейн Бринтон, профессор древней и новой истории Гарвардского университета, называет «педантичными, десятидолларовыми словами». Понимая абсурдность рассуждений о том, что история имеет дело с уникальными событиями, он говорил

---

[5]) Ibidem.

[6]) Glenn Tinder, op. cit., p. 563. То же самое утверждает и Бойд Шэфер. История, по его словам, «не говорит нам, что будет жить, а что умрет, ни как люди будут реагировать на этот или тот вызов в той или другой ситуации». (Boyd C. Shafer, op. cit., pp. 163—164).

[7]) Boyd C. Shafer, op. cit., p. 162.

[8]) Ibidem.

в своем выступлении в качестве президента Американской исторической ассоциации: «Очевидно, что абсолютно уникальное нельзя было бы описать никаким языком в мире, за исключением, может быть, только языка, составленного из одних имен собственных»[9]).

Кр. Бринтон ясно понимает несостоятельность абсолютного противопоставления понятий отдельного и общего. Чтобы иметь какое-либо значение для читателя, подчеркивал он, самое «уникалистское» повествование должно обладать «моментом общего, универсального, закона в смысле единообразия»[10]).

Понимание, что между частным и общим, временным и общеповторяемым нет антагонистического противоречия, что они существуют в единстве, пронизывает также взгляды английского социолога Голлоуэя. «Всякое событие,— пишет он,— имеет характер, и уникальности, и всеобщности и при его объяснении необходимо уделять внимание обеим этим сторонам»[11]).

Сидней Поллард, профессор экономической истории Шеффилдского университета (Англия), выделяет два уровня, на которых исследует историк: уровень индивидуального и уровень всего общества. На первом уровне, приближающемся к исторической биографии, интерес историка направляется к своеобразному, случайному, неповторимому. Но и на этом уровне, указывает С. Поллард, «было бы более полезным и обоснованным исследовать все великие личности истории как продукт своей эпохи»[12]). На втором уровне историк имеет дело уже с закономерностями развития общества. Только на уровне всего общества, пишет С. Поллард. «мы можем использовать законы социальных и естественных наук, чтобы определить смысл истории»[13]).

Несостоятельным также Голлоуэй считает разделение истории и социологии на том основании, что первая имеет дело с эволюционным аспектом социальных систем, а вторая — с функциональным. Историк по его мнению не может игнорировать функциональную сторону, также как социолог в поисках структурных законов не может игнорировать эволюционную сторону. «Объяснение по историческим линиям (объяснение настоящего с точки зрения прошлого) и по функциональным линиям (объяснение настоящего с точки зрения современных социальных отношений), — писал он, — должно быть объединено»[14]). Голлоуэй не видит, далее, достаточных оснований для разделения истории и социологии на методологической основе.

Не убедительным также представляется Кр. Бринтону утверждение, что история, в отличие от естественных наук, полностью лишена возможности предвидения. Историк, по его мнению, не пророк, но он вполне в состоянии дать определенный прогноз на будущее. «Нет никаких оснований к тому, — говорил он, — что мы не должны время от времени беспристрастно делать долгосрочные догадки относительно того, насколько сильно и в каком направлении человеческий материал, человеческая группа должна измениться или, если вы хотите, должна быть изменена»[15]).

---

[9]) Crane Brinton. Many Mansions.—«The American Historical Review». January, 1964. Vol. XLIX, N 2, p. 312.
[10]) Ibid., p. 313.
[11]) S. W. F. Holloway. Sociology and History.—«History». June, 1963. Vol. XLVIII, N 3, p. 154.
[12]) Sidney Pollard. Economic History — A Science of Society?—«Past and Present». April, 1965, N 30, p. 13.
[13]) Ibid., p. 14.
[14]) S. W. Holloway, op. cit., p. 155.
[15]) Crane Brinton, op, cit., p. 320.

Примирить историка и социолога пытается в своей работе Г. С. Хьюз, профессор истории Гарвардского университета. Нежелание американских историков использовать достижения социальных исследователей он объясняет двумя причинами: во-первых, громадным влиянием, оказываемым на них Ранке и его школой, и, во-вторых, неправильным представлением о процессе обобщения. Г. С. Хьюз выделяет четыре формы обобщения. Первая, семантическая, является самой простой и распространенной. Хотя историки могут не сознавать этого, они применяют эту форму, употребляя такие слова, как «революция» или «нация».

Вторая форма обобщения напоминает выводы, которые историки делают в конце главы или в конце книги. Эти две формы, по мнению Г. С. Хьюза, употребляют, в конечном счете, все историки. Но большинство из них останавливается на этом и отказывается применять две другие формы. Третью форму обобщения Г. С. Хьюз называет «схематизацией». Схематизация — это помещение исторических данных в заготовленную форму. Процесс обобщения в форме схематизации Г. С. Хьюз сравнивает с процессом обобщения в форме идеально-типической конструкции М. Вебера. Наконец, четвертая форма — метаистория. Это та форма обобщения, которую применяли Шпенглер и Тойнби.

Г. С. Хьюз не питает иллюзий, что историки станут работать на уровне метаистории. Идеальным видом обобщения для историков, по его мнению, является не метаистория, а схематизация. «Нет никакого основания, однако, — пишет он, — почему сфера обобщения не может постепенно расшириться в такой мере, чтобы создать из схематизаций или идеальных типов более рельефный и более крепкий запас объяснений в терминах процесса и структуры»[16]).

Чтобы историк смог работать на уровне схематизации, Г. С. Хьюз считает необходимым вернуть в его словарь понятия «причина» и «закон». Он отвергает заявления, что задачей историка является не объяснение, а описание. В той или иной форме, по его мнению, каждый историк объясняет то, что он описывает. Об этом говорит само употребление слова «потому что».

Далее, Г. С. Хьюз рассматривает как несостоятельное разделение и противопоставление последователями Б. Кроче истории («области свободы») и природы («области необходимости»). «Если человеческое поведение вообще способно к разумному объяснению, — пишет он, — ясно, что должно быть нечто закономерное (lawful) о нем»[17]).

Г. С. Хьюз твердо убежден, что в истории так же, как и в естественной науке, должны иметь место законы. Он выделяет два значения, которые обычно вкладывают в понятие «законы»: старое и современное. В старом значении под «законами» понимают строгие и всеобщие каузальные обобщения; в современном физическом — просто статистически вероятные «регулярности». Если принять второе употребление этого понятия, то, по мнению Г. С. Хьюза, принципиальное различие между историей и естественной наукой устраняется.

Стремление к установлению более тесного контакта истории с другими социальными дисциплинами рассматривается некоторыми буржуазными историками как недостаточное. Впадая в крайность, противоположную той, в которую впадают сторонники теории об абсолютной противоположности истории и социологии, Т. Роззак, преподаватель истории Станфордского университета (США), выступает с требованием

[16]) H. Stuart Hughes. The Historian and the Social Scientist.—«The American Historical Review». October, 1960. Vol. LXVI, N 1, p. 32.

[17]) Ibid., p. 29.

превращения истории в социальную психиатрию, а историка в социального психиатра. В полном соответствии с учением Зигмунда Фрейда Т. Роззак смотрит на человеческое общество как на психически больной организм, нуждающийся в психиатре. Роль психиатра и должен играть, по его мнению, историк. Что это даст? Т. Роззак видит два основных преимущества истории как социальной психиатрии: во-первых, она дает объяснение громадным социально-политическим изменениям в современном мире на совершенно новой основе — на основе иррационализма; и, во-вторых, она дает начало принципиально новой объективности (объективности психиатра)[18]).

Трудности исторического познания, связанные с его социальной обусловленностью и неполнотой, фрагментарностью исторических сведений, приводят некоторых буржуазных историков к скептицизму и агностицизму. «Как бы упорно мы не искали истину, — говорил в своей президентской речи перед членами Американской исторической ассоциации Эллен Невинс, — мы не найдем ее полностью»[19]). Американский историк Ричард Элстин идет еще дальше. Историческое прошлое, по его мнению, полностью непознаваемо[20]).

По вопросу об объективной истине буржуазных историков можно разделить на две большие школы: школу объективистов и школу субъективистов. Сторонники первой школы признают существование объективной истины в истории. Высшую задачу историка они видят в том, чтобы приблизиться к ней если не достичь ее полностью. Это возможно сделать, по их мнению, только путем элиминации историком влияния современной идеологической и политической борьбы на интерпретацию им исторического прошлого. «Хотя история имеет дело с политикой, — пишет Дональд Дозер, профессор истории Калифорнийского университета, — она не может быть сторонником какой-либо политики»[21]).

Требование Ранке писать историю «так, как она действительно была», является основополагающим принципом этой школы. Совесть рассматривается буржуазными объективистами как единственно возможный руководитель историка в его исследовательской работе и как гарантия ее успеха. «Каждый историк, который не ошибся в выборе своей профессии, — заявляет видный английский историк Джордж Гуч, — носит в уме благородное изречение Ранке, что «историография — это дело совести»[22]).

Сторонники другой школы — школы субъективистов — считают, что объективной истины нет, а есть только истина субъективная, что историк не может элиминировать влияние современности из своего сознания, а поэтому он не может дать объективный образ исторического

[18]) Th. Roszak. The Historian as Psychiatrist.—«The Nation November 24, 1962, pp. 343—348.

[19]) Allan Nevins. Not Capulets, Not Montagus.—«The American Historical Review». January, 1960. Vol. LXV, N 2, p. 270. См. также: W. T. Laprade, op. cit., pp. 204, 214. L. Baritz. The Historian as Playwright.—«The Nation». November 24, 1962, p. 340.

[20]) R. W. Van Alstyne. History and Imagination.—«Pacific Historical Review».— February, 1964. Vol. XXXIII, N 1, p. 1.

[21]) Donald M. Dozer. History as Force.—«Pacific Historical Review». November, 1965. Vol. XXXIV. N 4, p. 385. См. также: Carl Bridenbaugh, op. cit., p. 331; W. T. Laprade, op. cit., p. 212; Ch. F. Mullet, op. cit., p. 160.

[22]) «Contemporary Review». October, 1962, p. 217. См. также G. P. Gooch. Progress of Historical Studies.—«Contemporary Review». June, 1962, p. 304. Тоже самое провозглашает и английский историк М. Д. Ноулис. «Первой добродетелью у историка,— пишет он,— является любовь к истине. Чтобы достичь истину, он должен практиковать истину». M. D. Knowles. Academic History.—«History». October, 1962, p. 232. Д. Дозер, со своей стороны, пишет, что история «не принадлежит ни к какой партии, за исключением партии истины». D. M. Dozer, op. cit., p. 395.

прошлого. «История, — говорит Ричард Элстин, — принадлежит тому индивидууму, который толкует ее»[23]).

Претензию историков на объективность результатов своих исследований событий прошлого Артур Шлезингер объясняет отсутствием свидетелей этих событий. Если бы они могли вернуться к жизни вновь, то историкам, по его мнению, очень бы не поздоровилось. «Только тогда, когда истина не может больше подняться и выбить зубы историку, — пишет он,— историк находится в безопасности, и только тогда он может заново отлить прошлое в желаемую форму кристаллической прозрачности»[24]).

Буржуазные субъективисты вполне сознают несостоятельность теории объективизма, указывая, что никто еще — даже сам Ранке — не мог писать историю беспристрастно. «Историк, который пытается писать без какой-либо точки зрения, — говорил Бойд Шэфер, — имеет, по крайней мере, эту точку зрения, и он по-прежнему интерпретирует в рамках философской схемы или в пределах экономических и политических идеологий своего времени, будь то демократии и капитализма или эгалитиризма и коммунизма»[25]).

Буржуазные субъективисты видят несостоятельность идей объективизма и в другом плане. Они хорошо понимают, что невозможно только описывать события, и подчеркивают, что функцией историка является не только описание, но и объяснение событий. «Историк, — пишет американский социолог Джон Пэлмер, — говорит нам не только то, что произошло, но и как оно произошло, а это «как» включает и «что» и «почему»[26]).

Отрицая возможность объективной истины в истории, буржуазные субъективисты скатываются к историческому релятивизму. Некоторые из них прямо заявляют о своей поддержке релятивистской точки зрения на гносеологию истории[27]). Исходя из релятивистских позиций, буржуазные субъективисты считают неизбежным переписывание истории заново с каждым новым поколением. Социальная обусловленность исторического исследования рассматривается ими как отрицание возможности существования в истории элементов абсолютной истины. Все истины, которыми оперирует историческая наука, они представляют как относительные, как подверженные изменению с изменением социально-политической обстановки[28]).

Метафизические представления исторического факта, присущие буржуазной историографии в XIX веке, мало кого удовлеворяет в настоящее время из буржуазных историков, занимающихся гносеологическими вопросами истории. Большинство из них ясно понимает несостоятельность этих представлений. Однако в своем истолковании этой

---

[23]) R. W. Van Alstyne, op. cit., p. 1. См. также там же, стр. 13; Boyd C. Shafer, op. cit., p. 164; Loren Baritz, op. cit., p. 340.

[24]) A. Schlesinger, op. cit., p. 494.

[25]) Boyd C. Shafer, op. cit., p. 161.

[26]) John R. Palmer. The Problem of Historical Explanation.— «Social Education». January, 1963 Vol. XXVII, N 1, p. 15.

[27]) Так, например, Крейн Бринтон говорил: «Хотя в настоящее время в некоторых странах модно нападать на исторический релятивизм, все еще верно, что каждый человек является своим собственным историком». Crane Brinton, op. cit., p. 319.

[28]) Earl S. Johnson. Ways of Knowing.—«Social Education». January, 1963. Vol. XXVII. N 1, p. 7; James Joll. The Historian and the Contemporary World.— Geschichte und Gegenwartsbewusstsein. Göttingen. 1963, p. 44; C. Vann Woodward. The Age of Reinterpretation.—«The American Historical Review». October, 1960. Vol. LXVI. N 1, pp. 17—18; John R. Palmer op. cit., p. 15; R. W. V. Alstyne, op. cit., p. 19.

проблемы буржуазные историки, как правило, не идут дальше тех субъективистских и релятивистских взглядов, которые в 30-е — 40-е годы проповедовали Ч. Бирд и К. Беккер, впервые в англо-американской буржуазной историографии выступившие с развернутой критикой метафизических представлений об историческом факте.

В основе субъективизма и релятивизма в истолковании проблемы исторического факта некоторыми буржуазными историками лежит взгляд на исторические события как бессмысленные, изолированные, противоречивые по своей природе. Историк, по мнению сторонников этого взгляда, сам приписывает историческим событиям значение и смысл. Но так как в этом деле он следует не объективной логике событий, а субъективной, то история имеет столько значений и смыслов, сколько имеется историков.

«Очевидно, что историк не может выдумать факты, — пишет американский историк Лорен Бариц, — но он должен расположить их; это расположение — сюжет его рассказа, что же касается значимости и значения этих фактов, то они с необходимостью вытекают из его представления о себе самом, своем ремесле и побуждениях людей»[29]). Рассматривая историю как нечто родственное драматургии, Л. Бариц считает, что историк может по своему желанию устанавливать начало, середину и конец истории, которую он хочет изложить. В его представлении исторические факты являются для историка тем же, чем является глина для скульптора. Имея в виду историка, он пишет: «Он может начать, в конце концов, там, где он выбрал, и этот выбор всегда является результатом его собственной точки зрения, его понимания своего ремесла»[30]).

Л. Бариц полностью отрицает объективную значимость исторических фактов. Последняя ставится им в зависимость от чувства меры и пропорции историка. «Эта иерархия значимости или уместности, — говорит он, — также является ничем иным, как привидением историком к единству драмы бессвязных, противоречивых, возможно, безгранично разнообразных значений и настроений человеческой жизни»[31]). Отсюда Л. Бариц делает вывод, что понятие историка о драматическом единстве определяет, какие люди в истории являются героями, а какие — клоунами. В соответствии с этим понятием историк, по его мнению, может сделать Наполеона спасителем, сумасшедшим или сумасшедшим спасителем.

Откровенно релятивистских взглядов на природу исторических фактов придерживается также американский историк Ричард Элстин. В своем выступлении в качестве президента Тихоокеанского отделения Американской исторической ассоциации Р. Элстин вспоминает, как много лет назад он слышал, что слово «факт» происходит от латинского слова «facio» и поэтому должно означать «то, что делается». Это значение Р. Элстин и кладет в основу своих взглядов на природу исторических фактов. «Перефразируя Карла Беккера, — говорит он, — историк делает свои факты, он является творцом мифов»[32]).

Р. Элстин полностью отрицает возможность существования в исторической науке объективных фактов. История, по его убеждению, это ряд принимаемых на веру мнений. Спекулируя на своеобразии отношения объекта и субъекта в историческом познании, Р. Элстин, в духе

---

[29]) Loren Baritz, op. cit., p. 340.
[30]) Ibid., p. 341.
[31]) Ibid., p. 342.
[32]) R. W. Van Alstyne, op. cit., p. 6.

Р. Коллингвуда, заявляет: «Установление «фактов» и объяснение их являются частью одного и того же процесса пересоздания через воображение»[33]).

Как субъективные, а не объективные по своей природе рассматривает научные факты Джонсон, заслуженный профессор социальных наук Чикагского университета. Факты, по его мнению, не являются результатом простого накопления данных. Наоборот, они предполагают «символический» элемент и начинаются в большинстве случаев как гипотезы. «Они являются, как я понимаю, — пишет он, — результатом суждений, делаемых человеком»[34]). Из этой общей предпосылки Джонсон делает вывод, что факты неотделимы от своих создателей. Признание объективного характера фактов подвергается им резкой критике. «Факты, как я их рассматриваю, — заявляет он, — не обнаруживаются, а создаются»[35]).

Непонимание того, что исторические факты имеют объективную значимость, которую историк, если он не хочет исказить истину, не может ни приуменьшить, ни преувеличить, сказывается и на взглядах английского историка М. Д. Ноулиса. По его мнению, историку нет нужды стремиться к важным историческим периодам или сюжетам: все исторические факты одинаковы по значимости и, если у историка есть талант, он сможет любой из них сделать важным. «Всякий одаренный ум, — пишет М. Д. Ноулис, — может поднять любой класс или ряд событий прошлого на уровень значительного»[36]).

Полностью отрицает объективную значимость исторических фактов Г. С. Хьюз. Значимость приписывается историческим событиям, по его мнению, историком. Поэтому говорить о данном историческом событии как определяющем другие события, значит называть его таковым с одной какой-либо точки зрения. С другой точки зрения, это событие может быть вовсе не значительным. «То, что для одного человека может выступать как удовлетворительное объяснение, — пишет он, — для другого человека может вообще не быть никаким объяснением»[37]).

Одной из важных проблем исторического познания, является проблема о взаимоотношении истории и современности. Эта проблема — двусторонняя. Она касается, с одной стороны, вопроса о влиянии современности на историю, а с другой — вопроса о влиянии истории на современность. По первому вопросу — о влиянии современности на историю — как и по вопросу об объективной истине, у английских и американских буржуазных историков существуют две противоположные точки зрения. Сторонники одной из них считают своим духовным отцом Леопольда Ранке, сторонники другой — Гиббона, Маколея, Гизо, Карлейля, Генри Адамса.

Первая точка зрения рассматривает влияние современности на историографическую практику как порочное, как препятствующее достижению объективно верных результатов исторического познания. Приверженцы этой точки зрения требуют от историка элиминации влияния современности на истолкование им исторических событий прошлого. Считая, что в исследовании современных событий нельзя достичь должной доли объективности, они полностью отрицают возможность существования научной современной истории. История новейшего времени, по их мнению, может быть только журналистикой. «Современная

[33]) Ibidem.
[34]) Earl S. Johnson, op. cit., p. 7.
[35]) Ibidem.
[36]) M. D. Knowles, op. cit., p. 231.
[37]) H. Stuart Hughes, op. cit., p. 29.

история, — пишет Дональд Дозер, — является аномалией, т. е. если она современная, она — не история»[38]).

Другая, противоположная, точка зрения рассматривает влияние современности на историографическую практику как благотворное, как ведущее к более глубоким истинам об историческом прошлом. Ее сторонники требуют от историка, чтобы он писал историю с позиции современности. Объективистские принципы ранкеанцев подвергаются ими резкой критике.

Изоляция историка от современности, по мнению Артура Шлезингера, может, во-первых, привести его к недооценке роли случайности в истории и, во-вторых, лишить его ключей к более глубокому проникновению в существо исторического процесса. И, наоборот, пишет А. Шлезингер, чувство ответственности историка перед современностью может «подтолкнуть его на то, чтобы задать новые вопросы, которые открывают новые богатые возможности для исследования»[39]).

Несостоятельность широко распространенного в академических кругах Запада мнения, что современная история не может быть научной дисциплиной, пытается доказать английский историк Джеймс Джолл. Анализируя аргументы, приводимые противниками современной истории, он приходит к выводу, что они являются либо в своей основе неверными, либо применимыми в одинаковой мере к истории любого периода прошлого. Дж. Джолл отвергает утверждение, что невозможно писать историю новейшего времени, т. к. исследователи лишены источников. «Скорее от избытка, чем недостатка материала, — пишет он, — страдает историк новейшего времени»[40]). Равным образом Дж. Джолл не считает убедительным обвинение историков новейшего времени в пристрастии. «Фактически, — говорит он, — историки пишут о своем времени по тем же самым причинам, по которым пишут историки, занимающиеся прошлым. Этими причинами являются желание указать путь, по которому, как им кажется, движется история, желание показать неразрывную связь настоящего с историческим прошлым или, наконец, желание лучше понять глупости, причуды и сложный характер человеческой природы»[41]).

Не видя особых различий в положении историков новейшего времени и историков прошлого, Дж. Джолл, однако, рассматривает работу историка новейшего времени как более трудную, чем работу историка прошлого. То, что делает работу историка новейшего времени более трудной по сравнению с работой историка прошлого, это, по его мнению, не только изобилие материала, но и существование событий настолько актуальных, настолько затрагивающих чувства различных людей, что их можно исследовать только как часть отдаленного прошлого, а не как часть собственного опыта современников (Дж. Джолл имеет в виду, прежде всего, фашизм).

Обе эти господствующие в современной буржуазной историографии точки зрения имеют свои уязвимые места. Требуя от историка изоляции в своей исследовательской работе от влияния современности, сторонники первой из них угрожают лишить историю ее общественной функции. И, наоборот, требуя от историка, чтобы он писал историю с позиции

---

[38]) Donald M. Dozer, op. cit., p. 378.
[39]) A. Schlesinger, op. cit., p. 495.
[40]) James Joll, op. cit., p. 40. Статья Дж. Джолла помещена в немецком сборнике, изданном в честь 70-летия видного западно-германского историка Ганса Ротфельса.
[41]) Ibid., p. 42.

современности, сторонники второй точки зрения угрожают лишить историю ее объективно-научной значимости.

Найти разрешение этого противоречия, в котором запутались буржуазные, историки, делает попытку Джон Хигем, профессор истории, Мичиганского университета. Если историки хотят, с одной стороны, достичь объективно-истинных результатов в исследовании, а с другой стороны, удовлетворить требования современности и сохранить социальную значимость своей науки, то они должны, по его мнению, стать моральными критиками. «Узнав кое-что об относительности ценностей, — пишет он, — историки нашего времени могут выполнять морально-критическую функцию скромно и сдержанно, с минимум самоуверенности и с желанием встретить прошлое на равных началах»[42]).

Не лишая историков профессионального занятия — «технической критики документов» — Дж. Хигем считает необходимым дополнить его, включив в круг обязанностей историка «критику жизни». Если в традиционной американской историографии центр интереса историка лежал в выяснении причинных связей в особой исторической фазе прошлого, то целью историка как морального критика должно быть, по его мнению, познание элементов добра и зла, обнаруживаемых в прошлом. Дж. Хигем не подавляет «каузальные» интересы историков, но он ставит их в подчинение «моральным» интересам. Каузальный анализ он считает неизбежным в исследовании как «морального климата», так и действий героев прошлого.

Превращение традиционной буржуазной историографии в моральную критику должно, по мнению Дж. Хигема, обогатить ее новыми открытиями. «Моральная интуиция, — пишет он, — может обнаружить в истории коренные противоположности, которые проливают больше света на действительность, чем деления по классу или группе»[43]).

Стремясь спасти историческую мысль от тенденциозности, Дж. Хигем освобождает историка от всяких точно установленных норм в его деятельности как морального критика прошлого. «От историка, — заявляет он, — требуется не установление иерархии ценностей, а скорее исследование определенного спектра возможностей и достижений человека,.. Вместо того, чтобы зависеть от фиксированных канонов или правил, моральный критик должен учиться у великих драматургов, каким был Шекспир, у романистов, наподобие Толстого, учиться непревзойденному примеру Фукидида»[44]).

Рассмотрим также взгляды буржуазных историков по второму вопросу о влиянии истории на современность. Хорошо известно, что в разные времена разные люди выражали нигилистическое отношение к ценности истории. В восемнадцатом веке Вольтер третировал историю как собрание анекдотов, в девятнадцатом Ницше нападал на нее как на парализующую активную волю человека, а в двадцатом веке Генри Форд цинично заявляет, что «история — это банк». Очевидно, что все эти заявления бьют мимо цели. Однако, единственно возможный путь опровергнуть их — это дать научное истолкование вопроса о роли истории в жизни общества.

У буржуазных историков нет единого мнения по этому вопросу. Многие из них считают главной ценностью исторической науки познавательную. «История, — пишет Дональд Дозер, — это весь человеческий

---

[42]) John Higham. Beyond Consensus: The Historian as Moral Critic.—«The American Historical Review». April, 1962, Vol. LXVII. N 3, p. 619.

[43]) Ibid., p. 623.

[44]) Ibid., pp. 624—625.

опыт во времени. Она является исследованием всего, что человек когда-либо сделал, подумал или почувствовал. Она — биофизическая запись его опыта, сохраняемая и последовательно рассказываемая. История — это минуты предшествующих встреч. Она — записанные на пленку «тут-тут»[45]).

Роль, которую история играет в жизни общества, Бойд Шэфер сравнивает с ролью, которую играет в жизни отдельного человека память. История, как и память, имеет, по его мнению, два основных значения. Во-первых, знание истории является единственной основой для сознательной деятельности человека. Только опираясь на историю, человек может развиваться в том или другом направлении. «Сознает это индивидуум или нет, — говорил Б. Шэфер, — история является тем тротуаром, на который он должен поставить свои ступни и зашагать так, как он может»[46]).

Далее, знание истории является, по мнению Б. Шэфера, освободительной силой. Оно предохраняет общество от повторения прошлых ошибок и увеличивает возможность правильного выбора пути развития. Б. Шэфер резко нападет на тех, кто считает, что история имеет научную ценность. История представляется им как скопление фактов, между которыми отсутствует какая-либо связь и зависимость. Поэтому, с его точки зрения, нелепо думать, что история может что-либо доказать или опровергнуть. «Из истории, как из памяти, — заявляет он, — можно «доказать» почти все, но в то же самое время также верно было бы сказать, что из истории нельзя «доказать» ничего»[47]).

Некоторые буржуазные историки видят достоинство истории как аккумулятивного опыта человечества в том, что знание ее помогает людям правильнее оценить современные проблемы и не рассматривать их как исключительно уникальные по своей природе. «Клио, — говорит Крейн Бринтон, — может дать своего рода утешение, что плохое так же, как и хорошее, в повседневной жизни никогда не является совершенно новым и поэтому, возможно, никогда полностью невыносимым»[48]).

Дональд Дозер, со своей стороны, тоже восхваляет историю как великую консервативную силу. Обращаться к истории в моменты кризиса, по его мнению, значит обращаться к разуму — накопленному разуму прошлого. Когда же граждане государства не знают историю, они легко поддаются революционным идеям. «Историки, — делает вывод Д. Дозер, — не могут быть революционерами»[49]).

Идея, что главной ценностью истории является познавательная, находит поддержку и у Джеймса Джолла. Историк новейшего времени, по его мнению, не должен становиться орудием в руках политиков. Все, на что он может рассчитывать, пишет Дж. Джолл, это то, что «его сочинения могут послужить в качестве источника для будущих историков... и что он сам, подобно историку всякого другого периода, может получить удовлетворение от сознания, что он расширил немного свой собственный опыт и опыт своих читателей»[50]).

---

[45]) D. M. Dozer, op. cit., p. 376. См. также Boyd C. Shafer, op. cit., p. 159; Crane Brinton, op. cit., pp. 318, 329; Carl Bridenbaugh, op. cit., p. 326.

[46]) Boyd C. Shafer, op. cit., p. 166.

[47]) Ibid., p. 162. К сомнению, что история чему-либо учит, приходит и Ричард Элстин. «В истории,— утверждает он,— имеется столько различных «уроков», что должно возникнуть сомнение, имеется ли какой-нибудь урок вообще». R. W. Van Alstyne, op. cit., p. 14.

[48]) Crane Brinton, op. cit., p. 324.

[49]) Donald M. Dozer, op. cit., p. 377.

[50]) James Joll, op. cit., p. 48.

Иную оценку влияния истории на современность дает Юлиан Бойд, профессор истории Принцентонского университета (США). Вслед за К. Беккером высшей ценностью истории он считает моральную. История, по его мнению, не может обеспечить людей ни догмами, ни законами, ни конкретным планом для деятельности. Ее общественное значение заключается в другом, а именно: в «цивилизующем влиянии». История готовит людей к более человечной жизни в настоящем, учит их контролировать не общество, а самих себя[51]).

Обратить внимание профессиональных историков США на запросы мелкобуржуазной или, как он выразился, «демократической» публики сделал попытку в своем президентском выступлении Эллен Невинс. С его точки зрения, история оказывает непосредственное влияние на «демократическую деятельность». Э. Невинс видит три канала, по которым проходит это влияние: во-первых, путем осуществления от случая к случаю руководства над лидерами; во-вторых, путем обучения граждан; и, наконец, в-третьих, путем содействия созданию определенного общественного мнения [52]).

Инструменталистский взгляд на историю, по которому знание прошлого гарантирует мудрые решения в настоящем и будущем, подвергает сомнению Артур Шлезингер. «Я всегда был среди тех, — пишет он, — кто считает, что историю нужно исследовать ради нее самой, а не как руководство к настоящему или план на будущее»[53]).

Полагая, что не дело историка давать советы в области общественной политики, А. Шлезингер в то же время не отрицает важную роль, которую история играет в жизни государства. История, по его мнению, является единственным фундаментом, на котором может строить свою политику выдающийся государственный деятель. «Я не имею вообще никакого сомнения, — продолжает он, — что значительный государственный деятель должен знать историю, должен иметь инстинкт к главным тенденциям, чувство направления, в котором движется мир, — он должен иметь свое собственное представление о природе исторического процесса»[54]).

***

Анализ взглядов английских и американских буржуазных историков, который был сделан выше, показывает глубокое размежевание среди буржуазных историков в теории исторического познания. Буржуазные историки высказывают самые различные и часто прямо противоположные точки зрения. Так, они утверждают, что:

а) история имеет (не имеет) дело с уникальными событиями; историк не обобщает (обобщает);

б) история лишена (не лишена) возможности предвидения;

в) в истории существует объективная (субъективная) истина;

г) совесть является (не является) высшим критерием объективности исторического познания;

д) исторические факты говорят (не говорят) сами за себя; они являются объективными (субъективными);

ж) историк не должен (должен) писать историю с позиции современности;

з) история новейшего времени не может (может) быть научной дисциплиной.

[51]) Julian P. Boyd. A Modest Proposal to Meet an Urgent Need.—«The American Historical Review». January, 1965. Vol. LXX. N 2, pp. 342, 349.

[52]) Allan Nevins, op. cit., p. 262.

[53]) A. Schlesinger, op. cit., p. 496.

[54]) Ibidem.

Все эти и многие другие противоречивые высказывания являются отражением кризиса, который претерпевает современная буржуазная философско-историческая мысль. В то время, как многие буржуазные историки еще продолжают придерживаться в области гносеологии истории метафизических представлений XIX века, часть буржуазных историков уже отказалась от них. Видя несостоятельность метафизических взглядов на проблемы исторического познания, они подвергают их острой критике. Однако, эти буржуазные историки не в состоянии дать научного истолкования гносеологических проблем истории, вследствие порочности тех теоретико-методологических принципов, на которых они основывают свои суждения. Как правило, они скатываются к историческому релятивизму и агностицизму.

Некоторые буржуазные историки и социологи, однако, достигают некоторых положительных результатов в исследовании проблем исторического познания. Можно сослаться на пример Голлоуэя и С. Полларда. Объяснение этому примеру следует искать во влиянии, которое оказала на их взгляды марксистская интерпретация истории как объективного процесса. «Мы все, — говорил Сидней Поллард, — находимся в неоплатном долгу у гения Маркса, и трагической потерей для нашего исследования истории было то, что его учение так часто игнорировалось или извращалось»[55]).

Фактически, только опираясь на марксизм, можно достичь объективно-верных результатов в исследовании теоретических проблем исторической науки.

Взгляд на историческое познание как абсолютно противоположное другим родам общественного познания и естественнонаучному познанию не выдерживает критики. Сторонники этого взгляда спекулируют на различиях, существующих между историческим познанием и другими родами общественного познания, а также между историческим и естественнонаучным познанием. Эти различия, вызываемые специфичностью метода или предмета исторического исследования, абсолютизируются и противопоставляются ими. В действительности, между историческим познанием и другими родами общественного познания, а также между историческим и естественнонаучным познанием, нет никакой непроходимой стены[56]).

История, подобно социологии, имеет своей задачей познание объективных закономерностей общественного развития. В этом плане между историей и социологией нет никакого различия. Различие между ними заключается в другом, а именно: как, в какой форме должно проходить это познание. Если история исследует законы общественного развития во всем многообразии и противоречивости их исторического проявления, то социология исследует их в чистой форме, абстрагируясь от ряда конкретного их проявления[57]).

Взгляды на исторические события как уникальные по своей природе были отвергнуты К. Марксом еще сто лет тому назад. Историю К. Маркс рассматривал не как ряд несвязанных между собой и неповторимых событий, а как закономерное развитие социально-экономиче-

---

[55]) Sidney Pollard, op. cit., p. 19. Тоже самое пишет и Голлоуэй. «Марксизм, — заявляет он, — достоин тщательного исследования». S. W. F. Holloway, op. cit., p. 166.

[56]) См. В. М. Лавровский. К вопросу о предмете и методе истории как науки. — «Вопросы истории». М., 1966, № 4.

[57]) См. А. И. Данилов. Марксистско-ленинская теория отражения и историческая наука. — Сб. «Средние века». Выпуск 24. М., 1963, стр. 9—10; Г. М. Иванов. К вопросу о своеобразии исторического познания. — Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки». Выпуск I. Томск, 1963, стр. 3—7.

ских формаций. Там, где буржуазные историки видели игру случайности, К. Маркс видел действие необходимости.

В гносеологическом плане разделение истории и социологии на идиографическую и номотетическую науку связано с абсолютизацией понятия отдельного. Отдельное историческое событие метафизически истолковывается как уникальное. В действительности между отдельным и общим, временным и общеповторяемым нет антагонистического противоречия. «Противоположности (отдельное противоположно общему), — писал В. И. Ленин, — тождественны: отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему»[58]).

Сложность исторического познания определяется специфичностью его предмета. Предмет исторического познания, в отличие от предмета естественнонаучного познания, незавершен. Историк имеет дело не с качественно отличным от него объектом, как исследователь природы, а с объектом, частью которого он сам является. Поэтому историческое познание выступает как самопознание. Это своеобразие не лишает, однако, историческую науку возможности объективного отражения действительности, а только делает достижение ее более трудным, чем в естественных науках. Опираясь на научные идейно методологические принципы, историк в состоянии достичь объективно-верных результатов в познании. Эти результаты могут послужить основой для научного предвидения.

Некоторые буржуазные историки (Кр. Бринтон, Г. Хьюз) пытаются критиковать отдельные крайние выводы сторонников взгляда на историческое познание как абсолютно противоположное другим родам общественного познания и естественнонаучному познанию в рамках идеалистического исторического мировоззрения. Особенно острой критике они подвергают утверждение, что функцией истории является описание уникальных событий. Однако их критика явно непоследовательна.

Доказывая, что историк обобщает, они, подобно Б. Шэферу, рассматривают все исторические обобщения как субъективные. Возможность достижения объективных обобщений в истории полностью отрицается ими. Под законами, с которыми имеет дело историческая наука, они понимают не всеобщие причинные связи явлений, носящие объективный характер, а статистически вероятные регулярности, носящие субъективный характер.

Что касается утверждения Кр. Бринтона, что историк может делать время от времени прогнозы на будущее, то оно также непоследовательно. Кр. Бринтон признает в истории возможность только субъективного предвидения, а не объективного.

Познавательный образ в исторической науке всегда носит печать идеологической и политической борьбы своего времени. Историк не может элиминировать влияние современности из своего сознания, как того требуют буржуазные объективисты, потому что он по своей природе — общественное существо. В своем исследовании историк выражает определенные классовые интересы, проводит ту или другую политическую линию, независимо от того, сознает он это сам или нет. В своих трудах В. И. Ленин постоянно разоблачал лживый характер требований буржуазного объективизма. Он указывал, что «беспристрастной» социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе»[59]). Беспартийными буржуазные объективисты были только на словах. На деле же они выступали ярыми защитниками классовых интересов буржуазии.

[58]) В. И. Ленин. ПСС, т. 29, стр. 318.
[59]) В. И. Ленин. ПСС, т. 23, стр. 40.

То обстоятельство, что историк не в состоянии элиминировать влияние современной идеологической и политической борьбы на истолкование им событий прошлого, не доказывает, однако, что в исторической науке неможет иметь место объективная истина, как это утверждают буржуазные субъективисты. Историческое познание по своей форме — субъективно, но по своим результатам оно вполне может быть объективным. Это зависит от того, на каких идейных позициях стоит историк[60]).

Если историк хочет достичь объективно-верных результатов в познании, он должен излагать свою историю не просто с позиций современности, как это говорят презентисты, а с позиций передового класса. Только выражая прогрессивные интересы своего времени, историк может приблизиться к объективной истине, если не достичь ее полностью. Это положение не требует особых теоретических обоснований. Оно подтверждается всей историей исторической науки.

Чтобы исторические исследования были объективными и в то же время актуальными, историкам нет никакой необходимости становиться, как это предлагает Джон Хигем, моральными критиками. История должна включать в себя моральную оценку событий прошлого, но не более. Абсолютизация морально-критической функции истории неизбежно ведет к ликвидации истории как науки.

Мораль в буржуазном обществе носит классовый характер. Поэтому превращение историка в морального критика не лишает его возможности тенденциозного освещения событий прошлого. Не деятельность историка как морального критика является гарантией объективности исторического познания, а прогрессивные социальные позиции, на которых он стоит. Выполняя социальный заказ передовых классов своей эпохи, историк может достичь объективных результатов в исследовании прошлого и в то же время сделать свою науку актуальной.

В основе исторического, как и всякого другого, знания лежат факты. Историк работает с фактами непрерывно. Он их устанавливает, отбирает, приводит в порядок и объясняет. Во всем этом он действует не произвольно, как думают некоторые буржуазные историки, а в соответствии с объективной значимостью самих фактов. Изолированных фактов в истории нет. Каждый факт находится в связи с другими фактами и со всей историей в целом. Поэтому, интерпретируя отдельный факт, историк не может приписать ему то значение, которое он хочет. Он обязательно должен следовать объективной логике событий.

По своей природе исторические факты не субъективны, а объективны. Историк познает исторические факты, а не создает их. То обстоятельство, что всякий факт существует как факт познания, не меняет его объективной природы. Опираясь на современные научные методы, историки в состоянии отделить факты от мифов. Историческая наука не совместима с мифотворчеством. Там, где начинается мифотворчество, кончается историческая наука. Давая объективное отражение действительности, историк не оставляет для мифов никакого места в своей науке.

История играет важную роль в жизни общества. Она формирует историческое мировоззрение, воспитывает чувства патриотизма, развивает классовое сознание. История является могущественным орудием

---

[60]) См. А. И. Данилов. Ук. соч., стр. 14—15; Б. Г. Могильницкий Объективность и партийность в историческом исследовании.— Сб. «Методологические и историографические вопросы исторической науки». Выпуск 2. Томск, 1964, стр. 3—7.

в идеологической и политической борьбе. Опыт истории — незыблемая основа общественного прогресса и революционной практики.

Утверждения некоторых буржуазных историков, что история не имеет никакого опыта (никаких уроков), что она ничему не учит и ничего не доказывает, явно несостоятельны. Они основываются на извращенном представлении истории как области случая и субъективного произвола. Действие объективных закономерностей в историческом развитии полностью отрицается в них.

История призвана дать научную картину общественного развития. Это является настоятельным требованием передового касса современной эпохи — рабочего класса.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

В. З. КАПЛЮК

ИСТОРИКИ ГДР О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ НАКАНУНЕ РЕФОРМАЦИИ И КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ

Крупнейшим событием в истории немецкого народа на исходе средних веков была Реформация с кульминационным пунктом — Великой Крестьянской войной 1524—1525 гг.

В марксистской историографии события Реформации и Крестьянской войны трактуются как первая раннебуржуазная революция в Европе, как первая попытка революционного удара по европейскому феодализму. При этом марксистские историки придают первостепенное значение всестороннему изучению социально-экономического и политического развития Германии в конце XV — первых десятилетий XVI вв. На этот единственно научный подход к правильному разрешению проблемы Реформации и Крестьянской войны как раннебуржуазной революции указывал Ф. Энгельс в предисловии своей книги «Крестьянская война в Германии», где писал: «...я пытался показать, что политический строй Германии того времени, восстания против него, политические и религиозные теории эпохи были не причиной, а результатом той ступени развития, на которой находились тогда в Германии земледелие, промышленность, сухопутные и водные пути, торговля и денежное обращение. Это единственное материалистическое понимание истории было открыто не мной, а Марксом...»[1]). Историки ГДР, с марксистских позиций разрабатывающие проблему раннебуржуазной революции в Германии, лишь подошли к решению важнейших вопросов экономического, социального и политического развития страны на рубеже XV и XVI вв. Тем не менее результаты проделанной ими работы в этом направлении бесспорно заслуживают внимания как в плане постановки ряда вопросов, так и в плане их решения.

Конец XV и начало XVI вв. в истории Германии занимают особое место. Это — время назревания бурного общественного подъема, охватившего в 20-х годах XVI в. все слои немецкого общества и поставившего вопрос о дальнейших путях развития Германии. Подъем этот явился закономерным следствием острейших противоречий во всех сферах хозяйственной, социальной и политической жизни страны.

В этом плане одной из важнейших проблем, разрабатываемых марксистскими историками ГДР, является проблема раннекапиталистического развития отдельных отраслей немецкой экономики[2]).

---

[1]) Ф. Энгельс. Предисловие ко второму изданию «Крестьянской войны в Германии». См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 16, стр. 413.

[2]) Важность марксистской разработки проблемы раннекапиталистического развития Германии диктуется и тем, что в целом данная проблема в марксистской историографии до настоящего времени не может считаться достаточно полно освещенной.

Обратимся к текстильной промышленности — одной из повсеместно распространенной и развитой отрасли средневековой немецкой экономики. В XV — I половине XVI вв. производство льняных и шелковых тканей, хлопчатобумажной материи, сукон различных сортов достигло в Германии значительных размеров. Общий экономический подъем страны в конце XV — начале XVI вв., который отмечают все историки ГДР[3]), рост населения, расширение торговых связей, резко увеличили спрос на изделия текстильной промышленности. С вовлечением важнейших центров текстильного производства Германии в широкий торговый оборот были связаны глубокие изменения в характере этого производства.

Существо этих изменений, как показывают историки ГДР, заключалось в том, что в различных отраслях текстильной промышленности Германии начался процесс зарождения первых элементов капиталистических отношений. Попытка показать конкретно, в каких формах протекал процесс проникновения раннекапиталистических отношений в текстильную промышленность Германии предпринята в работе Дитриха Леше «К истории развития производственных отношений в льноткацкой и хлопчатобумажной отраслях промышленности верхненемецких городов с 1450 по 1750 гг.»[4]).

Автором поставлен важный в методологическом отношении вопрос об основной тенденции в развитии текстильного производства верхненемецких городов на протяжении трех веков, характеризующейся, по его мнению, решающими изменениями в системе производственных отношений — появлением наемных рабочих и капиталистических предпринимателей[5]). Отметив, что изменения в старой системе производственных отношений длительное время осуществлялись в рамках существующей цеховой организации, Д. Леше вместе с тем подчеркивает, что решающее значение для развития текстильной промышленности верхненемецких городов имело не сохранение и дальнейшее существование цеховой организации, а те изменения, которые происходили в ней под влиянием

---

[3]) См., например, L. Stern. Martin Luther und Philipp Melanchthon — ihre ideologische Herkunft und geschichtliche Leistung. Eine Studie der materiellen und geistigen Triebkräfte und Auswirkungen der deutschen Reformation. B., 1953, S. 21—22; его же: Der grosse deutsche Naturforscher und Humanist Georgius Agricola und seine Zeit.—«G. Agricola 1495—1555. Zu seinem 400. Todestag». B., 1955, S. 22—29; H. Mottek. Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grundriss. B. I. Von den Anfängen bis zur Zeit der Französischen Revolution. B., 1960, S. 186—225; M. Steinmetz. Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland (1476—1535). Thesen.—«Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Referat und Diskussion zum Thema Probleme der frühbürgerlichen Revolution in Deutschland (1476—1535). Redaktionsleitung G. Brendler. B., 1961, S. 8—10; его же: Zu einigen Problemen der frühbürgerlichen Revolution in Deutschland.—«Lehre-Forschung-Praxis». Die Karl-Marx-Universität Leipzig zum 10. Jahrestag ihrer Namensgebung am 5. Mai 1953. Lpz., 1963, S. 226; G. Zschäbitz. Über den Charakter und die historischen Aufgaben von Reformation und Bauernkrieg.—«Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1964, Heft. 2, S. 279—280; M. Steinmetz. Deutschland von 1476 — bis 1648. (Von den frühbürgerlichen Revoiution bis zum Westfälischen Frieden). Lehrbuch der deutschen Geschichte (Beiträge). Hrsg. von einem Autorenkollektiv. B., 1965, S. 13—27.

[4]) Автор иоследует развитие текстильного производства в одной из развитых в экономическом отношении областей Германии между Баденоким озером, Дунаем и Лехом с центрами в Аугсбурге, Ульме, Констанце, Равенсбурге, Меммингене, Исни, Биберахе и др. городах. Эта область вплоть до середины XVI в. была областью цвегущего текстильного производства. См. D. Lösche. Zur Geschichte der Entwicklung der Produktionsverhältnisse in der Leinen — und Barchentproduktion oberdeutscher Städte von 1450 bis 1750. Humboldt-Universität zu Berlin. Wirtschaftsgeschichliche. Fakultät. Institut für Wirtschaftsgeschichte. Forschungsseminar Prof. Kuczynski. Arbeitsbericht N 3. B., 1953, S. 1.

[5]) Ibid., S. 2.

торгового капитала[6]). Это позволило Д. Леше конкретно показать характер сдвигов, наблюдаемых в текстильной промышленности верхненемецких городов как в производственных отношениях, так и формах организации самого производства.

Первым шагом на пути к коренным изменениям в старых производственных отношениях и формах организации производства Д. Леше считает отделение торговым капиталом значительной части непосредственных производителей от рынка сбыта и сырья[7]). Он показывает, что уже в середине XV в. в верхненемецких городах с расширением торговых связей[8]), возрастанием трудностей в сбыте готовой продукции и получении сырья усиливается влияние торгового капитала на текстильное производство, беднеет и разоряется ремесленная масса[9]).

Вместе с тем Д. Леше предостерегает от переоценки этого первого шага на пути возникновения капиталистических отношений. Отделение непосредственных производителей от рынков сбыта и сырья, подчеркивает он, не вело еще к коренной ломке существующей системы производственных отношений и было только прелюдией дальнейшего подчинения производства капиталу, подготовкой для появления таких форм организации производства, которые имели переходный характер[10]).

В этой связи Д. Леше рассматривает вопрос о различных формах ферлага[11]), в которых зарождались раннекапиталистические отношения в текстильной промышленности верхненемецких городов. «С появлением ферлегера,— пишет он,— на месте прежних феодально-цеховых производственных отношений, возникают производственные отношения, характерные для тех социальных форм организации производства, которые были переходными к капиталистическим»[12]).

Характеризуя различные формы ферлага[13]), Д. Леше показывает тем самым, как происходило перерождение самой основы цеховой организации. Он отмечает распространение со второй половины XV в. в льноткацком и хлопчатобумажном производстве Равенсбурга, Меммингена, Бибераха так называемого цехового ферлага (Zunftverlag), формы коллективного договора, где контрагентами выступают, с одной стороны, цех, с другой — купец. Предоставляемая купцом цеху ссуда в виде денег или сырья распределялась между его членами[14]). В обусловленный срок цех обязывался поставить купцу определенное количество готового

---

[6]) Ibid., S. 2—3.

[7]) См. D. Lösche. Zur Geschichte..., S. 5.

[8]) Уже в середине XV в. продукция ткачей верхненемецких городов в больших размерах сбывалась торговыми кампаниями не только на отдаленные рынки Германии, но и в другие страны Европы. Ibid., S. 3.

[9]) Ibid., S. 4—6.

[10]) Ibid., S. 6.

[11]) Ферлаг (Verlag) — термин, применяемый немецкими историками для обозначения различных форм эксплуатации торговым капиталом непосредственных производителей, официально сохраняющих экономическую самостоятельность. Ферлегер — обладатель капитала (им мог быть купец, ростовщик, разбогатевший мастер), который путем авансирования в виде сырья, денег, вспомогательных материалов ставил непосредственного производителя в определенные формы зависимости от себя. См. H. Mottek. Wirtschaftsgeschichte Deutschlands., S. 207; M. Steinmetz. Deutschland 1476—1648. S. 20.

[12]) D. Lösche. Zur Geschichte..., S. 7.

[13]) Формы ферлага, особенно в экспортных отраслях ремесленного производства, известны в Германии уже со второй половины XIV века. См. L. Stern, E. Voigt. Deutschland von der Mitte des 13. bis zum ausgehenden 15. Jh. Lehrbuch der deutschen Geschichte (Beiträge). Hrsg. Von Prof. Dr. A. Meusel. B., 1965, S. 184—186.

[14]) Распределение цехом ссуды между ткачами говорит о том, что в нем были такие ткачи, которые не могли работать, не получив в виде аванса вперед денег или сырого материала.

товара. При этом Д. Леше правильно подчеркивает, что в коллективном договоре купец имел дело с цехом как с единым организованным целым. Тем самым власть капитала ограничивалась определенными рамками[15]).

Более широкие возможности влияния на производство, отмечает далее Д. Лёше, торговый капитал получал при индивидуальных сделках между производителем и купцом-предпринимателем (Individualverlag). Такая форма ферлага уже в середине XV в. была распространена во многих верхненемецких городах, частично в бумазейном, частично в льноткацком производствах[16]).

Таким образом, распространение в текстильной промышленности верхненемецких городов различных форм ферлага, характеристика которых дается Д. Лёше, показывает, что цех как корпоративная организация средневековых ремесленников под влиянием торгового капитала постепенно «отказывается от того, что составляло одну из основных целей его существования — от защиты экономической независимости мелкого производителя»[17]). Д. Лёше правильно подчеркивает, что в этих условиях прежний самостоятельный производитель, будучи постепенно отрезан от рынков сбыта и сырья, фактически превращается в наемного рабочего, эксплуатируемого владельцем капитала. Остается только один шаг до возникновения капиталистической работы на дому, когда ремесленник перерабатывает сырье предпринимателя, получая за это определенную плату[18]).

Общий вывод, к которому приходит Д. Лёше, следующий: «Хотя ферлаг как переходная форма к капиталистическим производственным отношениям имел решающее значение, нельзя не признать, что вызванные им изменения в производственных отношениях ткачей-мастеров не были еще значительными»[19]). С этим выводом нельзя не согласиться. Изменения, происходящие внутри цехов под влиянием торгового капитала, выражали прежде всего процессы, связанные с первоначальным накоплением капитала. Они создавали необходимые предпосылки для реального подчинения труда капиталу, для возникновения капиталистических отношений на базе капиталистического производства как такового.

Вопросам зарождения раннекапиталистических отношений в сукноделии на рубеже XV и XVI вв. посвящен доклад Карла Штейнмюллера «К положению цвиккауского сукноделия между 1470 и 1530 гг.», сделанный им на одном из заседаний секции медиевистики немецкого исторического общества в Веригероде Цвиккау был, как известно, одним из центров революционной деятельности Томаса Мюнцера и анабаптистов. Поэтому выводы К. Штейнмюллера имеют большое значение для правильного уяснения расстановки классовых сил в Цвиккау и его округе в бурных событиях 1525 года. Отметив высокий уровень развития сукноделия в Цвиккау на рубеже XV и XVI вв.[20]), К. Штейнмюллер обращает внимание на то новое, что появилось в это время как в формах органи-

[15]) См. D. Lösche. Zur Geschichte..., S. 7.

[16]) Ibid., S. 8, 10.

[17]) В. В. Стоклицкая-Терешкович. Очерки по социальной истории немецкого города в XIV—XV вв. М.—Л., 1936, стр. 102.

[18]) См. D. Lösche. Zur Geschichte..., S. 14.

[19]) Ibid., S. 16. Д. Лёше подчеркнул также, что окостенение цехов препятствовало дальнейшему развитию зачатков капиталистических производственных отношений, зародившихся в различных формах ферлага. (Ibid, S. 16).

[20]) Сукноделие в Цвиккау уже в первой половине XIV в. было основой городской экономики. В 20-е годы XVI в. цвиккауское сукно находило широкий спрос на рынках многих немецких городов и особенно польских городов. См. K. Steinmüller. Zur Lage der Zwickauer Tuchmacherei zwischen 1470 und 1530.— «Die fruhbürgerliche Revolution in Deutschland», S. 220—221.

зации суконного производства, так и в производственных отношениях. Возросшие особенности с конца XV в. трудности в обеспечении сырьем, в частности, повышение цен на шерсть, расслоение сукноделов на обедневших и зажиточных создали, по его мнению, необходимые предпосылки для возникновения различных форм феррлага в суконном производстве Цвиккау. Ферлегерами становились мастера, сосредоточившие в своих руках значительные денежные накопления путем спекуляции куксами, а также иногородние купцы, например, известные лейпцигские купцы Мартин Лейбель и Мартен Рихтен[21]). «Ферлаг становится новым элементом быстрой аккумуляции капитала, сопряженный с меньшим риском, чем при спекуляции куксами»[22]),— подчеркивает К. Штейнмюллер. Автор доклада считат ошибочным мнение, будто предпринимателями в суконодельческом производстве, как правило, становились лица, принимавшие активное участие в горных разработках[23]). Он приводит примеры, которые свидетельствуют о том, что такими предпринимателями в Цвиккау становились и лица, нажившие значительные состояния в сфере самого сукноделия[24]). Эти примеры показывают наличие резкой имущественной градации среди цвиккауских сукноделов. Можно согласиться с автором доклада в том, что действительно не всегда прибыль, получаемая в горном деле, служила источником предпринимательской деятельности в сукнодельческом производстве. В то же время может считаться вполне доказанным то положение, что горное дело в Саксонии было важнейшим резервом аккумуляции капитала, который вкладывался нередко помимо торговли и в текстильную промышленность[25]). Спекуляция куксами, в частности, как правило, приводила одних лиц к разорению, а других — к обогащению. Для богатых цвиккауских сукноделов-мастеров, принимавших активное участие в операциях по закупкам больших партий сырья, дополнительным источником обогащения была спекуляция куксами в горном деле[26]).

---

[21]) Ibid., S. 221—223.

[22]) Ibid., S. 223.

[23]) Так, Альфред Мейзель в книге «Томас Мюнцер и его время», писал, что владельцы расположенных вблизи Цвиккау серебряных рудников одновременно играли ведущую роль в текстильной промышленности города, особенно в сукноделии. Они скупали большими партиями шерсть, широко экспортировали сукно, становились ферлегерами и мануфактуристами. По социальному положению они принадлежали к патрициату. См. A. Meusel. Thomas Müntzer und seine Zeit. Mit einer Auswahl der Dokumente des Grossen Deutschen Bauerkrieges. Hrsg. von H. Kamnitzer. B., 1952, S. 136—137. Но К. Штейнмюллер отмечает, что уже в 80-е годы XV в. среди цвиккауских бюргеров не было владельцев рудников, а имелись только обладатели куксов. Ими же могли быть не только представители патрициата города. См. K. Steinmüller. Op. cit., S. 221.

[24]) В 1476 году в Цвиккау умер сукнодел Ганс Бернвальдер, оставивший после себя двух сыновей Андреаса и Петера. Ко времени смерти отца оба брата обладали почти одинаковым состоянием. Но уже в 1496 году по налоговому реестру Андреас имел состояние, оцениваемое в 115 флоринов, а Петер — в 4800 флоринов. Петер Бернвальдер, подчеркивает К. Штейнмюллер, был активнейшим ферлегером-торговцем и как раз начало его обогащения не было связано с горным делом (Ibid., S. 224).

[25]) На это обратил внимание, в частности, Рудольф Форбергер в своей интересной монографии «Мануфактура в Саксонии с конца XVI до начала XIX в.». Он отметил, что накопление торгового капитала в Саксонии с самого начала было тесно связано с судьбой ее горного дела. Этот капитал вкладывался не только в торговлю металлами, но и в текстильную промышленность, где он в различных формах ферлага частично превращался в капитал промышленный. См. R. Forberger. Die Manufaktur im Sachsen vom Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts B. 1958. S. 15—16, 18—19, 20 См. также E. Rehbein. Die Bergwerksbetriebe der Fugger. Ein Diskussionbeitrag zu den Fragen der Entwicklung des Frühkapitalismus in Deutschland.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Verkehrswesen». Dresden. 1953. Heft. 1, S. 73.

[26]) См. K. Steinmüller. Op. cit., S. 221.

В текстильной промышленности, как известно, очень рано развивается детальное разделение труда, совершенствуются технологические процессы изготовления различных изделий. Отдельные стадии процесса производства тех или иных изделий текстильной промышленности с развитием производительных сил, расширением торговых связей, общим развитием культуры начинают приобретать самостоятельное значение, становятся функцией особого разряда ремесленников-специалистов или особого цеха. Это не смогло при известных условиях не оказать своего влияния и на социальную структуру отдельных отраслей текстильной промышленности. Разложение цеховой системы, дифференциация ремесленной массы, возрастающие трудности в сбыте готовых изделий и получении сырья приводили к тому, что между различными ремесленниками-специалистами или цехами обострялась борьба за право координировать и направлять производство.

Предпринимательские функции (организация производства и сбыт готовых товаров) сосредоточиваются или в руках отдельных мастеров, обладающих необходимым для этой цели капиталом, или эти функции берет на себя цех. Нередко процессом производства и сбытом изделий руководит купец[27]).

Попытка показать связь в текстильном производстве между прогрессом в развитии производительных сил и зарождением раннекапиталистических отношений предпринята в монографии Арно Кунце «Ранний капитализм в Хемнице».

Крупнейший знаток истории средневековой текстильной промышленности Германии А. Кунце использовал в монографии обширный и разнообразный по характеру круг источников. Правда, он исследует развитие текстильного производства в Хемнице в основном в XVI и начале XVII вв., но ряд рассматриваемых им в вопросов относится к более раннему периоду, к XIV—XV вв. и первым десятилетиям XVI в. До середины XIV в., отмечает А. Кунце, производство полотна было сосредоточено в основном в сельской округе Хемница. Затем, со второй половины XIVв., льноткачество наряду с шерстоткачеством и сукноделием развивается в городе. Толчок этому, по мнению А. Кунце, был дан сооружением в Хемнице белильни[28]). Во второй половине XV в., отмечает он далее, городское ткачество еще более окрепло. Усиливается также проникновение в него торгового капитала. В системе производственных отношений возникают переходные формы к капиталистическим отношениям[29]).

Процесс разложения феодально-цеховых производственных отношений в хемницкой текстильной промышленности в XVI в. еще более усилился, возросла пролетаризация значительной части ремесленной массы.

---

[27]) См. В. В. Стоклицкая-Терешкович, Очерки..., стр. 85—88.

[28]) См. A. Kunze. Der Frühkapitalismus in Chemnitz.—«Beiträge zur Heimatgeschichte von Karl-Marx-Stadt», 1958, Heft. 7. Karl-Marx-Stadt, S. 10—11.

[29]) Ibid., S. 11, 14, 16. Зарождение раннекапиталистических отношений в полотняном производстве. А. Кунце связывает также с характером этого производства. Ткачество не требовало особого искусства и употребления сложных орудий труда. Поэтому им занимались деревенские жители и бедные слои городского населения. Все это способствовало, по мнению А. Кунце, более быстрому подчинению ткачей власти торгового капитала.

Ibid. S. 18. С этим нельзя не согласиться. Вспомним К. Маркса, который писал: «Ткачество — эта разновидность труда, которая в большинстве случаев не требует большого искусства и вскоре распадается на бесчисленное множество отраслей,— в силу всей своей внутренней природы противилось цеховым путам. Поэтому ткачеством занимались большей частью вне рамок цеховой организации в деревнях и местечках...». См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 3, стр. 55.

А. Кунце подчеркивает, что все большее число ткачей бумазеи, ткачей-полотнянщиков попадает в зависимость к скупщикам-раздатчикам[30]).

Те же самые процессы наблюдались и в сукноделии. А. Кунце отмечает, что в XVI в. было уже много таких сукноделов, которые не имели своих станков и вынуждены были работать на других мастеров. Другая часть сукноделов наряду с непосредственным участием в производстве сосредоточивает в своих руках сбыт продукции[31]).

Развитие текстильного производства в Хемнице и его округе на протяжении значительного времени, изменения в его социальной структуре А. Кунце тесно связывает с историей существования в городе белильни, возникшей в 1357 году[32]).

Сооружение белильни несколькими богатыми бюргерами с монопольными правами на отбелку всего изготовленного в пределах Мейсенского маркграфства полотна, по его мнению, не только способствовало дальнейшему развитию льнотканчества в городе и деревне, но и оказало значительное влияние на существующую систему производственных отношений. Благодаря тому, что отбелка готового полотна стала централизованной[33]) и носила монопольно-принудительный характер, возрастала роль капитала и возрастало его влияние на производство. Это проявилось в том, отмечает А. Кунце, что непосредственный производитель города и деревни попадал в зависимость к владельцам белильни или к скупщикам полотна[34]). Тесное переплетение торговли и ткачества, постепенное отделение производителя от рынка сбыта, подчеркивает А. Кунце, содействовали зарождению в городском и сельском ткачестве раннекапиталистических отношений[35]).

А. Кунце показывает далее, что со второй половины XV в. белильня в Хемнице постепенно начинает терять свое монопольное положение. Возникают местные белильни, а в Рохлице сооружается вторая белильня территориального значения. К тому же на рынках возрос спрос на тонкое крашеное полотно[36]). А. Кунце высказывает также мысль о том, что и предписания, издаваемые территориальными властями в конце XV в.

---

[30]) См. A. Kunze. Op. cit., S. 89—90.

[31]) Ibid., S. 77.

[32]) Ibid., S. 9—10. Хемницкая белильня была основана четырьмя богатыми бюргерами, нажившими свои состояния в торговле и ростовщичестве. Мейсенские маркграфы Фридрих, Бальтазар и Вильгельм предоставили им монопольное право на отбелку всего изготовленного на территории маркграфства полотна («...unde daz nymant mer denne sie alumbe bey zehen milen in unseren Landen keine bleiche haben sal»). Сооружение белильни отвечало также фискальным интересам маркграфов. Владельцы белильни скупали готовое полотно, отбеливали его и затем продавали. В белильне применялся наемный труд. Таким образом, владельцы белильни фактически имели монополию и на торговлю полотном. Поскольку существовала принудительная отбелка полотна, непосредственный производитель отделялся от рынка сбыта, т. е. часть его продукции, изготовленной не на местный рынок, поставлялась скупщикам или владельцам белильни. Но с дальнейшим развитием полотняного производства, с увеличением количества изготавливаемых изделий, Хемницкая белильня не смогла сохранить монополию на отбелку и продажу полотна. Весь капитал товарищества, как и в горном деле, делился на 32 части. Возникновение паевого товарищества усилило роль посредника-скупщика в закупке и продаже полотна, препятствовавшего прогрессивной концентрации в руках пайщиков отбелки полотна и торговли им. См. G. Heitz. Gründung, Kapazität und Eigentumsverhältnisse der Chemnitzer Bleiche (1357—1478).—«Vom Mittelalter zur Neuzeit». Zum Geburtstag von H. Sproemberg. B. 1956, S. 240—260.

[33]) Уже в конце XIV в. белильные лужайки занимали площадь от 3 до 4 га. Ежегодное производство, точнее сказать, пропускная способность в конце XIV и нач. XV вв. достигала 110000—150000 метров отбеленного полотна. См. A. Kunze. Op. cit., S. 11.

[34]) См. A. Kunze. Op. cit., S. 10.

[35]) Ibid., S. 12.

[36]) Ibid., S. 12—13.

против деревенского ткачества, имели своей целью укрепить положение Хемницкой белильни[37]). В таких условиях, подчеркивает он далее назревшая необходимость в реорганизации белильни[38]) не была осуществлена, поскольку пайщики противились преобразованиям и продолжали рассматривать белильню как источник поступления ренты[39]).

Окончательно монопольное положение Хемницкая белильня теряет с 50-х годов XVI в., когда повсеместно возникают местные красильни, а в имперском городе Пегнице была сооружена технически хорошо оснащенная красильня[40]). Правда, отмечает А. Кунце, производительность Хемницкой белильни и в 50 гг. XVI в. все еще оставалась высокой. Это было связано, по его мнению, с общим подъемом текстильного производства в Западной Саксонии, резким увеличением количества изготовляемого полотна[41]).

Интересные данные приводит А. Кунце о поставках полотна на Хемницкую белильню за 1533—1536 годы. По его подсчетам 87% всего отбеленного за эти годы полотна было поставлено из городов, 13% — жителями деревень. На основании этих данных он приходит к выводу о значительном развитии сельского ткачества, успешно конкурирующего с городским[42]).

Таким образом, А. Кунце, подробно исследовав историю Хемницкой белильни, придает ей большое значение в зарождении раннекапиталистических отношений в текстильной промышленности города и его сельской округи. Но необходимо в этой связи отметить, что рассмотрение А. Кунце вопросов, относящихся к характеру производственных отношений, возникающих в XV—XVI вв. в хемницком текстильном производстве, отодвинуто им на задний план. В центре его внимания находится прежде всего исследование истории Хемницкой белильни, красильного дела. Он очень подробно рассматривает технологию белильного и красильного производства, приводит интересные данные о количестве выпускаемой продукции, подробно исследует организацию труда в белиль-

---

[37]) Ibid., S. 12—14.

[38]) Ibid., S. 17. В 1471 году крупный пайщик, которому принадлежало 9 паев, мастер-белильщик, с 1441 года — член городского совета, Никель Экхардт предложил новую систему организации производства в белильне. Предложенная им реорганизация предусматривала передачу отдельных белильных площадок пайщикам-предпринимателям в собственность или в аренду. Они должны были стать непосредственно организаторами и руководителями производства, а также вступить в соревнование между собой («das eyner den andern trybe»). Следовательно, в существующей системе организации производства в белильне Н. Экхардт видел основное препятствие в осуществлении своих технических и купеческих планов. Но предложенная им реорганизация не была принята пайщиками и в 1478 году паевое товарищество распалось. Белильня за 1000 рейнских гульденов перешла в собственность городского совета. Ibid., S. 24—25. См. также: G. Heitz. Gründung..., S. 262—265.

[39]) Крупные пайщики белильни, активно участвующие в торговле и в разработках рудников, накопленные капиталы использовали на покупку земель и целых деревень. В этом не отставал от них город, к началу XV в. значительно расширивший свои земельные владения, а в 1423 году под залог в 2556 рейнских гульденов получивший право низшей и высшей судебной юрисдикции. См. А. Kunze. Op. cit., S. 11.

[40]) См. A. Kunze. Op. cit., S. 35.

[41]) Ibid., 28—29, 35. Белильные площадки сдавались городским советом в аренду белильщикам. Арендовались также лощильные установки в самой белильне и в городе. В 1507 году лощильную установку в белильне арендовал Томас Гёппнер за ежегодный чинш в 8 грошей и 5 пфеннигов, а в городе — Пауль Гёппнер за 13 грошей 5 пфеннигов. Отбеленное в Хемнице полотно должно было отглаживаться на лощильной установке, принадлежащей городскому совету. Лощение полотна производилось и в других городах с условием, что полотно в обязательном порядке должно было отбеливаться на Хемницкой и Рохлицкой белильнях. Примитивные способы лощения были известны и в деревнях. Ibid., S. 26—27.

[42]) Ibid., S. 28—29, 31, Anlage IV, S. 133.

нях[43]). В этом отношении работа А. Кунце бесспорно является серьезным вкладом марксистской историографии ГДР в разработку широкого круга конкретных вопросов истории средневековой текстильной промышленности Германии.

Более осторожно сумел подойти к оценке Хемницкой белильни Г. Гейц в своем докладе на дискуссии в Вернигероде. «Я характеризую преобразующую силу Хемницкой белильни за несколько лет от ее основания до 1471 года как незначительную, хотя, на мой взгляд, существовали объективные предпосылки, в первую очередь территориальная монополия, использование которых должно было усилить влияние сильного торгового бюргерства и содействовать значительным денежным накоплениям»[44]), — подчеркивает он. Ни пайщики белильни, ни белильщики-арендаторы после 1478 года, по мнению Г. Гейца, не смогли сосредоточить в своих руках отбелку полотна и торговлю им, не смогли подчинить себе непосредственных производителей города и деревни. Вопрос о реорганизации белильни был отодвинут на задний план только потому, что бурное развитие полотняного производства обеспечивало необходимую загрузку белильни[45]). Хотя в организации производства в белильне, отмечает далее Г. Гейц, мы видим зарождение раннекапиталистических элементов, значение ее было прежде всего в том, что она в определенной мере содействовала процессу отделения производителей от рынка сбыта. Белильня несомненно давала поддержку определенным силам раннего капитализма, усиливая, в частности, роль скупщиков-предпринимателей в текстильном производстве, подчеркивает Г. Гейц[46]). Соображения, высказанные Г. Гейцем, несомненно должны быть учтены, поскольку они основаны на изучении им конкретных источников. Ниже мы попытаемся показать это.

Разложение цеховой системы, углубляющийся процесс внутрицеховой дифференциации содействовали в определенной мере зарождению раннекапиталистических отношений в различных отраслях текстильной промышленности Германии. Но основным источником нового уклада было внецеховое производство, производство деревенской округи. Свободное от цеховых оков деревенское ремесло было питательной почвой для появления в эпоху зарождения капитализма примитивных мануфактур рассеянного типа.

«Мануфактура возникла,— писал К. Маркс,— не в недрах старинных цехов. Главой новейшей мастерской сделался купец, а не старый цеховой мастер. Почти всюду между мануфактурой и ремеслами велась ожесточенная борьба»[47]).

В этом отношении большой интерес представляет работа Г. Гейца «Сельское полотняное производство в Саксонии (1470—1555)»[48]). Автором предпринята попытка:

1) показать объем и распространение сельского полотняного производства в Саксонии исследуемого периода;

2) исследовать производственные отношения в сельском ремесле в связи с аграрными отношениями;

3) показать степень и характер противоречий между городским и сельским ремеслом.

---

[43]) Ibid., S. 11, 24—27, 28—30, 35, 39—41.

[44]) G. Heitz. Zu einigen wirtschaftsgeschichtlichen Fragen der frühbürgerlichen Revolution — «Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland»., S. 62.

[45]) Ibid., S. 62; его же: Gründung..., S. 267.

[46]) См. G. Heitz. Zu einigen wirtschaftsgeschichtlichen Fragen., S. 163.

[47]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 4, стр. 155.

[48]) Работа Г. Гейца написана на основе одноименной диссертации, защищенной автором в 1953 году в Лейпцигском университете им. Карла Маркса.

4) показать цели, формы и ход борьбы городского ремесла с сельским[49]). Статистический метод исследования позволил Г. Гейцу рассмотреть развитие сельского полотняного производства в Саксонии в динамике, показать основные этапы и тенденции этого развития. Подводя итоги развития полотняного производства в Саксонии в XIV—XV вв., он отмечает, что сельское ткачество здесь еще в это время не играло значительной роли. Оно удовлетворяло в основном потребности деревенских жителей, и о производстве на рынок не могло еще быть речи[50]).

XV в., подчеркивает далее Г. Гейц, характеризуется быстрым развитием сельского ремесла. Монополия города была подорвана. Развитие сельского ремесла Г. Гейц ставит в прямую связь с попытками территориальных властей ограничить количество деревенских ткачей. Эти попытки неоднократно предпринимались уже в 70-х годах XV в.

Общий вывод Г. Гейца сводится к тому, что несмотря на бурное развитие производительных сил в Саксонии в XIV—XV вв. объективная возможность концентрации торговли полотном и его окончательной отделки в Хемницкой белильне не была реализована. Территориальные власти и владельцы белильни видели в ней лишь источник поступления ренты со вложенного капитала. Поэтому, подчеркивает Г. Гейц, торговый капитал в лице владельцев белильни, не смог подчинить себе непосредственных производителей[51]).

Во втором разделе работы Г. Гейц показывает конкретный ход развития сельского полотняного производства в Саксонии между 1478 и 1555 годами. Общее количество деревень, упоминаемых в жалобах, подаваемых городскими советами территориальным властям, он подразделяет на три группы. К группе «А» относит деревни с 1—2 ткачами (120 деревень с 158 ткачами), к группе «В» деревни с 3—7 ткачами (58 деревень с 222 ткачами) к группе «С» — деревни с 8 и более ткачами (19 деревень с 292 ткачами[52]). Исследовав численное соотношение налогоплательщиков и ткачей в деревнях всех трех групп, Г. Гейц приходит к выводу, что за редким исключением в них количество ремесленников превышало тот минимум, на который соглашались города[53]). Относительно деревень группы «В», он устанавливает их вполне определенные связи с рынком, подчеркивая, что производство на рынок было особенно развито в деревнях с 5 и 6 ткачами, а также в деревнях, расположенных вблизи города. С полным основанием Г. Гейц называет деревни группы «С» деревнями ткачей (Weberdörfer). По его подсчетам 29 деревень этой группы (10% всех деревень) вне всякого сомнения имели прочные связи с рынком[54]).

Статистические подсчеты позволили Г. Гейцу сделать выводы об общей тенденции в развитии сельского ткачества Саксонии по периодам[55]). Эти выводы сводятся к следующим пунктам:

1) исходные позиции сельского полотняного производства Саксонии в конце XV в. были прочными;

---

[49]) См. G. Heitz. Ländliche Zeinenproduktion in Sachsen (1470—1555). Schriften des Instituts für Geschichte. Reine 2: Landesfeschichte. Bd. 4, B. 1961, S. 5—6, 11.
[50]) Ibid., S. 16—17.
[51]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 16, 17.
[52]) Ibid., S. 29.
[53]) Ibid., S. 31—33.
[54]) Ibid., S. 32—33, 36.
[55]) Г. Гейц выделяет три периода в развитии полотняного производства в Саксонии. Первый период — 1487—1500 годы, второй — 1521—1530 гг., третий 1531—1540 гг. Чтобы точнее выявить общую картину развития сельского ткачества во всех трех группах деревень по указанным периодам, он выделяет из общего количества исследуемых деревень 40 деревень, по которым имеются наиболее полные данные.

2) общее количество деревенских ткачей по всем трем периодам постоянно возрастает;

3) ткачество в деревнях группы «В» в 1521—1530 гг. достигает абсолютно и относительно высшего пункта своего развития;

4) ткачество в деревнях группы «С» после определенного застоя в развитии (в 20 г. XVI в.) в последующие годы становится основой сельского полотняного производства;

Общее же развитие сельского ремесла характеризуется, по мнению Г. Гейца, следующим:

а) застоем в развитии ткачества в мелких деревнях (группа «А»);

б) упадком ткачества в средних деревнях (группа «В»);

в) растущим значением ремесла в деревнях группы «С», где в 1531—1540 гг. было сосредоточено 47,8% всех ткачей (соответственно 68,2% ткачей по 40 деревням[56]).

Переходя к рассмотрению производственных отношений в сельском ремесле, Г. Гейц выявляет прежде всего социальную структуру сельского населения. Он отмечает, что в XV в. в связи с развитием товарно-денежных отношений в социальной структуре сельского населения Саксонии происходят значительные сдвиги. Увеличивается слой малоземельного и безземельного крестьянства, из которого рекрутировались кадры наемных работников в горном деле, сельском хозяйстве, а также сельские ремесленники[57]).

Все сельское население Г. Гейц делит на держателей гуфы или части ее, деревенскую бедноту, безземельных, подразделяя их в свою очередь на пять групп. К первой группе он относит халупников, огородников, держателей 1/4 гуфы; вторая группа включала держателей 1/2гуфы; третья группа — держателей 3/4 гуфы; четвертая — держателей полной гуфы и пятая — держателей более чем 1 гуфы. Это позволило Г. Гейцу сделать очень интересные выводы.

Используя для подсчетов налоговый реестр за 1529—1530 годы, он показывает, что в 80 исследуемых деревнях держатели 1/2 и 3/4 гуфы составили 46% всех деревенских ткачей. В вотчине Лихтенвальде эти держатели составили 50% всех ткачей. Г. Гейц делает вывод, что данный слой держателей весьма активно занимался ремесленным производством[58]).

Что касается других групп сельского населения, то Г. Гейц рисует следующую картину. Держатели пятой группы в редких случаях занимались ремеслом. С некоторыми отклонениями это относится и к держателям четвертой группы. Вторая группа (держатели 1/2 гуфы) дает 31% всех ткачей, третья (держатели 3/4 гуфы) — 15%. Г. Гейц подчеркивает при этом, что у держателей второй группы имелись наиболее благоприятные условия для занятия ремеслом, поскольку небольшой размер земельного надела вынуждал их обращаться к ремеслу. Прядение и ткачество как побочное занятие давало им возможность своевременно вносить феодальные платежи. Держатели третьей группы не имели достаточно времени для занятия ремеслом, поскольку их держания были обременены большим объемом феодальных повинностей[59]).

Среди огородников и халупников процент ткачей был незначительным (11% в 80 деревнях и 7,5 в 13 деревнях вотчины Лихтенвальде).

---

[56]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 41, а также таблицы 5 и 7.

[57]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 44—45.

[58]) Ibid., S. 45, таблица IX, S. 49—52.

[59]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 52.

Г. Гейц подчеркивает, что именно этот слой деревенских жителей поставлял феодальным поместьям и хозяйствам зажиточных крестьян основную массу сельскохозяйственных наемных работников. Распространенное мнение, что основным источником существования огородников и халупников было ремесло, по мнению Г. Гейца, необоснованно[60]).

Далее он показывает, что среди сельских ткачей значительный процент составляли Hausgenossen (38,5% в 80 деревнях, 40% в 13 деревнях вотчины Лихтенвальде). Они находились вне феодальных связей и по условиям своего существования ближе всего стояли к свободным наемным рабочим, которые вообще могли иметь место в феодальном обществе. «Для сельского ремесленного производства они (т. е. Hausgenossen — В. К.) являлись слоем, который имел большое значение»[61]),— подчеркивает Г. Гейц.

Таким образом рассмотрение социальной структуры сельского населения с точки зрения его дифференциации на держателей, деревенскую бедноту и безземельных позволило Г. Гейцу очень точно определить и показать место в ремесленном производстве, занимаемое каждой группой этого населения. В работе Г. Гейца делается попытка показать также характер ремесленного производства в деревнях, определить, в каких формах осуществлялась связь этого производства с рынком. Он показывает, что формы рыночных связей сельских ремесленников были различными. В частности, нередко Hausgenossen, занимаясь ткачеством, одновременно по заказу городских торговцев скупали готовое полотно у других деревенских ткачей. Скупкой занимались и огородники, для которых ремесленная деятельность становилась основной. Отдельные сельские ремесленники, закупая пряжу, самостоятельно сбывали свои продукты в городе[62]). Об усилении роли скупщика и о его проникновении в деревенское ремесло, по мнению Г. Гейц, свидетельствуют данные о постав-

---

[60]) Ibid., S. 53.

[61]) Ibid., S. 54, 55—56. Интересное замечание делает Г. Гейц о том, что вблизи рыцарских имений количество Hausgenossen было относительно незначительным, в то время как количество огородников и халупников здесь было наибольшим (Ibid., S. 57). О Hausgenossen, огородниках и халупниках смотри также: H. Rössler. Der revolutionäre Kampf der Fronbauern, Weber, Wirker und Tagelöhner gegen die feudalen Ausbeuter im Erzgebirgischen Becken.—«Beiträge zum Studium der Heimatgeschichte». B. 1953, S. 13.

[62]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., 58—63. В статье «Деревенские ткачи и социальная структура в деревне Лангеннер в XVI в. «Г. Гейц выделяет три основных вида ремесленной деятельности деревенских жителей. Первый — это Hausarbeit, т. е. переработка на дому сырого материала по заказу потребителя, удовлетворяющего собственные нужды; Lohnarbeit — работа на собственный счет с гарантией немедленного сбыта. В этом случае деревенский ремесленник самостоятельно закупал пряжу и готовое полотно продавал городскому потребителю; под Kaufarbeit следует понимать определенное производство для анонимного рынка или скупщика (ферлегера). Г. Гейц отмечает, что последним видом ремесленной деятельности занимались в основном состоятельные лица, имеющие связи со скупщиками. («...jetzliche, die es vermögen, auf den Kauf gearbeitet die anderen unvermögenden haben Lohnarbeit getrieben»). В деревне Лангеннер, как показывает Г. Гейц, тинересной фигурой был некий Леонард Цаспель. В 1530 году он был известен как огородник. Но уже в 1534 году в одной жалобе на него говорится: «...dieser man thut sich fürstlicher priviligien beruhmen, kauft das garn auf allen dorfern, wu ers bekommen magk, lesst keiner Stadt nichts willigk zugehen, den er hat einen Verleger. Szo macht er sovihl (sowiel) Leinwanth in die Schwartzfarbe, er und Verleger nicht genunig ausser landes vermugen zu schicken und treibt eyttel Schmale und .wellisch Leinwanth daran, das Ewer Fürslichen Gnaden merklichen geschädigt werden». См. G. Heitz. Dorfweber und Soziatlstruktur in Larghennersdorf im. 16. Jh —«Heimatkunde und Landesgeschichte». Zum 65. Geburtstag von R. Lehmann. Hrsg. von F. Beck. Weimar. 1958, S. 179—181; его же: Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 61.

ках полотна на Хемницкую белильню за 1533—1536 годы. Он полагает, что в большинстве своем деревенские ткачи не сами поставляли полотно в белильню. Этим занимались посредники, социальное положение которых очень трудно определить[63]).

Но вполне допустимо, подчеркивает Г. Гейц, что поставками полотна из дальних деревень, прежде всего из деревень с большим количеством ткачей, занимались городские скупщики. В частности, по мнению Г. Гейца, отсутствие в счетах белильни поставщиков полотна из деревень группы «С» наводит на мысль о том, что ткачи этих деревень работали на скупщика (ферлегера). Поэтому, заключает он, количество полотна, поставленное на белильню в 1533—1536 гг. и изготовленное в деревнях следует считать как минимальное. Значительная часть полотна была изготовлена в сельской местности и скуплена городскими торговцами[64]). На основании этих данных Г. Гейц делает вывод о том, что в 1 половине XVI в. саксонская деревня уже не была лишь поставщиком сырья и деревенские ремесленники, втягиваясь все более в товарное производство, были серьезными конкурентами городского ремесла. Усиление же роли скупщика и его проникновение в сельское ремесло, по мнению Г. Гейца, знаменует собой возникновение здесь первых элементов раннекапиталистических отношений[65]).

В тесной связи с социальным положением деревенских жителей Г. Гейц рассматривает распределение между ними рабочей силы, занятой в ремесленном производстве. Он показывает, что держатели третьей группы занимали 46,3% всех рабочих рук, держатели второй группы — 30%[66]). Констатируя активное участие в сельском ремесле, свободном от цеховых ограничений, держателей второй и третьей групп, расширение их связей с рынком, создававшем некоторые предпосылки для прогрессивного развития сельского хозяйства, Г. Гейц в то же время подчеркивает, что в исследуемый им период все это еще не вело к разрыву с феодальными отношениями собственности. «Землевладение... задерживало процесс превращения их (т. е. держателей второй и третьей групп — В. К.) в свободных рабочих. Мы можем даже сказать, что едва ли была наблюдаема тенденция к такому превращению»[67]),— отмечает он.

Заслуживает внимания оценка Г. Гейцем места в сельском ремесле, которое занимали Hausgenossen. Именно существование этого слоя в деревнях создавало, по его мнению, предпосылки для разложения феодального способа производства и возникновения раннекапиталистических отношений, поскольку наличие людей свободных от средств производства и феодальных пут и вынужденных существовать продажей своей рабочей силы — одно из основных условий возникновения капитализма. Однако в Германии, подчеркивает Г. Гейц, особенно после пора-

[63]) Например, из 24 поставщиков полотна, живших в 10 деревнях, социальное положение точно можно определить лишь для 13 Из них поставщиками полотна были: 1 Hausgenosse, 1 халупник, огородник или держатель 1/3 гуфы, 3 держателя 3/4 гуфы, 4 держателя полной гуфы, 4 держателя более чем 1 гуфы (Ibid., S., 67).

[64]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 69.

[65]) Ibid., S. 69—70.

[66]) Ibid., S. 71. В хозяйствах держателей третьей группы было сосредоточено 43,7% всех Hausgenossen и 50% Gesinde. Важным в этом отношении является замечание Г. Гейца, что в хозяйствах держателей четвертой и пятой групп было занято лишь 12,8% всех Hausgenossen это лишний раз опровергает, по его мнению, положение о том, что Hausgenossen были заняты преимущественно на сельскохозяйственных работах. Ibid., S. 71.

[67]) G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 74. Держатели первой, четвертой и пятой групп ремеслом занимались в незначительных размерах. Соответственно этому между ними была распределена рабочая сила. В хозяйствах держателей пятой группы было занято 6% всех рабочих рук, первой — 4,5%, четвертой — 12,6%. Ibid., S. 72.

жения раннебуржуазной революции, территориальные власти стремятся ограничить свободу передвижений Hausgenossen, прикрепить их к клочкам земли. Hausgenossen постепенно превращаются в держателей крошечных наделов и сближаются с первой группой сельского населения, группой, которая давала незначительный процент ремесленников[68]). Такая оценка Г. Гейцем места и роли в деревне слоя Hausgenossen имеет важное значение для правильного понимания не только особенностей раннекапиталистического развития Германии, но и помогает уяснить характер сдвигов в аграрных отношениях Саксонии после поражения Крестьянской войны. Прикрепляя Hausgenossen к земле, феодалы стремились тем самым обеспечить свои хозяйства дешевой рабочей силой, необходимой особенно при создании крупных господских хозяйств.

Решение важных вопросов, относящихся к борьбе между городом и деревней, к формам этой борьбы Г. Гейц стремится связать с общей социально-экономической и политической ситуацией в Саксонии, складывающейся здесь в конце XV — первой половине XVI вв. При этом борьба между городом и деревней рассматривается им как часть классовой борьбы, развернувшейся в Германии в эпоху Реформации и Крестьянской войны[69]).

В конце XV — первых десятилетиях XVI вв. упорная борьба городов с растущим ремесленным производством деревенской округи — явление, характерное не только для Саксонии, но и для других областей Германии. Но Г. Гейц стремится показать особенности этой борьбы в Саксонии. Здесь противоречия между городом и деревней, по его мнению, были особенно остры, ибо они были связаны «с ослаблением и частичным разложением феодальных производственных отношений»[70]).

В той же связи Г. Гейц показывает также, как относились к борьбе между городом и деревней территориальные государи и местные господа. В частности, он считает, что интересы деревенских ткачей и дворян в отношении сельского ремесла во многом совпадали. Местные господа обычно не скрывали наличия у них ремесленников. Но объясняли это обычаем, старым правом и т. д.[71]).

Территориальные государи, как показывает Г. Гейц, в спорах между городом и деревней объективно защищали интересы дворянства[72]). Формы борьбы городов с деревенским ремеслом были разнообразными. Г. Гейц отмечает и спорадические поездки представителей городов в деревни с целью установления количества в них ремесленников, размеров производства и т. д., а также показывает, что дело иногда, правда, редко доходило до разрушения ткацких станков в деревне. Чаще всего городские советы подавали многочисленные жалобы территориальным властям[73]).

Показывая ход этой борьбы, Г. Гейц выделяет три его этапа. Первый этап — от 1482 года до Крестьянской войны; второй — с 1526 года по 1540 год; третий — с 1540 г. по 1550 год. Он подчеркивает обострение противоречий между городами и деревнями с середины 20-х гг. до середины 30-х гг. XVI в.[74]). Обострение противоречий между городом и де-

[74]) Ibid., S. 82, 96.

[68]) Ibid., S. 76; его же: Dorfweber und Sozialstruktur..., S. 176.

[69]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 77.

[70]) Ibid., S. 79.

[71]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 80, 87—88, 89—91.

[72]) Ibid., S. 94—95. Г. Гейц, например, ссылается на работу Герлица «Государство и сословия в правление герцогов Альбрехта и Георга» (Берлин—Лейпциг, 1928 г.), в которой автор показывает, что не было ни одного случая, когда бы местные господа действительно были наказаны за укрывательство деревенских ремесленников. Ibid., S. 8!.

[73]) Ibid., S. 82—86.

ревней оказало, как известно, очень большое влияние на отношение городов к Крестьянской войне. Г. Гейц показывает, что если горнорабочие в Рудногорном районе Саксонии симпатизировали восставшим крестьянам, а нередко стояли и во главе восставших, то советы Фрейберга, Аннаберга, Хемница после некоторого колебания открыто встали на сторону господской партии. И одна из основных причин, по мнению Г. Гейца, это — враждебное отношение городов вообще к сельскому ремесленному производству. Даже в городах, где до Крестьянской войны не было открытой и острой социальной борьбы, бюргерство в целом колебалось и в конечном итоге заняло враждебные позиции по отношению к восставшим крестьянам. Такое отношение городов к Крестьянской войне, как правильно подчеркивает Г. Гейц, «препятствовало развертыванию восстания в Рудногорном районе»[75]).

Было бы совершенно неверно полагать, отвечает Г. Гейц далее, что после поражения Крестьянской войны отношения между городами и деревнями сразу же принципиально изменились. Борьба городов с деревенским ремеслом после 1525 года вновь разгорелась с новой силой. Волна жалоб начинается уже с 1528 года. По мнению Г. Гейца, города в Саксонии перестали видеть в сельских ремесленниках серьезных конкурентов только тогда, когда были устранены трудности сбыта готовой продукции. Эти трудности были устранены с помощью верхненемецкого торгового капитала, когда в городах Саксонии в крупных размерах стало изготовляться крашеное полотно по заказу верхненемецких торговых домов[76]).

В заключение монографии и в докладе на дискуссии в Вернигероде Г. Гейц попытался ответить в общем плане на два важных вопроса. Прежне всего, почему сельское полотняное производство в Саксонии, бурное развитие которого несомненно имело место в конце XV — первых десятилетиях XVI вв., в последующие годы пришло в упадок и тем самым не стало питательной почвой развития в нем раннекапиталистических отношений. В тесной связи с этим он попытался также показать, какое влияние оказал упадок сельского ремесла в Саксонии на процесс зарождения раннекапиталистических элементов в городском секторе хозяйства.

Г. Гейц видит основную причину упадка сельского полотняного производства Саксонии в нараставшем нажиме на крестьянство и усилившемся особенно после 1525 года процессе феодальной реакции. «...Процесс введения так называемого «второго закрепощения» есть самая глубокая причина упадка сельского производства»[77]),— подчеркивает он.

В этих условиях, по мнению Г. Гейца, складывание раннекапиталистических отношений в сельском полотняном производстве теряло все необходимые предпосылки дальнейшего развития. Он указывает также на раздробленность сельского производства, что затрудняло приложение торгового капитала, который также еще не был достаточно сконцентрирован, чтобы завоевать прочные позиции в деревне[78]).

Таковы, по мнению Г. Гейца, основные причины того, что торговый капитал с 50-х годов XVI в. стал ориентироваться исключительно на городских производителей и здесь явился фактором, консервирующим феодальные отношения и даже способствующим усилению этих отношений.

---

[75]) Ibid., S. 99—100.
[76]) Ibid., S. 102, 105.
[77]) G. Heitz. Zu einigen wirtschaftsgeschichtlichen Fragen..., S. 61.
[78]) Ibid., S. 61; его же: Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 112—113.

Г. Гейц полагает, что в различных формах ферлага торговый капитал сам по себе не разлагал цех как форму мелкого предприятия, как одну из форм феодального способа производства. Напротив, поскольку город стал единственной отдушиной предпринимательской деятельности, торговый капитал в лице ферлегера способствовал укреплению позиций цеха, которые были подорваны в 20 и 30 гг. XVI в. Торговый капитал укреплял прежде всего те формы управления ремеслом, которые были созданы цехом. Надстраиваясь над цехом, привязываясь к его органам управления ремеслом, торговый капитал играл консервирующую роль, препятствуя превращению отдельных мастеров в купцов и капиталистов, т. е. препятствуя тому пути перехода от феодального способа производства к капиталистическому, который был действительно революционизирующим[79]).

Монография Г. Гейца, положительно оцененная в марксистской историографии ГДР[80]), бесспорно является весомым вкладом в марксистскую разработку проблемы промышленного и раннекапиталистического развития Германии на рубеже XV и XVI вв. Основное ее достоинство состоит в том, что автор попытался на конкретных материалах Саксонии показать место и значение сельского полотняного производства в экономическом развитии этой области Германии. Выводы Г. Гейца помогают уяснить ряд важных вопросов, относящихся к особенностям раннекапиталистического развития Германии в целом. В этом плане заслуживает внимания попытка Г. Гейца на локальном материале Саксонии показать значение зарождавшихся в сельском полотняном производстве раннекапиталистических элементов, показать конкретные условия их развития.

Итак, историки ГДР на конкретных фактах показывают, что в различных отраслях текстильной промышленности Германии в конце XV — первых десятилетиях XVI вв. зарождались элементы нового капиталистического уклада. В тех местах, где ремесленники работали на экспорт и испытывали большие трудности в получении сырья, там на производство сильное влияние оказывал торговый капитал (Верхняя Германия, Саксония). В различных формах ферлага купеческий капитал подчинял себе ремесло, принуждая непосредственных производителей продавать купцу готовую продукцию и работать на чужом сырье[81]). Следовательно, можно констатировать возникновение первых элементов рассеянной мануфактуры[82]).

Элементы рассеянной мануфактуры наблюдались в XV — начале XVI в. в Германии и в других отраслях промышленности. Так, например,

---

[79]) См. G. Heitz. Ländliche Leinenproduktion in Sachsen..., S. 110—111.

[80]) См. R. Sonnemann: G. Heitz. Landliche Leinenproduktion in Sachsen (1470—1555). B., 1961.—«Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1962, H. 2, S. 478—481; H. Mottek. Zur Literatur über die Entwicklung der Elemente des Kapitalismus innerhalb der Feudalordnung in Deutschland.— «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», Sonderheft, 1960, S. 170—171.

[81]) В обстановке товарного хозяйства мелкий производитель в силу чисто экономического превосходства крупного, массового сбыта над разрозненным мелким сбытом неизбежно попадает в зависимость от торгового капитала. См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 359—360.

[82]) «Проникновение капиталистических производственных отношений в цех, внутренне разлагая его и видоизменяя, все же не уничтожало формы мелкого предприятия. Над массой мелких мастеров выросла фигура раздатчика работы и скупщика продукции Мелкие мастера, сохраняя свои мастерские, стали терять экономическую самостоятельность и превращаться в кустарей, работающих на капиталиста. Но цехи и созданные им формы управления ремеслом все же остаются. Другими словами, создается децентрализованная мануфактура»,— писала В. В. Стоклицкая—Терешкович («Немецкий город в эпоху Крестьянской войны (конец XV — первая четверть XVI в.)», «Вестник МГУ», серия обществ. наук. 1950, № 4, стр. 53).

Г. Моттек отмечает, что уже в XIV—XV вв. в Висмаре и Ростоке большинство бондарей работало по заказу крупных купцов, а также зажиточных бондарей-мастеров. В Гамбурге и Любеке мясники находились в зависимости от богатых рубщиков мяса. В металлообрабатывающей промышленности Нюрнберга ремесленники, изготовлявшие ножи и другие предметы из железа, были в сильной зависимости от купцов, сосредоточивших в своих руках сбыт готовой продукции на отдаленные рынки[83]). В конце XV и начале XVI вв. раннекапиталистические отношения возникают и в такой отрасли немецкой промышленности, как соледобыча, имевшей большое хозяйственное значение[84]). Раннекапиталистические отношения, как показал Г. Гейц, зарождались также в сельском ремесле. Но в силу общей ситуации, сложившейся в Германии после 1525 года, эти отношения не получили дальнейшего развития.

Следует подчеркнуть также, что историки ГДР очень осторожны и не без оснований в выводах относительно уровня развития раннекапиталистических отношений в отдельных отраслях немецкой промышленности. Они считают, что в Германии в конце XV — первых десятилетиях XVI в. лишь начался процесс складывания капиталистического уклада в отдельных отраслях ее экономики.

Историки ГДР отмечают также, что для Германии была более распространенной та форма перехода от феодального способа производства к капиталистическому, при которой купец прямо подчинял себе производство[85]). Характеризуя этот путь перехода, К. Маркс писал: «Как ни велико историческое значение последнего пути в качестве переходной ступени... все же этот путь сам по себе не ведет к перевороту в старом способе производства, так как он скорее консервирует и удерживает его как свою предпосылку... Подобные отношения повсюду стоят на пути действительного капиталистического способа производства и гибнут по мере его развития. Не совершая переворота в способе производства, они только ухудшают положение непосредственных производителей, превращают их в простых наемных рабочих и пролетариев при худших условиях, чем у рабочих, непосредственно подчиненных капиталу и присвоение их прибавочного труда совершается здесь на основе старого способа производства»[86]).

В этой связи хотелось бы отметить следующее. Тот путь перехода от феодального способа производства к капиталистическому, который был характерен для различных отраслей немецкой экономики показывает, что здесь торговля преобладала над промышленностью. С этим были связаны важные последствия. Прежде всего сфера производства играла еще подчиненную роль, промышленный капитал был слабо развит. Фигурой, олицетворяющей прогресс в производстве, становится купец-капиталист. Но сама природа купеческого капитала такова, что его стремление к самовозрастанию, присущее ему как капиталу, в зависимости от общих социально-экономических и политических условий[87]) может «в основном осуществляться лишь на базе старого способа производства, чуждого целям увеличения стоимости»[88]).

[83]) H. Mottek. Wirtschaftsgeschichte Deutschlands., S. 208.
[84]) Ibid., S. 216.
[85]) См. M. Steinmetz. Deutschland 1478—1648, S. 21.
[86]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 25, ч. 1, стр. 367—368.
[87]) Исследование путей возникновения и развития капиталистических отношений в любой стране неотделимо от рассмотрения сложной совокупности явлений «экономических, социальных, политических и международных, составляющих историю в целом». См. А. Н. Чистозвонов. Исследовать явления в их исторической самобытности и связях.— Сб. «Средние века», вып. VI, М., 1955, стр. 380—381.
[88]) См. Е. К. Некрасова. Характер капиталистической деятельности аугсбургского торгового дома Фуггеров.— Сб. «Из истории западноевропейского феодализма»,

Поэтому те формы организации производства, которые возникают при непосредственном участии купеческого капитала и имеют переходный или промежуточный характер «давали очень ограниченный простор прогрессивному развитию, приводили к хозяйственному застою и не только консервировались, но и регрессировали, порою возвращаясь к исходному пункту и обнажая ту основу, на которой они возникали»[89]). Для купца, проникающего в производство, торговля оставалась на первом плане, промышленная же деятельность играла своего рода подсобную роль[90]). Не случайно там, где в силу определенных причин частичное вложение купеческого капитала в промышленное производство не давало дохода, он перемещался в более выгодные сферы приложения[91]).

Преобладание торговли над промышленным развитием не могло не оказать влияния и на зарождение в Германии новых классов — буржуазии и наемных рабочих. Преобладающую роль в экономике страны играла торговая буржуазия. Эксплуатация же непосредственных производителей на базе старого способа производства сдерживала и осложняла процесс их превращения в пролетариев[92]).

Историки ГДР в изучении социально-экономических и политических предпосылок раннебуржуазной революции в Германии важное значение придают марксистскому освещению аграрных отношений в стране на рубеже XV и XVI вв. Для них история аграрных отношений данного периода — это прежде всего история непрекращающейся классовой борьбы немецкого крестьянства, история созревания предпосылок мощного крестьянского восстания в Германии в 1524—1525 гг., знаменовавшего собой кульминационный пункт раннебуржуазной революции[93]). При этом свою основную задачу историки ГДР видят в изучении экономического положения немецкого крестьянства накануне революции с тем,

---

ОГИЗ, М.—Л., 1934, стр. 65. А. Н. Чистозвонов в этой же связи справедливо подчеркнул, что «консервативная функция деятельности торгового капитала не была лишь данью времени, а являлась органическим его качеством». См. А. Н. Чистозвонов. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. М., 1964, стр. 67.

[89]) Там же, стр. 61.

[90]) В силу этого в технических усовершенствованиях более заинтересован был ремесленник, превращающийся в капиталистического эксплуататора, нежели купец, подчиняющий себе непосредственных производителей, в различных формах ферлага. См. H. Mottek. Zu einigen Fragen der Entwicklung der Produktivkräfte und ihrer gesellschaftlichen Bedingungen. — «Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte», 1964, T. 2/3, S. 192.

[91]) См. А. Н. Чистозвонов. Реформационное движение..., стр. 75; на это обратил внимание, в частности, Р. Форбергер, подчеркнувший, что после упадка горного дела в Рудногорном районе торговый капитал переместился в текстильную промышленность. См. R. Forberger. Op. cit., S. 20.

Также и упадок с середины XVI в. текстильного производства в верхненемецких городах следует объяснять не только растущей конкуренцией со стороны бурно развивающегося текстильного производства в Швейцарии, Саксонии, Шлезии и Вестфалии (что, собственно, делает Д. Леше), а и тем, что в последних районах создались более благоприятные условия для приложения в это производство купеческого капитала.

[92]) К. Маркс писал о купце, подчиняющем себе непосредственных производителей, следующее: «Он покупает их труд и лишает их собственности сперва на продукт, а вскоре и на орудия труда, или оставляет их им как призрачную собственность, с тем, чтобы сократить свои собственные издержки производства». К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству. ОГИЗ, 1940, стр. 48. Как показывают историки ГДР, в текстильной промышленности Германии в большинстве случаев ремесленники сохраняли призрачную собственность на продукты своего труда и орудия труда, что сдерживало процесс их превращения в наемных рабочих.

[93]) G. Heitz. Die Erforschung der Agrargeschichte des Feudalismus in der DDR (1945—1960). — «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», Sonderheft, 1960, S. 116.

чтобы, во-первых, показать действительные причины крестьянской войны, во-вторых, дать отпор реакционным буржуазным концепциям[94]).

В объяснении причин и характера классовой борьбы немецкого крестьянства в 1524—1525 гг. немецкие историки-марксисты творчески развивают основные положения Ф. Энгельса, изложенные им в работе «Крестьянская война в Германии», а также опираются на результаты исследований советских авторов, в особенности, исследований М. М. Смирина.

Одной из первых работ, вышедшей в ГДР в 1952 году и посвященной подробному исследованию революционной деятельности Томаса Мюнцера, является монография профессора Альфреда Мейзеля «Томас Мюнцер и его время». Наряду с основной задачей исследования — подробно рассмотреть и оценить революционную деятельность Томаса Мюнцера— автор уделяет внимание также анализу аграрных отношений в Германии на рубеже XV—XVI вв.

Заслуживает прежде всего внимание попытка А. Мейзеля дать свое решение вопроса о связи между Реформацией и Крестьянской войной. Он подчеркивает: «...между Реформацией и Крестьянской войной существует теснейшая связь не в том смысле, что Реформация явилась «причиной» Крестьянской войны, а в том, что оба события были двумя этапами внутри одного и того же движения. В годы с 1517 по 1525 немецкий народ пережил свою раннебуржуазную революцию»[95]). Подавляющее большинство немецкого народа в это время, отмечает А. Мейзель, состояло из крестьян[96]) и решающим противоречием было противоречие между светскими и духовными феодалами, с одной стороны, и массой феодально зависимого крестьянства — с другой. Поэтому, подчеркивает он, активное участие крестьянских масс в борьбе немецкого народа за коренные социальные и политические преобразования придавало этой борьбе необычайную силу и широту[97]).

В разделе о положении немецкого крестьянства в начале XVI в. А. Мейзель, исходя из ленинского понимания революционной ситуации, пишет: «Эксплуатируемые угнетенные классы совершают революцию не тогда, когда их дела идут плохо, а тогда, когда их дела становятся еще хуже; это значит, что их положение быстрее и сильнее ухудшается»[98]). Значительное ухудшение положения немецкого крестьянства А. Мейзель связывает с новыми явлениями в аграрных отношениях Германии конца XV — начала XVI вв.: увеличением поборов и повинностей с крестьян в пользу светских и духовных феодалов; ростом имперских налогов, вся тяжесть которых ложилась на крестьянство; ростом пошлин разнообразных видов, стремлением феодалов к закрепощению крестьянства; наступлением их на держательские права крестьян[99]).

Вместе с тем, правильно подчеркивая связь между развитием товарно-денежных отношений в Германии и усилением феодальной эксплуатации, А. Мейзель выдвигает на первый план три общих момента, которые способствовали значительному ухудшению экономического и социального положения немецкого крестьянства в начале XVI в. Первый из них, по его мнению,— это рецепция римского права; второй —

---

[94]) См. D. Lösche. Zur Lage der Bauern im Gebiet der ehemaligen freien Reichstadt Mühlhausen in Th. zur Zeit des Bauernkrieges.—«Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland», S. 64.

[95]) A. Meusel. Op cit., S. 41.

[96]) В конце XV в. около 75% населения Германии (12—13 млн. чел.) проживало в деревнях. См. M. Steinmetz. Deutschland 1476—1648, S. 25.

[97]) См. A. Meusel. Op. cit., S. 9.

[98]) Ibid., S. 11.

[99]) См. A. Meusel. Op. cit., S. 9—11.

превращение натуральной ренты в денежную в областях с развитыми городами, ремеслом и торговлей; третий — ухудшение отношений к крестьянству со стороны городов[100]).

Бесспорно, что рецепция римского права, превращение натуральной ренты в денежную, ухудшение взаимоотношений между городом и деревней, оказывали значительное влияние на усиление эксплуатации немецкого крестьянства в конце XV и начале XVI вв. Сама по себе такая постановка вопроса не вызывает возражения. Однако, на наш взгляд, этим общим моментом, способствовавшим значительному ухудшению положения немецкого крестьянства в начале XVI в, следовало было дать более развернутое обоснование. При этом необходимо исходить прежде всего из того, что сами они были связаны с той ступенью экономического развития Германии, которая характеризовалась общим подъемом товарно-денежных отношений, дальнейшим развитием товарного производства сельскохозяйственных продуктов и сырья, зарождением раннекапиталистических отношений в различных отраслях ремесленного производства.

В этом плане более подробно и на конкретных фактах наступление феодальной реакции в аграрных отношениях Германии и связанное с этим ухудшение положения крестьянства, показано в работе профессора Берлинского университета им. Гумбольдта Г. Камнитцера «К предистории Крестьянской войны в Германии».

Свою основную задачу автор видит в объяснении причин крестьянских волнений в XV—XVI вв.[101]). Крестьянскую войну он рассматривает как кульминационный пункт «целого ряда крестьянских заговоров и волнений, которые не прекращались в Германии особенно с начала XV в. и были направлены против феодальной эксплуатации и угнетения[102]). Отметив, что немецкое крестьянство к XV в. в основной своей массе находилось в различных формах феодальной зависимости, Г. Камнитцер обращает внимание на интенсивно протекавший в различных районах Германии процесс дробления крестьянских хозяйств, на появление карликовых хозяйств, не обеспечивающих даже прожиточного минимума крестьянской семье[103]).

Рассматривая две основные формы феодальной зависимости — Hörigkeit и Leibeigenschaft — Г. Камнитцер подчеркивает стремление немецких феодалов к закрепощению зависимого крестьянства, особенно проявившееся с конца XV в. с ростом потребностей феодалов в денежных средствах. Он показывает, что крепостничество распространяется в Швабии, Франконии, курфюршестве Пфальц, Бадене и Баварии. С ухудшением правового положения крестьян Г. Камнитцер связывает, прежде всего, резкое увеличение различного рода поборов и усложнение всей системы крестьянских повинностей. Он ссылается при этом на распространение в юго-западной Германии повинностей, связанных с переменой держателя (Besthaupt, Todfall). Усиление феодальной эксплуатации, по мнению Г. Камнитцера, было связано также с наступлением сеньеров на держательские права крестьян, распространением срочных держаний[106]).

---

[100]) Ibid., S. 11—16.
[101]) См. H. Kamnitzer. Zur Vorgeschichte des Deutschen Bauernkrieges. B., 1953. Vorwort.
[102]) Ibidem.
[103]) Ibid., S. 15—16.
[104]) Ibid., S. 17.
[105]) Ibid., S. 18.
[106]) Ibid., S. 19.

Перечисляя разнообразные виды барщинных работ, выполняемые крестьянами, Г. Камнитцер считает, что в юго-западной и средней Германии барщина ограничивалась 12 днями в году. Это объясняется, по его мнению, тем, что здесь собственное хозяйство сеньера не имело большого хозяйственного значения, и взамен барщины он требовал от крестьян регулярных денежных платежей[107]). Это требует уточнения. Во-первых, как это показал для юго-западной Германии М. М. Смирин, здесь «чистой сеньерии», т. е. сеньерии, в которой господская земля вовсе не имела хозяйственного значения, не существовало»[108]). Во-вторых, нередко крестьяне принуждались к барщинным работам в господских хозяйствах и тогда, когда они облагались регулярными натуральными и денежными платежами[109]). Поэтому замена отдельных видов барщины денежными платежами не может рассматриваться как перевод барщины на денежный чинш.

Рассматривая вопрос о взаимоотношениях городов с крестьянством Г. Камнитцер справедливо подчеркивает, что с развитием товарно-денежных отношений, укреплением связей крестьянских хозяйств с городским рынком усиливается процесс дифференциации крестьянской массы. Беднейшее крестьянство жестоко эксплуатировалось городским ростовщиком[110]). В то же время не может не вызвать возражений оценка, данная Г. Камнитцером продовольственной политике городских властей. Он отмечает, что городские власти запрещали бюргерам покупать зерно непосредственно у крестьян и принуждали последних продавать его на городском рынке по твердо установленным ценам. «Благодаря улучшению методов обработки земли, увеличению товарообмена и давлению на цены со стороны городских советов, цены на зерно с середины XIV в. неуклонно падали. Они снижались быстрее, чем цены на ремесленные изделия..»[111]), — пишет Г. Камнитцер. Все это отрицательно сказывалось на положении крестьян. Во-первых, такая оценка продовольственной политики городов несомненно идеализирует заботу городских властей о горожанах. Во-вторых, нельзя согласиться с тем, что цены на зерно с середины XVI в. неуклонно падали. Как это убедительно доказал для Аугсбурга А. Д. Эпштейн, «...переход от XV к XVI столетию не был ознаменован оздоровлением положения: в начале XVI в., как и в начале XV в., лихорадка хлебных цен продолжала терзать аугсбургского потребителя с постоянством застарелого недуга»[112]). В таких условиях для спекулянтов зерном открывалось широкое поле деятельности, от которой страдал не только городской потребитель, но и крестьянин. Заслуживает внимание попытка Г. Камнитцера в разделе «Крестьяне и территориальные государства» проследить, как отразился на положении крестьянства процесс складывания в Германии системы территориальных княжеств. «Складывание системы территориальных княжеств,— подчеркивает он,— имело роковые последствия для судеб немецкой нации»[113]). Настойчивые стремления территориальных государей (особенно с XV в.), отмечает Г. Камнитцер, сосредоточить в своих руках все судебные права не могло остаться без последствий для основной массы их подданных — крестьян. Тяже-

[107]) Ibid., S. 20.
[108]) См. М. М. Смирин. Очерки истории политической борьбы в Германии перед реформацией. М., 1952, стр. 56.
[109]) Там же, стр. 85—87.
[110]) См. H. Kamnitzer. Op. cit., S. 30.
[111]) Ibid., S. 29.
[112]) А. Д. Эпштейн. Из экономической и социальной истории Аугсбурга в XV — начале XVI вв.— Сб. «Средние века», вып. X, М., 1957, стр. 157.
[113]) H. Kamnitzer. Op. cit., S. 35.

лые судебные штрафы, произвол фогтов и других чиновников лишь усугубляли тяжелое экономическое и социальное положение крестьянства[114]). В заключение следует отметить, что в целом анализ экономического и социального положения немецкого крестьянства, проделанный Г. Камнитцером, представляет удачную попытку с марксистских позиций подойти к выяснению причин острых классовых конфликтов в немецкой деревне, переросших затем в Крестьянскую войну[115]).

Характеристика новых явлений в аграрной истории Германии в XV — первых десятилетиях XVI вв., трактовка причин и характера Крестьянской войны содержатся в одном из разделов труда Ганса Моттека «Экономическая история Германии». Опираясь в своих выводах на результаты исследований историков ГДР и советских историков, Г. Моттек подчеркивает связь между наступлением феодальной реакции в немецкой деревне со II половины XV в. и быстрым развитием товарно-денежных отношений в Германии. Он показывает конкретные формы проявления этой реакции в различных по своим хозяйственным условиям районах страны[116]).

Существенный вклад в марксистскую разработку проблемы аграрных отношений в Германии накануне революции внес Д. Лёше. Большой интерес представляет его доклад «К положению крестьян в области бывшего свободного имперского города Мюльхаузена ко времени Крестьянской войны», прочитанный на одном из заседаний I конференции медиевистов ГДР в Вернигероде. Город Мюльхаузен, как известно, был важнейшим центром революционной деятельности Томаса Мюнцера. Восстание плебса и крестьян во время Крестьянской войны здесь проходило под его непосредственным руководством. Поэтому, отмечает Д. Лёше, выяснение положения сельского населения вокруг города важно не только для установления причин крестьянских волнений. Это имеет большое значение и для того, чтобы показать особые условия, с которыми приходилось сталкиваться Томасу Мюнцеру в его агитации среди мюльхаузенских крестьян[117]).

Опираясь на исследование О. Михаэля[118]), Д. Лёше рисует следующую картину, характеризующую социально-экономическую структуру мюльхаузенской деревни. Земельными собственниками в 17 мюльхаузенских деревнях были бюргеры, городской совет, духовенство. Собственником 1/3 всех земель был городской совет. 102 мюльхаузенским бюргерам принадлежало 16% всей пахатной земли и 18% приусадебных участков. Духовенству принадлежало 45% всей пахотной земли и 43% приусадебных участков.

Наследственный чинш крестьян состоял из натуральных и денежных платежей, причем первые платежи играли главную роль. Характерно при этом, что городской совет на своих землях установил еже-

[114]) Ibid., S. 36—38, 39.

[115]) Мы не можем согласиться с общей оценкой книги Г. Камнитцера рецензентом Р. Мюллер. Правильно отметив ряд существенных недостатков книги, Р. Мюллер ошибочно полагает, что в научном отношении труд Г. Камнитцера мало дает для понимания сложных вопросов истории Германии XV—XVI вв. См. R. Müller, H. Kamnitzer. Zur Vorgeschichte des Deutschen Bauernkrieges. B., 1953.—«Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1955, H. 1, S. 131—135. Не следует забывать, что работа Г. Камнитцера — одна из первых марксистских работ, посвященная предыстории Крестьянской войны, вышедшая в ГДР.

[116]) См. H. Mottek. Wirschaftsgeschichte Deutschlands., S. 225—243.

[117]) См. D. Lösche. Zur Lage der Bauern..., S. 64.

[118]) См. O. Michael. Grundbesitz und Erbzins der Bauern im Gebiet der Freien Reichsstadt Mühlhausen i. Thür. zur Bauernkriegszeit. Veröff. des Mühlhäuser Stadtarchivs. N. F. 2. Mühlhausen, 1959. К сожалению, мы не имели возможности ознакомиться с этой работой.

годный чинш в 186 пфеннигов, духовенство — до 488 пф., дворяне — до 281 пф., бюргеры — до 286 пф. Это не могло не повлиять, подчеркивает Д. Лёше, на позиции мюльхаузенского крестьянства, занятые им в бурных событиях 1523—1525 гг.[119]).

Д. Лёше приходит к выводу, что «мюльхаузенская область была... областью чистой сеньерии (reinen Grundherrschaft» со значительной расплыленностью феодального землевладения, личной свободной и относительно хорошими держательскими правами крестьян»[120]).

Но было бы неверно, подчеркивает он, рассматривать экономическое положение мюльхаузенских крестьян повсюду благоприятным. Необходимо учитывать большие различия между отдельными группами деревень по природным условиям. Д. Лёше подразделяет все деревни (16) на две основные группы: группу верхних деревень и группу нижних деревень (в каждой группе по 8 деревень).

Использовав данные налогового реестра за 1524—1525 гг. для установления степени социальной дифференциации среди крестьян, Д. Лёше заключает: «Уже тот факт, что во всей области 50%, в группе верхних деревень даже 2/3 всех налогообязанных, были неимущими, отчетливо показывает, что о благоприятном или даже только о сносном экономическом положении мюльхаузенских подданных не может быть никакой речи, поскольку за цифрами скрывается широкий слой деревенской бедноты, фактически неимущей и находящейся в тяжелом материальном положении»[121]).

Необходимо также учитывать, отмечает Д. Лёше, что в группе нижних деревень, где природные условия были более благоприятными, имелся относительно широкий слой зажиточных и богатых крестьян, чего нельзя сказать о группе верхних деревень. Это обстоятельство не могло не оказать влияния на борьбу крестьян за улучшение экономического положения, поскольку разными были не только исходные позиции, но и частично цели отдельных общин в этой борьбе[122]).

Очень интересным в докладе Д. Лёше является попытка сравнить имущественное положение крестьян с имущественным положением жителей Мюльхаузена. По его подсчетам, в стенах города только 9% всех налогооблагаемых относились к неимущим, а в предместьях — 41%, в то время как в деревнях — 50%. Следовательно, подчеркивает он, масса крестьян находилась в еще худших экономических условиях, чем жители предместий[123]).

Известно, что мюльхаузенские крестьяне поздно примкнули к революционному движению и что совет города еще в сентябре 1524 года сумел опереться на них в борьбе против плебейской оппозиции, возглавляемой Томасом Мюнцером и Пфейфером. Основная причина этого, по мнению Д. Лёше, заключалась в том, что Мюльхаузен был территориальным господином своих крестьян, а бюргеры смотрели на них как на подданых города. Все это естественно осложняло классовую борьбу крестьян, их совместные действия с плебсом. Только в 1525 году плебейская оппозиция, возглавляемая Томасом Мюнцером, сумела привлечь на свою сторону крестьянство и свергнуть старый совет[124]).

Несколько слов необходимо сказать еще об одной работе Д. Лёше, посвященной рассмотрению имущественных отношений тюринген-

[119]) См. D. Lösche. Zur Lage der Bauern..., S. 65—66.
[120]) Ibid., S. 67.
[121]) Ibid., S. 68.
[122]) См. D. Lösche. Zur Lage der Bauern..., S. 68—69.
[123]) Ibid., S. 71.
[124]) Ibid., S. 72.

ских крестьян в 40 годы XVI в. Он сравнивает экономическое положение крестьян трех областей — Мюльхаузенской, Эрфуртской и Альштедской, используя данные налоговых обложений 1542 года (так назыв. Türkersteuerregister — обложение для борьбы с турками).

В результате подробного исследования хозяйственного положения крестьян этих трех областей, степени дифференциации крестьянской массы каждой области, Д. Лёше приходит к следующим выводам. Мюльхаузенские крестьяне по сравнению с эрфуртскими альштедскими находились в середине XVI в. в относительно лучшем экономическом положении. Из этого он делает вывод, что особая активность крестьянских масс в Мюльхаузенской области в 1525 году объясняется прежде всего активной революционной деятельностью среди них Томаса Мюнцера и его сторонников. Эрфуртские крестьяне находились в самых худших экономических условиях, и в этой области возник самостоятельный центр крестьянского движения, несмотря на то, что здесь влияние мюнцеровской партии было незначительным[125]).

Подведем итоги. Проанализированные нами работы историков ГДР бесспорно представляют собой определенный вклад в изучение аграрных отношений в Германии перед революцией. Основное внимание немецкие историки-марксисты уделяют исследованию процесса феодальной реакции, охватившей немецкую деревню с конца XIV века. Они справедливо связывают наступление феодальной реакции с дальнейшим развитием товарно-денежных отношений, с бурным ростом городов, расширением рынков и возникновением раннекапиталистических отношений в различных отраслях ремесленного производства.

Вместе с тем, как подчеркивают сами историки ГДР, проблема аграрных отношений в Германии накануне революции не может считаться достаточно полно разработанной в марксистской историографии. Необходимо исследование ряда важных вопросов этой проблемы[126]).

В частности, в марксистской историографии ГДР недостаточно уделяется внимания усилившемуся с конца XV в. процессу общественного разделения труда в сельском хозяйстве: специализации в отдельных районах страны на производстве зерна, вина, технических культур не только барских хозяйств, но и хозяйств крестьянских. Углубление этой специализации имело очень важные социально-экономические последствия.

Новые явления в экономической жизни Германии на рубеже XV—XVI вв., связанные прежде всего с разложением традиционных средневековых форм организации производства и зарождением раннекапиталистических отношений оказали существенное влияние на социальную структуру немецкого общества, затронув в той или иной степени все его слои без исключения.

В этой связи, в частности, большое значение приобретает изучение социальной структуры немецких городов в первые десятилетия XVI в. Историки ГДР считают, что социально-экономический анализ городского населения позволяет установить тесное переплетение в городах церковно-реформационных движений с социально-политической борьбой, а также показать место, занимаемое в этой борьбе различными слоями бюргерства и плебса[127]). В этом отношении историками ГДР

---

[125]) См. D. Lösche. Vermögensverhältnisse thüringischer Bauern im Jahre 1542.—«Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte», 1964, T. 2/3, S. 123—136.

[126]) См. M. Steinmetz. Deutschland 1476—1648., S. 35.

[127]) См. D. Lösche. Achtmänner, Ewiger Bund Gottes und Ewigen Rat. Zur Geschichte der revolutionären Bewegungen in Mühlhausen i. Th.— «Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte», 1960, T. 1, S. 135.

проделана серьезная работа, позволяющая разобраться во многих сложных вопросах истории классовой борьбы в Германии в эпоху Реформации и Крестьянской войны.

Попытка показать социальную структуру ганзейских городов предпринята в монографии И. Шильдхауэра. «Социальные, политические и религиозные противоречия в ганзейских городах Штральзунд, и Росток и Висмар в первой трети XVI века».

Показывая имущественное положение отдельных социальных слоев этих городов И. Шильдхауэр не просто противопоставляет бедных богатым, а стремиться показать место данного слоя в материальном производстве. Так, например, рассматривая социальную структуру Штральзунда по данным налогового обложения за 1534 г., он делит всех налогоплательщиков на семь групп. Первая группа охватывала членов городского совета и крупных торговцев привозным сукном (0,5% всех налогоплательщиков); вторая и третья группы также включали в себя торговцев сукном и прочих крупных купцов (5,1% всех налогоплательщиков); четвертая группа охватывала часть средних бюргеров, из которых некоторые были торговцами сукном и зажиточными ремесленными мастерами (7,0% всех налогоплательщиков); к пятой группе принадлежали ремесленники (6,7% всех налогоплательщиков, шестая группа состояла из 762 налогоплательщиков, принадлежавших к массе мелких ремесленников (36% всех налогоплательщиков); к седьмой группе принадлежали полностью или почти полностью неимущие. Это были поденщики, обедневшие ремесленные мастера (32,5% всех налогоплательщиков). Вообще не платящих налог насчитывалось 288 человек (13,2% к общему числу налогоплательщиков). В реестре учтены также так называемые Keller, т. е. жители подвалов, но без имен и суммы налога. Их насчитывалось 444. Если принять их за жителей города, то седьмая группа составит 55,3% всех налогообязанных. Это были неимущие или почти неимущие жители города[128]).

Рассматривая также данные прямого постоянного обложения (Schossregister» Ростокских жителей за 1482, 1490 и 1533 годы, И. Шильдхауэр устанавливает, что здесь с 1482 по 1533 годы общее количество способных платить налог уменьшается. В то же время количество лиц, платящих так называемый Vorschoss от 1 до 8 шиллингов) и вообще не платящих налог постоянно увеличивается. В 1482 году их было 55,8%, в 1490 году — 57,4%, а в 1533 — 63,6%[129]).

Эти данные несомненно объясняют во многом ту остроту социально-политической и религиозной борьбы, которая была характерна для ганзейских городов в эпоху Реформации и Крестьянской войны. Активное участие мелкого бюргерства и широкого плебейского слоя в борьбе

[128]) См. J. Schildhauer. Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen in den Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. Wismar. 1959, S. 43—44.

[129]) Ibid., S. 46—48. В статье «Социальная структура ганзейского города Ростока с 1378 по 1569 годы» И. Шильдхауэр, исследовав данные налоговых обложений, пришел к важным выводам. Он установил, в частности, что широкий слой ремесленных мастеров и мелких торговцев (к концу XIV века он охватывал 63,1% всех налогообязанных), постепенно, но неуклонно размывался. Например, в 1490 году он охватывал уже 30,6% всех налогообязанных, а в 1533 году — голько 22,8%. В то же время за счет разорившихся ремесленников и мелких торговцев постоянно увеличивался слой лиц, платящих от 1 до 8 шиллингов или вообще не платящих налога. В 1378 году он охватывал 24,4% всех налогообязанных, в 1490 году — 57,4%, а в 1533 году — 63,6%. См. J. Schildhauer. Die Sozialstruktur der Hansestadt Rostock von 1378—1569.— «Hansische Studien». H. Sproemberg zum 70. Geburtstag. B., 1961, S. 342—352; его же: Das Anwachsen der plebejischen Schicht der Stadtbevölkerung im Ostseegebiet und deren Rolle in der frühbürgerlichen Revolution.— «Die frühbürgerlichen Revolution in Deutschland», S. 75—80.

за демократизацию городов и за проведение Реформации сыграло огромную роль в свержении власти патрициата и создании комитетов. Об этом очень интересно и подробно рассказывает И. Шильдхауэр в своей работе.

В 1960 году была опубликована интересная статья Д. Лёше о социально-политической и религиозной борьбе в Мюльхаузене в 1523—1525 гг. В ней он попытался вскрыть классовый характер происходивших в Мюльхаузене событий, показать значение плебейской оппозиции, руководимой Томасом Мюнцером. Социальную структуру города Д. Лёше рассматривает в тесной связи с его экономической жизнью. Ремесленное производство в городе, как показывает он, за исключением шерстоткачества, а также полотняного производства и кожевенного, удовлетворяло местные потребности.

Экспортной отраслью было сукноделие, где уже зарождались элементы раннекапиталистических отношений. Перенесение торговых путей тяжело отразилось на торговле города, поэтому мюльхаузенские купцы не обладали крупными капиталами[130]).

Характеризуя имущественное положение городского населения по данным налогового обложения за 1524—1525 годы Д. Лёше показывает, что 19% налогообязанных были совершенно неимущими. Обедневшее бюргерство составляло 26%. Эти два слоя сосредоточивали в своих руках только 2% собственности. Средние и богатые бюргеры составляли 13% всех налогообязанных, но располагали 56% собственности. Ядром городского населения было мелкое бюргерство (42% всех налогообязанных). Это была масса ремесленников[131]). Существенное различие отмечает Д. Лёше в имущественном положении между городскими жителями и жителями предместий. Хотя последние составляли около 30% всех налогоплательщиков, они имели лишь 7% собственности. Если в городе 1/3 населения принадлежала к имущим и обедневшим, то в предместьях неимущих было 42%, а обедневших бюргеров — 32%[132]).

В целом, подчеркивает Д. Лёше, положение основной массы ремесленников по времени Крестьянской войны нельзя признать благоприятным. Большая часть их принадлежала к менее обеспеченным слоям мелкого бюргерства, и в ходе социально-политической борьбы примыкала к плебейской оппозиции[133]).

Таким образом, И. Шильдхауэр и Д. Лёше на конкретном материале, тщательно проанализированном, показывают, в чем коренились основные причины массовых народных движений в городах Германии в эпоху Реформации и Крестьянской войны. Их работы позволяют уяснить вопрос о сложном характере расстановки классовых сил в ходе революции в Германии.

***

В заключение обзора следует отметить, что историками ГДР поставлены и решены важные вопросы, имеющие большое значение для правильного понимания характера назревавшего в Германии в первые десятилетия XVI века общественного подъема. Заслуживает внимание стремление историков ГДР к углубленному анализу ряда важных вопросов социально-экономического развития Германии в конце XV — первой половине XVI веков, основанному на широком привлечении источников (работы Г. Гейца, А. Кунце, И. Шильдхауэра, Д. Лёше). В этом проявляется качественно новый подход марксистских историков ГДР к изучению проблемы Реформации и Крестьянской войны в целом.

---

[130]) См. D. Lösche. Achtmänner..., S. 136—139; G. Dunken. Die revolutionären Tradition der freien Reichstadt Mühlhausen in Thüringen bis zum Ausbruch des Grossen Bauernkrieges.— «Wissenschaftliche Annalen», Beiheft. B., 1956, S. 40—43.

[131]) D. Lösche. Achtmänner..., S. 140.

[132]) Ibid., S. 141.

[133]) См. D. Lösche. Achtmänner..., S. 111—112.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

ОБЗОР РАБОТ ИСТОРИКОВ ГДР О НАРОДНЫХ И ЕРЕТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ XIV ВЕКА И ИХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ

Х. З. ЛЕВУШ

Характерной особенностью революционной оппозиции феодализму XIV века было то обстоятельство, что несмотря на ее неоднородность все составные части ее испытали на себе огромное влияние новых идей. Эти идеи были порождены определенными экономическими и социальными сдвигами в феодальном обществе того времени и отражали в основном потребности той части бюргерства, которая, вырвавшись из — под власти сословно-цеховых рамок средневекового города, находилась в стадии превращения в класс буржуазии[1]).

Провозгласив возможность рационального истолкования некоторых церковных догм, необходимость для человека достичь спасения в земной жизни путем самоусовершенствования и, отрицая некоторые феодальные формы подчинения и господства, эти идеи положили начало размежеванию между теологией и философией, верой и наукой и поколебали веру людей того времени в незыблемости некоторых церковных и феодальных устоев. Тем самым они поставили под сомнение не только существенные положения церковной, но и феодальной идеологии, имевшей в течение многих веков нормативный характер. Наконец новые идеи являлись также одним из источников идеологии раннего гуманизма[2]).

Заслугой историков ГДР является то, что им удалось рассмотреть различные проявления этих новых идей и вскрыть взаимосвязь между ними и оппозиционными устремлениями разных слоев населения. Одной из ранних работ историков ГДР, затрагивающих данную проблему, является исследование Л. Штерна «Идеологическое происхождение Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона и их исторические заслуги[3]). В этой работе Л. Штерн рассматривает взаимосвязь и обусловленность философских учений Скотта, Оккама, Виклефа с их устремлениями, направленными против церковного феодализма и феодального строя[4]).

---

[1]) Иными по своему содержанию стали также и идеи, отражавшие оппозиционные устремления крестьянства. Крестьянская идеология приобретает в XIV веке более боевой характер по сравнению с предшествовавшими веками. См. Е. В. Гутнова. Некоторые проблемы идеологии крестьянства эпохи средневековья — «Вопросы истории», 1966, № 4, стр. 52—72.

[2]) Марксистский анализ сущности идеологии раннего гуманизма. См. F. Smaheb. Zakladni problematika renessance a humanismu — «Ceskoslovensky Casopis historicky», K. VII, 1959, N—1, S. 144—165; С. Д. Сказкин. К вопросу о методологии истории Возрождения и гуманизма.— Сб. «Средние века», вып. XI. М., 1958, стр. 123—145, М. А. Гуковский. Итальянское возрождение. Л., 1947, т. I, В. Н. Лазарев. Леонардо Да Винчи. М., 1952, стр. 7—30.

[3]) L. Stern. Martin Luther und Philip Melanchton — ihre ideologische Herkunft und geschichtliche Leistung, B., 1953.

[4]) Ibid., S. 29—34.

Характеризуя оппозиционное движение XIV—XV веков, автор указывает на наличие трех оппозиционных течений. Первое из них было направлено на реформацию церкви путем подчинения ее власти территориальным соборам. Это так называемое соборное движение. Оно возглавлялось светской знатью и имело, по мнению Л. Штерна, своей целью создать национальную церковь. Это течение являлось консервативно-католическим. Цель другого течения заключалась в создании новой бюргерской церкви. Это движение Л. Штерн относит к бюргерско-реформистскому. Острие третьего течения было направлено против церкви вообще и, по мнению Штерна, являлось крестьянско-плебейским[5]).

Нам представляется, что Л. Штерн в данной работе не совсем обоснованно отмежевывает соборное движение от оппозиционных устремлений бюргерства [6]). Обновление церкви путем подчинения ее власти территориальным соборам отвечало в первую очередь интересам средневекового бюргерства. Так как установление власти таких соборов лишало бы римской курии многих возможностей злоупотребления своей властью и содействовало бы созданию той «...дешевой церкви...»[7]), в установлении которой средневековое оппозиционное бюргерство и было заинтересовано. Л. Штерн неправильно также полагает, что крестьянско-плебейские массы в средние века могли выступать против любой церкви[8]). История всех крестьянско-плебейских и иных оппозиционных движений свидетельствует о том, что они имели также своей целью создать свою новую церковь. Следует отметить, что Л. Штерн, будучи соавтором вышедшего в 1965 году учебного пособия, преодолел указанные недостатки. Например, в этом труде соборное движение рассматривается им как одно из проявлений бюргерской оппозиции[9]), а крестьянско-плебейским оппозиционным движениям не приписывается стремление к ликвидации церкви[10]).

Взаимообусловленность оппозиционных движений с новыми идеями наиболее ярко проявились в тех странах, в которых в силу определенных экономических и социальных сдвигов, классовые противоречия достигли наибольшей остроты.

Одним из таких мест была Чехия, в которой, начиная со второй половины XIV века, шла острая борьба между основными антагонистическими классами феодального общества и наблюдались противоречия между различными прослойками господствующих классов[11]). Все это и предопределило, что именно здесь, на чешской земле, новые прогрессивные идеи, призывавшие к ломке веками установившихся традиций во многих сферах духовной и материальной жизни общества того времени, нашли наиболее благодатную почву.

В силу этих обстоятельств для нас значительный интерес представляет исследование немецкого историка-марксиста Э. Винтера об оппозиционных движениях XIV века в Чехии. В своей работе «Ранний гуманизм»[12]) Э. Винтер в результате всестороннего анализа экономического, социального и политического положения Чехии приходит

[5]) Ibid., S. 26—28.
[6]) Ibid., S. 27.
[7]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. II, т. 7, стр. 361.
[8]) L. Stern. Martin Luther und Philip Melanchton..., S. 28.
[9]) L. Stern, E. Voigt. Deutschland in der Feudalepoche von der Mitte des 13. Jh. bis zum ausgehenden 15. Jh. B., 1965.
[10]) Ibid., S. 162—165.
[11]) См. М. Мацек. Табор в гуситском революционном движении, т. 1, М., 1956, стр. 86—124.
[12]) E. Winter. Der Frühhumanismus. B., 1964.

к выводу, что в основе идеологического обоснования как бюргерского, так и крестьянско-плебейского оппозиционных течений лежали новые идеи. Эти идеи были также связаны с ростом чешского и немецкого национальных самосознаний[13]). Э. Винтер совершенно справедливо полагает, что не определенная социальная принадлежность, а лишь классовая позиция того, или другого представителя оппозиционных течений предопределяла характер его выводов из новых идей[14]).

В связи с этим весьма интересна мысль Э. Винтера о существовании в то время трех оппозиционных течений, направленных против церковного и светского феодализма: реформистского, реформаторского и революционного.

Первые два отражали стремление господствующих классов изменить некоторые стороны церковного и светского уклада жизни, находившиеся в противоречии с их интересами и приспособить для своих нужд новые веяния, появившиеся в религиозной и светской идеологии.

Заслугой Э. Винтера является то, что, установив общие классовые корни реформистского и реформаторского течений, он сумел обосновать также и существенную разницу между ними. Он полагал, что реформизм — это такое движение, которое ставило перед собою цель пересмотра некоторых особо отвратительных явлений в церкви[15]). По мнению Э. Винтера, реформисты стремились в основном к сохранению установившихся форм церковного и светского уклада жизни путем приспособления их к новым веяниям духовной и светской идеологии[16]). Э. Винтер указал также и на то обстоятельство, что реформистские идеи проявлялись в деятельности цистерцианских и других орденских монастырей. Эти монастыри, учитывая распространенное среди народных масс мнение о возможности человека путем самоусовершенствования достичь спасения в земном мире, выступали против внешнего блеска церкви[17]). Весьма интересным является указание Э. Винтера на наличие тесной связи между реформизмом и учением святого Августина о просветлении отдельного человека и включение его тем самым в святую общину церкви[18]). Но ни на какие радикальные изменения в жизненном укладе того времени реформизм не посягал, так как его идейные вожди опасались перерастания разрозненных оппозиционных течений в последовательную борьбу против церкви и государства[19]). Кроме того, реформистское движение, по мнению Э. Винтера, имело цель отвлечь народные массы от присоединения к еретическому лагерю[20]).

Э. Винтер указывает, что в отличие от реформистов, реформаторы выступали за кардинальные реформы во всех сферах деятельности церкви и феодального государства[21]). Весьма существенным является замечание автора, что радикализм реформаторства в значительной мере определился его связью с хилиастическими учениями[22]) и левой мистикой [23]). Э. Винтер прослеживает связь между реформаторскими устремлениями и идеями, вытекающими из наиболее радикальных и передовых

---

[13]) Ibid., S. 8.
[14]) Ibid., S. 13
[15]) Ibid., S. 45.
[16]) Ibid., S. 24—25.
[17]) Ibid., S. 34—35.
[18]) Ibid., S. 51—52.
[19]) Ibid., S. 66—68.
[20]) Ibid., S. 67
[21]) Ibid., S. 81—85.
[22]) Ibid., S. 87.
[23]) Ibid., S. 72.

философских учений того времени[24]). Устанавливая связь идей реформаторов с идеологией революционого гусистского движения[25]), Э. Винтер доказывает, что некоторые реформаторские идеи перекликались с социальными требованиями крестьянско-плебейских масс[26]).

Ограниченность реформистских устремлений по сравнению с реформаторскими наглядно, на наш взгляд, сказывается в учениях Конрада Мегенбурского и его современника Марсилиуса Падуанского. Так, представитель реформистского течения Конрад Мегенбургский, являясь сторонником возрождения раннехристианских форм организации церкви, вопрос об обновлении феодального общества вообще не ставил. Заботясь о спасении церкви и, тем самым, всего феодального общества, он высказался за то, чтобы были восстановлены добрые отношения между универсальной светской и универсальной духовной империями. Он писал: «Пусть они (император и папа — Х.Л.) сердечно любят друг друга и правят как два светила всем миром»[27]).

Священники, являясь посредниками между богом и людьми, должны были, по мнению Конрада Мегенбургского, занимать привилегированное положение[28]).

Оппозиционные идеи Марсилиуса Падуанского имели очень широкий диапазон и по своей сути являлись явно реформаторскими. Марсилиус Падуанский выдвинул ряд идей о необходимости радикальных реформ в сфере деятельности церковного и светского феодализма. Он отвергает универсализм и всесилие папской курии.

Папская курия, по его мнению, являлась «разбойничьим логовом»[29]). Он подчеркивал, что деятельность курии «противоречит всем божеским и человеческим законам и поэтому долго существовать не сможет»[30]). Духовная власть, по его мнению, должна быть лишена всякой исполнительной власти[31]).

Сравнивая роль священника и врача, он писал: «Священник должен лечить подобно врачу»[32]).

Окончательным арбитром виновности или невиновности людей в вопросах веры является только бог[33]). Выступая за власть синода[34]), он вообще не признает за римским епископом какие-либо преимущества перед другими епископами [35]). Что касается королевской власти, то эта власть, по его мнению, должна быть совершенно независима от духовной власти. По Марсилиусу граждане в своей совокупности лучше всего разумеют общую пользу государства, слагающуюся из суммы интересов отдельных лиц. Управление государством они поручают сведущим лицам[36]).

---

[24]) Ibid., S. 70—75.
[25]) Ibid., S. 201—202.
[26]) Образцовый приход «нового Иерусалима» по мысли реформатора Милича должен быть стать прообразом нового общества, организованного в духе реформаторских идей (Ibid., S. 202).
[27]) Konrad von Megenberg. Klagelied der Kirche über Deutschland — «Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittlealter» R. I. Hrsg. von E. Engelberg und H. Kusch, B., 1956, S. 56.
[28]) Ibid., S. 57—59.
[29]) Marsilius von Padua. Der Verteidiger des Friedens — «Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter», B. II, Teil II, S. 841.
[30]) Ibid., S. 847.
[31]) Ibid., S. 395.
[32]) Ibid., S. 397.
[33]) Ibid., S. 389—391.
[34]) Ibid., S. 831.
[35]) Ibid., S. 897.
[36]) Marsilius von Padua. Der Verteidiger..., Teil I, S. 121—129.

В случае нарушения законов эти правители могут быть смещены и наказаны народом[37]).

Любопытна мотивировка, выдвигаемая Марсилиусом о необходимости наказывать правителей за проступки перед законом. «Если его (правителя — Х. Л.) не наказывать, то это может привести к восстанию народа и беспорядкам»[38]), — считал Марсилиус. В то же время слишком частое наказание или смещение правителей привело бы к выработке привычки у народных масс не подчиняться законам и поэтому, по мнению Марсилиуса, мелкие проступки правителей должны остаться незамеченными[39]).

В стремлении реформировать все сферы деятельности феодального государства, чтобы избежать революционных выступлений народных масс, и заключается ограниченность реформаторства. Следует заметить, что в отличие от реформистских идей Конрада Мегенбургского о восстановлении раннехристианской церкви с ее уравнительными тенденциями, Марсилиус своими требованиями о равноправии всех епископов и подчинении церкви государству подходит к идее о необходимости создания национальной церкви.

Несмотря на существенное отличие между взглядами Марсилиуса Падуанского и Конрада Мегенбургского, тот и другой так же, как и все представители реформистского и реформаторского оппозиционных течений, в конечном счете ставили перед собой цель: укрепить существующий строй.

Нам представляется, что несмотря на текучесть границы между реформизмом и реформаторством, первое течение в основном отражало интересы оппозиционно настроенных крупных духовных и светских феодалов, в то время, как второе — интересы бюргерства и оппозиционно настроенного низшего слоя духовенства и феодалов. Историки ГДР, отмежевав реформистские и реформаторские идеи от революционных устремлений крестьянско-плебейской оппозиции, показывают, что из новых идей можно было сделать выводы, направленные как на обновление и сохранение феодального строя, так и на низвержение его. Например, Э. Винтер, говоря о третьем революционном течении, подчеркивает, что так называемые Devotio moderna (новая вера в области религиозной философии) и Via moderna (новый путь в области светского мышления) оказали влияние на зарождение революционной гусистской идеологии[40]).

Э. Вернер в своей статье «К вопросу о раннем капитализме в Венеции» пишет: «Новый образ мышления содействовал не только преодолению схоластической акробатикой понятиями, но и питал непосредственно антифеодальную идеологию народных масс»[41]).

Заслугой историков ГДР является то, что они не только пытаются вскрыть идеологические корни народных восстаний того времени, но и показывают их своеобразие, обусловленное специфическими экономическими и социальными условиями разных стран.

Обращаясь к истории народных восстаний в североитальянских городах, Э. Вернер в ряде своих статей дает характеристику особенностей экономического и социального развития Северной Италии[42]).

---

[37]) Ibid., S. 222—225.
[38]) Ibid., S. 223.
[39]) Ibid., S. 225.
[40]) E. Winter. Der Frühhumanismus. S. 165—166.
[41]) E. Werner. Zur Frage des Frünkapitalismus in Venedig — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl—Marx—Universität Leipzig». Gesellschafts — und sprachwissenschaftliche Reihe 1956—57. H. 3, S. 340.
[42]) Ibid., S. 341.

Он указывает, что, несмотря на появление в северо-итальянских городах зачатков капитализма, которые, по выражению Маркса, «...спорадически встречаются в отдельных городах по Средиземному морю уже в XIV—XV столетиях»[43]) в Венеции и во Флоренции еще не было условий для его дальнейшего развития [44]). Далее Э. Вернер указывает, что как торговый, так и ростовщический капитал, проникая в итальянскую деревню, создает новые формы эксплуатации крестьян. И все же феодальная основа эксплуатации оставалась прежней[45]). Поэтому, анализируя восстание Чомпи, Е. Вернер указал на то обстоятельство, что незрелость капиталистических отношений в Северной Италии и породила ограниченность действий Чомпи[46]).

Э. Вернер не дает аргументированного объяснения, почему данное движение протекало в основном в светской оболочке. В связи с этим нам представляется, что общая теоретическая посылка Э. Вернера о том, «...что чем более конкретными становятся политические цели, тем более бледнеет и отодвигается на задний план религиозное сознание»[47]), не объясняет отсутствие религиозных требований у Чомпи.

Отсутствие религиозных требований и сугубо светский характер этого движения следует объяснить, на наш взгляд, не практицизмом его целей, как это полагает Б. Тепфер[48]), а влиянием на него светских оппозиционных идей. Во Флоренции, через которую проходило основное русло идеологического развития Италии, получает большое распространение оппозиционно настроенная по отношению к феодальным порядкам и церкви литература, написанная на итальянском языке[49]). Различные конституционные формы ограничения власти грандов и богатейших пополанов, установленные в результате острой внутриполитической борьбы, предшествовавшие восстанию Чомпи[50]) содействовали росту политической активности всех слоев населения Флоренции. Все это несомненно обусловило также распространение различных светских оппозиционных идей и среди жителей Флоренции. Требование Чомпи о политическом и социальном равенстве всех граждан и их стремление совершить переворот в конституционных рамках свидетельствуют о правоте слов Ф. Энгельса, что «...на ход исторической борьбы также оказывает влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки: политические формы классовой борьбы и ее результаты — государственный строй, установленный победившим классом после вынужденного сражения, и т. п. правовые формы и даже отражение всех этих действительных битв в мозгу участников, политические и юридические философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшие развития в систему догм»[51]). Поэтому предпролетариат Фло-

---

[43]) К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 728.

[44]) E. Werner. Der Florentiner Frühkapitalismus im marxistischen Sicht — «Studi medievali», Spoleto, 1960 dic. ano. fas 2, S. 671—678.

[45]) Ibid., S. 339

[46]) E. Werner. Probleme städtischer Volksbewegungen im 14. Jahrhundert, dargestellt am Beispiel der Ciompi—Erhebung in Florenz — «Städtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert», B., 1960, S. 50. Подробный анализ доклада Э. Вернера см. А. Д. Люблинская. Медиевисты ГДР о городских восстаниях XIV века.— Сб. «Средние века», вып. XXIV, М., 1963, стр. 260—263

[47]) E. Werner. Volkstümliche Häretiker oder sozial—politische Reformer 1349— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl—Marx—Universität Leipzig» Gesellschafts — und sprachwissenschaftliche Reihe 1958—59 H 8, S. 67.

[48]) B. Töpfer Die Apostelbüder und Aufstand des Dolcino — «Städtische Volksbewegungen», S. 62—63.

[49]) См. Я Буркгардт. Культура Италии, т. I, Петербург, 1905, стр. 157—203.

[50]) См. М. А. Гуковский. Итальянское возрождение. т. I, Л., 1947, стр. 273—278.

[51]) К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 394.

ренции, обладая системой взглядов, выработанных под влиянием всей предшествующей политической борьбы и светских оппозиционных идей и не нуждался в каких-либо религиозных обоснованиях своим требованиям.

В своей статье «Еретики из народа или социально-политические реформаторы (Проблемы революционного народного движения в Фессалоники в 1343—1349)[52]) Э. Вернер рассматривает другое значительное народное восстание, протекающее также вне религиозной оболочки. В результате всестороннего анализа экономического, социального и политического положения Византии в XIV веке он приходит к выводу: «феодальный строй в Византии, подобно Западной Европе, переживал ряд кризисных явлений, связанных с развитием денежной ренты»[53]). Он полагает, что хотя в Византии развитие зачатков капиталистических отношений в производстве и местный торговый капитал получили значительно меньшее развитие, чем в Западной Европе, эти факторы как и на Западе, обусловили рост денежной ренты и оказали влияние на изменение феодальной структуры в деревне[54]).

Говоря о специфике византийского феодального строя, Э. Вернер указывает на то немаловажное обстоятельство, что духовные и светские феодалы предпочитали оседать в городах и оттуда управлять своими владениями[55]). Обладая собственными лавками, крепостными мастерскими, светские духовные феодалы имели возможность реализовывать продуктовую ренту и успешно конкурировали с горожанами[56]).

Э. Вернер подчеркивает также то обстоятельство, что крупные светские и духовные феодалы широко пользовались иммунитетными правами для закрепощения крестьян и захвата их земель[57]).

Сравнивая характер краткосрочной аренды Северной Италии и Византии, Э. Вернер пришел к выводу, что «она (краткосрочная аренда — Х. Л.) являлась следствием одинакового влияния иностранного и внутреннего торгового капитала на феодальную структуру деревни, как в Северной Италии, так и в Византии»[58]).

Говоря о краткосрочной византийской аренде, Э. Вернеру следовало бы указать, что она была лишь одной, к тому же наименее распространенной формой выжимания прибавочного труда из крестьян и применялась в основном мелкими и средними феодалами[59]). В то время как в Средней Италии краткосрочная аренда являлась преобладающей формой эксплуатации крестьян.

Рассматривая конкретную деятельность зилотской коммуны, Э. Вернер указывает на ее последовательную борьбу с феодалами. Проводимая зилотами политика конфискации владений, духовных и светских феодалов, лишение их привилегий и отмены иммунитетных прав — все это по мнению Э. Вернера, свидетельствует о значительной политической зрелости зилотов[60]).

В деятельности зилотов Э. Вернер выделяет четыре периода. Первый период (1342—1343 гг.) характеризуется антифеодальным переворотом, в результате которого пришли к власти представители богатейших купеческих и ремесленных кругов. Политика городской верхушки

[52]) E. Werner. Volkstümliche Häretiker..., S. 61—62.
[53]) Ibid., S. 80.
[54]) Ibid., S. 78.
[55]) Ibid., S. 51.
[56]) Ibid., S. 46—49.
[57]) Ibid., S. 47—48.
[58]) Ibid., S. 76.
[59]) См. А. П. Каждан. Аграрные отношения в Византии XIII—XIV вв. М., 1952, стр. 181—184.
[60]) E. Werner. Volkstümliche Häretiker..., S. 80.

имела явно антифеодальную направленность и поэтому на первых порах пользовалась поддержкой как со стороны низших слоев населения города, так и со стороны крестьянства окрестных деревень, спасавшихся в стенах Фессалоники от нашествия турок. Но уже в этот первый период деятельности зилотов назревало недовольство народных масс недостаточно последовательной социальной политикой, проводимой руководящими кругами зилотов. Это дает Э. Вернеру основание полагать, что в 1343—1345 годах начинается второй период восстания зилотов. Данный период характеризуется растущим влиянием городской и сельской бедноты на социальную политику зилотов. Именно тогда происходит более ясное социальное размежевание между основными политическими силами города. Представители богатейших и отчасти средних слоев города вступают в переговоры с аристократами. Но благодаря решительным действиям плебейских масс города и активной поддержке коммуны со стороны крестьянства, эти заигрывания со все еще сильным классом феодалов не увенчались успехом. В результате наступает третий период (1345—1349 гг.). Он характеризуется наиболее радикальными выступлениями народных масс против аристократов, крупных феодалов и монастырей. Производится конфискация имущества монастырей, феодалов и отчасти богатейшего купечества. Зилотская коммуна оказывает материальную поддержку окрестному крестьянству. Особенно большую роль в данный период играл цех моряков, который как наиболее организованная сила, оказывает эффективную поддержку зилотам. Но по ряду обстоятельств внутреннего и внешнего порядка партия зилотов оказывается изолированной.

И это обусловливает наступление четвертого периода (1349—1350 гг.), когда под натиском внутренних и внешних врагов зилотская коммуна терпит поражение. Наступает период реакции[61]). Ни в одном из периодов плебейским массам, не обладавшим зрелой классовой идеологией, не удалось установить своего господства[62]).

Причины недостаточной целеустремленности плебейского крыла зилотов Э. Вернер усматривает в отсутствии ясных представлений о своих целях[63]).

Восстание зилотов Э. Вернер сравнивает с восстаниями Чомпи во Флоренции и обездоленных в Сиене[64]). По его мнению, этим двум восстаниям, несмотря на их радикальный характер, была больше свойственна черта изолированности, чем зилотам[65]). Касаясь восстания «младшего народа» (populo minuto) в Генуе, Э. Вернер доказал, что в конечном итоге это восстание, руководимое ловким демагогом Боканегру, ставило перед собой лишь такие политические цели как ограничение власти грандов и допуск к политической власти окрепших в экономическом отношении представителей бюргерских кругов[66]). Э. Вернер в своей работе ставит вопрос, какая же идеология могла быть пригодной для выражения чаяний зилотов. В связи с этим он рассматривает сущность различных идеологических течений, получивших распространение в Византии[67]), и приходит к выводу, что ни иосахитское течение, руководи-

---

[61]) Ibid. S. 61—63.
[62]) Ibid., S. 59—61.
[63]) Ibid., S. 60.
[64]) Ibid., S. 80—82. О восстании в Сиене см. так же В. И. Рутенбург. Восстание «обездоленных» в Сиене в 1371 году и предшествующие ему народные восстания в 50—60 годах XIV вв.— Сб. «Средние века», вып. IV, М., 1953, стр. 152—181.
[65]) E. Werner. Volkstümliche Häretiker..., S. 81.
[66]) Ibid., S. 79.
[67]) Ibid., S. 66—67, 82.

мое Паламой, ни дуализм богомилов, также как и взгляды сторонников Варлаамы, не могли адэкватно отражать чаяний народных масс. Поэтому зилоты ими и не пользовались[68]).

Отрицая влияние религиозной оппозиционной идеологии на социально-политическую программу зилотов, Э. Вернер, к сожалению, не выявляет идеологических корней этой программы. Поэтому его вывод о том, что зилоты были реформаторами, а не еретиками из народа, требует на наш взгляд дополнительных обоснований.

Географические рамки исследований историков ГДР о народных и еретических движениях XIV века весьма обширны. Об этом свидетельствуют доклады, сделанные на совещании в Вернигероде. Они были посвящены внутригородским социальным конфликтам и народным движениям Германии, Англии, Франции и Италии. Многие факты и выводы, содержащиеся в них представляют немалый интерес. Так Т. Бютнер, рассматривая особенности внутригородского конфликта в Лондоне накануне восстания 1381 года, пришла к выводу о значительной имущественной дифференциации внутриремесленных и купеческих кругов Лондона[69]). Это обстоятельство, по мнению исследовательницы, и обусловило борьбу между отдельными прослойками господствующих кругов Лондона[70]).

Автор приходит к выводу, что с появлением зачатков мануфактурного производства[71]) значительно ухудшилось положение подмастерьев и учеников. Указывая на тяжелое положение этой многочисленной низшей ремесленной прослойки[72]), Т. Бютнер приводит ряд примеров, свидетельствующих о борьбе подмастерьев и учеников против цеховых мастеров и городских властей[73]).

Т. Бютнер в своем исследовании касается также роли плебейских слоев Лондона в событиях 1381 года. Ссылаясь на слова Ф. Энгельса, что плебейская оппозиция «...везде следует в своих требованиях и выступлениях за крестьянами...»[74]), Т. Бютнер приходит к выводу, что плебейские слои Лондона не преследовали своих собственных целей и в отличие от Чомпи не обладали ни собственной организацией, ни самостоятельным руководством[75]).

Касаясь идеологических предпосылок событий 1381 года в Англии, Т. Бютнер полагает, что проповеди Джона Болла о социальном равенстве нашли «симпатизирующих, но не глашатаев»[76]). Неясным, по ее мнению, является и то, на какие слои оказало влияние учение Виклефа[77]). В этом отношении точка зрения Т. Бютнера о роли идей Виклефа в событиях 1381 года примыкает ко взглядам Г. Лея, полагавшего, что «Виклеф вообще не имел никаких отношений к крестьянскому восстанию от 1381 года[78]). Г. Лей даже считает, что Виклеф своими

---

[68]) Ibid., S. 66—67, 82.
[69]) Th. Büttner. Die sozialen Kämpfe in London wärend des englischen Bauernaufstandes 1381.— «Städtische Volksbewtgungen». S. 121—131.
[70]) Ibid., S. 127—132.
[71]) Ibid., S. 124.
[72]) Ibid., S. 131—132, 135—137.
[73]) Ibid., S. 138—139.
[74]) К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 354.
[75]) Ibid., S. 140.
[76]) Th. Büttner. Die sozialen Kampfe..., S. 140.
[77]) Ibid., S. 141.
[78]) H. Ley. Bemerkungen zur verreformatorischen Bewegung in Deutschland und zu einigen philosophischen Problemen der Zeit.— «Wissenschaftliche Annalen». B., 1956. H. 6, S. 374—376.

учениями оказывал поддержку королевской власти и богатому патрициату[79]).

Следует заметить, что по вопросу о влиянии идей Виклефа, проповеднической деятельности Болла на события 1381 года выводы Т. Бютнер и Г. Лея значительно отличаются от категорических суждений Э. Вернера по этому вопросу. Мы не располагаем специальным исследованием Э. Вернера о Виклефе и Д. Болле, однако в своей развернутой рецензии на книгу югосавского историка М. Брандта[80]) Э. Вернер со со всей определенностью высказывает мнение, что Виклеф еще в 1375 году стал «радикальным социальным революционером, который открыто требовал отмены крепостного права, устранения феодальной знати и стремился к обществу без частной собственности»[81]).

Для Э. Вернера не подлежит сомнению, что как проповедническая деятельность Джона Болла, так и идеи Виклефа оказали значительное влияние на события 1381 года. По его мнению, социальная программа Виклефа была более радикальной, чем смитфильдские требования и проповеди Джона Болла. Нам также представляется, что, несмотря на субъективные стремления Виклефа, реформировать церковь и обновить феодальный строй с целью укрепления власти определенных слоев господствующего класса, его идеи, направленные против многих церковных догм, церковного феодализма и крепостного права были для своего времени революционным. Они во многом перекликались с чаяниями крестьянско-плебейских масс[82]). Несомненно также и то, что на события 1381 года большое влияние оказали проповеди Джона Болла[83]), который по словам Ф. Энгельса, «...был проповедник восстания Уота Тайлера»[84]). Оценивая работу Т. Бютнер в целом, следует сказать, что установленные ею связи между внутригородским социальным конфликтом в Лондоне и крестьянско-плебейским выступлениями от 1381 года, являются определенным вкладом в исследовании этого крупнейшего народного восстания XIV века.

Выявление сущности событий 1356—1358 годов в Париже посвящено исследование Э. Энгельмана «Бюргерская революция, революционное народное движение или мятеж (Парижские события с 1356 по 1358 годы»)[85]).

В этой работе Э. Энгельман характеризует экономические и социальные сдвиги, имевшие место в течение XIV века во Франции. Подчинение ряда цехов купеческому капиталу и установление рабочего законодательства обусловило ухудшение материального положения не только мелких производителей, подмастерьев, но и поденщиков. Беззастенчивая фискальная политика королевской власти, существующая система откупов прав на взимание налогов, продажность королевских чиновников и корыстная политика патрицианского совета вызывала недовольство также и среди имущих слоев населения Начиная с середины XIV века в Париже усиливается дифференциация бюргеров как в экономическом, так и в политическом отношении. Наиболее богатая часть

[79]) Ibid., S. 376.

[80]) См. рецензию Э. Вернера на книгу: M. Brandt. Wyclifova hereza i socialni porketu u Splitu krajem XIV («Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 1957, H. 6. S. 1319—1323).

[81]) Ibid., S. 1319—1321.

[82]) См. Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера. М., 1927, стр. 126.

[83]) См. Р. Хильтон и Т. Фаган. Восстание английского народа в 1381, М., 1952, стр. 77—84, 128—136; Н. П. Грацианский. Крестьянские и рабочие движения. М., 1924, стр. 91—93.

[84]) К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 363.

[85]) E. Engelmann. Bürgerliche Revolution, revolutionäre Volsbewegung oder Emeute? — Die Pariser Ereignisse der Jahre 1356 bis 1358 — «Städtische Volksbewegungen», S. 85—116.

бюргеров становится королевскими чиновниками и сливается с феодальной знатью[86]).

Все эти перечисленные обстоятельства наряду с так называемым разложением некоторых сторон феодального уклада жизни накаляли политическую атмосферу и обусловили возникновение разных оппозиционных течений среди жителей города Парижа.

Э. Энгельман доказывает, что в сословном представительстве парижское бюргерство получило наиболее удобную форму ведения борьбы против королевской власти[87]). По его мнению, эта оппозиционная борьба переросла рамки сословного представительства и получила широкий всенародный характер. Автор подчеркивает движущую и решающую роль плебейских масс в оппозиционной борьбе бюргерства против королевской власти[88]).

Вместе с тем она указывает, что союз разнородных в социальном отношении оппозиционных сил был кратковременным. Перед лицом опасности дальнейшего нарастания борьбы народных масс оппозиционно настроенное бюргерство идет на соглашение с королевской властью. Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что и сами народные массы, разочаровавшись в соглашательской политике бюргерской оппозиции, продолжали верить в спасательные функции короля[89]).

Основную причину поражения восстаний 1356—1358 годов Э. Энгельман усматривает в экономической слабости руководящей силы оппозиции — городского бюргерства[90]). Совершенно правильно подчеркивая крайнюю незрелость зачаточных форм капиталистических отношений в городе и деревне и потенциальную возможность дальнейшего развития феодальных производственных отношений, Э. Энгельман все же считает возможным сделать вывод, что некоторые формы проявления бюргерской оппозиции имели буржуазный характер[91]). У нее не вызывает никаких сомнений буржуазный характер такого требования, как, например, требование о назначении королевских чиновников и контроля над их деятельностью со стороны бюргерства[92]). Нам представляется, что если внимательно проанализировать все восемь требований[93]), предъявленных бюргерской оппозицией королевским властям, то станет ясно, что они не были порождены наличием каких-либо зачатков капиталистических отношений в производстве, а были типичными требованиями средневекового бюргерства, желавшего получить доступ к политической власти и тем самым положить конец злоупотреблениям фискального характера со стороны абсолютной монархии. Так, требования об установлении контроля над деятельностью королевского совета и изменения его состава, как и требования об установлении суверенных прав сословного представительства по части контроля над деятельностью всех королевских чиновников и по их назначению имели большое сходство с оппозиционными требованиями бюргерской оппозиции немецких городов, выступавшей против всевластия патрицианских советов[94]). Особенностью этих требований было то, что они исходили из специфических условий

[86]) Ibid., S. 91—96.
[87]) Ibid., S. 97—99.
[88]) Ibid., S. 100—101.
[89]) Ibid., S. 101—104, 113.
[90]) Ibid., S. 113.
[91]) Ibid., S. 110—111.
[92]) Ibid., S. 111.
[93]) Ibid., S. 110.
[94]) См. K. Czok. Zunftkämpfe, Zunftrevolutionen oder Bürgerkämpfe — «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl—Marx—Universität Leipzig», Gesellschafts — und sprachwissenschaftliche Reihe, 1958—59, H. 1, S. 129—142.

союза королевской власти с финансовыми заправилами из числа парижского патрициата.

Не можем мы также согласиться с мнением Э. Энгельмана, что события 1356—1358 годов в Париже явились революционным народным движением[95]). Анализ этих событий, проделанный ею самой, свидетельствует, что народные массы в ходе борьбы никогда не выставляли своих собственных требований, а боролись лишь во имя осуществления целей бюргерской оппозиции. Это подтверждается также и тем, что ни в одном из требований бюргеров, предъявленных королевской властью, нельзя найти отражения крестьянско-плебейских устремлений.

Таким образом, события в Париже от 1356—1358 годов, как по социальному характеру руководящих сил, так и по целям оппозиции являлись внутригородским социальным конфликтом. И, хотя народные массы играли в нем значительную роль, их действия не переросли в революционные выступления. К сожалению, Э. Энгельман не пыталась установить взаимосвязь между событиями от 1356—1358 годов в Париже с Жакерией.

Важное место в изучении проблем народных восстаний в историографии ГДР занимают исследования, посвященные крестьянским восстаниям.

Восстанию крестьян в XIV веке посвящена статья С. Хоера «Движение кожаных нарукавников — крестьянское восстание 1336—1339»[96]). С. Хоер указывает, что это восстание, имевшее вначале своей целью уничтожение «иноверцев, ростовщиков — евреев» перерастает в антифеодальную борьбу крестьянских масс[97]). Попытки патрицианских советов, крупных духовных и светских феодалов защитить евреев в некоторых городах от толп крестьян, осаждавших эти города, по его мнению, объяснялись не только фискальными соображениями[98]), но и боязнью перед возможностью возникновения единого плебейско-крестьянского движения против феодальных порядков вообще[99]). В качестве доказательства антифеодальной направленности движения кожаных нарукавников С. Хоер приводит ряд данных первоисточников[100]), свидетельствующих о страхе господствующих классов перед возможностью выступления крестьян против феодалов. Отнеся движение кожаных нарукавников к проявлениям классовой борьбы крестьян XIV века, обусловленной сдвигами в экономике феодального общества того времени, С. Хоер вместе с тем указывает на ограниченный характер этого движения по сравнению с борьбой крестьян в XV веке[101]).

---

[95]) E. Engelmann. Bürgerliche Revolution..., S. 113.

[96]) S. Hoyer. Die Armlederbewegung — ein Bauernaufstand 1356—1359. «ZfG» 1965, H. 1, S. 74—90.

[97]) Ibid., S. 77—81.

[98]) Следует иметь в виду, что на всех евреев, как на иноверцев и камеркнехтов, нуждавшихся в особой защите короля, феодалов и городских советов, накладывались особые налоги. Так, например, из грамоты Людвига Баварского от 1331 г. явствует, что евреи города Франкфурта за сохранение своей жизни должны были платить прежние налоги. Wizzet, daz sich die iuden ze Franckenfurt, unser liebe kamerknechte, mit uns verricht habent, und darumb haben wir in die genade getan und haben in geheizzen, daz noch anders nieman von unseren wegen oder von unserem gewalt si drengen darnoch zehen gantze jar, die nach einander gent, swenn si jarlich verrichtent ir stiver, als sie bizher getan habent.— Das Judentum in Geschichte und Gegenwart — «Enzyclopaedica Judaica», B. 2. L., 1928, S. 983.

[99]) S. Hoyer. Die Armlederbewegung..., S. 81—83.

[100]) Ibid., S. 82—83.

[101]) Ibid., S. 88, 89.

Мы полагаем, что движение кожаных нарукавников, ставя перед собой основную цель истребления иноверцев-евреев[102]) и тем самым отвлекаясь от непосредственной классовой борьбы против феодалов, было по своему характеру ограниченнее, чем многие другие оппозиционные движения XIII—XIV века. В ходе восстания кожаных нарукавников не прозвучали призывы к борьбе против феодальной эксплуатации[103]).

Восставшие не выставляли также каких-либо религиозных требований, направленных против догм церкви и церковного феодализма. Примечательно также и то обстоятельство, что вожди восстания, будучи пойманными, остались ненаказанными[104]). Заслугой С. Хоера является то, что он в результате анализа большого количества первоисточников сумел доказать своеобразный характер этого оппозиционного движения[105]).

XIV век — век большого размаха крестьянско-плебейских еретических движений. И применительно к этому веку незыблемым остается известное положение Ф. Энгельса о том, что «...все революционные — социальные и политические доктрины должны были по преимуществу представлять из себя одновременно и богословские ереси»[106]). Характерной особенностью еретических движений этого периода являлось то обстоятельство, что «...крестьянско-плебейская ересь... выступает, как правило, уже совершенно самостоятельно рядом с бюргерской ересью»[107]) и «почти всегда сочеталась с восстаниями»[108]).

Такие крестьянско-плебейские еретические движения, подчас перераставшие в открытые народные восстания, представляли для феодальных властей и для церкви большую опасность. Это объясняется тем, что, во-первых, такие восстания преследовали более радикальные цели, чем все прочие, во-вторых, даже физическое уничтожение большинства их участников не искореняло идей, вытекавших из оппозиционной идеологии данного движения; в-третьих, религиозная убежденность превращала участников восстания в особо стойких борцов против феодального строя. Одним из первых движений такого рода было восстание «пастушков»[109]). «Пастушки» отвергли официальную церковную мораль и пытались выработать свою систему взглядов, утверждавших неизбежность победы над ненавистной церковью. Однако противопоставить церковно-христианской идеологии своего законченного учения им все же не удалось. Совсем иной характер развития получило движение «братьев-апостолов», руководимое Герардо Сегарелли, а затем Дольчино. Оно было прямым предвестником новых форм борьбы народных масс против феодального строя и, соединив в себе хилиастические мечты, мессианские ожидания и пантеистические принципы в единую антицерковную и анти-

---

[102]) Г. Моттек в своей рецензии на работу С. Хоера полагает, что приводимые Хоером доказательства о крестьянском характере восстания «кожаных нарукавников» являются не убедительными. Он считает, что данное движение не было проявлением классовой борьбы крестьян против феодалов, а это было лишь одним из наиболее жестоких еврейских погромов того времени, в котором участвовали различные деклассированные элементы (см. H. Mottek, Die Armlederbewegung — ein Bauernaufstand 1336/1339.— «ZfG», 1965, H. 4, S. 691—695. Например, в хрониках города Кольмера говорится, что крестьянские массы осадили этот город только с той целью, чтобы им выдали бы евреев (см: Die Chroniken der deutschen Städte. Hrg. C. Hegel. B. 9, Straßburg, B. 2, S. 759).

[103]) Ср. В. К. Керов. Восстания «пастушков» в южных Нидерландах и Франции в 1251 г.— «Вопросы истории», 1956, № 6, стр. 120—123.

[104]) S. Hoyer. Die Armlederbewegung..., S. 82.

[105]) Ibid., S. 82—85.

[106]) К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 361.

[107]) Там же, стр. 363.

[108]) Там же, стр. 362.

[109]) Ср. M. Erbstösser, E. Werner. Ideologische Probleme des mittelalterlichen Plebejerbums, B., 1960, S. 83—84.

феодальную идеологию, способствовало подъему народных масс на вооруженную борьбу.

Это обстоятельство в значительной степени определяет значение и место движения «братьев-апостолов» и восстания Дольчино в историографии народных и еретических движений средневековья. К сожалению, в советской историографии движению Дольчино посвящено только несколько работ[110]).

В своих трудах историки ГДР рассмотрели конкретный ход восстания, выяснили причины его поражения и вскрыли идеологические корни этого движения[111]). Они указали на возможность трансформации пассивных созерцательных оппозиционных идей «братьев-апостолов», находившихся еще в рамках христианской ортодоксии в еретическую идеологию, направленную своим острием на низвержение феодального строя. Наиболее обстоятельно это положение обосновал Б. Тепфер в докладе «Братья-апостолы и восстание Дольчино»[112]), сделанном им на совещании в Вернигероде, а также в книге «Грядущее царство мира»[113]).

Изучая взгляды «братьев-апостолов», Б. Тепфер приходит к выводу, что первоначально в их учении преобладали больше эсхатологические, чем хилиастические ожидания. В качестве доказательства он указывает на тесную связь «братьев-апостолов» с движением флагелленства, которое возникло как кающееся и экзальтированное движение масс. Сторонники этого движения самоистязали себя с целью отвести страшное наказание ко времени пришествия конца света[114]).

Секта «братьев-апостолов», возглавляемая Г. Сегарелли, известное время признавалась церковью как отрицательное движение, а сам Сегарелли пользовался поддержкой пармского епископа[115]). К сожалению, Б. Тепфер не уточняет причины этого странного явления. На наш взгляд, эта поддержка объясняется тем, что во-первых, «братья-апостолы» сначала критиковали церковь очень осторожно, а, во-вторых, их первоначальные эсхатологические взгляды были близки к церковному учению о неизбежности страшного суда и близкого конца света.

Б. Тепфер полагает, что взгляды «братьев-апостолов» получают более радикальный характер с приходом в секту Дольчино. Дольчино преодолел ограниченность формальных францисканских призывов к соблюдению принципов раннехристианской бедной церкви. Согласно его учению, новая церковь, призванная сменить старую, не будет с ней иметь никаких точек соприкосновения. Конечный статус в истории человечества в представлении Дольчино резко противопоставляется всем прежним статусам, в том числе и всему монашеству, включая Доминика и Франциска[116]).

Следует добавить, что в посланиях Дольчино[117]) религиозные хилиастические мотивы отчетливо перекликаются с социальными требованиями. Он, например, писал: «В божьем царстве не будет ни богатых, ни бедных, ни сильных, ни слабых, ни угнетателей, ни угнетенных[118]). Все

[110]) См. С Д. Сказкин. Исторические условия восстания Дольчино. «Международный конгресс историков в Риме Сентябрь 1965». М., 1965, стр. 389.(409, его же: Первое послание Дольчино. Сборник «Из истории социально-политических идей. К семидесятипятилетию академика В. П. Волгина». М., 1955, стр. 122—129.

[111]) B. Töpfer. Die Apostelbrüder..., S. 62—85;

[112]) Ibid., S. 62—85. Подробный анализ доклада Б. Тепфера см. Б. А. Люблинская. Медиевисты ГДР..., стр. 264—268.

[113]) B. Töpfer. Das kommende Reich des Friedens. B., 1964, S. 283.

[114]) Ibid., S. 293—294.

[115]) Ibid., S. 286—287.

[116]) Ibid., S. 299.

[117]) Анализ посланий см. С. Д. Сказкин. Первое послание... стр. 126—128. B. Töpfer. Das kommende Reich..., S. 302—304.

[118]) Цитировано по статье С. Д. Сказкин. Первое послание..., стр. 127.

это, несомненно, свидетельствует о том, что в учении Дольчино нашло свое отражение одно из основных требований крестьянско-плебейской ереси: восстановления «...раннехристианского равенства в отношениях между членами религиозной общины, а также признания этого равенства в качестве нормы и для гражданских отношений»[119]). Соглашаясь с общей оценкой историков ГДР о радикальном характере учения Дольчино, мы должны отметить необоснованность некоторых их аргументов. Так, Б. Тепфер считает, что пропагандируемое «братьями-апостолами» exprorriatio (обмен одеждой) и съедание подаяний на глазах подающих является доказательством того, что они считали необходимым установление коллективной собственности[120]). На наш взгляд, Б. Тепфер смешивает призывы к установлению общей бедности с установлением коллективной собственности. Крестьянско-плебейские массы, выступая против прав на собственность, преследовали цель возродить время ранних христианских общин, когда все были одинаково бедными и никто не пользовался привилегиями. Иными словами, их требования в конечном счете сводились к апологетству реальных жизненных условий беднейших слоев феодального общества. Следует также отметить, что факт враждебного отношения Дольчино к горожанам, которых он в своем послании называет «врагами и тиранами»[121]) не получает достаточного объяснения у историков ГДР[122]). Между тем это говорит о том, что крестьянские массы (основные участники в восстании Дольчино) испытывали особенно тяжелый гнет со стороны городов-коммун[123]).

Историки ГДР заметили и обосновали ограниченный характер движения Дольчино. При разборе посланий Дольчино от 1300—1303 гг. Э. Вернер[124]) и Б. Тепфер[125]) доказывают, что в этих посланиях не было и речи о вооруженном восстании, а имелось лишь утверждение о необходимости готовить людей к пришествию избавителя и намечались дальнейшие принципы руководства народными массами после прихода мессианского избавителя.

Далее Б. Тепфер, сравнивая учение Дольчино со взглядами таборитов, отмечает, что, несмотря на кажущееся сходство между ними, имелись и существенные различия. Так, табориты считали сами себя силой, призванной уничтожить ненавистные земные порядки, а последователи Дольчино ожидали помощи от нового мессия, от короля.

Б. Тепфер говорит также о сектантской ограниченности движения Дольчино. Он обращает внимание на то, что идеи Дольчино разделялись лишь узким кругом избранных руководителей[126]). Но нам не кажется, что Б. Тепфер не учитывает в полной мере того факта, что его секта в своем конечном развитии не представляла из себя бродячих руководителей-еретиков, «избранных» и массу оседлых сторонников, а являлась восставшей компактной крестьянско-плебейской массой. Поэтому этические требования Дольчино, вытекавшие из его учения, в конечном итоге распространялись на всех его приверженцев и способствовали усилению классовой борьбы.

Характерной особенностью движения Дольчино, на наш взгляд, было то, что, с одной стороны, оно по ряду вопросов не выходило за рамки

[119]) К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. т. 7, стр. 352.
[120]) B. Töpfer. Das kommende Reich..., S. 306.
[121]) Ibid., S. 308.
[122]) Ibid,. S. 308—309.
[123]) См. Дж. Луцатто. Экономическая история Италии. М., 1964, стр. 235—295.
[124]) E. Werner. Messianische Bewegungen im Mittelalter—«ZfG», 1962, H. 2, S. 393—395.
[125]) B. Töpfer. Das kommende Reich..., S. 309.
[126]) Ibid., S. 303.

узкой еретической секты, а, с другой стороны, в восстании Дольчино, явившимся логическим концом движения «братьев-апостолов», мы находим много черт, сближающих это движение с крупными народными выступлениями типа таборитов или восстанием народных масс под руководством Томаса Мюнцера.

В XIV веке в силу обострения классовых противоречий возникают благоприятные условия для преодоления многими еретическими движениями своего узкосектанского характера. Социальный состав секты «свободного духа», например, изменяется. Эта ересь становится как по своему содержанию, так и по своему социальному составу в основном плебейским движением.

М. Эрбштессер и Э. Вернер в своем исследовании «идеологические проблемы средневекового плебейства» рассматривают эволюцию ереси «свободного духа» с XIII—XIV вв. Они отмечают, что в XIV веке возникли предпосылки для радикализации этой ереси. Эти историки полагают, что из ереси «свободного духа» можно было сделать революционные выводы, взяв на вооружение прогрессивные стороны этого учения и оттеснив на задний план реакционные и тормозящие развертывания классовой борьбы элементы этого учения[127]).

Прогрессивные стороны этого учения, по мнению эти историков, разрушили старые представления о неприкосновенности сложившихся отношений подчинения и господства.

Несомненной заслугой историков ГДР является то, что на примере еретических движений XIV века они доказали дальнейшее нарастание противоречий между устремлениями руководящего слоя и идеологии рядовых сторонников еретических сект. Так, Э. Вернер в своей статье «Идеология немецко-австрийского вальденства в XIV веке» доказывает, что идеология вальденсев в XIV в. повсеместно радикализируется. Ими отвергается вся ортодоксальная догматика и церковная иерархия, а также возможность насильственного изменения существующих порядков[128]). Такие пассивность и созерцательность были распространены в основном среди руководимых слоев секты[129]). Э. Вернер[130]) и Г. Кох[131]), доказывая окостенение основных вальденских идей, приходят к выводу о возникновении вальденской церкви с соответствующей иерархией. В связи с этим нам представляется весьма плодотворной мысль чешского историка Маховковой, которая делает вывод, что проповедники вальденсев одурманивали общины религиозными идеями такого рода, какие католическая церковь в XIV веке больше не могла предлагать массам[132]). Э. Вернер, будучи целиком и полностью согласен с этим выводом, к сожалению, не рассматривает конкретные проявления новой функции вальденской церкви. Нам представляется, что призыв к соблюдению бедности в духе ранней церкви в условиях XIV века и в особенности второй половины этого века, когда Римский папа в ряде официальных булл осудил точку зрения о том, что Иисус Христос и его апостолы не владели собственностью[133]), имели большую притягательную силу. О возможности оппозиционных религиозных учений превращаться в идеологию новой церкви свидетельствует нам и история

[127]) M. Erbstösser, E. Werner. Ideologische Problemen..., S. 134.
[128]) Э. Вернер. Идеология немецко-австрийского вальденства в XIV в.— «Средние века», вып. XXV, М. 1964, стр. 113—125.
[129]) Там же, стр. 113.
[130]) Там же, стр. 115.
[131]) G. Koch. Frauenfrage und Ketzertum im Mittelalter. B. 1962, S. 182—207.
[132]) Э. Вернер. Идеология..., стр. 118.
[133]) См. С. А. Котляревский. Францисканский орден и Римская курия в XIII—XIV вв. М. 1901, стр. 347—349.

реформационного движения. Лютеранство и кальвинизм, возникшие вначале как еретические отклонения от официальной католической церкви, стали господствующей идеологией новой церкви. Эта церковь, как и католическая помогала господствующим классам сохранить существующие формы подчинения и господства.

Совсем иные тенденции мы наблюдаем у левого крыла вальденского течения. Это крыло, которое, по мнению Э. Вернера, состояло из беднейших крестьян, ремесленников и городских плебеев, было настроено значительно более радикально.

Соответственно и их формы протеста становились более радикальными. Э. Вернер указывает также на возникновение идеи о возможности насильственного сопротивления властям[134]).

В XIV веке Вальденская ересь, отражая чаяния разнородных слоев феодального общества того времени, в значительной мере выражала революционные настроения крестьянско-плебейских масс. Поэтому прав Э. Вернер, когда он полагает, что левое вальденство слилось с гуситским движением[135]). Э. Вернер по этому поводу пишет: «Пассивный радикализм вальденства был преодолен активностью хилиазма»[136]). Радикализацию еретической идеологии Э. Вернер наблюдает и в других еретических движениях XIV века. Так, в своей статье «Адамитские практики в позднее средневековье в Болгарии» он указывает на параллели радикализации форм протеста среди еретиков Западной Европы и Болгарии в XIV веке[137]).

Наблюдается некоторая недооценка со стороны историков ГДР еретической идеологии XIV века. Так, М. Эрбштессер и Э. Вернер полагают, что взгляды сторонников секты «братьев и сестер свободного духа» на свою безгрешность отвлекали их от классовой борьбы. М. Эрбштессер и Э. Вернер по этому поводу пишут следующее: «Из этой радикальной критики (здесь имеется в виду критика церковной иерархии и христианских догм — Х. Л.) они (сторонники ереси «свободного духа» — Х. Л.) не делали необходимых практических выводов, тем самым не возникла боевая программа для плебейских слоев. Наоборот жизнь плебеев идеализировалась, нищенствующий образ жизни оправдывался и считался особо похвальным»[138]).

Нам представляется, что если М. Эрбштессер и Э. Вернер, как мы уже это показали, допускают возможность революционных выводов из ереси «свободного духа», то становится непонятным объявление основной сущности этой ереси, ставившей в центре внимания абсолютно безгрешного человека, которому дозволено все, реакционной и отвлекающей от классовой борьбы[139]). Даже при отсутствии выводов о необходимости борьбы идея о возможности достижения состояния безгрешности и ненадобности в связи с этим подчиняться законам и установившимся моральным критериям была для своего времени революционной. А сами

---

[134]) Э. Вернер. Идеология..., стр. 115.

[135]) E. Werner. Nachrichten über spätmittelterlichen Ketzer aus Thsechoslovakischen Archiven und Biblioteken — «Beilage zur wissenschaftlichen Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig «Gesellschafts — und sprachwissenschaftliche Reihe», 1963. H. I, S. 230; H. Ley. Bemerkungen zur vorreformatischen Bewegungen..., S. 362—365.

[136]) E. Werner. Nachrichten.., S .243.

[137]) E. Werner. Adamitische Praktiken im spätmittelalterlichen Bulgarien — «Byzantinoslavica», 1950, zn 20, N I, S. 24—27.

[138]) M. Erbstösser, E. Werner. Ideologische Probleme..., S. 132; E. Werner. Die Nachrichten über die böhmischen Adamiten in religionshistorischer Sicht— «The Bütner, E. Werner. Circumcellionen und Adamiten, zwei Formen mittelalterlichen Häresie». B., 1959. S. 130—134.

[139]) M. Erbstösser, E. Werner. Ideologische Probleme..., S. 133.

факты практического выполнения этих идей являлись определенными формами классовой борьбы. Далее М. Эрбштессер и Э. Вернер полагают, что ересь «свободного духа» являлась идеологией плебейских масс, лишенных своих прежних условий существования и не охваченных новыми более высокими производственными отношениями, не могла отражать устремления предпролетариата. Указанные историки на основании этого делают не совсем понятный для нас вывод, что «преемственность между плебеями и предпролетариатом имелась в социальном плане, но отнюдь не в религиозно-идеологическом»[140]).

Нам представляется, что говорить о социальной преемственности между плебеями и предпролетариатом значит не учитывать разницу между социально-экономическими процессами, лежащими в основе генезиса этих слоев. Плебейские слои являлись в основном продуктом разложения и окостенения некоторых форм феодальных производственных отношений. Плебейские слои по выражению Ф. Энгельса «...были во всех отношениях и неимущи, и бесправны; условия их существования не имели никакого непосредственного касательства к действовавшим в то время учреждениям, которые их совершенно игнорировали»[141]). Появление же предпролетариата обусловлено развитием процесса первоначального накопления капитала, в результате которого феодальная эксплуатация начинает заменяться капиталистической. Условия существования предпролетариата тесно связаны с условиями существования новых зарождающихся производственных отношений.

Несмотря на некоторую неполноту исследований столь сложных проблем, какими являются народные и еретические движения XIV века и их идеологические предпосылки, историки ГДР установили специфические формы классовой борьбы и их связи с оппозиционными идеями того времени. Тем самым историки ГДР внесли определенный вклад в марксистскую историографию о классовой борьбе в средние века.

[140]) Ibid., S. 129—130.
[141]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 7, стр. 363.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 193 Серия историческая

СОВЕТСКАЯ МЕДИЕВИСТИКА С СЕРЕДИНЫ 30-хх гг. до 1966 г.

Е. В. ГУТНОВА

1. Развитие советской медиевистики с середины 30-х гг. до начала Великой Отечественной войны

С ликвидацией буржуазного понимания истории как историографического направления в СССР к середине 30-х гг. было расчищено поле для быстрого роста марксистской историографии средних веков. К этому времени многие из наиболее известных в последующие годы советских медиевистов, даже тех, которые начали свою деятельность в дореволюционный период, стали приближаться к марксистскому пониманию истории[1]). На первый план выдвинулась конструктивная задача — создать новую марксистско-ленинскую концепцию истории средних веков, опирающуюся не только на общетеоретические положения исторического материализма, но и на новые конкретно-исторические исследования. До середины 30-х гг. на пути активизации таких конкретных исследований в данной области истории стояли известные трудности. Они вытекали не только из общераспространенной в то время тенденции подменять историю «обществоведением» с его абстрактными социологическими схемами[2]), но и из особо нигилистического отношения к истории докапиталистических периодов, считавшихся «неактуальными» и незаслужившими специального изучения.

После закрытия в начале 30-х гг. историко-филологических и исторических факультетов в вузах (в том числе и в Московском и Ленинградском университетах) и передачи Института истории РАНИОН (в результате роспуска этой ассоциации в 1929—1930 г.). Коммунистической академии, подготовка кадров и исследования в области медиевистики временно приостановились. И без того немногочисленные кадры медиевистов слабо использовались по назначению.

Эти трудности были сняты решением партии и правительства от 16 мая 1934 г. История средних веков в ряду других исторических дисциплин была восстановлена в правах, как нужная и полезная отрасль исторической науки. Историки, работавшие в этой области, получили возможность публиковать свои труды на страницах общеисторических журналов, в частности, «Историка-марксиста». Назревшая необходимость теоретического осмысления истории этого периода с научных марксистских позиций подкреплялась теперь практической потребностью средней школы и вузов в систематизированных учебных пособиях. Понадобились кадры учителей и вузовских преподавателей-специалистов по истории средних веков.

[1]) См. Очерки истории исторической науки в СССР, т. IV, М., 1966, стр. 614—615.

[2]) См. там же, стр. 610—611.

В период 1935—1941 гг. значительно расширился круг учреждений, занимающихся медиевистикой. На исторических факультетах университетов и пединститутов были образованы или специальные кафедры истории средних веков, или кафедры всеобщей истории, где, однако, имелись специалисты по медиевистике. Ведущими центрами научных исследований в этой области стали кафедры истории средних веков университетов, в первую очередь Московского[3]) и Ленинградского[4]) университетов, а также Горьковского[5]). Исследования в области истории средних веков велись также на кафедрах истории средних веков Московского института истории, философии и литературы — МИФЛИ[6]) и пединститутов — московских: им. В. И. Ленина[7]), Городского им. В. П. Потемкина[8]), Областного им. К. Либкнехта[9]) (затем им. Н. К. Крупской) и ленинградских: им. М. Н. Покровского и А. И. Герцена.

Важным общесоюзным центром медиевистских исследований после создания в 1936 г. Института истории Академии наук стал образованный там сектор истории средних веков. Большая работа по истории средних веков, особенно в области источниковедения и палеографии, велась в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, во главе которого стояла О. А. Добиаш-Рождественская и где успешно готовились под ее руководством молодые кадры по этим редким специальностям. Вместе с нею работали тогда начинающие палеографы-медиевисты А. Д. Люблинская и др.

Состав ведущей группы медиевистов в этот период заметно изменился. Резко сократилось количество и влияние историков-немарксистов, примыкавших в предшествующие годы к буржуазному направлению. Некоторые умерли, как А. Н. Савин (1925 г.) или Егоров (1931 г.), другие, враждебно настроенные по отношению к Советской власти и марксистской исторической науке (Виппер, Карсавин), эмигрировали[10]). Продолжавшие работать в советских вузах и научных учреждениях Д. М. Петрушевский, И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская, внесшие в эти годы полезный вклад в подготовку молодых кадров, уже не оказывали прежнего влияния на общее развитие медиевистики. Они мало выступали в печати, были заняты преимущественно очень специальными исследованиями или подготовкой учебных пособий[11]).

Основные кадры советских медиевистов того времени принадлежали к более молодому поколению историков. Воспитанные еще в до-

---

[3]) С 1934 по 1949 г. возглавлялась Е. А. Косминским, затем С. Д. Сказкиным.

[4]) С 1934 по 1948 г. возглавлялась О. Л. Вайнштейном, затем до 1956 г.— М. В. Левченко, затем до 1960 г.— А. Д. Люблинской, с 1961 г.— М. А. Гуковским.

[5]) До 1958 г. возглавлялась Е. И. Архангельским, затем после его смерти — Н. В. Соколовым.

[6]) Возглавлялась С. Д. Сказкиным, затем — А. И. Неусыхиным.

[7]) Возглавлялась до 1946 г. Н. П. Грацианским, затем — В. Ф. Семеновым.

[8]) Возглавлялась до 1941 г. С. Д. Сказкиным.

[9]) Возглавлялась Н. П. Грацианским, а затем — А. С. Самойло.

[10]) В 1940 г. Р. Ю. Виппер вернулся в Москву и затем был избран академиком АН СССР.

[11]) Д. И. Петрушевский вплоть до своей смерти в 1942 г. не создал ни одного нового исследования. За эти годы он лишь переиздал в 1937 г. с незначительными изменениями две свои старые работы — «Восстание Уота Тайлера» и «Очерки из истории английского государства и общества в средние века» и подготовил перевод поэмы средневекового английского поэта У. Ленгленда «Видение Уильяма о Петре Пахаре», вышедшей с его предисловием в 1941 г. Он вел также большую полезную работу по изданию переводов средневековых источников для учебных целей.

И. М. Гревс в период с 1934 по 1941 г. (когда он умер), работавший в Ленинградском университете, также почти не выступал в печати. Его книга «Тацит», над которой он все это время работал, увидела свет только в 1946 г.

революционный период, ученики Петрушевского, Савина, Лучицкого, они еще в юности испытали на себе большее или меньшее влияние марксизма. Некоторые из них — А. Д. Удальцов, О. Л. Вайштейн — уже в 20-е годы сложились как историки-марксисты. Другие — Е. А. Косминский, С. Д. Сказкин, В. В. Стоклицкая-Терешкович, В. М. Лавровский, С. И. Архангельский, Н. П. Грацианский — стали решительно переходить на марксистские позиции в конце 20-х — начале 30-х гг.

К этому времени советская медиевистика получила еще более молодое пополнение из ученых, прошедших школу в советских вузах. Это были основательно подготовленные и марксистски образованные питомцы аспирантуры Института истории РАНИОН — А. И. Неусыхин, М. М. Смирин, Б. Ф. Поршнев, Я. Я. Зутис, а также В. Ф. Семенов, В. В. Бирюкович, А. С. Самойло, ленинградцы А. Д. Люблинская, Е. Ч. Скржинская и др.

Хотя отряд советских медиевистов оставался и в этот период немногочисленным, они оказались на высоте тех сложных задач, которые поставила перед ними жизнь. За короткий отрезок времени с 1934 по 1941 гг. они добились значительных успехов в области научных исследований и в деле подготовки кадров.

Одним из главных направлений советской медиевистики в эти годы становятся специальные конкретные исследования.

Характерной особенностью научно-исследовательской работы советских медиевистов в этот период был их преимущественный интерес к сфере социально-экономической, особенно аграрной, истории средневековья. Отчасти этот интерес, конечно, объяснялся личными склонностями отдельных историков, со студенческой скамьи интересовавшихся этой проблематикой, отчасти традициями русской дореволюционной медиевистики, всегда тяготевшей к аграрным темам. Однако этот крен в социально-экономическую историю, который в наши дни иногда расценивается как проявление, некоторой «узости» или «однобокости», имел более общие причины, и в условиях того времени был необходим и закономерен. В стремлении утвердить свои марксистские взгляды на историю средних веков, как на время господства феодальной формации, и противопоставить их буржуазной историографии, советские медиевисты в первую очередь должны были обратиться именно к изучению экономического базиса феодального общества в его становлении и развитии, а, следовательно, к аграрным отношениям, игравшим определяющую роль в экономике средневековья. Это было тем более необходимо, что в буржуазной историографии того времени под влиянием Белова, Допша и др. все большее распространение приобретала чисто политико-юридическая концепция феодализма, начисто отрицавшая его социально-экономическую специфику.

В области социально-экономической истории средних веков внимание советских историков уже в эти годы особенно привлекла проблема генезиса феодализма. Ей было посвящено новое исследование А. Д. Удальцова (1883—1958) «Из аграрной истории Каролингской Фландрии» (1935 г.), в котором прослеживалось своеобразие процесса генезиса феодализма в северо-восточной части Франкского государства — области исконного и наиболее компактного поселения франков. Опираясь на материал, главным образом, картуляриев (Бертинского и Бландинского монастырей), до того времени почти не использовав-

О. А. Добиаш-Рождественская целиком ушла в изучение источниковедения и палеографии. Она подготовила в эти годы первое в русской медиевистике и весьма полезное в те годы пособие по латинской палеографии (О. А. Добиаш-Рождественская. История письма в средние века. М.—Л., 1936).

шихся историками, А. Д. Удальцов пришел к ряду интересных новых выводов, которые решительно подрывали буржуазные концепции об исконности феодальной вотчины и вотчинном происхождении общины.

Он выяснил, что и в Западной, и в Восточной Фландрии процесс поглощения свободной крестьянской собственности крупным землевладением даже в IX веке еще не был завершен, что крупное землевладение, в частности, монастырское, основанное на эксплуатации безземельных несвободных людей, сосуществовало там еще со свободной общинной маркой, в которой, однако, было заметно уже значительное социальное расслоение. Количество рабов в крупных хозяйствах, по мнению А. Д. Удальцова, было настолько велико, что можно говорить о значительном распространении здесь рабовладельческого уклада, что в известной мере задерживало процесс закрепощения свободного крестьянства и общины марки.

Не вступая в прямую полемику с теорией «вотчинного капитализма» Допша, А. Д. Удальцов, однако, на материале крупных монастырских вотчин этого периода убедительно показал, что их хозяйство было «направлено прежде всего на удовлетворение собственного потребления»[12]), отметив при этом, что «общий натуральный характер производства не исключал возможности рыночных связей поместья с другими хозяйствами»[13]). Это исследование, локальное по теме, имело для того времени также более общее значение, так как процесс феодализации рассматривался в нем с марксистских позиций, как процесс роста крупной земельной собственности и закрепощения крестьянства за счет постепенной ликвидации свободной крестьянской собственности, общинных распорядков. Книга А. Д. Удальцова до сих пор является хорошим образцом тонкого анализа источников и большого исследовательского мастерства.

Своей статьей «Родовой строй у древних германцев»[14]) А. Д. Удальцов также положил начало в советской медиевистике исследованиям по вопросу о конкретных путях и формах разложения первобытно-общинного строя у германских народов и перехода их к классовому феодальному обществу. В ней он выдвинул ряд убедительных аргументов против допшианской трактовки общественного строя древних германцев (поддерживавшейся в те годы и Д. М. Петрушевским)[15]) как основанного на частной земельной собственности и классовом неравенстве.

Существенный вклад в изучение аграрных отношений раннего средневековья и проблемы генезиса феодализма в Западной Европе (а отчасти и аграрных отношений развитого феодализма во Франции) внесла монография Н. П. Грацианского (1886—1946) «Бургундская деревня в X—XII столетиях» (1935 г.). Построенная также на локальном материале, главным образом, Клюнийского и других бургундских картуляриев, эта небольшая, мастерски сделанная работа, наряду с книгой А. Д. Удальцова, свидетельствовала о зарождении советской школы медиевистов-аграрников. Для самого Н. П. Грацианского эта работа явилась важной вехой на пути его довольно сложной эволюции в сторону марксизма. Ценные конкретно-исторические наблюдения и отдельные выводы переплетались в ней еще со спорными обобщениями,

---

[12]) А. Д. Удальцов. Из аграрной истории Каролингской Фландрии. М.—Л., 1935, стр. 50.

[13]) Там же, стр. 52.

[14]) А. Д. Удальцов. Родовой строй у древних германцев. Известия ГАИМК, вып. 107, 1934.

[15]) См. Д. М. Петрушевский. Очерки из экономической истории средневековой Европы. Л., 1928.

в которых слышатся отголоски не до конца преодоленных буржуазных концепций.

Работа эта также была полемически заострена против буржуазной вотчинной теории (в частности Фюстеля де Куланжа и Сеньобоса), утверждавшей, что Франция в целом в раннее средневековье была страной абсолютного господства крупного феодального землевладения. На основе тщательного анализа картулярного материала, Н. П. Грацианский установил, что наряду с крупными и мелкими вотчинниками и зависимыми крестьянами в Бургундии X—XII вв. сохранялся весьма широкий слой свободных крестьян-собственников (аллодистов), в некоторых районах составлявших преобладающую часть населения[16]). При этом автор обнаружил большую пестроту в имущественном положении этих свободных крестьян, выяснил, что массовое втягивание их в зависимость началось только со второй половины XI в. и высказал интересное предположение о том, что в Бургундии складывание феодального строя шло не столько путем превращения свободных аллодистов в крепостных крестьян (сервов), сколько путем постепенного подчинения мелких свободных собственников крупным с помощью установления тех или иных сеньериальных повинностей[17]).

Эти особенности форм земельной собственности и социальной структуры раннесредневековой Бургундии Грацианскому удалось выяснить с помощью новой методики изучения картулярного материала, которую он обоснованно противопоставил методике буржуазных историков — Виттиха и Каро. Грацианский, в частности, отказался от предложенного Каро чисто статистического анализа картуляриев и выдвинул на первый план качественный анализ дарственных грамот в сочетании с методом изучения владельческого лица отдельных дарителей, фигурирующих в нескольких грамотах. В этом плане монография Н. П. Грацианского явилась значительным достижением советской медиевистики в области методики исторических исследований.

Анализируя в следующих главах книги хозяйственные распорядки бургундской деревни, автор установил, что там не было «правильной и единообразной надельной системы»[18]), что мансы были очень изменчивы по своим размерам и структуре, что отсутствовала система открытых полей и принудительного севооборота, типичная (согласно классической общинной теории) для общины-марки. Он заметил, что наряду с чересполосицей часто встречалось компактное расположение как помещичьих, так и крестьянских земель[19]). Книга в целом вскрыла существенные своеобразия аграрного строя Бургундии изучаемого периода и процесса генезиса феодализма в этом регионе. Однако, пытаясь дать на основе этих наблюдений более обобщающую характеристику этого процесса, Н. П. Грацианский не смог до конца преодолеть влияние эволюционистского и формально-юридического подхода к материалу. Из факта пестроты социальной структуры раннесредневековой Бургундии он сделал, в сущности, необоснованный вывод о том, что ее аграрный строй восходит к аграрному строю Римской империи, совершенно игнорируя влияние бургундского завоевания[20]).

Точно также из своего наблюдения об отсутствии в Бургундии X—XII вв. полевой общины-марки Н. П. Грацианский сделал необос-

[16]) Н. П. Грацианский. Бургундская деревня X—XII вв. М., 1935, стр. 80.
[17]) Там же, стр. 235—236.
[18]) Н. П. Грацианский. Бургундская деревня X—XII вв., М., 1935, стр. 109.
[19]) Там же, стр. 134.
[20]) Более подробную характеристику этой книги и вообще трудов Н. П. Грацианского см. в статье А. И. Неусыхина и А. И. Данилова: «Н. П. Грацианский, как историк-медиевист» (введение к книге: Н. П. Грацианский. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. М., 1960).

нованный вывод о том, что на этой территории или вовсе никогда не было общины, или влияние последней всегда было незначительно, и что, следовательно, бургундская деревня — деревня чисто романская, и в ней «нет ничего такого, чего нельзя было бы вывести из старых римских и галло-римских распорядков»[21]).

Между тем, подмеченные Н. П. Грацианским специфические для Бургундии X—XII вв., явления скорее должны рассматриваться и рассматриваются в современной советской медиевистике, как свидетельство и результат взаимодействия бургундских и галло-римских отношений, в ходе которого бургундская община постепенно распадалась.

Отчасти, впрочем, ошибочность этих «романистических» выводов Н. П. Грацианского отражало также полную неразработанность в советской медиевистике того времени аграрной истории Западной Европы в период между V и X вв., последовавший за варварскими вторжениями. В последующие годы сам Н. П. Грацианский в значительной мере восполнил этот пробел, приступив первым в советской медиевистике к изучению самого раннего этапа генезиса феодализма в Западной Европе[22]). Итогом его исследований конца 30-х годов по этому вопросу, опирающихся в основном на острый и проницательный анализ «Варварских правд» и в целом уже на марксистское понимание общины и ее эволюции в варварских королевствах, явилась серия статей, опубликованных в периодической печати уже в 40-е годы. В них Н. П. Грацианский пересмотрел свою позицию недооценки роли общины и германских завоеваний в процессе генезиса феодализма. Он подчеркивал, в частности, огромную экономическую и социальную роль рода у германцев на ранних стадиях доклассового общества[23]), выдвинул свою гипотезу о характере раздела земель между вестготами и бургундами, с одной стороны, и римским населением завоеванных ими территорий, с другой. При этом вопреки тому, что он писал в «Бургундской деревне», Н. П. Грацианский установил наличие у бургундов в V веке кровнородственной общины, хотя и очень быстро разложившейся после завоевания[24]). Убедительно доказав, что во многих титулах «Салической правды» (в том числе в знаменитом титуле о «переселенцах») термин «вилла» означает деревню или общину[25]). Н. П. Грацианский, таким образом, определенно высказался за существование у франков I—VI вв. общины-марки, вопреки Допшу и другим противникам общинной теории.

Внимание советских медиевистов в конце 30-х — начале 40-х гг. привлекли также прежде не изучавшиеся наиболее яркие проявления классовой борьбы крестьянства раннего средневековья[26]).

Значительные сдвиги к концу 30-х гг. наметились и в изучении с марксистских позиций ряда существенных проблем аграрной истории

---

[21]) Там же, стр. 135.

[22]) Эта проблема привлекала внимание Н. П. Грацианского еще в молодости. См. его перевод «Салической Правды» и источниковедческое введение к ней («Салическая Правда». Русский перевод Н. П. Грацианского и А. Г. Муравьева с введением Н. П. Грацианского. Казань, 1913).

[23]) Н. П. Грацианский. О материальных взысканиях в варварских правдах. «Историк-марксист», 1940, № 7.

[24]) Н. П. Грацианский. О разделах земель у бургундов и вестготов. Сб. «Средние века», вып. I, 1942.

[25]) Н. П. Грацианский. О толковании термина «villa» в «Салической Правде». «Средние века», вып. II, 1946. См. также его статью «Система полей у римлян по трактатам землемеров» («Вестник древней истории», 1940, № 1).

[26]) А. В. Бартенев. Из истории крестьянского восстания в Нормандии в конце X в. «Ученые записки» Ленинградского пединститута им. М. Н. Покровского, т. V, вып. I, 1940; Н. М. Ицков. Крестьянская политика Каролингов. «Ученые записки» Дагестанского гос. пединститута, вып. I, Махачкала, 1940.

периода развитого феодализма (XI—XV вв.). Частично эти проблемы (многообразие структуры феодальной вотчины, различные виды ренты, проблема коммутации ренты) были затронуты Н. П. Грацианским применительно к юго-восточной Франции XI—XII вв. (в его «Бургундской деревне») и среднерейнской Германии XII в.[27]).

В более полном объеме они были специально поставлены в исследованиях Е. А. Косминского по аграрной истории Англии в XIII в. Е. А. Косминский (1886—1859) уже в предшествующий период[28]) был известен как разносторонний историк, талантливый популяризатор и крупный исследователь в области аграрной истории средневековой Англии, которой он систематически занимался, начиная с 1925 г.[29]). В эти же годы в основном завершился переход Е. А. Косминского на марксистские позиции. В середине 30-х гг. он выступал уже как сложившийся историк-марксист, серьезно изучивший теоретическое наследие К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина.

После 1934 г. Е. А. Косминский вступил в самую плодотворную пору своего научного творчества. С этого времени до своей смерти в 1959 г. он неизменно играл весьма большую роль в последующем развитии советской медиевистики как всемирно известный ученый, как педагог, создавший вокруг себя целую школу молодых ученых, и как талантливый организатор науки, в течение многих лет возглавлявший основные центры изучения медиевистики в СССР[30]). Роль и значение этого ученого в развитии советской медиевистики всегда определялись прежде всего его высоким научным авторитетом и тем большим уважением, которым он неизменно пользовался у всех своих товарищей по работе, учеников и даже своих научных противников. Капитальный труд Е. А. Косминского — «Английская деревня в XIII в.», вышедший в 1935 г., оказал большое и длительное влияние на последующее развитие советской медиевистики. Хотя эта книга носила довольно специальный характер и была посвящена конкретному исследованию аграрной истории Англии сравнительно короткого периода, в ней был поставлен и по-новому с марксистских позиций решен ряд общих вопросов, чрезвычайно важных для изучения аграрной истории Западной Европы второго периода средних веков в целом. Новаторский для своего времени характер этой работы выразился прежде всего в том, что автор ее подошел к рассмотрению аграрных отношений в Англии XIII века, опираясь на марксистско-ленинское понимание феодализма, как социально-экономической формации. Это дало ему возможность по-новому определить сущность феодальной вотчины в Англии — манора. В маноре он видел не просто хозяйственный комплекс, как считали сторонники классической вотчинной (в Англии — манориальной) теории (П. Г. Виноградов, Ф. Сибом, Д. М. Петрушевский в ранних своих работах), но эксплуататорскую социальную «организацию за-

[27]) См. Н. П. Грацианский. Крестьянство на землях аббатства Св. Максимина Трирского во второй половине XII в. в кн.: Н. П. Грацианский — «Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья». М., 1960.

[28]) См. Очерки истории исторической науки в СССР, т. IV, стр. 606.

[29]) В 20-х годах им был опубликован ряд исследовательских статей по этой проблематике: Е. А. Косминский. Новые проблемы аграрной истории Англии. «Историк-марксист», 1926, № 2; Очерки по аграрной истории Англии в средние века: I) Сотенные свитки 1279—1280 гг. как исторический источник. В кн.: Памяти А. Н. Савина (1873—1923). Сб. статей М., 1926: II) К вопросу о коммутации рабочих повинностей. «Ученые записки» Института истории РАНИОН, т. 3. М., 1929.

[30]) Более подробную биографию и характеристику многогранной деятельности Е. А. Косминского см. в статьях: Научная и общественная деятельность Е. А. Косминского. «Средние века», вып. VII. М., 1956; Е. В. Гутнова и Н. А. Сидорова. Научные труды и деятельность Е. А. Косминского, в кн.: Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков. М., 1963.

висимого крестьянства, с целью извлечения из него феодальной ренты»[31]). Такое определение значительно расширяло понятие «манор» и позволяло включать в него не только земельные и хозяйственные комплексы определенной структуры, так называемые «типические маноры», с единообразным соотношением домена, крепостных и свободных держаний и обязательным господством барщины, но и хозяйственные комплексы с более пестрой структурой. Таким образом, был вскрыт схематизм и догматизм буржуазной вотчинной теории в понимании сущности вотчины и феодального строя в целом. Вместе с тем, книга Е. А. Косминского обнаружила несостоятельность взглядов буржуазных критиков манориальной теории (Мэтланд и его школа), которые правильно, отрицая повсеместное господство «типического манора», на этом основании вообще отрицали историческую реальность манора как хозяйственной и социальной единицы. В противовес им Е. А. Косминский, опираясь на учение К. Маркса и В. И. Ленина о феодальной ренте, подчеркнул вполне реальный характер и эксплуататорскую сущность манора, в котором при любой его организации производственные отношения феодализма получали свое непосредственное выражение, прежде всего в рентных отношениях.

Е. А. Косминский убедительно отверг также взгляд сторонников классической манориальной теории на манор XIII в., как на абсолютно замкнутый натуральнохозяйственный комплекс; он показал значительное развитие в английской деревне XIII в. товарно-денежных отношений, торговли сельскохозяйственными продуктами, преобладание в общей рентной массе денежной ренты, значительное расслоение крестьянства и факт использования в хозяйстве феодалов наемного труда малоземельных крестьян. Однако в отличие от буржуазных критиков (Допша и др.) «натурально-хозяйственной» теории Е. А. Косминский отнюдь не отождествлял эти новые явления с капиталистическим хозяйством. Вскрыв диалектику процессов, происходивших в английской деревне XIII в., он пришел к выводу, что развитие товарно-денежных отношений вело не только к коммутации ренты, расслоению крестьянства и частичной эмансипации крестьянской верхушки, но и к явлениям сеньериальной реакции: усилению барщин, личному закрепощению крестьян, общему усилению их эксплуатации. Другими словами, Е. А. Косминский показал феодальную основу развития товарно-денежных отношений в этот период.

В последней главе книги Е. А. Косминский на живом конкретном материале развеял миф, созданный вотчинной теорией о социальной гармонии, якобы господствовавшей в маноре XIII в. Он выяснил, что там шла упорная, повседневная, хотя мелочная и локальная борьба за ренту, общинные угодия, за личное освобождение вилланов.

Выводы Е. А. Косминского тем более убедительны, что они опираются на огромный материал источников, хотя давно известных историкам, но никогда не подвергавшихся специальному всестороннему исследованию: «Сотенных свитков 1279—1280 гг.» и «Посмертных расследований» конца XIII в.[32]). Эти источники содержат массовый сплошной материал, пригодный для статистической обработки. Е. А. Косминский применил целый ряд новых методов группировки материала и подсчетов, взятых позднее на вооружение многими советскими исследователями. При этом он, однако, не оказался в плену цифр, тщательно проверяя другими источниками свои подсчеты, сочетая их с ка-

[31]) Е. А. Косминский. Английская деревня в XIII в. М.—Л., 1935, стр. 83.

[32]) Эти источники были изучены им. в Лондонском публичном архиве в 1925—1926 гг. во время его научной командировки в Англию.

чественным анализом источников и учитывая локальный характер используемого цифрового материала.

Продолжая и после 1935 года работать над этими же источниками, Е. А. Косминский в 1947 г. переиздал свою книгу со значительными дополнениями под названием «Исследования по аграрной истории Англии XIII в.», поставив в ней ряд новых проблем. Особое внимание автор обратил при этом на слой свободного крестьянства, подчеркнув резкую социальную неоднородность этого слоя: наличие в его среде верхушки близкой по положению к рыцарству и бедноты, приближавшейся к вилланам (гл. V). Поставив вопрос о рабочей силе в маноре, Е. А. Косминский установил феодальный характер сельскохозяйственного «наемного труда» этого периода, его переплетение с различными формами внеэкономического принуждения и частое сочетание в одном лице наемного рабочего и крестьянина (часто еще крепостного) — (гл. VII). Впервые в литературе Е. А. Косминский увидел основу различий, существовавших в Англии между рыцарством и баронством, в том, что рыцари, как правило, мелкие вотчинники были больше связаны с рынком, вели свое хозяйство более прогрессивными методами, чем крупные феодалы-бароны, владельцы более крупных вотчин, дольше державшиеся за барщину и крепостничество. Эти выводы наметили пути и для объяснения того политического союза между рыцарством и городами, который составлял характерную особенность социально-экономической истории феодальной Англии. Поставленные Е. А. Косминским научные проблемы, сделанные им важные (и не только для истории Англии) выводы, разработанные им принципы обработки источников оказались плодотворными для всех советских медиевистов-аграрников.

В конце 30-х — начале 40-х гг. в советской медиевистике начинается также разработка аграрной истории позднего средневековья.

В этой области в то время работал С. Д. Сказкин, исследовавший аграрные отношения во Франции накануне французской буржуазной революции[33]), но уже тогда постепенно переходивший к изучению более раннего периода — в XVI—XVII вв. Принципиальный интерес для аграрной истории этого периода представляла его статья о понятии «цензива»[34]). В ней С. Д. Сказкин, отправляясь от известной полемики между М. М. Ковалевским и И. В. Лучицким по вопросу о характере крестьянского землевладения во Франции в XVIII в., показал, анализируя трактат февдиста (специалиста по феодальному праву) Эрве, эволюцию наиболее распространенного во Франции в XVI—XVIII вв. крестьянского держания — цензивы в сторону ее все большего приближения к феодальной земельной собственности. Над проблемами аграрной истории Германии конца XV — начала XVI в. начал работать М. М. Смирин[35]). Аграрную историю Англии XVI—XVII вв. изучали В. Ф. Семенов и С. И. Архангельский (1882—1958). Последний в эти годы написал капитальный труд «Аграрное законодательство английской революции» (ч. 1—2. М.— Л., 1935—1940 гг.), в котором на большом документальном материале показал существенные изменения, произведенные революцией в аграрном строе Англии: огромную моби-

[33]) По принятой в то время периодизации позднее средневековье охватывало XVI—XVIII вв. (до начала французской революции 1789 г.). Однако по принятой теперь периодизации, согласно которой средние века оканчиваются серединой XVII в., большинство этих статей С. Д. Сказкина относятся к новой истории.

[34]) С. Д. Сказкин. Февдист Эрве и его учение о цензиве. «Средние века», вып. I, М., 1942.

[35]) См. М. М. Смирин. Борьба за землю в Юго-Западной Германии в XV и начале XVI вв. «Исторические записки», т. 4, 1938.

лизацию земли, переход ее значительной части в руки буржуазии и нового дворянства в результате распродажи земель роялистов, значение отмены рыцарского держания. Вместе с тем автор не менее убедительно доказал, что все эти изменения, выгодные буржуазии и новому дворянству, не принесли существенного облегчения крестьянству, лишь ускорив его исчезновение как класса в XVIII веке.

Помимо аграрной истории уже в эти годы внимание советских историков привлекла проблема средневекового города, особенно важная для всестороннего изучения второго периода истории средних веков (XI—XV вв.): история возникновения и развития городов в средневековой Европе неразрывно связана и с вопросом о роли товарно-денежных отношений в развитии феодального общества, и, в частности, феодальной деревни, с развитием государства и классовой борьбы в этот период и с прогрессивными явлениями в эволюции средневековой культуры. Существенный вклад в решение этой важной комплексной проблемы уже в 30-е гг. внесла В. В. Стоклицкая-Терешкович своей книгой «Очерки по социальной истории немецкого города в XIV—XV вв.» (М.— Л., 1936), которая положила начало специальному изучению этой проблемы в советской медиевистике. В. В. Стоклицкая-Терешкович (1885—1962), ученица Д. М. Петрушевского, в этой своей работе выступила как историк марксистского направления, рассматривающий средневековый город как центр ремесла и торговли, возникший в процессе отделения ремесла от земледелия. Исследуя немецкий средневековый город на сравнительно поздней стадии развития, когда «феодальное общество уже заметно подточено элементами товарного производства»[36]), автор на материале разнообразных источников-хроник, цеховых грамот, актов и других городских документов установила факт значительного имущественного расслоения в городах и, в частности, полного разорения значительной части городского населения и сделала вывод о том, что там начался процесс разложения феодальных и зарождения элементов капиталистических отношений. Главный признак разложения цехового строя В. В. Стоклицкая-Терешкович видела в появлении значительного слоя цеховых мастеров, которые по существу уже утратили свою хозяйственную самостоятельность и работают на мастеров-предпринимателей.

В теоретическом плане автор, опираясь на намеченную К. Марксом в «Капитале» периодизацию зарождения и развития раннекапиталистических отношений в Европе[37]), в целом правильно решает проблему разложения цехового строя, подчеркивая наличие определенной грани между начальной стадией этого процесса в XIV—XV вв. и его более поздней и законченной стадией в XVI—XVII вв. Эту точку зрения В. В. Стоклицкая-Терешкович справедливо противопоставляет взглядам Допша и его сторонников, находивших капитализм уже в раннем средневековье, тем более в период XIV—XV вв., особенно в городах. Однако в конкретном изложении автор иногда допускает преувеличение роли капиталистических отношений в жизни средневекового города, особенно для XV в.: говорит, например, о «пауперизации» городского населения, трактует подчинение цеховых мастеров купцам-скупщикам как доказательство наличия в городах XIV в. рассеянной мануфактуры. Эти преувеличения отчасти определяются тем, что книга в первую очередь направлена против теории «замкнутого городского хозяйства» К. Бюхера, которая подвергнута в ней весьма

[36]) В. В. Стоклицкая-Терешкович Очерки по социальной истории немецкого города в XIV—XV веках, М.—Л., 1936, стр. 7.

[37]) Там же, стр. 12—13.

убедительной критике. В книге хорошо показаны классовая антинародная политика городских верхов и никогда не прекращающаяся и все обострявшаяся от XIV к XV в. социальная борьба в городах.

В 30-х — начале 40-х гг. появляется ряд статей, посвященных конкретным исследованиям по разным вопросам истории средневековых городов, преимущественно в Германии и Италии[38]).

Хуже, чем в области социально-экономической истории, обстояло дело с изучением надстроечных явлений. Здесь в 1941 году работа еще только начиналась. История феодального государства привлекла внимание советских медиевистов, в основном, в связи со спорной в то время теоретической проблемой абсолютизма. Марксистско-ленинское решение этой проблемы требовало изучения ряда вопросов конкретной истории, которым в буржуазной историографии не придавалось особого значения. В этих новых аспектах исследовали процесс развития французского абсолютизма З. В. Мосина[39]), В. В. Бирюкович[40]), в более общем плане — С. Д. Сказкин и Б. Ф. Поршнев. В частности, в тесной связи с изучением проблемы французского абсолютизма особое внимание советских медиевистов стали привлекать народные движения во Франции конца XVI — начала XVII вв., слабо изученные в буржуазной литературе. Ими стали почти одновременно заниматься В. В. Бирюкович[41]) и Б. Ф. Поршнев[42]). Оба использовали в своих исследованиях материалы рукописного фонда по истории Франции XVI — XVII вв., хранящегося в Ленинградской публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.

Однако конкретно-историческая разработка проблемы абсолютизма в целом значительно отставала от потребностей ее научного марксистского освещения. Это особенно отчетливо обнаружилось в дискуссии по этой проблеме, которая разгорелась на страницах печати в 1940 году[43]).

Дискуссия обнаружила существенные расхождения во взглядах советских историков на этот вопрос, хотя вместе с тем подтвердила, что все они были едины в признании классовой природы абсолютизма, как эксплуататорского государства. Часть историков продолжала считать абсолютизм органом политического господства «торгового капитала». Другие, в частности, Б. Ф. Поршнев, З. В. Мосина, справедливо подчеркивая феодальную природу этого государства, упрощали, схематизировали решение вопроса в целом. Они сводили причины возникновения абсолютной монархии в Западной Европе к очередному обострению классовой борьбы между крестьянами и феодалами в XVI—

---

[38]) Статьи: Ю. А. Корхов. Догородское ремесло в средневековой Германии «Ученые записки» Московского гос. пединститута, т. 26, вып. I; А. Д. Эпштейн. Продовольственные цехи в Аугсбурге в XV—XVI вв. «Ученые записки» Мос. госпединституте им. В. И. Ленина, т. III, вып. I, 1941; В. И. Рутенбург. Налогообложение и общественный кредит во Флоренции XII—XV вв. «Ученые записки» Ленинградского государственного университета. Серия историч. наук, вып. 10, 1941 г. и др.

[39]) З. В. Мосина. Абсолютизм в политике Генриха IV. «Историк-марксист», 1938, № 2 и др.

[40]) В. В. Бирюкович. Французские «финансисты» в политической борьбе 1622—24 гг. «Исторические записки», т. 3, 1938 и др.

[41]) В. В. Бирюкович. Народные восстания в Бордо и Гиени в 1635 г. «Исторические записки», вып. 2, 1938; его же. Народные движения во Франции в 1624—1634 гг. «Труды Военно-политической академии Красной Армии им. В. И. Ленина», т. 4, 1940 и др.

[42]) Б. Ф. Поршнев. Восстание в Байонне в 1641 г. «Известия АН СССР». Отдел общ. наук, 1938, стр. 1—2 и др. (см библиографию трудов Б. Ф. Поршнева в кн.: «История и историки», вып. II, М., 1968).

[43]) Отчет об этой дискуссии см. в журн. «Историк-марксист», № 6, 1940.

XVII вв., недооценивая важную роль в этом процессе противоречия между нарождающейся буржуазией и дворянством.

С. Д. Сказкин, выдвигая третью точку зрения на абсолютизм, опиравшуюся, с одной стороны, на более широкое и всестороннее рассмотрение этого вопроса во всей его конкретности и противоречивости[44]), с другой — на тщательный анализ взглядов К. Маркса, Ф. Энгельса по этому вопросу, утверждал, что абсолютизм есть последняя по времени форма феодального государства, при которой «правительственная власть была орудием классового господства дворянства»[45]). Однако он считал, что специфические особенности этой политической формы — ее более высокая централизация и кажущаяся самостоятельность по отношению ко всем классам общества — не могут быть поняты только в рамках антагонизма между феодалами и крестьянами. Абсолютизм возникает в результате появления в ряде стран в позднее средневековье нового соотношения социальных сил в связи с развитием капиталистических отношений и формированием нового класса буржуазии как противовеса дворянству. Между этими двумя классами устанавливается временное равновесие сил, которое, обеспечивая центральной власти возможность лавирования между ними, создает условия для ее значительного усиления. Отсюда, в частности, политика поддержки буржуазии на определенном этапе истории абсолютной монархии, которая отнюдь не дает оснований считать ее буржуазным государством. С. Д. Сказкин настойчиво подчеркивал и показал на конкретных примерах феодальную сущность этого государства, видимость его «независимости» от дворянства. Эти взгляды С. Д. Сказкина и его единомышленников в дискуссии впоследствии легли в основу общепринятой в советской медиевистике трактовки абсолютизма. Однако в том виде, в каком она была высказана в 1939—1940 гг.[46]), эта концепция также страдала известной односторонностью: сторонники этой точки зрения недооценивали роли всего комплекса классовых противоречий — между феодалами и крестьянами, буржуазией и предпролетариатом — в процессе складывания абсолютной монархии. В связи с очень ограниченной конкретно-исторической базой, на которой велась дискуссия, она грешила элементами догматизма и цитатничества. Тем не менее она была полезна в том отношении, что выявила взгляды основоположников марксизма по этому вопросу, основные расхождения и главные вопросы спорной проблемы.

Беднее всего в советской медиевистике этого периода были представлены исследования в области средневековой культуры и идеологии. Несколько небольших статей, посвященных в основном отдельным аспектам феодально-церковной культуры раннего средневековья — это все, что было написано в те годы на эту тему[47]).

Из работ более общего характера, посвященных гражданской истории в целом, следует отметить книгу ленинградского историка А. Е. Кудрявцева «Испания в средние века» (Л., 1937). Эта написанная в целом с марксистских позиций научно-популярная работа поло-

[44]) См. второй том учебника «История средних веков» для вузов. М., 1939. Главы, посвященные истории Франции и Испании в XVI—XVII вв.

[45]) Взгляды С. Д. Сказкина и полная сводка высказываний классиков марксизма по вопросу об абсолютизме содержатся в ст. С. Д. Сказкина «Маркс и Энгельс о западноевропейском абсолютизме». «Ученые записки» Мос. гос. пединститута, № 3, 1941.

[46]) См. История средних веков. Учебник для ВУЗов, т. II, М., 1939, стр. 14.

[47]) Б. Я. Рамм. Светские и церковные начала в культуре раннего средневековья (докаролингский период) в «Известиях» Воронежского гос. пединститута, г. 4, 1938 г.; А. А Фортунатов. Алкуин как деятель Каролингского Возрождения. «Ученые записки» Мос. гос. пединститута, 1941, т. III, вып. I и др.

жила начало изучению в советской медиевистике истории средневековой Испании[48]). Эта книга знакомила советского читателя с главными особенностями аграрной, городской и политической жизни средневековой Испании, в частности, ставила вопросы о роли реконкисты и своеобразия испанского абсолютизма в XVI в.

Положительное значение для того времени имел выход в свет курса лекций по истории позднего средневековья незадолго до этого умершего ленинградского профессора П. П. Щеголова — «Очерки из истории Западной Европы XVI—XVII вв.» (Л., 1938). Этот курс уже полностью отражал марксистскую точку зрения по основным вопросам истории этого периода. Несмотря на некоторую неравномерность в освещении разных проблем, книга в целом была насыщена богатым и свежим фактическим материалом, отличалась ярким и живым изложением и являлась весьма полезным учебным пособием. Автор выступал против пресловутой теории «торгового капитализма», относя рассматриваемый период еще к феодальной формации того времени, когда в ее рамках уже зарождались капиталистические отношения. Абсолютизм П. П. Щеголев определял примерно так же, как С. Д. Сказкин: как особую форму «диктатуры дворянства в условиях разложения феодальной формации и роста внутри ее капиталистических отношений» (стр. 10).

Оценивая научные достижения советских медиевистов в довоенный период, необходимо учитывать тесную связь их научно-исследовательской работы с педагогической. Отсутствие к середине 30-х гг. стабильных учебных пособий и завершенной марксистско-ленинской концепции истории средних веков вынуждала преподавателей высшей школы опираться в своих занятиях со студентами в значительной мере на собственные исследования, в процессе преподавания по-новому осмысливая исторические факты и источники.

Глубокоисследовательский характер носили прежде всего специальные курсы и семинары. Например, читавшиеся на историческом факультете в те годы спецкурсы: Е. А. Косминского по истории Англии XI—XV вв.[49]) и по историографии средних веков; В. В. Стоклицкой-Терешкович — по истории средневековых городов; В. М. Лавровского по истории английской революции; С. Д. Сказкина — по истории французского абсолютизма в XVI—XVII вв.[50]), позднее по аграрной истории Западной Европы. Но даже подготовка лекций обычного общего курса истории средних веков в то время требовала от лектора проведения специальных исследований по некоторым разделам, чтобы иметь возможность противопоставить новое марксистское понимание той или иной проблемы ее традиционному в буржуазной историографии изображению.

Важным этапом на пути создания общей марксистско-ленинской концепции истории средних веков были издававшиеся в конце 30-х годов отдельными лекциями или одной книгой общие курсы Е. А. Косминского (читавшиеся в МГУ), Н. П. Грацианского (читавшиеся в пединституте им. В. И. Ленина), А. Д. Удальцова и С. Д. Сказкина

---

[48]) Следом за этой работой появился ряд исследовательских статей по ряду вопросов истории Испании: И. В. Арский. Восстание ремесленников в Валенсии в 1519—1522 гг. «Исторический журнал», 1938 г., № 1; Г. Н. Коломиец. Битва при Лас Навас де Толоса (из истории реконкисты). «Уч. записки» Ленинградского госпединститута им. А. И. Герцена, 1941, т. 45 и др.

[49]) Этот спецкурс лег в основу соответствующих разделов первого советского учебника для вузов, вышедшего в 1938—1939 гг.

[50]) Эти лекции легли в основу соответствующих глав II тома учебника для вузов.

(в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), С. И. Архангельского (в Горьковском университете), О. Л. Вайнштейна (в Ленинградском университете). Сохраняя индивидуальный творческий облик отдельных ученых, все эти курсы строились уже на общих марксистско-ленинских методологических принципах, отражая коллективные усилия советских медиевистов по созданию такого курса. На основе этих, а также ряда специальных курсов, читанных на исторических факультетах разных вузов, был создан и вышел из печати в 1938—1939 гг. первый советский учебник по истории средних веков в двух томах, подготовленный большим коллективом ведущих медиевистов Москвы и Ленинграда[51]). Несмотря на ряд недостатков, особенно заметных в наши дни (некоторая растянутость, недостаточная четкость изложения и формулировок, преобладание в некоторых главах изложения политической истории), этот учебник для своего времени был значительным научным достижением. В нем отчетливо прозвучало марксистско-ленинское определение феодализма как социально-экономической формации, а средних веков как эпохи господства этой формации, противопоставленные буржуазной историографии; большое внимание было уделено экономическому и социальному развитию общества, истории народных масс и их классовой борьбе, в которых авторы искали объяснений явлений политической и идеологической жизни. Вместе с тем учебник давал не только социологический костяк развития феодальной формации, но цельное систематическое изложение гражданской истории эпохи средних веков в Западной Европе, Византии, южно-западно-славянских странах, включая историю культуры, церкви и ересей. Созданная этим учебником общая структура курса средних веков в основном выдержала испытание времени, все основные проблемы его были поставлены и освещены правильно и в дальнейших изданиях учебника подвергались сравнительно небольшой переработке. При подготовке учебника так же, как и предшествовавших ему лекционных курсов, советские ученые проделали большую работу по изучению взглядов классиков марксизма-ленинизма по важнейшим вопросам истории средневековья. Были пущены в научный оборот впервые опубликованные только в советское время материалы рукописного наследства К. Маркса и Ф. Энгельса: «Франкский период», «К истории древних германцев», «О разложении феодализма и развитии национальных государств»; несколько позднее — «Формы, предшествующие капиталистическому производству», а также Марксовы конспекты исторических работ Шлоссера (хронологические выписки)[52]) и других буржуазных историков.

Большую работу в 30-х — начале 40-х гг. советские медиевисты развернули по подготовке учебно-вспомогательных изданий, в частности, изданий источников, особенно необходимых для работ в студенческих семинарах. Помимо трехтомной хрестоматии средневековых источников под ред. С. Д. Сказкина и Н. П. Грацианского, вышедшей первым изданием в 1933—1941 гг. и рассчитанной на студентов, учителей и отчасти школьников, почти все ведущие медиевисты приняли

---

[51]) История средних веков, т. I, М., 1938, под ред А. Д. Удальцова, Е. А. Косминского, О. Л. Вайнштейна. Они же и Н. П. Грацианский составляли авторский коллектив: История средних веков, т. II., М., 1939. Под ред. С. Д. Сказкина и О. Л. Вайнштейна. В авторский коллектив входили: С. Д. Сказкин, М. П. Лесников, М. А. Гуковский, М. М. Смирин, А. Е. Кудрявцев, В. М. Лавровский, Я. Я. Зутис, В. В. Стоклицкая-Терешкович, Н. А. Смирнов.

[52]) Эти конспекты, опубликованные в издании Архива Маркса и Энгельса, т. V (1938), т. VI (1939), т. VII (1940), т. VIII (1946). Институтом Маркса, Энгельса, Ленина были расшифрованы, переведены и подготовлены к печати при активном участии Е. А. Косминского.

участие в подготовке и изданию тематических сборников средневековых источников[53]).

Не осталась без внимания и средняя школа, также остро нуждавшаяся в учебных пособиях. В 1940 г. под редакцией Е. А. Косминского группой ученых был подготовлен и издан первый советский учебник по истории средних веков для шестых и седьмых классов школы[54]). В качестве дополнительного пособия для учителей и школьников большим коллективом авторов во главе со С. Д. Сказкиным была написана трехтомная «Книга для чтения» (I том ее вышел в 1940 г.).

Все наиболее крупные советские медиевисты принимали активное участие в общественно-политической жизни нашей страны и в выполнении тех общих задач, которые стояли перед советской исторической наукой, участвуя в коллективных трудах советских историков. Е. А. Косминский и С. Д. Сказкин, например, написали ряд глав для I тома «Истории дипломатии»[55]). Советские медиевисты активно участвовали в особенно важном и актуальном в те предвоенные годы деле борьбы с буржуазной и, прежде всего, фашистской историографией. Наиболее видные из них приняли участие в сборнике статей «Против фашистской фальсификации истории», изданном АН СССР в 1939 г. Статьи, написанные для этого сборника Е. А. Косминским, С. Д. Сказкиным, Н. П. Грацианским, А. И. Неусыхиным, на большом фактическом материале показали антинаучный, явно фальсификаторский и порою смехотворный характер той трактовки, которая давалась этими фашистскими писаками важнейшим проблемам истории средневековья и, в частности, истории Германии этого периода[56]).

Необходимость историографических исследований, однако, диктовалась не только этими злободневными задачами. Правильное раскрытие основных проблем истории средних веков с марксистско-ленинских позиций было невозможно без серьезного исторического пересмотра всей предшествующей буржуазной литературы, причем не в духе ее огульного отрицания, как это часто делалось в предшествующий период, но в плане серьезного исторического подхода выявления достижений и слабых сторон медиевистики прошлого.

Первые опыты по созданию цельного курса историографии средних веков предприняли почти одновременно О. Л. Вайнштейн — в Ленинградском и Е. А. Косминский — в Московском университетах. В 1940 г. вышел из печати учебник О. Л. Вайнштейна по историографии средних веков[57]), в сжатой форме излагавший развитие медиевистики с момента ее возникновения до наших дней. Учебник опирался в значительной мере на собственные исследования автора, так как в советской историографии у него не было предшественников, да и в буржуазной

---

[53]) Французская деревня XII—XIV вв. и Жакерия. Перев. и примеч. Н. П. Грацианского, М., 1935; Агрикультура в памятниках Западного средневековья. Под ред. О. А. Добиаш-Рождественской и М. И. Бурского. М.—Л., 1936; Памятники истории Англии XI—XIII вв. Перевод и введение Д. М. Петрушевского, М., 1935; Английская деревня XIII—XIV вв. и восстание Уота Тайлера. Составители Д. М. Петрушевский и Е. А. Косминский. М., 1935; Немецкий город XIV—XV вв. Перевод и комментарии В. В. Стоклицкой-Терешкович. М., 1936; Древние германцы, пер. С. Моревского под ред. А. Д. Удальцова, М., 1937.

[54]) Позднее он неоднократно переиздавался.

[55]) См. История дипломатии, т. 1, под ред. В. П. Потемкина, М., 1941.

[56]) См. Е. А. Косминский. Средние века в изображении германских расистов; С. Д. Сказкин. Фальсификация Крестьянской войны 1525 г. в фашистской историографии. Н. П. Грацианский. Немецкий «Drang nach Osten» в фашистской историографии; А. И. Неусыхин. Итальянская политика Германской империи X—XIII вв. в современной фашистской историографии.

[57]) О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.—Л., 1940.

литературе отсутствовали специальные работы по истории медиевистики. Недостаточная исследованность проблемы в целом и недостаточная в то время разработанность марксистской методологии подхода к этим сложным проблемам обусловили ряд недостатков этого курса, которые впоследствии, много лет спустя (в 1949 г.) дали внешний повод для необоснованно суровой критики этой книги. Учебник был в некоторых своих разделах излишне конспективен и категоричен, кое-где сбивался на библиографию, грешил некоторой недооценкой русской дореволюционной историографии и значения идейной борьбы в развитии медиевистики. В настоящее время этот учебник во многом устарел. Однако для своего времени он был несомненно полезным пособием: содержал богатый справочный и библиографический материал, подробную характеристику взглядов классиков марксизма-ленинизма на проблемы средневековой истории, что тогда было новым, и сжатый обзор истории советской медиевистики. О. Л. Вайнштейн впервые в советской печати предложил единую цельную структуру курса истории медиевистики, которая хотя в деталях и оспаривалась, но в основе своей была принята советскими историками, выделил основные школы и направления, охарактеризовав их методологические принципы. В книге содержался полезный материал по вопросу о кризисе буржуазной историографии эпохи империализма и резкая критика последней.

Несколько иной характер носили лекции по историографии средних веков, читавшиеся с 1938 по 1940 г. Е. А. Косминским в Московском университете и опубликованные в виде цельного курса в 1963 году[58]) уже после его смерти. Они были задуманы не как учебное пособие, а скорее как очерки, посвященные узловым этапам развития медиевистики с момента ее возникновения. К сожалению, Е. А. Косминский довел их только до середины XIX века и не успел прочитать лекций по истории русской медиевистики. Однако для периода, который он охватывает, курс этот дает последовательное систематическое изложение историографии прошлого с марксистских позиций. Он опирается во всех своих разделах на самостоятельные глубокие исследования автора и дает весьма подробное и живое описание взглядов и работ историков прошлого на широком фоне общего развития социально-политической и исторической, философской и экономической мысли. Для него характерно сочетание тонкого анализа и ярких индивидуальных характеристик с широкими обобщениями.

Пронизанный критическим отношением к историографии прошлого, классовые основы которой он всегда вскрывает весьма отчетливо, курс этот вместе с тем свободен от какого-либо упрощения в оценке исторических школ и отдельных историков, отличается большой историчностью и четко определяет прогрессивные и реакционные тенденции в развитии медиевистики. В отдельных своих частях этот курс в наши дни в известной мере устарел, но в целом он сохраняет свое научное и идейно-воспитательное значение, представляя то, в настоящее время прочно утвердившееся в советской медиевистике, направление, которое требует научно аргументированной критики буржуазной историографии и историчного подхода к ней.

---

[58]) Е. А. Косминский. Историография средних веков, V в. — середина XIII в. Лекции под ред С. Д. Сказкина, Е. В. Гутновой, Я. А. Левицкого, Ю. М. Сапрыкина. Курс состоит из стенограмм лекций довоенного периода, которые затем не подвергались переработке и даже серьезной авторской правке. Поэтому есть основание рассматривать его в связи с развитием советской медиевистики именно этого периода.

Такой же характер носили и другие работы Е. А. Косминского по историографии, написанные в эти годы[59]). В связи с двадцатилетием Великой Октябрьской социалистической революции Е. А. Косминский в специальной статье дал первый краткий обзор советской историографии по истории средних веков за 20 лет[60]).

Подводя общие итоги развития советской медиевистики с середины 30-х гг. до начала Великой Отечественной войны в первую очередь приходится отметить очень большую, разнообразную и плодотворную работу историков в этой области.

Этот сравнительно короткий отрезок времени ознаменовался окончательным переходом на марксистские позиции наиболее крупных специалистов в этой области. Именно тогда общие теоретические положения исторического материализма и взгляды классиков марксизма-ленинизма на важнейшие проблемы развития феодальной формации стали подлинной основой советской медиевистики. Это нашло отчетливое отражение и в отдельных научных исследованиях, и в коллективных трудах этого времени, особенно же в создании единой марксистско-ленинской концепции истории средних веков. Эта стройная логическая концепция, опирающаяся на факты, отвечавшая тогдашнему уровню развития конкретно-исторических исследований по медиевистике в СССР и за рубежом и пронизанная единой марксистско-ленинской методологией, несомненно, составила важный новый этап в развитии не только русской, но и мировой медиевистики.

За время с 1935 по 1941 г. был создан ряд ценных в методологическом и методическом отношении исследований. При этом, хотя все они носили конкретно-исторический и часто даже локальный характер, эти исследования ни в коей мере нельзя назвать «фактографическими». Все они отличались широкой постановкой наиболее важных, актуальных и спорных в мировой медиевистике проблем и стремлением дать им марксистское решение. Было подготовлено значительное количество полезных и разнообразных учебных пособий, которые на многие годы обеспечили нормальное преподавание истории средних веков в вузах и в школе. Было положено начало развитию историографических исследований и активно велась борьба с буржуазной историографией. Наконец, за этот сравнительно короткий срок в стенах университетов и институтов было подготовлено значительное количество специалистов по истории средних веков. Большой заслугой Е. А. Косминского, С. Д. Сказкина, А. И. Неусыхина, Н. П. Грацианского, В. В. Стоклицкой-Терешковнч, В. А. Вайнштейна, С. И. Архангельского и др. была их огромная, проникнутая большим увлечением педагогическая работа, создавшая вокруг них группы учеников и последователей, научным начинаниям которых их учителя всемерно способствовали.

Все эти достижения, разумеется, не снимали ряда существенных пробелов и недостатков в развитии медиевистики этого периода. К ним следует отнести узость проблематики исследований: то, что основная исследовательская работа велась лишь по социально-экономической, в частности, аграрной истории, и не уделялось достаточно внимания другим сторонам исторического процесса, то, что даже эти исследования велись преимущественно в рамках очень узкого круга стран —

---

[59]) См., например, Анри Пиренн — историк Бельгии, в кн.: А. Пиренн. Нидерландская революция. М., 1937, стр. 5—27 (перепечатано в кн.: Е. А. Косминский. Проблемы английского феодализма и историография средних веков. М. 1963); его же. Столетие преподавания истории средних веков в Московском университете. «Историк-марксист», 1940, № 7

[60]) Е. А. Косминский. Итоги изучения истории средних веков в СССР. «Изв. АН СССР», Отд. общ. наук, 1937, № 5.

Франции, Англии, меньше Германии, что весьма ограничивало базу тех обобщений, которые делались на этом материале.

На развитии медиевистики, как и всей советской исторической науки, уже с конца 30-х годов начало сказываться неблагоприятное сковывающее влияние догматизма, который проявлялся в научных спорах и отдельных работах этого времени. Научные доказательства в некоторых случаях подменялись цитатами из работ классиков марксизма-ленинизма. Вредное влияние догматизма проявилось, в частности, в абстрактно-социологическом характере дискуссии об абсолютизме (см. выше), который, впрочем, был характерен и для научных споров предшествующего периода. В целом, однако, успехи, сделанные советской медиевистикой в этот период, перевешивали ее недостатки. Уже тогда были заложены основы ее последующего поступательного развития.

§ 2. Советская медиевистика в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)

В условиях Великой Отечественной войны развитие советской медиевистики столкнулось с рядом трудностей. Значительная часть аспирантов и начинающих молодых ученых, подготовленных в предшествующие годы, ушли защищать Родину с оружием в руках[61]). Эвакуация научных учреждений и основных вузов Москвы и Ленинграда временно оторвала тех, кто оставался в тылу от исследовательских баз — библиотек и архивов. С другой стороны, перед всеми советскими историками в условиях войны возникли новые, весьма важные общественно-политические задачи и, прежде всего, задача воспитания в массах советского патриотизма и непримиримости к врагу на материале истории. Выполняя эту задачу, советские медиевисты активно включались в популяризаторскую и пропагандистскую работу. Много внимания уделялось постановке преподавания истории средних веков в школе в условиях войны: пересматривались программы, писались методические разработки для учителей с целью заострения этого курса в духе патриотического воспитания школьников. Этому был посвящен, например, раздел по истории средних веков, написанный Е. А. Косминским в коллективной статье советских историков «Преподавание всеобщей истории в средней школе в дни Отечественной войны против германского фашизма»[62]). Медиевисты, находившиеся в эвакуации в Ташкенте в качестве редакторов и авторов, вместе с другими историками подготовили методическое пособие для учителей средней школы Узбекской ССР «Преподавание истории в условиях Великой Отечественной войны», вышедшее в Ташкенте в 1942 г. под ред. А. М. Панкратовой, А. Д. Удальцова, Е. А. Косминского. Большое значение в деле патриотического воспитания имели в то время научно-популярные статьи и публичные лекции историков-медиевистов о Ледовом побоище[63]), об исторических корнях прусского и германского милитаризма и немецкой агрессии в средние века[64]). В эти годы совет-

[61]) В рядах Красной Армии находились в течение всей войны известные в наши дни историки-медиевисты: Ю. М. Сапрыкин, А. И. Данилов, А. Н. Чистозвонов, С. М. Стамм, Я. Д. Серовайский, В. И. Рутенбург, В. В. Дорошенко; на фронтах войны погибли аспиранты-медиевисты МГУ Л. Букштейн, Загрядский, аспиранты МИФЛИ В. Д. Вейс, Панов и многие другие.

[62]) «Исторический журнал», 1942, № 3—4.

[63]) См., напр., Е. А. Косминский. Ледовое побоище. «Вестник АН СССР», 1942, № 4; Н. П. Грацианский. Борьба славян и народов Прибалтики с немецкой агрессией в средние века. Пособие для преподавателей. М., 1943 и др.

[64]) Н. П. Грацианский. Пруссия и пруссаки. Стенограмма публичной лекции, прочитанной 17. IV. 1945 г.; С. Д. Сказкин. Фридрих II после Кунерсдорфа.

ские медиевисты с успехом продолжали начатую еще в предшествующий период острую и аргументированную критику фашистской псевдоисториографии[65]).

Одной из актуальных исследовательских задач, поставленных войной, было разоблачение фашистской фальсификации истории славянских народов и научное освещение этой проблемы. За выполнение этой задачи с большой энергией взялся Н. П. Грацианский, написавший во время войны ряд научных статей по этим вопросам[66]). Как всегда, опираясь на прочный фундамент фактов, добытых путем точного анализа различных по характеру источников, Н. П. Грацианский показал в этих статьях грабительские и захватнические цели и методы походов немецких феодалов против славянских народов в XI—XV вв., развеял легенду, созданную немецкими шовинистическими историками о якобы благотворном значении немецкого «движения на Восток» для самих славян и ярко описал борьбу последних против немецких захватчиков. Ему удалось показать, вопреки немецкой шовинистической историографии, сравнительно высокий уровень культуры славян уже в раннее средневековье до начала немецких вторжений и тем самым научно обосновать свой вывод о пагубности германского завоевания для славянских народов. Таким образом, Н. П. Грацианский выступил как один из первых советских славяноведов. И хотя в последующие годы советские слависты во многом дополнили и уточнили эти выводы, его труды в этой области в свое время составили существенный вклад в советскую историческую науку[67]).

Другим новым направлением исследований в советской медиевистике военных лет было специальное изучение русской дореволюционной историографии средних веков. Эта тема в предшествующий период не привлекала специального внимания историков. Теперь же в условиях войны возникло естественное стремление напомнить о лучших традициях русской национальной культуры и науки. В этих традициях деятельность дореволюционных медиевистов занимала не последнее место. К изучению их наследия в военные годы обратился Е. А. Косминский, написавший несколько статей по истории русской медиевистики с середины XIX в. до начала 40-х гг. XX в. (т. е. включая обзор советской медиевистики) и, в частности, по истории изучения аграрной истории средневековой Англии[68]). В этих статьях он нарисовал яркие

«Исторический журнал», 1945, № 3; Я. Я. Зутис. Грюнвальд — конец могущества Тевтонского ордена. «Исторический журнал», 1941, № 9; Б. Ф. Поршнев. Как германские империалисты уже «довоевались» однажды до собственной гибели. М., 1942

[65]) См. Е. А. Косминский. Фашистская фальсификация истории средних веков. «Исторический журнал», 1942, № 2; Н. П. Грацианский. Фашистская фальсификация истории немецкой агрессии за Эльбу. «Ученые записки» Московского ордена Ленина госуниверситета им. М. В. Ломоносова, вып. 81. Сборник исторического факультета: «Преступления фашистов против исторической науки». М., 1945; А. И. Неусыхин Исторический миф Третьей империи (там же). Последняя работа по своему содержанию и значению выходила за рамки показа полной научной несостоятельности сочинений фашиствующих историков, так как впервые в советской историографии выдвинула и обосновала целостную марксистскую концепцию истории Германии V—XIII вв.

[66]) Н. П. Грацианский. Заэльбские славяне в борьбе с немецкой агрессией в X—XIII вв. «Исторический журнал», 1942, № 8; его же Славянское царство Само. «Исторический журнал», 1943, № 5—6; его же Деятельность Константина и Мефодия в Великоморавском княжестве. «Вопросы истории», 1945, № 1 и др.

[67]) О значении этих статей Н. П. Грацианского для развития советского славяноведения см. статью: В. И. Пичета. Грацианский и его труды по истории славянства. «Вопросы истории», 1946, № 7.

[68]) Е. А. Косминский. Роль русских историков в разработке истории Англии. «Исторический журнал», 1941, № 2; его же. Русская историческая наука и ее достижения. В кн. — Роль русской науки в развитии мировой науки и культу-

индивидуальные характеристики ряда русских дореволюционных историков — Т. П. Грановского, М. М. Ковалевского, И. В. Лучицкого, П. Г. Виноградова, А. Н. Савина, Д. М. Петрушевского и др., подчернул тесную связь творчества всех этих русских ученых с социально-политическим развитием пореформенной России, с общим стремлением русской прогрессивной интеллигенции того времени определить исторические судьбы своей Родины, общее и различное в ее истории по сравнению с историей стран Западной Европы. В этом Е. А. Косминский справедливо видел одну из главных причин интереса многих русских историков, начиная с Т. Н. Грановского, к истории западноевропейского средневековья. Он считал главным достоинством дореволюционной русской исторической школы в медиевистике то, что все ее представители придавали большое значение социально-экономическому фактору в истории и уделяли ему наибольшее внимание в своих исследованиях, что они всегда следовали строго научной методике, опирались всегда на большой материал фактов. В этих статьях впервые был отчетливо показан большой научный вклад русской медиевистики прошлого в развитии мировой исторической науки то, что наиболее крупные русские специалисты в этой области выступали пионерами в изучении ряда важных проблем истории западного средневековья. В частности, Е. А. Косминский подчеркнул большие научные заслуги Т. Н. Грановского, как крупного и оригинального ученого[69]).

Вместе с тем для этих статей Е. А. Косминского была характерна некоторая односторонность. Внимание его было сосредоточено главным образом на положительных сторонах творчества рассматриваемых историков. Гораздо бледнее и неопределеннее говорилось об их недостатках. Последние отмечались только в связи с их конкретно-историческими концепциями при почти полном отсутствии критики буржуазной методологии, на основе которых эти концепции строились. Так, например, П. Г. Виноградову ставилось в упрек лишь увлечение юридическим анализом и некоторая нерешительность в обобщениях, но ничего не говорилось ни о его политических взглядах, ни о буржуазной позитивистской методологии этого историка[70]). Д. М. Петрушевского Е. А. Косминский критиковал за его концепцию «социальной гармонии в маноре» и за чисто политическое понимание феодализма, ничего не говоря об его увлечениях неокантианством и допшианством[71]).

В результате принципиальные различия между советской и русской дореволюционной медиевистикой в методологии и в концепции средневековой истории отмечались Е. А. Косминским недостаточно отчетливо. Такой односторонний подход особенно ярко проявился в статье Е. А. Косминского, посвященной памяти умершего в 1942 г. Д. М. Петрушевского (написана в 1945 г.)[72]) (см. ниже).

С середины 1943 г. многие ученые смогли вновь вернуться к прерванным войной исследованиям.

ры. М., 1944; его же. Аграрная история Англии и русская историческая школа. «Известия АН СССР». Серия ист. фил., 1944, т. 2, № 3; Изучение истории западного средневековья (работы русских историков). — «Вестник АН СССР», 1945, № 10—11 и др.

[69]) Е. А. Косминский. Изучение истории западного средневековья. В кн.: Проблемы английского феодализма в историографии средних веков. М., 1963. стр. 87.

[70]) Е. А. Косминский. Роль русских историков в разработке истории Англии, там же, стр. 71.

[71]) Там же, стр. 72.

[72]) Е. А. Косминский. Дмитрий Моисеевич Петрушевский. «Средние века», вып. II, 1946.

В 1943—1945 гг. в периодической печати было опубликовано значительное количество исследовательских статей разных авторов, составлявших главы и разделы их позднее напечатанных монографий. Е. А. Косминский возобновил свои занятия аграрной историей Англии[73]); М. М. Смирин исследовал проблему Крестьянской войны в Германии и народное направление в немецкой реформации XVI в.[74]); Б. Ф. Поршнев продолжал изучение народных движений во Франции XVI — XVIII вв.[75]) и одновременно приступил к изучению истории Тридцатилетней войны и роли, которую играла в международных отношениях того времени Россия[76]). Этой проблемой в последние годы войны стал заниматься и О. Л. Вайнштейн. В те же годы А. И. Неусыхин начал углубленно разрабатывать проблему генезиса феодализма у разных германских народов[77]).

Продолжалась работа по подготовке учебных пособий. В 1944 г. вышел в виде краткого учебника курс лекций по истории средних веков, читавшийся в предшествующие годы С. Д. Сказкиным и А. Д. Удальцовым в Высшей партийной школе[78]).

Значительным событием для советской медиевистики был выход в свет первого выпуска сборника «Средние века» в 1942 г., который состоял из ряда исследовательских статей наиболее известных тогда советских медиевистов[79]).

Таким образом, советская медиевистика продолжала развиваться и в годы войны. Вместе со всеми советскими историками медиевисты оказались на высоте сложных и разнообразных задач, поставленных перед ними войной. Они внесли свою долю в идейно-воспитательную и пропагандистскую работу тех лет, важную для общего дела разгрома фашистской Германии. Вместе с тем, преодолевая трудности военного времени, они продолжали подготовку новых кадров в своей области истории и даже несколько расширили в эти годы тематику своих специальных исследований.

§ 3. Советская медиевистика в период 1946—1966 гг.

После окончания Великой Отечественной войны процесс расширения тематики медиевистских исследований продолжался еще более интенсивно. Наряду с этим углубилось и содержание последних. Оба эти процесса были следствием закономерного развития советской исторической науки. Они стимулировались также значительным ростом

---

[73]) См. его статьи: Мелкая вотчина в средневековой Англии. «Изв. АН СССР», сер. истории и философии, 1944, т. I, № 4. Вопрос о рабочей силе в английской феодальной вотчине XIII в.—«Вопросы истории», 1945, № 1 и др.

[74]) См. его статью: Томас Мюнцер в первые годы реформации. «Средние века», вып. I, 1942 и др.

[75]) Б. Ф. Поршнев. Из истории восстания «босоногих» в Нормандии в 1639 г. «Средние века», вып. I, 1942 и др.

[76]) Б. Ф. Поршнев. Московское государство и вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну. «Исторический журнал», 1945, № 3 и др.

[77]) См. статьи: А. И. Неусыхин. Общественный строй лангобардов в VI—VII вв. «Средние века» вып. I, 1942; его же. Свобода и собственность в варварском обществе. «Известия АН СССР», отделение истории и философии, 1945, № 4 и др.

[78]) А. Д. Удальцов и С. Д. Сказкин. История средних веков. Курс лекций, прочитанный в ВПШ. М., 1944.

[79]) Е. А. Косминского, С. Д. Сказкина, Н. П. Грацианского, А. И. Неусыхина, Б. Ф. Поршнева, М. М. Смирина и др. Сборник был подготовлен Сектором истории средних веков Института истории АН СССР.

в послевоенный период кадров советских медиевистов, которых к началу 50-х годов было уже не единицы, а десятки. В группу ведущих ученых в этой области наряду с историками старшего поколения теперь выдвигаются более молодые: А. И. Неусыхин, М. М. Смирин, Б. Ф. Поршнев, Я. В. Зутис, А. Д. Люблинская, В. Ф. Семенов, А. С. Самойло и др. Еще более молодое пополнение в конце 40-х — начале 50-х гг. советская медиевистика получила за счет бывших студентов и аспирантов, получивших подготовку в исторических вузах, созданных после постановления 1934 г. Разбросанные в годы войны по фронтам или городам далекого тыла, они возвращаются теперь к прерванной научной работе, завершают свои кандидатские диссертации, выступают в периодической печати, входят в науку[80]).

Расширялась в послевоенные годы еще более и организационная база советской медиевистики. Наряду с перечисленными выше научными центрами, возникшими в 30-е гг., появились новые, в частности, в ряде периферийных вузов: кафедра истории древнего мира и средних веков Томского университета, где специально разрабатываются вопросы методологии истории и историографии средних веков[81]), кафедры того же названия Воронежского[82]), Саратовского[83]) и Уральского[84]) университетов, Ивановского пединститута[85]) и др.

Важным научным и организационным центром для советских медиевистов в последние 20 лет стал сборник «Средние века». За эти годы он постепенно превратился из нерегулярного сборника трудов штатных сотрудников-медиевистов Института истории АН СССР в периодическое издание (с 1953 г.— ежегодник, с 1958 г.— выходил по четыре, в последнее время по два раза в год), которое насчитывает 30 выпусков[86]). Хотя это издание остается по-прежнему органом сектора истории средних веков Института истории АН СССР, оно не носит узковедомственного характера и широко предоставляет свои страницы всем советским медиевистам, работающим в разных учреждениях и многих городах Советского Союза.

С начала 60-х гг. все большую роль в качестве общественных координационных центров в области медиевистики играют созданные при Институте истории АН СССР две секции научного совета — «Закономерности исторического развития общества и переход от одной социально-экономической формации к другой» — секция «Генезис капитализма»[87]), и секция «Генезис и развитие феодализма»[88]). Эти секции связывают работу специалистов по истории западноевропейского средневековья с работой ученых, изучающих историю феодальной формации у славянских народов в России и в странах Азии. Тем самым они способствуют комплексному изучению наиболее актуальных проблем истории феодальной формации во всемирно-историческом разрезе.

---

[80]) Именно представители этой научной молодежи конца 40-х — начала 50-х гг. составили позднее основные кадры медиевистов теперешнего среднего поколения. К нему относятся: доктора исторических наук Н. А. Сидорова, Ю. М. Сапрыкина, А. И. Данилов, З. В. Удальцова, Е. В. Гутнова, Я. А. Левицкий, В. И. Рутенберг, М. А. Барг, А. Я. Гуревич, А. Н. Чистозвонов и многие другие.

[81]) Возглавлялась профессором А. И. Даниловым, с 1967 г.— Б. Г. Могильницким.

[82]) Возглавлялась ранее проф. И. Н. Бороздиным, после его смерти — А. Е. Москаленко, а теперь Немировским.

[83]) Возглавляется С. М. Стамом.

[84]) Возглавляется М. С. Сюзюмовым.

[85]) Возглавляется А. В. Конокотиным.

[86]) Ответственным редактором до его смерти в 1959 г. был Е. А. Косминский, а затем — С. Д. Сказкин.

[87]) Возглавляется академиком С. Д. Сказкиным.

[88]) Возглавляется доктором исторических наук З. В. Удальцовой.

Отмеченный выше процесс расширения тематики медиевистских исследований в послевоенный период выразился прежде всего в том, что в орбиту внимания историков все более стали вовлекаться ранее не изучавшиеся страны, а также надстроечные явления, в предвоенный период мало привлекавшие их внимание.

Одновременно происходил и другой процесс — концентрации интересов советских медиевистов на сюжетах истории западноевропейского средневековья. Хотя это обстоятельство в конце 40-х — начале 50-х гг. давало повод к их обвинению в «европоцентризме», в основе этого явления лежал здоровый, прогрессивный процесс дифференциации исторической науки, который на определенном этапе ее развития привел к выделению из общей истории средних веков сначала средневековой истории восточных народов (она была передана востоковедам), а затем южных и западных славян (перешла в область славяноведения).

***

Возможность специально сосредоточиться на истории западноевропейского средневековья способствовала дальнейшему углублению и детализации научной работы советских медиевистов. В их исследованиях в этот период по-прежнему важное место занимала и занимает социально-экономическая и, в частности, аграрная тематика. В области аграрной истории в центре внимания остается проблема генезиса феодализма в Западной Европе, которая изучается теперь на гораздо более широком фактическом материале различных стран и народов. Ведущее место в разработке этих проблем занимает А. И. Неусыхин и его школа; итоги его многолетних исследований в этой области, начатых еще в годы войны, подведены в его монографии «Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв.», вышедшей в 1956 г. Эта сложная комплексная проблема рассматривается А. И. Неусыхиным в сравнительно-историческом плане на материале не одного, а многих германских народов: франков, саксов, лангобардов, бургундов, баваров. В центре внимания автора, в соответствии с марксистским пониманием этой проблемы, находится процесс постепенного превращения свободных общинников в зависимых крестьян — непосредственных производителей феодального общества. Основу этого процесса А. И. Неусыхин видит в постепенном развитии у германцев, осевших на вновь завоеванных землях, имущественного, затем социального неравенства, частной собственности на землю в виде аллода, в котором он видит предпосылку появления уже феодальной земельной собственности. При этом А. И. Неусыхин очень тонко прослеживает эволюцию у германцев понятий свободы и собственности, в частности, понятия «аллод». Особенно ценен проведенный А. И. Неусыхиным анализ эволюции германской общины от родовой к земледельческой и далее к соседской общине-марке, а также анализ роли и места большой патриархальной семьи в период непосредственно предшествовавший возникновению феодального строя. Автор уделил также внимание особенностям крестьянских движений раннего средневековья. Параллельное рассмотрение генезиса феодализма у разных германских народов в VI—VIII вв. позволило А. И. Неусыхину показать как общие закономерности этого процесса, так и его особенности у каждого из них. Вместе с тем, благодаря такому подходу, он смог обнаружить особенности разных стадий этого процесса от начальных форм, отразившихся в «Салической правде», до его завершения, отраженного в самой поздней, «Баварской правде». В основу книги А. И. Неусыхина были положены «варварские правды»,

многие из которых до него специально не исследовались. А. И. Неусыхин применил в их изучении новую методику, вскрыл их хронологическую многослойность и обнаружил в их содержании отражение различных этапов развития германских обществ. Филигранный анализ «правд» он умело сочетал с изучением картуляриев и формул, добиваясь часто неожиданных, с точки зрения старой методики, результатов. Книга А. И. Неусыхина поставила и осветила по-новому ряд важных теоретических вопросов проблемы генезиса феодализма, в частности, вопрос о существенных особенностях этого процесса у народов, не испытывавших на себе воздействия римского рабовладельческого строя, не знавших так называемого «синтеза» и даже об особенностях этого процесса у разных народов внутри этого «безсинтезного» типа развития. В этом плане работа А. И. Неусыхина имела большое значение не только для медиевистов, но и для славистов и историков русского феодализма.

В 1964 году вышла в свет вторая монография А. Н. Неусыхина «Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв.», хронологически продолжающая первую[89]). Опираясь на данные картуляриев, А. И. Неусыхин проследил дальнейший ход феодализации Германии, вплоть до ее окончательного завершения в XII в. При этом он показал, с одной стороны, особенности этого процесса в Германии в целом, с другой — специфику его в южных (Аллемания, Рэция, Тироль) и северо-западных (Нижний Рейн, Фрисландия, Саксония) областях страны. А. И. Неусыхин установил замедленность развития феодализма в Германии, длительное сосуществование там крупной феодальной вотчины со свободной крестьянской аллодиальной собственностью и общинной маркой, сохранявшихся там до начала XII в. Эти выводы А. И. Неусыхина очень ценны также и для выяснения специфики немецкого феодализма в более поздний период его полного развития (XII—XV вв.). В этой книге А. И. Неусыхин также применил и убедительно обосновал новую оригинальную методику исследования системы полей по данным картуляриев. На большом фактическом материале, изученном со свойственной ему добросовестностью, А. И. Неусыхин выяснил несостоятельность распространенной в современной немецкой буржуазной историографии теории «королевской свободы», согласно которой свободное крестьянство раннего средневековья было искусственным созданием королевской власти, которая стремилась использовать этот слой населения для укрепления государственной централизации. В работе показано, что эта теория основывается на произвольной трактовке картулярного материала.

Проблемами аграрной истории раннесредневековой Германии в разных аспектах занимался ряд учеников А. И. Неусыхина. В работах А. И. Данилова[90]) и В. Д. Вейса[91]), в противовес немецкой юридической школе, были выяснены социальные функции институтов иммунитета, фогства округа банна, как политического выражения роста крупной феодальной собственности и как средств внеэкономического принуждения. Ю. Л. Бессмертный исследовал эволюцию форм феодаль-

---

[89]) Части этого исследования опубликованы в виде отдельных статей в 50-е — начале 60-х гг.

[90]) А. И. Данилов. К вопросу эволюции фогства, как одной из форм права феодальной собственности. Труды Томского Гос. университета, т. 103, Томск, 1948; его же. Основные черты иммунитета и фогства на церковных землях в Германии X—XII вв. Доклады и сообщения истфака МГУ, вып. 7. М., 1948.

[91]) В. Д. Вейс. К вопросу о природе фогства в Германии X—XII вв. «Исторические записки», вып. 19, 1946.

ной ренты в раннесредневековой Германии[92]). Л. Т. Мильская в своей монографии «Светская вотчина в Германии VIII—IX вв. и ее роль в закрепощении крестьянства» (М., 1957) во многом по-новому подошла к проблеме закрепощения крестьянства в Германии. Вопреки общераспространенному ранее мнению она, исследуя картулярный материал, пришла к выводу, что решающую роль в этом процессе играла не крупная церковная, а более мелкая светская вотчина. Именно она втянула в зависимость основные массы свободного крестьянства задолго до того, как стало складываться крупное церковное землевладение в Каролингский период. Последнее формировалось за счет не столько крестьянских, сколько мелковотчинных владений, которые и составляли, по мнению Л. Т. Мильской, основную массу прекарных дарений каролингского периода[93]).

Несколько продвинулось вперед также изучение аграрного развития периода раннего средневековья на территории Франции. Процессу феодализации у франков посвящены работы Г. М. Даниловой (Петрозаводский университет)[94]), А. В. Конокотина (Ивановский пединститут)[95]). Е. Д. Серовайский (Казахский университет), изучая аграрные отношения в Бургундии раннего средневековья, показал, что вопреки мнению Н. П. Грацианского, высказанному в его «Бургундской деревне», вторжение бургундов внесло ряд существенных изменений в систему расположения и использования земельных участков на этой территории и, следовательно, в аграрные распорядки галло-римского населения[96]). Особенности процесса феодализации Шампани стали предметом исследований А. Я. Шевеленко[97]).

В послевоенные годы впервые в советской медиевистике началось изучение аграрной истории раннесредневековой Италии. Самый ранний этап генезиса феодализма в этой стране получил освещение в капитальной монографии З. В. Удальцовой «Италия и Византия в VI в.» (М., 1959)...[98]). В ней на материале весьма разнообразных источников показано сложное переплетение в аграрном и социальном строе остготской Италии старых рабовладельческих и зарождающихся феодальных отношений. Автор приходит к выводу, что в результате остготского завоевания в Италии начался процесс феодализации, в ходе которого происходило сближение, с одной стороны, феодализирующейся римской и остготской знати, а с другой — формирование класса раннесредневекового крестьянства из разных групп трудящихся как рабовладельческого, так и варварского общества. Вместе с тем автор подчеркивает замедленность этих процессов, которую он объясняет боль-

---

[92]) Ю. Л. Бессмертный. Социально-экономическое положение зависимого крестьянства среднерейнской Германии по данным Прюмского Полиптика. «Средние века», вып. X, 1957 и др.

[93]) Более подробно основные выводы этой работы, а также критические замечания и возражения по некоторым из них, см. в ст.: А. И. Данилов. К вопросу о роли светской вотчины в эпоху генезиса феодализма. «Средние века», вып. XIII, 1958.

[94]) Г. М. Данилова. Возникновение феодальных отношений у франков VI—VII веков. Петрозаводск, 1959.

[95]) А. К. Конокотин. Элементы рабства в меровингской и каролингской Франции. «Уч. записки» Ивановского пединститута, т. XI, Иваново, 1957.

[96]) Я. Д. Серовайский. Изменение системы земельных мер, как результат перемен в аграрном строе на территории Франции в период раннего средневековья. «Средние века», вып. VIII, 1956 и др.

[97]) А. Я. Шевеленко. К вопросу об образовании класса крепостных крестьян в Шампани IX—X вв. «Из истории средневековой Европы X—XVII вв.» Сб. статей, М., 1957 и др.

[98]) Последствиям остготского завоевания для Италии посвящены также статьи: И. А. Дворецкая. Раздел земель в Остготском государстве в Италии в VI в. «Ученые записки» Мос. Госпединститута им. В. И. Ленина, т. 104, вып. 5, 1957 и др.

шой прочностью в Италии рабовладельческих отношений. Основное содержание истории Италии этого периода З. В. Удальцова видит в борьбе рабовладельческого строя и феодальной тенденции общественного развития, которая шла с преобладанием последней до тех пор, пока византийское завоевание 455 г. и последовавшие за ним реставрационные меры не задержали на несколько десятилетий процесс феодализации Италии. В работе дан интересный анализ политики остготского короля Тотиллы в период его борьбы против Византии и уделено большое место различным проявлениям классовой борьбы в Остготской Италии, в частности, в период войны Тотиллы. Книга З. В. Удальцовой одна из первых в советской медиевистике поставила проблему генезиса феодализма в одной из стран, где он совершался путем синтеза разлагающихся рабовладельческих и первобытно-общинных отношений, и в разных аспектах осветила эту проблему[99]).

Более поздний этап генезиса феодализма в Италии — в Лангобардский период (VIII—X вв.) — исследовался Л. А. Котельниковой[100]). Другой вариант «синтезного» пути генезиса феодализма на материале Вестготской Испании изучался А. Р. Корсунским. Итогом его многолетних исследований[101]) является подготовленная им книга «Очерки по истории Испании VI—VII вв.», в которой обрисована относительно полная картина аграрного и социально-политического развития Испании в эти столетия. Автор обнаруживает известное влияние на испанскую деревню аграрных распорядков вестготской общины, однако приходит к выводу, что в складывании основных классов феодального общества, особенно класса зависимых крестьян основную роль играли не вестготские, а испано-римские элементы; римские колоны, прекаристы, либертини, сервы. Именно их юридический статус в конечном итоге определил правовое положение основной массы крестьянства в раннесредневековой Испании. Что касается политического строя вестготской Испании, то здесь, по мнению А. Р. Корсунского, несмотря на некоторое влияние римских государственных институтов, сохранялось превалирующее влияние варварской политической организации. Интересно поставлена в работе на материале вестготской Испании общая проблема о сущности раннесредневековых городов.

Другой путь генезиса феодализма в странах, где не было или почти не было римского влияния, также привлек в послевоенный период серьезное внимание советских медиевистов. Применительно к истории англо-саксов ею занимались А. Я. Гуревич[102]) и М. Н. Соколова[103]). Оба они констатировали значительные своеобразия в процессе феодализации у англо-саксов: длительное сохранение общинных отношений и свободного крестьянства, медленность формирования аллода. Однако А. Я. Гуревич и М. Н. Соколова разошлись в оценке характера этих своеобразий и темпов процесса феодализации Англии.

---

[99]) Более детальную характеристику этой книги см. в рецензии А. И. Неусыхина. «Средние века», вып. XX, 1961.

[100]) Л. А. Котельникова. Либеллярии Северной и Средней Италии в VIII—X вв. «Средние века», вып. X, 1957 и др.

[101]) Публиковались в виде отдельных статей в периодической печати. См. А. Р. Корсунский. О развитии феодальных отношений в готской Испании. «Средние века», вып. X, 1957 и вып. XV, 1959 и др. В настоящее время находится в печати в виде отдельной монографии.

[102]) А. Я. Гуревич. Роль королевских пожалований в процессе феодального подчинения английского крестьянства. «Средние века», вып. IV, 1953; его же. Английское крестьянство в X — начале XI вв. «Средние века», вып. IX, 1957 и др.

[103]) М. Н Соколова. Свободная община и процесс закрепощения крестьян в Кенте и Уэссексе в VII—X вв. «Средние века», вып, VI, 1955; ее же. Возникновение феодального землевладения и класса феодалов в Англии VII—X вв. «Средние века», вып. XII, 1958.

М. Н. Соколова, опиравшаяся в основном на данные англо-саксонских правд, утверждала, что процесс феодализации в целом проходил замедленным темпом, так что вплоть до IX в. в Англии преобладал дофеодальный общинный строй, и феодализм был далек от своего завершения еще накануне нормандского завоевания. А. Я. Гуревич, в качестве основного источника использовавший королевские хартии VII—IX вв., отрицал замедленный характер феодализации процесса у англо-саксов, считая, что медленность разложения общины и формирования аллода компенсировалась активной политикой королевской власти, которая своими земельными и иммунитетными пожалованиями в пользу церкви и дружинников создавала сверху феодальную земельную собственность и способствовала закрепощению целых общин. Начало этой феодализации «сверху» он относил к VII—VIII вв. и утверждал, что феодальные производственные отношения в основном сложились в Англии задолго до нормандского завоевания — еще в X веке.

Еще один вариант бессинтезного пути развития феодализма — норвежский — стал также объектом исследований А. Я. Гуревича, результаты которых нашли отражение в многочисленных статьях[104]). В основу его оригинальной концепции по этому вопросу лег тезис (оспариваемый многими буржуазными учеными) о том, что в Норвегии так же, как и в других странах Западной Европы имел место период феодализма, хотя последний отличался большими особенностями. Эти особенности, как показал А. Я. Гуревич, имели много общего с ранним феодализмом в Англии и заключались в сохранении личной свободы и отчасти земельной собственности у значительной части норвежского крестьянства, в отсутствии в Норвегии крепостничества, сложившейся вотчины и законченной ленной системы. Корни этих особенностей автор видит в том, что в стране полностью отсутствовало римское влияние, а с другой стороны, в силу географических условий было слабо развито земледелие. В результате в Норвегии сильно затянулся переход от коллективной земельной собственности большой семьи к частной индивидуальной собственности, долго сохранялась общинная собственность на неподеленную землю, не только личная свобода, но и политическое полноправие наиболее крепкого крестьянства. Как и у англо-саксов, в Норвегии, по мнению А. Я. Гуревича, особенно важную стимулирующую роль в процессе феодализации играла королевская власть, которая своими налогами и государственными повинностями настолько притесняла крестьянство, что фактически сводила на нет выгоды их свободного статуса, по существу приближая свободных крестьян к положению крепостных. Концепция А. Я. Гуревича о решающей роли королевской власти в процессе феодализации Англии и Норвегии представляется пока во многом спорной и по ряду вопросов, на наш взгляд, нуждается в дополнительной аргументации.

Таким образом, в послевоенный период проблема генезиса феодализма в Западной Европе рассматривалась применительно ко многим странам и народам. Такое расширение базы исследований в этой области позволило наряду с общими закономерностями этого процесса выявить его значительные своеобразия у разных народов, дающие основание ставить вопрос о типологии генезиса феодализма.

Как видно из вышеизложенного, в советской медиевистике довольно отчетливо выделяются два основные типа и пути формирования фео-

---

[104]) А. Я. Гуревич. Большая семья в Северо-Западной Норвегии в раннее средневековье. «Средние века» вып. VIII, 1956; его же. Норвежская община в раннее средневековье. «Средние века», вып. XI, 1958; его же. Свободное крестьянство и феодальное государство в Норвегии в X—XII вв. «Средние века», вып. XX, 1961 и мн. др.

дализма: путь германо-романского синтеза (у франков, в Италии и Испании) и «бессинтезный» или почти «бессинтезный» путь (у зарейнских германских племен, англо-саксов, скандинавов). Вместе с тем исследования последних лет показывают, что в рамках каждого из этих основных типов намечаются также довольно различные варианты развития, которые предстоит еще более детально исследовать.

Значительно продвинулось вперед в послевоенный период также изучение аграрной истории Западной Европы в XI—XV вв. В изучении аграрной истории Англии этого периода наряду с XIII в. внимание историков стали привлекать вопросы аграрной эволюции Англии в XIV—XV вв. В работах 50-х гг., посвященных этому вопросу, Е. А. Косминский с марксистских позиций подошел к спорной и «модной» в зарубежной историографии проблеме кризиса феодализма в Европе этих столетий[105]). Он высказал мысль о том, что в Англии этого времени не только нельзя говорить об общем «кризисе феодализма», но даже о полном экономическом упадке, так как явления упадка переплетались и в сельском хозяйстве, и в промышленности с прогрессивными явлениями. Клонилось к упадку старое барщинное хозяйство и старое цеховое ремесло в городах, зато росли и крепли мелкотоварное крестьянское хозяйство, домениальное хозяйство феодалов, основанное на наемном труде, элементы рассеянной мануфактуры[106]). Аграрными отношениями и классовой борьбой крестьян в Англии XIII—XV вв. занимались также Ю. Р. Ульянов[107]) и Е. В. Кузнецов[108]).

В области аграрной истории Англии в XIII в. более молодые исследователи — Ф. Я. Полянский[109]), К. Д. Авдеева[110]), Е. В. Гутнова и Ю. Р. Ульянов и др.— дополнили и уточнили некоторые выводы Е. А. Косминского. Е. В. Гутнова, в частности, специально изучавшая вопрос о расслоении свободного крестьянства в Англии XIII в., пришла к выводу о его резкой социальной неоднородности, так как его высшие слои, по ее мнению, примыкали, по существу, к рыцарству, а низшие — фактически приближались к крепостным, вилланам[111]).

Большое значение для разработки аграрной истории Англии имела монография М. А. Барга «Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв» (М., 1962). В основу ее легло сопоставление статистически обработанных данных двух поземельных кадастров —

---

[105]) См. Е. А. Косминский. Вопросы аграрной истории Англии в XV в. «Вопросы истории», 1948, № 1; его же. Эволюция форм феодальной ренты в Англии XI—XV вв. «Вопросы истории», 1955, № 2 и др.

[106]) См., особенно, Е. А. Косминский Были ли XIV и XV вв. временем упадка европейской экономики. «Доклады советской делегации на X Международном конгрессе историков в Риме». М., 1955. Позднее против теории «кризиса феодализма» в Англии XIV—XV вв. высказался и М. А. Барг (в статье: О так называемом «кризисе феодализма» в XIV—XV вв. «Вопросы истории», 1960, № 8), отметивший, что речь может идти лишь о кризисе барщинной системы хозяйства, т. е. о переходе от одного этапа развития феодализма к другому.

[107]) Ю. Р. Ульянов. Возникновение нового дворянства в Англии XV века по переписке семьи Пастон. — «Из истории средневековой Европы (X—XVII вв.)». М., 1957; его же. Оксфордширский манор. Уотлингтон в 1086—1300 гг. «Средние века», вып. 29, 1966.

[108]) Е. В Кузнецов. Народные восстания в Англии последних лет XV века. «Научные доклады высшей школы. Исторические науки», 1959, № 1 и др.

[109]) Ф. Я Полянский Манориальные источники средств производства в хозяйстве Глостерского аббатства. «Средние века», вып. I, 1942.

[110]) К. Д. Авдеева. Огораживания общинных земель в Англии в XIII в. «Средние века», вып. VI, 1955 и др.

[111]) Е. В. Гутнова. Политика английского феодального государства в отношении свободного крестьянства в XIII в. — «Научные доклады высшей школы. Исторические науки, 1957, № 2; ее же. Экономические и социальные предпосылки государственной централизации английского феодального государства в XII—XIII вв. «Средние века», вып. IX, 1957.

«Книги Страшного суда 1086 г.» и «Сотенных свитков 1279 г.». В отличие от Е. А. Косминского ключом к пониманию аграрного развития Англии с конца XI по конец XIII вв. М. А. Барг считает не смену форм феодальной ренты, но эволюцию феодальной собственности и способов ее распределения между разными слоями феодалов. Этот новый угол зрения позволил автору создать свою оригинальную концепцию аграрной истории Англии XI—XIII вв., которая, будучи направлена своим острием против взглядов П. Г. Виноградова, во многих вопросах расходится и с концепцией Е. А. Косминского, хотя отчасти отправляется от нее. Так, М. А. Барг убедительно статистическими данными подкрепил мнение Е. А. Косминского о быстром росте в Англии с XI по XIII вв. мелковотчинного (рыцарского) землевладения за счет крупновотчинного (баронского). Однако объяснения этих сдвигов он искал прежде всего не в экономике (развитии товарно-денежных отношений, мобилизации земли и т. д.), а в политике королевской власти, якобы разорявшей баронов — непосредственных вассалов короны — непосильными феодальными поборами. М. А. Барг развил весьма интересную, хотя и весьма спорную, концепцию фригольда. Согласно ей, «свободное крестьянство» в Англии XIII в. в основной своей массе вовсе не являлось крестьянством, так как «внутриманориальный фригольд», по его подсчетам, в своей подавляющей части находился в руках не крестьян, а или феодалов (как разновидность феодальной собственности), или в руках торгово-ремесленных элементов (в виде мелких и мельчайших держаний в некоторых поселениях). Исходя из этого, М. А. Барг считал, что старосвободное донормандское крестьянство почти полностью исчезло в конце XI—XII вв., а незначительный собственно-крестьянский фригольд XIII в. был новообразованием в результате начавшегося личного освобождения вилланов. Таким образом, М. А. Барг, по существу, пришел к отрицанию одной из важных особенностей социальной структуры феодальной Англии XI—XIII вв.— наличия там значительного слоя свободного крестьянства — всегда признававшейся в советской медиевистике. По-новому посмотрел М. А. Барг и на историю английского вилланства в XI — XIII вв. Присоединившись в этом вопросе к А. Я. Гуревичу, он считал, что как экономический класс оно сложилось задолго до норманского завоевания. В дальнейшем вплоть до XIII в. происходило лишь юридическое оформление бесправия крестьянских масс, очень постепенное в силу отставания правовой надстройки от развития базиса. Резкое усиление бесправия вилланства в XIII в., отразившееся, в частности, в юридической теории вилланства Брактона, М. А. Барг, вслед за Е. А. Косминским, считал одним из проявлений «феодальной реакции» XIII века. Однако, если последний видел в «феодальной реакции» лишь одну из тенденций аграрной эволюции Англии в XIII в., которой противостояла другая более прогрессивная, связанная с коммутацией ренты и личным освобождением вилланов, то М. А. Барг отводил этой «феодальной реакции» главную, ведущую роль в развитии английской деревни в XIII в.

Как видно из всего вышесказанного, книга М. А. Барга, свежая по постановке проблем и богатому фактическому материалу, рисует в целом несколько одностороннюю и слишком прямолинейную картину аграрной эволюции Англии XI—XIII вв., сглаживая ее противоречивость и стирая ряд существенных своеобразий этой эволюции как в период генезиса феодализма, так и в пору его расцвета[112]).

[112]) Более подробную характеристику концепции Барга и ее критику см. в статье: А. И. Данилов. Аграрная история западного средневековья в трудах советских

В области аграрной истории Франции XI—XV вв. наиболее капитальные труды были написаны А. В. Конокотиным. В своих многочисленных статьях[113]) и завершившей их монографии «Очерки по аграрной истории Северной Франции в IX—XIV вв.» (1958 г.)[114]) А. В. Конокотин проследил эволюцию феодального землевладения в XII—XIV вв., изменение форм феодальной ренты, расслоение крестьянства и поставил вопрос о влиянии городов и товарно-денежных отношений на развитие северофранцузской деревни. Он отметил ранний упадок здесь отработочной ренты и домениального хозяйства, значительное распространение натуральной и увеличение удельного веса денежной ренты в XIII в., раннее развитие крестьянской аренды, постепенную ликвидацию серважа в XIII—XIV вв., т. е. показал более прямолинейный, чем в Англии, путь аграрной эволюции от барщинной системы к крестьянской аренде, от серважа к личной свободе крестьян, протекающий без ярких проявлений феодальной реакции. Большое внимание уже в этой работе он уделил классовой борьбе французских крестьян в ее разнообразных проявлениях. Свое второе исследование А. В. Конокотин посвятил Жакерии[115]). В нем, по данным разнообразных источников, он впервые в русской литературе детально проследил ход восстания, цели и требования повстанцев, их тактику, установил его главных руководителей и глубоко вскрыл экономические и социальные предпосылки восстания.

Вопросами аграрной эволюции Северной Франции, восстанием «пастушков» и фландрским восстанием начала XIV в. занимался В. Л. Керов[116]). Особенности аграрного строя Бургундии XI—XII вв. изучал Я. Д. Серовайский, Лотарингией XII—XIII вв. занимался Ю. Л. Бессмертный. Последний, в частности, исследовал развитие товарности сельского хозяйства в этих районах и ее воздействие на структуру феодальной собственности, рентные отношения, а также на отношения внутри класса феодалов[117]).

Особенно заметны успехи советской медиевистики в изучении аграрной истории Италии XI—XV вв., которая в довоенный период совсем не разрабатывалась. Начало этому было положено С. Д. Сказкиным в связи с выяснением аграрных предпосылок восстания Дольчино. В статьях, посвященных этому вопросу, он поставил применительно к Италии основную для всего этого периода проблему влияния городов и развития товарно-денежных отношений на деревню[118]). Этот же вопрос, особенно важный для Северной и Средней Италии, где

медиевистов. «Средние века», вып. XVII, 1960; в рецензии А. И. Неусыхина на книгу М. А. Барга в сб. «Средние века», вып. 27, 1965.

[113]) А. В. Конокотин. Расслоение крестьянства и обострение классовой борьбы во французской деревне XIII в. «Ученые записки» Моск. госпединститута им. В. И. Ленина, т. 68, вып. 4, 1954 и др.

[114]) Опубликовано в «Ученых записках» Ивановского госпединститута, т. XVI. Исторические науки, 1959. Подробнее об этой работе см. рецензию Н. А. Сидоровой в «Средние века», вып. XVIII, 1960.

[115]) А. В. Конокотин. Жакерия 1358 г. во Франции. — Из истории народных восстаний против феодализма и колониализма. «Ученые записки» Ивановского гос. пединститута, т. XXXV, Иваново, 1964.

[116]) В. Л. Керов. К вопросу об усилении эксплуатации крестьянства в Южных Нидерландах (Бельгия и Северная Франция в сер. XIII в.), «Средние века», вып. VII, 1955 и др.

[117]) Ю. Л. Бессмертный. О новых формах земельных держаний в рейнской деревне XII—XIII вв. «Средние века», вып. 24, 1963 и др. В настоящее время им подготовлена монография — «Феодальная деревня и рынок в Западной Европе».

[118]) С. Д. Сказкин. Исторические условия восстания Дольчино. В кн.: «Доклады советской делегации на X Международном конгрессе историков в Риме». М., 1955; его же. Первое послание Дольчино. Сб. «Из истории социально-политических идей». М., 1955.

ранее всего и особенно бурно расцвели города, оказался в центре внимания целой группы молодых медиевистов Москвы и Ленинграда. Московские историки А. А. Котельникова, Л. М. Брагина, В. В. Самаркин, вслед за С. Д. Сказкиным, считают, что сдвиги, происходившие в итальянской деревне XII—XIV вв., хотя и свидетельствуют о высоком уровне развития товарности сельского хозяйства, но не могут рассматриваться еще как ростки капиталистических отношений. Наиболее отчетливо на весьма обширном материале это показано в работах Л. А. Котельниковой, которая вескими данными подтвердила факт преобладания в Средней Италии денежной ренты уже в XI—XII вв., но вместе с тем выяснила, что дальнейшая эволюция форм ренты в этом районе в XIII—XIV вв. шла очень своеобразно: в ряде районов здесь наметилось преобладание натурального оброка и издольной аренды, законсервировавшихся здесь на долгое время. Исследуя вопрос о взаимоотношениях городов и деревни этого периода, Л. А. Котельникова пришла к выводу, что города, активно содействовавшие личному освобождению крестьян, стремились освободить их без земли, чтобы поставить в положение тяжелой экономической зависимости от их новых сеньеров-городов[119]). К аналогичным выводам по данным советских и итальянских архивов пришли также Л. М. Брагина и В. В. Самаркин[120]).

Ленинградские историки Е. В. Бернадская, А. Х. Горфункель, работавшие на материалах ленинградских архивов, констатировали сходные явления в аграрных отношениях Средней и Северной Италии этого периода, но дали им несколько иное толкование: в издольной аренде они увидели уже зародыши капиталистических отношений в XIV—XVI вв., ставили вопрос об экспроприации итальянского крестьянства этого периода и т. д.[121]).

Особенностям аграрного развития Южной Италии посвящены работы М. Л. Абрамсон, установившей общую замедленность процесса феодализации в этой части страны, который завершился, по мнению автора, лишь в середине XIII века. Незавершенность южноитальянского феодализма М. Л. Абрамсон видит в наличии большого количества мелких вотчин и в длительном сохранении многочисленного свободного крестьянства, объединенного в сплоченные общины[122]).

В последние годы значительно продвинулось вперед изучение испанской деревни XI—XV вв. В статьях С. В. Фрязинова, М. Б. Карасс и И. С. Пичугиной получили освещение некоторые вопросы аграрной истории Кастилии XII—XV вв.[123]). Л. Т. Мильская по материалам кар-

---

[119]) Л. А. Котельникова. Положение и классовая борьба зависимого крестьянства в Северной и Средней Италии в XI—XII вв. «Средние века», вып. VI, 1955; ее же. Земельная рента в Тоскане в XI—XIII вв. «Средние века», вып. 24, 1963. В 1967 г. вышла из печати монография Л. А. Котельниковой «Итальянское крестьянство и город (по материалам Сев. и Ср. Италии XI—XIV вв.)».

[120]) Л. М. Брагина. Сельские коммуны Северо-Восточной Италии и подчинение их городу в XIII—XIV вв. «Средние века», вып. VIII, 1955 и др.; В. С. Самаркин. Подчинение города деревне в Северо-Восточной Италии в XIII в. «Вестник МГУ», серия IX, История, 1965, № 3 и др.

[121]) См., например, Е. В. Бернадская. Из истории итальянского крестьянства XV—XVI вв. «Средние века», вып. XI, 1958; А. Х. Горфункель. Из истории экспроприации итальянского крестьянства. «Ученые записки» ЛГУ. Серия ист. наук, 1956, вып. 21 и др.

[122]) М. Л. Абрамсон. Положение крестьянства и крестьянские движения в Южной Италии в XII—XIII вв. «Средние века», вып. III, 1951; ее же. О состоянии производительных сил в сельском хозяйстве Южной Италии (X—XIII вв.). Земледелие. «Средние века», вып. 28, 1966 и другие.

[123]) С. Ф. Фрязинов. Из истории крестьянских движений в Кастилии времени становления абсолютизма. «Ученые записки» Горьковского госуниверситета,

туляриев исследовала аграрные отношения в Каталонии X—XII вв., выяснив при этом особенности формирования крепостной зависимости и феодальной собственности в условиях реконкисты[124]).

Аграрные отношения в Германии XI—XV вв. отчасти нашли освещение в упоминавшейся выше книге А. И. Неусыхина, а также в работах М. М. Смирина по социально-политической истории Германии XIV—XVI вв. (см. ниже) и в специально посвященных этому исследованиях В. Е. Майера (Ижевский пединститут)[125]). В 50—60-е гг. началась также разработка аграрной истории Венгрии[126]) и Швеции[127]) XI—XV вв.

Таким образом, и в изучении аграрной истории второго периода феодализма советская медиевистика в послевоенный период значительно расширила проблематику и географический охват исследуемых явлений, накопив большой материал для обобщений и типологических построений. Этот материал выявляет общую для всех стран в этот период тенденцию к усилению эксплуатации крестьянства под воздействием развития товарно-денежных отношений и к обострению классовой борьбы в деревне. С другой стороны, эти же исследования показывают большое разнообразие форм эксплуатации и изменений в положении крестьянства в разных странах Западной Европы и даже в отдельных областях каждой страны в связи с особенностями сложившегося здесь ранее феодализма, с одной стороны, и развитии внутреннего рынка, с другой. В связи с этим все более и более очевидной становится необходимость неизолированного, а комплексного изучения аграрной и городской истории этого периода. И, как показывают работы последних лет, между изучением этих проблем постепенно устанавливается связь.

Некоторых, хотя и более скромных, успехов добились советские медиевисты и в изучении аграрных отношений позднего средневековья. В 1949 году появилось капитальное исследование В. Ф. Семенова «Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI века». В нем на большом статистическом материале, почерпнутом из разнообразных источников, автор нарисовал конкретную картину огораживаний, их особенности в разных графствах, выяснил социальный состав огораживателей, показал, что главной жертвой экспроприации были беднейшие слои деревни. Во второй части работы В. Ф. Семенов подверг тщательному изучению многочисленные крестьянские восстания XVI в., установив их тесную связь с огораживателями[128]). В последующие годы В. Ф. Семенов продолжал исследования в этой области[129]). Аг-

вып. 26, 1954; его же. Из истории феодального землевладения клюнийских монастырей в средневековой Кастилии. «Ученые записки» Горьковского госуниверситета. Серия ист., филос. вып. XLVI, 1959 и др; М. Б. Карасс. О хозяйстве толедской деревни. «Средние века», вып. VII, 1955 и др.; И. С. Пичугина. О положении крестьян Леона и Кастилии в XII—XIII вв. «Средние века», вып. XXI, 1962.

[124]) Л. П. Мильская. Очерки из истории деревни Каталонии X—XII вв. М., 1962.

[125]) В. Е. Майер. Имущественное положение крестьянства в Юго-Западной Германии на рубеже XIV—XV вв. «Средние века», вып. 28, 1966 и др.

[126]) М. А. Павлушкова. Крестьянская община в Венгрии в XI—XIII вв. «Средние века», вып. VI, 1955 и др.; В. П. Шушарин. Крестьянские восстания в Трансильвании (1437—1438 гг.). М., 1963.

[127]) А. А. Сванидзе. Особенности хозяйственной деятельности шведских бондов и их рыночные связи в XIV—XV вв. «Средние века», вып. 27, 1965.

[128]) Подробную характеристику книги Б. Ф. Семенова см. в рецензии С. И. Архангельского. «Вопросы истории», № 6, 1949.

[129]) См. В. Ф. Семенов. Пауперизм в Англии XVI века и законодательство Тюдоров по вопросу о пауперах. Сб. «Средние века», вып. IV, 1953; его же. Положение обычных держателей Юго-Западной Англии во второй половине XVI — начале XVII вв. «Средние века», вып. 25, 1964 и др.

рарной историей Англии в XVI—XVII вв. занимались также С. И. Архангельский[130]) и В. М. Лавровский, написавший на локальном материале историю трех маноров в XVI—XVII вв., связав их с общей проблемой первоначального накопления[131]).

В послевоенный период впервые интерес советских медиевистов привлекла аграрная история Ирландии XVI—XVII вв., которой специально посвящена монография Ю. М. Сапрыкина «Английская колонизация Ирландии в XVI — начале XVII вв.» (Изд. МГУ, 1958). В ней прослежена эволюция аграрного строя Ирландии под влиянием английского завоевания, которое, как показывает автор, оказалось чрезвычайно пагубным, так как задерживало нормальное развитие страны. Вместе с тем в этой книге хорошо показана значительная роль колонизации и ограбления Ирландии в процессе первоначального накопления, происходившего в это время в самой Англии[132]). Много внимания уделяется в этой книге и в ряде работ, позднее написанных Ю. М. Сапрыкиным, освободительной борьбе ирландцев против английских колонизаторов[133]). Этому сюжету посвящена и работа Т. С. Осиповой, затрагивающая также некоторые вопросы аграрной истории Ирландии XVI—XVII вв.[134]).

Менее систематично разрабатывалась аграрная история позднего средневековья других стран Западной Европы. Применительно к истории Франции этого периода в широком проблемном плане эти вопросы затрагивались главным образом не в специальных аграрных исследованиях, а в работах, посвященных более общим вопросам истории страны. К их числу следует в первую очередь отнести главу I монографии А. Д. Люблинской — «Франция в начале XVII века, 1610—1620». (Л., 1959), в которой поставлена важная и спорная проблема об особенностях первоначального накопления во Франции. Эти особенности автор видит в том, что там не было массовой экспроприации крестьянства и процесс первоначального накопления носил компромиссный характер, при котором новые формы эксплуатации сочетались со старыми. Главными проявлениями первоначального накопления, по мнению автора, являлась постепенная утрата земли беднейшими крестьянами в результате продажи крестьянских участков и превращения части цензитариев или в пауперов, или чаще в краткосрочных арендаторов — явления, получившие особенно широкое распространение в XVI в. Непосредственной причиной разорения крестьянства А. Д. Люблинская считает задолженность ростовщикам и тяжелый налоговый гнет феодального государства, разорявший крестьян. При этом она считает такой путь первоначального накопления более типичным и распространенным, чем английский[135]).

Аграрные отношения в позднесредневековой Германии продолжает изучать М. М. Смирин, проследивший начало сеньериальной реакции

---

[130]) Итоги его исследований подведены в посмертно опубликованной книге «Крестьянские движения в Англии 40-х — 50-х гг. XVII в.» М., 1960.

[131]) В. И Лавровский. Проблема исследования земельной собственности в Англии XVII—XVIII вв., М., 1958.

[132]) Рецензию на эту книгу Т. С. Осиповой и А. С. Самойло см.: «Средние века», вып. XX, 1960.

[133]) Ей посвящена новая книга Ю. М. Сапрыкина — «Ирландское восстание XVII в.». Л., 1967.

[134]) Т. С. Осипова. Освободительная борьба ирландского народа против английской колонизации (вторая половина XVI — начала XVII вв.). М., 1962.

[135]) На локальном материале парижского района эта проблема рассматривается также в статье: Т. М. Червонная. Сеньерия Стэн в XV—XVII вв. (К вопросу об аграрных отношениях в Северной Франции XV—XVII вв.). «Средние века», вып. XII, 1958 и др.

конца XV — начала XVI вв., послужившей одной из главных причин крестьянских движений этого периода[136]).

В. Е. Майер на материале общинных уставов (Weistümer) установил значительные своеобразия аграрных отношений и классовой борьбы крестьян в различных районах Германии[137]).

В последние десятилетия началось изучение аграрных отношений в Швеции[138]) и Нидерландах XVI—XVII вв. В своих работах, посвященных предпосылкам Нидерландской революции и классовой, и идейной борьбе этой эпохи, А. Н. Чистозвонов отметил переплетение в нидерландской деревне XVI в. старых феодальных и новых зарождающихся капиталистических отношений и выяснил особенности процесса первоначального накопления в этой стране. Главную из них он видит в том, что дворянство и горожане, участвовавшие в происходившей там экспроприации крестьянства, сами не вели в деревне капиталистического производства, оставаясь лишь получателями ренты. Носителем же новых отношений в деревне являлось фермерство капиталистического типа[139]).

Большой конкретно-исторический материал, собранный за последние 25—30 лет советскими медиевистами-аграрниками, новое творческое решение ими ряда важных проблем в этой области создали основу для широких обобщений, охватывающих всю аграрную историю средневековья в целом. Опираясь на собственные исследования и работы других советских медиевистов, С. Д. Сказкин подготовил сводную работу «Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века». (будет опубликована в 1968 г.)[140]), значительная часть которой в разное время публиковалась в периодической печати. Работа эта содержит большой конкретный материал по аграрной истории всех трех периодов средневековья, в частности, по истории развития производительных сил, техники сельского хозяйства, общины и вотчины в разных странах. Наряду с этим она ставит и наиболее важные теоретико-методологические вопросы. Опираясь на марксистско-ленинскую теорию, С. Д. Сказкин выдвигает тезис о том, что основу феодальных производственных отношений составляла феодальная собственность на землю, а не внеэкономическое принуждение, которое, по его мнению, служит лишь средством извлечения ренты из сидящих на земле феодала крестьян[141]). Основное противоречие феодального строя он видит в противоречии между мелким индивидуальным характером производства, базирующимся при феодализме на мелком крестьянском хозяйстве, и крупной феодальной собственностью. С. Д. Сказкин первым в советской медиевистике со всей определенностью высказал и теоретически осмыслил широко принятый теперь тезис о господстве при

---

[136]) См. М. М. Смирин. Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 1952, гл. I.

[137]) В. Е. Майер. Уставы, как источник по изучению положения крестьян Германии в конце XV — в начале XVI вв. «Средние века», вып. VIII, 1956.

[138]) См. А. С. Кан. Социально-экономическая характеристика шведской деревни в первой половине XVII в. «Средние века», вып. IX, 1957.

[139]) А. Н. Чистозвонов. Крестьянское движение в период Нидерландской революции.— «Средние века», вып. IV, 1953; его же. Гентское восстание 1539—1940 гг. М., 1957; его же Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. М., 1964, гл. II, § 3.

[140]) Подробнее о значении работ С. Д. Сказкина и его месте в развитии советской медиевистике см. статью: Е. В. Гутнова, В. М. Далин, Я. А. Левицкий, А. Н. Чистозвонов — Академик Сергей Данилович Сказкин. «Вопросы истории», 1966, № 4.

[141]) С. Д. Сказкин. Классики марксизма-ленинизма о феодальной собственности и внеэкономическом принуждении. «Средние века», вып. V, 1954.

феодализме мелкого производства, даже в условиях крупного вотчинного барщинного хозяйства[142]).

Обобщив выводы советской медиевистики по вопросу о «синтезном» и «бессинтезном» путях генезиса феодализма, С. Д. Сказкин в теоретическом плане поставил вопрос о предпосылках и условиях непосредственного перехода от первобытно-общинного строя к феодализму[143]).

Ряд важных теоретических вопросов ставит С. Д. Сказкин и применительно к аграрной истории Европы в позднее средневековье. Среди них — наиболее существенный вопрос о сущности генезиса капитализма в сельском хозяйстве. В противовес многим зарубежным историкам, которые утверждают, что «кризис феодализма» и зарождение капиталистических отношений в странах Западной Европы (особенно в Англии) начались уже в XIII—XIV вв., С. Д. Сказкин полагает, что даже высокий уровень развития товарности сельского хозяйства со всеми вытекающими из этого последствиями, сам по себе не является признаком кризиса феодальных и зарождения капиталистических отношений в деревне, если ему не сопутствует процесс первоначального накопления. Без этого и распространение денежной ренты, и расслоение крестьянства, и зарождение наемного труда могут свидетельствовать лишь о переходе феодализма на новый этап, знаменующийся разложением барщинного хозяйства, но не феодальной системы в целом[144]).

Особенно плодотворной не только для историков Западной Европы, но и для славистов, и специалистов по аграрной истории России оказалось решение, данное С. Д. Сказкиным проблеме так называемого «второго издания крепостничества» в Средней и Восточной Европе. В связи с ней он впервые в советской литературе четко поставил вопрос о двух типах или путях аграрного развития Европы в целом в позднее средневековье: более прогрессивном, который имел место в странах Западной Европы, и более консервативном — в странах Центральной и Восточной Европы. В странах, развивающихся по первому пути (Франция, Англия, Италия и др.), в XVI—XVII вв. барщинное хозяйство фактически исчезает, безусловно преобладает самостоятельное мелкое хозяйство лично свободных крестьян. К востоку от Эльбы (в Восточной Пруссии, Польше, Венгрии, Чехии, Австрии) в тот же период, напротив, господствует барщинное хозяйство, производящее продукты на рынок, и тяжелая эксплуатация крестьян. Если на Западе создаются условия для зарождения капитализма в сельском хозяйстве, то на Востоке консервируются феодальные отношения и возрождается крепостничество и притом в наиболее тяжелых формах. Причину этого своеобразия в развитии стран Восточной Европы С. Д. Сказкин видит в раннем развитии здесь широкого экспорта сельскохозяйственных товаров в промышленные страны Западной Европы (Англия, Голландия), который побуждал феодалов расширять запашку за счет крестьянских наделов и широко использовать барщинный труд[145]).

---

[142]) М. М. Мейман, С. Д. Сказкин. Об основном экономическом законе феодальной формации. «Вопросы истории», № 2, 1954.

[143]) М. М. Мейман, С. Д. Сказкин. К вопросу о непосредственном переходе к феодализму на основе разложения первобытно-общинного производства. «Вопросы истории», № 1, 1960.

[144]) С. Д. Сказкин. К вопросу о генезисе капитализма в сельском хозяйстве в Западной Европе. «Материалы Московского симпозиума по аграрной истории Центральной и Восточной Европы». М., 1960.

[145]) С. Д. Сказкин. Основные проблемы так называемого «второго издания крепостничества» в Средней и Восточной Европе. «Вопросы истории», № 2, 1958.

**
*

В послевоенный период значительно возрос интерес советских медиевистов к истории средневековых городов. Этот второй важный аспект экономической истории средневекового общества интересовал их с точки зрения развития самих городов как центров ремесла и торговли и с точки зрения их взаимоотношений с деревней, и того влияния которое их появление оказывало на последнюю. В настоящее время совершенно очевидна полная невозможность изучать аграрную историю второго и третьего периодов средневековья без учета истории и роли городов. Если до войны, кроме работы В. В. Стоклицкой-Терешкович по истории немецких городов XIV—XV вв. в советской медиевистике, по существу, не было трудов по этой проблематике, то за последние 20 лет возникла довольно обширная литература, освещающая историю городов разных стран и разные аспекты городской истории.

Проблеме возникновения средневековых городов посвящены работы Ю. А. Корхова, Я. А. Левицкого, В. В. Стоклицкой-Терешкович, Б. И. Рыськина, А. Я. Шевеленко[146]); городскому ремеслу и его цеховой организации — работы Ф. Я. Полянского, Я. А. Левицкого, Е. А. Тимофеевой, А. А. Сванидзе и др.[147]).

Вопросы социальной структуры городов и городского самоуправления исследовались В. В. Стоклицкой-Терешкович, А. А. Кирилловой, С. М. Стамом[148]) и др.; внутренняя и внешняя торговля и колонизационная политика городов Н. П. Соколовым, Е. А. Скржинской, М. П. Лесниковым и др.[149]). Классовой и политической борьбой в городах занимались В. В. Стоклицкая-Терешкович, Н. А. Сидорова, А. Д. Эпштейн, В. И. Рутенбург, Н. А. Бортник, М. М. Себенцова, Л. Х. Горфункель и мн. другие[150]).

---

[146]) Ю. А. Корхов. Ремесленники средневекового Страсбурга под властью сеньера города. «Ученые записки» Московского гос. пединститута им. В. И. Ленина, т. XVIII, вып. 4, 1954 и др., Я. А. Левицкий. Города и городское ремесло в Англии в X—XII вв. М—Л., 1950; В. В. Стоклицкая-Терешкович. Основные проблемы истории средневекового города X—XV вв. М., 1960; Б. И. Рыськин. Вопросы происхождения средневекового европейского города в современной западногерманской буржуазной историографии. «Средние века», вып. 23, 1963; А. Я. Шевеленко. О зарождении британских феодальных городов. «Научные доклады высшей школы. Историч. науки», № 2, 1960.

[147]) Ф. Я. Полянский. Очерки социально-экономической политики цехов в городах Западной Европы в XIII—XV вв. М., 1952; Я. А. Левицкий, указ. монография. Е. А. Тимофеева. Развитие цехового ремесла и торговли в городах Северо-Восточной Европы в XII—XIII вв. «Средние века», вып. XIV, 1959; А. А. Сванидзе. Некоторые особенности развития стокгольмских цехов в конце XIV и в XV вв. «Средние века», вып. 24, 1963 и др.

[148]) В. В. Стоклицкая-Терешкович, указанная монография, гл. VII; А. А. Кириллова. Городское самоуправление в английских городах XIII в.— «Ученые записки» Московского гос. пединститута им. В. И. Ленина, т. 104, вып. 5, 1957; его же. Из социальной истории городов Англии XIII в. «Средние века», вып. XIII, 1958 и др.; С. М. Стам. Об одном реакционном течении в современной французской историографии средневекового города и о проблеме городского патриотизма. «Средние века», вып. 15, 1954.

[149]) Н. П. Соколов. Образование венецианской колониальной империи. Саратов 1963. Е. Ч. Скржинская. Генуэзцы в Константинополе в XIV в. «Византийский Временник», т. 1, 1947 и др. М. П. Лесников. Ганзейская торговля пушниной начала XV в. «Ученые записки» Мос. гор. пединститута им. В. П. Потемкина, т. 8, вып. 1; его же. Некоторые вопросы балтийско-нидерландской торговли хлебом в конце XIV — начала XV вв. «Средние века», вып. 7, 1955 и др.; Л. П. Горбачев. К вопросу о развитии внутренней торговли и экономических связей во Франции во второй половине XV в. «Средние века», вып. XVI, 1959.

[150]) В. В. Стоклицкая-Терешкович, указ. соч., гл. 3, 4, 5, 9; Н. А. Сидорова. Антифеодальные движения в городах Франции во второй половине XIV—

Вопрос об участии и роли городов в общеполитической борьбе той или иной страны исследовался в работах М. М. Смирина, Е. В. Гутновой, Л. М. Баткина и др.[151]). Городская культура и ее место в общем развитии средневековой культуры в целом была предметом изучения Н. А. Сидоровой[152]).

Из названных работ, перечисленных авторов, очевидно, что объектом исследования советских медиевистов в последние годы являлись города Франции, Германии, Италии, Англии, Швеции. Это позволяет в настоящее время поставить вопрос также об общем и особенном развитии средневековых городов разных стран.

Первую, в целом удачную, попытку создать такой обобщающий труд в сравнительно-историческом плане представляет собой последняя работа В. В. Стоклицкой-Терешкович «Основные проблемы истории средневекового города X—XV вв.» (М., 1960). В этой небольшой, но насыщенной книге автор пытается вскрыть, проанализировать и сравнить наиболее важные аспекты городской истории Франции, Германии, Италии и Фландрии. По вопросу о происхождении средневековых городов во всех этих странах В. В. Стоклицкая-Терешкович руководствуется марксистской концепцией, согласно которой средневековые города повсюду возникали в результате отделения ремесла от сельского хозяйства и имели ремесленную основу (гл. I). С этих позиций автор решительно критикует различные буржуазные теории происхождения городов (гл. II). Книга дает яркое представление об основных этапах развития городов и происходившей в них политической и социальной борьбы. При этом автор хорошо показывает своеобразие этой борьбы в разных странах, особенно борьбы городов с сеньорами, исход которой в каждом случае зависит от общих условий социально-политического развития каждой страны (гл. III, IV, V, VI). В частности, В. В. Стоклицкая-Терешкович убедительно показывает, что в политически децентрализованных странах города добивались большей самостоятельности, чем в централизованных. Уделяя большое внимание социально-экономическому развитию городов, автор подробно освещает вопросы, связанные с происхождением цехов, политикой последних, указывает на многообразие цехового строя в разных городах и странах (гл. VII), рассматривает разные формы борьбы цехов с патрициатом (гл. VIII—IX), специально останавливается на своеобразии городов Италии XII—XV вв. (гл. X). Работа в целом проникнута мыслью о том, что именно труд городских ремесленников был основой

начале XV вв. М., 1960. М. И. Себенцова. Восстание «Горель» в Ауче в 1382 г. «Ученые записки» Моск. гор. пединститута им. В. И. Ленина, т. 101, вып. 5, 1957; ее же. Восстание «кабошьенов». «Труды Московского историко-архивного института», т. 12, 1958, и мн. др.; В. И. Рутенбург. Народные движения в городах Италии. XIV — начало XV вв. М.—Л., 1958; Н. А. Бортник. Народные движения в Риме в конце XII — первой половине XIII вв. (1191—1251).— «Уч. записки» Уральского гос. университета, вып. 25, Св., 1958; его же. Народные движения в Риме во второй половине XIII — начале XIV вв. (1261—1303).— «Уч. записки» Уральского гос. университета, вып. 38, ч. 1, Св., 1960 и мн. др.; А. К. Горфункель. Восстание в Вольтерре против Лоренцо Медичи в 1472 г.— «Ученые записки» Ленинградского университета. Серия историч. наук, вып. 17, 1950.

[151]) См. М. М. Смирин. Очерки истории политической борьбы в Германии перед реформацией. М., 1952; Е. В. Гутнова. Городское представительство в английском парламенте конца XIII и начала XIV вв. «Средние века», вып. IV, 1953; Л. М. Баткин. Гвельфы и гибеллины во Флоренции. «Средние века», вып. XVI, 1959; его же. Флорентийские гранды и поправки 6 июля 1295 г. к «Установлениям правосудия». «Средние века», вып. XX, 1961 и др.

[152]) Н. А. Сидорова. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. М., 1953.

экономического процветания городов, а их борьба против феодального гнета обеспечила возможность быстрого расцвета городов[153]).

Ряд проблем, затронутых в обобщающей работе В. В. Стоклицкой-Терешкович, явился объектом более специальных исследований других историков. Монография Я. А. Левицкого «Города и городское ремесло в Англии в X—XII вв.» (М.— Л., 1960) по-новому трактует проблему возникновения и ранней истории средневекового города в Англии. Хотя она строится на локальном материале, но имеет важное принципиальное значение для решения всей проблемы в целом. Опираясь на тщательный анализ широкого круга источников-хартий, англо-саксонских законов, «Книги Страшного суда», ранее почти не привлекавшейся для этой цели, Я. А. Левицкий проследил начало процесса отделения ремесла от сельского хозяйства в донормандской Англии (начиная с VI в.) и весьма конкретно показал, как на этой основе в X—XI вв. там возникали города на базе маноров, торговых сел, соляных и железных разработок и т. д. Книга Я. А. Левицкого убедительно показывает неразрывную связь возникновения городов с общим развитием производительных сил в сельском хозяйстве и ремесле. Она вскрывает несостоятельность тех буржуазных концепций, которые связывают возникновение городов с развитием чисто правовых понятий или только торговли, игнорируя роль ремесла в этом процессе. В книге прослеживается также возникновение цехов в английских городах и широко поставлен вопрос о зарождении и развитии внутрирыночных связей в Англии X—XI вв., игнорировавшихся буржуазной историографией, все внимание которой обычно сосредотачивалось на внешней торговле[154]).

Проблеме цеховой организации ремесла в средневековых городах более позднего периода (XIII—XIV вв.) специально была посвящена монография Ф. Я. Полянского «Очерки социально-экономической политики цехов в городах Западной Европы XIII—XV вв.» (М., 1952). В ней рассматривалась структура, организация, а также различные стороны деятельности цехов в разных странах Западной Европы, была вскрыта экономическая основа происхождения цехов, их общие черты и особенности в разных странах. Автор дал интересный анализ ценообразования в условиях феодального хозяйства, происходившего, как он показал, на основе несколько видоизмененного закона стоимости. Вместе с тем на обсуждении этой книги отмечалась спорность некоторых ее положений: то, что автор преувеличил натуральный характер феодальной экономики в целом, и поэтому считает средневековые города изолированными центрами товарного производства в феодальном обществе, критиковался тезис автора о наличии «прокапиталистических тенденций» в политике цехов XIV—XV вв.

В более широком плане вопрос о прокапиталистических тенденциях в экономике средневековых городов на материале Италии был поставлен в исследованиях В. И. Ругенбурга. В своей монографии «Очерк из истории раннего капитализма в Италии. Флорентийские компании XIV в.» (М.— Л., 1951) В. И. Рутенберг, исследуя торговые книги флорентийских компаний, пришел к выводу, что деятельность последних уже в XIV в. носила, по существу, капиталистический характер, хотя протекала под покровом чисто средневековых цеховых форм. Показав быстрое обнищание массы цеховых мастеров, их постепенное превращение в наемных рабочих компаний, которые подвергали

[153]) Подробнее об этой книге см. рецензию А. А. Сванидзе в сб. «Средние века», вып. XXII, 1962.

[154]) Подробнее об этой книге см. рецензию Е. В. Гутновой в сб. «Средние века», вып. XX, 1961.

их тяжелой эксплуатации, В. И. Рутенбург пришел к заключению, что восстание «чомпи» 1378 г. было результатом этих новых форм эксплуатации и возглавлялось флорентийским предпролетариатом. Эта мысль легла в основу второй монографии В. И. Рутенбурга «Народные движения в городах Италии. XIV — начало XV вв.» (М.— Л., 1958), написанной на материале преимущественно итальянских архивов. В ней автор не только нарисовал яркие картины борьбы народных масс ряда городов Средней Италии за свои экономические интересы и политические права, но и пришел к новому в литературе выводу о том, что восстание «чомпи» было не изолированным движением, но лишь самым крупным в ряду аналогичных движений предпролетариата, происходивших в это время во всех наиболее промышленно развитых городах Италии, где, по его мнению, уже развивались раннекапиталистические отношения[155]). Выводы В. И. Рутенбурга о наличии в ряде городов Средней Италии, особенно во Флоренции, раннекапиталистических отношений вызвали ряд возражений как в связи с общей проблемой генезиса капитализма в Европе, так и в связи с общей оценкой экономического и социального строя Италии в XIV—XV вв.[156]). Ряд итальянистов считает, что В. И. Рутенбург преувеличил капиталистический характер господствовавших в итальянских городах того времени производственных отношений, переоценил влияние и территориальное распространение последних, недостаточно подчеркнул специфику раннекапиталистической эксплуатации наемного труда, опутанной еще в значительной мере элементами внеэкономического принуждения[157]).

История городской республики другого, преимущественно торгового, типа посвящена была интересная монография Н. П. Соколова «Образование Венецианской колониальной империи» (Саратов, 1963). В ней на большом материале самых разных источников в острой полемике с буржуазной историографией рассматривается экспансионистская и колонизационная политика Венеции с конца X по начало XIII в. В монографии Н. А. Сидоровой «Очерки по истории ранней городской культуры во Франции» (М., 1953), на которой мы более подробно остановимся ниже в связи с историей культуры и идеологии, проблема средневекового города была поставлена в новом аспекте: город рассматривался в ней с точки зрения его прогрессивной роли не только в социально-политической, но и в культурной жизни средневекового общества.

В настоящее время можно говорить уже о том, что советские медиевисты-урбанисты выступают со своей цельной марксистско-ленинской концепцией, опирающейся не только на теоретические предпосылки, но и на широкий круг конкретных исследований. Наиболее общие положения этой концепции, разделяемые большинством советских историков и противопоставляющие их буржуазной историографии, сводятся к тому, что они считают возникновение средневековых городов следствием отделения ремесла от сельского хозяйства в ходе прогрессивного развития производительных сил феодального общества, видят главное отличие города от деревни не в его правовом или политическом статусе, но в том, что он являлся центром товарного производства и обмена, рассматривают цеховой строй как специфическую форму феодальной организации ремесла, подчеркивая в первую очередь его экономические, а не социальные и политические функции, решительно

---

[155]) Подробнее см. рецензию М. Л. Абрамсона и Л. А. Котельниковой в сб. «Средние века», вып. XVIII, 1960.

[156]) См. указанную выше рецензию.

[157]) См. там же.

отвергают буржуазные концепции о социальной гармонии, якобы царившей в городах, и, напротив, видят в них средоточие острой социальной и политической борьбы, находившей там наиболее яркое проявление. Вместе с тем в советской урбанистике остается еще много спорных и нерешенных вопросов, требующих дальнейшего исследования. Неясным остается вопрос о различиях между античным и средневековым городом и связанный с этим еще слабо исследованный вопрос о так называемых «городах» раннего средневековья. В последнее время в связи с исследованиями зарубежных и советских историков[158]) возникает весьма интересный новый вопрос о соотношении в средневековых городах цехового и так называемого «свободного ремесла», решение которого, очевидно, может внести некоторые изменения в картину организации средневекового городского производства. Но, пожалуй, наиболее важным остается вопрос об общей роли городов и товарного производства, в феодальном обществе. Впервые вызвавший спор при обсуждении книги Ф. Я. Полянского (см. выше), он до сих пор остается до конца нерешенным. Большинство советских медиевистов считают города и товарное производство вообще неотъемлемым элементом феодальной экономики на определенной стадии ее развития. Поэтому признавая, что с течением времени средневековые города и развивавшиеся в них товарно-денежные отношения подтачивали исподволь феодальный строй, способствуя в конечном счете его разложению, вместе с тем они подчеркивают в первую очередь несамостоятельную, подчиненную и обслуживающую их роль в феодальном обществе и предостерегают от того, чтобы видеть в них зародыши капиталистического строя. Однако есть медиевисты, которые на первый план в рассмотрении городской экономики выдвигают ее «автономность» по отношению к феодальным производственным отношениям, видят в городах с момента их возникновения ядро новых отношений, противоречащих феодализму и с самого начала подрывающих его основу[159]).

Научное решение этой спорной проблемы требует нового подхода к истории городов, при которой последняя должна изучаться в тесной взаимосвязи с особенностями развития внутреннего рынка и аграрных отношений в той или иной стране. Следует исходить из того, что между городом и деревней происходило постоянное взаимодействие, в котором они были одновременно объектом и источником влияния, оказываемого ими друг на друга. Попытки такого плодотворного подхода уже делаются в советской медиевистике с одной стороны, аграрниками[160]), с другой — урбанистами[161]). Однако вся проблема в целом требует более широкого фронта исследований. Спорным остается связанный с этой проблемой другой, не менее важный в методологическом отношении вопрос,— вопрос о генезисе капитализма и о раннекапиталистических отношениях в Западной Европе. Впервые с особенной

---

[158]) Н. В. Ревуненкова. К истории свободного ремесла в городах Южной Франции XIII—XIV вв. «Средние века», вып XXI, 1961.

[159]) Отчасти подобная точка зрения отразилась в статье: С. М. Стам. Движущие противоречия развития средневекового города. «Вопросы истории», № 7, 1965.

[160]) См. упоминавшиеся выше работы Ю. Л. Бессмертного, Л. А. Котельниковой, В. В. Самаркина, Е. В. Бернадской, Л. М. Брагиной.

[161]) Кроме монографии Я. А. Левицкого, которая положила начало такому новому подходу, можно указать на работы А. А. Сванидзе по истории шведского города, в которых сделана попытка объяснить особенности цехового, а отчасти и социально-политического строя этих городов спецификой аграрного развития страны и развития в Швеции внутрирыночных связей.— См. А. А. Сванидзе. Особенности хозяйственной деятельности шведских бондов и их рыночные связи в XIV—XV вв. «Средние века», вып. 27, 1965.

остротой он встал в советской медиевистике в связи с выходом в свет рассмотренной выше монографии В. И. Рутенбурга о флорентийских компаниях, которая вызвала оживленную дискуссию. Многие из ее участников не только оспаривали вывод В. И. Рутенбурга о бесспорно капиталистическом характере флорентийских компаний XIV в. и упрекали его в недооценке феодально-корпоративных элементов в их организации, но и поставили ряд более общих теоретических вопросов. Наиболее спорными в то время оказались вопросы о том, возможно ли развитие капиталистической мануфактуры в рамках цеховых организаций или она могла возникать только вне цехов и вопреки им, а также вопрос о принципах разграничения категорий товарного и капиталистического производства[162]). Дискуссия не привела к единству мнений, но оказалась полезной тем, что выявила недостаточность конкретно-исторической разработки проблемы и направила усилия историков в эту сторону. В последующие годы появилось большое количество исследований (преимущественно статей), посвященных конкретному изучению генезиса капиталистических отношений в промышленности разных стран Западной Европы. Применительно к Франции эти сюжеты разрабатывались А. Д. Люблинской, М. А. Мэлдавской, Т. П. Вороновой, М. А. Покровской[163]) и др., применительно к Италии — В. И. Рутенбургом[164]); к Англии — Н. А. Мещеряковой[165]) и др. Генезис капиталистических отношений в Нидерландах исследовался А. Н. Чистозвоновым[166]), в Испании — Э. Э. Литавриной[167]), в Германии — М. М. Смириным, А. Д. Эпштейном, А. Л. Ястребицкой[168]). Эти исследования накопили большой материал, который уже теперь позволяет говорить о значительном многообразии конкретных путей генезиса капитализма в промышленности, о возможности его развития в рамках цехового строя и вне, вопреки цехам, в форме рассеянной

[162]) Дискуссия велась на стр. сб. «Средние века». В ней участвовали А. Д. Эпштейн («К вопросу о «раннем капитализме» во Флоренции XIV в.», вып. IV, 1953), В. В. Стоклицкая-Терешкович (статья того же названия, вып. V, 1954), А. Н. Чистозвонов («Исследовать явления в их исторической самобытности и связях», вып. VI, 1955. Там же подводятся итоги дискуссии).

[163]) См. А. Д. Люблинская. Франция в начале XVII в., Л., 1959, гл. I; ее же. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.—Л., 1965, гл. I и VII; М. А. Молдавская. Зарождение капитализма в книгопечатном производстве во Франции в первой половине XVI в.— «Средние века», вып. VII, 1955; ее же. Положение и условия труда рабочих-печатников Лиона и Парижа в первой половине XVI в. «Средние века», вып. XIV, 1959 и др.; Т. П. Воронова. Социально-экономические отношения и классовая борьба в Лионе в первой половине XVII в. «Средние века», вып. VI, 1955; М. А. Покровская. Стачка лионских печатников 1539—1541 гг., в кн. «Очерки социально-политической и экономической истории Англии и Франции». М., 1959.

[164]) В. И. Рутенбург — см. выше; А. Д. Ролова. Экономический строй Флоренции во второй половине XV и в XVI вв. «Средние века», вып. VIII, 1955.

[165]) Н. М. Мещерякова. О промышленном развитии Англии накануне буржуазной революции XVII в. «Средние века», вып. VII, 1955 и др.

[166]) А. Н. Чистозвонов. Гентское восстание 1539—1540. М., 1957, гл. I; его же. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958, гл. I; его же. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. М., 1964.

[167]) Э. Э. Лигаврина. К проблеме экономического упадка Испании в XVI в. «Из истории средневековой Европы X—XVII в.», 1957.

[168]) М. М. Смирин. Социальные отношения в горной промышленности Фрейбергского района Саксонии в 40—80-х гг. XV в. «Средние века», вып. 20, 1961; его же. Социальная борьба в горных районах Саксонии в конце XV — начале XVI в. и во время Великой Крестьянской войны». «Средние века», вып. 24 и 25, 1963—64 и др.; А. Д. Эпштейн. К вопросу о Реформации и Крестьянской войне в Германии как первой буржуазной революции. «Вопросы истории», № 8, 1957. А. Л. Ястребицкая. О развитии капиталистических отношений в книгопечатном производстве немецкого города XV—XVI вв.— «Вестник Моск. университета. Ист. фил. серия», № 3, 1958 и др.

и централизованной мануфактуры. Теперь уже очевидно, что разные пути и формы развития определились и общим уровнем экономики каждой страны, и формами предшествующего развития ремесла в городе и деревне, и даже теми областями промышленности, в которых оно совершалось: в старых отраслях производства, где господствовал ранее цеховой строй, капиталистические отношения развивались медленнее и чаще всего в форме рассеянной мануфактуры, в более новых (полиграфия) развитие шло быстрее и более прогрессивным путем централизованной мануфактуры. То же относится к тем отраслям промышленности, которые требовали больших капиталовложений (судостроение, горнорудная). Советские исследователи выяснили, что даже в наиболее передовых странах Западной Европы — Англии, Нидерландах, Франции в XVI в. и первой половине XVII в. преобладал путь генезиса капитализма, связанный с господством купца в промышленности и преобладанием рассеянной мануфактуры над централизованной[169]). Этот более консервативный путь развития сопровождался значительными пережитками феодальных отношений, в частности, длительным сохранением в городах цеховых организаций, хотя и имевших в это время часто формальное значение, элементов внеэкономического принуждения, переплетавшихся с новыми формами капиталистической эксплуатации и т. д. Однако все эти важные конкретные выводы не получили в советской медиевистике достаточно полного теоретического обобщения и не прекратили споров по этому вопросу, тем более острых, что от того или иного его решения зависит правильная трактовка не только экономической истории позднего средневековья, но также эволюция политической надстройки и классовой борьбы этого периода, в частности, особенностей ранних буржуазных революций. Неслучайно именно этот вопрос оказался в центре дискуссии о характере и движущих силах Реформации и Крестьянской войны в Германии, проходившей в 1956—1958 гг. (см. ниже). Специально ему была посвящена всесоюзная теоретическая конференция, созванная в Москве в июне 1966 г. секцией «Генезиса капитализма» Научного Совета «Закономерности исторического развития общества и перехода от одной социально-экономической формации к другой». На этой конференции по докладу А. Н. Чистозвонова, посвященному важнейшим теоретическим проблемам генезиса капитализма, развернулись прения, обнаружившие снова весьма различные взгляды по этим проблемам. Наиболее спорными на этот раз оказались вопросы о критериях, с помощью которых можно разграничить процесс разложения феодальных производственных отношений и процесс собственно генезиса капитализма в промышленности, о соотношении этого последнего по содержанию и во времени с процессом первоначального накопления капитала, о специфических особенностях раннекапиталистических отношений и ранней буржуазии по сравнению с уже сложившимся капитализмом и буржуазией более позднего периода[170]). Дискуссия показала большое значение вопроса о различных путях и своеобразиях генезиса капитализма в разных странах и, вместе с тем, несмотря на значительные успехи в этой области, его недостаточную разработанность и необходимость дальнейших как конкретно исторических, так и обобщающих теоретических исследований по этому вопросу.

---

[169]) См. указанные выше работы А. Д. Люблинской, А. Н. Чистозвонова, Н. М. Мещеряковой и др.

[170]) См. доклад А. Н. Чистозвонова: Некоторые основные проблемы генезиса капитализма в европейских странах (напечатан первоначально на ротапринте), М., 1966.

**
*

Значительный размах и разнообразие советских исследований по социально-экономической истории средневековья подготовил необходимую почву для серьезного изучения истории феодального государства, которая в довоенный период почти не разрабатывалась. Усиление интереса к этой проблеме определялось также тем, что с конца 40-х — начала 50-х гг. в среде советских медиевистов все более стала укрепляться мысль о том, что политическая надстройка не только пассивно отражает изменения, происходящие в базисе, но всегда, а особенно в некоторые периоды, играет весьма активную прогрессивную или реакционную роль в развитии последнего и всего общества в целом.

Проблема возникновения и развития раннефеодального государства на материале истории франков разрабатывалась Г. М. Даниловой, В. А. Немировским, Д. С. Граменицким и др.[171]); на материале остготской Италии — З. В. Удальцовой и И. А. Дворецкой[172]); вестготской Испании — А. Р. Корсунским[173]). Формирование раннефеодального государства у англосаксов и норвежцев исследовалось А. Я. Гуревичем, в Германии после Верденского раздела — В. Д. Вайсом, А. И. Даниловым (по вопросу об иммунитете и фогстве), Н. Ф. Колесницким. Последний в своей монографии[174]) тщательно изучил последний этап развития раннефеодального государства в Германии, затянувшийся там ввиду общей замедленности процесса феодализации до начала XII в. Рассматривая эволюцию форм этого государства как результат изменений, происходивших в социально-экономическом базисе общества, Н. Ф. Колесницкий пришел к выводу, что основная тенденция политического развития Германии этого периода вела от относительной концентрации к политической раздробленности, наступившей с середины XII в. в связи с формированием территориальных княжеств. Длительное сохранение в Германии относительно сильной королевской власти автор объясняет двумя причинами: наличием там значительного слоя свободных крестьян, остававшихся непосредственными подданными короля, и внешнеполитической экспансией Германии того времени, сплачивавшей феодалов вокруг императоров. Процесс формирования территориальных княжеств Н. Ф. Колесницкий рассматривает как новый этап истории Германского государства, связанный с развитием городов и товарно-денежных отношений. Последние создавали значительное количество вневотчинного или межвотчинного населения, для эксплуатации и организации которого нужна была более широкая политическая организация, чем примитивная вотчинная власть. Такую политическую организацию и представляли в Германии территориальные княжества. В отличие от других стран Западной Ев-

[171]) Г. М. Данилова. Возникновение феодальных отношений у франков в VI—VII вв. Петрозаводск, 1959; В. А. Немировский. Политическая борьба в Каролингской империи накануне ее распада.— «Ученые записки» Коломенского пединститута, т. 3, вып. 1, 1958; Д. С. Граменицкий. К вопросу о происхождении и содержании франкского иммунитета. «Средние века», вып. II, 1946; В. П. Семенов. Начало распада империи Каролингов.— «Ученые записки» Астраханского пединститута, т. 8, 1959 и др.

[172]) З. В. Удальцова. Италия и Византия. М., 1959, гл. V и VI; И. А. Дворецкая. Организация управления в Вестготском королевстве.— «Византийский Временник», XXI, 1962 и др.

[173]) А. Р. Корсунский. Основные вопросы истории Испании в V—VII вв. М., 1955 (автореферат докторской диссертации); его же. О развитии феодальных отношений в готской Испании (Рост частной власти и самостоятельности крупных землевладельцев). «Средние века», 1953, вып. 23 и др.

[174]) Н. Ф. Колесницкий. Исследование по истории феодального государства в Германии (IX — первая половина XII вв.). М., 1959.

ропы, где эти функции на себя брала центральная власть, в Германии, где развитие внутренних экономических связей шло в локальных масштабах, политическое объединение шло также в рамках отдельных территорий. В этом Н. Ф. Колесницкий видел одно из главных своеобразий политического развития Германии в средние века, истоки которого он возводил к раннефеодальному периоду.

Конкретные исследования последних лет выяснили заметное стимулирующее воздействие раннефеодальных государств на ход и завершение процесса феодализации, сделали очевидным, что пути их возникновения и развития отличались большим разнообразием у разных народов.

Специально и в более обобщенном теоретическом плане вопрос о многообразии генезиса и развития раннефеодальных государств был поставлен в монографии А. Р. Корсунского «Образование раннефеодального государства в Западной Европе» (М., 1963). Анализируя в сравнительно-историческом плане фактический материал по этому вопросу из истории разных варварских королевств V—VIII в., А. Р. Корсунский делает обоснованный вывод о том, что формирование раннефеодального государства у западноевропейских народов шло по двум основным путям: или в процессе взаимодействия остатков римской государственности с пережитками военной демократии (там, где феодализм развивался «синтезным» путем), или оно вырастает непосредственно путем долгой эволюции из разлагающейся первобытнообщинной системы управления. В первом случае, как это было у остготов, вестготов, вандалов, в меньшей степени франков, раннефеодальное государство развивалось быстрее и сохраняло заметные, хотя сильно видоизмененные воздействия варваров, элементы римской государственности. Во втором случае, как это было у англосаксов и норвежцев, становление раннефеодального государства носило более затяжной характер, элементы новой государственности долго сосуществовали с органами военной демократии, что тормозило процесс феодализации.

Прослеживая конкретные проявления того влияния, которое оказывали на формирование раннефеодального государства остатки, с одной стороны, римских государственных институтов, с другой — военной демократии, автор в то же время резко выступает против буржуазных теорий «континуитета» (непрерывного развития). Он показывает, что никакой непрерывности развития между позднеримским и раннефеодальным государством не было (как и непрерывности между последним и строем военной демократии). Раннефеодальное государство имело ряд особенностей, отличавших его от позднеримского государства, с одной стороны, от уже сложившегося феодального государства, с другой. Главные из этих отличий, по мнению А. Р. Корсунского, более широкая социальная база королевской власти, опиравшейся отчасти (особенно на первом этапе) на слой свободных общинников, слабость и примитивность государственного аппарата, непосредственное и все возрастающее участие феодализирующейся знати в центральном и местном управлении, организация войска на основе народного ополчения, значительные пережитки общинных органов в судебной и административной системе. Исходя из этого А. Ф. Корсунский считает раннефеодальное государство государством переходного периода, когда класс феодалов еще не сформировался окончательно. Поэтому и государство не превратилось еще полностью в орган политического господства этого класса, хотя и защищало его интересы.

Представление о диалектическом единстве и тесном взаимодействии возникновения и развития раннефеодального государства с общим процессом генезиса феодализма, ярко выраженное в книге А. Р. Кор-

сунского, присуще большинству советских работ по этому вопросу. Однако вопрос о степени влияния этого государства на процесс феодализации решается ими по-разному. Большинство приписывает ему лишь стимулирующее значение в этом процесе. Другие, напротив, считают роль государства в этом деле решающей. Так, например, А. Я. Гуревич применительно к донормандской Англии и особенно Норвегии утверждал, что королевская власть в этих странах была едва ли не главным фактором в создании крупной феодальной собственности, развитии тех или иных форм внеэкономического принуждения, частной власти феодалов. А. Я. Гуревич приходит к выводу, что сохранившееся в этих странах в значительных масштабах лично свободное крестьянство еще в раннефеодальный период являлось объектом настоящей феодальной эксплуатации, но не со стороны отдельных феодалов, а со стороны государства[175]). Недостаточно ясным является и другой вопрос (поставленный, но не решенный в книге А. Р. Корсунского), почему у германцев, у которых в момент их вторжения в Западную Империю еще не было сложившихся классов, сразу же после завоевания рухнул строй военной демократии и возникли государства. Эти и многие другие проблемы раннефеодального государства требуют еще дополнительных исследований.

История феодального государства с XI по XV вв. в период феодальной раздробленности и складывания сословно-представительных монархий разрабатывалась советскими медиевистами преимущественно на материале Франции и Англии, меньше — Германии. Социальные основы французской феодальной монархии и ее политики в XI—XII вв. затрагивались в монографии Н. А. Сидоровой[176]). Отдельные вопросы общей проблемы формирования сословно-представительной монархии во Франции исследовались Л. В. Венкстерн и Н. А. Денисовой (Хачатурян), В. Н. Шошиным[177]); история французской централизованной монархии в XV в. Р. А. Масловым и В. Н. Шошиным[178]). По истории английского феодального государства XI—XV вв. ценные обобщающие соображения были высказаны еще Е. А. Косминским[179]). История английского государства XII — начала XIV вв. специально исследовалась Е. В. Гутновой[180]). Отдельные стороны королевской политики этого периода затрагивались также в вышеупомянутой монографии А. А. Бар-

[175]) А. Я. Гуревич. Роль королевских пожалований в процессе феодального подчинения английского крестьянства.— «Средние века», вып. IV, 1953; его же. Древненорвежская вейцла (Из истории возникновения раннефеодального государства в Норвегии). «Научные доклады высшей школы. Исторические науки», № 3, 1958; его же. Так называемое отнятие одаля Харальдом Прекрасноволосым. «Скандинавский сборник», т. II, Таллин, 1957; его же. Некоторые спорные вопросы социально-экономического развития средневековой Норвегии.— «Вопросы истории», 1959, № 2; его же. Свободное крестьянство и феодальное государство в Норвегии в X—XII вв. «Средние века», вып. XX, 1961.

[176]) Н. А. Сидорова. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. М., 1953, гл. II.

[177]) Л. В. Венкстерн. Идеи политической централизации в трактовке легист начало XIV в. (К вопросу о формировании централизованного государства во Франции). «Ученые записки» Ивановского пединститута, т. XI, 1957; Н. А. Денисова. Из истории политической борьбы во Франции в начале XIV в. «Средние века», вып. XX, 1961 и др.

[178]) Р. А. Маслов. Борьба правительства Людовика XI за Прованс. «Ученые записки» Башкирского гос. университета, вып. 12 Серия ист. наук, № 2, 1963 и др.; В. Н. Шошин. Налоговая политика королевской власти в отношении городов Франции в 60—70 гг. XV в. в кн. «Очерки социально-экономической и политической истории Англии и Франции XIII—XVII вв.», М., 1960.

[179]) Е. А. Косминский. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М., 1947, гл. 8; его же. О некоторых характерных чертах английского феодализма. «Средние века, вып. XVII, 1960.

[180]) См. ниже.

та и в статьях К. Д. Авдеевой[181]). Ряд вопросов социально-политической жизни Англии XIV и XV вв. рассматривался в работах Е. В. Кузнецова, Л. С. Рафиенко, К. Г. Устиновой и др.[182]).

Наиболее существенные стороны общей проблемы формирования сословной монархии в странах Западной Европы были рассмотрены в монографии Е. В. Гутновой «Возникновение английского парламента». (Из истории английского общества и государства XIII в.) (М., 1960)[183]). В этой книге события и вопросы, широко освещенные в буржуазной литературе, исследовались под совершенно новым углом зрения и с привлечением ряда новых источников. Автор рассматривает историю английского государства и, в частности, парламента в тесной связи и взаимодействии со всей социальной эволюцией страны в этот период. В книге вскрываются экономические и социальные пердпосылки складывания парламента и сословной монархии в целом. Главные из этих предпосылок, по мнению автора, заключались в быстром развитии в стране экономических связей и значительном усилении и расширении классовой борьбы крестьян в XII—XIII вв. Эти основные сдвиги усиливали тенденцию к политической централизации в городе самого класса феодалов (особенно мелких и средних), верхушки свободного крестьянства и горожан. Таким образом, складывание сословной монархии трактуется в книге как проявление закономерного и, прогрессивного для этой эпохи процесса государственной централизации. С другой стороны, Е. В. Гутнова прослеживает обратное влияние политики феодального государства на социально-политическую жизнь и борьбу того времени, его взаимоотношения с различными классами и сословными группами. Е. В. Гутнова установила, что в процессе своего усиления это государство в отдельных вопросах ущемляло интересы тех социальных слоев, на которые оно опиралось, вызывая периодически с их стороны политическую оппозицию, которую возглавляли исконные противники центральной власти — крупные феодалы. Поэтому английская сословная монархия складывалась в острой социально-политической борьбе, основные этапы которой и прослеживаются в работе. Важным аспектом работы в целом является то, что в ней раскрывается феодальная природа английской сословной монархии, особенно наглядно проявлявшаяся в ее крестьянской политике, в беззастенчивом ограблении городов и во всемерной экономической поддержке представителей господствующего класса. Вопреки буржуазным апологетам английского средневекового парламента, рисовавших его в качестве органа народоправства или сотрудничества классов, ограничивающего произвол королей, Е. В. Гутнова показала, что политика парламента мало чем отличалась от политики королевской власти по своей социальной и, в частности, антикрестьянской направ-

---

[181]) К. Д. Авдеева. Огораживания общинных земель в Англии XIII в. «Средние века», вып. VI и др.

[182]) Е. В. Кузнецов. Борьба магнатных партий в Англии в 50-е годы XV в. «Ученые записки» Горьковского гос. университета, серия ист. фил., вып. XLVI, 1959; его же. Крестьяне и горожане в войне Алой и Белой Розы 1469—1470.— «Научные доклады высшей школы». Историч. науки, № 3, 1960; его же. Некоторые вопросы экономической политики королевской власти в Англии 1461—1485 гг. «Средние века», вып. XXI, 1962 г.; Л. С. Рафиенко. Ордонансы 1311 г. как источник по истории социально-политической борьбы в Англии начала XIV в. «Томский университет им. В. В. Куйбышева. Сборник научных работ ист. кафедр». Томск, 1963; К. Г. Устинова. К вопросу о социальном составе участников Кентского восстания 1450 г.— «Ученые записки» Стерлитомакского гос. пединститута, вып. 3, 1960.

[183]) См. также ее: О значении слова «парламент» (parlia. mentum) в Англии XIII и начала XIV вв. «Средние века», вып. XX, 1960.

ленности. По-новому освещая специфические условия формирования английской сословной монархии, исследование Е. В. Гутновой имеет и более общий интерес, так как в нем поставлен и исследуется ряд вопросов, важных для решения общей проблемы средневековых представительных учреждений и сравнительной истории централизованных государств эпохи сословной монархии. Среди них наиболее интересны: вопрос о сущности процесса государственной централизации на этом этапе истории феодального общества (Е. В. Гутнова понимает его как процесс постепенного отчуждения государственной власти от господствующего класса, который выражался в перерастании королевской власти из сеньериальной в общественную и в усложнении и разветвлении государственного аппарата), об итогах и социальных предпосылках этого процесса, и о социальных основах политики государства сословной монархии, о взаимоотношениях сословных собраний и королевской власти в этой новой политической системе (по мнению Е. В. Гутновой парламент не столько ограничивал, сколько укреплял позиции королевской власти в целом), об общем политическом механизме ее действия (функциях королевской власти и сословных собраний), о месте и значении сословно-представительной монархии в общем развитии феодального государства и др.[184]).

К сожалению, однако, советская медиевистика пока еще не накопила достаточно конкретного материала по истории сословных монархий в других странах[185]), который бы позволил сделать обобщающие выводы по этому вопросу, выявить общее и специфическое в развитии этой формы государства в разных странах, установить ее типологию.

Работы советских историков по истории феодального государства в Германии XI—XV вв. рассматривают эту проблему совсем в других аспектах и даже не ставят сложный и неясный пока вопрос о том, можно ли говорить о существовании «сословной монархии» в этой стране. Помимо уже упоминавшейся книги Н. Ф. Колесницкого политический строй Германии второго периода средневековья рассматривается в книге М. М. Смирина «Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией» (М., 1952). В ней эта проблема исследуется применительно к XV в. в связи с ожесточенной политической борьбой, которая происходила в Германии того времени и одной из главных целей которой, по мнению автора, было укрепление центральной власти. В книге на очень разнообразных источниках показано, что в политическом объединении страны были по-настоящему заинтересованы лишь бюргерство и крестьянство, тогда как феодалы, особенно князья, хотя и понимали необходимость централизации государства для подавления все усиливающихся в этот период народных движений, но даже в этих условиях не могли преодолеть своего сепаратизма, о который разбивались все попытки имперских реформ. Книга М. М. Смирина, в которой очень много внимания уделяется также классовой борьбе крестьянства и городским движениям XV в., много дает для уяснения социально-политических предпосылок Реформации и Крестьянской войны в Германии.

---

[184]) Подробнее см. рец. на эту книгу Н. А. Сидоровой в журнале «Вопросы истории», 1961, № 5.

[185]) Кроме английской и французской сословной монархии в советской медиевистике освещались отдельные вопросы истории венгерского феодального государства этой поры в статьях В. Ф. Семенова — Венгерская Золотая булла 1222 г. «Средние века», вып. VI, 1955 и М. А. Павлушковой — к вопросу о классовом характере и значении Золотой буллы венгерского короля Андрея II.— «Из истории средневековой Европы (X—XVII вв.)», М., 1957.

Однако эволюция германского феодального государства между XII и XV веками остается в советской медиевистике белым пятном.

В изучении феодального государства позднего средневековья внимание советских медиевистов по-прежнему было сосредоточено на проблеме абсолютизма. Хотя за это время значительно продвинулась вперед ее конкретно-историческая разработка, проблема эта продолжает вызывать споры. Ранее выдвинутая Б. Ф. Поршневым точка зрения на социальные истоки и природу абсолютной монархии (см. выше) была развита им дальше в его монографии «Народные восстания во Франции перед Фрондой» (1623—1628)» (М.— Л., 1948), в которой он, собрав большой материал по истории классовой борьбы во Франции XVII в., стремился доказать свой тезис о том, что эта борьба была основным стимулом укрепления в стране централизованного государства и превращения его в абсолютную монархию[186]). Еще более определенно Б. Ф. Поршнев развернул эту концепцию в статье «Сущность феодального государства», опубликованной в том же 1948 г.[187]). Основные положения этой статьи в более широком объеме были воспроизведены Б. Ф. Поршневым в 1964 г. в его книге «Феодализм и народные массы»[188]), где он утверждал, что «ключом к истории возникновения и развития феодальной монархии является вопрос о крестьянских восстаниях»[189]).

Продолжая отстаивать свою концепцию абсолютизма и С. Д. Сказкин[190]), который, однако, внес в нее ряд уточнений и дополнений с учетом новых исследований в этой области. В частности, если раньше он говорил о наличии открытого антагонизма между буржуазией и дворянством уже на первом этапе абсолютизма, то теперь он пришел к выводу, что тогда между ними существовало лишь соперничество, не мешавшее их взаимному объединению под главенством короля для подавления демократических и крестьянских движений. Если раньше он утверждал возможность союза между буржуазией и крестьянством, в котором видел потенциальный стимул для сплочения дворянства вокруг короля, то позднее он указал на то, что до момента назревания ранних буржуазных революций между буржуазией, дворянством и королевской властью существовало единство интересов в деле эксплуатации крестьян, ремесленников и нарождавшегося пролетариата. При этом С. Д. Сказкин еще более подчеркнул роль мощного централизованного аппарата абсолютной монархии в выкачивании ренты с крестьян и всякого рода поборов с буржуазии, перекачки их в руки дворянства и в связи с этим феодальную сущность абсолютистского государства. Исходя из такого взгляда на абсолютизм, С. Д. Сказкин высказал мысль о том, что «не абсолютизм является ответом на обострение классовой борьбы, а наоборот, сами восстания вызывались нажимом абсолютизма на податное население»[191]). С. Д. Сказкин поставил также проблему многообразия форм абсолютизма и указал на значительные специфические особенности французской, английской, испанской абсолютистских монархий и отнес к разновидностям абсолютизма также австрийскую и прусскую монархии XVII—XVIII вв. мелкодер-

[186]) Эта мысль особенно резко подчеркнута в гл. II (ч. III) книги «Буржуазия и феодально-абсолютистский строй».

[187]) «Известия АН СССР. Серия Истории и философии», т. V, № 6, 1948.

[188]) См. раздел: Феодальное государство, как орган подавления борьбы народных масс (ч. II, гл. 3, § 2).

[189]) Там же, стр. 354.

[190]) С. Д. Сказкин. Проблемы абсолютизма в Западной Европе. «Из истории средневековой Европы X—XVII вв.», М., 1957.

[191]) Там же, стр. 16.

жавный абсолютизм князей Западной Германии и с некоторыми оговорками итальянскую тиранию XV—XVI вв.

С начала 50-х гг. началась более углубленная разработка конкретной истории абсолютных монархий, главным образом французской и английской. Истории французского абсолютизма были посвящены статьи З. В. Мосиной, А. А. Лозинского, М. А. Покровской[192]) и др. и две капитальные, основанные на архивных материалах, хранящихся в Ленинграде, монографии А. Д. Люблинской. Эти монографии по-новому освещают наиболее важные стороны экономической и социально-политической жизни Франции первой половины XVII века — периода окончательного складывания французского абсолютизма. Первая из них «Франция в начале XVII века (1610—1620)», вышедшая в 1959 г., как уже отмечалось, в качестве одной из своих главных задач ставит исследование специфики процесса первоначального накопления во Франции, а затем выясняет развивающиеся на этой почве социальные и классовые противоречия и характер вытекавшей из них острой политической борьбы. Автор тонко прослеживает противоречия внутри самого господствующего класса, которые лежали в основе борьбы за распределение феодальной ренты и политической власти между ее представителями. Вместе с тем в монографии показаны особенности социально-политических позиций буржуазии, плебейства и крестьянства, которые объективно были враждебны феодализму и подрывали его основы, хотя в первой половине XVII в. политический союз между ними, как считает А. Д. Люблинская, был невозможен, так как буржуазия, сама являвшаяся эксплуататорским классом, еще старалась приспособиться к существующим порядкам. Без союза с ней крестьянство и плебейство, ведшие упорную классовую борьбу против абсолютизма, терпели в этой борьбе постоянные поражения. А. Д. Люблинская убедительно показывает, что в этот период производительные силы во Франции еще не вступили в непримиримое противоречие с производственными отношениями и буржуазная революция еще была невозможной.

Вторая книга А. Д. Люблинской «Французский абсолютизм в первой трети XVII в.» (М.— Л., 1965) хронологически и тематически примыкает к первой, во многом опираясь на ее материал. Вместе с тем эта работа освещает ряд новых аспектов истории Франции XVII века и, что особенно важно, вовлекает ее в общую перспективу экономической и социально-политической жизни Западной Европы того времени в целом. В связи с этим А. Д. Люблинская много места в ней уделяет спорным и «модным» в современной зарубежной историографии теориям «всеобщего кризиса» и «всеобщей революции» в XVII в., которые она подвергает серьезной и обоснованной критике и ставит проблему специфики генезиса капитализма, а также проблему абсолютизма в разных странах Европы. Таким образом, эта книга имеет значение, выходящее за рамки лишь конкретной истории французского абсолютизма. Автор указывает на значительную неравномерность в развитии капиталистического уклада в Англии, Голландии, Франции, Испании и на ожесточенную борьбу между ними за промышленно-торговую гегемонию в Европе, отмечает общее отставание Франции в развитии мануфактуры, усугубленное междоусобицами второй половины XVI в.,

[192]) З. В. Мосина. Карл V и коннетабль Бурбон.—«Вопросы истории», № 2. 1946, ее же. Из истории борьбы французского народа за национальное государство. «Средние века», вып. IV, 1953. А. А. Лозинский. Борьба за власть в парижском муниципалитете после «дня баррикад» (1588 — начало 1589 гг.). «Средние века», вып. VIII, 1956 и др.; М. А. Покровская. К вопросу экономической политики французского абсолютизма первой половины XVI в. «Средние века», вып. VII.

благодаря которым она в начале XVII в. осталась далеко позади более быстро развивавшихся Англии и Голландии. А. Д. Люблинская в связи с этим отрицает теорию «всеобщего кризиса», опирающуюся в основном именно на материал Франции, поскольку она считает, что особые обстоятельства лишь усугубили во Франции медленность темпов роста, свойственную вообще мануфактурному производству, но никаких непреодолимых препятствий для его развития там не было. Решительно отвергает она и теорию «всеобщей революции» XVII в., утверждая, что хотя во Франции в начале века сословные и классовые противоречия были весьма остры, однако там не было революционной ситуации, так как капитализм не сталкивался еще с препятствиями, для преодоления которых требовалась революция. Напротив, основная линия политики абсолютизма удовлетворяла буржуазию, которая в целом ее поддерживала. Иначе невозможны были бы политические победы абсолютной монархии в ее борьбе со знатью в 1614—1620 гг. и с гугенотской партией в 1620—1629 гг. Да и сами эти внутренние войны были своеобразным выражением развития в стране капиталистических отношений, поскольку именно эти новые явления настолько усилили центральную власть, что феодалам приходилось вести с ней длительные войны вместо того, чтобы обходиться, как раньше, дворцовыми переворотами. Сама политика Ришелье, вопреки общепринятому мнению, с точки зрения А. Д. Люблинской, не означала какого-то резкого поворота в политике абсолютной монархии, но лишь продолжала прежний курс, успехи которого именно при Ришелье были обусловлены социальными сдвигами, происшедшими в предшествующий период 1610—1620 гг.

Несколько продвинулось в последние двадцать лет изучение английского абсолютизма. Аграрная политика английской монархии XVI в. рассматривалась уже в упоминавшейся выше работе В. Ф. Семенова, который впервые подчеркнул ее двойственный характер: то, что она, с одной стороны, имела целью замедлить ход огораживаний, с другой же — укрепляла экономические позиции нового дворянства и фермерства с помощью секуляризации и последовавшей за ней распродажи монастырских земель. Колонизационной политике английского абсолютизма в XVI—XVII вв., в частности, его аграрной политике в колониях в значительной мере была посвящена охарактеризованная выше книга Ю. М. Сапрыкина об английской колонизации Ирландии, а также книга А. С. Самойло «Английские колонии в Северной Америке в XVII в.» (М., 1963). Оба автора на совершенно различном материале пришли во многом к схожим выводам. Они показали, что и в Ирландии, и в Северной Америке английская абсолютная монархия и в XVI, и в XVII вв. своими аграрными мероприятиями активно содействовала первоначальному накоплению капитала и формированию нового дворянства за счет чудовищных насилий и ограбления местного населения (ирландцев в одном случае, индейцев — в другом). Вместе с тем английское правительство и в XVI, и в XVII вв., действуя в интересах старого феодального дворянства и чиновной аристократии метрополии, пытались насаждать в колониях феодальную систему держаний, объективно препятствовавшую развитию капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Если в Северной Америке эти попытки в общем оказались неудачными, то в Ирландии они привели к установлению полуфеодального режима «ирландской аренды» на землях английских лендлордов, чреватого тяжелейшими бедствиями для ирландского крестьянства. Обе работы, таким образом, подчеркнули также двойственную полуфеодальную политику абсолютной монархии и в этой области, хотя объективно эта политика все же стимулировала процесс первоначального накопления.

Значительное число статей советских исследователей было посвящено отдельным проявлениям торговой и колониальной политики английского абсолютизма[193]).

В более комплексном плане экономическая и социальная политика абсолютизма эпохи Тюдоров получила освещение в работах В. В. Штокмар. В первой из них — «Очерки по истории Англии XVI в.» (Л., 1957), была нарисована живая картина аграрной и городской жизни Англии XVI в., охарактеризованы англо-испанские противоречия и пуританское движение этого периода. Вторая — «Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета» (Л., 1962) — на большом конкретном материале подтвердила в целом двойственный характер экономической политики Тюдоров, которая и в аграрном, и в торгово-промышленном вопросах все время лавировала между интересами класса феодалов, с одной стороны, и нового дворянства и буржуазии, с другой. Вопреки зарубежным апологетам Тюдоров, видевших в них творцов новой буржуазной Англии, носителей безусловного прогресса и гуманности, В. В. Штокмар убедительно показала, что их политика во многих вопросах носила сугубо консервативный, профеодальный характер (попытка задержать огораживания, сохранить цеховой строй в городах, регламентировать вновь возникающую мануфактурную промышленность, монополизировать в руках привилегированных компаний торговлю и производство многих товаров) и тем самым вскрыла феодальную природу английской абсолютной монархии. Вместе с тем В. В. Штокмар пришла к выводу, что, во-первых, эти профеодальные мероприятия во многом оказывались неэффективными, так как противоречили потребностям развивавшейся экономики; во-вторых, что, будучи вынуждены считаться с интересами «нового дворянства» и буржуазии, Тюдоры, по необходимости, должны были идти им навстречу, отчасти в своей аграрной (секуляризации и ее последствия, разрешение огораживания в 1593 г. и др.), но главным образом в своей торговой, финансовой и внешнеторговой политике, которые всегда были чрезвычайно выгодны высшим слоям купечества. Это и обусловило в целом прогрессивную роль тюдоровского абсолютизма, обеспечивавшего необходимые условия для появления капиталистического производства и процесса первоначального накопления в стране. При этом автор подчеркивает, что эти пробуржуазные тенденции в политике феодально-абсолютистского государства усиливались расколом дворянства на две сословные группы и формальным участием в законодательстве парламента, где широко были представлены новодворянские и буржуазные элементы. К сожалению, однако, вопрос о специфике английского абсолютизма как в смысле его политической организации, так и его социальной опоры не нашел в работах В. В. Штокмар сколько-нибудь полного отражения.

Английскому абсолютизму начала XVII в., когда он вступил в полосу глубокого политического кризиса, были посвящены соответствующие главы в коллективном труде советских медиевистов «Английская

---

[193]) См. статьи: М. М. Яброва. Из истории английской колониальной экспансии в Ост-Индии в первой половине XVII в. «Научный ежегодник» Саратовского государственного университета за 1955 г., отд. 2, ист. факультет, Саратов, 1958, стр. 94—96 и др.; Э. М. Шахмалиев. Об англо-испанских противоречиях на Переднем Востоке в 80—90 гг. XVI в. и первой четверти XVII в. «Ученые записки» Азербайджанского гос. университета. 1953, № 5 и др.; А. Басова. Борьба вокруг тороговых монополий в Англии при первых Стюартах. «Ученые записки» Горьковского пединститута, вып. 31, 1961, научные труды кафедры всеобщей истории.

буржуазная революция XVII в.»[194]) и в однотомной, более популярной работе В. М. Лавровского и М. А. Барга[195]), а в последнее время в статье Е. Д. Воробьевой[196]). Во всех этих работах подчеркивается, что при Стюартах английская абсолютная монархия, по существу, перестала уже удовлетворять интересы нового дворянства и буржуазии, все более акцентировала чисто феодальные тенденции своей политики, что и привело к нарастанию политического кризиса, завершившегося революцией.

В последние годы началось исследование истории испанского абсолютизма. Однако накопленный материал слишком мал, чтобы сделать сколько-нибудь определенные выводы о его специфике и месте среди других абсолютных монархий[197]). Что касается изучения абсолютизма в германских княжествах, в Пруссии и Австрии, то эта проблема по существу выходит за хронологические рамки средних веков и медиевистами не исследовалось. Таким образом, несмотря на значительные успехи в изучении проблемы абсолютизма, она ни в теоретическом, ни в конкретно-историческом плане не может считаться до конца решенной. Как выявилось на научной сессии, проходившей в мае 1966 г., посвященной важнейшим теоретическим проблемам генезиса капитализма в европейских странах, ее решение требует исследования ряда вопросов, ранее не привлекавших специального внимания историков: в частности, вопросов об эволюции дворянства, социальных противоречиях в его среде и его взаимоотношениях с государством, вопросов о значении в процессе складывания абсолютных монархий военно-политического фактора, а также дальнейшего изучения многообразия форм абсолютной монархии в разных странах.

**
*

Новым в послевоенной медиевистике был интерес к истории международных отношений и военно-политической истории эпохи средних веков. Впервые марксистское освещение получила в работах М. А. Заборова[198]) история крестовых походов, всегда крайне тенденциозно трактовавшаяся в буржуазной историографии. В его работах не только выясняется грабительский и хищнический характер этих военно-колонизационных движений XI—XIII вв. и их пагубное влияние на историю народов Ближнего Востока, но вскрываются социальные причины крестоносного движения, роль в нем весьма различных социальных элементов, в том числе и крестьянства, и прослеживаются основные этапы этого движения. Особое внимание в работах М. А. Заборова уделяется идейной и организационной роли католической церкви и папства в крестовых походах.

---

[194]) Английская буржуазная революция XVII в. Под ред. академика Е. А. Косминского и кандидата ист. наук Я. А. Левицкого, т. 1, М., 1954, гл. II — автор В. Ф. Семенов, гл. VII — автор С. И. Архангельский.

[195]) В. М. Лавровский и М. А. Барг. Английская буржуазная революция XVII в. М., 1958.

[196]) Е. Д. Воробьева. К вопросу о назревании революционной ситуации в Англии к 40-м годам XVII в. «Ученые записки» Горьковского пединститута, вып. 31, 1961.

[197]) По этому вопросу см. статьи Э. Э. Литавриной. К проблеме экономического упадка Испании в XVI в. «Из истории средневековой Европы (X—XVII вв)»; ее же. Мемориал испанского экономиста Луиса Ортиса и зарождение идей протекционизма в Испании XVI в. «Средние века», вып. XVI, 1959.

[198]) М. А. Заборов. Крестовые походы. М., 1956; его же. Папство и крестовые походы, М., 1960. См. также его многочисленные статьи в сборнике «Средние века» и «Византийском временнике».

В последние десять лет появились работы по истории великих географических открытий XV—XVI вв. и зарождения колониальной системы[199]). При этом Я. Д. Цукерником (Алма-Ата) была выдвинута новая концепция по вопросу о первой экспедиции Колумба, согласно которой Колумб, вопреки общепринятому мнению, знал заранее на основании старинных карт, которыми он располагал, о существовании в Атлантическом океане неизвестного в Европе материка. Версия же о поисках морского пути в Индию в западном направлении была выдвинута Колумбом, чтобы легче склонить в пользу своей экспедиции общественное мнение и испанский двор. Эта новая теория, вызвавшая серьезные возражения у ряда советских историков и географов, пока остается интересной, но недостаточно убедительной гипотезой.

Международные отношения позднего средневековья привлекали внимание советских медиевистов преимущественно в связи с историей России этого периода. Среди работ на эту тему можно указать основанную на архивных материалах монографию Г. Г. Жордания «Очерки из истории франко-русских отношений конца XVI и первой половины XVII вв.», ч. 1—2 (Тбилиси, 1959), в которой политические и дипломатические отношения двух стран рассматриваются в связи с экономическими отношениями, складывавшимися между ними.

Советские историки О. Л. Вайнштейн и Б. Ф. Поршнев почти одновременно поставили новую проблему о месте и роли России в международных отношениях первой половины XVII в. в связи с Тридцатилетней войной (1618—1648 гг.). Оба автора пришли к выводу о значительной роли России в ходе и исходе Тридцатилетней войны, которая не учитывалась ранее ни в русской, ни в зарубежной историографии. Однако они разошлись в ряде вопросов. Б. Ф. Поршнев в своих статьях, посвященных этой теме, исходя из того, что Россия боялась усиления влияния Габсбургов, несколько преувеличивал ее роль во вступлении Швеции в войну и в дальнейшем ходе войны, считая, что Россия толкнула Швецию в войну своей польской политикой, а затем поддерживала антигабсбургскую коалицию поставкам и зерна и других материалов[200]). О. Л. Вайнштейн в книге «Россия и Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.» (М., 1947) полагал, что Россия на протяжении всего конфликта вела строго национальную политику, которая определялась отнюдь не ее страхом перед агрессией и миродержавными планами самих Габсбургов, но ее традиционной антипольской позицией и боязнью усиления Польши в случае победы Габсбургов. Поэтому Россия, по мнению О. Л. Вайнштейна, в меру своих сил, но весьма ос-

[199]) Помимо указанных выше работ Ю. М. Сапрыкина, А. С. Самойло, М. М. Ябровой и др. по истории колониальной системы можно указать работы: Н. Н. Туманович и К. И. Петров. Из истории торгово-колониальной экспансии Англии на Ближнем Востоке (XVI—XVII вв.) «Известия АН Киргизской ССР», вып. 4, Фрунзе 1957; М. С. Альперович. О характере и формах эксплуатации индейцев в американских колониях Испании (XVI—XVII вв.). «Новая и новейшая история», 1957, № 2. По истории собственно географических открытий: Е. И. Вязова. Васко да Гама — первооткрыватель морского пути в Индии, М., 1956; И. П. Магидович. Христофор Колумб, М., 1956; его же. Очерки по истории географических открытий. М., 1957; Я. М. Свет. Фернандо Магеллан, М., 1956; Я. Д. Цукерник. К вопросу о географических воззрениях Христофора Колумба. «Известия всесоюзного географического общества», 1956, вып. 4—6; его же. О целях экспедиции Колумба. «Ученые записки» Алма-Атинского пединститута иностранных языков, т. II, вып. 3, 1957.

[200]) Б. Ф. Поршнев. Московское государство и вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну. «Исторический журнал», 1945, № 3; его же. Борьба вокруг шведско-русского союза в 1631—1632 гг. —Скандинавский сборник», т. 1, Таллин, 1956; его же. Политические отношения Западной и Восточной Европы в эпоху Тридцатилетней войны (доклад на XI Международном конгрессе историков). «Вопросы истории», 1960, № 10 (переведен на французский язык).

торожна, поддерживала антигабсбургскую каолицию лишь в той степени, в которую это было нужно для ее борьбы с Польшей.

Вопрос об общей международной обстановке в Европе первой половины XVII в. в целом еще далек от своего разрешения в советской медиевистике[201]). Да и вообще, несмотря на отдельные достижения в этой области, история международных отношений в средние века до настоящего времени изучалась очень несистематически и фрагментарно.

***

Если сравнивать с довоенным периодом, советская медиевистика значительно продвинулась вперед и в области изучения идеологической надстройки феодального общества, его духовной жизни и культуры. Особенно за последние 10—12 лет появилось большое число конкретно-исторических исследований, преимущественно статей, посвященных этим, наиболее сложным и тонким вопросам истории средневековья. Не считая представителей смежных дисциплин[202]), в этой новой области теперь работает большой отряд советских медиевистов. Наибольшее их внимание, естественно, привлекали проявления идейной и духовной жизни средневековья, которые носили наиболее выраженный антифеодальный характер: народные ереси, духовное творчество народных масс, антифеодальная и антицерковная культура средневековых городов и связанные с ней ростки свободомыслия в период с XI по XV в., прогрессивная политическая мысль XIV—XV вв. В этой области работали Н. А. Бортник[203]), Б. Я. Рамм[204]), С. М. Стам[205]), Н. А. Сидорова (см. ниже), С. Д. Сказкин[206]), Л. М. Баткин[207]), Б. А. Каменский[208]), А. Г. Енько[209]), А. Е. Рогинская[210]) и др. В истории культуры и идеологии более позднего периода наиболее пристально изучались проблемы гуманизма и Возрождения, с одной стороны, и реформационные идеи, с другой. Первым были посвящены работы М. А. Гуковского (см. ниже), С. Д. Сказкина (см. ниже), В. Н. Лаза-

---

[201]) Кроме Б. Ф. Поршнева и О. Л. Вайнштейн русско-шведскими отношениями XVI—XVII вв. занимались также А. А. Арзыматов. К вопросу о русско-шведских отношениях в 1618—1648 гг. «Скандинавский сборник», вып. I, Таллин, 1956; Э. Д. Рухманова. Русско-шведская торговля на Балтике в середине XVII века. «Скандинавский сборник», вып. II. Таллин, 1957.

[202]) Искусствоведения: истории философии, литературы, науки и т. п.

[203]) Н. А. Бортник. Арнольд Брешианский — борец против католической церкви. М., 1956; его же. Еретические секты Италии первой половины XIII в. «Средние века», вып. X, 1957 и др.

[204]) Б. Я. Рамм. Гильом Коншский (из истории развития прогрессивных идей во Франции в начале XII в.). «Французский ежегодник», 1959; его же. Элементы народного свободомыслия в движении амальрикан. «Средние века», вып. 25, 1964.

[205]) С. М. Стам. Учение Иоахима Калабрийского. «Вопросы истории, религии и атеизма», М., вып. 7, 1959 и др.

[206]) С. Д. Сказкин. Первое послание Дольчино. «Из истории социально-политических идей». М., 1955.

[207]) Л. М. Баткин. Данте и его время. М., 1965 и др.

[208]) Б. А. Каменецкий. Джон Фортескью и его роль в формировании буржуазной культуры. «Вестник истории мировой культуры», 1960, № 5 и др.

[209]) А. Г. Енько. «Defensor pacis» Марсилия Падуанского и борьба империи против светских притязаний папства в начале XIV в. «Вестник Московского университета», серия история, 1964, № 2.

[210]) А. Е. Рогинская. Исторические взгляды Комина. «Средние века», вып. II, 1946.

рева[211]), В. И. Рутенбурга[212]), Л. М. Брагиной[213]), Л. С. Чиколини[214]), А. И. Хоментовской[215]), Н. В. Ревякиной[216]) (применительно к Италии), Ф. А. Коган-Бернштейн, Б. Ф. Поршнев[217]) (по Франции), М. М. Смирина[218]), В. Г. Левена[219]), А. Н. Немилова[220]), В. М. Володарского[221]), В. Е. Майера[222]) (по Германии), И. Н. Осиновского[223]), Ю. М. Сапрыкина[224]) (применительно к Англии). Историей Реформации занимались специально М. М. Смирин (см. ниже) и А. Н. Чистозвонов (см. ниже).

При всем разнообразии тематики работ перечисленных авторов общим для всех них является новый по сравнению с буржуазной историографией подход к этим сложным проблемам. Духовная жизнь средневекового общества рассматривается не в плане саморазвития тех или иных идей и культурных явлений, но в первую очередь, как идеологическое выражение социально-политических процессов и классовой и социальной борьбы, происходивших в феодальном обществе. История средневековой культуры и идеологии рассматривается советскими историками-медиевистами не как плавный, чисто эволюционный процесс, но как процесс, развивающийся в острых идейных столкновениях, отражающих классовую и социально-политическую борьбу той или иной эпохи в той или иной стране.

В разработке методологии и методики такого подхода к конкретно-историческому материалу большое значение имела в начале 50-х гг. одна из первых крупных советских работ, посвященных этой проблематике — книга Н. А. Сидоровой «Очерки по истории ранней городской культуры во Франции», вышедшая в 1953 г. Книга эта интересна тем, что культурная и идейная жизнь Франции XII в., изученная автором на большом и разнообразном фактическом материале, рассматривается под углом острой социально-политической борьбы,

---

[211]) В. Н. Лазарев. Происхождение итальянского Возрождения: т. I, М., 1956; т. II, М., 1959.

[212]) В. И. Рутенбург. Великий итальянский атеист Ванини, М., 1959; его же. Кампанелла. Л., 1956 и др.

[213]) Л. М. Брагина. Этические взгляды Джованни Пико делла Мирандола. «Средние века», вып. 28, 1965 и др.

[214]) Л. С. Чиколини. Социально-эстетические взгляды Фабио Альбергати — итальянского утописта конца XVI — начала XVII вв. «Средние века», вып. XIV, 1959; ее же. Социальная утопия Франческо Дони. «Средние века», вып. XVII, 1960 и др.

[215]) А. И. Хоментовская. Лоренцо Валла — великий итальянский гуманист. М.— Л., 1964 и др.

[216]) Н. В. Ревякина. Лоренцо Валла — критик «Константинова дара».— «Сборник научных работ аспирантов исторического факультета МГУ», М., 1963 и др.

[217]) Ф. А. Коган-Бернштейн. Экономические взгляды Бодена. «Средние века», вып. II, 1946; ее же. Философские воззрения Мишеля Монтеня, в кн.: «Мишель Монтель. Опыты», кн. 3. Приложение. М — Л., 1960 и мн. др.; Б. Ф. Поршнев. Кальвин и кальвинизм. «Вопросы истории, религии и атеизма», вып. 6, М., 1958.

[218]) М. М. Смирин. Германия в первые десятилетия XVI в. и Ульрих фон Гуттен. В кн.: Ульрих фон Гуттен. Диалог, Публицистика, Письма. М., 1959.

[219]) В. Г. Левен. Философские воззрения Себастиана Франка. «Вопросы философии», 1948, № 10 и др.

[220]) А. Н. Немилов. Первые гуманистические кружки в Нюрнберге и их роль в развитии раннего немецкого гуманизма. «Ученые записки» Ленинградского гос. университета, серия исторические науки, вып. 28, 1958 и др.

[221]) В. М. Володарский. Гуманистические воззрения Ульриха фон Гуттена. «Средние века», вып. 24, 1963.

[222]) В. Е. Майер. Об одном раннем произведении утопического коммунизма в Германии. «Средние века», вып. XI, 1961.

[223]) И. Н. Осиновский. Т. Мор и реформация Генриха VIII (К вопросу о противоречиях во идеологических взглядах Т. Мора).—«Очерки социально-экономической и политической истории Англии и Франции XIII—XVII вв.» и др.

[224]) Ю. М. Сапрыкин. О классовой сущности политических взглядов Гаррингтона. «Средние века», вып. IV, 1953; вып. V, 1954.

кипевшей в стране, в свете борьбы реакционных и прогрессивных сил (с одной стороны, феодалов-сепаратистов и теократического духовенства, с другой стороны, горожан, крестьянства, а отчасти и королевской власти, боровшейся за политическое объединение страны, в то время необходимое для ее прогресса). Н. А. Сидорова ярко показывает реакционную роль католической церкви, как главного идеолога феодального сепаратизма, непримиримого врага народных движений и их идейного выражения ересей, светской культуры, зарождавшейся образованности, философского свободомыслия этой эпохи. Этой своей стороной книга Н. А. Сидоровой, отличающаяся боевым наступательным характером, решительно направлена против наиболее реакционных течений современной буржуазной историографии, восхваляющих средневековую католическую церковь, как защитника социальной гармонии и поборника культуры. Однако значение работы этим не исчерпывается. Не менее ярко в ней показан также многогранный и сложный по своему составу прогрессивный фронт борьбы с феодальной церковной идеологией. Н. А. Сидорова пришла к хорошо аргументированному выводу, что в этот переломный для Франции период в нем сплетались и антифеодальные еретические народные городские движения, и коммунальные выступления, и борьба центральной власти за политическое объединение страны. Идейным центром, в котором скрещивались эти во многом противоречивые социальные и политические тенденции той эпохи, Н. А. Сидорова считает новую раннюю городскую культуру, в которой она видит основную прогрессивную силу в разгоревшейся идеологической борьбе. Она внимательно прослеживает глубокую связь ее с народной культурой в сфере теологических представлений и художественного творчества и исследует все ее многообразные проявления: городские нецерковные школы, городские ереси, городскую литературу и театр, наконец, философское свободомыслие XII в., возникновение которого автор впервые в историографии решительно связывает с развитием именно городов. В этом плане особенно большой интерес представляет данный в книге анализ взглядов деятельности и антицерковной борьбы замечательного мыслителя того времени Петра Абеляра, который стоит в центре второй части книги. Под покровом отвлеченных теологических споров Абеляра с его противниками — католическими ортодоксами, как показывает Н. А. Сидорова, скрывались чрезвычайно злободневные для современников вопросы о соотношении веры и разума, об использовании античного культурного наследия и т. д., от решения которых зависели во многом дальнейшие перспективы развития светской городской культуры, научных знаний, литературы и искусства средних веков. При этом Н. А. Сидорова выявила полную несостоятельность концепций современных католических историков, пытающихся задним числом «примирить» Абеляра с его противниками — церковными догматиками XII в.

Книга эта в свое время сыграла существенную методологическую роль в подходе к идеологическим вопросам и для других периодов и стран. В ней, а также в более поздних работах Н. А. Сидоровой, посвященных истории свободомыслия во Франции XII—XIV вв.[225]), были высказаны весьма ценные соображения о характере народных

[225]) Н. А. Сидорова. О некоторых проблемах исследования средневековой культуры Франции.— «Вестник истории мировой культуры», 1961, № 6; ее же. Народные еретические движения во Франции в XII—XIII вв. «Французский ежегодник 1961 г.». М., 1962. Подробно о работах Н. А. Сидоровой см. статью: А. Д. Люблинская, Е. В. Гутнова, Я. А. Левицкий. Научная педагогическая и общественная деятельность Н. А. Сидоровой в сб. «Средние века», вып. 25, 1964.

ересей XI—XII вв., о влиянии во Франции XII—XIII вв. античной и арабской философии, в частности, аверроизма, которые нашли позднее подтверждение и дополнение в конкретных исследованиях советских и зарубежных историков (ГДР, Франции).

Перечисленные выше работы советских медиевистов об Абеляре, Арнольде Брешианском, Иоахиме Флорском, Дольчино, Гильоме Коншском и др. во многом по-новому осветили взгляды и деятельность этих борцов против церковно-феодальной идеологии, прояснили вопрос о характере средневекового свободомыслия и его связях с народно-еретическими и городскими движениями XI—XIV вв. Упоминавшиеся ранее работы по аграрной и городской истории, касаясь классовой борьбы крестьянства, особенно крупных крестьянских движений (Жакерия, восстание Дольчино, пастушков, У. Тайлера и др.) накопили значительный конкретный материал об идейных представлениях средневекового крестьянства. Это дало основание Е. В. Гутновой, в статье, специально посвященной этому вопросу[226]), поставить задачи комплексного и всестороннего изучения идеологии средневекового крестьянства в его развитии и предложить некоторые общие принципы подхода к этой теме. Вместе с тем работы советских медиевистов по истории средневековой культуры XI—XV вв. можно считать лишь началом исследований в этой области. Они не исчерпывают ее тематически и нередко грешат некоторой односторонностью. Принцип социального подхода к явлениям культуры и идеологии, который всегда был и остается краеугольным камнем марксистско-ленинского понимания этих проблем и успеха советской медиевистики в их изучении, требует в настоящее время дальнейшего углубления и более гибкого и тонкого применения. Уже теперь очевидно, что в исследованиях этого рода необходимо учитывать и другие компоненты: обратное воздействие идеологической надстройки и уровня культуры на развитие общества, характер и объем мыслительного материала, который каждая эпоха получает от предшествующей, а в связи с этим роль культурного наследия и традиций в последующем духовном развитии общества — для средневековья, в частности — значение античного и варварского наследия, язычества и христианства. В связи с этим становится все более очевидным, что при всех резких различиях, которые, несомненно, существовали между церковно-феодальной, народной, городской, рыцарской культурой, все они при своем становлении вынуждены были оперировать, по существу, одним и тем же «мыслительным материалом», обусловившим господство в средние века религиозного сознания во всех этих социальных слоях. Этот религиозный характер сознания, хотя и получал совершенное различное и даже враждебное друг другу выражение у каждого из них, создавал известную видимость единства средневековой культуры, отличавшую ее от культуры античности и нового времени. Он же создавал предпосылки для постоянного взаимовлияния и взаимопроникновения не только между городской и народной культурой, но также между этими последними и рыцарской, а в отдельных случаях и церковно-феодальной культурой, особенно в сфере художественного творчества. Это внешнее единство средневековой культуры и идеологии в последнее время вызывает у некоторых советских историков сомнение в правомерности безоговорочных утверждений о реакционной роли католической церкви в культурной жизни на всех этапах истории средневековой Европы. Высказывается мнение, что такая оценка является одно-

[226]) Е. В. Гутнова. Некоторые проблемы идеологии крестьянства эпохи средневековья. «Вопросы истории», № 4, 1966.

сторонней и недостаточно историчной в отношении истории раннего средневековья и что этот вопрос требует дополнительных специальных исследований[227]).

Немало спорных вопросов в последние годы возникает перед исследователями такого сложного явления, как культура Возрождения и гуманизма. С конца 40-х гг. советская медиевистика накопила большое количество конкретного материала по этой проблеме. Среди работ этого цикла нужно, в частности, отметить капитальный труд М. А. Гуковского «Итальянское возрождение» (т. I—Л., 1947, т. II — Л., 1961), в котором культура эпохи Возрождения рассматривается на широком фоне экономической и социально-политической истории Северной и Средней Италии XIII — начала XV вв. Используя обильный фактический материал, автор приходит к выводу, что в период 1380—1450 гг. основной характерной чертой развития Италии были резкие внутренние противоречия между социальной, политической и культурной жизнью общества: в то время как в социально-экономической жизни, по его мнению, наблюдались явления упадка, в политической сфере намечалось развитие монархических тенденций, культура, напротив, переживала период невиданного расцвета. При этом М. А. Гуковский полагает, что достаточно полное объяснение этого противоречия можно найти лишь изучая историю предшествующего периода, в котором коренится основа последующего развития во всех сферах общественной жизни.

Появились отдельные попытки нового социального определения Возрождения; некоторые предлагали трактовать его как культуру городских ремесленников и вообще широких трудящихся масс; другие, напротив, преувеличивали влияние в нем дворянской, феодальной культуры. На этой почве возникла дискуссия, проходившая в 1957 г. в Институте истории АН СССР, выявившая основные расхождения и наметившая пути дальнейших исследований в этой области. Важное принципиальное значение для правильного подхода к проблеме в целом имел доклад С. Д. Сказкина, открывший дискуссию — «К вопросу о методологии истории Возрождения и гуманизма»[228]). С. Д. Сказкин, автор ряда конкретных работ по этой проблематике[229]), пытался в этом докладе наметить основные методологические принципы подхода к проблеме в целом и вскрыть с их помощью социальные корни гуманизма и Возрождения. Предложенная С. Д. Сказкиным методология и методика подхода к данной проблеме оказалась весьма плодотворной для изучения надстроечных явлений вообще.

С. Д. Сказкин подчеркнул реакционность тенденций современной буржуазной историографии, которая все чаще отказывается видеть какой-либо резкий перелом между средневековой культурой и культурой «Возрождения» и все более акцентирует преемственность между ними. Вместе с тем он отметил, что даже те буржуазные историки прошлого и настоящего, которые признают наличие этого перелома, не могут правильно определить его социальные основы, в силу неверного методологического подхода. По мнению С. Д. Сказкина, для со-

---

[227]) См. З. В. Удальцова. Задачи изучения генезиса феодализма в странах Западной Европы.— Доклад на сессии, посвященной изучению генезиса феодализма в странах Западной Европы в мае-июне 1966 г. «Вопросы истории», 1966, № 9, а также другие материалы этой сессии в сб. «Средние века», вып. 31, 1967.

[228]) См. «Средние века», вып. XI, 1958. Материалы об этой дискуссии опубликованы в ж. «Вопросы истории», 1958, №2.

[229]) С. Д. Сказкин. Коперник и Возрождение. «Исторический журнал», 1943, № 10; его же. Эпоха Коперника и ее люди. В кн.: «Николай Коперник», М.—Л., 1947; его же. Леонардо да Винчи (1452—1519). «Преподавание истории в школе», 1954, № 4.

ветских историков исходным моментом исследования всегда должно быть изучение общественной жизни эпохи Возрождения, положения разных классов общества и их материальной деятельности. Изучив эти вопросы, следует подняться сначала к рассмотрению отражения этих материальных отношений в области морали и этики, а затем к обоснованию последней в общем мировоззрении и, наконец, к отражению общественного бытия и в эстетике. Пользуясь этой методологией и проанализировав с этой точки зрения конкретные данные советской и зарубежной медиевистики по этому вопросу, С. Д. Сказкин пришел к выводу, что они не дают оснований отказываться от представления о том, что культура Возрождения и гуманизма в основе своей выражала реальные интересы и вкусы нового класса — зарождавшейся в то время буржуазии. Выражением ее интересов и настроений был и присущий этой культуре индивидуализм и эмпиризм в области науки, и реализм в искусстве, и пробуждение национального сознания, и тяга к политическому единству — в политическом мышлении. Поэтому, хотя советские исследователи правильно указывают на то, что культура Возрождения включала в себя и крестьянско-плебейские, и бюргерские, и дворянские идеи и культурные течения, все же ее основные идейные истоки лежали в мировоззрении нарождающейся буржуазии, а ее социально-экономической основой являлось городское хозяйство в период его превращения в капиталистическое. Таким образом, С. Д. Сказкин, признавая диалектически противоречивый характер культуры Возрождения и гуманизма, который убедительно объясняет возможность сосуществования в ней разнородных социальных тенденций, средневековой и античной традиции, старого и нового, в то же время порчеркнул, что эта культура представляла собой принципиально новое культурное явление, порождение новой эпохи. Тем самым он указал на необходимость еще более всестороннего ее изучения, в частности, изучения этических, философских и эстетических воззрений этой эпохи, а также специфических черт гуманизма и Возрождения в разных странах. Дискуссия 1957 г. выявила также тесную связь проблемы гуманизма и Возрождения со спорной проблемой генезиса капитализма и раннекапиталистических отношений. Без решения последней (в частности, без тщательного анализа особенностей ранней буржуазии, по сравнению с уже сложившимся классом более позднего периода) очевидно невозможно сколько-нибудь обоснованное решение первой.

В этих новых направлениях работает в последние годы ряд советских исследователей (Л. М. Брагина, Л. М. Баткин, Н. В. Ревякина, В. М. Володарский, А. Н. Немилов и ряд др.).

Для изучения не менее важных и сложных проблем Реформации в странах Западной Европы особенно важное принципиальное значение имела работа М. М. Смирина — «Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война» (М.— Л., 1947, 2-е изд.— 1955). Работа посвящена конкретной истории Германии в один из острых ее переломных моментов. В центре внимания автора процесс формирования радикально-демократического крыла крестьянско-плебейского движения в Великой крестьянской войне 1524—1525 гг., возглавлявшегося Т. Мюнцером. Прослеживая этот процесс на материале чрезвычайно широкого круга источников, М. М. Смирин применил оригинальный метод исследования идеологических проблем, который он противопоставил принятой в буржуазной науке теории «филиации идей». Признавая, что Т. Мюнцер кое-что заимствовал у ряда своих идейных предшественников — Иоахима Флорского, немецких мистиков XIV в., гуситов, М. М. Смирин путем тонкого сопоставления их взглядов

со взглядами Т. Мюнцера пришел к выводу, что его мировоззрение в целом резко отличалось от мировоззрения этих более ранних мыслителей и что отдельные заимствования у них не могут объяснить совокупность революционных взглядов вождя крестьянско-плебейского лагеря в Крестьянской войне XVI в. Он показал, что революционное, действенное, доступное широким массам учение Мюнцера возникло прежде всего под воздействием той социальной атмосферы, в которой он жил и действовал, и, прежде всего, отражало в нарастающей классовой борьбе Германии его времени социальные требования и чаяния крестьянско-плебейских масс. Определив таким образом социальные истоки этого революционного учения, М. М. Смирин в то же время показал на большом конкретном материале его активную роль в ходе крестьянской войны, в частности, в Тюрингенском восстании. Опираясь на теоретические положения Ф. Энгельса о резкой противоположности во взглядах Лютера и Мюнцера как вождей бюргерской и крестьянско-плебейской оппозиций, М. М. Смирин произвел тщательное и детальное сопоставление их взглядов на очень обширном конкретном материале, полностью подтверждающее эти положения Энгельса. Заслугой М. М. Смирина является прежде всего то, что он перенес центр тяжести идейного конфликта между Мюнцером и Лютером из области конфессиональной в область социальную, дав ценный образец для подхода к анализу идеологических явлений вообще. Вместе с тем М. М. Смирин положил в советской медиевистике начало более сложному подходу к проблеме Реформации в целом: установив, что не только в теории, но и в конкретном анализе необходимо искать в реформационных движениях XVI в. не одну лишь бюргерскую, но и крестьянско-плебейскую, народную струю, выражавшую религиозные и скрытые за ними социально-политические воззрения широких народных масс. Работа М. М. Смирина сыграла большую роль в советской медиевистике и в другом отношении: своим анализом идейных и социально-политических конфликтов, имевших место в Германии XVI в., М. М. Смирин подкрепил рядом новых фактов и соображений известное положение Ф. Энгельса о том, что Реформация в Германии явилась первым актом буржуазной революции в Европе и впервые выдвинул и обосновал конкретным материалом ныне широко распространенную в советской медиевистике концепцию, согласно которой Реформация, Крестьянская война в Германии рассматриваются как и первая, хотя и неудавшаяся буржуазная революция.

Наряду с работой М. М. Смирина большое значение и в познавательном, и в методологическом смысле имели исследования А. Н. Чистозвонова, завершившиеся изданием монографии «Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века» (М., 1964 г.). Продолжая развивать и углублять марксистско-ленинскую методологию и методику исследования идеологических проблем, А. Н. Чистозвонов удачно применил ее к анализу анабаптизма — одного из главных течений «народной реформации XVI в.», тем самым значительно расширив наши представления о радикально-демократической струе в европейской Реформации. Книга основана в значительной степени на материалах голландских архивов. Рассмотрению идеологии и движения анабаптистов в Нидерландах автор предпосылает серьезный, основанный на материале источников, анализ экономического и социально-политического развития северных провинций Нидерландов. Автор подчеркивает переходный характер экономики и социальных отношений этого периода, переплетение в них новых капиталистических и старых феодальных форм собственности и эксплуатации, то что новые отношения часто скрывались в старых

формах, которые тормозили их развитие. В этой связи книга А. Н. Чистозвонова имеет существенное значение для решения спорной проблемы генезиса капитализма и первоначального накопления. Выяснив таким образом экономические и социальные условия, в которых возникло реформационное движение в Нидерландах, А. Н. Чистозвонов обращается к выяснению его идейных корней: прослеживая развитие анабаптизма в Западной Европе в первой трети XVI в., он приходит к выводу, что наибольшее значение для складывания анабаптистской доктрины имели учения не немецких анабаптистов 20-х гг., близких к Мюнцеру, но швейцарских анабаптистов, которые после репрессий конца 20-х гг. перенесли свою деятельность в ряд других районов Европы, в том числе в Нидерланды. С их деятельностью автор книги связывает и превращение анабаптизма в международное течение, которое, однако, нашло, по его мнению, свое наиболее яркое открытое и революционное проявление только в Нидерландах и пограничной с ними Вестфалии, поскольку в этих районах в 30—40-х гг. XVI в. особенно обострились социальные противоречия и существовали давнишние еретические традиции (например, секта сакраментистов), подготовившие быстрое распространение анабаптизма.

Наибольший интерес представляют главы книги, посвященные Мюнстерской коммуне 1531 г. и анабаптистским движениям в Нидерландах 1534—35 гг. Тонко анализируя разнообразные источники, А. Н. Чистозвонов обнаружил тесные организационные и идейные связи между мюнстерскими и нидерландскими анабаптистами, внимательно проследил разногласия в лагере мюнстерцев, их программу, тактику, их религиозные и этические воззрения. Он пришел к выводу, что «коммунизм» анабаптистов был проявлением стихийного стремления к социализму угнетенных масс, который был выражением их глубокого протеста против несправедливостей существующего строя и в той или иной форме всегда был присущ идеологии этих масс в средние века. Вскрывая стихийно-революционный характер воззрений анабаптистов, которые в некоторых отношениях опережали ход истории, выдвигая задачи, выходившие за рамки задач назревавшей буржуазной революции (например, требование ликвидации всякой собственности и государства), А. Н. Чистозвонов в то же время ярко показывает общую незрелость, ограниченность и утопичность этих воззрений, которая не могла не привести к существенным просчетам движения и обусловила в конечном итоге неизбежность его поражения и в Мюнстере, и в Северных Нидерландах. Книга А. Н. Чистозвонова, представляющая первое научное марксистское исследование по истории анабаптизма, дает также первую, подлинно объективную интерпретацию истории Мюнстерской коммуны, которая постоянно подвергалась грубой и злобной фальсификации в буржуазной историографии[230]).

***

Одной из наиболее прочных и старых традиций советской медиевистики с начала ее существования был постоянный интерес к проблемам классовой борьбы во всех ее проявлениях. В 20-е — начале 30-х гг. подавляющее большинство работ советских медиевистов, преимущественно научно-популярных, было посвящено именно этой тематике[231]), которая выдвигалась на первый план в изучении сред-

[230]) Более подробную характеристику работы А. Н. Чистозвонова см. в рецензии М. А. Барга: «Средние века», вып. 26, 1964.

[231]) Очерки истории исторической науки в СССР, т. IV под ред. М. В. Нечкиной и др. М., 1966, стр. 592—594.

невековья. Однако в то время научная база для марксистских исследований по этому вопросу была недостаточно разработана, различные проявления классовой борьбы рассматривались часто в отрыве от ее конкретных экономических и социальных предпосылок, а поэтому грешили известной модернизацией и недостаточным историзмом. С середины 30-х гг., когда основное внимание советских медиевистов было сосредоточено на изучении социально-экономической истории, была заложена основа для более глубокого и историчного подхода к этим проблемам. Классовая борьба стала рассматриваться теперь как органический неотъемлемый элемент общественной жизни средневекового общества на всех его этапах. Это привело к тому, что во всех крупных работах советских историков, все равно по аграрной, городской истории или истории государства и идеологии, вопросам классовой борьбы всегда отводилось существенное место. Многие из упоминавшихся выше в другой связи исследований — В. И. Рутенбурга, М. М. Смирина, Н. А. Сидоровой, А. Н. Чистозвонова, Н. М. Бортника, В. Ф. Семенова, З. В. Удальцовой, А. В. Конокотина и др.— могут быть расценены так же, как и работы по истории классовой борьбы. Наряду с этим в последние годы появилось большое количество статей, специально посвященных конкретной истории тех или иных народных движений. Помимо уже упоминавшихся ранее можно указать серию интересных статей М. М. Себенцовой по истории городских движений во Франции XIV—XV вв.[232]), статьи М. А. Покровской и А. А. Лозинского[233]), В. Л. Керова[234]), Э. И. Лесохиной и А. И. Коробочко[235]), статьи А. К. Горфункеля и А. Д. Роловой[236]), Е. В. Кузнецова[237]), Ю. М. Сапрыкина и Т. С. Осиповой[238]), М. М. Смирина[239]) и др.

Характерной особенностью подавляющего большинства этих работ является то, что классовая борьба рассматривается в них как результат конкретных социально-экономических и политических условий. Подавляющее большинство советских медиевистов, придавая огромное значение классовой борьбе в историческом процессе, исходили из известного положения исторического материализма, согласно которому классовая борьба является порождением структуры и эво-

---

[232]) М. М. Себенцова. Кабошьены и ордонанс 1413. «Ученые записки» Московского гос. пединститута им. В. И. Ленина, т. XXXII, вып. 3, 1946; ее же. Восстание «Гарель» в Руане. 1382 г. «Ученые записки» Московского гос. пединститута им. В. И. Ленина, т. 104, вып. 5, 1957; ее же. Восстание кабошьенов. «Труды» Московского историко-архивного института, т. 12, 1958.

[233]) М. А. Покровская. Стачка лионских печатников 1539—1541 г. «Очерки соц. экономической и политической истории Англии и Франции XIII—XVII вв»; А. А. Лозинский. Борьба за власть в парижском муниципалитете после «дня баррикад» (1588—1589). «Средние века», вып. VIII, 1956 и др.

[234]) В. Л. Керов. Восстание «пастушков» в Южных Нидерландах и во Франции в 1251 г. «Вопросы истории», 1956, № 6.

[235]) Э. И. Лесохина. Движение кроканов (1592—1598) «Средние века», вып. VI, 1955; А. И. Коробочко. Восстание камизаров (1702—1705 гг.) «Средние века», вып. III, 1951.

[236]) А. К. Горфункель. Восстание в Вольферре против Лоренцо Медичи в 1477 г. «Ученые записки» Ленинградского гос. университета. Серия исторических наук, вып. 17, 1950 и др.

[237]) Е. В Кузнецов. Народные восстания в Англии последних лет XV в. «Научные доклады высшей школы». Исторические науки, 1961, № 1.

[238]) Ю. М. Сапрыкин. Начало ирландского восстания (1641—1652). «Средние века», вып. 23, 1963 и др.; Т. С. Осипова. Борьба ирландского народа против английской колонизации (вторая половина XVI — начало XVII вв.). М., 1962.

[239]) М. М. Смирин. Социальная борьба в горных районах Саксонии в конце XV — начале XVI вв. и во время Крестьянской войны. «Средние века», вып. 24, 1963, 25, 1964.

люции экономического базиса общества, который составляет основу всего общественного развития и в том числе самой классовой борьбы. Однако наряду с этой общераспространенной точкой зрения в советской медиевистике выдвигалась и другая. Согласно ей классовая борьба рассматривается как первооснова исторического процесса, определяющая экономическую, социальную и идейную жизнь общества. Эта концепция, по сути дела, представляет собой некоторое видоизменение тех упрощенных и схематических представлений 20-х и 30-х гг., которые отождествляли историю с историей классовой борьбы и описанием социально-экономических формаций.

Споры между сторонниками этих двух концепций возникали в советской медиевистике неоднократно по разным конкретным поводам, но суть заключалась именно в этих принципиальных расхождениях.

Одним из первых наиболее ярких проявлений упрощенного схематизированного подхода к одной из важных проблем истории классовой борьбы как средневекового, так и античного периода, явилась так называемая теория «революции рабов». Сущность этой теории, которая была в конце 30-х гг. выдвинута некоторыми античниками[240]), а затем в 40-е гг. имела распространение среди медиевистов, в общих чертах сводилась к следующему. Крушение рабовладельческой Западноримской империи трактовалось как прямое и непосредственное следствие народных движений III—V вв., а поскольку рабам, как наиболее угнетенному классу римского общества, приписывалась роль руководителя — гегемона этой революции, последняя по аналогии с буржуазными и пролетарскими революциями определялась как «революция рабов». Наиболее яркое конкретно-историческое воплощение эта концепция нашла в работах А. Д. Дмитрева[241]).

Очевидные противоречия этой схемы со взглядами Ф. Энгельса по этому вопросу, высказанными в его работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» объяснялись тем, что Энгельс будто бы не имел достаточных данных о характере народных движений последних столетий существования Римской империи и его взгляды по этому вопросу устарели[242]).

Нет сомнения, что на оценку революции, совершившейся при переходе от античности к средневековью, сильное влияние оказала сказанная И. В. Сталиным фраза о том, что «революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся». Однако то, что на базе этой отдельной фразы выросла целая теория, почти не подтвержденная фактами, свидетельствует об упрощенном и схематичном понимании в то время многими советскими медиевистами роли классовой борьбы и революций в докапиталистических формациях. Ведь эта теория подменяла конкретно-исторический анализ абстрактными рассуждениями о роли народных масс в революциях вообще, пыталась представить роль рабов в переходе от античности к средним векам наподобие роли буржуазии в буржуазных, пролетариата — в пролетарских революциях, игнорируя реальные факты, свидетельствовавшие о резких от-

---

[240]) Впервые эта теория была выдвинута А. В. Мишулиным в его книге «Спартаковское восстание. Революция рабов в Риме в I веке до н. э.». М., 1936.

[241]) Эта точка зрения наиболее полное выражение нашла в статьях: А. Д. Дмитрев. Движение багаудов. «Вестник древней истории», 1940, № 3—4; его же. Восстание вестготов на Дунае и революция рабов, там же, 1950, № 1; его же. Движение latrones как одна из форм классовой борьбы в Римской империи, там же, 1951, № 4.

[242]) Этот вывод также серьезно не аргументировался.

личиях этих более поздних революций от социальной революции, сокрушившей Римскую империю.

В 40-х гг., когда в исторической науке были сильны догматизм и цитатничество, теория «революции рабов», несмотря на ее слабую аргументированность, не встретила со стороны медиевистов должного отпора. Ее влияние долгое время препятствовало действительной научной разработке проблемы революционного перехода от античности к средним векам, так как всякий вывод, противоречивший этой абстрактной теории, объявлялся отступлением от марксизма-ленинизма. Правда, появление этой теории стимулировало изучение народных движений III—V вв. н. э. Исследования по данной тематике (в частности, работы упоминавшегося А. Д. Дмитрева) значительно расширили наши конкретные знания и кругозор в этом вопросе. Однако они во многих случаях превратно толковали роль народных движений, подтягивая выводы к заранее заданной схеме и, главное, отрывали эти движения от их действительных экономических и социальных предпосылок.

Но даже эти во многом предвзятые исследования в конечном итоге не подтвердили теорию «революции рабов». Они, конечно, показали большой размах народных движений в позднеримской империи, но в то же время выяснили и их неорганизованность, стихийность, их разнородный социальный состав, отсутствие у них положительной программы и неизбежность их поражения, подтвердив тем самым выводы Ф. Энгельса и В. И. Ленина о неспособности античных рабов освободить себя как класс путем революционного восстания. Это привело к самоликвидации теории «революции рабов» в ее чистом виде уже в самом начале 50-х гг. Однако в силу того, что она в течение ряда лет закрывала путь для изучения всех других аспектов кризиса Римской империи, кроме народных движений, проблема революционного перехода от античности к средним векам в советской медиевистике до сих пор остается нерешенной, а специфика социальной революции этого времени до конца невыясненной[243]).

В 1950—1951 гг. проблема классовой борьбы вызвала острую дискуссию более общего методологического характера: о месте и роли классовой борьбы в развитии феодального общества, и, по существу, вообще в истории. Вопрос этот поднял Б. Ф. Поршнев, один из виднейших советских специалистов по истории крестьянских движений во Франции XVI—XVII вв. Итоги его многолетних исследований в этой области были подведены в большой монографии — «Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623—1628)» (М.—Л., 1948), которая имела большое значение для разработки истории классовой борьбы в советской медиевистике. На основе новых архивных материалов, хранящихся в Ленинграде, Б. Ф. Поршнев нарисовал яркую картину ряда крупных и мелких восстаний в селах и городах Франции конца XVI — начала XVII вв. В монографии была хорошо показана специфика феодальной эксплуатации крестьянства того времени, которая выражалась, главным образом, в непрерывном усилении налогового гнета, практике военных постоев, в силу чего восстания крестьян и горожан направлялись не столько против отдельных феодалов, сколько против абсолютистского государства и его администрации. Б. Ф. Поршнев показал на многих конкретных примерах, как в ходе народных движений складывался стихийный союз крестьянства с городским плебейством. Вместе с тем он установил, что буржуазия проявляла большую нерешительность в поддержке этих движений,

[243]) См. ст. А. Р Корсунского. Проблема революционного перехода от рабовладельческого строя к феодальному в Западной Европе. «Вопросы истории», 1964, № 5.

хотя объективно они были ей выгодны, так как подрывали устои феодализма. Исходя из этого, Б. Ф. Поршнев выдвинул новую теорию Фронды, которую он считал неудавшейся из-за предательства буржуазии буржуазной революцией (наподобие Реформации и Крестьянской войны в Германии). Этот взгляд на Фронду вызвал ряд серьезных возражений со стороны С. Д. Сказкина, В. В. Бирюковича, А. Д. Люблинской, считавших, что в период Фронды во Франции еще не сложились предпосылки для буржуазной революции. Уже в этой конкретной и весьма яркой работе было заметно стремление Б. Ф. Поршнева выдвинуть народные движения конца XVI—XVII вв. в качестве главной пружины всего социально-политического развития Франции этих столетий.

Общая тенденция, наметившаяся в этой работе, получила теоретическое обобщение в серии статей Б. Ф. Поршнева, опубликованных в 1949—1950 гг.[244]). В этих статьях Б. Ф. Поршнев высказал ряд интересных оригинальных мыслей и впервые попытался поставить общий вопрос о воздействии классовой борьбы на развитие феодального общества и государства. Однако выдвинутая им по этому вопросу концепция сразу же вызвала возражения и споры.

Б. Ф. Поршнев высказал мнение, что самым главным фактором в развитии феодального общества является классовая борьба между крестьянами и феодалами, которую он при этом рассматривал вне связи с ее экономическими и социальными предпосылками как некую абстрактную и самодовлеющую силу. В понятие классовой борьбы он включал не только все формы крестьянского сопротивления, но и все действия крестьян в экономической сфере, направленные на улучшение их материального положения. С этой точки зрения рост производительных сил в сельском хозяйстве, разделение труда между ремеслом и земледелием, рост городов и товарного производства, эволюция от отработочной ренты к денежной, смягчение крепостничества — все это рассматривалось Б. Ф. Поршневым исключительно как результат классовой борьбы крестьянства. Он считал также, что крестьянская борьба на протяжении всего средневековья спасала феодальную экономику от развала, так как господствующий класс феодалов в своей необузданной жажде насилия и наживы давно истощил бы базу феодальной экономики — крестьянское хозяйство, если бы не сопротивление крестьян. Вместе с тем Б. Ф. Поршнев чрезмерно упрощал характер классовой борьбы в феодальном обществе, сводя ее на всех этапах истории средних веков к борьбе крестьян с феодалами, отрицая значение борьбы городов с сеньерами и борьбы между буржуазией и дворянством в позднее средневековье. Поэтому в крестьянстве он видел главную движущую силу буржуазных революций, отрицая какую-либо революционную роль буржуазии даже на первых этапах ее существования и, в частности, в ранних буржуазных революциях. В классовой борьбе Б. Ф. Поршнев видел также единственную причину развития феодального государства и, в частности, процесса государственной централизации, который он объяснял исключительно страхом феодалов перед крестьянскими движениями. Из этого он делал вывод об абсолютной реакционности феодального государства

---

[244]) Б. Ф. Поршнев. Современный этап марксистско-ленинского учения о роли масс в буржуазных революциях. «Изв. АН СССР». Серия истории и философии, т. V, № 6, 1948; его же. История средних веков и указание товарища Сталина об «основной черте феодального общества», там же, т. VI, № 6, 1949; его же. Формы и пути крестьянской борьбы против феодальной эксплуатации, там же, т. VII, № 3, 1950; его же. Сущность феодального государства, там же, том VII, № 5, 1950.

на всех этапах его истории и отрицал прогрессивность процесса государственной централизации. В борьбе крестьян с феодалами складывались, по мнению Б. Ф. Поршнева, и буржуазные нации.

Все это далеко идущие выводы Б. Ф. Поршнев делал не столько на основе конкретного анализа исторических фактов, которые использовались в статьях лишь в виде отрывочных и односторонних иллюстраций, но, главным образом, с помощью умозрительных рассуждений и абстрактных логических операций, а также отдельных цитат из произведений классиков марксизма-ленинизма.

Статьи Б. Ф. Поршнева вызвали весьма острую открытую дискуссию, которая началась на кафедре истории средних веков МГУ в декабре 1950 г., а затем в более широком масштабе продолжалась в начале 1951 г. в Институте истории АН СССР[245]) и получила широкий отклик в периодической печати[246]). Часть медиевистов (З. В. Мосина, Тираспольская, Мельникова и др.), а также некоторые философы солидаризировались в этой дискуссии с Б. Ф. Поршневым. Против него решительно выступили С. Д. Сказкин, Е. М. Косминский, В. В. Стоклицкая-Терешкович, Н. А. Сидорова, Ю. М. Сапрыкин, В. В. Бирюкович, М. М. Смирин, А. Д. Эпштейн, Ю. Л. Корхов. Почти все его оппоненты признали важность поставленных в статьях проблем, ценность отдельных наблюдений автора и необходимость дальнейшей конкретной разработки вопроса, но подвергли концепцию Б. Ф. Поршнева в целом весьма суровой критике. Все они отмечали схематичный и абстрактно-социологический характер этой концепции, в которую не укладываются общеизвестные исторические факты и явления: то, что феодалы далеко не всегда действовали как разрушители и разорители собственного благополучия, что в феодальной деревне огромную роль в качестве регулятора отношений наряду с крестьянским сопротивлением играл обычай, совершенно игнорируемый Б. Ф. Поршневым и т. д. Оппоненты Б. Ф. Поршнева отмечали схематизм и недоказанность выдвинутого им «закона» постоянного возрастания и обострения классовой борьбы в феодальном обществе, указывали, что он не соответствует реальным фактам. Они опровергали конкретными примерами из истории Германии, Италии и даже Англии и Франции тезис Б. Ф. Поршнева о том, что рост крестьянских движений непосредственно приводил к централизации феодального государства. Его упрекали в неисторическом абстрактном подходе к классовой борьбе крестьянства и роли буржуазии в феодальном обществе, указывая на сугубую конкретность классовой борьбы как исторического факта. Все оппоненты Б. Ф. Поршнева в принципе соглашались с тем, что классовая борьба оказывает огромное влияние и на экономический базис, и на надстройку феодального общества. Но они резко критиковали Б. Ф. Поршнева за полный отрыв классовой борьбы от ее экономических и социальных основ и особенно за то, что он непомерно расширяет понятие классовой борьбы и подменяет ею прогрессивное развитие производительных сил и производственных отношений.

Хотя оппоненты Б. Ф. Поршнева, как и он сам, широко пользовались принятым в то время методом цитатной аргументации, они все

[245]) Отчеты об этой дискуссии см. в журнале «Вопросы истории», 1951, № 6 и в «Известиях АН СССР», т. VIII, № 2, 1951.

[246]) См. статьи: Е. А. Косминский. О проблеме классовой борьбы в эпоху феодализма по поводу статей Б. Ф. Поршнева). «Изв. АН СССР». Серия истории и философии, т. VIII, 1951, № 3; В. В. Бирюкович. О некоторых вопросах развития феодального общества. «Вопросы истории», 1952, № 2, а также статью П. Н. Галанзы в «Вестнике Московского университета». Серия общ. наук, 1951, № 4.

же смогли противопоставить его абстрактным рассуждениям также достаточно обильный фактический материал, накопленный в предшествующие годы советской медиевистикой[247]).

Дискуссия, несмотря на присущие ей догматизм и цитатничество, в целом сыграла известную положительную роль в развитии советской медиевистики. Она поставила перед историками вопрос о необходимости конкретных исследований по вопросу о влиянии классовой борьбы на жизнь феодального общества в целом, показала наиболее сложные и спорные стороны этого вопроса. Вместе с тем дискуссия выявила полную неразработанность вопросов политической экономии феодализма, без учета которой была невозможна дальнейшая работа в этом направлении. В последующие годы Б. Ф. Поршнев обратился к изучению политэкономии феодализма. Результатом этой его работы явилась книга «Очерк политической экономии феодализма» (М., 1956), в которой он дал свою во многом интересную, и оригинальную интерпретацию основных категорий феодальной экономики — феодального производства, земельной собственности, феодальной ренты, натурального и денежного хозяйства, условий зарождения капиталистического производства.

Дискуссия 1950—1951 гг. не привела к установлению единой точки зрения на спорную проблему. В 1964 г. вышла книга Б. Ф. Поршнева «Феодализм и народные массы», в которой он развил дальше и попытался подкрепить новыми аргументами свою концепцию[248]). Книга эта ставит своей целью «показать действие некоторых коренных законов исторического материализма[249]) на материале феодальной формации и представляет собой теоретическое социологическое исследование, охватывающее в той или иной степени все стороны развития феодального общества. В ней рассматривается вопрос о роли классовой борьбы в феодальном обществе, о формах крестьянского сопротивления и его отражения в сознании народных масс, о роли феодального государства в подавлении классовой борьбы, и о характере ранних буржуазных революций. Она заслуживает внимания и одобрения, как первая попытка создать комплексный социологический очерк истории феодализма в его основных проявлениях. Б. Ф. Поршнев значительно шире, чем в статьях 1949—50 гг., пользуется в своей аргументации фактическим материалом, накопленным советской медиевистикой, а также историками СССР и стран Востока за последние годы, более подробно развивает свои основные положения, иногда снабжает их некоторыми оговорками. Однако общая социологическая концепция автора по вопросу об определяющей роли классовой борьбы в феодальном обществе не претерпела существенных изменений. Она лишь получила более стройную и законченную форму, сохранив при этом свой в целом абстрактный и схематический характер. У нее есть по-прежнему решительные противники и сторонники, как видно из противоречивой оценки, которую эта книга получила в печати[250]). Причем ее критики по существу повторяют те возражения, которые делались Б. Ф. Поршневу в первой дискуссии.

---

[247]) См. «Вопросы истории», № 6, 1951.

[248]) В основу этой книги положены значительно переработанные «Очерки по политэкономии феодализма» и статьи начала 50-х гг.

[249]) Б. Ф. Поршнев. Феодализм и народные массы. М., 1964, стр. 4.

[250]) См. статьи: П. Я. Любимов — К вопросу о роли народных масс в истории. «Вопросы истории», 1965, № 9; А. В. Гулыга и В. Ф. Келле. Письмо в редакцию. «Вопросы истории», 1966, № 3; А. И. Голота. Рецензия на книгу Б. Ф. Поршнева. «Вопросы философии», 1965, № 5.

Это говорит о том, что дискутировать на прежнем уровне уже не имеет смысла.

Для подтверждения или опровержения взглядов Б. Ф. Поршнева на место и роль классовой борьбы в феодальном обществе уже недостаточно, на современном этапе развития советской медиевистики, одних лишь цитат и отдельных конкретно-исторических иллюстраций. Необходим серьезный научно-объективный анализ всего богатого конкретного материала по основным проблемам истории средних веков накопленного советской медиевистикой. Нужен также ряд новых специальных исследований по вопросу о воздействии классовой борьбы народных масс на различные стороны жизни феодального общества. Только при этих условиях можно будет нарисовать более точную и сложную картину эволюции феодального общества и происходившей в нем классовой борьбы.

Без этого любые абстрактные рассуждения на эту тему едва ли смогут помочь разрешению этого затянувшегося спора по столь важной методологической проблеме.

Много сделано за последние 20 лет советскими медиевистами и в изучении такого важного аспекта истории классовой борьбы, как ранние буржуазные революции.

В работах А. Н. Чистозвонова[251]) новое освещение получила Нидерландская буржуазная революция конца XVI в. Он, в частности, указал впервые на решающую роль в ней крестьянских и плебейских движений как на севере, так и на юге Нидерландов, объяснил победу революции на севере и поражение на юге различиями в позиции буржуазии в этих районах, выдвинул интересную мысль о том, что иноземное вмешательство в Нидерландскую революцию было обусловлено тем, что дворянство и отчасти буржуазия, определявшие политику оранжистов, боясь народных движений, пытались освободить страну от испанского гнета и одновременно обезвредить народные массы с помощью иностранной интервенции.

В советской историографии в последние годы сложилась законченная стройная и глубоко аргументированная концепция английской революции XVII в. В противовес зарубежной историографии, которая рассматривает это событие как чисто политический и религиозный конфликт, эта концепция трактует его как глубокую социальную буржуазную революцию, покончившую с феодальным строем в Англии. Хотя по принятой теперь периодизации английская революция стоит уже за пределами средних веков, однако ведущую роль в разработке этой темы до сих пор играли историки-медиевисты: Е. А. Косминский, Я. А. Левицкий, С. И. Архангельский, В. Ф. Семенов, В. М. Лавровский, Ю. М. Сапрыкин, Г. Р. Левин. Их перу принадлежит коллективный двухтомный труд по истории английской революции 1640—1660 гг.[252]), М. А. Баргу и В. М. Лавровскому принадлежит также сжатый очерк истории этой революции[253]), а С. И. Архангельскому посмертно изданная книга о крестьянских движениях эпохи революции[254]).

В работах М. М. Смирина на большом материале путем тщательного анализа предпосылок, движущих сил и идейных течений Рефор-

---

[251]) А. Н. Чистозвонов. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958.

[252]) «Английская буржуазная революция» под редакцией Е. А. Косминского и Я. А. Левицкого, т. I—II, М., 1954.

[253]) В. М. Лавровский и М. А. Барг. Английская буржуазная революция XVII в. М., 1958.

[254]) С. И. Архангельский. Крестьянские движения в Англии 40—50-х гг. XVII в. М., 1960.

мации и Крестьянской войны в Германии была надежно подкреплена оценка Ф. Энгельсом этих событий, как первой неудавшейся буржуазной революции в Западной Европе. Однако именно этот вопрос в 1956—1957 гг. вызвал дискуссию, поводом к которой послужила статья О. Г. Чайковской, выступившей против этой общепризнанной в советской медиевистике концепции[255]). О. Г. Чайковская утверждала, что уровень развития капиталистических отношений в Германии был слишком низок, чтобы породить буржуазию, способную даже начать, а не то что довести до конца буржуазную революцию. Там было лишь средневековое бюргерство — старое средневековое сословие, но отнюдь не новый класс — буржуазия. Поэтому Реформацию и Крестьянскую войну нельзя рассматривать как единую революцию, но как два самостоятельных явления: Реформация это социальное и идейное движение бюргерства, направленное не против феодализма вообще, но только против католической церкви; Крестьянская же война — это крестьянское восстание эпохи зарождения капиталистических отношений, более широкое и теснее связанное с плебейскими выступлениями, чем восстания более раннего периода, но в принципе от них не отличное. Эта новая концепция, однако, не была подкреплена в статье ни серьезным анализом источников, ни сколько-нибудь полными данными об уровне развития капитализма в Германии начала XVI в. О. Г. Чайковская пыталась обосновать ее довольно произвольным толкованием общеизвестных высказываний Ф. Энгельса на этот счет, доказывая, что, поскольку в немецком языке понятия «бюргерский» и «буржуазный» выражаются одним словом «bürgerliche», всюду, где Энгельс говорит о «буржуазной революции», он имел в виду «бюргерскую революцию». При этом оставалось неясно, что он понимал под «бюргерской революцией». Таким образом, автор пытался использовать в качестве союзника Ф. Энгельса, против взглядов которого он по существу выступил.

По статье О. Г. Чайковской в журнале «Вопросы истории» развернулась дискуссия. В статье «О характере экономического подъема и революционного движения в эпоху Реформации»[256]) М. М. Смирин, отстаивая свою концепцию, не ограничился весьма убедительной аргументацией в пользу общепринятой трактовки высказываний Ф. Энгельса, но привел большой фактический материал, свидетельствующий о сравнительно высоком уровне развития капиталистических отношений в предреформационной Германии. Он справедливо отметил, что О. Г. Чайковская, рассуждая о какой-то абстрактной буржуазии, игнорирует тот факт, что в среде немецкого бюргерства существовали очень разные социально-политические и идейные течения и, в частности,— наличие радикального бюргерства, сыгравшего наиболее прогрессивную роль в событиях. И он, и другие оппоненты О. Г. Чайковской указывали, что она слишком односторонне понимает буржуазную революцию как дело одной лишь буржуазии, недооценивая роль крестьянских выступлений в ходе этой неудавшейся буржуазной революции. Кроме М. М. Смирина, в дискуссии приняли участие также А. Д. Эпштейн, Ю. М. Григорьян, С. М. Стам и др.[257]).

---

[255]) О. Г. Чайковская. Вопрос о характере реформации и крестьянской войны в Германии в советской историографии последних лет, «Вопросы истории», 1956, № 12.

[256]) «Вопросы истории», 1957, № 6.

[257]) А. Д. Эпштейн. К вопросу о Реформации и Крестьянской войне в Германии как первой буржуазной революции. «Вопросы истории», 1957, № 8; Ю. М. Григорьян К вопросу об уровне экономики, о характере реформации и Крестьянской войны в Германии. «Вопросы истории», 1958, № 1; С. М. Стам. Чем же в действительности была реформация в Германии? «Вопросы истории, 1958, № 4

Как показали дискуссия в печати и подведение ее итогов на заседании сектора истории средних веков Института истории АН СССР (1958 г.), точка зрения О. Г. Чайковской не получила поддержки со стороны большинства участников дискуссии и была признана недостаточно аргументированной. Соглашаясь в целом с концепцией М. М. Смирина, некоторые историки отмечали вместе с тем необходимость при оценке Реформации и Крестьянской войны больше акцентировать их отличия от других ранних буржуазных революций. Например, А. Д. Эпштейн, признавая, что речь должна идти о неудавшейся буржуазной революции, подчеркивал большую специфику расстановки в ней социальных сил, обусловившую ее неудачу. Он высказал мысль о том, что основная часть немецкого бюргерства еще не превратилась в буржуазию, была всеми своими интересами связана с князьями и поэтому занимала в событиях этой революции реакционные позиции, выступая, в частности, против централизации. Наиболее же прогрессивную силу этой революции наряду с крестьянско-плебейским лагерем составляли крупные купеческие и промышленные компании (Фуггеры и др.), представлявшие интересы нарождающейся буржуазии и выступавшие против сепаратизма князей[258]).

Столь различное толкование одних и тех же событий в советской медиевистике оказалось возможным, как выяснила дискуссия, вследствие чрезвычайно слабой разработки проблемы генезиса капитализма в Германии. В конечном итоге в центре внимания участников спора оказался именно этот вопрос, а сам спор перерос в продолжение дискуссии 1953—1954 гг. о раннем капитализме. Поэтому главным положительным результатом этой дискуссии по вопросу о сущности Реформации и Крестьянской войны явился повышенный интерес советских медиевистов-германистов к вопросу о генезисе капитализма в Германии XV—XVI вв. и появление ряда работ на эту тему. В частности, ныне подготовленная к печати М. М. Смириным монография «К истории капитализма в Германии» не оставляет сомнения в том, что в Германии XVI в. рос класс буржуазии, заинтересованной в ликвидации феодальных отношений, который противостоял как прогрессивная социальная сила не только еще сохранявшемуся средневековому бюргерству и городскому патрициату, но и торгово-промышленным и ростовщическим крупным компаниям, которые, как полагает в противоположность А. Д. Эпштейну М. М. Смирин, представляли наиболее реакционные, по существу, еще феодальные, тенденции в торгово-промышленной среде. Не подлежит сомнению, что действительно научное решение вопроса о движущих силах Реформации и Крестьянской войны в Германии требует еще более углубленного и тщательного выяснения специфики в позиции буржуазии, скрывавшейся под общим названием бюргерства и роли компаний и их связей с имперскими и княжескими властями.

***

На новую ступень в послевоенный период поднялись советские исследования по историографии средних веков. Правда, на первых порах медиевистам, работавшим в этой области, пришлось столкнуться с рядом трудностей. Уровень разработки историографических проблем к концу войны не отвечал тем требованиям, которые предъявляло к советским ученым значительное обострение идеологической борьбы в связи с началом «холодной войны» конца 40-х — начала 50-х гг.,

[258]) Эту же точку зрения А. Д. Эпштейн подробно развил в своей книге «История Германии от позднего средневековья до революции 1848 г.» (М., 1961), гл. I и II.

Не отвечало этим новым требованиям, в частности, и одностороннее, излишне благодушное отношение к буржуазно-либеральной русской медиевистике прошлого, проявившееся во время войны (см. выше) и особенно наглядно обнаружившееся в вып. II сборника «Средние века», посвященном памяти Д. М. Петрушевского (М., 1946), (в статьях Е. А. Косминского, В. М. Лавровского, В. В. Стоклицкой-Терешкович, рисовавших Д. М. Петрушевского как историка, близкого к марксизму). Этот выпуск сборника был подвергнут резкой критике в советской печати[259]). Наряду со справедливыми замечаниями в этой критике содержались весьма серьезные, хотя и бездоказательные обвинения и по адресу работ ряда советских медиевистов. Из их недостаточно критического отношения к дореволюционной русской историографии делался прямолинейный вывод о том, что и сами они являются «объективистами» или «экономическими материалистами». Такой ярлык пытались навесить на вышедшую в 1947 г. превосходную монографию Е. А. Косминского; разгромной критике был подвергнут учебник О. Л. Вайнштейна по историографии средних веков[260]); в буржуазном объективизме и некритическом отношении к буржуазной историографии обвинялись также В. М. Лавровский и А. И. Неусыхин[261]).

Однако главное состояло в том, что перед советскими медиевистами, как и перед всеми историками, была поставлена важная задача — вести острую повседневную борьбу с буржуазной историографией прошлого и настоящего, в частности, с современной англо-американской историографией. В связи с этим уже в конце 40-х — начале 50-х гг. ряд советских медиевистов обратился специально к историографической тематике[262]).

В 1949 г. вышла первая большая монография, специально посвященная истории медиевистики — книга М. А. Алпатова — «Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в.». В ней эволюция французской медиевистики и, в частности, так называемой германо-романской проблемы с конца XVIII до конца XIX в., рассматривалась в основном с точки зрения эволюции социально-политических идей французской буржуазии от прогрессивных в конце XVIII — начале XIX в. до крайне реакционных в конце XIX в. Самое яркое воплощение последних М. А. Алпатов видел в политических идеях и порожденной ими исторической концепции Фюстеля де Куланжа. Книга М. А. Алпатова содержала много полезного материала, ранее мало известного советским медиевистам: о политических взглядах Фюстеля де Куланжа, о характере той критики, которой его подвергли немецкие, французские и русские буржуазные историки,

---

259) См. «Литературная газета» от 8 сент. 1948 г.; «Культура и жизнь» от 21 сент. 1948 г.; см. также: О работе Института истории АН СССР, «Вопросы истории», 1948, № 11.

260) См. «Вопросы истории», 1949, № 3, стр. 153.

261) Там же, стр. 154.

262) Е. В. Гутнова. Т. Карлейль как историк. «Вопросы истории», 1945, № 5—6; ее же. Зеркало американской медиевистики (Обзор американского журнала «Speculum») «Вопросы истории», 1950, № 8; ее же. Упразднение «Салической правды» в реакционной буржуазной историографии. «Средние века», вып. III, 1951; И. Звавич. Рец. на кн.: М. Доббе. Исследования по истории английского капитализма. «Вопросы истории», 1947, № 4; Е. А Косминский. Классовая борьба в английской деревне XIII—XIV вв. (Очерк новейшей историографии), «Средние века», вып. III, 1951; Я. А. Левицкий. Средневековый город в кривом зеркале американского историка, там же; М. М. Заборов. Первый крестовый поход в изображении католического мракобеса, «Средние века», вып. III, 1951; С. А. Асиновская. Передовой русский медиевист Т. П. Грановский. «Средние века», вып. IV, 1953 и др.

о дальнейших судьбах исторических идей Фюстеля де Куланжа. Однако на этой книге отчасти сказались слабые стороны общего подхода советских историков к историографическим проблемам, характерного для конца 40-х — начала 50-х гг.: борьба с буржуазной историографией прошлого и настоящего мыслилась часто как огульное отрицание последней. Это исключало сколько-нибудь серьезное и многоплановое изучение критикуемых работ и концепций. Единственным критерием в оценке научного творчества того или иного буржуазного историка и его места в развитии исторической науки признавалась его политическая идеология. История исторической науки таким образом по существу сводилась к истории политических идей. Такой односторонний подход приводил часто к тому, что критика даже серьезных буржуазных ученых велась без опровержения их выводов по существу, основывалась лишь на анализе их политических воззрений, а поэтому подчас носила неглубокий и декларативный характер. Однако уже к середине 50-х гг. подход советских медиевистов к историографическим проблемам существенно изменился: наряду с изучением политической идеологии отдельных историков и целых направлений, все чаще их внимание стали привлекать и другие стороны развития исторической науки, что способствовало углублению историографического анализа и большей убедительности и целенаправленности критики буржуазной историографии.

Одной из первых больших работ, утверждавших эти новые принципы подхода к историографии средних веков, была монография А. И. Данилова «Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв.» (М., 1958), завершившая его предшествующие исследования в этой области[263]). Хотя эта книга была посвящена конкретной историографической проблеме, она имела большое общеметодологическое значение. А. И. Данилову удалось теоретически осмыслить и убедительно показать сложность и многосторонность задач подлинно научного историографического исследования. Он также считал необходимым в таких исследованиях прежде всего установить, какое влияние социально-политическая борьба и политические идеи данной эпохи оказывают на развитие исторической науки и место, которое последняя занимает в этой борьбе. Но этим, по его мнению, задачи историка исторической науки не исчерпываются. Он должен также исследовать теоретико-методологические основы каждого направления исторической мысли, установить связь их с предшествующим и последующим этапами в развитии исторической науки и проанализировать характер исследовательских методов отдельного историка или целой школы, особенности отбора и истолкования источников и т. д. Только рассмотрев все эти стороны развития исторической мысли и науки на определенном этапе, историк имеет право дать научную оценку результатов этого развития в интересующей его области.

А. И. Данилов при этом исходил из того, что историография не может быть сведена лишь к развитию политических идей и к смене методологических принципов, но представляет собой историю развития научных знаний в области истории. Эти теоретические положения,

---

[263]) См. А. И. Данилов. Капитулярий о поместьях Карла Великого и его интерпретация в исторической литературе. «Труды Томского госуниверситета им. В. В. Куйбышева», т. 121, вып. 2, 1953; его же. К вопросу о характере марковой теории Маурера и ее месте в историографии аграрных отношений средневековья. «Труды Томского госуниверситета им. В. В. Куйбышева», т. 128, 1951; его же. К критике допшианской концепции раннесредневековой вотчины. «Средние века», вып. IX, 1957 и др.

сформулированные во введении к книге, нашли свое практическое и весьма удачное воплощение в ее последующих частях. В первой ее части А. И. Данилов дал яркую характеристику классовых и идейно-методологических основ немецкой буржуазной медиевистики конца XIX — начала XX вв. и показал ее эволюцию от позитивизма к неокантианству. При этом он очень тонко вскрыл как социально-политические, так и гносеологические корни возникновения так называемого «критического» направления в буржуазной медиевистике. А затем он рассмотрел эволюцию в понимании буржуазными историками конца XIX — начала XX в. двух основных проблем истории раннего средневековья — общинной (часть вторая) и вотчинной (часть третья) теорий. При этом автор, критикуя и оценивая взгляды разных историков по этим вопросам, опирался на внимательный анализ их источниковедческой базы, исследовательских методов, принципов группировки материала. Благодаря этому, ему удалось избежать какого-либо упрощения в оценке рассматриваемых направлений и, в частности, не только убедительно показать усиление реакционных тенденций в буржуазной медиевистике «критического направления», но и вскрыть определенные закономерности развития научного знания в области медиевистики, вызвавшие к жизни появление этого направления и то новое, что оно внесло, несмотря на свою общую реакционность, в развитие исторической науки[264]).

Книга А. И. Данилова явилась одним из первых опытов научно-объективного и, вместе с тем, глубоко партийного подхода к изучению истории исторической науки. Такой подход, обеспечивающий наиболее действенную и аргументированную борьбу с буржуазной историографией за последние 10—12 лет прочно утвердился в советской медиевистике. Он находит свое выражение как в историографических разделах вышедших за последнее время работ по разным вопросам медиевистики, так и в отдельных статьях и монографиях, сборниках статей, специально посвященных историографическим проблемам (см. ниже) и критике буржуазной историографии. Для примера можно указать на выпуск XVIII сборника «Средние века», специально посвященный историографическим вопросам (1960 г.), сборник «Против фальсификации истории» (М., 1959), в котором была, в частности, опубликована серьезная критическая статья Е. А. Косминского «Реакционная историософия А. Тойнби», сборник «Критика новейшей буржуазной историографии (М.—Л., 1961), в котором приняли участие ленинградские медиевисты[265]).

В последние годы в Томском университете успешно работает целая группа молодых историков, специалистов по историографии истории. Результаты их научной деятельности систематически отражаются в ежегодно публикуемом с 1963 г. сборнике статей «Методологические и историографические вопросы исторической науки» (ответственный редактор А. И. Данилов)[266]). Для статей, помещенных в этих сборниках, характерно глубокое исследовательское рассмотрение теоретико-методологической основы взглядов и исследовательских приемов ряда

---

[264]) Более подробный разбор этой работы см. в рецензиях С. Д. Сказкина и М. А. Барга, помещенных в сб. «Средние века», вып. XVI, 1959 и в рецензии Е. В. Гутновой «Вопросы истории», 1959, № 5.

[265]) А. Д. Люблинская. Новейшая буржуазная концепция абсолютизма; О. Л. Вайнштейн. Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историография» В. И. Рутенбург. Реакционная сущность современной клерикальной историографии.

[266]) До настоящего момента вышло 4 таких сборника — в 1963, 1964, 1965 и 1966 гг.

крупных историков прошлого (Л. фон Ранке[267]), Г. Зибеля[268]), Фюстель де Куланжа[269], С. де Сисмонди[270]), Г. К. Шлоссера[271]), А. Пиренна[272]), М. Блока[273]) и мн. др.

За последние 10—12 лет значительно расширились как круг историографических проблем, разрабатываемых медиевистами, так и число историков, занимающихся этими проблемами.

Гораздо более детальному и специальному исследованию, чем в предшествующие годы, была подвергнута история отечественной дореволюционной медиевистики. Самый ранний ее этап — 30—60-е гг. XIX в.— освещался в статьях Е. А. Косминского, С. И. Архангельского, И. Н. Бороздина, Л. Н. Большаковой, М. Д. Бушмакина, Б. Г. Вебера, С. А. Асиновской и др.[274]). Большие успехи, в частности, были достигнуты в изучении научного наследия Т. Н. Грановского. В 1955 г. вышла в свет монография С. А. Асиновской «Из истории передовых идей в русской медиевистике (Т. Н. Грановский)», в которой автору на основе широко использованных архивных материалов (автографов и студенческих записей лекций Т. Н. Грановского) удалось показать первого русского медиевиста не только как прогрессивного общественного деятеля, но и как интересного, оригинального историка-эрудита и знатока источников. Значительное место в работе было уделено также рассмотрению исторических взглядов А. И. Герцена и В. Г. Белинского, которые, как выяснил автор, оказали значительное влияние на формирование исторических взглядов самого Грановского. Большое значение для дальнейшего изучения творчества Т. Грановского имела также подготовленная С. А. Асиновской публикация части записей лекций Т. Н. Грановского[275]).

Усиленно разрабатывается в последние годы история русской дореволюционной медиевистики 70-х — 90-х гг. XIX в. Появилось значительное количество работ, посвященных отдельным ее представи-

---

[267]) Н. И. Смоленский. О некоторых теоретико-методических принципах исторической концепции Леопольда фон Ранке (вып. 1, 1963); его же. Леопольд фон Ранке. Методология и методика исторического исследования (вып. 4, 1966).

[268]) В. А. Гавриличев. Теоретико-методологические основы исторических исследований Генриха фон Зибеля (вып. 1, 1963).

[269]) Г. К. Садретдинов. К критике куланжистской методики исторического исследования (вып. 2, 1964); его же. Суд Салической правды в интерпретации Фюстель де Куланжа (вып. 3, 1965).

[270]) В. В. Иванов. О теоретико-методологических принципах исторических исследований Симонда де Сисмонди (вып. 4, 1966).

[271]) В. А. Гавриличев. Теоретико-методологические основы гейдельбергской школы историков (20—40-е гг. XIX в.) (вып. 4, 1966).

[272]) Г. К. Садретдинов. Теоретико-методологические основы исторической концепции Анри Пиренна (вып. 4, 1966).

[273]) В. В Иванов. К характеристике идейно-методологических взглядов Марка Блока (вып. 3, 1964).

[274]) Е. А. Косминский. Жизнь и деятельность Т. Н. Грановского. «Вестник МГУ», Ист.- фил. серия, 1956, № 4; С. И. Архангельский. Исторические взгляды С. В. Ешевского. «Средние века», вып. VI, 1955; И. Н. Бороздин. К вопросу об ученых разногласиях русских медиевистов 40—50-х гг. XIX в. «Средние века», вып. VI, 1955; М. Д. Бушмакин. Н. А. Осокин — первый казанский медиевист. «Средние века», вып. XVII, 1960; Л. Н. Большакова. Проблема раннего средневековья в трудах С. В. Ешевского. «Научн. ежегодник Саратовского университета за 1955 г.»; И. И. Романов. Философские воззрения П. Н. Кудрявцева. «Сб. научных работ аспирантов Воронежского университета, 1959; З. И. Рогинский. Выдающийся ученый-просветитель (к 100-летию со дня смерти Т. Н. Грановского) «Уч. записки Ярославского пединститута», т. 22 (32), 1957.

[275]) Лекции Т. И. Грановского по истории средневековья. Предисловие, подготовка текста и примечания С. А. Асиновской. М. 1961.

телям: М. М. Ковалевскому[276]), М. Г. Виноградову[277]), И. М. Лучицкому[278]), Д. М. Петрушевскому[279]), А. Н. Савину[280]) и др.

Наряду с этим велись и комплексные исследования по этой проблеме. К их числу относится ныне уже завершенная докторская диссертация томского историка Б. Г. Могильницкого — «Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX в.— начала 900-х годов» — в значительной своей части опубликованная в виде статей[281]). Обобщающий характер носят также главы по истории русской дореволюционной медиевистики в I, II и III томах «Очерков истории исторической науки в СССР»[282]), написанные в значительной мере на основе собственных исследований М. А. Алпатовым[283]), Б. Г. Вебером, И. Н. Бороздиным, Б. Г. Могильницким и А. И. Даниловым.

Благодаря серьезному научному, подлинно марксистско-ленинскому подходу к проблеме, советским медиевистам удалось в целом раскрыть методологическую слабость и часто беспомощность буржуазных русских историков, их классовую ограниченность, но вместе с тем без всякой апологетики наглядно показать все то ценное, что имелось в их творчестве и прочно вошло в фонд исторической науки. В последние годы советские историки (Е. А. Косминский, Е. В. Гутнова, А. И. Данилов, С. И. Архангельский, О. Л. Вайнштейн, А. Д. Люблинская, И. Я. Лернер[284]) в статьях, написанных по разным поводам, собрали

---

[276]) Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог. М., 1960; С. С. Лукичев. Политические и методологические позиции М. М. Ковалевского. «Уч. записки Томского госуниверситета», вып. 33, 1957 и мн. др.

[277]) Г. В. Шевцова. П. Г. Виноградов о генезисе феодализма в Италии. «Уч. записки Рязанского пединститута», № 6, 1957.

[278]) П. Ф. Лаптин. Проблема общины в трудах И. В. Лучицкого. «Средние века», вып. 23, 1963; Б. Г. Вебер. Происхождение религиозных войн во Франции в освещении И. В. Лучицкого. «Французский ежегодник» 1958 г. и др.

[279]) А. И. Данилов. Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков. «Средние века», вып. VI, 1955; Б. Г. Могильницкий. К вопросу об идейно-методологических основах научных работ Д. М. Петрушевского.— «Труды Томского госуниверситета», т. 136, серия соц. экономич., 1957; В. А. Афонюшкин. Рабочее законодательство в Англии во второй пол. XIV в. в освещении Д. М. Петрушевского. «Труды Воронежского пединститута», т. 53, вып. 2, 1960.

[280]) Б. Г. Могильницкий. К вопросу о методологических основах исторических взглядов А. Н. Савина. «Средние века», вып. XVI, 1959.

[281]) Помимо упомянутых работ Б. Г. Могильницкого см. также его статьи «И. В. Лучицкий о роли народных масс в религиозных войнах во Франции».— «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 1, 1963; «У истоков социально-экономического направления в русской буржуазной медиевистике» (там же, вып. 3, 1965); «О некоторых аспектах отражения современности в трудах русских медиевистов» (там же, вып. 4, 1966)

[282]) Первый том вышел в 1957 г., II том в 1960 г., III том в 1963 г.

[283]) Выводы этих исследований М. А. Алпатова отчасти обобщены им в статье «Из истории русской медиевистики», «Вопросы истории», № 9, 1960.

[284]) Е. А. Косминский. Основные проблемы западноевропейского феодализма в советской исторической науке.— «Доклады советской делегации на X Международном конгрессе историков в Риме», М., 1955; Е. А. Косминский, Е. В. Гутнова, Н. А. Сидорова — Сорок лет советской медиевистики. «Вопросы истории», № 11, 1957; Е. В. Гутнова, Н. А. Сидорова.— «Научные доклады высшей школы», «исторические науки», № 3, 1960; Е. В. Гутнова. Академик С. Д. Сказкин, «Вопросы истории», № 1, 1961; Н. А. Сидорова. Некоторые вопросы истории Франции и советская медиевистика. «Средние века», вып. XVII, 1960; её же. Основные проблемы истории средних веков и советская медиевистика (1956—1961). «Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС», М., 1963; А. И. Данилов. Сорок лет советской медиевистики и ее очередные задачи. «Средние века», вып. X, 1957; его же. Аграрная история западноевропейского средневековья в трудах советских медиевистов. «Средние века», вып. XVII, 1960; А. И. Данилов и А. И. Неусыхин Н. П. Грацианский как историк-медиевист. В кн. «Н. П. Грацианский. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья». М., 1960;

большой фактический материал по истории советской медиевистики, в целом и по отдельным проблемам, который, однако, еще ждет более широкого обобщения. Необходимо также более детально и специально исследовать творчество наиболее крупных представителей советской исторической науки.

Особо следует отметить интерес ряда советских медиевистов к ленинской концепции феодализма и в целом, и в связи с отдельными проблемами истории феодальной формации и историографии средних веков[285]). Работы, посвященные этим вопросам, имеют не только конкретно-историческое, но и важное методологическое значение.

В области изучения и критики зарубежной буржуазной историографии прошлого и настоящего, кроме уже охарактеризованных книг М. А. Алпатова, А. И. Данилова и Е. А. Косминского были написаны специальные монографии: Б. Г. Реизова «Французская романтическая историография (1815—1830 гг.)» (Л., 1956) и О. Л. Вайнштейна — «Западноевропейская средневековая историография» (М.— Л., 1964). Первая из этих работ представляет собой весьма интересную попытку выяснить то общее в методологических принципах и исследовательских методах, что позволяет автору объединить под общим названием «романтической историографии» большую группу французских историков, в других отношениях весьма различных. Эту работу отличает весьма тонкий и тщательный анализ научного творчества этих историков, начиная от Мишо, через Тьерри, Баранта и Гизо, до Мишле. Однако она страдает известной односторонностью: Б. Г. Реизов почти полностью исключает из своего рассмотрения идейно-политические воззрения рассматриваемых историков. Поэтому он без всяких оговорок и сомнений объединяет под общей рубрикой «романтизм» в историографии столь далекие друг от друга по своим классовым истокам его разновидности, как реакционно-дворянский, либерально-буржуазный, радикально-демократический романтизм, факт существования которых делает весьма условным и неопределенным само понятия «романтизм» в исторической науке.

Книга О. Л. Вайнштейна представляет собой первый в советской медиевистике систематический очерк развития средневековой историографии с VI по начало XVII* вв. Если история гуманистической историографии отчасти уже освещалась в советской медиевистике[286]), то собственно средневековая историография (с VI по XV вв.) впервые получила в этой книге научное освещение с марксистско-ленинских позиций (часть I). В книге рассматривается предыстория средневековой историографии — античная и патристическая традиция, а затем последовательно выясняются общие черты феодально-церковной историографии, ее классовые основы, ее методологические принципы, периодизация, жанры и приемы работы хронистов и основные этапы

О. Л. Вайнштейн. Изучение истории Франции средних веков и нового времени советскими историками. «Французский ежегодник» 1958 г., М., 1959; A. Lioublinskaya. Les Travaux et les problemes des medievistes sovietigues — «Studi medievali», 3a, serie IV 2, 1963; Очерки истории исторической науки в СССР, т. IV, М., 1966, гл. IX, § I. Медиевистика (автор — И. Я. Лернер).

[285]) С. Д. Сказкин. В. И. Ленин и некоторые проблемы медиевистики. «Средние века», вып. XVIII, 1960; А. И. Данилов. К вопросу о критике буржуазной историографии в произведениях В. И. Ленина, там же; Е. В. Гутнова. Значение трудов В. И. Ленина для разработки проблем историографии средних веков, там же; Ю. М. Сапрыкин. Основные проблемы истории феодального общества в трудах В. И. Ленина. Учебное пособие изд-во МГУ 1965.

[286]) В соответствующих главах упоминавшихся книг О. Л. Вайнштейна («Историография средних веков») и Е. А. Косминского («Историография средних веков»). См. также статью Е. В. Гутновой. Гуманизм и первые шаги буржуазной исторической мысли. «Вопросы истории», 1965, № 2.

развития феодально-церковной историографии, которую автор рассматривает не как раз навсегда данное, но развивающееся, хотя и медленно, явление.

В 1966 г. вышла в свет монография М. А. Заборова, также посвященная специально средневековой историографии XI—XIII в.— «Введение в историографию крестовых походов». В ней детально рассматриваются идейные основы, методы изложения, цели многочисленных хроник, посвященных описанию крестовых походов, выявляются, с одной стороны, фантастические, с другой стороны, реалистические моменты в содержании этих хроник и тем самым степень их достоверности. Книга эта в известном смысле стоит как бы на грани историографии и источниковедения.

Подавляющее большинство советских исследований по истории зарубежной медиевистики прошлого и настоящего пока сосредоточено в статьях, количество которых настолько велико, что все их невозможно перечислить. Некоторое представление об общем объеме этой работы может дать одно лишь перечисление их весьма разнообразной тематики. Здесь мы находим и статьи, посвященные истории английской[287]), французской[288]), немецкой[289]), американской[290]), итальянской[291]), норвежской[292]) медиевистики, отдельным историкам и целым историографическим направлениям, и работы, в которых рассматриваются более общие вопросы истории зарубежной медиевистики[293]). Есть работы, посвященные анализу того, как рассматривали основные

---

[287]) Е. А. Косминский. О некоторых характерных чертах английского феодализма.— «Средние века», вып. XVII, 1960; Е. В. Гутнова. Т. Роджерс и возникновение историко-экономического направления в английской медиевистике второй половины XIX в. «Средние века», вып. XVII, 1960; её же. Новая концепция истории английского феодального государства в XII—XIII вв. «Средние века», вып. XIII, М., 1958 и др.; В. Ф. Семенов. Проблемы политической истории Англии XVI в. в освещении современных английских буржуазных историков. «Вопросы истории», 1959, № 4.

[288]) Н. А. Сидорова. О некоторых проблемах исследований средневековой культуры Франции. «Вестник истории мировой культуры», 1961, № 6; ее же. Основные проблемы истории университетов в средние века в освещении современной буржуазной историографии. «Средние века», вып. 23, 1963; A. Lioublinskaja. Preface a l'edition russe des Caracteres originaux de l'histoire rurale française de M. Block — «Annales. Economies, Societes, Civilisations». P., 1959 и др.

[289]) А. И. Данилов. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ. «Средние века», вып. XV, 1959; его же. Экономика раннего средневековья в трактовке современной буржуазной историографии. «Средние века», вып. VII, 1955; его же. Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный историзм. «Новая и новейшая история», 1962, № 2; Н. Ф. Колесницкий. Священная Римская империя в освещении современной западногерманской историографии. «Средние века», вып. XIV, 1959; В. Е. Майер. Вопросы аграрной истории Германии XIV—XVI вв. в освещении буржуазных историков ФРГ. «Средние века», вып. 26, 1964

[290]) О. Л. Вайнштейн. Реакционные течения в современной американской медиевистике. «Средние века», вып. XVIII, 1960; М. Н. Соколова. Обзор исторического журнала «Speculum» за 1955—57 гг. «Средние века», вып. XIII, 1958; А. С. Самойло. Ценные факты и нелепые выводы (О некоторых новых американских работах по истории колониального периода США), «Средние века», вып. XVIII, 1960.

[291]) В. И. Рутенбург. Дж. Луццато. Экономическая история Италии. Античность в средние века. «Средние века», вып. VIII, 1956; его же. Три книги о Датини. «Средние века», вып. 27, 1965; Л. М. Брагина и Н. В. Ревякина. Проблемы итальянского гуманизма в трудах Э. Гареча. «Средние века», вып. 28, 1965.

[292]) А. Я. Гуревич. Основные проблемы истории средневековой Норвегии в норвежской историографии. «Средние века», вып. XVIII, 1960 и др.

[293]) Е. В. Гутнова. Место и значение буржуазной позитивистской историографии второй половины XIX в. в развитии исторической науки. «Средние века», вып. 25, 1964.

проблемы истории средних веков основоположники марксизма[294]). Значительное количество статей советских медиевистов посвящено рассмотрению таких спорных в современной зарубежной медиевистике понятий, как «феодализм»[295]), роль простого товарного производства и городов в феодальном обществе и критике буржуазных концепций на этот счет[296]), социальная структура феодального общества[297]). Живо откликаясь на наиболее важные дискуссии, происходившие за рубежом, советские историки посвятили ряд статей проблеме «кризиса» или экономического упадка в Европе XIV—XV вв. и вопросу о характере и формах перехода от феодализма к капитализму[298]). В сборнике «Средние века» более или менее регулярно освещались и подвергались критике все наиболее важные и спорные доклады по медиевистике, имевшие место на международных конгрессах историков за последние 10 лет[299]).

Можно с удовлетворением констатировать, что в наши дни трудно найти серьезного историка-медиевиста, который стоял бы в стороне от историографических проблем и, в частности, от изучения и критики современной зарубежной историографии. Благодаря этому с каждым годом растет общий уровень научной информации о том, что происходит в зарубежной науке, а борьба советских медиевистов с буржуазной идеологией становится все более эффективной и целеустремленной.

**
*

В последние годы ряд советских медиевистов активно включился в разработку проблем методологии истории. Здесь, как нам кажется, намечаются два направления, которые хотя и смыкаются в некоторых пунктах, все же исследуют различные объекты методологии истории. Первое, представленное преимущественно специалистами-историографами, в первую очередь интересуется вопросами теории исторического познания и стремится установить его основные принципы с точки зрения марксистско-ленинской философии. Пока ведущее положение в исследованиях этого профиля (если иметь в виду собственно историков, а не философов) занимает уже упоминавшаяся группа томских историков. А. И. Даниловым, была написана интересная статья «Марк-

---

[294]) Е. В. Гутнова. Основные проблемы истории средних веков в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. 1964; М. М. Смирин. Ф. Энгельс о значении крестьянской войны в Германии. «Средние века», вып. XXI, 1962; Л. М. Гольман. Ф. Энгельс — исследователь истории древних ирландцев. «Средние века», вып. XIII, 1961.

[295]) И. Я. Лернер. Рецензия на работу «Feudalism in History» ed. R. Coulborn. New Gersay, 1956. «Средние века», вып. XII, 1959; М. А. Барг. Концепция феодализма в современной буржуазной историографии». Вопросы истории», № 1, 1965.

[296]) Б. И. Рыськин Вопросы происхождения средневекового европейского города в современной западногерманской историографии. «Средние века», вып. 23, 1963; Ю. Л. Бессмертный. Проблемы западноевропейской торговли IX—XIII вв. в современной западной медиевистике (К обсуждению концепции А. Пиренна), там же; его же. Некоторые проблемы социально-политической истории Каролингов в современной западноевропейской медиевистике. «Средние века», вып. 26, 1964.

[297]) М. А. Барг. Буржуазная историография о социальной структуре средневекового общества. «Вопросы истории», № 12, 1966.

[298]) Е. А. Косминский. Были ли XIV—XV вв. временем упадка европейской экономики. «Средние века», вып. X, 1957; М. А. Барг. О так называемом «кризисе феодализма» в XIX—XV вв. «Вопросы истории», 1960, № 8; Ю. А. Корхов. Дискуссия о переходе от феодализма к капитализму. «Средние века», вып. XV, 1959.

[299]) См. «Средние века», вып. VIII, 1956 (О X Международном конгрессе историков в Риме), вып. XX (об XI Международном конгрессе историков в Стокгольме (М., 1960), обзорные и критические статьи С. Д. Сказкина, Н. А. Сидоровой, М. М. Смирина, Е. В. Гутновой, М. А. Заборова, Г. Г. Литаврина, А. Н. Чистозвонова, А. И. Неусыхина, Л. А. Котельниковой, А. С. Кана, Э. Э. Литавриной.

систско-ленинская теория отражения и историческая наука»[300]), в которой по существу были поставлены основные проблемы марксистско-ленинской теории исторического познания. Дальнейшую, более детальную разработку методологических проблем мы находим в недавно вышедшей книге томского историка В. В. Иванова, посвященной вопросу о принципе историзма в работах В. И. Ленина[301]), а также в каждом очередном выпуске томского сборника в статьях Б. Г. Могильницкого[302]), П. Н. Хмылева[303]), А. И. Уварова[304]). Учитывая полную неразработанность до последнего времени этих вопросов в советской исторической науке и их чрезвычайную актуальность как для научной постановки конкретных исторических исследований советских историков, так и для правильной оценки достижений и недостатков буржуазной историографии, развитие этого направления следует всячески приветствовать.

Несколько иной характер носят методологические искания тех историков-медиевистов, которые подошли к этим проблемам от своих конкретно-исторических исследований. Их интересуют в первую очередь возможности расширения объектов познания и исследовательских методов советской исторической науки. Они выступают против схематичного, однозначного истолкования основных категорий исторического материализма, за их обогащение и конкретизацию, в частности, за типологический подход к изучению социально-экономических формаций, государственных форм, идеологических явлений. Такой подход, в частности, достаточно отчетливо обнаружился как во всех докладах, так и в прениях по ним на всесоюзной научной сессии, посвященной генезису феодализма в странах Западной Европы, происходившей в Институте истории в июне 1966 г.[305]).

В самых последних своих работах Б. Ф. Поршнев, а также и некоторые другие медиевисты, все большее значение в развитии общества начинают отводить социально-психологическому фактору. В сфере социальной психологии, по их мнению, совершается как бы преобразование социально-экономических процессов в общественное сознание разных классов и в классовую борьбу. Поэтому, чтобы понять механизм общественного развития в целом, с их точки зрения, необходимо уделять этой сфере, значение которой раньше недооценивалось советскими историками, особое внимание[306]).

---

[300]) «Средние века», вып. 24. 1963.

[301]) В. В. Иванов. Принцип историзма в произведениях В. И. Ленина 90-х годов. Томск, 1966 и ряд статей по этому вопросу в томских сборниках.

[302]) Б. Г. Могильницкий. Объективность и партийность в историческом исследовании. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 2. 1964.

[303]) П. Н. Хмылев. Проблема актуальности в историческом познании, там же, вып. 2, 1964; его же. Карл Маннгейм и проблема партийности в историческом познании, там же, вып. 3, 1965.

[304]) А. И. Уваров. Структура теории в исторической науке. «Методологические и историографические вопросы исторической науки», вып. 3, 1965; вып. 4, 1966.

[305]) См. З. В. Удальцова. Задачи изучения генезиса феодализма в странах Зап. Европы (доклад на открытии сессии). «Вопросы истории», № 8, 1966; З. В. Самодурова. Актуальные проблемы ранней истории феодальной формации (отчет об этой сессии), там же.

[306]) Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1966; см. также А. Я. Гуревич. Некоторые аспекты изучения социальной истории (общественно-политическая психология), «Вопросы истории», № 10, 1964.

Есть среди советских медиевистов также и сторонники применения в исторической науке методов «структурного анализа» в качестве вспомогательного средства, углубляющего и вместе с тем дифференцирующего основные понятия исторического материализма, в частности, понятие «социально-экономической формации»[307]).

Это второе направление методологических исследований так же представляет значительный интерес, поскольку оно имеет целью расширить и углубить проблематику исторических работ, в частности, в медиевистике, и осветить некоторые новые стороны исторического процесса. Однако в настоящее время оно не вышло еще за рамки чисто теоретической постановки проблем. Перспективность его может определиться окончательно лишь в процессе использования предлагаемых новых методов и методологических принципов для изучения тех или иных конкретно-исторических вопросов и явлений.

***

Пожалуй, наиболее слабым участком советской медиевистики остаются вспомогательные дисциплины. Кое-что, но далеко недостаточно, делается в области латинской палеографии и источниковедения средних веков. Ведущее место в области латинской палеографии, как и в довоенный период, занимает ленинградская школа историков, созданная в свое время О. А. Добиаш-Рождественской, а ныне возглавляемая ее ученицей А. Д. Люблинской, которая имеет уже сама много учеников как в Ленинграде, так и в Москве. Перу А. Д. Люблинской принадлежит ряд статей[308]) и учебное пособие по латинской палеографии, написанное при участии ее учеников, которое в настоящее время готовится к печати в издательстве «Высшая школа». Исследованиями в области латинской палеографии из более молодых историков занимались и занимаются Т. В. Луизова, Т. П. Воронова, Е. В. Бернадская, М. Ф. Мурьянов, Л. Г. Катушкина, Л. И. Киселева — в Ленинграде[309]), В. Л. Романова и др.— в Москве[310]).

Работы по источниковедению, если не считать учебника по этой дисциплине, написанного также А. Д. Люблинской[311]), касаются в основном лишь отдельных исторических источников[312]). Только в самые

---

[307]) См. М. А. Барг. Структурный анализ в историческом исследовании. «Вопросы философии», № 10, 1964.

[308]) А. Д. Люблинская. Новая теория развития позднеримского письма. «Средние века», вып. XI, 1958 и др.

[309]) Т. В. Луизова. Раннеготические рукописи. Гос. публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. «Труды Гос. публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина», т. I (IV) 1957. и др.; Т. П. Воронова. Отчет Реноде Сент-Бева о расходах по командировке в Лион (февраль—март 1313). «Средние века», вып. 29, 1966 и др.; М. Ф. Мурьянов. Фрагменты латинских рукописей VIII-X вв. из коллекций АН СССР. там же, Л. Г. Катушкина. Неизданные письма Мабилье, там же и др; Л. И. Киселева. Опыт локального исследования дипломатического письма, там же.

[310]) В. Л. Романова. Некоторые вопросы организации производства рукописной книги во Франции XIII—XV вв. «Средние века», вып. XIX, 1961 и др. В этом же сборнике см. статью А. В. Конокотина: Об одной французской рукописи XIV в. См. также статью: С. В. Житомирская. Западное средневековье в рукописях Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. «Средние века», вып. X, 1957.

[311]) А. Д. Люблинская. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955.

[312]) Среди них наибольший интерес представляют статьи: А. И. Неусыхин. Новые данные по источниковедению Салической правды. «Средние века», вып. XVII, 1960 и вып. XXI, 1962; В. С. Люблинский. Источники по истории Нидерландов, Фландрии и Голландии в Ленинградском отделении Института истории АН СССР «Средние века», вып. XIX, 1961. Л. Г. Катушкина. Дипломатика Бургундского картулярия (Об одной знаменитой генеалогической подделке). «Средние века», вып. 28, 1965; В. Е. Майер. Уставы как источник по изучению положения кресть-

последние годы началась и при том пока еще в очень незначительных масштабах публикация богатых фондов средневековых рукописей, хранящихся в библиотеках и архивах СССР[313]), архивных материалов по истории русской медиевистики[314]) и русских переводов отдельных уже изданных за рубежом публикаций[315]).

В целом вопросы источниковедения и палеографии разрабатываются в советской медиевистике совершенно недостаточно. Что же касается других вспомогательных исторических дисциплин — таких как хронология, дипломатика, геральдика, сфрагистика, историческая география, то они до последнего времени вовсе не привлекали внимания наших медиевистов и, как это уже отмечалось в периодической литературе[316]), почти не разрабатываются.

***

До сих пор мы говорили в основном об индивидуальных исследованиях советских историков средних веков, созданных в послевоенный период. Но наш очерк не может быть достаточно полным без рассмотрения коллективных трудов, созданных общими усилиями этих историков. Каждый из этих коллективных трудов представлял собой определенную веху на пути развития советской медиевистики и отражал уровень, достигнутый ею к тому или иному моменту. Среди них в первую очередь нужно отметить III и IV тома «Всемирной истории», написанные двумя большими коллективами авторов[317]). Выход в свет этих томов в 1957 и 1958 гг. стал важным событием в развитии марксистской медиевистики. Для своего времени это был новаторский труд, потому что в нем впервые основные закономерности истории феодальной формации рассматривались во всемирно-историческом масштабе, причем эти общие закономерности в экономической и социально-политической сфере, в области классовой борьбы и культуры были показаны не абстрактно, схематично, а на огромном конкретном материале и на

ян в конце XV—начале XVI вв. «Средние века», вып. VIII, 1956; Л. М. Баткин. Хроника Дино Кампаньи или притка Данта Алигьери. «Средние века», вып. XVIII, 1960; Н. Н. Гюрджан. О политических тенденциях некоторых французских хроник. XIV в. «Средние века», вып. VI, 1955.

313) См., напр. документы по истории Франции сер. XVI в. публикация Т. П. Вороновой и Е. Г. Гурари под ред. А. Д. Люблинской. «Средние века», вып. XII, XIII, XIV, XV, XIX; Документы по истории гражданской войны во Франции 1561—1563 гг. Под ред. А. Д. Люблинской. Л., 1962; Документы по истории внешней политики Франции 1547—1548 гг. под ред. А. Д. Люблинской. Л., 1963; Акты Кремоны XIII—XVI вв. в собрании АН СССР, под ред. В. И. Рутенбурга и Е. Е. Скржинской. М.-Л., 1961; Неизданные кремонские акты XVI в публ. А. М. Кононенко. «Средние века», вып. 26, 1964.

314) См. напр. Из неизданной переписки медиевистов 40-х—50-х гг. XIX в. Публ. С. А. Асиновской. «Средние века», вып. XVII, 1960; ее же публикация: Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья. М., 1961; Из писем П. Г. Виноградова. Публикация К. А. Майковой, «Средние века», вып. XXII, 1962 и др.

315) Салическая правда. Перевод Н. П. Грацианского под ред. В. Ф. Семенова «Уч. записки Москов. гос. пединститута им. В. И. Ленина», т. XII, М., 1950. Ландслаг короля Магнуса Эриксона. Перевод со старошведского и примечания С. Д. Ковалевского. «Средние века», вып. 26, 1964; Регистры ремесел и торговли города Парижа. Перевод Д. И. Киселевой под ред. и с предисловием А. Д. Люблинской. «Средние века», вып. X. 1957.

316) См., напр. статью С. Д. Сказкина, Н. А. Сидоровой, А. Д. Люблинской, А. И. Неусыхина, З. В. Удальцовой, В. В. Гранстрем, В. Л. Романовой, З. Г. Самодуровой. За развитие вспомогательных исторических дисциплин в области изучения западноевропейского и византийского феодализма, «Вопросы истории», 1961, № 4.

317) «Всемирная история», т. III, под ред. Н. А. Сидоровой (отв. ред.) Н. И. Конрада, И. П. Петрушевского и Л. В. Черепнина М., 1957; т. IV, под ред. М. М. Смирина (отв. ред.), И. Я. Златкина, А. С. Самойло, С. Д. Сказкина, В. И. Шункова, М., 1957.

основе выводов, обобщений, добытых советскими историками — медиевистами в их специальных исследованиях. В этом смысле оба «средневековых тома» «Всемирной истории» и в теоретико-методологическом и в конкретно-историческом плане подвели итоги развития советской медиевистики в широком смысле слова (включая византинистов, востоковедов, славистов и историков СССР, занимающихся историей феодализма). Вместе с тем в этих томах наметился решительный отход от догматических представлений, априорных построений и цитатнической аргументации, характерной для многих, особенно коллективных, работ предшествующего периода. Их авторы и редакторы стремились всюду, где это было возможно, аргументировать свои выводы материалом фактов и отмечать спорные в советской медиевистике точки зрения.

Вместе с тем работа над «Всемирной историей» была плодотворна для советских медиевистов и в том отношении, что она выявила большое количество нерешенных, а иногда даже и непоставленных важных проблем и вопросов истории средних веков и тем самым наметила перспективы ее развития в последующие годы.

К числу коллективных трудов, созданных советскими медиевистами, относится уже охарактеризованная выше двухтомная «История английской революции», отличающаяся высоким научным уровнем. В настоящее время два больших коллектива ученых, возглавляемые академиком С. Д. Сказкиным, заняты написанием обобщающих трудов по двум весьма существенным проблемам. Первый посвящен истории европейского крестьянства эпохи феодализма (включая историю крестьянства славянских стран и народов европейской части России[318]), второй посвящен глубокому изучению проблемы генезиса капитализма во всех ее аспектах и применительно к истории разных стран и народов мира[319]).

К числу коллективных обобщающих работ советской медиевистики по справедливости следует отнести также и некоторые вузовские учебники по этому предмету, также отражавшие уровень развития историографии средних веков на разных этапах ее истории.

В 1952—1954 гг. вышло новое издание двухтомного учебника по истории средних веков[320]), значительно переработанное по сравнению с первым изданием 1938—1939 гг. В нем были учтены новые исследования по медиевистике, резкой критике подвергалась буржуазная историография. Долгое время этот учебник успешно использовался в вузовской работе. Однако к началу 60-х гг. он во многих отношениях устарел, так как за это время появилось много новых исследований и у нас в стране, и за рубежом, и при всех своих достоинствах учебник грешил в некоторых вопросах догматизмом и довольно широким применением цитатного метода аргументации. Возникла острая необходимость в создании новых учебных пособий, более отвечающих современному уровню развития науки. За выполнение этой важной задачи одновременно взялись два коллектива авторов. Один из них подготовил новый однотомный учебник специально для пединститутов,

---

[318]) Организационным центром этой работы является сектор истории средних веков Института истории АН СССР, но в ней принимают участие медиевисты из других учреждений и многих городов.

[319]) Подготовляется секцией «Генезис капитализма» Ученого Совета «Закономерности развития общества и перехода от одной социально-экономической формации к другой» при Отделении истории АН СССР

[320]) История средних веков, т. I, под ред. Е. А. Косминского и С. Д. Сказкина, М., 1952; т. II, под ред. С. Д. Сказкина, А. С. Самойло, А. Н. Чистозвонова. М., 1957.

вышедший в 1964 г.[321]), второй коллектив, организованный кафедрой истории средних веков МГУ и сектором истории средних веков Института истории АН СССР, создал новый двухтомный учебник по истории средних веков специально для университетов, который вышел из печати в 1966 г.[322]).

Разные задачи, связанные с различиями в программах курса истории средних веков в университетах и педвузах, а также разный состав авторов и редакторов определяли во многом различный характер этих двух учебников: в структуре, подборе фактического материала, форме изложения. Некоторые различия имеются также и в трактовке отдельных вопросов истории средних веков, в частности, Реформации и Крестьянской войны в Германии. Однако оба они широко используют последние достижения медиевистики в смысле фактического материала и постановки ряда проблем, отражая современный этап развития нашей науки.

Нужно сказать, что советские специалисты по истории средних веков, как и в довоенный период, вообще продолжали уделять много внимания подготовке учебных пособий. В. Ф. Семенов написал учебник для учительских институтов[323]), а позднее более полный — для педагогических институтов (первое издание вышло в 1956 г.), который неоднократно переиздавался и пользуется большой популярностью у студентов педвузов. Неоднократно переиздавался также курс лекций истории средних веков С. Д. Сказкина и А. Д. Удальцова для ВПШ. Были подготовлены несколько хрестоматий: новое сильно переработанное издание довоенной хрестоматии под ред. С. Д. Сказкина и Н. П. Грацианского[324]), два тома новой хрестоматии, задуманной как материал к средневековым томам «Всемирной истории»[325]), специальная хрестоматия по истории феодального государства и права, в подготовке которой приняло участие ряд медиевистов[326]).

Следует, однако, отметить, что в послевоенный период дело публикации переводных источников по истории средних веков, столь необходимых для правильного обучения студентов-историков, так активно начатое в конце 30-х гг., фактически приостановилось, главным образом, из-за того, что подобные материалы очень трудно продвинуть в печать[327]).

Было завершено издание трехтомной «Книги для чтения по истории средних веков» под ред. С. Д. Сказкина, первый том которой вышел еще до войны[328]).

Кое-что, но далеко недостаточно, было сделано советскими медиевистами в области подготовки научно-популярных работ разного

[321]) История средних веков. Редакционная коллегия: М. А. Абрамсон, А. Я. Гуревич, Н. Ф. Колесницкий. Изд. «Высшая школа», М., 1964.

[322]) История средних веков, т. I, под ред. С. Д. Сказкина, Е. В. Гутновой, А. И. Данилова, А. Я. Левицкого. М., 1966; т. II — под ред. С. Д. Сказкина, А. Д. Люблинской, А. С. Самойло, Ю. М. Сапрыкина, М. М. Смирина, А. Н. Чистозвонова, М., 1966.

[323]) Вышел двумя изданиями в 1949—1951 гг.

[324]) Хрестоматия по истории средних веков под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина, т. I, М., 1949; т. II, М., 1950; т. III, М., 1950.

[325]) Хрестоматия по истории средних веков. В трех томах под общей редакцией академика С. Д. Сказкина: т. I, под ред. Л. В. Симоновской и М. А. Барга, М., 1961; т. II под ред. Л. В. Симоновской, М. М. Себенцовой, Б. Т. Рубцова, М., 1963. Третий том, посвященный позднему средневековью, подготовлен к печати.

[326]) Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. Под ред. В. М. Корецкого. М., 1951.

[327]) Единственное издание такого типа — сборник документов «Крестьянское движения в Германии перед реформацией». Под ред. В. А. Ермолаева. Саратов, 1961.

[328]) Книга для чтения по истории средних веков: ч. I, М., 1940; ч. II, М., 1951; ч. III, М., 1963.

жанра: книг[329]), статей для журнала «Преподавание истории в школе», для исторического тома детской энциклопедии и др. научно-популярных изданий.

Большой труд советских историков западного средневековья был вложен во второе издание Большой советской энциклопедии и Советской исторической энциклопедии.

***

Подводя итоги развитию советской медиевистики за последние 20 лет, можно с уверенностью сказать, что она достигла за этот сравнительно короткий период больших успехов. Она выросла и количественно и качественно. Значительно расширилась тематика исследований, объектом которых теперь стали почти все страны Западной Европы и не только социально-экономические процессы, но и в той или иной степени все надстроечные явления. Советские медиевисты разработали и успешно применили в своих трудах ряд новых исследовательских методов, расширивших возможности изучения истории средневековья. Значительно углубилось их понимание основных закономерностей развития феодальной формации: многочисленные конкретные исследования позволили обнаружить большое многообразие в складывании, развитии и разложении феодального строя даже в пределах одной лишь Западной Европы, выделить разные типы и разновидности этой господствовавшей в средние века системы экономических и общественно-политических отношений. В то же время выяснилась сложность и противоречивость всего исторического процесса средневековой эпохи, столкновение на каждом очередном этапе ее истории прогрессивных явлений с традиционными отношениями, задерживавшими развитие нового. За последние 20 лет советская медиевистика сделала большой шаг в постижении диалектики развития феодальной формации и в том числе соотношения общего и особенного в ее развитии в разных странах. Значительно выросли в послевоенный период и кадры медиевистов. Ученые старшего поколения сумели подготовить в эти годы значительное число высококвалифицированных историков, многие из которых в свою очередь имеют уже учеников.

В последние годы советская медиевистика получает все более заметное признание и на международной арене, не только в социалистических, но и капиталистических странах. Многие капитальные исследования по истории средних веков переведены на иностранные языки[330]) так же, как III и IV тома «Всемирной истории», «История английской революции» и вузовский учебник 1952—1954 гг. Статьи советских медиевистов по разным вопросам неоднократно печатались в иностранных исторических журналах. Многие историки (Е. А. Косминский, С. Д. Сказкин, Н. А. Сидорова, А. Д. Люблинская, А. И. Да-

[329]) См. разделы по истории средних веков в кн.: История Германии с древнейших времен до 1918 г. М., 1959. Очерки по истории Франции с древнейших времен до окончания первой мировой войны. Л., 1957, Очерки по истории Англии (средние века и новое время). М., 1959, Очерки истории Италии (476—1918). М., 1959, М. М. Смирин. Германия эпохи реформации и Великой крестьянской войны. М., 1962; А. Б. Штекли. Компанелла. М., 1959; его же. Томас Мюнцер. М., 1961; А. Я. Гуревич. Походы викингов. М., 1966 и др.

[330]) Исследования по аграрной истории Англии в XII в. Е. А. Косминского переведены на английский язык. Книги М. М. Смирина «Народная реформация Т. Мюнцера и Великая крестьянская война в Германии» и А. И. Неусыхина «Возникновение зависимого крестьянства в странах Западной Европы (VI—VIII вв.)»—на немецкий; книга Б. Ф. Поршнева «Народные восстания во Франции перед Фрондой».— на немецкий и французский языки.

нилов, З. В. Удальцова, В. Рутенбург, М. А. Барг, М. М. Смирин, В. М. Лавровский, О. Л. Вайнштейн, Е. В. Гутнова, Я. А. Левицкий) успешно выступали на различных международных встречах — международных конгрессах историков, на заседаниях проблемных комиссий, при Международном комитете историков на англо-русских, франко-русских, германо-русских, итало-русских симпозиумах и др.

Даже враждебно настроенные к советской историографии историки, критиковавшие книги и выступления советских медиевистов за марксистские воззрения, неизменно вынуждены были признавать их высокие научные достоинства. Печатный орган советских медиевистов — периодический сборник «Средние века» — привлекает интерес зарубежных историков, в том числе капиталистических стран, включая США.

Конечно, развитие советской медиевистики и в эти годы не обходилось без трудностей и серьезных пробелов. Они имели место как в конце 40-х — начале 50-х гг., так и позднее. Эти отрицательные явления особенно заметно сказывались в характере и методах проведения многих из упомянутых выше дискуссий[331]), в злоупотреблении цитатной аргументацией не только в учебных пособиях, но даже в некоторых интересных оригинальных исследованиях, где она служила в качестве обязательного обрамления выводов автора.

Догматические концепции вроде «теории революции рабов» задерживали развитие новых исследований в тех областях, где они господствовали, создавая тем как бы «запретные зоны». Недостаточная разработка этих вопросов, в свою очередь, благоприятствовала закреплению догматических и априорных представлений. Однако при всем том и в это первое послевоенное десятилетие наша медиевистика не стояла на месте и в целом успешно развивалась. Нельзя забывать о том, что многие проблемы истории средних веков, разрабатываемые ныне, были впервые поставлены именно в тот период, что тогда же появился ряд ценных, оригинальных по мысли и исполнению трудов, далеких от влияния догматизма и схематизма. При всех отмеченных недостатках тогдашних дискуссий несомненно, что в подавляющем большинстве случаев само их возникновение являлось ответом на потребности живой, развивающейся науки и в этом смысле было показателем ее поступательного движения. Ведь в этих дискуссиях обсуждались острые и актуальные для советской медиевистики того времени вопросы и, как это видно теперь, они в конечном итоге правильно наметили отправные пункты для дальнейших исследований и, следовательно, оказались полезными.

Часто приходится слушать упреки в «фактологичности» и «мелкотравчатости» в адрес советской исторической науки 40-х — начала 50-х гг.[332]). Упрек этот во всяком случае в отношении медиевистики этих лет кажется нам необоснованным. Появление в этот период большого количества журнальных статей, посвященных частной и локальной тематике и опирающихся на тщательный анализ фактов, са-

[331]) В особенности это относится к дискуссии об основном экономическом законе феодальной формации, которая проводилась на страницах «Вопросы истории» в 1953—1955 гг. и о которой мы не упоминали раньше. Эта дискуссия, в отличие от других, носила искусственный характер, так как она не вытекала из потребностей науки, но возникла как малоплодотворная попытка, опираясь преимущественно на цитаты, сформулировать основной экономический закон феодального общества по аналогии с определением основного экономического закона капиталистического общества.

[332]) См., например, общую оценку состояния советской исторической науки в конце 20-х и в 30-е годы в статье Л. В. Даниловой.—Становление марксистского направления в советской историографии эпохи феодализма. — «Исторические записки», № 76, 1965, стр. 173 и далее.

мо по себе еще не является доказательством преобладания «фактологического» направления в науке. В общем потоке ее развития наличие даже большого количества таких работ в любой период не только неизбежно, но и полезно. Ведь факты — «это воздух ученого», и они крайне необходимы для широких обобщающих построений и методологических работ, если не превращать последние в догмы и схемы.

Оглядываясь назад на эти «фактологические» работы, мы отчетливо видим теперь, что многие из них послужили фундаментом для проблемных обобщающих исследований конца 50-х — начала 60-х гг. Но даже и те, которые не были в дальнейшем обобщены их авторами, служили и служат базой для широких обобщающих выводов других историков и для постановки ими общеметодологических вопросов. Что же касается крупных монографий по медиевистике, увидевших свет в первое послевоенное десятилетие, то, как мы пытались показать выше, все они носили обобщающий характер, ставили и решали общие проблемы, важные не только для медиевистики, но в некоторых случаях и для всей советской исторической науки.

Решения XX—XXIII съездов КПСС, наметившие перспективы для дальнейшего подъема науки и культуры, решительно осудившие догматизм и начетничество в исторической науке, открыли перед советскими медиевистами, как и перед всеми историками, еще более широкие возможности творческой работы, свободных дискуссий, новых исследований. «Запретные зоны» были ликвидированы, еще более быстрым темпом пошло расширение тематики и проблематики научных работ.

К 50-й годовщине Октября советская медиевистика в целом подходит с хорошими результатами, которые открывают перед ней новые пути и перспективы.

Как во всякой развивающейся науке, которая не стоит на месте, в этой области истории все время возникают новые проблемы, остается всегда нерешенным что-то из старых, давно уже спорных. В предшествующем изложении мы пытались на конкретном материале выявить и подчеркнуть эти проблемы, с решением которых в значительной мере связаны дальнейшие перспективы развития нашей науки. На очереди научное марксистское решение проблемы революционного перехода от античности к средневековью, вопроса о действительной роли романской и германской традиции в формировании феодализма и раннефеодальных государств у народов, прошедших «синтезный» путь развития. Значительных уточнений требует сложный вопрос о своеобразиях экономического и социально-политического развития разных стран Западной Европы в первый, второй и последний периоды средних веков, в частности, вопрос об особенностях складывания внутреннего рынка в разных странах и его воздействии на социально-политическую жизнь общества. Дополнительных исследований требует также история крестьянства, проблема генезиса капитализма и вопрос о природе и специфике абсолютной монархии в разных странах. Необходимы также новые конкретные изыскания по аграрной истории XVI—XVII вв. В последнее время все более вырисовывается необходимость внимательного изучения эволюции на протяжении средних веков господствующего класса феодалов, ранее очень слабо освещавшаяся нашими медиевистами и, очевидно, чрезвычайно важная для понимания изменения форм феодального государства и характера классовой борьбы. Спорным, как уже отмечалось, остается большой вопрос о реальной роли классовой борьбы в феодальном обществе, решать который теперь нужно уже на пути конкретных

исследований. К конкретным исследованиям, очевидно, пора перейти и в области изучения социальной психологии, применительно к разным классам и социальным слоям феодального общества. Важнейшей задачей советской медиевистики остается дальнейшая и более активная разработка истории средневековой культуры и идеологии, в частности, идеологии крестьянских масс, а также окончательное решение спорного вопроса о социальной природе культуры Возрождения и гуманизма. Необходимо восполнить и ряд пробелов до сих пор существующих в нашей медиевистике. К ним относятся: история католической церкви и вопрос о ее действительной роли в развитии средневековой культуры и идеологии[334]), недостаточно изученный с марксистско-ленинской позиции, а также сложный и мало исследованный до сих пор вопрос о формировании народностей, наций, национальных государств в средневековой Европе в связи с развитием политических форм.

Много неразработанных проблем конкретно-исторического и методологического характера остается в области историографии средних веков. Давно назрел уже вопрос о создании нового учебного пособия или хотя бы разных курсов лекций по историографии средних веков. Есть большая потребность в сводной работе о современной буржуазной медиевистике, информация о которой до сих пор носит у нас очень фрагментарный характер. Было бы очень полезно написать обобщающие работы по истории английской, французской, итальянской, американской медиевистики конца XIX — начала XX вв. (подобно уже имеющимся работам по истории немецкой и русской медиевистики этого периода). По-прежнему, важнейшей задачей всех советских медиевистов остается решительная, острая и вместе с тем научно обоснованная и аргументированная борьба с современной буржуазной историографией, особенно с ее наиболее реакционными течениями.

Непочатый край работы остается и в области изучения всех вспомогательных исторических дисциплин и подготовки для этого высококвалифицированных кадров, которых нехватает в настоящее время.

Большая работа предстоит и в дальнейшей разработке методологии истории, во всех ее аспектах. Постановление ЦК КПСС от 22 августа 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве» ставит перед советской исторической наукой задачу еще более полного раскрытия важнейших закономерностей движения человечества к коммунизму. Оно требует еще более углубленной разработки теоретических и методологических вопросов истории, спорных и нерешенных общесоциологических и конкретно-исторических проблем, еще более действенной борьбы с буржуазной идеологией в историографии. Это постановление открывает новые перспективы и перед советской медиевистикой и, несомненно, послужит важным стимулом для ее дальнейшего развития.

Есть основания надеяться, что, вступив во второе пятидесятилетие своей истории, советская медиевистика энергично приступит к решению всех стоящих перед нею многочисленных и важных задач.

---

[334]) История католической церкви представлена в советской медиевистике лишь монографией Б. Я. Рамм «Папство и Русь в X—XV вв.» (М., 1959), посвященной лишь одному весьма частному для истории папства вопросу, работами М. А. Заборова, касающимися роли папства в крестьянском движении и статьями: О. Г. Чайковская. Клюнийское движение X—XI вв., его социальный и политический характер.— «Вопросы истории религии и атеизма», вып. о консолидации антинародных сил в Италии) — «Из истории трудящихся масс Италии», М., 1959.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИОГРАФИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

«Вопросы историографии всеобщей истории». Сборник статей. Под редакцией А. С. Шофмана. Выпуск I. Казань, 1965, 178 стр. Выпуск 2. Казань, 1966, 190 с.

За последние годы в советской исторической литературе значительно возросло внимание к историографическим проблемам. В этом отношении, в частности, определенный интерес представляют тематические сборники «Вопросы историографии всеобщей истории», выпускаемые издательством Казанского университета имени В. И. Ульянова-Ленина.

Рецензируемые сборники отличаются разнообразием проблематики. В них вошли 12 статей, в которых освещаются малоизученные историографические сюжеты.

Одним из основных направлений первых двух выпусков названного сборника является исследование роли отечественной науки в разработке конкретно-исторических и историографических проблем всеобщей истории. Так, в статье Н. А. Мазитовой подробно рассмотрена деятельность турецко-татарской кафедры Казанского университета, заложившей основы школы русской тюркологии, из которой вышли ученые с мировым именем: А. К. Казем-Бек, И. Н. Березин и др. В работах А. В. Сергеева исследована научная деятельность одного из основателей русского славяноведения В. И. Григоровича, а также рассматривается ее оценка в буржуазной и марксистской историографии. О ценном вкладе профессора Петербургского и Московского университетов М. С. Куторги в науку об античности и разработку проблемы древнегреческого рабства говорится в исследованиях А. Д. Константиновой. Все статьи о деятелях отечественной исторической науки хорошо аргументированы. В них не только учтена имеющаяся специальная литература, но и дан анализ большого круга архивных источников, впервые вводимых в научный оборот. Вместе с тем следует отметить, что в ряде случаев (например, в некоторых разделах статей о В. И. Григоровиче, М. С. Куторге) из поля зрения авторов ускользает сложный процесс эволюции идейно-методологических взглядов изучаемых историков; не прослеживается в достаточной степени влияние современной идейно-политической, общественной жизни на их историографическую практику.

Большинство статей, публикуемых в сборниках, посвящено критике теоретико-методологических позиций буржуазной исторической науки. В работе Г. В. Атласова рассмотрены теоретико-методологические основы современной французской историографии. В ней автор убеди-

тельно показывает субъективно-идеалистическую сущность теоретико-методологических воззрений Р. Арона, А. Гуйе, А. Марру, П. Рикере и др. Достоинством работы следует считать то, что Г. В. Атласов, не ограничиваясь общими положениями о кризисе буржуазной философско-исторической мысли, раскрывает ошибочность методологических воззрений французских авторов на конкретном историографическом материале.

В содержательных статьях П. Б. Уманского «Американская буржуазная историография конца XIX — начала XX в. и вопрос об участии негров в аболиционистском движении» (выпуск 1), «Новейшая американская буржуазная историография (1917—1959 гг.) об участии негров США в аболиционистском движении» (выпуск 2) прослеживаются основные историографические тенденции в освещении проблемы аболиционизма. Автор показывает, что «в работах большинства американских буржуазных историков новейшего времени, освещающих историю аболиционистского движения, роль негритянских масс США преуменьшается или же совершенно игнорируется» (выпуск 2, стр. 49). Было бы желательно, чтобы автор продолжил исследование своего сюжета анализом американской буржуазной историографии 60-х годов.

Обстоятельно, с привлечением тщательно проанализированного материала изложены проблемы греческого происхождения македонян в работе А. С. Шофмана («О теории греческого происхождения македонян»). Написанная хорошим литературным языком статья отличается четкостью и глубиной постановки основных методологических проблем весьма большой и сложной темы — македонского энтогенеза. К этой работе примыкают еще две весьма интересные по интерпретации поставленных вопросов статьи того же автора: «Идеологическая подготовка восточных походов в греческой историографии, литературе и публицистике», «Организация управления в государстве Александра Македонского» (выпуск 2).

В статье «Некоторые вопросы античной Македонии в трудах французского историка Поля Клоше» (выпуск 1) А. С. Шофман и Г. В. Атласов рассматривают историю Македонии в освещении известного французского историка античности Поля Клоше. Такой замысел уже сам по себе интересен. А. С. Шофман и Г. В. Атласов при этом последовательно выясняют историографические принципы научно-исследовательской практики упомянутого буржуазного историка. Наряду с критикой принципиально ошибочных положений П. Клоше в его взглядах на историю Македонии (в вопросах периодизации истории Македонии, внешней политики Александра Македонского, причинах распада империи др.) авторы отмечают его определенный вклад в дело изучения македонской истории. Однако в этой интересной статье отсутствуют необходимая четкость и последовательность как в определении теоретических позиций французского ученого, так и в общей оценке его трудов, что особенно отчетливо выступает в заключительном разделе статьи (стр. 153—154).

Заслуживает всякой поддержки ценное начинание казанских историков по систематической публикации библиографического материала. Помещенные в рецензируемых сборниках составленные В. И. Шишкиным «Источники сведений о советской литературе по всеобщей истории» (вып. 1) и библиографический указатель по историографии истории II мировой войны (вып. 2), несомненно, окажутся полезными для научных работников и студентов, специализирующихся в области

всеобщей истории. Здесь же опубликована и обстоятельная статья Н. А. Бурмистрова по проблеме наглядности обучения истории, а также рецензии Н. А. Бурмистрова, К. Д. Петряева и В. И. Шишкина.

Рецензируемые научные сборники, на наш взгляд, заслуживают в целом бесспорной положительной оценки. Желательно и впредь продолжать издание таких историографических трудов.

В. В. Иванов
Б. Г. Могильницкий

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи и исследования

Стр.

В. В. Иванов. История и современность в произведениях В. И. Ленина 1905—1907 гг. 5

В. В. Иванов. К вопросу о содержании и развитии сравнительно-исторического метода 15

Б. Г. Могильницкий. Объективность исторического познания и современность 30

С. Э. Крапивенский. Переход к феодализму как социальная революция 52

М. Е. Плотникова. Некоторые проблемы гражданской войны в Сибири в советской историографии 76

Г. В. Атласов. К характеристике некоторых тенденций в современной французской буржуазной историографии 114

Н. С. Черкасов. Историография ФРГ о патриотическом направлении в заговоре 20 июля 1944 года в Германии 134

Н. И. Смоленский. Л. Ранке и Ф. Мейнеке 149

И. И. Шарифжанов. Основы мировоззрения и идейно-политические взгляды Актона 195

Б. Г. Могильницкий. О методе русской либеральной медиевистике (середина 70-х г. XIX в. — начало 900-х г.) 218

В. А. Гавриличев. Об идейно-методологических принципах немецкой буржуазной историографии 50-х—60-х гг. XIX в. 267

А. И. Уваров. Структура теории в исторической науке (окончание) . . 285

Историографические обзоры и рецензии

И. И. Шарифжанов. Проблемы исторического познания в англо-американской исторической и общественно-политической периодике (1960—1965 годы) . 309

В. З. Каплюк. Историки ГДР о некоторых вопросах социально-экономического развития Германии накануне реформации и крестьянской войны . . . 326

Х. З. Левуш. Обзор работ историков ГДР о народных и еретических движениях XIV века и их идеологических предпосылках 352

Е. В. Гутнова. Советская медиевистика с середины 30-х гг. до 1966 г. . . 370

В. В. Иванов, Б. Г. Могильницкий. Новые исследования по историографии всеобщей истории 457

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Выпуск 5

Томск, Изд. ТГУ, 1967, 460 с.

Редактор издательства **Л. Г. Мордовина**
Литературный редактор **Л. Д. Павленок**
Технический редактор **Э. Н. Страшкова**
Корректоры **Н. Н. Боброва** и **Л. А. Зайцева**

К302037 Сдано в набор 28/IV-67 г. Подписано к печати 20/XII-67 г.
Формат 70×108¹/₁₆; печ. л. 28,8; уч.-изд. л. 39,45; бум. л. 9,4
Заказ 1581 Тираж 600 экз. Цена в переплете 4 р. 09 коп.

Томск, Издательство ТГУ, проспект Ленина, 36
Областная типография № 1 Управления по печати, Томск, ул. Советская, 47.